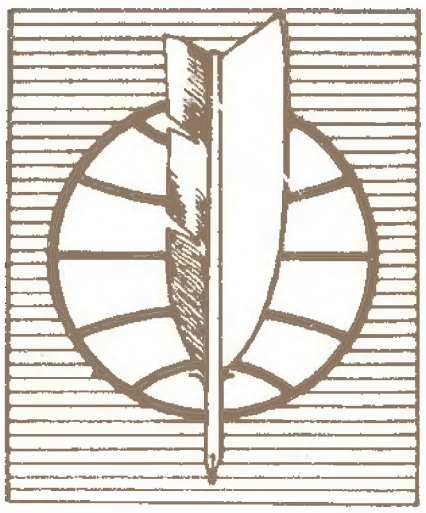
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МУСТАЙ КАРИМ • ЮРИЙ СОТНИК
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ
ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ
Н. СЛАДКОВ • Э. УСПЕНСКИЙ

Scan Kreyder - 17.05.2017
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

МУСТАЙ КАРИМ

Радость нашего дома

Повесть

●

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

Кортик

Повесть

●

ЮРИЙ СОТНИК

„Архимед" Вовки Грушина

Рассказы

●

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

Белый Бим Черное ухо

Повесть

●

Н. СЛАДКОВ

За пером синей птицы

Рассказ-воспоминание

●

Э. УСПЕНСКИЙ

Крокодил Гена и его друзья

Повесть-сказка

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"

1986

Р2
К23

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Верейский О. Г.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Уваров В. А.
Шатунова Т. М.

*

Вступительная статья
Н. И. ПАВЛОВОЙ

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации
Е. ЧЕРНЯТИНА

К $\frac{4803010102-255}{М101(03)86}$ Подп. изд.

© Состав. Вступительная статья. Комментарии.
Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г

ЗЕРКАЛО ДЕТСТВА

В этом томе нас ожидает встреча с множеством событий, людей, судеб. Перед нами распахнется историческое пространство, вобравшее в себя более пятидесяти лет. Здесь повести, рассказы, сказка, в которых всюду сквозь бег событий, сквозь судьбы героев просвечивает яркое, своеобразное писательское лицо.

Как непохожи они друг на друга — Мустай Карим, Анатолий Рыбаков, Юрий Сотник, Гавриил Троепольский, Николай Сладков, Эдуард Успенский. Но их произведения, собранные вместе, складываются в образ классической детской книги.

Совершенствуя его, каждый из писателей остается верен основам, заложенным создателями советской детской литературы. Потому высокие гражданские и нравственные идеалы выражаются ими в четком разделении добра и зла, в определенности смысла и завершенности выводов. Потому с такой сердечной открытостью передают они читателю свой опыт, учат, горячо убеждают его.

В том, как преподносятся эти уроки, всегда присутствует игра, в которой дети познают жизнь, но и та литературная игра, которую ведет писатель, вовлекая читателя в приключения, сказочность, смех. Уча его и забавляя, веселя и заставляя задуматься.

В картинах радостей и горестей пишется летопись Детства, а значит, и Времени. Ведь именно дети — самое правдивое и чистое его отражение.

Характер многообразного творчества Мустая Карима — поэта, прозаика, публициста, драматурга — неотделим от детства.

Оно осталось с ним и в нем, откликнулось искренностью, доверчивостью, добротой его книг.

Детство всегда вспоминается как большой отрезок жизни, в которой время, до краев наполненное открытиями, кажется долгим. «Долгое-долгое детство» — так и назвал Мустай Карим автобиографическую повесть о первоначальных годах жизни в башкирском ауле Кляш, где он родился в 1919 году, когда была создана Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика. Родился, подрос и стал в роде Каримовых вторым грамотным человеком. «Раньше,— рассказывает он,— вместо подписи ставили тамгу (метку), похожую не то на вилы, не то на куриную лапу. Эта тамга была вроде родового герба. Ее можно было видеть везде: и на меже земельных наделов, и на сбруе, и на крупе коня, даже на топорище».

Благодаря тому, что ранние годы помнились свежо и подробно, появились две повести для детей — «Радость нашего дома» и «Таганок». Помещенная в этом томе «Радость нашего дома» вышла вскоре после войны, в 1952 году. И это не случайно.

Карим воевал от первого до последнего дня. На фронте его возмужавший поэтический голос влился в поэзию фронтового поколения, в общую судьбу, где встали рядом «война, беда, мечта и юность». Отстаивая в боях Родину, он сильнее, чем когда-нибудь, почувствовал цену человеческой доброты и великую мощь дружбы народов. Наверное, тогда и начал вызревать замысел книги «Радость нашего дома».

О чем она? О первых шагах познания ребенком жизни, совпавших с войной, чьи отголоски долетают в башкирский аул суровостью военного быта, треугольниками солдатских писем, горем похоронок. Об украинской девочке Оксане, осиротевшей и нашедшей приют в башкирской семье. О счастье детства, отнятом войной и возвращенном людской добротой.

Можно было бы подобрать обширную библиотеку только из книг, рассказывающих о жизни детей во время войны. У Мустая Карима рассказ этот обогатился новыми оттенками. Приметы национального уклада, романтические предания, народная мудрость и юмор, портреты героев и зарисовки уральской природы составляют многоцветный узор. А линии узора ложатся так, что происходящее в небольшой башкирской деревне выводит к судьбе всей страны. Недаром в одном из стихотворений Карим уподобляет Башкирию зеленому листку на березе, имя которой Россия.

Сохраняя привязанность к национальным обычаям, манере думать и говорить, он выводит малую родину к большой и дальше — к гуманизму и интернациональной солидарности всех передовых людей Земли.

Вера в могущество человеческого единения вошла в его плоть и кровь с колыбельной песней матери:

Если капля ляжет к капле —
Будет море.
Если ж капля одинока —
Сгинет вскоре.

Понятие и слово «вместе» стали у него сквозными. Они в воспоминаниях о детстве, когда так много знали и видели, так мечтали «все вместе». И в напутствии, которое дает мать ребятам из «Радости нашего дома»,— «идите все вместе, взявшись за руки», и даже в том, как входят в дом старики, дедушка Мансур с бабушкой Фархунисой,— тоже взявшись за руки. В этом глубокий смысл, объединяющий поэзию, прозу, драматургию, публицистику Мустая Карима в законченный художественный мир.

Доброта скрепляет его героев, разливается по повести ласковыми голосами матери и бабушки, братской нежностью Ямиля к Оксане и традиционным приветствием: «Добрая встреча, брат».

Маленькие герои получают от старших народную мудрость, хорошо понятную ребенку, бесспорную, неопровержимую. И никто в повести не входит в длинные рассуждения о том, что в тяжелые времена необходимо быть крепче железа, что человек не должен жить только ради себя и что «людей роднят не язык и не богатство, а сердце».

Дедушка Мансур, старый рыбак, бабушка из Темиртау — старики связывают прошлое с настоящим, сохраняют древние традиции, сокровища народного творчества. И сказка о волшебной сабле батыра Тимербека, услышанная Ямилем от бабушки, введена в повесть не ради красочности орнамента. С ее помощью передается патриотический огонь: Ямиль уверен, что та сабля в руках его отца — солдата.

Героические, нравственные народные традиции входят в сознание детей, претворяясь в поступки. В готовность спасать, защищать, отдавать, а не брать — хотя Ямиль и защищает Оксану всего лишь от гусака и спасает всего лишь ее башмак. Ребята из повести Карима еще так малы, что не достают до задвижки на калитке, а носовые платки им прикалывают булавкой к курточке.

От имени Ямиля, одного из таких малышей, и ведется рассказ.

Философия любви, доброты, счастья притягивает к себе мысль Карима и находит опору в детской радости бытия. Слово «радость» вынесено в название повести. Радость звенит, переливается весенними ручьями, врывается в озорные игры детей, в неуклюжие прыжки ягнят и телят, слышится в восторженных восклицаниях Ямиля: «Как весело, когда на земле весна!»

Наивная непосредственность ребенка увидена взглядом взрослого, освещена оптимизмом писателя, его мировоззрением. Поэтому радость просто жить слита с радостью страны, с предчувст-

вием и наступлением Победы, обещающей труд на мирных пашнях, по которым истосковались солдатские руки.

В детских повестях Карима нет плохих людей. Не потому, что, по его мнению, их нет вообще. «Может, и есть,— говорит он,— но я их не вижу. Если глаз и приметит — душа не приветит».

Его душа привечает лишь доброе, счастливое. «Радость нашего дома» напоминает о долге людей беречь доброту, счастье, мир. Это напоминание звучит и в поэзии Карима как постоянная тема его творчества, как дело его жизни:

О, люди, вы не станете терпеть,
Чтоб слезы землю заливали впредь,
Чтоб землю ту, что так мы бережем,
Враг рассекал, как яблоко ножом...

При въезде на главную улицу аула Кляш над общественным колодцем молодые жители аула прибили металлический флажок с надписью: «Здесь источник поэзии Мустая Карима, не испив его, не проходите мимо!» Такие надписи — лучшее подтверждение всенародного признания писателя.

А теперь от сороковых годов, от времени действия повести Карима, перенесемся на двадцать с лишним лет назад, на утреннюю улицу провинциального городка Ревска.

Перекликаются ранние петухи, доносится из дома кашель, сонное бормотание. Что невероятного может стрястись в этом дремотном покое? Но вдруг... и понеслось, полетело приключение.

Случайно найденный героем Анатолия Рыбакова старинный кортик. Его блеснувшая на солнце красота — три острые грани, побуревшая от времени рукоятка, которую обвивает змейка с загнутым вверх язычком. Описанный со вкусом, любовно, он как будто лежит на ладони и от него исходит волнующее предвкушение тайны...

Как полагается в современной приключенческой литературе, за тайной героям повести «Кортик» не надо отправляться далеко — она ближе, чем заброшенный дом на горе, где искали сокровища Том Сойер с Гекльберри Финном, или пещера, где они его нашли. Тайна внутри обычной жизни; ни бредущее стадо, ни оборванный пастушонок, громко хлопающий бичом, не разрушают и не снижают ее. В «таинственный остров» превращается пыльная улица заштатного городка, хорошо знакомый подвал восьмиэтажного дома на Арбате и клуб в подвале, где репетируют самодеятельный спектакль, а под декорациями обнаруживается железная дверь. Куда она ведет?

Одна тайна, как волна, накатывается на другую. Все туже

наматывается клубок загадок. Драматические обстоятельства, убийство, клад — все стягивается к кортику.

В повести Рыбакова налицо обязательные элементы приключенческого сюжета: тайна, скрывающаяся в привычном, знакомом, но и трудная задача, которую непременно надо решить; случайности и совпадения; выслеживание преступников, врага, выдающего себя не за того, кто он есть. И когда разгадка уже почти дается в руки — дополнительные осложнения, задерживающие розыск, притормаживающие действие и до крайней точки накаляющие читательское нетерпение.

Да, юному читателю по душе приключение. Его ритм не ослабевает в «Кортике» ни на минуту. Непрерывно что-то происходит, меняется: то приближаются, то отдаляются гудки паровоза, цокот конских копыт, суля нежданные встречи и разлуки.

Двенадцатилетние герои втянуты в этот вихрь и напряженностью происходящего, и своим возрастом, когда хочется мчаться, врываться в события, чтоб не остаться в стороне.

Но еще и потому ребята любят приключенческую литературу, что в ней находит удовлетворение их настоятельная потребность в победе справедливости; их надежда, что борьба разрешится тут же, в пределах одной книги, торжеством добра и неотвратимым возмездием злу.

В довольно жестких рамках приключенческого сюжета писатель расположился свободно и смело. Он заметил однажды, что «так часто бывает с первой книгой... в ней есть подкупающая наивность и смелость решений».

И вот сразу заметный знак этой смелости: обычно пространство и время приключенческой литературы имеет мало общего с реальностью, но в «Кортике» — иначе...

Рассказывая о себе, Анатолий Рыбаков вспоминает, как с 1946 года началась его писательская жизнь (он родился в 1911 году, и тогда ему было 36 лет).

Пройдя фронт, он вернулся после войны в Москву, в тот же большой дом на Арбате, где прошло детство и куда не вернулись многие погибшие сверстники. Одни воспоминания повлекли за собой другие, нашлись прежние наброски, сделанные им в тридцатые годы, и родилась повесть о детстве его поколения.

Толчком к замыслу послужила память, и память же подсказала воображению цепкую зоркость к деталям, за которыми вырастает время, быт и политическая обстановка конца гражданской войны и начала нэпа.

Те годы приходят к читателям «Кортика» в звуке, в цвете, в зримых и вещных подробностях. Слыша захлебывающееся тарахтение пулемета, гик и нагаечный свист, видя мелькание барашковых шапок с красным верхом, сразу представишь себе, как врывались белые в маленькие городки России.

В одном из таких городков под названием Ревск изображен Сновск Черниговской области, где жил в детстве писатель, прежде чем переехать в Москву.

Есть исконно московские улицы и переулки, которые для многих стали их «малой родиной», и если спросить этих людей, с чего началась их любовь к Отечеству, они ответят: с Замоскворечья, с Чистых прудов и, конечно, с Арбата.

Анатолию Рыбакову дорога каждая минута жизни его любимой улицы. Она для него как живое существо, просыпающееся с ликующими звуками и засыпающее, постепенно затихая.

Двадцатые годы в их пестроте и разноголосице шумят на московских улицах, поблескивают золотом тисненых переплетов с ларьков букинистов на Моховой, выбегают из университетских ворот толпой студентов и рабфаковцев.

Приключение выводит героев на эти улицы, как солнце в капле воды, отражающие то, чем живет страна. Ее насущными заботами проникнуты речи комиссара Полевого, мечтания главного героя повести Миши Полякова, все происшествия, в которых действуют он и его друзья; заботы эти взывают с плакатов: «Смерть наемникам Антанты!», «Все на борьбу с беспризорностью!», «Помоги голодающим Поволжья!».

Сама книга Рыбакова — как бы плакат того времени, написанный густой краской, крупно и наглядно.

И время тех дней сцеплено с прошлым; звено же цепи — кортик, выкованный оружейником XVIII века и скрывающий тайну линкора «Императрица Мария», потопленного в первую мировую войну.

Связь прошлого с настоящим в «Кортике» активная, и разгадка тайны, кроме радости долгожданного открытия, приносит и реальную пользу молодому государству.

Так окончательно смыкаются две линии: реалистическая — о жизни Миши и его товарищей, приключенческая — тайна кортика.

Реалистическое руководит приключенческим, а приключенческое прорастает в реалистическое, диктуя соблюдение правил, в которые обязательно входит четкое разделение героев: враги мрачны, замкнуты, зловещи, друзья веселы и добры. Только темной краской нарисован белогвардеец Никитский, его немигающий, колючий взгляд из-под черного чуба, и только белой — комиссар Полевой, его добродушие и лукавая бесшабашность бывалого солдата.

В критике уже было проведено интересное наблюдение над тем, как счастливо совпали в повести Рыбакова условия приключенческого сюжета и идеалы времени, воплощенные в наивном детском восприятии.

В «Кортике» время проступило сквозь общие свойства дет-

ского возраста и заискрилось в живом детском характере честного, великодушного, деятельного Миши Полякова. Такие ребята защищают обиженную гардеробщицу тетю Брошу («Сейчас не царский режим»), враждуют со скаутами («Они за буржуев, а пионеры — за наших»), с Борькой-Жи́лой («Его отец враг, значит, и он — враг»).

С находчивостью и настоящей отвагой соседствуют мальчишеские мечты, сдобренные легким тщеславием, притворство и хитрость — настолько простодушные, что лишний раз подтверждают непобедимую правдивость детства.

Писатель, чуть отстранившись, с легкой улыбкой глядит на Мишу, на Генку, на других ребят. Высвечивает их характеры в достоверных диалогах, в смешных и серьезных ситуациях, куда они кидаются с головой.

Мы не расстаемся с ними, дочитав «Кортик». Еще будет «Бронзовая птица», «Выстрел», трехсерийный телевизионный фильм. «Выстрелом» (фильм называется «Последнее лето детства») писатель теперь уже надолго прощается с героями «Кортика», со своим детством. На смену им придут иные времена и другие герои. Однако душевная энергия, неравнодушие, тяга к неизведанному, что были в Мише Полякове, останутся с ними, как черты детства и героя современной детской книги.

«Если бы не было этой страсти,— рассуждает учитель из рассказа Юрия Сотника,— Америка не была бы открыта».

С жаждой немедленных открытий пришли в литературу и герои Юрия Сотника — «первопроходцы», проникшие через трубу котельной в вентиляционную систему и заразившие своей здоровой любознательностью старого учителя («Исследователи»); Вовка Грушин, сооружающий подводную лодку и отдавшийся этому занятию со всей страстностью и отвагой, а также с отсутствием каких бы то ни было сомнений относительно своих возможностей («Архимед» Вовки Грушина»). Его переживания драматичны и вдохновенны; в сбивчивой, торопливой речи — волнение одержимого идеей человека.

Он вызывает уважение, этот маленький востроносый энтузиаст, похожий на воробья. Уважение и в то же время смех, потому что из-за плеча рассказчика, уверенного, что поведал человечеству о великом изобретении своего друга, лукаво выглядывает писатель, вскрывающий беспочвенность Вовкиных научных занятий, его невежество.

Смех и рождается на этом скрещении посягательств и возможностей, действий и результатов. Смех пробивается из уже понятого нами несоответствия, которое невдомек Вовке Грушину. Он еще не подозревает, какого огромного труда, таланта,

образованности требует наука, как не догадывается об этом и Вася, «для науки» охотящийся на невиданную птицу («Невиданная птица»).

Но и он готов превозмочь страх перед опасностью, перед пугающей таинственностью наступающей ночи, глухим шелестом колосьев и пролетающей над ними большой птицей с распластанными в воздухе черными крыльями.

Не раз еще встретятся в творчестве Сотника поэтично нарисованные пейзажи, в которых и настроение героев и художническая тонкость автора...

Так что же лучше, гоняться за несуществующей птицей или, как товарищ Васи Дима, трезво понимать, что кондоры в Советском Союзе не водятся и что эхо — всего лишь отражение звука?

Наверняка в жизни рассудительного мальчика-старичка будет мало ошибок и ни одного отчаянного поступка. И все же Сотник с теми, кто поступает вразрез с житейской логикой и совершает ошибки, идущие от недостатка жизненного опыта, то есть от природы детства. Им отдает писатель правоту ищущего ума, душевного полета, самоотверженности, целеустремленности. Их ошибки — те самые, на которых учатся.

Юрий Сотник родился в 1914 году. Писать начал, еще учась в школе, а первое опубликованное произведение было написано вскоре после школы. Но в рассказах конца тридцатых — начала сороковых годов явственно просматривается тот Сотник, каким мы его знаем сегодня. В «Архимеде» Вовки Грушина», «Белой крысе», в «Исследователях» и «Невиданной птице» он сразу очертил образ детства, чтобы потом расширять и усложнять его; сразу наметил конфликт — противостояние романтического мироощущения и обывательского здравого смысла, естественности чувств, мышления и их догматической скованности. И все, о чем повествует, погрузил в стихию смеха.

Сверкающий, переливающийся, грубовато-веселый, грустновато-лирический, перетекающий в иронию, а то и в сатиру — юмор Сотника служит серьезным задачам.

Все из того же несоответствия средств и целей встает проблема выбора, совести, смелости не только физической, но и нравственной.

Перед нелегкими этими вопросами и оказались незадачливые дрессировщики, когда в результате их уроков пес покусал милиционера, сбежал и, может быть, сбесился. Предупредить милиционера — значит выдать себя, скрыть — значит подвергнуть опасности его («Дрессировщики»).

А что, например, таится в глубине очень смешной сцены, изображающей поход ребят на пастеровскую станцию? Что за этим торжественным, почти театральным шествием, с толпой провожающих, с командами: «Первоукушенные, построиться!.. Беше-

ные, шагом марш!»? Гибкость детской натуры, вбирающей в себя любую ситуацию, чтобы извлечь из нее веселье, дать выход артистизму. А блистающее остроумие, жизнерадостный писательский юмор зачеркивают в этом рассказе скучную канцелярскую мысль и фразеологию так же безоговорочно, как в других — сухую книжность или догматичный подход к жизни.

Жизнь проще и теплее отвлеченных рассуждений о ней — словно бы хочет сказать нам писатель, рисуя заседание учкома: пострадавшую Нюсю и Димку, обвиненного в феодальном отношении к женщине как к рабыне («Феодал Димка»). Но в стремительной, искусной игре реплик почерпнутые из учебника точки зрения без остатка разбиваются о живое чувство.

«Феодал Димка» — рассказ о первой любви. Не сентиментально-умиленный, а мягко-насмешливый, подлинно лирический. И фиолетовая шишка на лбу Нюси — свидетельство смятенности влюбленного перед тем непонятным, что он почувствовал впервые.

Уму писателя всегда присуще начало игры. Теоретики юмора называют остроумие играющим суждением. Сотник «играет» находчиво и изобретательно. Скажем, рассказ «Человек без нервов» он построил на сравнении двух характеров: хвастун Лодя, который кичится храбростью, а по правде трус, и Маша, которая действительно храбрая, но, не отдавая себе в этом отчета, простодушно восхищается Лодей. Затеянная таким сопоставлением литературная игра заканчивается нешуточным итогом. Наивная, вроде бы необоснованная вера девочки обязывает героя почувствовать ответственность, превозмочь страх и одиночество ночных блужданий по лесу в поисках колхозного быка, пропавшего по его вине.

Уже не смеясь следит писатель, как назревает в Лоде перелом и он делает смелый шаг — к радости не стыдиться себя, иметь мужество говорить о себе правду, быть самостоятельным. И снова, призвав смех, Сотник показывает, как незаметно можно раствориться в чужой воле («Как я был самостоятельным»).

Источник этой властной воли, девочка Аглая — один из самых обаятельных образов, созданных Юрием Сотником.

Вся порыв, горение, она безошибочно знает, на каких струнах играть, чтобы добиться своего.

Точным острым штрихом нарисовано наступление без сопротивления: сраженный ее напором, герой обезличивается, сдается, и лавина несчастий обрушивается на него.

Образ Аглаи проходит через несколько рассказов, и мысли безостановочно кипят в ее бедовой голове. В «Маске» она придумывает снять слепок с лица маленького композитора Гоги Люкина, чтобы, увековечив будущую знаменитость, осчастливить музей.

В рассказе же «Как я был самостоятельным» ею выдвинуты

все планы: репетировать спектакль драмкружка в доме у Леши, сделать козла из игрушечного коня и, наконец, привести живого козла.

Шумное водворение в новенькую квартиру блеющего козла с безумным взглядом, нелепость и комизм вытекающих отсюда последствий — этот столь печальный для героя эпизод под пером писателя разыгрывается в настоящее празднество смеха, напоминающего грубоватое, жизнелюбивое веселье народных площадных представлений.

Благополучное завершение случившегося — лишь недолгая передышка. Над героем опять нависают тучи по милости той же Аглаи. Но корень бед — в его безволии, отсутствии характера, и злоключения не отступят от него, пока он не станет самостоятельным.

Достиг он самостоятельности в другом рассказе, где взбунтовался против жесткой воспитательной схемы, в которую его пытались втиснуть («На тебя вся надежда»). Вот тут уж, выведя на сцену «воспитательницу» тетю Соню, Сотник отбрасывает юмор, располагающий к снисходительности, и начинает говорить языком сатиры — не об ошибках, а о пороках, какие видит в неспособности понять детей, в фальшивом тоне панибратства, в душевной слепоте, бескультурии. И человеческая неполноценность тети Сони, безвкусица ее внешности, одежды, поведения разоблачаются преувеличением, гротеском, который смешит и отталкивает. Конечный вывод прозрачен: счастье быть самим собой завоевывается терпением, мужеством, путь к нему не бывает коротким и гладким.

Вообще, мораль вычленяется из рассказов Сотника без усилия, но не выглядит назиданием, намертво прикрепленным к одному факту. Она взлетает выше и применима к жизни в целом. Она не лоскут, налепленный на ткань рассказа, а его неотъемлемая часть и содержится в мгновенной завязке, в упругом ритме, в ровном, без сбоев, художественном дыхании и, конечно, в смехе.

Широко известны слова Карла Маркса о том, что «человечество смеясь расставалось со своим прошлым»; смеясь прощается с заблуждениями и отдельный человек. Смехом помогает Сотник своим героям и читателям осознать ошибки, освободиться от них. И в этом смехе писателя — его нравственная требовательность, его гражданские представления о юной личности, ее настоящем и будущем.

На отношении к беззащитному, зависимому от людей живому существу всегда проверялась человечность. И если оглянуться на отечественную классику, то как не вспомнить толстовского «Холстомера», некрасовского «Дедушку Мазая и зайцев», «Зимовье на

Студеной» Мамина-Сибиряка, чеховских «Каштанку», «Белолобого», «Тоску», купринских «Белого пуделя» и «Изумруда»...

К этой книге совести прибавил свои страницы и Гавриил Троепольский, рассказав нам о жизни и смерти черноухого сеттера Бима.

Троепольский родился в 1905 году, писать начал с конца тридцатых годов. Повести «Белый Бим Черное ухо» предшествовали очерки, рассказы, повести, роман, киносценарий, посвященные колхозной деревне.

Вероятно, первое, что испытываешь, взяв в руки книги Гавриила Троепольского,— безоговорочное доверие. И начинается оно от конкретного, честного знания, которое лежит в основе всего рассказанного.

В прошлом агроном, человек, умеющий заботиться о земле, Троепольский видит то, что произрастает и живет на ней, зрением ученого-практика и художника одновременно.

Не только агроном, но и бывший педагог — он привык воспитывать, поэтому «учительный» пафос русской литературы оказался ему вдвойне близок.

В воспитании доброты, доверия, дружбы, преданности, верности долгу, умении чувствовать природу, понять другого и сопереживать другому находит он цель своего творчества. Ясную и вместе с тем сложную задачу: уча добру, писать и о зле, чтобы добро не было слепым и беззащитным; счастью всегда напоминать о несчастье, чтобы оно не было бездушным; воспевая возвышенно-красивое, смеяться над безобразным. Не просто любить правду, но жить ею, «как растение живет солнцем».

Как раз в «Биме» для защиты этой правды и справедливости сошлись силы, накопленные за многие годы жизни и писательства.

Пока разворачиваются приключения Бима, нам дается возможность понять его восприятие и посмотреть на происходящее глазами хозяина Ивана Ивановича. Его голос сменяется голосом самого автора, обращенным к читателю. И таким образом, люди, события, чувства видятся то с одной, то с другой стороны. А те двери, что отворялись или захлопывались перед одиноким псом, становятся для нас распахнутыми дверьми к узнаванию разных людей, которых испытывает писатель судьбой Бима.

Пусть в жизни не всегда легко отличить добро от зла, но в повести о Биме они не перемешиваются и распознаются с первого взгляда. На одном полюсе — доброта, доверие, на другом — бесчеловечность, жестокость, зло рядом с ложью.

С какой гневной непримиримостью набрасывает Троепольский портреты недоброжелателей Бима — людей, настолько потерявших человечность, что им в повести даже имени не дается.

Тетка, Серый... Они похожи друг на друга приземленностью, душевной тупостью, лживостью.

О ничтожестве спекулянтки Тетки, ее непробудно спящей совести буквально вопят ее жирная фигура, визгливый голос, два шифоньера в ее квартире, три зеркала и неизбежная принадлежность мещанского уюта — картина «Девушка и лебедь».

Пародия и сатирический гротеск — вот оружие, которым воюет здесь писатель.

Троепольский выводит на чистую воду не только примитивное невежество председателя домкома, бессмысленную обывательскую озлобленность Толстого или откровенное, наглое хамство Тетки. Он вскрывает и более хитрое зло — лицемерие коллекционера собачьих знаков Серого, бесстыдно спекулирующего словами о честности, совести. Писатель заставляет нас задуматься и о том, можно ли лгать своему сыну из тактических соображений, как это делает отец Толика. И было ли у учительницы Толика внутреннее право использовать чувство ребенка в деловых целях: оставить подходящую методическую разработку, задать сочинение с «планчиком-вопросником», даже не узнав, как зовут собаку, чья судьба потрясла детские души?

На протяжении всей повести бежит и бежит Бим к родной двери — сначала ухоженный, с блестящей шерстью, а потом тощий, хромой, но все равно преданный и верный. Время от времени писатель словно бы замедляет его движение, и тогда мы замечаем происходящие в Биме перемены, опечаливаемся ими и все же продолжаем надеяться.

Рассказывая о преданности и верности животного, Троепольский обнажает сердцевину людей. Поднимает на поверхность то, что необходимо им преодолеть, выявляет лучшее, что уже есть в них.

Но и на страницах, полных гнева, постоянно ощущаются высокие писательские представления, на которые должны опираться отношения между людьми.

Повесть начинается с взаимного доверия маленького щенка и пожилого одинокого человека и завершается сценой доверия любимых героев писателя друг к другу.

И если те, кого он не приемлет, нарисованы им жестко, то там, где его друзья,— мягкость писательского чувства, изящный пластичный рисунок, светлые тона.

Все эти Серые, Толстые разобщены, а Иван Иванович и доброжелатели Бима объединены. Они идут навстречу, чтобы сойтись в конце повести,— седой, как снег, человек и два мальчика, которых, сам того не ведая, привел к нему Бим.

Они обязательно должны были встретиться, охваченные одной любовью к Биму, пробудившей в них дух товарищества.

Вот и обретения от потери: дружба и память навсегда. Осознание жизни и понимание того, как она трудна и как прекрасна.

В произведении Троепольского много героев и среди них — автор, все окрашивающий благородной цельностью своих взглядов. Они улавливаются не только в расстановке сил, в течении сюжета, в интонации повести.

Рассуждения, нескрываемые чувства откровенно выносятся на страницы. Писатель негодует, скорбит, восхищается, подсмеивается и на волне этих чувств выходит к читателю-другу. Призывая не обижать заблудшую собаку, поразиться ее долготерпению и мужеству, постепенно приобщает нас к своим размышлениям о совершенствовании человека, о том, как добиться, чтобы не было людей, заключающих сделку с собственной совестью, а благородство души и верность долгу стали само собой разумеющимся состоянием. Чтобы дружба строилась на понимании каждым каждого, ценилась бы скромность, скрывающая в себе героизм, и храбрость совмещалась с достоинством, которое всегда предпочитает сытой несвободе беспокойную свободу. Перед нами вырисовывается идеал, каким он видится художнику, давшему своей повестью еще один ответ на вопрос, во все времена стоящий перед человеком,— каким ему быть и как ему жить.

Николай Сладков, как и Троепольский, ставит человека лицом к лицу с природой. Он призывает не любоваться бездумно красотой лесов, гор, зверей, но принять на себя ответственность за их будущее. Узнать, понять, уберечь.

Сам Сладков до дна узнал их и понял — когда военным топографом исходил нашу страну и когда продолжал путешествовать по ней уже писателем.

Он родился в 1920 году. Уже с детства ощутил особую любовь к природе. Над кружком юннатов, где он занимался, шефствовал Виталий Бианки, который стал его учителем в творчестве.

Твердо усвоив науку своего учителя — «петь, а не подпевать», Сладков выбрал собственный путь.

На этом пути он открывает нашим глазам потаенное в природе, то, что не всякому посчастливится увидеть. Причем открывает так увлеченно, так заразительно, что из спокойного читателя-наблюдателя быстро превращаешься в участника удивительных встреч.

Густые сумерки. Вкрадчивые, осторожные шаги. Рысь. Появилась, исчезла, как будто вылепилась из теней и бликов, и снова на них распалась. Удивление, тайна природы, ее загадка... Горный лес Закавказья, Апшеронский полуостров и пустыня, куда ведет нас в путешествие сладковская книга, даже если там никогда не бывать, начинают казаться близкими, потому что Сладков совмещает строгую научность натуралиста с взволнованностью лирического чувства.

Он поэтически обживает природу. Восхищенным взглядом поэта схватывает праздничную зелень горной лощины, голубизну воды и неба, синие горы, фиолетовое ущелье. И близость его с природой, со всем живым в ней — это целая история отношений, в которой есть знакомство, возникающий интерес друг к другу, радость взаимопонимания и грусть расставания.

Писатель говорит от имени природы, глазами птиц и зверей старается посмотреть на нашу землю, на человека.

В этих раздумьях лирического героя, в их настойчивости и страстности угадывается личность самого автора.

Поэт Михаил Дудин вспоминает о ленинградском мальчике Коле Сладкове: «И ветер пространства стал щекотать его ноздри запахом бесконечности. И он стал искать загадок и удивления. Сама жизнь, чувствуя его желание, шла ему навстречу, помогала видеть необыкновенное в обыкновенном, помогала понимать каждую травинку».

И для этого понимания живут в его герое упорство, терпение, воля к достижению цели, во имя которой можно просидеть всю ночь на дереве, чтобы не пропустить черного аиста; превозмогая боль в сердце, взбираться на высокую гору, где обитают птицы улары; идти по раскаленным пескам пустыни...

Так что же такое счастье? Даже и в самом названии «За пером синей птицы» спрятан этот вопрос. Синяя птица действительно существует, писателю известно, сколько она весит и какой длины у нее хвост. И все-таки для нас синяя птица — образ счастья, путешествие за пером синей птицы — путешествие за счастьем.

А счастье — «видеть и понимать,— говорит Сладков.— Видеть и понимать». И бороться.

Писатель воюет против охоты ради забавы. И убежденность его так горяча потому, что он пришел к ней через личный опыт.

В «Лесах счастливой охоты», в «Десяти стреляных гильзах», в «Серебряном хвосте» и «Безымянной тропе» еще разносятся выстрелы. Но уже в книге «Под шапкой-невидимкой» побеждает бережность к природе.

Отныне его лирический герой отбросил охотничье ружье. Сладков отвергает жестокость, которую рисует, не щадя наших чувств. Ударяет по сердцу, высекая из него сочувствие, благодаря которому человек в любые моменты остается человеком, и, кроме добычи, взятой с помощью ружья, ему становится доступно иное — казалось бы, совершенно бесполезное, но совершенно необходимое.

Вглядитесь, вслушайтесь в мир, встающий из сладковской книги. Вберите в себя гул реки из глубины ущелья, запах трав и цветов — и вы найдете клад этих «бесценных бесполезностей». В них нельзя ткнуть пальцем, положить в корзину или рюкзак.

Герой Сладкова одержим другой жадностью — к познанию;

желанием забрать и вставить в свою жизнь как можно больше из увиденного и подслушанного в природе. И пусть рюкзак окажется пуст — это и будет для него удачной охотой.

Но как унести с собой так много, даже огромные скалы, даже неуловимые клубы тумана? Для этого нужна Память. И все, о чем повествует Сладков, подчиняется ей. Он и подзаголовок дал книге «рассказ-воспоминание», и уверенность свою в необходимости бескорыстного отношения к природе проверяет воспоминаниями, приходящими к человеку в трудные часы,— тогда не в сиюминутной пользе, а в красоте родимой земли черпаются силы, на которые можно опереться.

Человек в природе и природа в человеке...

Вникая в повадки, в характеры животных, Сладков думает о человеке и зовет жить беспокойно, в желании разгадывать загадки. Он и в учебниках хотел бы давать не отгадки, а загадки, чтобы встревожить воображение, научить мыслить независимо. Наверное, поэтому в его книге много вопросов — и тех, на которые можно ответить сразу, и тех, на которые предстоит отвечать всю жизнь.

Есть у Сладкова что-то родственное с Троепольским и в теме, и в той требовательности, непримиримости, с которой утверждает он достоинство, говорит об унизительности рабской преданности. Смеется над оглядчивой обывательской «мудростью».

Его голос звучит как голос обличителя и проповедника, лирика и философа — гневно, воинственно, раздумчиво, мечтательно. Он обращается к жителям всей Земли, потому что в охране природы видит одно из тех общих дел, которые способны привести к взаимопониманию людей самых разных стран.

Одухотворяя природу и животных, Сладков уверен, что очеловечиванием вернее всего можно пробудить сочувствие к природе и вместе с тем, сблизив переживания животных с человеческими, раскрыть человека и помочь ему понять себя. На этом же из века в век стояла народная сказка и выросшие из нее литературные сказки. В их числе «Крокодил Гена и его друзья» Эдуарда Успенского.

Отдав народные сказки детям, литература поделила между детьми и взрослыми литературные сказки. Есть в ней предназначенные детству «Праздник непослушания» Сергея Михалкова, «В стране вечных каникул» Анатолия Алексина, «Далекие горнисты» Владислава Крапивина, но и целиком принадлежащие взрослым «До третьих петухов» Василия Шукшина, «Современный вариант сказки про Ерша Ершовича» Василия Белова.

Из всех этих литературных сказок на нас глядит автор с его творческим характером, с его пристрастиями, потому что он по-

гружает народную сказку в свой мир и в свое время. Но блики ее ложатся на сюжет, на образы. Если же о народной сказке забыть, то и литературная сказка развалится.

В «Крокодиле Гене...» нет привычных сказочных персонажей и впрямую повторенных сюжетов. Но, наблюдая, как Гена, Чебурашка, жирафа, обезьянка и другие возводят Дом дружбы, вспомнишь «Теремок» с его всеобщим примирением и совместным житьем, казалось бы, несоединимых существ. А облик старухи Шапокляк вызовет в воображении старинного ее предка Бабу Ягу.

Какая же сказка без чудес? Правда, чудеса, которые происходят с Геной и его друзьями,— без колдунов и чародеев.

Волшебны их верность в дружбе, великодушие, сказочна непоколебимая вера в торжество добра.

Волшебство этой сказки в руках самой жизни, оно мерцает в повседневности: похожий на бракованную игрушку Чебурашка сидит в витрине магазина уцененных товаров, а крокодил Гена работает в зоопарке крокодилом в очередь со сменщиком Валерой.

Народная сказка всегда отдавала предпочтение тем, кто непохож на других, на вид смешон и нелеп. Иванушка-дурачок и Емеля оказывались умнее всех, и это было предостережением не «встречать по одежке», не судить по внешнему. В такую ошибку ни разу не впадают герои «Крокодила Гены...», и несуразная внешность Чебурашки не определяет отношение к нему. Главное, чтобы он оказался хорошим товарищем, и тогда все рады будут с ним подружиться.

Много комического и трогательного в Гене, Чебурашке и всех других. Забавно, когда крокодил Гена играет в спектакле Красную Шапочку, но эта роль предоставляется ему по праву его справедливой и честной детской души.

Вообще, все основные герои в «Крокодиле Гене...» — дети. И Чебурашка с его «ложью во спасение», убеждающий девочку Галю: «Ты совсем немножко похудела. Так немножко, так немножко, что даже поправилась», и молодой крокодил Гена пятидесяти лет, и обезьянка Мария Францевна, похожая на мальчишку, чьи карманы забиты всякими ненужными, с точки зрения взрослых, предметами.

А старуха Шапокляк, стреляющая из рогатки по голубям и нарочно переходящая дорогу в неположенном месте, не девчонка, а скорее хулиганистый тщеславный мальчишка, творящий «злы», чтобы прославиться.

В народной сказке злым персонажам нет прощения. Старухе Шапокляк оставлена возможность исправиться, так как Успенский ведет речь о детстве, о характерах, которым предстоит формироваться и меняться.

Не разрывая родства с народной сказкой, Э. Успенский творит свой мир, в котором видна его писательская личность, художе-

ственные приемы. Ну хотя бы такой, например, как возвращение образному выражению его первоначального смысла. «Крокодилова слеза», означающая лицемерие, выкатившись из глаз Гены, претерпела обратное превращение в искреннее сочувствие тем, кто еще не нашел себе друзей.

По существу сказка «Крокодил Гена и его друзья» о том, что чувства и поступки ее героев истинны и надежны: не на песке строят они свой дом — на прочном фундаменте настоящей дружбы. А образная эта мысль предстает в реальном строительстве дома, все стенки которого покрашены разным цветом, потому что каждому дана чудесная свобода быть самим собой и вносить свою краску в здание единства.

Надо сказать, что в сказке Успенского добро отнюдь не ограничивается слезами сопереживания. Сказано — сделано, и решительно, без промедления бесприютным находят приют, а одиноким — друзей. Вычитывается из сказки-повести и писательское мнение, что недостаточно иметь доброе сердце, надо уметь думать. Скажем, жирафа Анюта добрая, но глупая и болтливая, и от доброты ее — один вред. Подлинное же добро возможно лишь в сочетании чувства и ума. И добрый крокодил Гена побеждает бюрократа Ивана Ивановича умом.

Народный взгляд поверяет действительность многовековыми законами разумности, честности, совести, доброты.

С помощью представлений народной сказки, отраженных в зеркале детства, Успенский развенчивает бессердечие, лживость, то, что ненормально и глупо, как ненормален и глуп бюрократ Иван Иванович, отвечающий на любые просьбы: «Могу дать только половину», потому что за правило жизни взял осторожную половинчатость.

В обрисовке персонажей, враждебных писателю,— таких, как этот Иван Иванович, или бездушная хозяйка собачки Бобика, или подтасовщик фактов корреспондент,— добродушный комизм, юмор уступают сатирической пародии, предупреждению героям и читателю: «На десять пушечных выстрелов не подпускать к своему домику» подобных людей и подобные чувства.

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Он выпускник Московского авиационного института. Но душевная и творческая потребность говорить с детьми и воспитывать их привела его в детскую литературу.

По его признанию, главной своей задачей он считает пробуждение и воспитание гражданина. И в это воспитание входит идея дружбы, призванной передружить всех, больших и маленьких.

С ней пришли Гена и его друзья на киноэкран и вместе с лучшими современными сказками — к зарубежным ребятам. А со словами «Я ищу друзей» к советским детям пришел

«Маленький принц» Экзюпери и многие литературные сказки других стран.

Сказка — нить, связующая детей мира. Сказка — птица, несущая на своих крыльях мечту о тех временах, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Так в чем же все-таки то главное и неизменное, что позволило объединить под одной обложкой художников, столь отличающихся и вместе с тем близких?

Обратимся еще раз к повести о Биме и там отыщем ответ: «...только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом слово. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми...»

Н. Павлова

МУСТАЙ КАРИМ

Радость нашего дома

Повесть

КУДА УЕХАЛА МАМА?

Есть ли у вас на душе что-нибудь такое, о чем вы хотели бы рассказать всем хорошим людям? Наверно есть! И у меня есть. Сейчас я начну рассказывать.

Это случилось в нашем доме во время войны. Мой папа тогда вместе со всеми джигитами аула воевал на фронте, а мама работала в колхозе.

Как-то зимой моя мама попросила у председателя колхоза, дяди Яку́па, легкие сани, запрягла лошадей и привезла в гости бабушку из аула Тимерта́у[1]. Бабушка переночевала у нас, а утром мама стала собираться в дорогу. Человек не сушит сухарей, если ему недалеко ехать, а мама приготовила их целый мешок, да еще напекла разных вкусных лепешек. Потом связала какие-то вещи в узелки. Не будет же человек ни с того ни с сего связывать вещи в узелки!

Мне стало очень скучно, хотя никто еще не говорил, что мама уезжает.

— Вставай, Ямиль, вставай! — будит меня утром бабушка.— Смотри, какие вкусные лепешки испекла твоя мама.

[1] Тимерта́у — железная гора.

Когда на столе что-нибудь вкусное, меня не надо долго упрашивать. Только это у нас редко бывает.

Я быстро умылся и сел на свое место за столом. Над большим самоваром поднимался пар.

Бабушка начала разливать чай. Мама все еще хлопотала у печки, потом наконец закончила свою работу и тоже присела к столу.

За окном было темно, только чуть-чуть белел снег. Почему же мы так рано пьем чай? Я сразу вспомнил о дорожных узелках и мешке с сухарями. Но мне все еще никто ничего не говорит.

После чая мама подзывает меня к себе и тихонько гладит по плечу:

— Сын мой, Ямиль! Я уезжаю в далекий город, а ты слушайся бабушку, хорошо?

— Хорошо,— отвечаю я и киваю головой, а из моих глаз катятся слезы. Я не могу удержать их, хотя уже раньше обо всем догадался.

Мама и бабушка как будто не замечают моих слез, и я, раза два шмыгнув носом, перестаю плакать.

— Будь осторожна, доченька, смотри вперед и оглядывайся назад,— наставляет маму бабушка.— Недаром говорят: в дальнем пути человека ждет сорок бед.

Мама не отвечает. Она снимает с вешалки свою шубу, берет теплую белую шаль и начинает одеваться. Бабушка подает ей вещевой мешок. Потом мы все трое садимся и долго молчим. Только бабушка что-то тихонько шепчет про себя.

Вдруг мама поднимается с места, обнимает сначала бабушку, потом меня и, прощаясь, говорит:

— Будьте живы-здоровы!

Мне становится очень жаль маму. На дворе темно и холодно. Сейчас зима, а мама отправляется в далекий путь!

Вот она, такая маленькая и тоненькая, быстро-быстро идет к двери. На пороге еще раз оборачивается, улыбается нам, говорит «до свиданья» и открывает дверь.

Вот она вышла во двор. Я слышу ее шаги, она ступит ногой — снег скрипит: скрип... скрип... скрип...

Вот открылись и закрылись ворота. Теперь уже снег скрипит на улице. Шаги удаляются, они делаются все тише, тише. Скрип... скрип...

Мы с бабушкой остаемся вдвоем и долго молчим. Потом я спрашиваю:

— Бабушка, что такое «сорок бед»?

Бабушка вздыхает:

— Не знать бы тебе ни одной, сынок!

ГДЕ САБЛЯ БАТЫРА?

Мы живем вдвоем с бабушкой. Бабушка часто задумывается.

— Что же это нам нет ни письма, ни весточки? — говорит она.

Я уже не помню, сколько прошло ночей с тех пор, как уехала мама. За это время у нас случилось много нового: отелилась корова, а у черной рогатой овцы стало двое ягнят; один ягненок черный, другой — белый. В холодные дни мы приносим ягнят в дом. Они еще очень глупенькие, ничего не понимают. То прижмутся к раскаленной железной печке и опалят шерсть, то прыгнут на высокий сундук и упадут на пол. Когда ягнята поедят и согреются, они играют и бегают по дому.

— Эх, скотинка милая, как радуется! — говорит бабушка.

Спицы останавливаются в ее руках, она смотрит из-под очков на ягнят и показывает мне на них глазами. Клубок шерсти скатывается с ее колен на пол. Бабушка вяжет варежки для тех, кто на фронте. Я сижу на полу и прокладываю из лучинок мост между двумя валенками.

Бабушка снова начинает быстро-быстро вязать, а сама нет-нет да и взглянет на меня, приговаривая:

— Как радуются, как играют! И ягнятам весело, когда их двое. Вот если бы у тебя был брат или сестра, как было бы хорошо...

Я подбегаю к бабушке и прижимаюсь к ее плечу.

— У Фарита есть братишка, у Марата есть сестра, только у меня никого нет,— сейчас же жалуюсь я.

— А если бы у тебя была сестричка, ты любил бы ее? — спрашивает бабушка.

— О-о-очень бы любил! О-о-о! Если б у меня была сестричка!.. Я всегда носил бы ее на руках, ни разу не уронил бы. Как Марат!

Бабушка мягкой рукой гладит меня по голове. Мне хочется, чтоб она еще что-нибудь сказала, но она больше не говорит ни слова.

Я возвращаюсь к своему мостику. Но мостика уже нет. Ягнята, играя, рассыпали все лучинки. Ягнятам весело, их двое. А мне одному и играть не хочется. Если бы правда у меня была сестра! Я залезаю на сундук и сижу без дела. Сестричка, о которой говорила бабушка, встает перед моими глазами как живая. Я так ясно ее вижу. Вначале она кажется очень маленькой, а немного погодя становится такой же, как сестренка Марата — Фагима. У нее рыжие волосы, а на красном платьице нарисованы кружочки, похожие на глаза нашего гуся.

Целый день я думаю только о сестренке.

Вечером ложусь в кровать и жду, когда бабушка кончит свою

работу. Иногда так и засыпаю, не дождавшись, когда ляжет бабушка. Но сегодня я не могу уснуть. На дворе буран. Ветер ударяет в ставни, и они грохочут на весь дом.

И в такую пургу нет дома ни папы, ни мамы! Может быть, они где-нибудь мерзнут... А сестричка моя? Мне кажется, будто она около папы и мамы...

Бабушка выливает воду из самовара, вытряхивает золу. Этим она всегда заканчивает свои хлопоты за день. И вот уже погасила свет, ложится в свою постель, недалеко от меня. Я высовываю голову из-под теплого одеяла и тихонько прошу:

— Бабушка, бабусенька, расскажи сказку!

— Ты все еще не спишь, ночная птичка? — спрашивает она.

— Только одну сказку, бабуся, а потом я засну,— снова прошу я и уютно сворачиваюсь под одеялом.

В доме темно и тихо. Даже ветер на дворе как будто перестает выть. Бабушка начинает рассказывать. Ее голос становится глухим, мне кажется — он доносится откуда-то издалека... нет, не издалека, а из давних-давних времен.

— В давние-давние времена,— говорит бабушка,— жил-был на свете батыр Тимербе́к. Однажды на его страну напал царь, у которого было змеиное туловище и двенадцать человеческих голов. Царь этот привел с собой несметное войско. Тимербек вместе со всеми джигитами ушел на поле боя защищать свою страну. А дома у батыра Тимербека осталась красавица сестрица Гульну́р с лицом, как луна, с глазами, как звезды.

Однажды Гульнур со своими подругами пришла за водой к озеру. Вдруг поднялась буря, закружился вихрь. Девушки разбежались и спрятались в камышах. Когда буря утихла, девушки вышли из камышей на берег. Только Гульнур не вышла. Ее подруги обыскали все вокруг озера, искали Гульнур до вечера и не нашли. Так и не стало красавицы Гульнур, девушки с лицом, как луна, с глазами, как звезды.

Батыры-воины, прогнав царя со змеиным туловищем и двенадцатью человеческими головами, с радостью возвращались домой. Приехал домой и Тимербек. Но радость его сменилась горем. Не слезая со своего крылатого коня, батыр вложил в ножны саблю, которая могла одним взмахом достать врага за сорок верст, и поехал искать Гульнур.

Ехал батыр месяц, ехал год, семь морей переплыл, семь гор проехал. В одной горной пещере повстречался Тимербеку седовласый старик.

«Здравствуй, дедушка! Какая судьба привела тебя в эти горы?» — спросил батыр.

«Путнику — добрый путь! — приветствовал его старик.— Ты, джигит, кажется, спросил, какими путями я попал сюда? Я пришел той же дорогой, что и ты».

Тимербек слез с коня и сел на камень возле старика. Старик начал рассказывать:

«Когда я был таким же молодцом, как и ты, мою сестру похитил дракон. С тех пор я искал ее много лет и теперь наконец нашел. За этой горой есть железный дворец с золотой крышей. Там живет дракон. Но я состарился, одряхлел, и у меня уже не осталось силы, чтоб побороть дракона».

«Наверно, и моя сестра в этом дворце. Едем скорей! Как видно, у нас с тобой одно и то же несчастье»,— сказал Тимербек и вскочил на своего коня.

«Будь терпелив, джигит,— ответил старик.— Я и сам в юности был известным батыром. Но к этому дракону нельзя близко подойти. Когда он видит приближающегося к его дворцу человека, то на сорок верст изрыгает из своей пасти огонь».

Выслушав рассказ, Тимербек вынул из ножен свою саблю, взмахнул ею — и перед глазами старика от земли до неба сверкнула молния.

«Это сабля мести»,— объяснил Тимербек и рассказал старику о волшебном свойстве своей сабли.

И отправились они вдвоем в путь-дорогу. День идут, ночь идут. Наутро достигли батыры вершины высокой горы. Отсюда увидели они железный дворец. Его золотая крыша сверкала на солнце. А вокруг дворца все было черным-черно, земля превратилась в золу и уголь. Вдруг из дворца навстречу батырам с шумом вырвался огонь. Огонь все приближался и с каждой секундой увеличивался.

«Этот огонь я видел много раз,— сказал старик.— Это дракон, заметив нас, вышел из дворца».

А огонь, превратившись в огромное пламя, уже совсем приблизился к батырам. Тогда Тимербек вынул из ножен свою саблю и ударил ею по огню. Раз ударил и другой раз ударил, но пламя разгоралось все сильнее. Вот уже совсем окружил огонь батыров, опалил им лица, но не бросил Тимербек сабли своей, хоть она и накалилась докрасна.

День бился с огнем Тимербек, ночь бился. На третий день огонь ослабел. Тимербек шаг за шагом стал приближаться к дворцу дракона. За Тимербеком шел и старик. К вечеру третьего дня огонь потух, с земли поднимался черный дым. Это дымились двенадцать отрубленных голов убитого дракона.

Батыры сломали семь дверей железного дворца и вошли в него. А дворец был полон самых красивых девушек страны, похищенных драконом. И тут среди них Тимербек и старый батыр нашли своих сестер. Освободили всех пленниц и отправились домой. Радуются и веселятся они и даже плачут от радости. Да и как же им не радоваться!..

Бабушка свои сказки всегда заканчивает неожиданно. Ни-

когда не добавит, как дедушка Мансур: «До сих пор живут-поживают, добра наживают».

Я лежу и молчу. А перед моими глазами, как молния, сверкает волшебная сабля.

— Бабушка, где же теперь сабля того батыра? — не выдержав, спрашиваю я.

Бабушка неторопливо отвечает:

— В руках у твоего папы, Ямиль, та сабля... Спи уж, спи...

ПИСЬМО, КОТОРОЕ ТРУДНО ПРОЧЕСТЬ

Мама все не едет.

Однажды утром, когда бабушка вышла подоить корову, пришла тетя Гюлхылу́, письмоносец. Она оставила для мамы газету из Уфы. В этой газете я разбираю только два слова, они написаны крупными буквами: «Красная Башкирия». Тетя Гюлхылу дала мне еще небольшую, сложенную вчетверо бумажку.

— Это телеграмма от матери,— сказала она и ушла.

Я держу в руках телеграмму и не знаю, что с ней делать. Что это такое — телеграмма? Хорошее это что-нибудь или плохое?

— Бабушка, а бабушка! — кричу я и бегу к ней навстречу.— Принесли телеграмму!

— Кто? Откуда?

Бабушка смотрит по сторонам. Я отдаю ей бумагу и вижу, как дрожат ее руки.

— Боже мой, только бы не «похоронная»...— говорит она.

— Нет, бабушка, тетя Гюлхылу сказала — телеграмма от мамы.

Бабушка торопливо одевает меня и посылает за дедушкой Мансуром. Если у нас что-нибудь случается, мы всегда зовем дедушку Мансура, чтоб посоветоваться. Как он скажет, так и делаем, потому что нет ничего на свете, чего бы он не знал.

Дедушка Мансур часто говорит: «Мне уже скоро девяносто лет».

Девяносто — это очень много. Я умею считать до девяноста. У дедушки Мансура есть жена — слепая бабушка Фархуниса́. Они живут только вдвоем. У них не было сыновей, а дочери вышли замуж и уехали в другие аулы.

Моя бабушка часто говорит:

— Ты, Мансур, живешь с божьей помощью!

А Мансур отвечает:

— Если б не заботился обо мне колхоз, недалеко бы я ушел с божьей помощью, сестра.

Их разговор я плохо понимаю.

Дом дедушки Мансура рядом с нашим. Я вхожу в ворота. Дедушка Мансур подметает двор.

— Дедушка! Принесли телеграмму, иди скорей! — кричу я.

Дедушка Мансур, ни о чем не спрашивая, входит к себе в дом. Я только один разочек взбираюсь на снежную горку у крыльца, скатываюсь вниз и бегу домой.

Когда дедушка Мансур идет к нам давать советы, он всегда надевает белый чекмень[1] и подпоясывается красивым красно-голубым поясом. Иногда он приходит не один, а берет с собой и бабушку Фархунису.

Сегодня они тоже входят к нам вдвоем, взявшись за руки.

— Здравствуй! Как здоровье? Как поживаешь, сестра? — спрашивает дед Мансур бабушку и усаживает свою старуху на сундук.— Телеграмма, что ли, пришла, сказал Ямиль. Откуда пришла, от кого?

— Ямиль говорит — от Кюнбике́, но мы не можем узнать, что в ней написано,— беспокоится бабушка.

— Ну-ка дай ее сюда,— говорит дедушка Мансур и берет бумагу.— Телеграмма, сестра,— это письмо, которое посылают по проводам. Видно, Кюнбике послала.

Он долго осматривает бумагу со всех сторон.

— Прочитай уж, пожалуйста,— просит бабушка.— Сердце у меня не на месте — боюсь, не «похоронная» ли это! Ведь на войне мои дети.

— Что это не «похоронная», знаю наверняка, сестра, но вот прочитать не могу. В молодости везде я побывал, всяким ремеслам учился, и в Оренбурге был, и в Стерлитамаке, а вот разбирать написанное не научился.

Бабушка снова берет у него из рук телеграмму, то наденет, то снимет очки — так ей, видно, хочется прочитать написанное.

— Не беспокойся, кума,— вмешивается в разговор бабушка Фархуниса. Она не видит и очень редко говорит.— Не беспокойся, если это весть от Кюнбике, то, должно быть, хорошая.

— Фархуниса слепая, потому что ее глаза не видят,— говорит бабушка,— а мы с тобой, Мансур с глазами — и тоже слепые. Больно и горько. В тот год, когда начали строить колхоз, хотели меня хорошие люди научить читать и писать, а я отказалась. А вот теперь — сиди как глупая. Если б умела писать, сама бы сыновьям посылала свое благословение.

Мне очень жалко смотреть, как мучаются эти три старых человека. Хочется подбежать к ним и громко прочесть написанное. Как бы они обрадовались! Как жалко, что я все еще не хожу в школу! Если б можно было сейчас побежать в школу,

---

[1] Чекме́нь — длинная верхняя мужская одежда.

быстро научиться читать и вернуться... О, я все равно научусь читать и писать! Я буду, как мама, читать толстые-претолстые книги, а прежде всего прочту все сказки.

Бабушка Фархуниса поднимает голову и к чему-то прислушивается.

— Кума,— говорит она,— это не ребята ли проходят по улице? Ты бы пригласила кого-нибудь из них, они прочитали бы эту бумажку.

У бабушки сразу светлеет лицо.

— Ой, правда! Чего мы так растерялись, когда есть у нас школьники! А я и позабыла про них!

Она смотрит в окно, потом, накинув шаль, быстро выходит.

Возвращается бабушка с Махмутом. Я знаю Махмута, он живет на нашей улице и учится в пятом классе.

— Сыночек, прочти-ка вот эту бумажку, сегодня Гюлхылу ее оставила нам,— говорит бабушка.

Я смотрю во все глаза на Махмута. Он гордо берет бумажку:

— Это телеграмма от тети Кюнбике. В ней написано по-русски.

— Это-то мы и сами знаем,— говорит дедушка Мансур.

— Читай, сынок, читай,— просит бабушка.

Махмут читает письмо по-русски, потом рассказывает по-башкирски:

— Тетя Кюнбике пишет: «Шестнадцатого приедем, пусть на станцию шлют лошадь. Привет всем».

Бабушка сразу засуетилась:

— Раздевайся, Мансур!.. Что же ты сидишь, кума! Раздевайся, попьем чайку!..

Она вдруг останавливается посреди комнаты:

— А которое сегодня число?

— Сегодня пятнадцатое, завтра шестнадцатое. Вот... и больше тут ничего не сказано,— важно говорит Махмут и собирается уходить.

— Садись, сынок, и ты садись! — удерживает его бабушка.— С медом попьем чайку!

— Спасибо, бабушка, мне в школу пора,— говорит Махмут и уходит.

У меня даже глаза загорелись, так я позавидовал Махмуту. Эх, как он читал! Громко, слово в слово, и ни разу не запнулся. Мало этого, так еще и от чая с медом отказался!

Дедушка Мансур и бабушка Фархуниса раздеваются и садятся к столу. Я только сейчас начинаю понимать телеграмму: завтра приезжает из далекого города моя мама. Я помню, как она уезжала с большим мешком за спиной. Где она теперь? Почему сегодня еще не шестнадцатое число? Мне кажется, что мама уже входит в ворота и снег скрипит под ее ногами.

Бабушка включает радио. У нас радио днем говорит и поет по-русски, а вечером по-башкирски. Сейчас оно говорит по-русски.

— Непонятная у тебя привычка, сестра,— усмехается дедушка Мансур.— Ты ведь по-русски ничего не понимаешь, а каждый день слушаешь радио: когда ни приду, оно у вас говорит.

— Так ведь это, Мансур, сама Москва говорит. Когда слышишь голос Москвы, легко на душе,— отвечает бабушка.— Хоть я не понимаю слов, но знаю — это слова надежные.

Бабушка сдувает пепел с закипевшего самовара и ставит его на стол. Значит, теперь они уже будут пить чай.

ВОТ ОНА, МОЯ СЕСТРИЧКА!

У наших ворот останавливаются сани председателя колхоза — дяди Якупа. Мы с бабушкой прильнули к окну. С облучка слезает человек, одетый в тулуп. Я узнаю его. Это бригадир — дед Бадамша́. В санях кто-то шевелится, мелькает белая шаль моей мамы. В одно мгновение бабушка выбегает во двор. Где же мои валенки? Один я нахожу сразу, а другого нет как нет. Мне хочется заплакать, потом я, кажется, уже и плачу. Пожалуй, от моих слез валенок прячется все дальше.

Слышно, как открываются ворота. Я вспрыгиваю на сундук и приникаю к окну.

Вот мама моя... Мама вернулась, мамочка моя!

А какую же это маленькую девочку ведет она с собой? Бабушка берет девочку на руки. Дальше терпеть нет сил. Я прыгаю с сундука и в одном валенке выбегаю на крыльцо.

Мама хватает меня на руки.

— Глупенький,— говорит она,— разве зимой бегают босиком!

Я ничего не отвечаю и только крепко-крепко прижимаюсь лицом к облепленной снегом шали.

Мы входим в дом, меня и маленькую девочку ставят друг против друга.

— Вот, Ямиль, я привезла тебе сестру,— говорит мама.— Ее зовут Оксаной. Помоги ей раздеться.

Мне становится очень весело. Я обнимаю Оксану, заглядываю ей в лицо. Наконец-то у меня есть сестричка! Я не знаю, что делать от радости... Хочу поднять сестричку, но у меня не хватает сил. Бабушка и мама, улыбаясь, смотрят на нас. Бабушка гладит меня по голове:

— Не поднимай ее, Ямиль, ведь она такая же большая, как и ты.

Я снимаю с Оксаны пальто, теплую шапочку. Волосы у моей сестры не рыжие, как у Фагимы, а русые, на платье нарисованы не кружочки, похожие на глаза гуся, а бабочки с красными крыльями. И ростом она выше Фагимы. Почти с меня. А имя — Оксана! На всей улице ни у кого нет такого имени. Только почему же она все молчит?

— Мама, пусть Оксана скажет мне что-нибудь. Пусть скажет: брат!

— Она замерзла, сын мой, пусть немного отогреется, тогда все скажет. Ладно?

— Ладно...

Я беру сестру за руку и подвожу ее к сундуку. Потом достаю из-под кровати ящик со всеми моими игрушками. У меня вещей порядочно: каменный конь, деревянное ружье, маленькая тележка, ракушки, желуди, камешки, лист бумаги с наклеенными на нем картинками. А еще красновато-зеленый попугай и ножичек с железной ручкой. Вот сколько у меня игрушек! Я их все разложил на сундуке перед Оксаной.

— Бери, бери,— говорю ей,— все это отдаю тебе. Когда настанет лето, я соберу еще много красивых вещей.

Оксана опускает свои голубые глаза и молчит. Она стесняется меня. Но почему же она стесняется?

Я смотрю на бабушку, на маму. Они обе сидят около печки на скамье и, улыбаясь, смотрят на нас. Потом мама подходит и крепко обнимает нас обоих. В глазах у нее такая радость! Когда моей маме радостно, мне тоже очень хорошо. Это, наверно, бывает со всеми людьми, и с вами также.

— Играйте, голубки́ мои, играйте,— говорит мама.

Когда я был один, она никогда не говорила мне: «голубь мой», а сейчас говорит: «голубки». Это потому, что нас двое. Голубь, пожалуй, один никогда не бывает. Вон сколько голубей сделали себе гнезда на крыше нашего сарая!

«Дружные птицы: никогда не ссорятся, живут и воркуют»,— говорит про них дедушка Мансур.

Когда моя мама обняла Оксану, сестричка засмеялась и стала смелее. Она протянула руку, потрогала желуди, подержала ракушку. Потом осторожно взяла за хвост красно-зеленого попугая и чуть-чуть встряхнула его. Но сколько ни тряси, он теперь не гремит. Я уже давно сделал в его животе дырочку и вытряхнул все камешки.

Сестра моя что-то сказала, но я не понял ее слов и сейчас же переспросил:

— Что ты сказала, Оксана, что?

Но она не повторила, только широко раскрыла свои голубые глаза и стала смотреть на меня. Я почему-то испугался.

Тогда мама села рядом со мной и говорит:

— Ямиль! Твоя сестра жила в далеком городе. В том городе по-башкирски не говорят. Потому и Оксана не умеет. Но ты ее научишь, ладно?

— Ладно,— говорю я, хотя и не совсем понимаю слова мамы.

А почему в том городе не говорят по-башкирски? А как же говорят там? Далеко ли тот город? Мне хочется хорошенько расспросить, но моя сестра вдруг подбегает к маме и прячет у нее на груди свое лицо. Может быть, она боится меня?

— Мама, скажи Оксане... я ведь ее не обижаю, я ее никогда не обижу, а, мама...— прошу я.

Мама отворачивается в сторону. Она всегда делает так, когда на ее глазах слезы.

— Идемте, дорогие гости, попьем чаю. Самовар остывает,— говорит бабушка.

Нас с Оксаной сажают рядом, на самое видное место. Я отдаю сестре свою маленькую чашечку:

— Бери насовсем, Оксана! Я не возьму ее у тебя обратно!

Что ж, если так сказал — никогда и не возьму.

Дедушка Мансур уже услышал о приезде мамы и Оксаны; он пришел к нам с бабушкой Фархунисой.

— Если шестилетний приезжает, шестидесятилетний должен прийти повидаться с ним: так учили нас старики,— говорит с порога дедушка Мансур.

Вскоре приходят еще гости — дядя Шагит, Сагида́ и другие. В этот день в гости к нам приходили все люди с нашей улицы. Они брали Оксану на руки, ласкали ее.

— Вот и у Ямиля теперь есть сестра. Какое красивое дитя! — говорит наша соседка, тетя Минликей.— Пусть будет здорова и счастлива.

Тетя Минликей дает нам обоим по горсти сушеной черемухи. Таскира́, дочь деда Бадамши, приносит Оксане магазинную куколку в платьице и с платочком на голове. Оксане очень нравится эта кукла. Она учит ее ходить и прыгать.

До самого вечера все приходят люди. Когда в доме много народу, мне всегда очень весело. Вам, наверно, тоже?

Потом гости разошлись. Я сижу на коленях у мамы, а бабушка расчесывает Оксане волосы.

— Волосы у дочки стали жесткими, надо завтра баню ей истопить,— говорит бабушка.

Мне хочется поговорить с Оксаной. Но как это сделать, если она все равно не понимает моих слов! Почему она не понимает? Раньше не было сестры, а теперь она есть, но с ней нельзя даже поговорить...

— Ямиль...— вдруг говорит Оксана.

Я даже пугаюсь в первую минуту.

— Ямиль...— немного подумав, повторяет моя сестра.

Как хорошо, как красиво она говорит!

Я спрыгиваю с маминых колен и беру Оксану за руки.

— Скажи еще! Скажи! — прошу я.

Она улыбается мне, но молчит.

— И птица учится петь постепенно. Оксана тоже научится говорить, дитя мое,— успокаивает меня бабушка.

На дворе темнеет. Оксане уже хочется спать. Мама составляет вместе стулья и делает ей постель.

— Сегодня уж поспит так, а завтра мы внесем ей кроватку,— говорит бабушка.

Оксана ложится и сразу засыпает. Я сажусь около и все смотрю на свою сестричку. Потом кладу голову на краешек ее подушки и тоже засыпаю. Сквозь сон я слышу, как мама осторожно раздевает меня и укладывает в постель.

ОКСАНА ПУГАЕТСЯ

Бабушка давно уже уехала к себе в Тимертау. Мы живем втроем: я, мама и Оксана. Мама целый день работает возле колхозного амбара — очищает семенную пшеницу. Когда настанет весна, эту пшеницу посеют. В прошлом году мы с ребятами ездили на ближнее поле и видели, как сеют пшеницу. В одну сеялку запрягают двух лошадей, а если пускают трактор, он тащит сразу несколько сеялок. Вот какой сильный трактор! Мы это сами видели.

Мама приходит среди дня, чтобы сварить обед и покормить нас с Оксаной. Она всегда очень торопится и, как только мы поедим, опять уходит. Мы с сестрой остаемся одни и тоже начинаем работать — подметаем пол, моем чашки...

Оксана теперь уже привыкла ко мне и даже немного научилась со мной разговаривать. А вначале нам было очень трудно понимать друг друга. Я каждый день учу Оксану говорить по-башкирски. Она показывает на какую-нибудь вещь и спрашивает:

— Что это? Как называется?

И сейчас уже многое знает сама.

Оксана познакомилась с Фаритом, Маратом и Фагимой. Мы вместе катались на санках. Теперь уже с каждым днем становится теплее. Недавно наши матери праздновали свой праздник — Восьмое марта. Скоро придет весна.

Иногда мама оставляет нас у Марата и Фагимы. Мы вместе играем в жмурки, бегаем по комнате, прыгаем прямо с печки на пол.

— Потише бегайте! Что вы стучите, как будто у вас пятки каменные! — говорит нам бабушка Марата.

Она не похожа на нашу бабушку и очень не любит, когда шумят. Может быть, у нее болит голова?

Оксана и Фагима назвались подругами. Так и должно быть, ведь в прошлом году мы с Маратом тоже дали друг другу обещание дружить. Теперь мы с Маратом взяли сестричек за руки и три раза спросили:

— Подруга ли?

И каждая из них три раза ответила:

— Подруга!

На нашей улице все девочки и мальчики делают так, когда хотят подружиться.

Сегодня мы с Оксаной одни дома. На улице очень ветрено. Ветреный день я всегда узнаю по березке в дальнем углу сада, ее видно из окна. Когда ветер сильный, береза начинает качаться, как будто вот-вот сломится и упадет. Ее голые ветки бьются о наш забор, и мне кажется, что дереву больно. Я сержусь на этот ветер за то, что он мучает бедную березу...

Мы вместе с Оксаной смотрим в сад. Из трубы дома деда Мансура поднимается серый дым и стелется по земле. Может быть, он согреет нашу березу?

Я вспоминаю одну свою тайну, которую давно-давно храню про себя. Я хотел рассказать о ней Оксане, когда растает снег и настанет весна, но не могу выдержать и тихонько говорю:

— Оксана! Когда настанет весна, я подарю тебе целый дворец сокровищ!

Сестра смотрит на меня удивленными глазами. Она, наверно, никогда не видала сокровищ.

— Вот видишь — сад,— говорю я.— Это не простой сад, в нем растут серебряные деревья с золотыми листьями. В этом саду день и ночь поют разные птицы, сладко пахнут цветы и на ветках висят большие медовые яблоки. Там, среди деревьев, есть одна береза, под березой — каменный дворец, а во дворце спрятано сокровище одного сказочного мальчика. Сокровище это — чудные игрушки. Когда настанет лето, этот мальчик приведет к березе маленькую сказочную девочку, отроет из-под земли каменный дворец и скажет: «Вот, сестричка, все, что есть в этом дворце,— твое. Играй и радуйся, пусть у тебя никогда не будет печали!»

— Это сказка? — спрашивает Оксана.

Я нехотя киваю головой.

— Мне не хочется, чтоб это была сказка, пусть это будет правда,— просит моя сестра.

— Глупенькая! — говорю я.— Ведь мальчика зовут Ямилем, а девочку Оксаной!

Оксана весело смеется:

— Расскажи еще, Ямиль!

— В этом саду,— продолжаю я,— мы повесим на деревьях красные флажки и летом сделаем там пионерский лагерь, совсем как на реке Серебряной. Придут Фарит, Марат и Фагима. Мы будем петь песни... Давай сейчас попробуем спеть песню!

— Давай,— говорит Оксана.

Мы смотрим в окно на наш сад и громко поем:

Придет весна, придет весна!
Растает снег, растает снег,
И сразу вырастет трава!
Мы пойдем в наш сад.

С песней войдем мы в сад!
Мы повесим флажки, повесим флажки!
Мы лагерь сделаем, как у реки,
Как у Серебряной реки...

— И птицы пусть живут в нашем лагере. Они красиво поют,— говорит Оксана.— Мы не будем их пугать, ладно?

— Нет-нет, мы не будем пугать птиц! Не будем бросать в них камешки и кричать «киш»! Правда, Оксана? Только коршуна будем прогонять, потому что он ворует цыплят.

Ветер вдруг сильно ударяет в ставни, они громко хлопают. Оксана испуганно вскрикивает: глаза ее широко раскрываются и делаются совсем темными, лицо белеет, губы мелко-мелко дрожат.

— Оксана, Оксана, что ты?

Ставни хлопают еще и еще раз. Оксана бросается на кровать и зарывается головой в подушки...

Чего она так испугалась? Я смотрю в окно — на дворе темнеет. В сумерках видно только, как ветер качает нашу березу да у забора, разбрасывая рыхлый снег, катается в сугробе пестрая собака тети Сагиды.

Я подбегаю к сестре и тоже утыкаюсь головой в подушку:

— Оксана! Чего ты испугалась, моя сестричка?

Оксана закрывает ладонями уши и, забившись в угол кровати, быстро шепчет:

— Беги, Ямиль! Скорее, скорее! Там на дворе фашист... Он стреляет из ружья... Он убьет нас... Спрячемся, спрячемся скорей, Ямиль!

Страх Оксаны передается и мне. На дворе темно. Ветер бьется в ставни, а нашей мамы нет дома. Но фашисты далеко, это я хорошо знаю... Я спрыгиваю с кровати и достаю из ящика свое деревянное ружье.

— Видишь это, Оксана? — громко говорю я сестре.— Пусть только попробует прийти сюда фашист! Все отцы сейчас сра-

жаются с ним на фронте, как же он может сюда прийти! Не бойся, Оксана, не бойся ничего!

— А кто же там стреляет, Ямиль? — шепотом спрашивает сестра.

— Это ветер, ветер... Ведь ставни и раньше хлопали, только тогда было светло, и поэтому ты не боялась.

Оксана опускает руки и смотрит то на дверь, то на окно. Мы сидим вдвоем за подушками, прижавшись к спинке кровати.

— Оксана,— говорю я,— ничего не бойся, когда ты со мной. Я всегда буду тебя защищать. А когда вырасту и стану сильным, как батыр Тимербек, я буду побеждать всех фашистов. И если в то время, пока я буду драться, тебя украдет дракон, я все равно найду тебя и освобожу. Ты не бойся, ладно?

— Ой, не нужно, не нужно! Ты никуда не уезжай, Ямиль!.. А кто это дракон?

— Дракон — это о-очень большой змей.

— А что такое змей?

— Змей! Ну, это просто змей. Он кусается, жалит.

Оксана снова затыкает пальцами уши и мотает головой:

— Не надо, пусть не кусается, я боюсь!

— Глупенькая ты, ведь я его зарублю саблей.

— Не нужно, я боюсь, он может меня съесть!

— Нет, дракон не ест. Это только серый волк ест людей, он съел девочку в красной шапочке. А если волк съест тебя, я убью его, я распорю ему живот, я этого волка...

Оксана все еще дрожит и прижимается к спинке кровати.

В доме уже совсем темно, около дверей чуть-чуть белеет печь. И вдруг раздается спокойный голос. Я не понимаю, что он говорит, я узнаю только одно слово — «Москва». И мне сразу становится легко.

— Оксана,— кричу я,— это радио, это Москва!

Я делаюсь очень смелым, спрыгиваю с кровати и гляжу в окно. Вот раскрываются наши ворота, кто-то быстро-быстро бежит к крыльцу. Это наша мама! Только мама так торопится домой,— она знает, что мы всегда ждем ее.

СОН МОЕЙ СЕСТРЫ

Я очень люблю весну. И Оксана любит. И вы, наверно, тоже. А как радуются весной ягнята! Вы бы посмотрели, как они весело играют! Белый ягненок ходит около завалинки и во все тыкается носом, маленький хвостик его все время шевелится, а черный ягненок, постукивая копытцами, карабкается на крыльцо и оттуда прыгает вниз. А потом оба братца расходятся в разные стороны и, нагнув вниз головы с маленькими рожками, бегут

навстречу друг дружке и стукаются лбами. «Рога у малюток чешутся»,— говорит дедушка Мансур.

Дедушка Мансур очень добрый, он любит не только маленьких детей, но и всех маленьких животных. Поэтому-то он и называет ягнят, как детей, «малютками».

Очень добрый человек дедушка Мансур, он не любит злых людей и наших врагов, фашистов,— он сам говорил об этом.

Двери нашего сарая широко раскрыты. Все вышли на солнышко. Около сада бегает желтый теленок, который родился еще тогда, когда мама уезжала в другой город. Он вырос и играет один. По двору ходят гусак и гусыня; за ними, переваливаясь с боку на бок, спешат маленькие гусята, похожие на желтые пушистые клубочки.

Гусак и гусыня водят гусят по двору и что-то им рассказывают.

Когда мама дома, мы с Оксаной берем гусят в руки — подержим немножко, погладим и отпускаем, а то они начинают пищать, и гусыня очень беспокоится. Одного гусенка Оксана напоила водой с ладони.

Одному, самому красивому из этих гусят, я дал имя «Оксана». Но об этом я никому тогда не сказал и вам говорю только по секрету. Этого гусенка я узнаю даже издали: вот он стоит на камешке и поворачивает голову то в одну, то в другую сторону, греется на солнышке.

А куры-то, куры! Они ходят по всему двору и поют песни.

Как весело, когда на земле весна! Все радуются, все играют, все поют...

Мы с Оксаной сидим на бревнах около нашего сада. С этих бревен видно ближнее поле. На этом поле мама сеет пшеницу.

— Ямиль, погляди! Во-он за первым трактором кто-то стоит на сеялке. Это, пожалуй, наша мама! — говорит мне Оксана.

Я смотрю — верно, это наша мама!

— Оксана,— говорю я,— давай будем сидеть, взявшись за руки.

Сестра моя сейчас же протягивает мне руку. Весной ее голубые глаза стали еще светлее, а мелкие веснушки на носу светятся на солнце. Мама, наверное, видит нас издали и думает про себя: «Вот где мои дети уселись!»

— Мы тоже будем сеять пшеницу, когда вырастем. Ладно, Оксана?

— Конечно, Ямиль! Ты будешь управлять трактором, а я буду, как мама, стоять за сеялкой,— говорит Оксана, вскакивая на бревно и вглядываясь в черное поле, где гудит трактор.

Она долго стоит так, прикрывшись от солнца рукавом. Потом снова садится рядом со мной, и лицо ее делается очень грустным.

— Ямиль! У нас ведь была еще одна мама,— тихонько

говорит мне Оксана.— Я знаю, что она была, только это где-то далеко-далеко... о-очень далеко...

— В сказке, да? В давнее-давнее время, да, Оксана?

Оксана качает головой.

— Нет, не в сказке... И та мама была тоже очень хорошая...

Я не понимаю, что говорит Оксана. Как это у нас могут быть две мамы! Ведь у каждого человека только одна мать и один отец. Что же она говорит, моя сестра! Я боюсь, как бы она не заплакала. Но Оксана не плачет. Она спокойно сидит рядом со мной. Ветер треплет алую ленточку в ее волосах. Эта ленточка похожа на флажок, который висит над клубом. Я смотрю на Оксану и думаю о ее словах: «Я знаю, что она была, только это где-то далеко-далеко...»

Кто же эта мама и почему она так далеко? Один раз Оксана уже говорила мне о ней, я очень удивился и даже спрашивал об этом свою маму.

«Оксана, наверно, рассказала тебе свой сон»,— ответила тогда мама.

Почему моей сестре приснился такой непонятный сон?

Мне хочется сказать Оксане что-то хорошее. Я вспоминаю вдруг белую березу в нашем саду.

— Пойдем в сад, Оксана! Я тебе отдам насовсем все сокровища, которые зарыты под березой. Ты очень удивишься, когда увидишь их.

Оксана смотрит в сад:

— Под березкой еще и земля не совсем просохла.

— Ну что же! Солнце скоро высушит землю. Пойдем скорей, Оксана!

СТРАШНЫЙ ГУСАК

Взявшись за руки, мы идем в сад. Под нашими воротами показывается рыжая голова. Я сразу узнаю сестру Марата — Фагиму. На нашей улице только одна такая рыжеволосая девочка, поэтому Фагиму ни с кем нельзя спутать. Вот она ловко ползет на животе, вылезает из-под ворот и вскакивает на ноги. Не одна Фагима знает эту лазейку, мы все лазим под воротами, так как крючок на нашей калитке прибит очень высоко и мы не можем ее открыть. Даже Марат не достает до этого крючка, но Марату уже восемь лет, поэтому он не хочет ползти на животе под воротами, а перелезает через забор.

Оксана увидела Фагиму и громко рассмеялась. Каждый радуется, когда приходит друг.

В обеих руках у Фагимы по бумажной галке. Одну она сует мне, другую — Оксане и быстро-быстро говорит, сильно картавя:

— Малат всем четвелым сделал четыле галки. Когда птички полетят, будет здолово весело!

Фагиме уже шестой год, а она все еще картавит. Даже взрослые удивляются этому.

— Смотлите! — кричит Фагима и пускает Оксанину галку.

Бумажная птица вспархивает вверх и плавно летит. Фагима прыгает, а Оксана даже в ладоши хлопает от радости.

Я отдаю Оксане свою галку. Сестра моя взбирается на бревна и, размахнувшись, бросает птицу вверх. Бумажная галка переворачивается в воздухе и неожиданно опускается прямо на гусенка, который греется на камешке. От испуга гусенок падает на землю. Я не успеваю понять, что случилось, как Оксана уже бросается к гусенку и, присев на корточки, протягивает к нему руки.

— Ой, маленький, он ушиб ножку! — говорит она.

В это время сердитый гусак, громко шипя, налетает на Оксану, размахивая крыльями, бьет ее по спине и валит на землю. Сестра моя громко кричит. Фагима плачет. Я бросаюсь к гусаку и хватаю его за крыло. Гусак больно кусает мой локоть. Крыло вырывается у меня из рук; сердитый гусак, разлетевшись, бьет меня обоими крыльями. Я падаю и вижу близко от себя мутные, злые глаза гуся. Больше я уже ничего не вижу и не слышу, обеими руками закрываю лицо и, свернувшись калачиком, прижимаюсь к земле. Я не кричу и не плачу. У меня нет привычки плакать, когда мне очень больно. Я крепко стискиваю зубы, а гусь щиплет и рвет меня.

Кто-то поднимает меня и ставит на ноги. Я открываю один глаз и вижу дедушку Мансура. Вокруг него бегают Марат, Фарит и Фагима, а Оксана все еще сидит на земле и плачет. Я знаю — она жалеет меня.

— Открой-ка, сыночек, оба глаза,— говорит мне дедушка Мансур.— Вот вражья птица! Чуть не погубила ребенка.

От этих слов и еще оттого, что моя зеленая рубашка разорвана в клочья, мне хочется плакать.

— Сколько я говорил Кюнбике — не гусак это, а зверь... У ребенка могло разорваться сердце...

Голос у дедушки Мансура такой ласковый, что мне хочется крепко-крепко обнять его. А Марат стоит рядом и презрительно улыбается.

— Один раз меня укусила бешеная собака — и то сердце не разорвалось. Если б ваш гусь напал на меня, я бы оторвал ему голову.

— Отолвал бы! Сам даже петуха боишься!..— кричит брату Фагима.

— А ты не вмешивайся в разговор старших! Иди играй в куклы,— обрывает ее Марат.

— Фагима говорит правду — ты хвастун! — храбро заявляет Фарит.

Марат быстро поворачивается к нему, и я вижу, что кулаки его сжимаются:

— Я, да?

— Ты!

— Эй вы, осенние петушки! Киш! Киш! — разъединяет их дедушка Мансур.— Играйте мирно. И тебе, дочь моя Оксана, хватит уже плакать. Сейчас придет с поля мама.

Дедушка Мансур идет к воротам.

— Не ссорьтесь, дети! — добавляет он, оглядываясь на нас.— Ведь завтра первомайский праздник. Это праздник дружбы!

ЯБЛОНЬКИ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Завтра Май! Мы сразу забываем свои неприятности, и, взявшись за руки, все пятеро кружимся и кричим:

— Завтра Май! Завтра Май! Завтра Май!

— Тетя Таскиля возьмет меня с собой на плаздник,— говорит Фагима.

— А мы пойдем сами, мама нас отпустит! Мы будем нести красные флаги! — радуется Оксана.

— Давайте пойдем все вместе! Все пятеро... нет, шестеро! Пусть пойдет и мой братишка Зама́н,— предлагает Фарит.

Наш друг Фарит любит ходить со всеми вместе и не старается чем-нибудь выделиться, как Марат.

— А кто же будет у нас за главного? — спрашиваем мы друг друга.— За бригадира или звеновода, хоть понарошку?

— Не понарошку, а на самом деле. И не звеноводом, а вожатым называется в отряде самый главный. Эх вы, детишки! Этого-то не знаете! — гордо заявляет Марат.

«Детишки»! Этим словом он хочет напомнить нам, что ему исполнилось восемь лет.

А Фагима и Оксана не обращают на это внимания.

— Пусть вожатым будет Фарит! — говорят обе подружки.

Марат обижается, а я молчу.

— Ребята! Давайте тянуть жребий,— предлагает Фарит,— кто вытянет, тот и будет вожатым!

Жребий так жребий! С этим согласен и Марат.

— Только как же Заман? Ведь и он может вытянуть жребий!

— Заман мне братишка,— заявляет Фарит.— Пусть за него тянет Марат. Согласны?

Марат идет в сарай и приносит длинный прутик, оставшийся

после плетения гусиных гнезд. Мы начинаем тянуть жребий. За нижний конец прутика держится рука Фарита, вслед за ним обхватывает прутик рука Фагимы, потом Оксаны, потом моя, потом обе руки Марата — одна за себя, другая за Замана.

Когда мы тянем жребий, Марат всегда выигрывает, его рука оказывается на самом верху прутика. Кто знает, почему ему так везет! Может быть, он как-нибудь хитрит? Только и на этот раз рука Марата оказывается сверху. Подняв прутик, он сразу отбрасывает его в сторону.

— Только пусть Малат меня не тлогает, ладно? — беспокоится Фагима.

— Вожатый не тронет, ты должна это знать, только не болтай слишком много, картавая! — громко говорит Марат.

На этот раз он не хочет обидеть сестру, просто говорит громко, потому что вожатый. Мы тоже больше не спорим и готовы его во всем слушаться.

Марат берет нас за рукава и выстраивает в ряд: впереди всех он ставит Фарита, за ним Оксану, потом меня, а позади Фагиму. Сам становится сбоку и командует:

— Вперед! Раз, два, три! Раз, два, три!

Наш отряд шагает. Одна Фагима загляделась на играющих ягнят и не слышит команды. Потом взмахивает руками и, переваливаясь на толстых ножках, догоняет нас у ворот.

— Раз, два, стоп! — командует наш вожатый.

Мы плохо разбираемся в его команде и останавливаемся не сразу.

— Говорю же вам — стойте! Шаг на месте! Раз, два! — кричит Марат.

Ворота вдруг открываются, и мы видим маму. Она несет маленькие деревца; тоненькие ветки их колышутся у нее над головой, мохнатые корни свисают вниз. Лицо у мамы загорелое, на лбу блестят капельки пота.

— Это что за войско? — удивляется мама.

Мы отвечаем все вместе:

— Завтра Май! Марат наш вожатый!

Мама смотрит на меня, и понемногу улыбка сходит с ее лица.

— А ты, Ямиль, на каком это фронте был? — с беспокойством спрашивает она. Я опускаю голову и молча разглядываю свою порванную рубашку. Оксана с Фагимой, перебивая друг дружку, рассказывают о гусаке. Марат важно добавляет:

— Если б не было меня и деда Мансура, совсем пропал бы Ямиль!

Мама кладет на землю деревца, оглядывает меня и Оксану со всех сторон и мягко говорит:

— Глупенькие! Разве можно так делать? Ведь все защищают своих детей: и люди и птицы. Гусак бросился выручать своего

гусенка, потому что Оксана взяла его на руки. Никогда не трогайте гусят.

Мама показывает нам деревца:

— Вот я принесла яблоньки. Сегодня кончили сеять пшеницу, и после обеда я не пойду в поле. Сейчас попьем чаю и будем все вместе сажать в саду деревца...— Мама обращается к Марату: — И ты, вожатый, приходи со своим отрядом.

— Ладно, тетя Кюнбике,— отвечает Марат и вместе с Фаритом и Фагимой выходит на улицу.

Мама, улыбаясь, глядит ему вслед, потом быстро нагибается и обнимает меня и Оксану.

— Дети мои, голубки мои! — приговаривает она, целуя то меня, то сестренку.

* * *

Напившись чаю, мы выходим в сад. Мама берет большую железную лопату, а нам дает грабли. Мы с Оксаной тащим грабли за собой.

В саду мама подходит к грядке, где в прошлом году росла свекла, и сгребает граблями сор. Мы с Оксаной относим этот сор к забору.

Потом мама распрямляет спину, отбрасывает назад упавшую на грудь косу и берется за лопату.

— Теперь я буду копать,— говорит она,— а вы возьмите грабли и сгребайте сор с других грядок.

Мы с Оксаной принимаемся за дело. Мама копает. Лопата ее глубоко режет землю. Перед посадкой деревьев нужно выкопать большие ямы, чтобы корням было свободно. Вчера дедушка Мансур тоже так делал. Он посадил яблони и вишни. Мы с Оксаной смотрели, как он работает.

— Дети! — сказал нам дедушка Мансур.— Я уже стар и, пожалуй, не увижу плодов этих деревьев. Но вы-то их увидите. Вот что меня радует.

Дедушка Мансур врезал лопату в землю и выпрямился, держась за поясницу.

— Человек не должен жить на земле только ради себя,— сказал он.— Вот смотрите на солнце, оно согревает всю землю...

Мы с Оксаной слушали его и, заслонив глаза ладонями, глядели на небо.

На этом большом небе прямо над нами стояло солнце. Оно было маленькое, но такое светлое и горячее, что согревало всю землю...

Мама копает молча: она не любит разговаривать, когда работает. Лопата так и мелькает в ее проворных руках, а когда мама нагибается, монетки, заплетенные в ее косы, звенят.

Мы с Оксаной тоже работаем. Но дело у нас идет не так

хорошо, как у мамы: почему-то грабли плохо сгребают сор.

На улице кто-то свистит. Только Марат умеет так сильно свистеть. Конечно, это он. Вот его голова появляется над забором, но, увидев маму, Марат быстро сползает вниз. При маме он боится перелезать через забор.

Фарит, Фагима и маленький Заман появляются из-под ворот. За ними вылезает и Марат. Нашему вожатому тоже пришлось лезть этим путем. Раньше всех к нам подбегает Заман. Ему только недавно исполнилось четыре года, но он такой рослый крепыш, что его шапка велика даже мне.

— Тетя Кюнбике! — кричит он моей маме.— Сегодня у нас упал со стола наперсток и закатился в щелочку пола. Вот мы искали, ой как искали! Так и не нашли — далеко спрятался.

Заман смешно взмахивает руками и бежит дальше по дорожке. Мама, не отрываясь от работы, кивает ему головой и смеется.

— А мне бабушка Сибэ́л сшила новое платье к майскому празднику,— хвалится Фагима.

Марат с упреком смотрит на свою сестру и сообщает громко:

— Фагима говорит о платье, а о том, что мы получили письмо от папы, не говорит. А мы, тетя Кюнбике, вот только сейчас получили письмо! Папа пишет: «Мы побеждаем врага, война уже кончается».

— И от нашего папы утром пришло письмо,— быстро говорит Оксана.

Мама перестает копать и, опершись на лопату, смотрит на нас. В глазах ее светится радость. Когда мама чему-нибудь радуется, все лицо у нее делается светлым.

«В сердце моей дочери нет пятнышка,— часто говорит бабушка.— Все, что она чувствует, отражается на ее лице, как в зеркале».

— Приходит праздник, дети, на нашу улицу, приходит праздник. Большой праздник Победы! — говорит мама, и ее слова звучат для меня как очень хорошая песня.

Мама улыбается, а в глазах у нее, как капли росы, стоят слезы.

— Сейчас будем сажать яблони. Когда станете взрослыми, вы скажете маленьким детям: «Эти яблони, ребята, мы сажали в год победы над фашистами. Это яблони победы». Идите возьмите каждый по одному деревцу и несите сюда.

Мы приносим яблоньки. Мама ставит деревца в ямки и нам троим, большим мальчикам, велит их держать, а сама забрасывает землей свежие корни.

Оксана с Фагимой стоят и во все глаза смотрят, как мы сажаем яблони. Заман крутится между нами, хватается за деревца, которые мы держим, горстями бросает в ямку землю.

— Вот, по крайней мере, Заман берется за все! На все руки мастер! На все дела у него есть время. Только не хватает ему времени вытереть нос,— шутит мама.

Заман сейчас же вытирает свой нос рукавом. Мы громко смеемся. И нельзя не смеяться: у Замана на груди есть платочек, он пристегнут булавкой к его курточке. Зачем же вытирать нос рукавом!

Заман догадывается, над чем мы смеемся, и опять вытирает нос, на этот раз платочком. Что ни говори, ребенок и есть ребенок, что с него спросишь!

Наконец все деревца посажены. Их уже нельзя отличить от тех деревьев, которые росли здесь раньше.

Мы стоим возле молодых яблонек. Я считаю: одна, две, три, четыре, пять. Всего пять деревьев. Про себя думаю: «Одно дерево — папе, второе — маме, это — Оксане, а вот это — мне. А пятое кому?»

— Кому же достанется пятая яблоня? — спрашиваю я.

— Как — кому? — улыбается мама.

— Четыре яблони нам четверым, а пятая кому?

Мама перестает улыбаться и отвечает мне серьезно, как будто немного сердится:

— Не привыкай, мой сын, делить. Все это наше, общее. Вот и большой сад на Бычьем лугу — тоже наш общий сад.

— Этот сад не только ваш, тетя Кюнбике, его сажала и моя мама,— говорит Марат,— и я там посадил четыре дерева.

— Потому я и говорю, что это наш общий сад. Сад колхоза.

Оксана ласково теребит мамины пальцы.

— Мама...— говорит она.

— Что, доченька? — Мама нагибается к Оксане.

— Пусть это будет не вправду, а шутя... Кому достанется пятая яблоня?

Мама обнимает Оксану:

— Если уж и дочке моей хочется поделить, хоть и не вправду, а шутя, то скажу: пятая яблоня будет для приезжего гостя. Хорошо?

Ну конечно! Как это я сам не догадался! Мы сейчас живем втроем, а стульев у нас пять. Чашек — двенадцать, тарелок и ложек — еще больше. Для кого же все это? Теперь-то я понимаю — для гостей! Мы очень любим, когда приходят гости. Недавно дедушка Мансур сказал: «Кто не видит в своем доме гостя, тот не знает радости».

— А теперь идите играйте,— говорит мама.— Большое спасибо вам, дети, за помощь!

— Тетя Кюнбике, и мне спасибо, да? — спрашивает Заман.

— Заману самое большое спасибо! — говорит мама, целуя его.— Ты очень хорошо работал сегодня, Заман!

— Да! — важно соглашается Заман.

Перед тем как выйти из сада, я побежал посмотреть на свою березу. Возле нее еще не просохла вода. Там, под водой, находится мой дворец сокровищ. Ничего не поделаешь, теперь придется ждать, когда сойдет вода.

Еще раз я остановился возле посаженных нами яблонь, выбрал самую красивую яблоньку и решил про себя: «Это будет Оксанина яблонька». И чуть-чуть погладил ее. В воротах я догнал Оксану и всех ребят. Мы взялись за руки и побежали по переулку дедушки Тимербулата на Полевую сторону. Полевая сторона — это большой выгон за нашей усадьбой. Летом там пасется молодняк — телята, ягнята, жеребята. Когда мы были уже далеко, я обернулся и увидел маму — она стояла у ворот, опираясь на лопату, и смотрела нам вслед.

БАШМАКИ С КИСТОЧКАМИ

— Стадо идет!

С горы Казангу́л спускается стадо и поворачивает на улицу. Впереди бегут козы, за ними, толкаясь, спешат овцы.

Вот как мы заигрались на Полевой стороне — уже стадо возвращается!

Мы побежали домой.

Наши ворота открыты. Они всегда широко открыты в то время, когда приходит стадо. Я и Оксана вбегаем на крыльцо, и что же мы видим? На крыльце, у самой двери, стоит палочка. Черная, деревянная, с медным наконечником. Чья же это палочка, как вы думаете? Палочка бабушки из Тимертау, вот чья!

Нам так захотелось скорей увидеть бабушку, что мы не стали трогать палочку и вбежали в дом.

Бабушка наша в красивом красном камзоле[1] уже сидела за столом. Оксана и я повисли у нее на шее — ведь мы не видели бабушку с самого мартовского праздника!

— Здравствуйте, мои дорогие, мои умники! — говорит бабушка и вынимает из кармана два яичка.

Она дает нам по яичку, потом достает что-то завернутое в бумагу. Нам очень интересно, что там, в бумаге. Бабушка разворачивает сверток — в нем оказываются маленькие птички из теста. Вместо глаз у птичек — ягоды черемухи. Таких жаворонков умеет печь только бабушка. Мы с сестрой получаем по две птички и, усевшись на сундук, сразу откусываем им хвосты. Я съедаю своих птичек быстрее, чем Оксана. Мама

---

[1] Камзо́л — короткая одежда без рукавов.

и бабушка с улыбкой смотрят на нас, переглядываются, потом мама уходит в комнату за перегородку. Она возвращается оттуда очень скоро, держа что-то за спиной.

— Это кому? — спрашивает мама, кивая головой в левую сторону.

— А что там, мама?

— Сами увидите,— говорит бабушка.— Отвечайте скорей.

У меня даже дыхание захватывает: что это может быть у мамы?

— Говори ты, Оксана: это кому? — переспрашивает мама.

— Ямилю!

— А в той руке — Оксане! — выпаливаю я.

Мама тут же протягивает нам по паре новых кожаных башмаков.

— Это принесла вам бабушка в подарок к майскому празднику,— радостно говорит мама.— Скажите спасибо.

Мы сразу поворачиваемся к бабушке и вместе говорим:

— Спасибо тебе, бабушка!

Мама берет у меня из рук один башмак и показывает бабушке подошву:

— Они сделаны в Москве! Видишь: «Москва, фабрика «Парижская коммуна».

Мама возвращает мне башмак. Ох, если бы вы видели эти башмаки! Я в своей жизни не видел более красивых. Блестящие, желтые, кожаные, с красными кисточками! Вот это башмаки так башмаки!

— Ну-ка, дети, наденьте их. Подходят ли они? — говорит бабушка.

Мы торопливо снимаем старые башмаки.

— Подождите,— останавливает нас мама,— пусть уж все будет новое. Там, на крыльце, стоит таз с водой, помойте ноги и наденьте новые чулки.

Держа в руках башмаки, мы выходим на крыльцо, садимся на ступеньку и опускаем ноги в таз.

— Когда мы будем большими, мы купим бабушке теплые, мягкие туфли. Ладно, Ямиль? — говорит сестренка. Она надела свои башмаки на руки и разглядывает их.— Смотри, смотри, как красиво!

— Когда я буду большой, я стану шофером и повезу на машине бабушку, маму, папу и тебя в город, в кукольный театр,— говорю я.

— А я, когда вырасту, сошью бабушке новый камзол. На швейной машинке буду шить, тик-тик-тик-тик...— Оксана показывает, как быстро будет стучать машинка.

— Ты, Оксана, и шубу тогда бабушке сшей, ладно? А то у нее уже старая.

Мама стучит в окно и машет нам рукой. Мы еще немножко ходим босиком по чисто вымытому крыльцу, оставляя мокрые следы, потом вытираем ноги и бежим в дом обуваться.

— Что вы там, утонули в тазу, что ли? — говорит мама.

Вот так сказала! Разве можно утонуть в тазике с водой.

— Обувайтесь, обувайтесь! — торопит нас бабушка.— В этих башмаках ноги сами запросятся плясать, вот увидите!

Ну вот, мы и надели наши обновки и медленно ходим по комнате. Кисточки на башмачках Оксаны ударяются друг о друга, как будто хлопают в ладоши.

Мне хочется выйти на улицу, пройтись по всему селу, а потом побежать далеко-далеко по той широкой дороге, где ходят машины. Так бы и взял сейчас сестренку за руку и побежал! Ногам не терпится... Может быть, это башмаки-скороходы, как в сказке?

— Тебе хочется выйти на улицу? — спрашиваю я Оксану.

— Хочется. Идем!

Но мама усаживает нас на сундук.

— Вот уже солнце ушло за гору. Куры на насестах спят, и ягнята спят,— тихо и ласково приговаривает мама.— Завтра вы встанете рано-рано, увидит солнце ваши новые башмаки и станет удивляться: ай, какие красивые башмаки у детей!..

Я очень люблю слушать, когда мама так приговаривает. И все-то она знает, даже то, что скажет солнце. Ну, да ведь она — мама!

— А луне покажем башмаки? — спрашивает Оксана.

— А луна сама заглянет в окно, как только вы ляжете спать.

— А звездам?

— А звезды далеко, они не увидят. Им потом расскажет луна: вот какие башмаки я видела у детей, это бабушкин подарок! И звезды, услышав такую радостную весть, загорятся еще ярче.

Когда мама рассказывает эту сказку, мне кажется, что мы с Оксаной шагаем в своих новых башмаках среди звезд.

Уже совсем темно, а мы все не ложимся. Скорей бы наступало утро! Мы пошли бы к Марату, потом к Фариту. Спустились бы к реке и там походили бы по желтому песку.

Бабушка стелет нам постели. На стене, возле кровати, висит папин портрет. На груди у папы три медали. Папа без фуражки, большие усы низко свисают. Портрет раньше был маленький, потом мама отдала его увеличить.

Я часто, когда ложусь в постель, смотрю на папу и думаю: «Где он? Что он делает в эту минуту?»

Сейчас, в темноте, портрета не видно. Но все равно, даже закрыв глаза, я представляю себе папу.

Я все еще не сплю. Вот в окно заглянула луна, она светит

прямо на сундук. А на сундуке стоят наши башмаки. Луна, наверно, думает, что мы спим. Я чуть-чуть приоткрываю глаза — нет, луна не видит меня. Я с головой закрываюсь одеялом. И вдруг сразу вспоминаю слова дедушки Мансура: «Ведь завтра первомайский праздник!» Вот почему я никак не могу заснуть.

ВЗЯЛ ДА УПЛЫЛ ОДИН БАШМАК...

Мама встает тихонько, чтобы не разбудить нас, потом отворяет дверь, выходит во двор. Я слышу ее шаги и открываю глаза. Совсем светло. Сестра еще спит и чему-то улыбается во сне; русые волосы ее рассыпались по подушке. Бабушки нет, она, наверно, тоже встала. Башмаки стоят на сундуке — вот они, четыре башмака!

— Оксана,— бужу я сестру,— вставай, уже солнце взошло!

Оксана трет кулачком нос, но не просыпается. Я нагибаюсь к ее уху и шепчу:

— Башмаки ждут! Проснись, Оксана!

Сестра открывает глаза и вскакивает. Мы бежим в сени, к умывальнику. Бабушка уже подоила корову и несет ведро с молоком.

— Когда умоетесь, выпейте парного молочка,— говорит она и наливает нам по кружке теплого, пенящегося молока.

Мы одеваемся, бабушка расчесывает Оксане волосы и повязывает их красной лентой. У Оксаны теперь красные кисточки на башмаках и красная лента в волосах.

— Что за дети у меня! — говорит, входя, мама.— Поднялись вместе с солнцем! Идите до завтрака побегайте во дворе. Потом наденете новые платья и пойдете на праздник.

На улице все люди смотрят на наши башмаки. И мы сами смотрим. И солнце смотрит. Если бы солнце не смотрело на них, разве они так блестели бы?

На солнце они еще больше блестят.

Прежде всего мы идем к дедушке Мансуру. Бабушка Фархуниса дает нам по горсти орехов.

— Пусть долго носятся ваши красивые башмаки,— говорит она.

Бабушка Фархуниса не видит, но знает, что башмаки красивые. Наверно, об этом ей уже успел рассказать дедушка Мансур, как луна рассказала своим звездам.

— Это нам бабушка принесла. И кисточки есть, красные,— сообщает Оксана.

— А ну-ка, покажи, доченька,— говорит бабушка Фархуниса и щупает башмаки Оксаны.— Ах, какие мягкие! Большое спасибо вашей бабушке!

— Глаза у Фархунисы слепые, а сердце чуткое,— говорит дедушка Мансур.

Теперь мы пошли к Марату. Хочется побежать, но мы идем медленно. А глаза сами смотрят вниз.

Марат сидит на пенечке у амбара и строгает палку. Он делает саблю, а сам искоса посматривает на наши башмаки:

— А ля-ля! Надели новые башмаки, что ли?

— Надели, да!

— Не думайте, я не завидую! Я люблю сапоги,— говорит Марат и постукивает ножом по голенищу своего сапога. А сам поглядывает на наши башмаки.

— Они сделаны в Москве. Вот даже печать есть,— показывает Оксана подошву башмака.

Но Марат не смотрит.

Я угощаю его орехами.

— Спасибо,— говорит Марат.— Я уж знаю, откуда у тебя орехи. Вас, наверно, поздравили с новыми башмаками... Кисточки красивые... Я тебе тоже сделаю саблю,— неожиданно заявляет он.

Странный этот Марат! Сам такой важный — он вожатый, а мне друг.

Из дому выбегает Фагима. Ее новое платье с яркими цветами развевает ветер, волосы похожи на гриву жеребенка.

— Вот какое у меня платье! — радостно кричит она.

Мы рассматриваем ее платье, а Оксана даже трогает и гладит его.

— Ай, какое красивое! — восхищается она.

Но Фагима уже увидела наши обновки.

— Вот так башмаки! — удивляется она и тут же уверенно заявляет: — На будущий год и мне такие купят. Вот кисточки так кисточки! Айда на лечку!

Она хочет сказать «на речку», но у нее не выходит. Ничего! Мы и так понимаем ее.

Марат молча прячет свою саблю и нож между бревнами, стряхивает с рубахи стружки.

— Идемте! — говорит он.

И мы все выходим на улицу. У реки нас догоняют Фарит и Заман.

— У нас дома вкусных ватрушек напекли! А еще два хлеба,— хвастает Заман, дожевывая что-то.

Он хочет подергать кисточки на башмаках моей сестры, но Оксана его легонько отталкивает:

— Оторвешь ведь, Заман!

Он не обижается — не то что Ильяс, сын тети Сагиды, который сейчас же надулся бы.

А вот и речка. Вы не видели нашу речку? Ну конечно,

не видели. Она течет возле самого огорода Фарита, потом поворачивает к лугу. К нашему огороду она не подходит, там прямо начинается выгон. Наша речка называется Серебряной. Летом мы в ней купаемся, но сейчас еще холодно. Если бросить камень, он не долетит до другого берега — вот какая она широкая! Наша Серебряная течет себе да течет, потом где-то далеко впадает в реку Белую, и дальше они текут вместе. Дедушка Мансур говорит: «Воды Серебряной доходят до моря». Конечно, доходят, раз она все течет да течет. Когда мы с Оксаной вырастем, мы по этой речке тоже дойдем до моря, где старик рыбак ловит золотую рыбку. Вот какая наша Серебряная! Мы ее называем просто Серебро.

Сначала мы погуляли по берегу, оставляя на мокром песке следы. Потом мы стали кидать плоские камешки так, чтобы они прыгали по воде. Каждый раз, кидая камешек, мы кричим: «Сколько мне калачиков съесть?» Сколько раз подпрыгнет на воде камешек, столько, значит, и съешь калачиков. Больше всего съедают калачиков Марат и Фарит. А Оксане и Фагиме не удается бросить камешек так, чтобы он подпрыгивал. Тогда я взял и бросил камешек за Оксану, а Марат — за Фагиму. Один Заман, ни на кого не обращая внимания, сидел себе на берегу и строил мельницу.

Потом нам надоело бросать камни, и мы решили пустить по реке плот. Набрали толстых палок. Фарит крепко связал их лыком, и плот был готов.

Пока я укладывал на плот сухой камыш, Оксана с Фагимой уселись у самой воды и стали снимать свои башмаки, чтобы вытряхнуть песок. Один башмачок Оксана уже вытряхнула, поставила его возле себя, а потом начала снимать второй. В это время к нам подошли ребята с Нижней улицы, и с ними Рушáн, сын Хайбуллы́. Этот Рушан очень злой, он часто швыряет камни в меня и Оксану, когда мы идем по Нижней улице на почту. Правда, он еще ни разу не попал — пожалуй, он не умеет метко бросать.

— Здравствуйте, люди с Верхней улицы! — говорит один мальчик, по имени Ахмéт, и здоровается за руку с Маратом.

— Здравствуйте, люди с Нижней улицы! — отвечает им за нас Марат.

Так всегда при встрече говорят друг другу взрослые.

Все заинтересовались нашим плотом.

— Готово! — скомандовал Марат и осторожно спустил плот на воду.

Плот закачался на волнах и поплыл. Фарит быстро разулся и засучил брюки, чтобы удобнее было его подталкивать в воде. И вдруг, неизвестно откуда, мне показалось — прямо с неба, на плот упал желтый башмачок с красными кисточками.

Я только заметил, что стоявший рядом со мной Рушан взмахнул рукой. Я не сразу понял, что случилось. Посмотрел на свои ноги — башмаки на мне. Оглянулся на Оксану — она все еще сидит на песке с башмачком в руках и о чем-то разговаривает с Фагимой. А где же ее другой башмачок? От испуга я не мог ничего сказать и, только когда в воду прямо в сапогах вбежал Марат, крикнул:

— Башмак!

Но плот уже уносило водой, и Марат, не догнав его, весь мокрый, выскочил на берег.

Оксана громко заплакала. Среди мальчиков началась свалка, и я видел, как Ахмет с Нижней улицы ударил Рушана по спине, а Фарит старался повалить его на землю. Рушан вырвался и убежал.

А плот уже далеко, на середине реки, и на плоту лежит башмачок с красными кисточками — башмачок моей сестры Оксаны.

Ребята горюют:

— Эх, если б была лодка!

— Если бы это было летом, я доплыл бы...

— А я нырнул бы...

— Не плачь, Оксана,— стараюсь я утешить сестру.

Теперь уже вместе с Оксаной плачут Фагима и Заман.

— Не плачь. Я сниму свой башмак и отдам тебе.

Плот уносит течением все дальше — уже я не различаю красных кисточек. Уплыл башмачок, который бабушка принесла в подарок к Первому мая!

Вдоль реки по самому берегу идет узенькая тропка; по ней мы часто ходили с ребятами.

Ничего не сказав, я бросаюсь бежать по этой тропке. Башмак плывет уже далеко впереди. Я не отрываясь смотрю на него и вдруг, споткнувшись, падаю лицом на кучу хвороста. Что-то теплое течет по моему подбородку. Вытираю рукой —кровь. Поднявшись, вижу — далеко мой плот! Я громко заплакал и побежал дальше.

Вот уже плот все ближе и ближе. На повороте реки я догоняю его. Вот он, башмачок! Совсем близко, да рукой не достать! Эх, если бы все было как в сказке! Подплыл бы какой-нибудь лебедь, схватил клювом этот башмак и отдал мне. Я бы за это тоже исполнил какое-нибудь его желание...

Стоп! Плот зацепился за сучок старого вяза, упавшего в речку. Некоторое время плот стоит неподвижно, потом вода опять относит его в сторону и начинает кружить на одном месте. Кружит и кружит — и к берегу не прибивает, и не пускает дальше. Если бы у меня был длинный шест с крючком, я сейчас достал бы этот плот.

От солнца река блестит так, что трудно смотреть, глаза сами щурятся. Неужели солнце не видит, в какую беду попал башмачок, которым еще утром оно само так любовалось?

Я подбегаю к самой воде и стою, не зная, что делать. По реке плывет бревно, оно легонько задевает плот и вновь сдвигает его с места.

Плот плывет, я бегу. Плот плывет, я бегу... Далеко ли еще море? Наверно, уже не очень далеко... Если даже придется до него добежать, все равно я поймаю этот башмак.

Из-за старого тополя показалась огромная серая собака с большими опущенными ушами. Она стала прямо на дорожке, смотрит на меня; изо рта у нее свисает язык. Я не испугался, только перестал так громко плакать. Хочу ее обойти, но она прыгнула вперед и залаяла. Я побежал к тополю, она бросилась за мной. Стала и стоит. А плот плывет по Серебряной дальше. Если б теперь появился на коне папа с саблей и с винтовкой, эта собака испугалась бы и сейчас же убежала. Я смотрю то на эту страшную собаку, то на плот, который все уплывает и уплывает. Вот он уже скрылся из глаз.

В это время из лесу кто-то закричал: «Барбос! Барбос!» Собака встряхнула своими большими ушами, еще раз посмотрела на меня и убежала.

Я помчался по берегу. Не хочу и рассказывать, как я упал, ушиб колено, как колючие ветки разодрали мне лицо: когда так бежишь, что ничего перед собой не видишь, не то еще бывает. Только я все-таки догнал свой плот. Теперь он плыл медленнее.

На башмачок моей сестры села какая-то птичка. Эх, если бы эта птичка была как в сказке, я сказал бы ей только одно слово!..

Вдруг я увидел старика с белой-белой бородой. За спиной у него лукошко, на плече — весло.

— Куда ты бежишь, сынок? Смотри, ты весь в крови! — говорит он.

— Вот башмачок, на нем птица сидит,— быстро отвечаю я.— Это не мы бросили его на плот, это Рушан. Башмачок сестры моей, Оксаны! Она теперь плачет. Вон видишь, видишь, дедушка?

Старик прикрывает ладонью от солнца глаза и смотрит на речку:

— Не очень хорошо вижу, сынок.

— Смотри, дедушка... ну смотри, постарайся увидеть... вон же он, башмак!

Дедушка снимает со спины лукошко, вешает его на дерево и быстро идет по тропинке обратно. Я едва поспеваю за ним. Он спускается к реке; там стоит лодка, привязанная к иве. Дедушка отвязывает лодку, садится в нее.

— Ну, сынок, садись, поехали! — говорит он.

И я сажусь в лодку.

Плот уже опять почти скрылся из глаз. Не унесла бы башмак та птица! Если она злая, как Рушан, она еще бросит башмак в воду. Скорей бы доплыть!

Ой, как быстро греб дедушка, стоя в лодке! Я боялся за дедушку, как бы он не упал в воду. Но нет, он не упал. Мы догнали плот. А птица та уже улетела. Сначала дедушка почему-то объехал плот, потом, перегнав его, повернул лодку боком. И вот, видели бы вы, плот сам причалил прямо к нашей лодке. Дедушка протянул руку и взял башмачок с красными кисточками, башмачок моей сестры. Вот какой этот дедушка! Он не отдал мне его сразу, а положил на дно лодки. Должно быть, он подумал: «Еще уронит башмак, если отдать ему». Но разве я уронил бы! Нет, я держал бы его крепко!

Мы плывем по реке обратно. Дедушка гребет. Я тихонько спрашиваю:

— Может быть, ты, дедушка, из сказки?

— Нет, я настоящий дедушка, старый рыбак Якшиго́л,— отвечает он.

Вот какое имя у этого дедушки! «Якши» — это значит «хорошо». Даже имя ему такое дали, потому что он хороший.

— Ты настоящий дедушка Якшигол,— говорю я, и мне хочется обнять этого хорошего деда.

— Все настоящие люди должны быть хорошими, сынок. Так оно и есть.

Мы доплыли до того места, где садились в лодку. Лодка сильно врезалась в берег, я чуть не упал.

— Выходи, сынок! — говорит дедушка.

Я схожу на берег. За мной, с башмаком в руке, сходит дедушка. Он привязывает лодку, и мы поднимаемся в гору. Только теперь дедушка отдает мне желтый башмак с кисточками.

— Бери, сынок,— говорит он.— Оказывается, это очень красивый башмачок. Пусть теперь твоя сестрица бережно носит его.

Я поблагодарил дедушку, хотел обнять его за шею, но не достал — я же маленький ростом — и обнял его ноги.

По той же тропинке мы вместе пошли домой. Дедушка вел меня за руку и у маленького ручейка обмыл мне лицо. Мы оба в том ручье зачерпывали руками воду и пили. Как хорошо стало! Вот и птицы красиво поют. А солнце-то, солнце! Высоко поднялось оно. Чайки летают над рекой и кричат: «би-бен, би-бен!» И деревья, и желтые цветы, которые уже распустились, и птицы, и дедушка, и я — мы все радуемся. Как не радоваться! Уже весна, и тепло, и в моих руках башмак!

Дедушка снял с дерева свое лукошко и опять повесил его

за спину. Потом вынул из кармана часы с длинной цепочкой, посмотрел на них и говорит:

— Ой, сынок, опаздываем мы на праздник! Скоро девять часов. Айда быстрее!

Праздник! Ведь сегодня же праздник! Я так ждал его... Не опоздать бы только!

— Давай побежим, дедушка, давай! — попросил я.

— У меня сапоги очень тяжелые, сынок, беги-ка ты вперед,— сказал дедушка.

Я прижал к себе башмак и побежал по тропинке. А что, если праздник уже окончился?

И все из-за этого Рушана. Чего-чего я только не перетерпел из-за него! И сестра моя так плакала... Я бегу и оглядываюсь. Дедушка сильно отстает от меня.

Но кто это бежит мне навстречу? Один большой, двое маленьких. Или у них тоже башмаки уплыли? Увидев меня, они что-то кричат и бегут еще быстрее. Узнал, узнал! Это же моя мама! А еще кто? Ну конечно, Марат, за ним — Оксана. Вот кто бежит мне навстречу. Мама подбегает первая, она поднимает меня на руки и, задыхаясь, говорит:

— Напугал же ты нас, дитя мое!

Мама обнимает меня, целует мое лицо, голову. Я вдруг сразу вспоминаю о празднике и кричу:

— Праздник не кончился еще?

— Нет, еще и не начинался,— отвечает Марат, вытирая своей вышитой тюбетейкой пот с лица.

Оксана тоже обнимает меня.

— Ямиль, Ямиль! — радостно повторяет она.— Мы так испугались за тебя!

Я отдаю ей башмак:

— С дедушкой Якшиголом догнали, на лодке.

Сестра прижимает к себе башмак. Мама радуется больше всех: она так напугалась из-за меня!

К нам подходит дедушка Якшигол:

— С праздником, Кюнбике! Это твой малыш?

— Мой. Спасибо, дедушка Якшигол! Такой большой праздник, и чуть не случилось несчастье!

— Ничего, ничего, все хорошо. А мальчик смелый. Наше время такое, нужны смелые мужчины.

— Боялась, как бы сын не утонул из-за башмака... Очень любит сестру,— говорит мама.— Бегите, дети, вперед, бегите!

Мы оставляем маму и дедушку и бежим к аулу. На Нижней улице колышется и вспыхивает, как пламя, красный флаг. Он как будто зовет нас: «Идите на праздник, дети, на праздник Первого мая!»

Я ИДУ С НАСТОЯЩИМ ФЛАГОМ

Если сказать словами бабушки, то мы «наряжаемся как куклы» и снова выходим на улицу. Здесь очень много ребят. Просто не счесть! Самая старшая из нас — дочь Бадамши, Таскира́. Она учится не то в шестом, не то в седьмом классе.

Как весело на улице!

Мы спешим к клубу. Каждый раз в праздник люди собираются там все вместе, а потом идут по улицам, высоко подняв знамена, портреты Ленина.

Я два раза ходил с мамой на эти праздники. Один раз — в мае, а другой раз — Седьмого ноября.

В мае прошлого года я был еще маленький, устал, и мама немножко несла меня на руках.

— Почему в праздничный день все люди выходят вместе на улицу? — спросил я тогда.

Мама мне рассказала:

— На све́те у нас много друзей и много врагов. Когда мы, советские люди, собравшись все вместе, выходим на улицы, друзья из далеких стран видят нас и радуются: «Вот сколько наших людей! Мы очень сильны, потому что дружны».

— А наши враги,— спросил я,— что они думают?

— Враги боятся нашей дружбы и нашей силы.

Теперь я хорошо знаю, кто такие наши враги. Это фашисты и буржуи. Они напали на нашу страну, и папа пошел на фронт, чтобы победить их, чтобы они больше никогда не воевали с нами.

Сегодня очень хороший день. Мы все вышли на улицу. Пусть радуются друзья и боятся враги!

Впереди идет наш вожатый — Марат, за ним мы с Фаритом, за нами младшие. Таскира шагает в сторонке от нас. Чем ближе подходим мы к Нижней улице, тем больше становится наш отряд. Все дети идут к нам. Вот как это весело — идти на праздник!

Возле клуба много народу. Взрослые стоят кучками, разговаривают между собой, поздравляют друг друга с праздником. Девушки и парни собрались в круг. Не видно, что делается в середине круга, может быть, там уже пляшут. Одна девушка громко поет; такие ребята, как я, бегают и играют.

— Пришли наконец, старички? С опозданием прихо́дите,— говорит нам один дядя и сам смеется.

Имя этого дяди — Рашит. Как смешно называет он маленьких — старички!

— Дети пришли, значит, можно тронуться в путь, Рашит,— говорит учительница, тетя Сания́.

Эту учительницу я знаю. Она очень красивая и живет на нашей улице.

Люди начинают строиться в ряды. Нас, маленьких детей, ставят впереди. Мы с Оксаной крепко держимся за руки. С другой стороны около меня — один мальчик с Дальней улицы. Я знаю его, только имени не помню. Фарит с Фагимой — позади нас, Марат где-то в другом ряду, его не видно. Оборачиваюсь, ищу глазами маму, но никак не могу найти. Оксана тянет меня за руку.

— Ямиль, вот мама! — говорит она.

Мама вдруг появляется впереди нас. Из всех самая веселая, самая красивая наша мама!

— Идите вместе, взявшись за руки, ладно? — говорит нам мама и уходит в ту сторону, где строятся в ряды взрослые.

Мы с Оксаной машем ей вслед руками.

Старшая девочка-пионерка раздала всем детям небольшие красные флажки. Только для меня не хватило флажка. Наверно, она не заметила, что я тут. Как это можно не заметить человека! Не такой уж я маленький...

— Тетя пионерка, тетя пионерка, вот этому мальчику флажка не досталось! — кричит Оксана.

Мне вовсе не нравится, что Оксана назвала меня «этим мальчиком». Разве нельзя назвать просто Ямилем?

Мне становится грустно. Я вдруг вспоминаю о башмаке, Рушане, злой собаке с длинным красным языком. Наверно, я какой-то несчастливый...

— Ямиль,— утешает меня Оксана,— мы будем с тобой по очереди нести мой флажок. Ладно, Ямиль?

Впереди нас стали две девушки: они держат в руках два древка, на которых туго натянут кумач с золотыми буквами. Когда уже все собрались тронуться в путь, ко мне подбежала та самая девочка-пионерка. Она держала настоящий, большой флаг. Может, не очень большой, но не флажок, а флаг.

— Смотри-ка, смотри, как он развевается! — говорит пионерка.— Я тебе даю самый красивый флаг!

Я крепко держу флаг и смотрю вверх. Красный шелк колышется над моей головой. Он, как сказочная красная птица, хочет улететь вверх и, подняв меня с земли, унести с собой.

Если бы он поднял меня и понес, я первым долгом полетел бы к папе и прикрепил этот флаг к седлу папиного коня. И мы вместе помчались бы на врага и победили его. Фашист сейчас же убежал бы, испугавшись красного флага! А если бы еще весь наш народ встал перед ним с красными флагами, у врага от испуга разорвалось бы сердце. Как бы радовались тогда все наши друзья!

Оксана тянет меня за рукав. Девушки, которые стояли перед нами, ушли уже далеко вперед, и весь народ двинулся за ни-

ми. Я чуть не остался один. Хорошо, что у меня есть сестра! Я заспешил, и мой флаг сразу рванулся вперед.

Мы идем по улице. Дома́ по обеим сторонам, и деревья с зелеными почками, и дети, которые шагают рядом со мной, вдруг кажутся мне меньше, чем были. Может, это я вырос, стал большим?

Мне кажется, что я и не шагаю вовсе, а флаг, который держу в руках,— мой красный флаг — несет меня по воздуху.

Кто-то в задних рядах запевает песню. Я и раньше слышал эту песню, но сейчас она доносится до меня как будто издалека. Я хочу петь вместе со всеми, но почему-то мой голос теряется, я не слышу себя. Краешком глаза смотрю на Оксану. У нее тоже шевелятся губы, а голоса не слышно.

Кто же поет ту песню, которая несется над головами людей?

Я закидываю голову. Мой флаг колышется в такт песне.

Оксана тихонько дотрагивается до моей руки:

— Пой, Ямиль. Хорошо же!

— Да, хорошо, Оксана, очень хорошо!

Сестра придвигается ближе ко мне, и мы поем вместе со всеми веселые песни.

Мы идем мимо нашего дома. У ворот я вижу бабушку. Она стоит, спрятав руки под фартуком, и, улыбаясь, смотрит на идущих мимо людей. Ага! Она ищет меня и Оксану. Мы поднимаемся на цыпочки:

— Бабушка!..

Узнала, увидела! Часто-часто кивает головой, а лицо светлое, даже морщинок не видно. Глядя на бабушку, я вдруг вспоминаю о башмаках и смотрю вниз. Мои ноги и ноги Оксаны, обутые в новые башмаки, ступают крепко по земле.

Теперь уже песня не доносится ко мне издалека, она гремит по всей улице, и мне кажется, что она выходит только из моей груди — так громко я пою. Дома и деревья уже не кажутся мне маленькими, я иду вместе со всеми людьми, я, счастливый мальчик Ямиль! Рядом со мной идет один малыш с Нижней улицы. На его маленьком носу блестят капельки пота, а пухлые щеки чуть-чуть вздрагивают на каждом шагу. Мне интересно: почему они вздрагивают?

Быстро поворачиваю голову, смотрю на сестру. Она шагает, глядя прямо перед собой. Ее голубые глаза прищурены, а маленький флажок, который она держит в руке, касается ее русых волос. Почему-то сейчас Оксана не смотрит на меня. И вдруг кто-то словно шепчет мне на ухо: «Тебе, Ямиль, очень приятно нести настоящий флаг. Гораздо приятнее, чем маленький флажок. Думаешь, другим не хочется подержать настоящий флаг?»

Нет, эти слова никто не шепчет мне, просто я сам так думаю.

Мне хотелось бы, чтоб и Оксане, и Фариту, и Фагиме — всем было очень-очень приятно. Может быть, отдать флаг Оксане, а она потом передаст Фариту. Так и пойдет — из одной руки в другую. Как будет хорошо!

Я хочу отдать флаг сестре и вдруг вспоминаю: «Как это было в той книге, которую читала нам мама? Один солдат никому не отдал знамени и не бросил его даже тогда, когда был тяжело ранен в бою. «Знамя — священная вещь»,— сказала мама».

Священная — значит очень хорошая. А знамя и флаг — это одно и то же. И в моей руке сейчас знамя... Я еще крепче сжимаю древко.

Когда песня затихает, слышу, как шелестит мой флаг. Нет, разве я могу отдать его кому-нибудь, кроме той пионерки! Флаг должен быть у того человека, которому его дали нести.

Первые ряды свернули из переулка дедушки Тимербулата на Полевую сторону. Около высокой трибуны, сложенной из камней, народ остановился. Ко мне подошла та самая пионерка и взяла у меня флаг.

— Наверно, у тебя руки устали, малыш,— сказала она.

А мои руки еще совсем не устали. Разве могут устать руки у того, кто несет флаг! Только пальцы немного отекли, но это пустяки.

Взрослые окружили трибуну. Дядя Рашит встал на самый высокий камень. Даже я со своего места увидел дядю Рашита. Но откуда-то вдруг появился Марат.

— Аля-ля! Кое-кто шел с настоящим флагом! — улыбаясь, сказал он и положил мне руку на плечо.— Может быть, ты думаешь, Ямиль, что я завидовал тебе? Нет, не завидовал. Но глаза немного разгорелись.

Я ничего не успел ответить, потому что Оксана потянула меня за собой.

— Давай найдем маму, Ямиль,— попросила она.— Как хорошо это было, когда ты шел с настоящим флагом! И мама, и бабушка, и дедушка Мансур радовались. И я радовалась.

Когда мы, взявшись за руки, пробирались через толпу, кто-то подошел сзади и обнял нас. Это была мама. Она подняла Оксану и посадила к себе на плечи. Какой-то дядя поднял меня — мне показалось, что я взлетаю вверх,— и вот я тоже очутился на плечах. Теперь нам с Оксаной стало хорошо видно далеко вокруг. Дядя Рашит, стоя на камне, что-то говорит, размахивая фуражкой. Звездочка на фуражке блестит, как зеркальце на солнце.

— Да здравствует наша великая Родина! — заканчивает свою речь дядя Рашит.

— Ура, ура! — кричат люди и хлопают в ладоши.

Мы с Оксаной тоже хлопаем так, что ладони сразу краснеют. Потом нас опускают на землю.

— Устали, наверно, дети мои? Идите домой,— говорит мама.— А ты, дочка, отдай свой флажок мне, я сама передам его девочке-пионерке.

Мы бежим домой. У нашего переулка мы оборачиваемся и видим, что весь народ тоже начинает расходиться.

Чем только не угостила нас в этот день бабушка! Она очень любит этот праздник и нас любит, вот и наготовила всяких вкусных вещей. Что было у нас на столе, я уже не помню теперь, да и рассказывать о том, что «я кушал то да другое», не годится, как говорит бабушка. Это она говорила не мне, а какой-то тетеньке. Но если я стану рассказывать, что ел, то скажет и мне.

В этот день после обеда я повел сестру к нашей березке в саду, выкопал все свои сокровища и сказал:

— Бери, Оксана, это все твое.

Сколько там было замечательных вещей! Мы наполнили три кармана одними только игрушками и красивыми камешками. Там еще было много разных железок, но они не понравились Оксане, и мы их не взяли. Ну что же, пусть полежат, я потом что-нибудь смастерю из них.

НЕ ВИДАЛИ ЛИ ВЫ НАШЕГО ПАПУ?

Очень скоро опять наступил праздник. Это был особенный праздник.

— Война кончилась! Мы победили! — говорили взрослые и обнимали друг друга.

Весь народ снова собрался около клуба. Мы с Маратом и Фагимой тоже пошли туда. Там выступала красивая учительница, которая живет на нашей улице. Многие женщины и смеялись и плакали, когда она говорила.

— Почему они плачут, дедушка? — спросил я.

— Это сладкие слезы, дитя мое,— сказал дедушка Мансур.— Это слезы радости.

Когда он так сказал, мне тоже захотелось плакать, но я сдержался, потому что никто из детей не плакал.

Я уже заметил, что такими сладкими слезами плачут женщины, и особенно старушки. И те девушки, которых освободил от дракона батыр Тимербек, тоже так плакали.

Одна тетя подняла на руки Оксану и сказала:

— Теперь, дети дорогие, вы будете очень счастливы. Вот какого змея мы победили!

Вечером дедушка Мансур с бабушкой Фархунисой пришли

к нам пить чай. Мы с Оксаной до самого вечера играли на улице, а во всех домах взрослые сидели за столами, угощали друг друга и пели песни. Когда людям весело, они поют. И мама всегда пела, когда получала письма от папы. Как хорошо, когда все кругом радуются!

С этого дня мы начали ждать папу. Расцвела и осыпалась черемуха, отцвели яблони. Потом был сенокос, и уже пришло время убирать хлеб. А папа не приезжает и не приезжает. Много дней прошло с тех пор, как мы получили письмо, в котором папа писал: «Скоро увидимся». По вечерам, придя с работы, мама убирала дом: она мыла стены и окна, белила печку.

Мы с Оксаной помогали ей подметать двор, теперь там нет ни соринки.

Часто мы с сестрой выходим на край села и смотрим на дорогу — не едет ли наш папа. Но его все нет. Бывают же люди, которые так долго не возвращаются!

— Знаешь, Кюнбике, кто вернулся? — сообщает маме дедушка Мансур.— Рамаза́н, сын Баки́ра, который живет у моста. Значит, и остальные скоро приедут.

— Прошло уже много времени с тех пор, как вышел Указ,— говорит мама.— Наш папа к тому же четыре раза был ранен.

Я не знаю, что такое Указ. Но это что-то хорошее, раз касается возвращения папы. Тихонько я вызываю Оксану во двор.

— Слышала? — спрашиваю я.

— Что?

— О Рамазане. Пойдем к нему.

Сестра сейчас же соглашается.

Мы пролезаем под воротами и мчимся по улице к домику у моста. Так быстро бежим, что Рушан и не заметил нас. Правда, если бы он и заметил, вряд ли стал бы кидаться камнями. С тех пор как он бросил на плот башмак Оксаны, его злость прошла. Однажды после того случая мы взяли Рушана в плен, скрутили ему руки и завязали глаза косынкой Фагимы. Вот тогда мы заставили его дать клятву в том, что он станет хорошим человеком. Марат хотел его побить, но потом передумал. «Прощаю тебе на радостях, что кончилась война»,— сказал он. И мы освободили Рушана из плена. Вот после этого Рушан и стал хорошим.

Домик у моста, где живет дедушка Бакир, я знаю. Там в саду, за решетчатым забором, есть маленькие красненькие яблочки, только они еще неспелые; это я хорошо знаю — видел, когда ходили на почту.

Я и Оксана добежали до дома дедушки Бакира и остановились. Калитка была открыта, но мы не решились войти. Я осторожно заглянул во двор.

— Кто там не помещается в калитке? — громко спросил кто-то со двора.— Может, открыть большие ворота?

Я испугался и хотел убежать, но услышал тот же голос, только теперь он показался мне ласковее:

— Входите, дети дорогие! Раз человек пришел в гости, он не должен стоять за воротами.

Мы с Оксаной входим во двор. На крыльце стоит дядя красноармеец; он чистит щеткой сапоги, и на его груди звенят медали.

Дядя смотрит на нас и улыбается.

— Это он,— шепчу я Оксане на ухо.

Дядя красноармеец перестает чистить сапоги.

— У вас есть какое-нибудь дело, дорогие мои? — спрашивает он.

— Дел никаких нет,— растерявшись, отвечаю я.

Оксана дергает меня за рукав.

— Ямиль забыл, дядя, у нас есть к вам дело.— Оксана смело шагает вперед.— Не видали ли вы нашего папу? Когда он вернется?

— А кто же такой ваш папа?

— Он кавалерист. У него три медали.

— Тогда знаю! — весело говорит дядя. Он смеется, и сразу видно — он радуется тому, что наша армия уже победила фашистов и люди возвращаются по домам.— Я только не мог повидать вашего папу перед отъездом. Но скоро и он приедет, очень скоро.

В эту минуту мне показалось, что папа уже приехал и вот сейчас вошел в дом. А что, если на самом деле так!

— Мы уже уходим домой, дядя,— говорю я и беру сестру за руку.

— Постойте, постойте! — Дядя красноармеец останавливает нас и кричит в открытое окно: — Мама, тут у нас гости, вынеси-ка им гостинцев!

Из дома выходит бабушка в нарядном платье и выносит нам по два больших ореха и по конфете. Мы говорим «спасибо». А дядя красноармеец все расспрашивает нас:

— Вы близнецы? Оба одинакового роста.

— Нет, не близнецы,— отвечаю я.— Нас просто двое. Это моя младшая сестренка.

И мы быстро убегаем.

— Я видела много таких красноармейцев,— говорит Оксана.

— Где?

— На войне, очень далеко отсюда.

Опять Оксана говорит такие непонятные слова!

Разве дети ходят там, где война?.. Но я не расспрашиваю. Ведь Оксана может обидеться.

Мы приходим домой — мамы нет, она ушла на работу. Дверь не заперта на замок, а заложена щепкой. И папа все еще не вернулся.

* * *

Каждый день кто-либо возвращается с фронта. Приехал папа Марата и Фагимы, приехал старший сын дедушки Бадамши и другие люди с соседней улицы. Мы с Оксаной заходим ко всем, кто возвращается, и расспрашиваем о папе. Но никто ничего не может сказать. Одни видели папу давно, другие слышали о нем, третьи читали о нем в газетах.

Мы весь день смотрим на дорогу, которая ведет от станции. Как увидим кого-нибудь — бежим навстречу. Но папы все нет и нет.

Когда мы еще только начали ждать папу, гусята были совсем маленькие, теперь они выросли и стали большие. Самый красивый гусенок — это тот, которому я про себя дал имя «Оксана». Хотя старый гусак и дерется, этих гусят мы все равно любим и потихоньку кормим.

Мы каждый день поливаем наши яблоньки и говорим: «Пусть подрастут до приезда папы!» На яблоньках теперь много листьев, хотя они и не цвели. А мак в нашем саду уже осыпался... Вот сколько времени прошло... Только наши башмаки все такие же — мы их бережем до приезда папы.

Каждый вечер, перед сном, мы смотрим на папин портрет. Оксана говорит ему:

— Приезжай же скорей, папа, приезжай!

— Наверно, папа очень далеко гнал врагов, потому не может так скоро вернуться. Да? Правда, Оксана?

Сестра отвечает:

— Да! — и засыпает.

«Пусть скорее наступает утро и возвращается папа!» — думаю я каждый вечер.

Мама вздыхает, глядя на нас с Оксаной.

ВО СНЕ И НАЯВУ

Наяву портреты не разговаривают. А во сне они и разговаривают и смеются. Я сплю и вижу сон. Будто папин портрет, который висит над кроватью, двинулся и приблизился ко мне. Вот он сделал шаг, вот он взмахнул рукой. Опущенные усы шевелятся, звенят на груди медали. Папа улыбается, и глаза его блестят. Совсем как живой, кажется даже, что он разговаривает. Я хочу раскрыть глаза, крикнуть, но лежу как скованный. Вот ведь какой сон!

Наконец мне удается открыть глаза. Солнце ярко светит в окна. А портретов будто уже два: один ушел на свое место, а другой вдруг наклоняется, схватывает меня и прижимает к себе. Я сразу просыпаюсь. К кровати подбегает мама, что-то быстро и весело говорит, но я не слышу ее.

— Папа!..— вскрикиваю я.— Почему ты так долго не возвращался, папа?..

Просыпается Оксана. Она удивленно смотрит на нас, поднимается. Папа подходит к ней и берет ее на руки:

— Вот и дочка моя проснулась. Узнаешь меня, доченька?

Оксана звонко смеется и целует папу.

А я-то и забыл его поцеловать.

— Папа,— говорит Оксана,— а мы тебя ждали, ждали...

Держа нас на руках, папа садится на сундук.

— Вот я и вернулся живым, здоровым, потому что вы меня очень ждали. Оказывается, вы счастливые, мои дети!

Я считаю медали: одна, две, три, четыре, пять... Только я еще не знал тогда, что означают две желтые и две красные полоски над карманом. Теперь-то знаю: это значит — папа был четыре раза ранен.

Мы долго сидели на сундуке. Скоро стали приходить гости. Их было еще больше, чем тогда, когда приехала Оксана. Все здороваются с папой, жмут ему руку, некоторые даже двумя руками сразу. Соседки-старушки хлопают папу по спине.

Пришел и дедушка Мансур.

— Очень большое спасибо за святое дело, которое вы сделали: самую войну победили,— говорит он.— Что разрушено — восстановится, что износилось — обновится. Только сирот очень жалко.

Папа глубоко вздыхает. А дедушка Мансур ведет уже другой разговор:

— И нам было трудно. Однако мы работали изо всех сил. Вот сам увидишь...

Первыми пришли Марат с Фагимой. Они, как вошли, прислонились к двери и так все время стояли.

— Входите, входите! — приглашали мы.

Но они не двинулись с места. Я знаю — они стеснялись папы.

Позже всех пришел Заман, сразу подбежал к папе, обнял его за ноги. Мы все удивились, а папа взял Замана на руки и говорит:

— Вот, оказывается, кто больше всех соскучился!

— Если у тебя есть ружье, дядя, стрельни-ка,— попросил Заман.

— Здесь же нет врагов! — говорит ему папа.

— А ты стреляй в коршуна, он сегодня унес у нас цыпленка.

К стр. 74

Все стали смеяться, а Заман как ни в чем не бывало просит:

— Покажи мне свою саблю.

— Я не привез саблю, милый. А когда поеду в город, куплю тебе маленькую саблю, ладно?

— Ладно, хоть и маленькую,— говорит Заман и сползает с папиных колен.

Мама угощает всех детей. Заман получает свой гостинец и сейчас же выбегает из дома. Марат и Фагима зовут нас играть, но разве мы можем отойти от папы!

Мама тоже не пошла на работу. Весь день она варила и пекла вкусные вещи. Мы все время были возле папы. Мама тоже подходила к нам, улыбалась, смотрела то на нас, то на папу. И говорила она так весело и звонко, как будто сыпались серебряные монеты. Все лицо ее светилось, глаза сияли, и мне казалось, что весь наш дом и вся наша улица стали светлее.

Она теперь совсем не похожа на ту маму, которая в толстой белой шали, с мешком за плечами уезжала зимой в далекий город. Но все равно, это та же наша мама.

После полудня пришла бабушка из Тимертау. Увидев ее в окно, мы с Оксаной выбежали навстречу. Но на этот раз нам совсем не было интересно, что лежит в ее больших карманах.

— А-а-а! Мои быстроногие! — говорит бабушка, берет нас за руки и торопливо шагает к дому.

Дома она обнимает папу и тихонько плачет.

— Знаешь, Оксана,— шепчу я,— слезы бабушки — это слезы радости, сладкие слезы.

— Откуда ты знаешь?

— Дедушка Мансур так сказал.

— Молодец, крепко держишься, мама! Может, ты сделана из железа, раз ты из Тимертау? — шутит папа.

— И железо ржавеет, сынок! А в тяжелые времена надо быть крепче железа.

Я не могу удержаться от смеха.

— Чего ты смеешься? — спрашивает Оксана.

— Как может быть бабушка из железа? Она вся мягкая, и руки у нее вон какие мягонькие.

Оксана хмурит брови. Ей кажется, что я смеюсь над бабушкой.

После чая папа надел пилотку.

— Мать,— сказал он,— я с детьми пройдусь по полям. На фронте дал я себе слово: если вернусь, то, не снимая походного мешка, обойду все наши поля и луга... Может, и ты с нами пойдешь?

— На этот раз идите без меня. Никак не управлюсь с

работой,— говорит мама, осматривая меня и Оксану.— А почему вы без башмаков?

Вот так так! Мы совсем забыли о наших башмаках.

Я сейчас же достаю их из-под кровати:

— Вот, папа, желтые башмачки с красными кисточками, которые в майский праздник принесла нам бабушка.

— У меня один башмак уплыл по Серебряной, да Ямиль догнал и принес его,— рассказывает сестра.

— Не я один, а с дедушкой Якшиголом...

— Башмаки были причиной и радости и горя,— улыбаясь, говорит бабушка.— До твоего приезда дети не хотели надевать их, берегли. А папа приехал — про башмаки забыли. Ай, дети, дети...

Мы быстро обуваемся и уходим с папой. Идем на Полевую сторону. Папа идет посередине, я бегу с одной стороны, Оксана — с другой.

Папа срывает пахучие травы, растирает их в руках и нюхает, поднимает нагретые солнцем камешки и подносит их к щеке. Опережая нас, он сбегает на дно глубокого оврага; цепляясь за травы, быстро поднимается наверх, срывает колючие фиолетовые цветы татарника, потом влезает на какой-нибудь большой камень и долго-долго всматривается в даль.

Папа привел нас в дальнюю березовую рощу, к роднику. Ох и холодна вода в том роднике! Папа вымыл этой водой лицо и руки и, зачерпнув ее руками, пил. Мы с Оксаной тоже пили. Потом мы сели у родника на траву.

— Этот родник выкопал мой отец, ваш дед Батырша,— сказал папа.— Я тогда был таким маленьким, как вы теперь. Этот родник так и называют — родник Батырши. Сколько людей пило здесь воду, умывалось... И птицы и звери приходят сюда пить воду. Смотрите, как привольно у родника растут красные цветы...

— Спасибо дедушке,— говорит Оксана.

Папа обнимает ее и целует в голову.

— Умница, дочка моя!

— Папа,— говорю я,— давай и мы выкопаем три... нет, четыре родника: ты, мама, Оксана и я. И нам потом, может быть, скажут спасибо.

— Когда вырастете,— говорит папа,— вы будете рыть каналы, повернете течение рек, будете орошать землю, чтобы она вся цвела... Много сделаете полезного людям!

— Ладно,— соглашаюсь я.

Правда, я еще не могу выкопать и маленький родник, не то что большой канал. Но я научусь.

— Я тоже буду помогать. Ладно, папа? — говорит моя сестра.

Папа подает нам руки, и мы, смеясь, помогаем ему подняться с земли.

— Теперь пойдем к Дубовому озеру. Не устали? — спрашивает папа.

Нет, мы ничуточки не устали. Разве можно уставать, если вернулся папа!

Мы обходим аул наш с другого конца, и по лугам, мимо речки Серебряной, выходим к озеру.

На берегах Дубового озера растет высокий камыш с пушистой головкой; когда дотронешься до него — с головки летят пушинки. Мы нарвали много камыша и широких листьев лилий. В кустарнике выбрали крепкие тонкие палочки, чтобы сделать из них стрелы.

На озере мы видели много уток — больших и маленьких. Они испугались нас и улетели. Еще видели мы лягушек, но о них я не стану рассказывать. Не люблю я их, квакушек!

Мы долго ходили по узким тропинкам и наконец вышли на дорогу, которая вела домой. Дорога шла в гору. Мы уже немного устали и присели отдохнуть под деревом. Я потрогал папины медали — они тяжелые и блестящие. Папа снял со своей груди две медали и приколол одну мне, другую Оксане. Нам сразу стало очень весело, и прошла усталость. Наверно, когда папа на войне получал эти медали, у него тоже проходила усталость. Вот ведь какая хорошая вещь — медаль!

Быстрым шагом мы поднялись в гору. На самом гребне горы папа остановился. Отсюда хорошо виден весь наш аул, долина реки Серебряной и Дубовое озеро, и аул Тимертау за лесом. Удивительно только то, что возле Тимертау лес серо-голубой, а все остальные леса вокруг — зеленые.

Когда-нибудь я пойду с бабушкой в Тимертау, посмотрю этот лес и узнаю, отчего он такой серо-голубой.

Возле дальней горы проходит поезд; за ним тянется длинная полоса дыма. На ближнем поле комбайнами убирают хлеб. Я вижу — на комбайне стоит человек. Издали он кажется таким же маленьким, как я.

Папа долго-долго смотрит вокруг.

— Вот, дети, это все ваша родная земля,— говорит он.— И за этими горами, за лесами, за реками — все это ваша родная земля. Еще есть много, много родной земли, которую вы не видели и не знаете. С той земли мы прогнали фашистов. Понимаете меня?

Понимаем, конечно, только не все. Но мы знаем, что папа говорит что-то очень хорошее. Когда мы вырастем, мы поедем в те места, где воевал папа, и увидим сами ту дальнюю родную землю.

— А знаете, что такое соскучиться? — спрашивает папа.

— А что это?

— Вы хотели видеть меня?

— Ой, папа, ты так долго был на войне! Мы плакали,— говорит Оксана.

— Вот и мне также хотелось видеть и вас, дорогие, и эти леса, и эти реки, и эти дороги.

— А ты плакал, папа? — спрашивает сестренка.

— Нет, дочка, не плакал, хоть и хотелось плакать, сдерживался.

— А почему же сдерживался?

Ну как это Оксана не понимает! Разве солдат будет плакать!

На дороге нас догнал дядя с черной бородой:

— А-а, вернулся живым, здоровым! Все ли дома в порядке, брат? Вышел на простор? Доброе дело, брат, доброе дело. Соскучился, верно? Очень хорошо, очень хорошо...

Папа хотел ему ответить, но дядя с черной бородой продолжал быстро говорить, держа папу за руку:

— Раз уж вышел на простор, почему, брат, не заглянул к нам, в огородную бригаду? Угостили бы арбузами. Да! Помидоры нынче дали бо-ольшой урожай! Вот нисколько не преувеличиваю: каждый помидор не меньше, чем пара здоровых кулаков!.. Приходи с детьми! Как они выросли, оказывается... Тьфу, тьфу, не сглазить бы... Тыквы, как бочонки, придется таскать на носилках. Приходи, брат, ладно?

Сказав все это, дядя повернулся и быстрым шагом стал удаляться. Наверно, у него было много дел. Папа, улыбаясь, сказал ему вслед:

— А он совсем не изменился, все такой же, нетерпеливая душа!

Мы идем домой. Но нетерпеливая душа, дядя Гарéй, что-то вспомнив, поворачивается и опять бежит нам навстречу.

— Уж не взыщи, брат,— говорит он.— За какое дело думаешь взяться? За черную или за белую работу, так сказать? Если не обидишься, что я так скоро предлагаю, то у нас в бригаде есть одна хорошая — так сказать, черно-белая — работа. Надо организовать продажу овощей в городе. Да!

— Ты тоже не взыщи, дядя Гарей. Я думаю по-прежнему за лошадьми ухаживать,— говорит папа.

— Извини, сам знаешь, брат.— И дядя Гарей опять быстро уходит.

Мы приближаемся к нашей улице. А четвертый дом от края — это и есть наш дом.

* * *

Вот видите, было нас сначала двое: я и мама. Потом с сестренкой Оксаной стало трое. А теперь приехал папа — и нас стало четверо. Я не считаю бабушку. Она же из Тимертау, только в гости приходит. Бабушка не сердится и не говорит мне: «Почему ты меня не считаешь?» Что же, разве не лучше быть гостьей?

Но я вам еще не обо всех рассказал. Сейчас расскажу. Раз начал, то уж доскажу до конца. Я очень люблю рассказывать о нашем доме, о сестренке Оксане. Был бы человек, который слушал. И вы, пожалуйста, дослушайте до конца. «Делать дело серединка наполовинку — это не по-мужски»,— сказал однажды дедушка Мансур Загиру, который живет в доме у оврага. А этот Загир половину сада огородил, а половину не огородил.

Теперь слушайте, буду рассказывать дальше.

СКОРО МЫ ПОЙДЕМ В ШКОЛУ

— Дети в этом году пойдут в школу,— сказал однажды папа, придя с работы.

— Что-то сами они об этом не говорят. Может, им еще не хочется учиться? — спрашивает мама, а сама улыбается.

Конечно, мама шутит.

Я вспоминаю телеграмму, которую мы получили зимой. Ни бабушка, ни дедушка Мансур не смогли ее прочитать. Только школьник Махмут гордо прочитал эту телеграмму и объяснил, что в ней написано. Мама не знает этого. А если б знала, не стала бы так шутить.

— Мы очень хотим учиться, мама,— говорит Оксана.— Когда придет сентябрь, ох, мы вместе со всеми ребятами пойдем в школу!

Я сижу молча и все еще вспоминаю, как хотел тогда сам прочесть телеграмму.

— А ты, Ямиль, что думаешь? — спрашивает папа.

Что я могу думать!

— И хорошо думаю, папа,— говорю я громко.— Пусть скорее приходит сентябрь.

Больше о школе никто ничего не говорит.

Когда мама и папа уходят на работу, мы с Оксаной усаживаемся на крыльце. Отсюда видно большое белое здание школы.

Первого сентября мы возьмем свои сумки, сойдем с этого крыльца, откроем калитку и пойдем во-он той дорогой! Прямо в школу!

— Мы там будем читать, рисовать! Я нарисую цветок. Ладно, Ямиль?

— А я нарисую коня, ружье...

— Будем петь красивые песни. Ты будешь запевать.

Пусть запевает учительница...

Но сейчас мне очень хочется петь. Если вы увидите белую школу, ее светлые окна, гладкую дорогу, усаженную большими, красивыми деревьями, и если еще вы представите себе, что идете по этой дороге в школу, то вам тоже, наверно, захочется петь. Я запеваю:

На горе стоит белая школа,
Все вместе пойдем мы туда...

Сестренка смотрит на меня, щурит свои голубые глаза и тоже начинает петь. Нам так весело, что ноги не стоят на месте, а притопывают под нашу песню.

Научи нас, дорогая школа,
И читать, и писать,
И картинки рисовать.

Под воротами показывается Фагима. Мы замолкаем.

А кто это там на заборе? Ну конечно, Марат!

Фагима подбегает к нам.

— Кое-кто уже распевает песни,— говорит она.

Марат свистит в свисток и машет нам рукой, чтобы мы выходили на улицу. Оксана плотно закрывает дверь дома, а то сейчас же в дом заберутся цыплята и рассядутся на окнах.

— Идем? — спрашивает Фагима.

— Куда?

Марат опять свистит и кричит нам:

— Идем скорей!

— Куда?

— Эх, вы! — говорит Марат.— Ничего не знаете! Вчера, пока мы с вами ходили в лес, одна тетя записывала всех, кто пойдет в этом году учиться. Пойдемте скорей записываться!

Спасибо Марату, что сказал. Вчера мы и правда пошли в лес. Совсем ненадолго пошли. И пропустили такое важное дело.

— Пойдемте же скорей! Пойдемте сейчас! — торопит Оксана.

Вчетвером мы выходим на улицу. Нас догоняют Фарит с Заманом.

Заман показывает маленький карандаш, длиной с пальчик.

— У меня тоже есть карандаш! — говорит он.— А наш кот сегодня чуть не поймал перепелку. Перепелка улетела. Хороший...

— Кто, кот?

— Карандаш.

Заман, по-моему, многовато разговаривает. Мама мне часто замечает: «Ты любишь много говорить!» А что я против Замана, хоть он и совсем маленький!

Мы пошли по той стороне улицы, где живет Рушан. Он теперь никогда не бросается камнями. Недавно, когда шел дождь, наш теленок залез на просяное поле. Мы с Оксаной бегали, бегали, никак не могли выгнать теленка. Тогда прибежал Рушан и выгнал его. Рушан очень быстро бегает!

Вот он, Рушан, сидит сейчас на воротах и поет. Он все-таки занятный, этот Рушан. Любит забираться куда-нибудь высоко — то на столб, то на крышу — и там песни поет. Никак не поймешь, о чем он поет.

— Пойдем, Рушан, в школу,— говорит Марат.

— В сентябре пойду,— отвечает Рушан.— Вчера была тетя, она сказала — учиться начнут в сентябре.

— А мы были в лесу и не видели эту тетю,— говорит Фагима.

Марат сердито смотрит на нее.

— Ты не очень много разговаривай в школе,— говорит он Фагиме.— Все-таки помни, что ты картавишь.

Фагима не обижается, только качает своей рыжей кудрявой головой:

— Ладно...

Мы дошли до школы, у двери остановились. Никто не хочет войти первым. Фагима взялась за ручку, но Марат остановил ее. Пока мы стоим, поглядывая по сторонам, из школьного сада показывается Заман. В руке у него большой красный цветок. Мы и не заметили, когда он забрался в школьный сад.

— Там много цветов, идемте собирать цветы! — говорит Заман.— И я там карандаш потерял.

Фарит сердится и начинает ругать Замана:

— Разве можно рвать цветы в школьном саду!

И правда, ничего-то не понимает этот Заман!

Из сада выходит тетя:

— Кто из вас тут цветы рвал?

— Это не я,— говорит Заман и прячется за спину Фарита.

Тетя смеется. Если смеется, значит, не сердится.

— В этом саду можно играть, но цветы рвать нельзя,— говорит она и гладит Замана по голове.— Идите играйте.

— Мы пришли не играть, а по делу,— заявляет Марат.

— По какому же делу вы пришли?

— Мы плишли учиться,— говорит Фагима.

Но Марат тянет ее за рукав:

— Нет, пока не учиться, а записаться.

Тетя ведет нас в школу. Мы входим в большую комнату. Там стоят парты.

— Садитесь, дети,— говорит тетя и достает большую тетрадь.

Заман не может сидеть спокойно — он все время вертится и наконец громко заявляет:

— Тетя, мы вчера ходили в лес.

— А-а! Кто же ходил?

— Мы! — бойко отвечает Заман.

Ну что за мальчик! И ведь говорит неправду: он с нами вчера в лес не ходил.

— Ну, кого первого записывать? — спрашивает учительница.

Сначала мы все молчим, потом тетя учительница спрашивает у всех по очереди, кому сколько лет.

Когда очередь доходит до Замана, он протягивает учительнице тот большой красный цветок, который сорвал в саду:

— Нате, тетя. Мне четыре года.

Учительница смеется, берет цветок, гладит Замана по голове и говорит:

— Тебе еще рано учиться. И тебе, Фагима, рано. А вы все приходите первого сентября. Меня зовут Рауза́ апа́й.

Рауза апай проводила нас до крыльца, и мы побежали домой.

Около дома остановились.

— Рауза апай хорошая? — спросила меня Оксана.

— Конечно, хорошая.

Она же будет нас учить читать и писать.

— Через четырнадцать дней — сентябрь, хорошенько запомните это,— сказал нам Марат.

С этого дня нас начали готовить в школу. Папа купил нам карандаши, краски, а мама сшила мне и Оксане новую одежду и красивые сумочки для книг. Мы теперь каждый день ходим к школе, даже в сад заходим.

А в школьном саду растет много разных деревьев и кустов, и каких только цветов нет на клумбах!

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

Однажды вечером мы сидим вчетвером и пьем чай. Оксана спорит со мной о том, сколько дней осталось до первого сентября. Я говорю: «Семь дней». Она говорит: «Восемь дней». Я говорю: «Нет, семь!» Она говорит: «Нет, восемь!» Папа с мамой молча смотрят на нас и улыбаются.

Сестра моя вдруг обнимает папу.

— Тогда пусть папа самую-самую правду скажет,— просит она.

Папа медленно гладит свой ус и говорит:

— По-моему, самая правда — это семь дней и восемь ночей.

Я считаю по пальцам дни и ночи. Но почему-то у меня не получается ни семь, ни восемь. Ну что же, пусть так, ночей можно и не считать. Ночью ведь люди спят.

Мы перестаем спорить. Мама сидит за столом, подперев рукой щеку. Папа смотрит на маму, потом на нас и тихо говорит:

— Сегодня, дети, из далеких краев к нам пришли добрые вести. Мы получили письмо от очень близкого человека.

Из каких далеких краев, от какого близкого человека могло прийти к нам письмо? Но этого папа не объясняет.

Я думаю о далеких краях, где живет этот близкий человек. Где эти края? Может, за тем голубым лесом возле Тимертау? Спросить бы папу.

Но папа уже встает из-за стола и говорит маме:

— Не забудь, Кюнбике, завтра принести меду с пасеки. Посылай приглашение матери в Тимертау. Так лучше будет.

Мама молча кивает головой. Конечно, так лучше будет. Когда бабушка у нас, всегда лучше. Мы бабушку любим. И сладкий мед тоже нам нравится.

— А вам, дети, как говорится, пора на сонный базар ехать. Раздевайтесь и ложитесь спать,— вставая из-за стола, говорит мама. Голос ее звучит сегодня как-то невесело.

Мы ложимся спать, не разузнав толком, о чем говорил папа.

А утром-то, утром! Что только не делалось в нашем доме! Вот что мы увидели сразу, когда проснулись. Мама белым-бело побелила печь, повесила на стены наши красивые узорчатые полотенца, на окна — белые кружевные занавески. Мамина кровать покрыта большим клетчатым ковром. А посмотрите-ка на самовар, как он весь сияет! Папа чисто-пречисто вымел весь двор. Сколько ни ищи, даже в траве не найдешь самой маленькой соринки!

Вот, оказывается, как бывает, когда из далеких краев приходят хорошие вести!

К вечеру пришла и бабушка. Мы с Оксаной увидели ее издали и выбежали навстречу, когда она еще была около дома Рушана.

— Бабушка,— сказали мы, крепко обнимая ее,— к нам пришли добрые вести из далеких краев. Поэтому мы тебя пригласили.

— Добрые вести — дело хорошее,— отвечала бабушка, улыбаясь и поглаживая нас по спине и по плечам.

Папа до позднего вечера был в колхозе, около своих лошадей. С выгона уже вернулось стадо, а его все еще нет. Бабушка с Оксаной ушли к дедушке Мансуру. Я тихонько подошел к маме, когда она доила корову.

— Мамочка,— спросил я шепотом,— а мамочка, кто же этот близкий человек, который живет в далеких краях?

Мама вдруг обернулась и тихо проговорила:

— Скоро, сынок, ты все узнаешь сам. Пусть только это будет в добрый час!

День прошел, два дня прошло — мы еще ничего не узнали. А на третий день в наш дом, как говорит бабушка, вошли и радость и печаль.

ПРИЕХАЛ ГОСТЬ

Мы долго были на речке и вернулись домой поздно. На бревнах возле сада сидели папа и какой-то незнакомый красноармеец. Увидев нас, этот красноармеец вскочил и крикнул:

— Оксана!..

Он еще что-то сказал, но я не расслышал. Мы с сестрой остановились. Откуда знает Оксану этот незнакомый человек? Папа ему сказал, что ли? Сам не знаю отчего, я испугался. Оксана тоже испугалась, у нее задрожали губы.

— Идите сюда, дети,— позвал нас папа.— Это дорогой гость. Он только что приехал.

Но мы не двинулись с места. Дорогой гость сам побежал к нам навстречу и взял на руки Оксану. Он долго смотрел на нее, потом прижал к себе. Оксана не заплакала: ее часто берут на руки — ведь все любят мою сестру. А этот человек все смотрит на нее, гладит по голове и шепчет:

— Оксана, Оксана, дочка моя...

Почему он так говорит: «дочка моя»? Я вижу, папа опустил голову и тыльной стороной ладони вытирает себе глаза. Что это с ним, не попала ли ему в глаз соринка? Бабушка глядит в открытое окно, прикрыв рот уголком платка. Мама стоит на крыльце — я никак не пойму, не то она смеется, не то плачет. Да, она смеется и плачет. Узнать бы мне, что за слезы у нее на глазах — сладкие или горькие?

А дорогой гость все держит Оксану на руках, целует ее лоб, волосы, руки. Я уже начинаю сердиться на этого гостя, чем-то он мне не нравится. Нельзя же так долго держать на руках чужую сестренку! Если хотите знать, этот гость не особенно еще дорогой мне.

Наконец он опускает Оксану на землю и хочет взять на руки меня, но я подбегаю к папе и прячусь за него. Если этот гость подойдет еще раз ко мне, я сейчас же возьму мою сестру и убегу вместе с ней и бабушкой в Тимертау.

— Не будь таким диким, сынок,— говорит папа,— наш гость, дядя Петро, любит тебя.

— Не надо, пусть не любит ни меня, ни Оксану,— говорю я, а сам смотрю в землю.

Оксана уже сидит на коленях у этого дяди Петра, гладит его по щеке и что-то говорит ему.

Я смотрю на папу, на маму, на бабушку: все они какие-то особенные сегодня. Как же это понять мне — радуются они или печалятся? И Оксана совсем-совсем другая стала. Обо мне она как будто и забыла...

А, нет, не забыла. Вот сестра моя подбегает ко мне. Ее голубые глаза стали еще светлее. Значит, она радуется. Она бьет в ладоши и весело говорит:

— Знаешь, кто к нам приехал?

— А кто?

— Сказать?

— Скажи.

— К нам приехал... Ты и не догадаешься!

А вы догадались бы? Никогда!

ТАК ВОТ КТО НАШ ДОРОГОЙ ГОСТЬ!

— Кюнбике,— зовет папа,— и ты, мама, идите сюда, посидим немного все вместе.

Мы усаживаемся на тех же бревнах. Оксана сидит между дядей и мною.

Я оборачиваюсь и смотрю на Полевую сторону. Там за дальней горой скрывается солнце. За нашим огородом на бугорке ходят лошади и щиплют траву. Длинные тени от лошадей падают на землю. Возле дуба стоит серая лошадь. Ее зовут Атакой. Эта лошадь тоже была на войне, ее ранило осколком, и теперь она немного прихрамывает, когда идет рысью. Сейчас вокруг Атаки собрались молодые лошади; они стоят тихо, даже не шевелят хвостами. Только Атака иногда вскидывает голову. Наверно, Атака им рассказывает какую-то интересную сказку.

Папа садится на большой камень напротив нас. Красные лучи солнца падают на его лицо. Мне кажется, что его щеки, нос и лоб охвачены пламенем; я боюсь, что вот-вот загорятся и запылают его длинные усы.

— Настало время, дети, рассказать вам, что привело в наш дом дорогого гостя,— медленно говорит папа и смотрит на дядю Петра, потом на Оксану и на меня.

Дядя Петро сидит опустив голову, как будто он задумался о чем-то. Мы с Оксаной с нетерпением ждем, что скажет папа. Но папа, видно, не знает, как начать.

— Рассказ мой будет короток,— откашлявшись, говорит

он.— Война, дети, страшное дело. Много горя приносит она людям. Сколько разоренных сел мы проходили — не сосчитать. Хуже зверей враги наши — фашисты. Нет в них жалости ни к матерям, ни к малым детям. Гнали мы их с Украины большой силой. Помню, однажды выбили мы их из одного села. Как сейчас перед глазами стоят разбитые хаты, пустая улица, везде гарью пахнет — дышать нечем. Ни одного человека не видно. Только слышу я, в крайней хате ребенок плачет...

Папа опять откашлялся и бросил быстрый взгляд на Оксану. Оксана тоже смотрела на него, и губы у нее чуть-чуть дрожали. Дядя Петро как будто чего-то испугался, но сидел молча и ждал, что скажет дальше папа.

— Забежал я в ту хату, вижу — лежит на полу убитая женщина. Возле нее маленькая девочка плачет. Остановился я. Сам еще не знаю, что делать, а руки мои уже подняли девочку и к груди прижимают. А она вдруг и говорит мне: «Папа!» Вижу, за отца меня приняла — он, наверно, тоже был на фронте. Ну, думаю, судьба ей быть моему Ямилю сестренкой...

Оксана прижала к груди руки:

— Это была я?

Папа ласково посмотрел на Оксану:

— Это была ты, дочка... Но слушайте, дети, дальше. Я поднял у печки уголек, написал на стене свой адрес, завернул дочку в шинель и побежал догонять товарищей... После боя командир разрешил мне отвезти дочку в город, где был детский дом. Тогда же я написал письмо маме, чтобы она приехала за Оксаной. Только через несколько месяцев мама смогла поехать в дальний путь... Ты помнишь, Ямиль, тот день, когда мама привезла тебе сестренку?

О, еще бы я не помнил этот день!.. Я помнил все. Но я боялся упустить хоть одно слово из папиного рассказа.

— Три дня назад я говорил вам о письме. Оно было от дяди Петра. Оксанин папа, наш дорогой гость и брат, сегодня сам приехал к нам,— дрогнувшим голосом закончил мой папа и снова откашлялся, как будто что-то застряло у него в горле.

Мне почему-то захотелось громко заплакать, но Оксана вдруг тихо шепнула:

— Я говорила тебе, Ямиль, что у нас была еще одна мама! И вот еще один папа приехал к нам теперь. Мой папа!

Вдруг дядя Петро своими сильными руками поднял нас с Оксаной и крепко прижал к груди.

— Ямиль, сыночек... Дети мои...— прошептал он, приникая к нам лицом.

Тогда я понял, что и правда он дорогой гость в нашем доме.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ

Я сразу полюбил дядю Петра. Хороший человек наш дядя Петро! Он часто сажает меня и Оксану на плечи и носит по двору. Мы немного боимся, когда он быстро бегает, но все равно смеемся. В нашем доме нет такого большого человека, как дядя Петро. Когда он входит в сени, то наклоняется, чтобы не ушибить о притолоку голову. Его каждый кулак ничуть не меньше большого мяча Замана. Вот ведь какой наш дядя Петро! Богатырь! Так говорит о нем дедушка Мансур.

Только бабушка что-то гостем недовольна. Она все бормочет свое.

— Больно уж непоседа,— говорит она.— Сидел бы себе спокойно дома, отдыхал бы да угощался. А он где только не был! Весь колхоз обошел!..

Бабушка правду говорит: где только не побывал дядя Петро! И всюду брал с собой меня и Оксану.

Перво-наперво мы были у родника дедушки Батырши. От родника пошли в поле, где мамина бригада молотила пшеницу. Дядя Петро немного посмотрел, потом быстро забрался на молотилку и начал подавать в барабан снопы.

Мы с Оксаной стояли в стороне, у большого скирда соломы.

— Затосковали руки солдата по работе, ой затосковали! — сказал один дядя, который вилами кидал на скирд солому.

— Это правда,— согласился и другой дядя, в солдатской гимнастерке.

Когда наступило время обеда и молотилка перестала работать, дядя Петро подошел к нам. Он весь был в пыли, только зубы его стали белее.

В этот день мы все трое побывали еще у папы, на скошенном лугу, около его табуна. Добрая улыбка осветила лицо гостя, когда он увидел коней. Он был очень доволен нашими конями.

Говорю же, не осталось ни одного места, где бы мы не побывали. Мы зашли в огород, потом на пасеку; на обратном пути были в том большом овраге, где из глины делают кирпичи и горшки.

Дяде Петру очень понравился наш аул, глядел он на него и не мог наглядеться.

А люди повсюду встречали его словами: «Добрая встреча, брат!» — и долго держали и трясли ему руки. А старухи хлопали по спине. Старые бабушки всегда так: хорошим людям сначала руки жмут, потом по спине хлопают.

Скажите, если бы дядя Петро не был дорогим гостем, разве люди так встречали бы его, а?

Больше всего понравилась дяде наша кузница. Мы туда три

раза ходили. В кузнице работают два кузнеца — два Габи: одного зовут Толстый Габи, другого Тонкий Габи. Оба Габи быстро подружились с дорогим гостем — говорят не наговорятся.

Каждый раз, когда мы бывали в кузнице, дядя Петро, засучив рукава, брал большой молот, величиной с мою голову, бил этим молотом по красному, раскаленному железу, и железо становилось тоненьким, как блинчик.

— Вот это кузнец так кузнец! — говорит Тонкий Габи Толстому Габи.— Вот у кого силища!

В этой кузнице мы с дядей Петром сделали мне железный ножик, а маме новую кочергу. Лишь Оксане мы ничего не смогли смастерить. Да в кузнице просто невозможно сделать куклу, это всякий понимает.

— Как сон прошли эти три дня,— говорит теперь мама.

Если говорит моя мама, наверно, оно так и было.

ТАИНСТВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Оксана со своим папой вошли в дом, а я завернул в сад, чтобы спрятать в сокровищнице разные железки, которые мы принесли из кузницы.

Я прошел мимо яблонь, посаженных весною. Вот Оксанина яблоня, вот моя, это папина яблоня, а та мамина. Чья же эта, пятая яблоня?.. А как говорила тогда, весною, мама? Она сказала, что пятая яблоня будет для гостя. У нас теперь есть дорогой гость. Как хорошо! Я сейчас же называю пятую яблоню именем дяди Петра. Всем по яблоньке!..

Когда я сидел у березки и копался в нашей сокровищнице, мне послышался негромкий разговор.

Кто же это разговаривает?

Я поднял голову и посмотрел. Недалеко от меня, с нашей стороны забора, за кустом орешника стояла бабушка, а с той стороны была видна белая борода дедушки Мансура.

— Очень любит он детей,— говорит бабушка.— Сам такой сердечный, и руки у него золотые. Хороший, очень хороший оказался наш новый родственник, радуюсь не нарадуюсь.

— Так, так, сестрица,— говорит дед.— Людей роднят не язык и не богатство — людей роднит сердце. Я много жил на свете и это знаю. Время такое наше, сестрица, оно не только жизнь людей, но и сердца их сделало лучше.

Бабушка шумно вздыхает и снова начинает тихо говорить:

— Эта разлука, Мансур, так тяжела, будто взяли да вырвали сердце твое и унесли его. Слишком уж мы к дочке нашей привязаны. И на отца ее еще не нагляделись. Горше всего будет

Ямилю и Кюнбике. Чего бы только не дала я, чтобы жили мы тут все вместе! Никак не можем уговорить его...

Потом опять раздается мягкий, ровный голос деда:

— Не надо уговаривать, сестра. Если у настоящего джигита земля покрыта золой и углем, как может терпеть его сердце! Он должен вернуться к своей земле, любящими руками посеять в нее доброе зерно и наново свить гнездо...

Разговор этих двух старых людей показался мне таинственным, и я понял, что меня ждет большая печаль. В груди у меня вдруг что-то оборвалось — не сердце ли это?

Да, они говорили о моей сестре и дяде Петре! Может быть, их уже нет в нашем доме?

Я бросился домой. Сестра моя сидит на сундуке, болтает ногами и что-то говорит своему папе. Ее светлые глаза так весело улыбаются... Я сразу успокоился. Нет же, никто никуда не уехал!

— Ты к нашей сокровищнице ходил, я уж знаю,— говорит Оксана.— Давай-ка посадим моих кукол на твоих коней и повезем их в гости.

— А куда?

— Далеко, очень далеко — на Украину.

В комнату быстро входит бабушка и сразу берется за самовар.

— Ох, какая я! Гости сидят без чаю, а я там заговорилась. Ох, как нехорошо! — громко повторяет она.

А у меня в ушах звенят другие ее слова, которые она говорила у плетня:

«...будто взяли да вырвали сердце твое и унесли его».

Что же это значит?

Я только потом понял, что значили бабушкины слова о вырванном сердце.

ПРОВОДЫ

Вот и настал последний день августа. Утро было теплое-претеплое. Желтая трава на дворе, листья на деревьях, железные крыши домов, белые телеграфные столбы на улице — все было залито солнцем.

— Как тепло и хорошо прощается с нами лето! — говорила бабушка.— Мы будем вспоминать о нем добрым словом.

В это утро дядя Петро и Оксана прощались с нашим аулом.

У ворот ждала запряженная в телегу колхозная лошадь Атака.

Вокруг телеги бегали мальчики и девочки, взрослые стояли и разговаривали.

Дома у нас все было готово к отъезду. Мама одела Оксану в самое лучшее платье. Дядя Петро быстро побрился. У него ведь больших усов нет, поэтому быстро.

Папа уже вынес все вещи, положил их на телегу и вернулся опять в дом. Бабушка велела всем на минутку присесть. Только тогда, обернувшись ко мне, мама сказала:

— Вот и настало время, Ямиль, прощаться тебе с сестрой. Сегодня Оксана уезжает на Украину вместе со своим папой. Потом и мы все приедем в гости к дяде Петру. Ладно, дочка? — ласково спрашивает она Оксану.

— Ой, мама, только скорее приезжайте! — Оксана берет маму за руку.— Пусть Ямиль сейчас с нами поедет. Поедешь, Ямиль?

— Кто же останется дома, если вы вдвоем уедете? Ямиль приедет потом, вместе с нами,— говорит бабушка.

Я слушаю и удивляюсь: почему Оксана должна ехать одна, когда я хочу ехать с ней хоть куда угодно?

Неужели они этого не понимают? Мне хочется громко-громко заплакать.

Некоторое время мы сидим молча. Потом бабушка подает рукой знак, что пора встать.

Мы все выходим на улицу. Люди окружают дядю Петра, жмут ему руки и говорят:

— Прощай, брат, да не навсегда!

Кто-то поднимает Оксану, целует. Ее передают с рук на руки.

Прощание длится очень долго. Самой последней к сестре моей подходит бабушка и гладит ее по светлым волосам.

— Будь счастливой, живи честным и хорошим человеком, доченька,— говорит она; мокрые от слез глаза ее стали совсем красными.

Потом мы все усаживаемся на телегу. Мама берет Оксану на колени. Папа взмахивает вожжами. Люди остаются у наших ворот, машут руками. Фагима громко, навзрыд плачет. Марат и Фарит бегут за телегой.

— Прощай, Оксана, будь здорова! — кричат они.

Сестра машет им рукой.

У края аула мальчики отстают от телеги, но все еще бегут за нами, потом останавливаются и долго смотрят вслед.

Мы проезжаем Лесную гору, большой луг, где мы отдыхали с папой. Папа останавливает коня и спрыгивает с телеги.

— Идите, дети, вперед, разомните ноги,— говорит он.— Когда устанете, сядете снова.

Мама помогает Оксане слезть с телеги, я спрыгиваю сам.

Мы бежим по желтой траве. Цветов уже нет — они отцвели,

и бабочек не видно. На стоге сена сидит какая-то большая серая птица, от нее на землю падает тень.

— Кш-ш-ш!.. Кш-ш-ш! — кричу я, но серая птица не улетает.

— Не пугай ее, Ямиль, может быть, ей хочется спать,— говорит Оксана.— Почему эта птица одна, где ее дети?.. Может, ее дети уехали в гости? — Она молчит, потом тихо добавляет: — Мама сегодня вышла со мной в сени, обнимала, обнимала меня, а потом так громко заплакала...

Я оглядываюсь. Мама, папа и дядя Петро идут за телегой.

Вдалеке едва виднеется наша Полевая сторона. Летом там растут цветы, голубые, как глаза моей сестренки. Их зовут незабудками. Бывало, мы рвали эти цветы и дома ставили их в стакан с водой. Теперь уже нет этих цветов. И башмаки наши поизносились. И Оксана уезжает. Дома остается только Оксанина яблоня и еще тот, самый красивый гусенок.

— Не надо ехать, сестричка моя Оксана,— прошу я.

— Мама сказала, что нужно ехать. А мой папа — он хороший, он и тебя, Ямиль, любит и меня. Ты приедешь с мамой к нам в гости, у нас там новый дом будет.

Нас догоняет телега, и мы с Оксаной опять усаживаемся на нее.

Едем долго-долго, через большие леса, через мосты, по берегам озер. Снова поднимаемся в гору. Впереди проезжает длинный поезд, оставляя за собой белые клубы дыма. За деревьями виднеется белый домик.

— Вот и доехали,— говорит папа.

Телега останавливается под деревом, не доезжая до белого домика.

Папа и дядя Петро идут в дом, а мы с мамой остаемся у лошади. Возле домика лежат блестящие рельсы, они уходят куда-то так далеко, как будто нигде не кончаются. По этим рельсам катятся колеса поезда.

Перед домиком выложены большие ровные камни. Они похожи на тот камень, на котором дедушка Мансур точит топор. Только здесь их много, и они все прилажены один к другому, по ним ходят люди. Таких детей, как мы, не видно, кругом одни взрослые.

Мама берет нас с Оксаной за руки, и мы тоже ходим по этим ровным камням. Мама не разговаривает и не смеется.

— Билеты есть,— слышим мы голос папы. Он и дядя Петро догоняют нас.— Скоро будет поезд. Я пойду принесу вещи.

Папа уходит, а дядя Петро остается с нами и разговаривает с мамой. Я не понимаю их, они говорят не по-башкирски. Потом подходит и папа с вещами. Теперь они говорят втроем.

— Идет! — закричал вдруг кто-то. Люди вокруг засуети-

лись, забегали, из-за деревьев показался паровоз. Он так грохотал, что под ногами дрожала земля, и так пыхтел, проходя мимо нас, что я даже испугался.

Мама потянула меня за рукав, и мы побежали за вагонами. У одного вагона дядя Петро остановился и отдал билет человеку в черном костюме с блестящими пуговицами.

Мы стали прощаться.

Дядя Петро обнял папу, крепко сжал мамины руки, потом поднял меня и три раза поцеловал в щеки.

Оксана вдруг бросилась к маме и крепко обняла ее. Они прижались друг к другу, плечи мамы вздрагивали.

Папа поспешно взял Оксану из маминых рук, поцеловал и опустил на землю...

— Попрощайтесь же, дети,— сказал он, гладя меня по плечу.

Сестра моя обернулась ко мне, и я увидел ее белое лицо, мокрое от слез, словно забрызганное дождем.

Я бросился к ней:

— Оксана, сестричка моя, не уезжай!

— Ямиль, не плачь, сынок, вы скоро увидитесь. Мы ведь живем на одной родной земле,— сказал папа.

Дядя Петро быстро поднял мою сестру на ступеньки вагона и вскочил сам.

Паровоз вдруг загудел. Вагоны тронулись.

Мама и папа машут руками вслед поезду. Вот из окна вагона мелькнул белый платочек Оксаны. Вот уже поезд скрылся за деревьями. А мы все еще не трогаемся с места. Вдруг я слышу тихий голос мамы:

— Улетела птичка моя перелетная в свое гнездо...

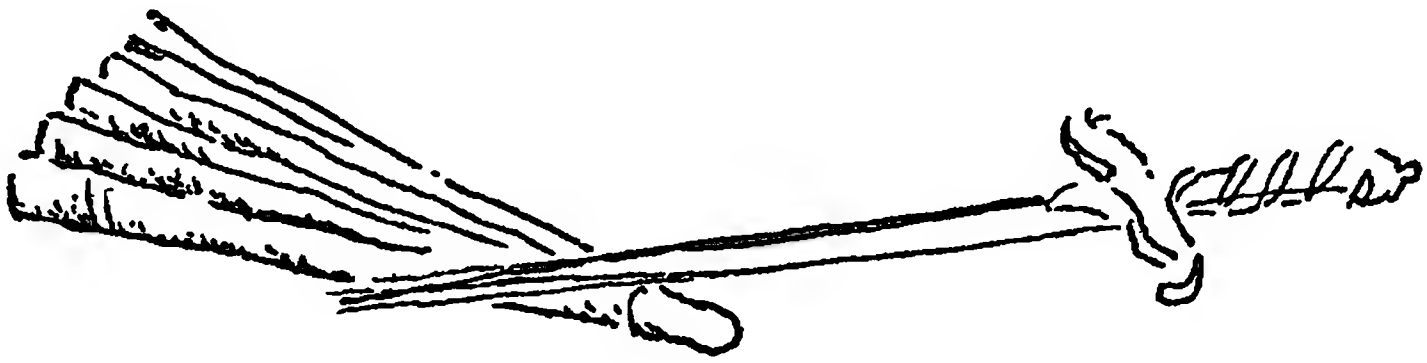
Папа о чем-то думает, потом, ни на кого не глядя, говорит:

— Не надо так говорить, Кюнбике. Дочь наша навсегда останется радостью нашего дома. Теперь не только у Оксаны, но у всех нас будет два гнезда. На своей земле Петро построит новый, просторный дом. Он это сможет, он сильный человек. И нам теперь навеки суждено делить с ними пополам и радость и печаль. Будем ездить друг к другу в гости, а если нужно, то и помогать будем.

Я все еще смотрю, как за деревьями рассеивается густой дым, но перед моими глазами уже встает большой новый дом, возле него — такой же, как у нас, сад, там растет одна березка и пять яблонь. По двору ходят белые, красивые гуси. На высокое крыльцо, крепко держась за руки, поднимаемся мы с Оксаной...

Вдали гудит паровоз.

Надо мной сияет чистое, ясное небо, цвета глаз моей сестры Оксаны, которую папа назвал радостью нашего дома.



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

Кортик

Повесть

Часть первая

РЕВСК

Глава 1

ИСПОРЧЕННАЯ КАМЕРА

Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо.

Улица, широкая и пустая, дремала, пригретая ранним утренним солнцем. Перекликались петухи. Изредка из дома доносились кашель, сонное бормотание — первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя.

Миша жмурил глаза. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке заставила его встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам коридора, он пробрался в чулан.

Тусклый свет падал из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед — старую сборную машину на спущенных шинах, с ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную, в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие

полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен.

Он осторожно открыл дверь, собираясь выбраться из чулана, как вдруг увидел в коридоре Полевого, босого, в тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился.

Полевой спустился во двор, подошел к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся.

«Чего ему не спится? — думал Миша.— И осматривается как-то странно...»

Полевого все называли «товарищ комиссар». Высокий, могучий человек, в прошлом матрос, он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Из-под куртки на ремешке болтался наган. Все ревские мальчишки завидовали Мише — он жил в одном доме с Полевым.

«Чего это он? — удивился Миша.— Так я из чулана не выберусь! Бабушка вот-вот поднимется».

Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Его взгляд скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома.

Потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо нащупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло.

Мише не терпелось смастерить рогатку, но... что искал Полевой под будкой? Миша крадучись подошел к ней и остановился в раздумье.

Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо! Нельзя быть таким любопытным! — подумал Миша и засунул руку под будку.— Ничего здесь не может быть». Ему просто показалось, будто Полевой что-то искал... Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего! Только земля и скользкое дерево... Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Вытащить? Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток.

Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала. Кортик! Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен, с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком.

Обыкновенный морской кортик. Почему же Полевой его

прячет? Странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо.

Со стуком падали деревянные брусья, запирающие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном, до босых пят, рваном зипуне и барашковой шапке. Он покрикивал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея.

Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка... Почему Полевой его прячет?

Рогатка готова. Эта будет получше Генкиной! Миша вложил в нее камешек и стрельнул по прыгавшим на дороге воробьям. Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и направился в кухню.

Бабушка в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами передвигала по скамейке большие корзины с вишнями. Чуть кося, щурятся ее маленькие, подслеповатые глазки на озабоченном лице. Миша запустил руки в корзину.

— Куда, куда! — закричала бабушка.— Грязными лапами!

— Жалко уж! Я есть хочу,— проворчал Миша.

— Умойся сперва.

Миша подошел к умывальнику, чуть смочил ладони, прикоснулся ими к кончику носа, тронул полотенце и отправился в столовую.

На своем обычном месте, во главе длинного обеденного стола, покрытого коричневой цветастой клеенкой, уже сидит дедушка. Дедушка — старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак и чихает в желтый носовой платок. Его живые, в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный.

На столе еще ничего нет. В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг.

На клеенке появляется глубокая царапина.

Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину.

— Где Семен? — спросил дед.

— В чулан пошел,— ответила бабушка.— Велосипед вздумал чинить!

Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. Велосипед чинить? Вот так штука! Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как назло, принялся за него. Сейчас увидит камеру — и начнется канитель.

Скучный человек дядя Сеня! Бабушка — та просто отругает, а дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент! Его давным-давно исключили из университета за «беспорядки». Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скосив глаза, и не глядя, наугад подносит ко рту ложку.

Миша опять вздрогнул: из чулана донеслось громыхание велосипеда.

И когда в дверях показался дядя Сеня с порезанной камерой в руках, Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился из дому.

Глава 2

ОГОРОДНЫЕ И АЛЕКСЕЕВСКИЕ

Он промчался по двору, перемахнул через забор и очутился на соседней, Огородной улице. До ближайшего переулка, ведущего на свою, Алексеевскую улицу, не более ста шагов. Но мальчишки с Огородной, заклятые враги алексеевских, уже заметили Мишу и сбегались со всех сторон, вопя и улюлюкая, в восторге от предстоящей расправы с алексеевским, да еще с москвичом.

Миша быстро вскарабкался на забор и закричал:

— Что, взяли? Эх вы, пугалы огородные!

Это была самая обидная для огородных кличка. В Мишу полетел град камней. Он скатился с забора во двор, на лбу его набухала шишка, а камни продолжали лететь, падая возле самого дома, из которого вдруг вышла бабушка. Она близоруко сощурила глаза и, обернувшись к дому, кого-то позвала. Наверное, дядю Сеню...

Миша прижался к забору:

— Ребята, стой! Слушай, чего скажу!

— Чего? — ответил кто-то за забором.

— Чур, не бросаться! — Миша влез на забор, с опаской поглядел на ребячьи руки.— Что вы все на одного? Давайте по-честному — один на один.

— Давай! — закричал Петька Петух, здоровенный парень лет пятнадцати.

Он сбросил с себя рваную кацавейку и воинственно засучил рукава рубашки.

— Уговор,— предупредил Миша,— двое дерутся, третий не мешай.

— Ладно, ладно, слезай!

На крыльце рядом с бабушкой уже стоял дядя Сеня. Миша спрыгнул с забора. Петух тут же подступил к нему. Он почти вдвое больше Миши.

— Это что? — Миша ткнул пальцем в железную пряжку Петькиного пояса.

По правилам во время драки никаких металлических предметов на одежде быть не должно. Петух снял ремень. Его широкие, отцовские, брюки чуть не упали. Он подхватил их рукой, кто-то подал ему веревку. Мишка в это время расталкивал ребят: «Давай побольше места!..» — и вдруг, отпихнув одного из мальчиков, бросился бежать.

Мальчишки с гиком и свистом кинулись за ним, а сзади всех, чуть не плача от огорчения, бежал Петух, придерживая рукой падающие штаны.

Миша несся во всю прыть. Босые его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот, сопение и крики преследователей. Вот поворот. Короткий переулок... И он влетел на свою улицу. Ему на выручку бежали алексеевские. Огородные, не принимая драки, вернулись к себе.

— Ты откуда? — спросил рыжий Генка.

Миша перевел дыхание, оглядел всех и небрежно произнес:

— С Огородной. Дрался с Петухом по-честному, а как стала моя брать, они все на одного.

— Ты — с Петухом? — недоверчиво спросил Генка.

— А то кто? Здоровый он парень, во какой фонарь мне подвесил! — Миша потрогал шишку на лбу.

Все с уважением посмотрели на этот синий знак его доблести.

— Я ему тоже всыпал...— продолжал Миша,— запомнит! И рогатку отобрал.— Он вытащил из-за пазухи рогатку с длинными красными резинками.— Получше твоей.

Потом он спрятал рогатку, презрительно посмотрел на девочек, формочками лепивших из песка куличики, и насмешливо спросил:

— А ты что делаешь? В пряталки играешь, в салочки? «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять...»

— Вот еще! — Генка тряхнул рыжими вихрами.— Давай в ножички.

— На пять горячих со смазкой.

— Ладно.

Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик: просто, с ладони, броском, через плечо, солдатиком...

Миша первым закончил все фигуры. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху два послюнявленных пальца. Генке эти секунды кажутся часами, но Миша не ударяет. Он опускает руку и говорит: «Смазка просохла»,— и снова слюнявит пальцы. Это повторялось по нескольку раз, перед каждым ударом, пока Миша не влепил наконец Генке все пять горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку.

Солнце поднималось все выше. Тени укорачивались и прижимались к палисадникам. Улица лежала полумертвая, едва дыша от неподвижного зноя. Жарко. Надо искупаться.

Мальчики отправились на Десну.

Узкая, в затвердевших колеях дорога вилась полями, уходившими во все стороны зелено-желтыми квадратами. Квадраты спускались в ложбины, поднимались на пригорки, постепенно закруглялись, как бы двигаясь вдали по правильной кривой, неся на себе рощи, одинокие овины, задумчивые облака.

Пшеница стояла высокая, неподвижная. Мальчики рвали колосья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую к нёбу шелуху. В пшенице что-то шелестело. Испуганные птицы вылетали из-под ног.

Вот и река. Приятели разделись на песчаном берегу и бросились в воду, поднимая фонтаны брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок.

— А в Москве есть река? — спросил Генка.

— Есть. Москва-река. Я тебе уже тысячу раз говорил.

— Так по городу и течет? Как же в ней купаются?

— Очень просто: в трусиках. Без трусов тебя к Москве-реке за версту не подпустят. Специально конная милиция смотрит.

Генка недоверчиво ухмыльнулся.

— Чего ты ухмыляешься? — рассердился Миша.— Ты, кроме своего Ревска, не видал ничего, а ухмыляешься!

Глядя на приближающийся к реке табун лошадей, он спросил:

— Какая самая маленькая лошадь?

— Жеребенок,— не задумываясь ответил Генка.

— Вот и не знаешь! Самая маленькая лошадь — пони. Есть английские пони, они — с собаку, а японский пони — вовсе с кошку.

— Врешь!

— Я вру? Если бы ты хоть раз был в цирке, то не спорил бы. Ведь не был? Скажи: не был?.. Ну вот, а споришь!

Генка помолчал, потом сказал:

— Такая лошадь ни к чему: ее ни в кавалерию, никуда...

— При чем тут кавалерия? Думаешь, только на лошадях воюют? Если хочешь знать, один матрос уложит трех кавалеристов.

— Я про матросов ничего не говорю,— сказал Генка,— а без кавалерии никак нельзя. Вот банда Никитского — все на лошадях.

— Подумаешь, «банда Никитского»!..— Миша презрительно скривил губы.— Скоро Полевой поймает этого Никитского.

— Не так-то просто,— возразил Генка,— его уж год все ловят, никак не поймают.

— Поймают!

— Тебе хорошо говорить, а он крушения устраивает. Отец уж боится поезда водить.

— Ничего, поймают.

Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. Им лень спорить: жарко.

Солнце обжигает степь, и, спасаясь от него, молчаливая степь лениво утягивается за горизонт.

Глава 3

ДЕЛА И МЕЧТЫ

Генка ушел домой обедать, а Миша долго бродил по горластому украинскому базару.

На возах зеленеют огурцы, краснеют помидоры, громоздятся решета с ягодами. Пронзительно визжат розовые поросята, хлопают белыми крыльями гуси. Флегматичные волы жуют свою бесконечную жвачку и пускают до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, выменянное на картофельную шелуху. И Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням.

Он остановился перед инвалидом, катавшим по скамейке три шарика: красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший, какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать, и инвалид говорил одураченным:

— Если я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Понимать надо.

Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка.

— Ты где пропадал целый день? — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев.

— Купался,— пробормотал Миша.

— «Купался»! Он купался... Хорошо, мы с тобой дома поговорим.

Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара.

Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне.

«Что они со мной сделают?» — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. Конечно, положение его неважное. Против него — бабушка и дядя Сеня. За него — дедушка и Полевой. А если Полевого нет дома? Останется один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней будут отчитывать его по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, а отдыхает дядя Сеня.

Чего только они не наговорят! Он-де невоспитанный, ничего путного из него не выйдет. Он позор семьи. Он несчастье матери, которую если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. (А мама живет в Москве, и он ее уже не видел два месяца.) И удивительно, как это его земля носит... И все в таком роде...

Придя домой, Миша внес корзину на кухню и пошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу. Это нарочно! Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит. Специально, чтобы помучить. Ну и пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и Полевой придет. Миша сел на стул и прислушался к их разговору.

Ясно! Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову... Подумаешь! В прошлом году поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу... Ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила. И этих разобьет.

С Махно и Антонова дядя Сеня перешел на Никитского.

— Его нельзя назвать бандитом,— говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки.— К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота. Это партизанская война, одинаково законная для обеих сторон.

Никитский не бандит? Миша чуть не задохнулся от возмущения. Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев

рабочих. И это не бандит? Противно слушать, что дядя Сеня болтает!

Наконец пришел Полевой. Теперь все! Раньше чем завтра с Мишей расправляться не будут.

Полевой снял куртку, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку — мамашей, лукаво подмигивал Мише. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца.

Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека. Где-то на огородах неутомимо лаяли собаки.

Дымя махоркой, Полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, об Иване Поддубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках — силачах, поднимавших трех лошадей с повозками по десяти человек в каждой.

Миша молчал, пораженный. Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице.

И еще Полевой рассказал о линкоре «Императрица Мария», на котором он плавал во время мировой войны.

Это был огромный корабль, самый мощный броненосец Черноморского флота. Спущенный на воду в июне пятнадцатого года, он в октябре шестнадцатого взорвался на севастопольском рейде, в полумиле от берега.

— Темная история,— говорил Полевой.— Не на мине взорвался, не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб первой башни, а там три тысячи пудов пороха. И пошло... Через час корабль был под водой. Из всей команды меньше половины спаслись, да и те погоревшие и искалеченные.

— Кто же его взорвал? — спросил Миша.

Полевой пожал широкими плечами:

— Разбирались в этом деле много, да все без толку, а тут революция... С царских адмиралов нужно спросить.

— Сергей Иваныч, а кто главней: царь или король?

Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну.

— Один другого стоит.

— А в других странах есть еще цари?

— Есть кой-где.

«Спросить о кортике? — подумал Миша.— Нет, не надо. Еще подумает, что я нарочно следил за ним...»

Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающе звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте.

Миша долго не засыпал...

Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставен, и вот в кухне, за печкой, начинал стрекотать сверчок.

В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой, шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми и щелкают электрическими выключателями! Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда он лежал один в темной комнате и мечтал.

Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик! Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена тревожные — гражданская война. По городам и селам гуляют банды, свистят пули. Патрули местной самообороны ходят ночью по улицам. У них ружья без патронов, старые ружья с заржавленными затворами.

Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным, будет носить брюки клеш или, еще лучше, обмотки, шикарные солдатские обмотки защитного цвета.

У него винтовка, гранаты, пулеметные ленты и наган на кожаной хрустящей портупее. И еще вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью. И он, Миша, поймает Никитского и разгонит всю его банду.

Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок. И его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише, но другого такого мальчика он уже не встретит...

Затем кто-то черный и молчаливый тасовал его мысли, как карты, и они путались и пропадали в темноте...

Миша засыпал.

Глава 4

НАКАЗАНИЕ

Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное — дедушка с ним заодно.

За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал:

— Набегался вчера? Вот и хорошо. Теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома.

Весь день сидеть дома! Сегодня! В воскресенье! Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он... Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.

— Надулся, как мышь на крупу,— сказала бабушка.— Научился шкодить...

— Хватит,— перебил ее дедушка, вставая из-за стола.— Он свое получил, и хватит.

Миша уныло слонялся по комнатам. Какой, право, скучный дом!

Стены столовой расписаны масляной краской, она потускнела местами и потрескалась: пузатое голубое море под огромной белой чайкой; ветвистые олени меж прямых, как палки, сосен; одноногие цапли; бородатые охотники в болотных сапогах, с ружьями, патронташами, перьями на шляпах и умные собаки, обнюхивавшие землю.

Над диваном — портреты дедушки и бабушки в молодости. У дедушки густые усы, бритый подбородок упирается в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. Бабушка — в закрытом черном платье, с медальоном на длинной цепочке. Ее высокая прическа доходит до самой рамы.

Миша вышел во двор. Два дровокола пилили там дрова. Пила весело звенела: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь; земля вокруг козел быстро покрывалась желтой пеленой опилок.

Миша уселся на бревно возле будки и разглядывал дровоколов. Старшему на вид лет сорок. Он среднего роста, плотный, чернявый, с прилипшими к потному лбу курчавыми волосами. Второй — молодой белобрысый парень с веснушчатым лицом и выгоревшими бровями, какой-то рыхлый и нескладный.

Стараясь не привлекать их внимания, Миша засунул руку под будку и нащупал сверток. Вытащить? Он искоса посмотрел на пильщиков. Они прервали работу и сидели на поленьях. Старший свернул козью ножку, ловко вращая ее вокруг пальца, и, насыпав с ладони табак, закурил. Молодой задремал, потом открыл глаза и, зевая, проговорил:

— Спать охота!

— Спать захочешь — на бороне уснешь,— ответил старший.

Они замолчали. Во дворе стало тихо. Только куры, выбивая мелкую дробь в деревянной лоханке, пили воду, смешно закидывая вверх свои маленькие, с красными гребешками головки.

Дровоколы поднялись и начали колоть дрова. Миша незаметно вытащил сверток, развернул его. Рассматривая клинок, он увидел на одной его грани едва заметное изображение волка. На второй — скорпиона, на третьей — лилии.

Волк, скорпион и лилия...

Что это значит?

Около Миши вдруг упало полено. Он испуганно прижал кортик к груди и прикрыл его рукой.

— Отойди, малыш, а то зашибет,— сказал чернявый.

— Малышей здесь нет! — ответил Миша.

— Шустрый! — сказал чернявый.— Ты кто? Комиссаров сынок?

— Какого комиссара?

— Полевого.
— Нет. Он живет у нас.
— Дома он? — Чернявый опустил топор.
— Нет. Он к обеду приходит. Он вам нужен?
— Да нет. Мы так...

Дровоколы кончили работу. Бабушка вынесла им на тарелке хлеб, сало и водку. Они выпили. Белобрысый — молча, а чернявый со словами: «Ну, господи, благослови», потом долго морщился, нюхал хлеб и в заключение крякнул: «Эх, хороша!» — и почему-то подмигнул Мише.

Они не спеша закусывали, отрезая сало аккуратными ломтиками, обгрызая и высасывая шкурку. Потом выпили по ковшу воды и ушли.

Но бабушка не уходила. Она установила на треножнике большой медный таз с длинной деревянной ручкой, подложила под него щепок и огородила от ветра кирпичами. Сейчас будет варить варенье и уже не уйдет со двора. Как быть с кортиком? Миша встал и, пряча кортик в рукаве, пошел к дому.

— Не шуми: дедушка спит,— предупредила бабушка.
— Я тихо,— ответил Миша.

Он вошел в зал и спрятал кортик под валик дивана. Как только бабушка уйдет со двора, он положит его обратно под будку. В крайнем случае — вечером, когда стемнеет.

В доме тишина. Только тикают большие стенные часы да жужжит муха на окне. Чем бы заняться?

Миша подошел к комнате дяди Сени. За дверью слышались покашливание, шелест бумаги. Миша открыл дверь:

— Дядя Сеня, почему моряки носят кортики?

Дядя Сеня лежал на узкой смятой койке и читал. Он посмотрел на Мишу поверх пенсне:

— Какие моряки? Какие кортики?

— Как это «какие»? Ведь только моряки носят кортики. Почему? — Миша уселся на стуле с твердым намерением не уходить до самого обеда.

— Не знаю,— нетерпеливо ответил дядя Сеня.— Форма такая... Все у тебя?

Этот вопрос означал, что Мише надо убираться вон.

— Разрешите, я немного посижу? Я буду тихо-тихо.

— Только не мешай.— Дядя Сеня снова углубился в книгу.

Маленькая комната у дяди Сени: кровать, книжный шкаф, на письменном столе чернильница в виде пистолета. Если нажать курок, она открывается. Хорошо иметь такую чернильницу! Вот бы ребята в школе позавидовали!

На стенах комнаты развешаны картины и портреты. Вот Некрасов. На школьных вечерах Шурка-большой всегда декламирует Некрасова. Выйдет на сцену и говорит: «Кому на

К стр. 100

Руси жить хорошо». Сочинение Некрасова». Как будто без него не знают, что это сочинил Некрасов.

Рядом с портретом Некрасова — картина «Не ждали». Каторжник неожиданно приходит домой. Все ошеломлены. Дочь удивленно повернула голову. Она, наверное, забыла отца. Вот его, Мишин, отец уже не вернется. Он погиб на царской каторге, и Миша его не помнит.

Сколько книг у дяди Сени! В шкафу, на шкафу, под кроватью, на столе. А почитать ничего не дает. Как будто Миша не умеет обращаться с книгами. У него в Москве своя библиотека есть. Один «Мир приключений» чего стоит!

Дядя Сеня продолжал читать, не обращая на Мишу внимания. Когда Миша выходил из комнаты, даже не посмотрел на него.

Какая скука! Хоть бы обед поскорей или варенье поспело бы! Уж пенки-то, наверное, ему достанутся. Миша подошел к окну. Большая зеленая муха с серыми крылышками то затихала, ползая по стеклу, то с громким жужжанием билась об него. Вот что! Нужно потренировать свою волю: он будет смотреть на муху и заставит себя не трогать ее.

Миша некоторое время следил за мухой. Разжужжалась! Так она, пожалуй, дедушку разбудит. Нет! Он заставит себя поймать муху, но не убьет ее, а выпустит на улицу.

Поймать муху на стекле проще простого. Раз! — и она у него в кулаке. Он осторожно разжал кулак и вытащил муху за крылышко. Она билась, пытаясь вырваться. Не уйдешь!

Миша открыл окно и задумался. Жалко выпускать муху. Только зря ловил ее. И вообще мухи распространяют заразу... Он размышлял о том, заставить ли себя выпустить муху или наоборот, заставить себя убить ее, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял голову. Напротив стоял Генка и ухмылялся:

— Здоро́во, Миша!

— Здравствуй.

— Много ты мух наловил?

— Сколько надо, столько и наловил.

— Почему на улицу не идешь?

— Не хочу.

— Врешь: не пускают.

— Много ты знаешь! Захочу — и выйду.

— Ну захоти, захоти!

— А я не хочу захотеть.

— Не хочешь! — Генка рассмеялся.— Скажи: не можешь.

— Не могу?

— Не можешь!

— Ах, так! — Миша влез на подоконник, соскочил на улицу и очутился рядом с Генкой.— Что, съел?

Но Генка не успел ответить. В окне появилась бабушка:

— Миша, домой сейчас же!

— Бежим! — прошептал Миша.

Они помчались по улице, юркнули в чей-то двор, пробрались в Генкин сад и спрятались в шалаше.

Глава 5

ШАЛАШ

Генкин шалаш устроен из досок, веток и листьев, меж трех деревьев, на высоте полутора-двух саженей. Он незаметен снизу, но из него виден весь Ревск, вокзал, Десна и дорога, ведущая в деревню Носовку. В нем прохладно, пахнет сосной и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца.

— Как теперь домой пойдешь? — спросил Генка.— Попадет тебе от бабушки.

— Я домой вовсе не пойду,— объявил Миша.

— Как так?

— Очень просто. Зачем мне? Завтра Полевой пойдет банду Никитского ликвидировать и меня возьмет. Нужно обязательно банду ликвидировать.

Генка расхохотался:

— Кем же ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщиком?

— Смейся, смейся,— ответил Миша.— Меня Полевой разведчиком берет, велел еще ребят подобрать, но...— он с сожалением посмотрел на Генку,— нет у нас подходящих.— Миша вздохнул.— Придется уж, видно, одному.

Генка просительно заглянул ему в глаза.

— Ну ладно,— снисходительно произнес Миша,— притащи чего-нибудь поесть, и мы подумаем. Только смотри никому ни слова, это секрет.

— Ура! — закричал Генка.— Даешь разведку!

— Ну вот,— рассердился Миша,— ты уже орешь, разглашаешь тайну.

— Не буду, не буду! — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду.

В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша и уткнул подбородок в кулаки. Что теперь делать? Не ночевать же на улице... Он вспомнил о кортике. Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история!

Сквозь листву виден сад, низкорослые яблони, ветвистые груши, кусты малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды? Ведь все это растет рядом, на одной земле.

На Мишиной руке появилась божья коровка, кругленькая, с твердым красным тельцем и черной точкой головы. Миша осторожно снял ее, положил на ладонь и произнес:

— Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба.

Она раскрыла тонкие крылышки и улетела.

Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу. Ужалит или нет? Если не шевелиться, не ужалит. Миша лежит неподвижно. Оса некоторое время ползет по его ноге и с жужжанием улетает.

Незаметный, но огромный живой мир копошится вокруг. Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется маленькая угловатая тень. Вон скачет по траве кузнечик на длинных, согнутых, точно сломанных посередине, ножках. На садовой дорожке неуклюже, боком, прыгает воробей. А за ним полусонными, хмурящимися, но внимательными глазами наблюдает кот, дремлющий на ступеньке беседки.

Ветер, пробегая, колышет запах травы, аромат цветов, благоухание яблонь. Приятная истома охватывает Мишу. Он дремлет и забывает о неприятностях сегодняшнего дня.

В шалаш, запыхавшись, вскарабкался Генка. У него за пазухой большой кусок теплой, еще не доваренной говядины.

— Вот гляди,— зашептал он,— прямо из кастрюли вытащил. Там суп варился.

— С ума сошел! — ужаснулся Миша.— Ты же всех без обеда оставил.

— Ну и что ж! — Генка молодецки тряхнул головой.— Я ведь в разведчики ухожу. Пусть варят другую говядину...— и самодовольно захихикал.

Миша жевал мясо, разрывая его зубами и руками. Ну и шляпа Генка! Влетит ему от отца. Папаша у него сердитый — высокий, худой машинист с седыми усами. И мама у него не родная, а мачеха.

— Знаешь новость? — спросил Генка.

— Какую?

— Так я тебе и сказал!

— Дело твое. Только какой же из тебя разведчик? Там ты тоже будешь все от меня скрывать?

Угроза, скрытая в Мишиных словах, подействовала на Генку. Теперь, после похищения мяса, у него одна дорога — в разведчики. Значит, надо подчиняться.

— Сейчас у нас был один мужик из Носовки, говорит, что банда Никитского совсем близко.

— Ну и что же? — яростно разжевывая мясо, спросил Миша.

— Как — что? Они могут напасть на Ревск.

Миша расхохотался:

— И ты поверил? Эх ты, а еще разведчик!

— А что? — смутился Генка.

— Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть, потому что у нас гарнизон. Понятно? Гар-ни-зон.

— Что такое гарнизон?

— Гарнизон не знаешь? Это... как бы тебе сказать... это...

— Тише! Слышишь? — прошептал вдруг Генка.

Миша перестал жевать и прислушался. Где-то за домами раздавались выстрелы и тонули в синем куполе неба. Завыл на станции гудок. Торопясь и захлебываясь, затараторил пулемет. Мальчики испуганно притаились, потом раздвинули листву и выглянули из шалаша.

Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли, на станции шла стрельба, и через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. В город ворвались белые.

Глава 6

НАЛЕТ

Миша спрятался у Генки, а когда выстрелы прекратились, выглянул на улицу и побежал домой, прижимаясь к палисадникам. На крыльце он увидел дедушку, растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами.

Миша вбежал в дом и замер. В столовой шла отчаянная борьба между Полевым и бандитами. Человек шесть повисло на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его, и живой клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за собой скатерти, половики, сорванные занавески. И только один белогвардеец, видимо главный, стоял у окна. Он был неподвижен, только взгляд его неотрывно следил за Полевым.

Миша забился в кучу висевшего на вешалке платья. Сердце его колотилось. Сейчас Полевой встанет, двинет плечами и разбросает всех. Но Полевой не вставал. Все слабее становились его бешеные усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, выкрутив назад руки, подвели к стоявшему у окна белогвардейцу. Полевой тяжело дышал. Кровь запеклась

в его русых волосах. Он стоял босиком, в тельняшке. Его, видно, захватили спящим. Бандиты были вооружены короткими винтовками, наганами, шашками; их кованые сапоги гремели по полу.

Белогвардеец не сводил с Полевого немигающего взгляда. Черный чуб свисал из-под заломленной папахи. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тиканье часов.

— Кортик! — произнес вдруг белогвардеец резким, глухим голосом.— Кортик! — повторил он, и глаза его, уставившиеся на Полевого, округлились.

Полевой молчал. Он тяжело дышал и медленно поводил плечами. Белогвардеец шагнул к нему, поднял нагайку и наотмашь ударил Полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза.

— Забыл Никитского? Я тебе напомню! — крикнул белогвардеец.

Так вот он какой, Никитский! Вот от кого прятал кортик Полевой!

— Слушай, Полевой,— неожиданно спокойно сказал Никитский,— никуда ты не денешься. Отдай кортик и убирайся на все четыре стороны. Нет — повешу!

Полевой молчал.

— Хорошо,— сказал Никитский.— Значит, так? — Он кивнул двум бандитам.

Те вошли в комнату Полевого. Миша узнал их: это были мужики, которые кололи у них дрова. Они все переворачивали, бросали на пол, прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали золу из печей, отрывали плинтусы. Сейчас они пойдут в Мишину комнату... Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал.

В темноте на потертом плюше дивана, под валиком, Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его и спрятал в рукав, крепко зажав в кулаке рукоятку кортика.

Обыск продолжался. Полевой стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще один белогвардеец, подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему.

Никитский секунду молчал, потом нагайка взметнулась:

— На коней!

Полевого потащили к сеням. И вот, когда Полевой переступал порог, Миша нащупал его руку и разжал кулак. Рукоятка коснулась ладони Полевого. Он притянул кортик к себе и вдруг взмахнул рукой и ударил переднего конвоира в шею. Миша

бросился под ноги второму, тот упал на Мишу, а Полевой прыгнул из сеней в темноту ночи...

Но Миша не знал, удалось скрыться Полевому или нет. Удар нагана обрушился на его голову.

Глава 7

МАМА

Миша лежал в кровати, прислушиваясь к отдаленным звукам улицы, доходившим до него сквозь чуть колеблющиеся занавески.

Идут люди. Слышны их шаги по деревянному тротуару и звучная украинская речь... Скрипит телега... Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Колесо катится тихо, лишь постукивает на стыке...

Миша слышал все это сквозь какой-то туман, и звуки эти мешались с короткими, быстро забываемыми снами. Полевой... Белогвардейцы... Ночь, скрывшая Полевого... Никитский... Кортик... Кровь на лице Полевого и на его, Мишином, лице... Теплая, липкая кровь...

Дедушка рассказал ему, как было дело. Отряд железнодорожников окружил поселок, и не всем бандитам удалось умчаться на своих быстрых конях. Но Никитский улизнул. Полевого в перестрелке ранили, он лежит теперь в станционной больнице.

Дедушка потрепал Мишу по голове и сказал:

— Эх ты, герой!

А какой он герой? Вот если бы он перестрелял бандитов и Никитского взял в плен, тогда другое дело.

Интересно, как встретит его Полевой. Наверное, хлопнет по плечу и скажет: «Ну, Михаил Григорьевич, как дела?» Может быть, подарит ему револьвер с портупеей, и они оба пойдут по улице, вооруженные и забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят!

В комнату вошла мама. Она приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки.

— Мама,— спросил Миша,— кино у нас в доме работает?

— Работает.

— Какая картина идет?

— Не помню. Лежи спокойно.

— Я лежу спокойно. Звонок у нас починили?

— Починили.

— Ты кого видела? Славку видела?

— Видела.
— А Шурку-большого?
— Видела, видела... Молчи, прошу тебя!

Эх, жалко, что он поедет в Москву без бинтов! Вот бы ребята позавидовали! А если не снимать бинтов? Так забинтованному и ехать! Красота! Умываться бы не пришлось...

— Мама, сколько я буду лежать?
— Пока не выздоровеешь.
— Я себя чувствую совсем хорошо. Пусти меня на улицу.
— Нельзя.

«Жалко ей,— мрачно думает Миша.— Лежи тут! Вот возьму и убегу». Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет, она никогда уже его не увидит.

Миша искоса поглядел на мать. Она шила, склонив голову, изредка откусывая нитку.

Тяжело ей придется без него! Придет со службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки...

Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, такая неутомимая и работящая. Она поздно приходит с фабрики домой. Готовит обед. Убирает комнату. Стирает Мише рубашки, штопает чулки, помогает ему готовить уроки, а он ленится наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед.

Милая, славная мамочка! Как часто он огорчает ее, не слушается, плохо ведет себя в школе! Маму вызывали туда, и она упрашивала директора простить Мишу. Сколько он перепортил вещей, истрепал книг, порвал одежды! Она терпеливо штопает, шьет, а он стыдится ходить с ней по улице, «как маленький». Он никогда ее не целует — ведь это «телячьи нежности». Вот и сегодня он придумывает, какое горе причинить ей, а она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила для него вещи и теперь не отходит от его постели.

Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно. Только маленький уголок, там, где сидит мама, освещен золотистым светом догорающего дня. Мама шьет, наклонив голову, и тихо поет:

Как дело измены, как совесть тирана,
Осенняя ночка темна.
Темней этой ночи встает из тумана
Видением мрачным тюрьма.

И протяжное, тоскливое, как стон, «слу-у-шай...».

Это поет узник, молодой, с прекрасным лицом. Он держится руками за решетку и смотрит на сияющий и недоступный мир.

Мама все поет и поет. Миша открыл глаза. Теперь смутно видно в темноте ее бледное лицо. Песня сменяет песню, и все они заунывные и печальные.

Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему: «Мишенька, родной, что с тобой?» — он обхватил ее шею, притянул к себе и, уткнув лицо в теплую, знакомо пахнущую кофточку, прошептал:

— Мамочка, дорогая, я так тебя люблю!

Глава 8

ПОСЕТИТЕЛИ

Миша поправлялся. Часть бинтов уже сняли, и только на голове еще белела повязка. Он ненадолго вставал, сидел на кровати, и наконец к нему впустили друга-приятеля Генку. Генка робко остановился в дверях. Миша скосил глаза и слабым голосом произнес:

— Садись.

Генка осторожно сел на краешек стула, открыл рот, выпучил глаза и, тщетно пытаясь спрятать под стул свои грязные ноги, уставился на Мишу.

Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. Изредка он касался рукой повязки на голове — не потому, что голова болела, а чтобы Генка обратил внимание на его бинты.

Наконец Генка набрался храбрости и спросил:

— Плохо тебе?

— Хорошо,— тихо ответил Миша, но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо, но он геройски переносит страшные муки.

Потом Генка спросил:

— В Москву уезжаешь?

— Да.— Миша опять вздохнул.

— Говорят, с эшелоном Полевого.

— Ну? — Миша поднялся и сел на кровати.— Откуда ты знаешь?

— Слыхал.

Они помолчали, потом Миша посмотрел на Генку:

— А ты как, решил?

— Чего?

— Поедешь в Москву?

Генка мотнул головой:

— Знаешь ведь, отец не пускает.

— Но тетка твоя, Агриппина Тихоновна, сколько раз тебя звала: «Поедем, будешь с нами в одном доме жить».

— Говорю тебе, отец не пускает.— Генка вздохнул.— И тетя Нюра тоже...

— Тетя Нюра тебе не родная.

— Она хорошая,— мотнул головой Генка.

— Агриппина Тихоновна еще лучше.

— Как же я поеду?

— Очень просто: в ящике под вагоном. Ты туда спрячешься, а как отъедем от Ревска, выйдешь и поедешь с нами.

— А если отец поведет поезд?

— Вылезешь в Бахмаче, когда паровоз сменят.

— Что я в Москве буду делать?

— Что хочешь! Хочешь — учись, хочешь — поступай на завод токарем.

— Как это — токарем? Я ведь не умею.

— Научишься. Подумай. Я тебе серьезно говорю.

— Про разведчиков ты тоже серьезно говорил, а мне за мясо так попало, что я до сих пор помню.

— Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли бы в разведку. Мы, как в Москву приедем, запишемся в добровольцы и поедем на фронт белых бить. Поедешь?

— Куда?

— Сначала в Москву, а потом на фронт — белых бить.

— Если белых бить, то, пожалуй, можно,— уклончиво ответил Генка.

Генка ушел. Миша лежал один и думал о Полевом. Почему он не приходит? Что особенного в этом кортике? На рукоятке бронзовая змейка, на клинке волк, скорпион и лилия. Что это значит?

Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пенсне. Глазки у него без пенсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пенсне на нос и спросил:

— Как ты себя чувствуешь, Михаил?

— Хорошо. Я уже могу встать.

— Нет, нет, ты, пожалуйста, лежи,— забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться,— пожалуйста, лежи! — Он постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился.— Михаил, я хочу с тобой поговорить.

«Неужели о камере?» — подумал Миша.

— Я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек... гм... так сказать... способен меня понять и сделать из моих слов полезные выводы.

«Ну, началось!»

— Так вот,— продолжал дядя Сеня,— последний случай, имевший для тебя столь печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как... преждевременное вступление в политическую борьбу.

— Чего? — Миша удивленно уставился на дядю Сеню.

— На твоих глазах происходит акт политической борьбы, а ты, человек молодой, еще не оформившийся, принял участие в этом акте. И напрасно.

— Как?! — изумился Миша.— Бандиты будут убивать Полевого, а я должен молчать? Так, по-вашему?

— Как благородный человек, ты должен, конечно, защищать всякого пострадавшего, но это в том случае, если, допустим, Полевой идет и на него напали грабители. Но в данном случае этого нет. Происходит борьба между красными и белыми, и ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в политику. Твое дело — сторона.

— Сторона?! — заволновался Миша.— Я ж за красных.

— Я не агитирую ни за красных, ни за белых. Но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике.

— По-вашему, пусть царствуют буржуи? — Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка.— Нет! Как хотите, дядя Сеня, а я не согласен.

— Твоего согласия никто не спрашивает,— рассердился дядя Сеня,— ты слушай, что говорят старшие!

— Вот я и слушаю. Полевой ведь старший. Мой папа тоже был старший. И Ленин старший. Они все против буржуев. И я тоже.

— С тобой невозможно разговаривать! — сказал дядя Сеня и вышел из комнаты.

Глава 9

ЛИНКОР «ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ»

В Ревске становилось все тревожней, и мама торопилась с отъездом.

Миша уже вставал, но на улицу его не пускали. Только разрешили сидеть у окна и смотреть на играющих ребят.

Все относились к нему с уважением. Даже с Огородной улицы пришел Петька Петух, подарил Мише тросточку с вырезанными на ней спиралями, ромбами, квадратами и на прощание сказал:

— Ты, пожалуйста, Миша, ходи по нашей улице сколько угодно. Не бойся: мы тебя не тронем.

А Полевой не приходил. Как хорошо было сидеть с ним на крыльце и слушать удивительные истории про моря и океаны,

бескрайний движущийся мир... Может быть, самому сходить в больницу? Попросить доктора, и его пропустят...

Но Мише не пришлось идти в больницу: Полевой пришел сам. Еще издали, с улицы, донесся его веселый голос. Мишино сердце замерло. Полевой вошел, одетый в военную форму и сапоги. Он принес с собой солнечную свежесть улицы и ароматы голубого лета. Полевой сел на стул рядом с Мишиной кроватью. Стул под ним жалобно заскрипел. И они оба, Полевой и Миша, смотрели друг на друга и улыбались. Потом Полевой хлопнул рукой по одеялу, весело сощурил глаза и спросил:

— Скоро встанешь?

— Завтра на улицу.

— Вот и хорошо.— Полевой помолчал, потом рассмеялся: — Ловко ты второго-то сбил? Здорово! Молодец! В долгу я перед тобою. Вот приду с фронта — буду рассчитываться.

— С фронта? — Мишин голос задрожал.— Дядя Сережа... Возьмите меня с собой. Я вас очень прошу, пожалуйста.

— Ну что ж,— Полевой насупил брови, как бы обдумывая Мишину просьбу,— можно... Поедете с моим эшелоном до Бахмача, а с Бахмача я вас в Москву отправлю. Понял?

— До Бахмача! — разочарованно протянул Миша.— Только дразнитесь.

— Не обижайся.— Полевой похлопал его по руке.— Навоюешься еще, успеешь. Скажи лучше: как к тебе кортик попал?

Миша покраснел.

— Не бойся,— засмеялся Полевой,— рассказывай.

— Я случайно его увидел, честное слово. Вынул посмотреть, а тут бабушка! Я его спрятал в диван, а обратно положить не успел.

— Никому про кортик не рассказывал?

— Вот ей-богу!

— Верю, верю,— успокоил его Полевой.

Миша осмелел:

— Дядя Сережа, скажите, почему Никитский ищет этот кортик?

Полевой сидел, как-то странно ссутулясь и глядя в пол. Потом глубоко вздохнул и спросил:

— Помнишь, я тебе рассказывал про линкор «Императрица Мария»?

— Помню.

— Так вот. Никитский служил там же, на линкоре, мичманом. Негодяй был первой статьи, но это к делу не относится. Перед взрывом, минуты так за три, Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел. Больше никто. Офицер только к нам прибыл, я и фамилии его не знаю. Я как раз находился возле его каюты. Слышу — спорят. Никитский того офицера

называет Владимиром... Вдруг — бац — выстрел!.. Я — в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский вытаскивает из чемодана этот самый кортик. Увидел меня — выстрелил... Мимо. Он — за кортик. Сцепились мы. Вдруг — трах! — взрыв, за ним другой, и пошло... Очнулся я на палубе. Кругом дымище, грохот, все рушится, а в руке — кортик. Ножны, значит, остались у Никитского. И сам он пропал.

Полевой помолчал, потом продолжал:

— Провалялся я в госпитале, а тут революция, гражданская война. Смотрю — объявился Никитский главарем банды. Пронюхал, что я в Ревске, и налетел — старые счеты свести. На такой риск пошел! Видно, кортик ему и теперь нужен. Только не получит: что врагу на пользу, то нам во вред. А кончится война, разберемся, что к чему.

Полевой опять помолчал и задумчиво, как бы самому себе сказал:

— Есть человек один, здешний, ревский, у Никитского в денщиках служил. Думал, найду я его здесь... да нет... скрылся.— Полевой встал.— Заговорился я с тобой! Мамаше передай, чтобы собиралась. Дня через два выступим. Ну, прощай!

Он подержал маленькую Мишину руку в своей большой, подмигнул ему и ушел.

Глава 10

ОТЪЕЗД

Эшелон стоял на станции. Миша с Генкой бегали его смотреть. Красноармейцы строили в теплушках нары, в вагонах — стойла для лошадей, а под классным вагоном ребята высмотрели большой железный ящик.

— Смотри, Генка, как удобно,— говорил Миша, залезая в ящик,— тут и спать можно, и что хочешь. Чего ты боишься? Всего одну ночь тебе в нем лежать. А там пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике.

— Тебе хорошо говорить, а как я сестренку оставлю? — хныкал Генка.

— Подумаешь, сестренку! Ей всего три года, она и не заметит. Зато в Москву попадешь! — Миша причмокнул губами.— Я тебя с ребятами познакомлю. У нас такие ребята! Славка на пианино что хочешь играет, даже в ноты не смотрит. Шурка Огуреев — артист, бороду прилепит, его и не узнаешь. В доме у нас кино, арбатский «Арс». Шикарное кино! Все картины не меньше чем в трех сериях... А не хочешь, оставайся. И цирка не увидишь, и вообще ничего. Пожалуйста, оставайся.

— Ладно,— решился Генка,— поеду.

— Вот здорово! — обрадовался Миша.— Из Бахмача напишешь отцу письмо. Так, мол, и так, уехал в Москву, к тете Агриппине Тихоновне. Прошу не беспокоиться. И все в порядке.

Они пошли вдоль эшелона. На одном вагоне мелом написано «Штаб». К стенам вагона прибиты плакаты. Миша принялся объяснять Генке, что на них нарисовано:

— Вот царь, видишь: корона, мантия и нос красный. Этот, в белой рубахе, с нагайкой,— урядник. В очках и соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами — это Деникин, Колчак и Юденич.

— А это кто? — Генка ткнул пальцем в плакат.

На нем был изображен толстяк в черном цилиндре, с отвисшим животом и хищным, крючковатым носом.

Толстяк сидел на мешке с золотом. С его пальцев с длинными ногтями стекала кровь.

— Буржуй,— ответил Миша.— На деньгах сидит. Думает всех за деньги купить.

— А почему написано «Антанта»?

— Это все равно. Антанта — это союз всех буржуев мирового капитала против Советской власти. Понял?

— Понял...— неуверенно проговорил Генка.— А почему здесь написано «Интернационал»? — Он показал на прибитый к вагону большой фанерный щит.

На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом.

— Это Интернационал — союз всех рабочих мирового пролетариата,— ответил Миша.— Рабочий,— он показал на рисунок,— это и есть Интернационал. А цепи — Антанта. И когда цепи разобьют, то во всем мире наступит власть рабочих и никаких буржуев больше не будет.

Наступил день отъезда.

Вещи погрузили на телегу. Мама прощалась с дедушкой и бабушкой. Они стояли на крыльце, маленькие, старенькие. Дедушка — в своем потертом сюртуке, бабушка — в засаленном капоте. Она утирала слезы и плаксиво морщила лицо. Дедушка нюхал табак, улыбался влажными глазами и бормотал:

— Все будет хорошо... все будет хорошо.

Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивала, наклонялась то в одну, то в другую сторону.

Когда телега свернула с Алексеевской улицы на Привокзальную, Миша в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой палисадника. Из-под штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли, а в середине, меж двух окон, висела круглая ржавая жестянка с надписью: «Страховое общество «Феникс». 1872 год».

Глава 11

В ЭШЕЛОНЕ

Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней. Протяжные гудки и пыхтение паровозов, лязг прицепляемых вагонов, торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, наполняли ночь тревогой, неведомой и тоскливой. Миша не отрываясь смотрел в окно, и чем больше прижимался он к стеклу, тем ясней вырисовывались предметы в темноте.

Поезд дернулся назад, лязгнул буферами и остановился. Потом снова дернулся, на этот раз вперед, и, не останавливаясь, пошел, громыхая на стрелках и набирая скорость. Вот уже остались позади станционные огни. Луна вышла из облаков. Серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы... Прощай, Ревск!

На следующий день Миша проснулся рано, поезд не двигался. Он вышел из вагона и подошел к ящику.

Эшелон стоял на запасном пути без паровоза. Безлюдно. Только дремал в тамбуре часовой да стучали копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику.

— Генка, вылезай!

Ответа не последовало. Миша постучал. Молчание. Миша залез под вагон — ящик пуст. Где ж Генка? Неужели сбежал вчера домой?

Его размышления прервал звук трубы, проигравшей зорю. Эшелон пробудился и оживил станцию. Из теплушек прыгали бойцы, умывались, забе́гали дежурные с котелками и чайниками. Запахло кашей. Кто-то кого-то звал, кто-то кого-то ругал. Потом все выстроились вдоль эшелона в два ряда, началась перекличка.

Бойцы были плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других — ботинки, валенки, галоши, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне. Старые и молодые, пожилые и совсем юные.

Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку: он стоял и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке, перехваченной вдоль и поперек ремнями, в широченных галифе с красным кантом и кожаными леями. Носик у парнишки маленький, а уши большие. Во рту трубка. Он меланхолически сплевывает через стол мимо Генки, который вздрагивает при каждом плевке, будто в него летит пуля.

— Так,— строго говорит парнишка,— значит, как твоя фамилия?

— Петров,— всхлипывает Генка.

— Ага, Петров! А не врешь?

— Не-е-е...

— Смотри у меня!

— Ей-богу, правда! — хнычет Генка.

Опять пауза, посасывание трубки, плевки, и допрос продолжается, причем вопросы и ответы повторяются бесчисленное множество раз.

Генку арестовали! Миша отпрянул от вагона и побежал искать Полевого. Он нашел его возле площадок с орудиями, которые Полевой осматривал вместе с другими командирами.

— Сергей Иванович,— обратился к нему Миша,— там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста.

— Кто арестовал? Какого Генку? — удивился Полевой.

— Там, в штабе, начальник в синих галифе, молоденький такой.

Все рассмеялись.

— Ай да Степа! — крикнул один из военных.

— Погоди. Разберемся сейчас.

Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед Полевым, баском произнес:

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что задержан подозрительный преступник.— Он показал на хныкающего Генку.— Признал себя виновным, что фамилию имеет Петров, имя Геннадий, сбежал от родителей в Москву до тетки. Отец — машинист. Оружие при нем обнаружено: три гильзы от патронов. Пойман на месте преступления — в ящике под вагоном, в спящем виде.

Он опустил руку и стоял, маленький, чуть повыше Генки.

Сдерживая смех, Полевой строго посмотрел на Генку:

— Зачем под вагон залез?

Генка еще пуще заплакал:

— Дяденька, честное слово, я в Москву, к тетке, пусть Миша скажет!..

— Сейчас разберемся...— сказал Полевой.— Ты, Степа,— обратился он к парнишке,— беги до старшины, пусть сюда идет.

— Есть сбегать до старшины, пусть сюда идет! — Степа повернулся кругом и выскочил из вагона.

— А вы марш отсюда! — приказал Полевой мальчикам.

Генка вылез из вагона. Миша шепотом спросил у Полевого:

— А кто этот парнишка?

— О, брат! — засмеялся Полевой.— Это большой человек: Степан Иванович Резников, курьер штаба.

Глава 12

БУДКА ОБХОДЧИКА

Вторую неделю стоял эшелон на станции Низковка.

— Бахмач не принимает, не хватает паровозов,— объяснял Генка. Он считал себя знатоком железнодорожных дел.

Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его, отодрал и хотел увезти обратно в Ревск. Но Полевой увел отца Генки к себе в вагон, о чем они там говорили, неизвестно, но, выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что все будет, «как решит мать».

На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо к тете Агриппине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв с Мишиной мамы обещание передать Генку тете «с рук на руки».

А эшелон все стоял на станции Низковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. По вечерам в черной золе тлели огоньки. В вагонах растягивалась гармошка, дребезжала балалайка, распевались частушки. Бойцы сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле, разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о боге, о продовольствии.

Продовольствия не хватало, и вот однажды Миша и Генка отпросились в лес за грибами.

Лес был верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться.

Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, и, когда наконец насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, тучи совсем затемнили небо.

«Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами? — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну.— Один шаг получается большой, другой — маленький. Очень неудобно».

Они пошли по насыпи, бескрайними полями. Изредка далеко-далеко, сквозь пелену дождя, виднелась деревенька и как будто слышалось мычание коров, лай собак, скрипение журавля на колодце — те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко в вечернем тумане путник видит селение.

Уже в темноте они добрались до будки обходчика. Отсюда до Низковки верст пять.

— Давай зайдем,— предложил Генка.

— Незачем. Только время терять.

— Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем.

— Нет. Эшелон могут отправить.

— Фью! — свистнул Генка.— Его еще через неделю не отправят. Зайдем! Хоть воды напиться.

Они постучали.

В ограде залаял пес, потом за дверью раздался женский голос:

— Чего надоть?

— Тетенька,— тоненьким голоском пропищал Генка,— водицы испить.

Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего. Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сени мальчишки вошли в просторную избу.

Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил:

— Матрена, кого впустила?

— Сынков,— ответила женщина, зевая.— Водицы просят... По грибы ходили?

— Ага.

— Идете куда?

— В Низковку.

— Далече,— протянула женщина.— Куда же вы на ночь-то глядя?

— Да вот, тетенька,— ухватился за это замечание Генка,— я и то говорю. Может, пустите переночевать?

— Чего ж не пустить! Места не жалко. Куда ж вы ночью под дождем пойдете? Ишь как сыплет,— говорила женщина, стаскивая с печи и постилая на полу тулуп,— да и лихие люди шатаются, а то и под поезд попадете. Ложитесь. До света вздремнете, а там и дойти недолго.

Она набросила крючок на дверь, задула лучину и, кряхтя, полезла на печь. Мальчики улеглись и сразу уснули.

Глава 13

БАНДИТЫ

И приснилась Мише какая-то неразбериха. Жеребенок вороной, с коротким развевающимся хвостом, резвится, вскидывая задние ноги, мчится по полю у подножия отвесной скалы.

Все смеются: Полевой, дедушка, Никитский... Смеются над ним, над Мишей. А жеребенок то остановится, нагнет голову, то брыкнет ногами и опять мчится по полю.

Вдруг... это не жеребенок, а огромный вороной конь. Он с разбегу кидается на отвесную скалу и взбирается по ней, как громадная черная муха, а Никитский стучит по дереву рукояткой нагайки: «Держи коня, держи коня!» Конь взбирается все медленней и медленней. «Держи коня, держи коня!» — кричит

Никитский. Вдруг лошадь отрывается от скалы и со страшным грохотом летит в пропасть...

Грохот прервался у Мишиных ног: ведро еще раз звякнуло и утихло.

— Держи коня! — опять крикнул кто-то из избы во двор и выругался: — А, черт, понаставили тут!

Чиркнула спичка. Тусклая лучина осветила высокого человека в бурке. На дворе ржали лошади и заливался неистовым лаем пес.

— Это кто? — спросил человек в бурке, указывая нагайкой на лежащих в углу ребят.

— Ребятишки со станции, по грибы ходили,— хмуро ответил хозяин. Он стоял в исподнем, с лучиной в руках: его всклокоченная борода тенью плясала по стене.— Да спят они, чего вы беспокоитесь!..

— Поговори!..— прикрикнул на него человек в бурке.

Он подошел к ребятам и нагнулся, вглядываясь в них. И в ту секунду, когда, притворясь спящим, Миша прикрыл глаза, над ним мелькнул колючий взгляд из-под черного чуба и папаха... Никитский!

Никитский подошел к обходчику:

— Прошел паровоз на Низковку?

— Прошел,— угрюмо ответил старик.

— Ты что же, старый черт, финтить?

Никитский схватил его за рубашку на груди, скрутил ее в кулаке, притянул к себе. Голова старика откинулась назад.

— Греха...— прохрипел старик,— греха на душу не приму...

— Не примешь? — Никитский, не выпуская обходчика, ударил его по лицу рукояткой нагайки.— Не примешь? Через час должен поезд пройти, а ты в монахи записался? — Он еще раз ударил его.

Старик упал. Никитский выбежал во двор.

Некоторое время там слышались голоса, конский топот, и все стихло. Только пес продолжал лаять и рваться с цепи.

Через час должен пройти поезд! С Низковки! Паровоз туда уже вышел... Может быть, их эшелон? И вдруг страшная догадка мелькнула в Мишином мозгу: бандиты хотят напасть на эшелон! Миша вскочил. Что же делать? Как предупредить? За час они не добегут до Низковки...

На полу стонал обходчик. Возле него, охая и причитая, хлопотала хозяйка.

Миша растолкал Генку:

— Вставай! Слышишь, Генка, вставай!

— Чего, чего тебе? — бормотал спросонья Генка.

Миша тащил его. Генка брыкался, пытался снова улечься на тулуп.

— Вставай,— Миша тряс Генку,— здесь Никитский. Они хотят напасть на эшелон...

Мальчики выбрались из сторожки. Дождь прекратился. Земля отдавала влагой. С крыши равномерно падали капли. Полная луна освещала края редеющих облаков, полотно железной дороги, блестящие рельсы. Пес во дворе не лаял, не гремел цепью, а выл жутко и тоскливо.

Миша и Генка долго бежали по тропинке вдоль насыпи и остановились, увидев на путях темные фигуры людей. Послышался лязг железа — бандиты разбирали путь.

Это было самое высокое место насыпи перед маленьким мостиком, перекинутым через овраг. К оврагу спускалась рощица. Мальчики услышали ржание лошадей, хруст веток, приглушенные голоса. Тихонько спустились они с насыпи, обогнули рощу и снова помчались во весь дух.

Холодный рассвет все ясней очерчивал контуры предметов, раздвигал дали. Вот видны уже станционные огни. Мальчики бежали изо всех сил, не чувствуя острых камней, не слыша шума ветра. Вдруг донесся отдаленный протяжный гудок паровоза. Они на секунду остановились и снова понеслись вперед. Они ничего не видели, кроме изогнутых железных поручней паровоза, окутанных клубами белого пара. Поручни эти всё увеличивались и увеличивались, стали совсем громадными и заслонили собой паровоз. Миша хотел ухватиться за них, как вдруг чья-то сильная рука остановила его... Перед мальчиками стоял Полевой.

— Ну,— строго спросил Полевой,— где шатались?

— Сергей Иваныч...— Миша тяжело дышал,— там Никитский...

— Где? — быстро спросил Полевой.

— Там... в овраге...

— В овраге? — переспросил Полевой.

— Да.

— Вот как...— Полевой на секунду задумался.— А мы их тут ждали... Ладно! А теперь марш в вагон! И смотрите: больше из вагона не вылезать, а то под замок посажу.

Глава 14

ПРОЩАНИЕ

Бой продолжался не долго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, расседлывали, по мосткам загоняли в вагон.

Бойцы быстро восстановили путь. Поезд двинулся дальше.

В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву. А эшелон уходил на фронт.

Перед отходом эшелона Полевой и Миша уселись в тени пакгауза: Миша — на земле, Полевой — на пустом ящике.

— Ну, Миша, что скажешь на прощание?

Миша ничего не отвечал, только прятал глаза.

— Да,— сказал Полевой,— пришла нам пора расставаться. Не знаю, увидимся или нет, так вот смотри...

Он вынул кортик и положил его на ладонь. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Полевой повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи. Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем.

Полевой отъединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками: точками, черточками, кружками.

— Знаешь, что это такое? — спросил Полевой.

— Шифр? — Миша вопросительно взглянул на Полевого.

— Правильно, шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему нужен кортик?

Миша утвердительно кивнул головой.

Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку:

— Человека из-за этого кортика убили — значит, есть в нем тайна. Надеялся я эту тайну открыть, да время не то...— Он вздохнул.— И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война... Так вот бери...— Он протянул Мише кортик.— Вернусь с фронта — займусь этим кортиком, а не вернусь...— Он подмигнул Мише.— Не вернусь — значит, память обо мне останется.

Миша взял кортик.

— Что же ты молчишь? — спросил Полевой.— Может быть, боишься?

— Чего мне бояться?

— Главное,— сказал Полевой,— не болтай и берегись одного человека.

— Никитского?

— Никитский на тебя и не подумает. Да и где ты его увидишь! Есть еще один человек. Не нашел я его. Но он ревский. Может быть, случай вас столкнет, так остерегайся.

— Кто же это?

Полевой снова посмотрел на Мишу.

— Фамилия его Филин.

— Филин...— задумчиво повторил Миша.— У нас во дворе тоже Филин живет.

— Как его имя-отчество?

— Не знаю. Я его сына знаю — Борьку. Его ребята «Жилой» зовут.

Полевой засмеялся.

— Жила... А он из Ревска, этот Филин?

— Не знаю.

Полевой задумался.

— Филиных много. А этот вряд ли в Москве, должен он запрятаться поглубже. А все же остерегайся. Это народ такой: одним духом в могилевскую губернию отправят. Понял?

— Понял.

— Не робей, Михаил Григорьевич! — Полевой хлопнул его по плечу.— Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни...

Он встал. Миша тоже поднялся.

— Только помни, Мишка,— сказал Полевой,— жизнь — как море. Для себя жить захочешь — будешь как одинокий рыбак в негодной лодчонке: к мелководью жаться, на один и тот же берег смотреть да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь жить для народа — на большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой! Ты за товарищей, а товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо! — Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам, высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели.

Перед отходом поезда состоялся митинг. На вокзале собралось много народу. Пришли жители города и рабочие депо. Девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами.

Митинг открыл Полевой. Он стоял на крыше штабного вагона, над щитом с эмблемой Интернационала. Полевой сказал, что над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась на молодую Советскую Республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов, и знамя Свободы водрузится над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все кричали «ура».

Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка, но она, армия, сильна своим несгибаемым духом, своей верой в правое дело. Ему тоже хлопали и кричали «ура». И Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже хлопали в ладоши и кричали «ура» громче всех.

Потом эшелон отошел от станции.

В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках, другие стояли за ни-

ми. Все они пели «Интернационал». Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степь и неслись по необъятной земле.

Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом. Сердце его вырывалось вместе с песней, по спине пробегала непонятная дрожь, к горлу подкатывал тесный комок, и на глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил и наконец, вильнув длинным закругленным хвостом, скрылся.

Вечер зажег на небе мерцающие огоньки, толпа расходилась, и перрон опустел.

Но Миша не уходил. Он все глядел вслед ушедшему поезду, туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полоску, прорезавшую горбатый туманный горизонт. И перед глазами его стоял эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.

Часть вторая

ДВОР НА АРБАТЕ

Глава 15

ГОД СПУСТЯ

Шум в коридоре разбудил Мишу. Он открыл один глаз и тут же зажмурил. Короткий луч солнца пробрался из-за высоких соседних зданий и тысячью неугомонных пылинок клубился между окном и лежащим на полу ковриком. Вышитый на коврике полосатый тигр тоже жмурил глаза и дремал, уткнув голову в вытянутые лапы. Это был дряхлый тигр, потертый и безобидный. С коврика луч перебрался на край стола, заблестел на никеле маминой кровати, осветил швейную машину и вдруг исчез, будто и не был вовсе.

В комнате стемнело. Снизу, с Арбата и со двора, доносились предостерегающие звонки трамваев, гудки автомобилей, веселые детские голоса, крики точильщиков, старьевщиков — разноголосые, ликующие звуки весенней улицы.

Миша дремал. Не вставать же в первый день каникул в обычное время. Сегодня весь день гулять. Красота!

В комнату, с утюгом в руках, вошла мама, положила на стол

сложенное одеяло, поставила утюг на опрокинутую самоварную конфорку. Рядом, на стуле, белела груда выстиранного белья.

— Миша, вставай,— сказала мама.— Вставай, сынок, побыстрей.

Миша лежал не двигаясь. Почему мама всегда знает, спит он или нет? Ведь он лежит с закрытыми глазами...

— Вставай, не притворяйся...— Мама подошла к кровати, засунула руку под одеяло.

Миша поджал ноги под себя, но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша расхохотался и вскочил с кровати.

Он быстро оделся и отправился умываться.

В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол, выщербленный от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные потеки — следы лопнувшего зимой водопровода.

Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил: с первого дня каникул начать холодные обтирания.

Поеживаясь, он открыл кран. Звонкая струя ударилась о раковину, острые брызги морозно кольнули Мишины плечи.

Да, холодновата еще водичка... Конечно, он твердо решил с первого дня каникул начать холодные обтирания, но... ведь их распустили на две недели раньше, не первого июня, а пятнадцатого мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено: он будет обтираться с первого июня. Миша снова надел рубашку.

Причесываясь перед зеркалом, он внимательно рассмотрел свое лицо. Плохой у него подбородок! Если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы силой воли,— это еще у Джека Лондона написано. А ему необходима сильная воля. Факт, смалодушничал с обтиранием. И так каждый раз. Начал вести дневник, тетрадь завел, разрисовал, а потом бросил — не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели раздобыл — и тоже бросил: то в школу надо поскорей, то еще что-нибудь, а попросту говоря, лень. И вообще, задумает что-нибудь такое и начинает откладывать: до понедельника, до первого числа, до нового учебного года... Слабоволие и бесхарактерность!

Миша выпятил челюсть. Вот такой подбородок должен быть у человека с сильной волей. Нужно все время так держать зубы, и постепенно нижняя челюсть выпятится вперед.

На столе дымилась картошка. Рядом, на тарелке, лежали два ломтика черного хлеба — сегодняшний паек.

Миша разделил свою порцию на три части — завтрак, обед, ужин — и взял один кусочек. Он был настолько мал, что Миша и не заметил, как съел его. Взять, что ли, второй? Поужинать

можно и без хлеба... Нет! Нельзя! Если он съест сейчас хлеб, то вечером мама обязательно отдаст ему свою порцию и сама останется без хлеба.

Миша положил обратно хлеб и решительно выдвинул вперед нижнюю челюсть. Но в это время он жевал горячую картошку и, выдвинув челюсть, больно прикусил себе язык.

Глава 16

КНИЖНЫЙ ШКАФ

После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его:

— Ты куда?

— Пойду пройдусь.

— На двор?

— И на двор зайду.

— А книги кто уберет?

— Мне сейчас некогда.

— Я должна за тобой убирать?

— Ладно,— пробурчал Миша.— Ты всегда так: пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана!

В шкафу Мишина полка вторая снизу. Вообще шкаф книжный, но он используется и под белье и под посуду. Другого шкафа у них нет.

Миша вытащил книги, подмел полку сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь». Затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их в порядке устанавливать.

Первыми он поставил два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Это самые ценные книги. Если иметь все восемьдесят два тома, то и в школу ходить не надо: выучил весь словарь — вот и получил высшее образование.

За Брокгаузом становятся: «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе, Толстой — «Детство. Отрочество. Юность», Марк Твен — «Приключения Тома Сойера». А это что? Гм! Чарская... «Княжна Джаваха»... Слезливая девчоночья книга. Только переплет красивый. Нужно выменять ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах.

С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату. Во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река вилась извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол

храма Спасителя сиял тысячью солнц, и за ним Кремль устремлял к небу верхушки своих башен.

Миша высунулся из окна и крикнул:

— Славка-а-а!..

В окне третьего этажа появился Славка — болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими длинными пальцами.

Его дразнили «буржуем» за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать — певица, а отец — главный инженер фабрики имени Свердлова, той самой фабрики, где работают Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго стояла, а теперь готовится к пуску.

— Славка,— крикнул Миша,— давай меняться! — Он потряс книгой.— Шикарная вещь! «Княжна Джаваха». Зачитаешься!

— У меня есть эта книга.

— Неважно. Смотри, какая обложечка! А? Ты мне дай «Овода».

— Нет!

— Потом сам попросишь, но уже не получишь...

— Ты когда во двор выйдешь? — спросил Слава.

— Скоро.

— Приходи к Генке, я буду у него.

— Ладно.

Миша слез с окна, поставил книгу на полку. Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет.

Вот это книжечки! «Кожаный чулок», «Всадник без головы», «Восемьдесят тысяч верст под водой», «В дебрях Африки»... Ковбои, прерии, индейцы, мустанги...

Так. Теперь учебники: Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петцольд... В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих даровых щей.

Это была суровая голодная зима тысяча девятьсот двадцать первого года.

Миша уложил тетради, альбом с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир. Потом, покосившись на мать, ощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу «Нива».

Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка. Где теперь Полевой? Он прислал одно письмо, и больше от него ничего нет. Но он приедет, обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофиннов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами.

И вообще Антанта готовит новую войну. По всему видно.

Вот Никитский, наверное, убит. Или удрал за границу, как другие белые офицеры. Ножны остались у него, и тайна кортика никогда не откроется.

Миша задумался. Кто все-таки этот Филин, завскладом, Борькин отец? Не тот ли это Филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска... Кажется... Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает, а вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает. Когда Миша спросил ее о Филине, она плюнула и сердито загудела: «Не знаю и знать не хочу! Дрянной человек». Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но, видно, что-то знает. Только говорить не хочет. Строгая женщина, высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же «делегатка» — самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится: чуть что — начинает собираться обратно в Ревск. Ну, Агриппина Тихоновна сейчас же на попятную.

...Как же узнать все-таки про Филина? Не догадался он спросить у Полевого его имя-отчество!..

Миша вздохнул, закрыл шкаф и отправился к Генке.

Глава 17

ГЕНКА

Генка и Слава играли в шахматы. Доска с фигурами лежала на стуле. Слава стоял. Генка сидел на краю широкой кровати, покрытой стеганым одеялом, с высокой пирамидой подушек, доходившей своей верхушкой до маленькой иконки, висевшей под самым потолком.

Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, раскатывала на столе тесто. Она, видимо, была чем-то недовольна и сурово посмотрела на вошедшего в комнату Мишу.

— Где ты пропадал? — крикнул Генка.— Гляди, я сейчас сделаю Славке мат в три хода... Сейчас я его: айн, цвай, драй...

— «Цвай, драй»! — загудела Агриппина Тихоновна.— Слезай с кровати! Нашел место!

Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати.

— Не ерзай, а слезай! Кому говорю?

Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела:

— Стыд и срам! Взрослый парень, а туда же — капусту изрезал, вилок испортил! Отвечай: зачем изрезал?

— Кочерыжку доставал. Она вам все равно ни к чему.

— Так не мог ты, дурная твоя голова, осторожно резать? Вилок я на голубцы приготовила, а ты весь лист испортил.

— Голубцы, тетя,— лениво ответил Генка, обдумывая ход,— голубцы, тетя,— это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы голубцы есть. И потом, какие же это голубцы с пшенной кашей? Были бы хоть с мясом.

— Ты меня еще будешь учить!

— Честное слово, тетя, я вам удивляюсь,— продолжал разглагольствовать Генка, не отрывая глаз от шахмат.— Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь из-за какой-то несчастной кочерыжки.

— Молчи, а то вот этой скалки отведаешь!

— Я молчу. А скалкой не грозитесь, все равно не ударите.

— Это почему? — Агриппина Тихоновна угрожающе выпрямилась.

— Не ударите.

— Почему не ударю, спрашиваю я тебя?

— Почему? — Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке.— Потому что вы меня любите, тетенька, любите и уважаете...

— Дурень, ну, право, дурень! — засмеялась Агриппина Тихоновна.— Ну почему ты такой дурень?

— Мат! — объявил вдруг Слава.

— Где? Где? Где мат? — заволновался Генка.— Правда... Вот видите, тетя,— добавил он плачущим голосом,— из-за ваших голубцов верную партию проиграл!

— Невелика беда! — сказала Агриппина Тихоновна и вышла на кухню.

— Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься? — сказал Слава.

— Я? Ссорюсь? Что ты! Это разве ссора? У нее такая манера разговаривать.— Генка снова начал расставлять фигуры на доске.— Давай сыграем, Миша.

— Нет,— сказал Миша.— Чего дома сидеть!

Генка сложил шахматы, закрыл доску. Мальчики побежали во двор.

Глава 18

БОРЬКА-ЖИЛА

Уже май, но снег на заднем дворе еще не сошел.

Наваленные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но, защищенные восемью этажами тесно стоящих зданий, не сдавались солнцу, которое изредка вползало во двор и дремало

на узкой полоске асфальта, на белых квадратах «классов», где прыгали девочки.

Потом солнце поднималось, лениво карабкалось по стене все выше и выше, пока не скрывалось за домами, и только вспученные расщелины асфальта еще долго выдыхали из земли теплый волнующий запах.

Мальчики играли царскими медяками в пристеночек. Генка изо всех сил расставлял пальцы, чтобы дотянуться от своей монеты до Мишкиной.

— Нет, не достанешь,— говорил Миша,— не достанешь... Бей, Жила, твоя очередь.

— Мы вдарим,— бормотал Борька, прицеливаясь на Славину монету.— Есть! — Его широкий сплюснутый пятак покрыл Славин.— Гони копейку, буржуй!

Слава покраснел:

— Я уже всё проиграл. За мной будет.

— Что же ты в игру лезешь? — закричал Борька.— Здесь в долг не играют. Давай деньги!

— Я ведь сказал тебе — нету. Отыграю и отдам.

— Ах так?! — Борька схватил Славин пятак.— Отдашь долг — тогда получишь обратно.

— Какое ты имеешь право? — Славин голос дрожал от волнения, на бледных щеках выступил румянец.— Какое ты имеешь право это делать?

— Значит, имею,— бормотал Борька, пряча пятак в карман.— Будешь знать в другой раз.

Миша протянул Борьке копейку.

— На, отдай ему биту. А ты, Славка, не имеешь денег — не играй.

— Не возьму,— мотнул головой Борька,— чужие не возьму. Пусть сам отдает.

— Зажилить хочешь?

— Может, хочу.

— Отдай Славке биту!

— А тебе что? — ощерился Борька.— Ты здесь что за хозяин?

— Не отдашь? — Миша вплотную придвинулся к Борьке.

— Дай ему, Мишка! — крикнул Генка и тоже подступил к Борьке.

Но Миша отстранил его:

— Постой, Генка, я сам. Последний раз спрашиваю: отдашь?

Борька отступил на шаг, отвел глаза.

— На, пусть подавится.— Брошенный им пятак зазвенел на камнях.— Подумаешь, заступник нашелся.

Он отошел в сторону, кидая на Мишу злобные взгляды. Игра расстроилась.

Мальчики уселись возле стены на теплом асфальте и грелись на солнце.

В верхушках чахлых деревьев путался звон колоколов, доносившихся из церкви Николы на Плотниках. На протянутых от дерева к дереву веревках трепетало белье; деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Бесстрашная женщина стояла на подоконнике на третьем этаже и, держась рукой за раму, мыла окно.

Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось! Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его Жилой зовут! Торгует на Смоленском папиросами врассыпную да ирисками и для блеска облизывает их языком. И отец его, Филин, завскладом,— такой же спекулянт...

А Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.

— Закутается такой попрыгунчик в простыню,— шмыгая носом, говорил Борька,— во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок — и уже на другой улице.

— А ну тебя! — Миша махнул рукой.— «Попрыгунчики»...— передразнил он Борьку.— Ты еще про подвал расскажи, про мертвецов своих.

— А что,— сказал Борька,— в подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было. Они кричат и стонут по ночам, аж страшно.

— Ничего нет в твоем подвале,— возразил Миша.— Ты все это своей бабушке расскажи. А то «кладбище», «мертвецы»...

— Есть кладбище,— настаивал Борька.— Там и подземный ход есть под всю Москву. Его Иван Грозный построил.

— Иван Грозный жил четыреста лет назад, а нашему дому всего десять лет. Уж врал бы, да не завирался.

— Я вру? — Борька ехидно улыбнулся.— Пойдем со мной в подвал. Я тебе и мертвецов, и подземный ход — всё покажу.

— Не ходи, Мишка,— сказал Генка,— он тебя заведет, а потом будет разыгрывать.

Это была обычная Борькина проделка. Из всех ребят он один знал вдоль и поперек подвал — громадное мрачное помещение под домом. Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея ориентировки, спутник тщетно взывал к нему. Борька не откликался. И, только помучив таким образом свою жертву и выговорив какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подземелья.

— Дураков нет,— продолжал Генка, уже попадавшийся на эту удочку.— Ползай сам по своему подвалу.

— Как хотите,— с деланным равнодушием произнес Борька.— Испугались.

Миша вспыхнул:

— Это ты про кого?

— Про того, кто в подвал боится идти.

— Ах, так...— Миша встал.— Пошли!

Они спустились в подвал и осторожно пошли, касаясь руками скользких стен: Борька — впереди, Миша — за ним. Под их ногами осыпалась земля и звенели по временам кусочки жести или стекла.

Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. Ладно, посмотрим, кто кого разыграет.

Так они двигались в темноте, и вот, когда оказались в глубине подвала, Борька вдруг затих.

«Начинается»,— подумал Миша и, стараясь говорить возможно спокойней, спросил:

— Скоро твои мертвецы покажутся?

Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних, невидимых углах.

Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось где-то совсем близко. Миша тоже больше не окликал его.

Прошло несколько томительных минут. Мальчики затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего, он сам найдет дорогу, а как выберется, закроет дверь и продержит здесь Борьку с полчасика.

Миша шел. Позади он слышал шорох: Борька крался за ним. Ага, не выдержал! Не захотел один оставаться.

Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет! Не туда он идет! Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел. Как Борька видит в такой темноте? А вдруг Борька оставит его здесь одного и он не найдет дороги? Жутковато все же.

Проход стал совсем узким. Мишино плечо коснулось противоположной стены. Он остановился. Окликнуть Борьку? Ни за что... Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед и полетел вниз...

Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей. Смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша, приблизительно на пол-аршина ниже его.

— Мишка-а! — Вверху зачернела Борькина фигура.— Миша! Ты где?

Миша не откликался. Ага! Заговорил! Пусть поищет.

— Миша, Миша, ты где? — беспокойно бормотал Борька.— Что же ты молчишь? Мишк...

— Где твой подземный ход? — спросил Миша.— Где мертвецы? Показывай!

— Это и есть подземный ход,— зашептал Борька,— туда нельзя, там самые гробы с мертвецами.

— Боюсь я твоих мертвецов!..— Миша двинулся по проходу.

Борька схватил его за плечо.

— Смотри, Мишка,— зашептал он,— говорю тебе, идем назад, а то хуже будет...

— Пугаешь?!

— Мы без фонаря все равно ничего не увидим. Я завтра фонарь достану, тогда пойдем.

— Знаю я тебя!

— Чтоб мне провалиться на этом месте! А не пойдешь назад — уйду и не вернусь. Пропадай здесь.

— Испугался я очень! — ответил Миша, но полез вслед за Борькой.

Они вышли из подвала. Ослепительное солнце ударило в глаза.

— Так смотри,— сказал Миша,— завтра утром.

— Все,— ответил Борька,— договорились.

Глава 19

ШУРКА-БОЛЬШОЙ

На заднем дворе появился Шура Огуреев, Шурка-большой, как его называли ребята, самый высокий во дворе мальчик. Он считался великим артистом и состоял членом драмкружка клуба. Клуб этот находился в подвальном помещении первого корпуса и принадлежал домкому. Ребят туда не пускали, кроме Шурки-большого, который по этому поводу очень важничал.

— А, Столбу Верстовичу!..— приветствовал его Миша.

— Я думал, ты уже вышел из детского возраста,— ответил Шура.

— Какой серьезный! — заметил Генка.— Где тебя так выучили? В клубе, что ли?

— Хотя бы в клубе.— Шура сделал паузу.— Но в клуб пускают только взрослых.

— Подумаешь, какой взрослый нашелся! — сказал Миша.— Вырос длинный, как верста, вот тебя и пускают.

— Я клубный актив,— объявил Шура.

— Нас в клуб не пускают потому, что мы неорганизован-

ные,— сказал Слава,— а вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов и они имеют свой клуб.

— Есть,— подтвердил Шура,— только они называются по-другому, не помню как. Но это для маленьких, а взрослые вступают в комсомол.

Шура намекал на то, что он посещает комсомольскую ячейку фабрики и собирается вступить в комсомол.

— Здóрово...— задумчиво произнес Миша.— У ребят — свой отряд!

— Это, наверное, скауты,— сказал Генка.— Ты, Славка, что-нибудь путаешь.

— Я не путаю. Скауты носят синие галстуки, а эти — красные.

— Красные? — переспросил Миша.— Если красные — значит, они за Советскую власть. И какие могут быть скауты на Красной Пресне! Самый пролетарский район.

— Еще бы! — сказал Шура и неуверенно добавил: — У каждого есть членский билет...

— Здóрово!..— снова протянул Миша.— Как же я ничего не слыхал? Ты, Славка, откуда это знаешь?

— Мальчик один в музыкальной школе рассказывал.

— Почему же ты точно не узнал? Как они называются, где их клуб, кого принимают...

— «Принимают»! — засмеялся Шура.— Думаете, взял и поступил. Так тебя и приняли!

— Почему же не примут?

— Не так-то просто! — Шура многозначительно покачал головой.— Сначала нужно проявить себя.

— Как это — проявить?

— Ну вообще,— Шура сделал неопределенный жест,— показать себя... Ну вот, как некоторые: работают в клубе, ходят на комсомольские собрания...

— Ладно, Шурка,— перебил его Миша,— не надо слишком задаваться! Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой.

— То есть?

— Комсомольцы на фронте воевали. А ты что? Стоишь за кулисами, толпу изображаешь... Ты лучше скажи: хочешь быть режиссером?

— Как это — режиссером? У нас режиссер товарищ Митя Сахаров.

— Он режиссер взрослого драмкружка, а мы организуем детский, тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу. Сбор — в пользу голодающих Поволжья. Вот и проявим себя.

— Правильно! — сказал Слава.— Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный.

— Не позволят...— Шура с сомнением покачал головой,

но по глазам его было видно, что ему очень хочется быть режиссером.

— Позволят,— настаивал Миша.— Пойдем к товарищу Мите Сахарову. Так, мол, и так: хотим организовать свой драмкружок. Разве он может нам запретить?

— А он вас в шею! — крикнул Борька, собиравший на помойке бутылки.

— Не твое дело! — Генка погрозил ему кулаком.— Торгуй своими ирисками.

— Конечно,— продолжал размышлять Шура,— это неплохо. Но по характеру своего дарования я не режиссер, а исполнитель...

— Ну и прекрасно,— сказал Миша,— вот и будешь исполнять режиссера.

— Хорошо,— согласился Шура.— Только уговор: слушаться меня во всем. В искусстве самое главное — дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком. Ты, Слава,— героем, ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администратором. Инженю и прочие амплуа я распределю потом, после испытаний.

Глава 20

КЛУБ

Клуб состоял из одного только зрительного зала. Когда не было спектакля или собрания жильцов, скамейки сдвигались к одной стороне и в разных углах клуба работали кружки. Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драмкружка. В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра.

Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер товарищ Митя Сахаров — вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках «дудочкой». У него длинный, тонкий нос и острый кадык, готовый вот-вот разрезать изнутри Митино горло. Растопыренной ладонью Митя ежеминутно откидывает назад падающие на лицо длинные, прямые, неопределенного цвета волосы.

Шура подтолкнул вперед Мишу:

— Говори. Ведь ты администратор,— и отошел в сторону с таким видом, будто он ни при чем и смеется над ребячьей затеей.

— М-да...— процедил Митя Сахаров, выслушав Мишу.— У меня не театральное училище, а культурное учреждение. М-да... Культурное учреждение в тисках домкома...— И ушел на сцену,

откуда вскоре послышался его плачущий голос: — Товарищ Парашина, вникайте в образ, в образ вникайте...

Миша подошел к ребятам:

— Ничего не вышло. Отказал. У него не театральное училище, а культурное учреждение в тисках домкома.

— Я так и знал! — сказал Шура.

— Ты всегда «так и знал»! — рассердился Миша.

Мальчики стояли задумавшись. Гулко стучали бильярдные шары. Струнный оркестр разучивал «Турецкий марш» Моцарта. А со стены, с плаката, изможденный старик протягивал костлявую руку: «Помоги голодающим Поволжья!» Глаза его горели лихорадочным блеском, и с какой стороны ни подойди к плакату, глаза неотступно следовали за тобой, как будто старик поворачивал голову.

— Есть еще выход,— сказал Миша.

— Какой?

— Пойти к товарищу Журбину.

— Ну-у,— махнул рукой Шура,— станет он заниматься нашим кружком, член Моссовета. Я не пойду к нему. Еще на Ведьму нарвешься.

— А я пойду,— сказал Миша.— В конце концов, это не собственный клуб Мити Сахарова. Айда, Генка!

По широкой лестнице они поднялись на четвертый этаж, где жил Журбин. Миша позвонил. Генка остался на лестнице. Он отчаянно трусил и, когда послышался шум за дверью, бросился бежать, прыгая через три ступеньки. Дверь открыла соседка Журбина, высокая, тощая женщина с сердитым лицом и длинными, выпирающими зубами.

— Тебе чего? — спросила она.

— Мне нужен товарищ Журбин.

— Зачем?

— По делу.

— Какое еще дело! Шляются тут...— пробормотала она и захлопнула дверь, едва не прищемив Мише нос.

— Ведьма! — закричал Миша и бросился вниз по лестнице.

Он почти скатился по ней и с размаху налетел на кого-то. Миша поднял голову. Перед ним стоял товарищ Журбин.

— Что такое? Ты чего безобразничаешь?

Миша стоял опустив голову.

— Ну? — допрашивал его Журбин.— Ты что, глухой?

— Н-нет.

— Что же ты не отвечаешь? Смотри больше не безобразничай.— Тяжело ступая, Журбин медленно пошел вверх по лестнице.

Миша побрел вниз. Нехорошо получилось! Он слышал над

собой тяжелые шаги Журбина. Потом шаги затихли, раздался скрежет ключа в замке, шум открываемой двери. Миша остановился, обернулся и, крикнув: «Товарищ Журбин, одну минуточку!» — побежал вверх.

Журбин стоял у открытой двери.

— Что скажешь?

— Товарищ Журбин,— запыхавшись, проговорил Миша,— мы хотим организовать драмкружок, а товарищ Митя Сахаров нам не разрешает.

— Кто это «мы»?

— Мы все, ребята со двора.

Журбин продолжал смотреть на Мишу. Потом усмешка тронула его усы и в глазах появилась улыбка. Он ничего не отвечал. Он стоял и улыбался, глядя в голубые Мишины глаза. И почему улыбался и о чем думал этот пожилой грузный человек с орденом Красного Знамени на груди, Миша не знал.

— Ну что ж, зайдем поговорим,— произнес наконец Журбин.

Миша вошел вслед за ним в квартиру. Ведьма сердито посмотрела на Мишу, но ничего не сказала.

Глава 21

АКРОБАТЫ

Минут через тридцать Миша вышел от Журбина и побежал во двор. Большая толпа смотрела представление бродячей труппы.

Выступали акробаты, мальчик и девочка, одетые в синее трико с красными кушаками. Бритый мужчина, тоже в синем трико, кричал им: «Алле!»

Здорово они перегибаются! Особенно девочка, тоненькая, стройная, с синими глазами под загнутыми вверх ресницами. Она грациозно раскланивалась и затем, тряхнув длинными льняными волосами и как бы стряхнув с лица привычную улыбку, разбегалась и делала на коврике сальто. В стороне стоял ослик, запряженный в тележку на двух велосипедных колесах. На тележке под углом были закреплены два раскрашенных фанерных щита:

2 БУШ 2

акробатический аттракцион

2 БУШ 2

Ослик стоял смирно, только косился на публику и смешно двигал длинными ушами.

Представление кончилось. Бритый мужчина объявил, что они не нищие, а артисты. Только «обстоятельства времени» заставляют их ходить по дворам. Он просит уважаемую публику отблагодарить за полученное удовольствие — кто сколько может.

Девочка и мальчик с алюминиевыми тарелками обходили публику. Из окон им бросали монеты, завернутые в бумажки. Ребята подбирали их и передавали акробатам. Миша тоже подобрал бумажку с монетой и ждал, когда к нему подойдет девочка.

Она подошла и остановилась перед ним, улыбаясь. Миша растерялся и стоял не двигаясь.

— Ну? — Девочка легонько толкнула его тарелкой в грудь.

Миша спохватился и бросил бумажку в тарелку. Девочка пошла дальше и, оглянувшись, засмеялась. И потом, когда окруженные толпой акробаты пошли со двора, девочка в воротах опять оглянулась и снова рассмеялась.

Кто-то ударил Мишу по спине. Он обернулся. Возле него стояли Шура, Генка и Слава.

— Что тебе сказал Журбин? — спросил Шура.

— Вот, читайте! — Миша разжал кулак и развернул листок. Что такое? В смятой бумажке с косыми линейками лежал гривенник. Так и есть! Он по ошибке отдал девочке записку Журбина.

— Он тебе всего-навсего гривенник дал,— насмешливо протянул Шура.

Миша выскочил из ворот и помчался в соседний двор.

Акробаты уже заканчивали представление. Когда девочка начала обходить публику, Миша подошел к ней, положил в тарелку гривенник и смущенно пробормотал:

— Девочка, я тебе по ошибке дал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка.

Девочка рассмеялась:

— Какая записка? А почему у тебя шрам на лбу?

— Это тебя не касается,— сухо ответил Миша.— Это мне белогвардейцы сделали. Верни мне записку.

— Ты, наверное, драчун.

— Отдай мне записку,— мрачно повторил Миша.

— Не видала я твоей записки!.. Может быть, она у Буша... Подожди немного.

Она закончила обход зрителей и, передавая деньги бритому, что-то сказала ему. Он раздраженно отмахнулся, но девочка настаивала, даже топнула ногой в атласной туфельке. Тогда бритый опустил руку в парусиновый мешочек, хмурясь и бурча,

долго копошился там и наконец вытащил сложенный вчетверо листок, тот самый, что дал Мише Журбин. Миша схватил его и побежал к себе во двор. Девочка смотрела ему вслед и смеялась. И Мише показалось, что ослик тоже мотнул головой и насмешливо оскалил длинные желтые зубы.

Глава 22

КИНО «АРС»

На белом бланке карандашом было написано:

«Товарищ Сахаров! Инициативу ребят надо поддержать. Работа с детьми — дело важное, для клуба особенно. Прошу вас обязательно помочь детям нашего дома в организации драмкружка.

Журбин»

— Все в порядке,— сказал Шура.— Я так и знал, что Журбин поможет. Завтра соберем организационное собрание, а пока всего хорошего... Тороплюсь на совещание...

— Ох и строит он из себя! — сказал Генка, когда Шура ушел.— Так его и ждут на совещании. Отлупить бы его как следует, чтобы не задавался.

Миша, Генка и Слава сидели на каменных ступеньках выходного подъезда кино «Арс». Вечер погрузил все предметы в серую мглу, только в середине двора чернела чугунная крышка пожарного колодца.

Бренчала гитара. Слышался громкий женский смех. Арбат шумел последними вечерними звуками, торопливыми и затихающими.

— Знаете, ребята,— сказал Генка,— в кино можно ходить бесплатно.

— Это мы знаем,— ответил Миша,— целый день рекламу таскать... Очень интересно!

— Если бы иметь такую тележку, как у акробатов! — Генка причмокнул губами.— Вот на ней бы рекламу возить... Это да!

— Правильно,— подхватил Миша.— А тебя вместо ослика.

— Ослики рыжие не бывают,— заметил Слава.

— Смейтесь, смейтесь,— сказал Генка,— а Борька наймется рекламу таскать и будет бесплатно ходить в кино.

— Борька не наймется,— сказал Миша,— Борька теперь марками спекулирует. Интересно, где он марки достает?

— Я знаю где,— сказал Генка,— на Остоженке, у старика филателиста.

— Да? — удивился Миша.— Я там ни разу его не видел.

— И не увидишь. Он ходит со двора, с черного хода.

— Странно! — удивлялся Миша.— Что же, он таскает марки, что ли? Он ведь их по дешевке продает...

— Уж этого я не знаю,— сказал Генка,— только ходит он туда. Я сам видел...

— Ну ладно,— сказал Миша.— Вот что: Журбин рассказал мне про этих самых ребят с Красной Пресни. Они называются «юные пионеры».

— А что они делают? — спросил Генка.

— Как — что? Это же детская коммунистическая организация. Понимаешь? Ком-мунистическая. Значит, они коммунисты. У них все по-военному.

— И винтовки есть? — спросил Генка.

— А как же! Это знаешь какие ребята? Будь здоров! Журбин так сказал: «Занимайтесь своим кружком, посещайте клуб, а там и пионерами станете».

— Так и сказал?

— Так и сказал.

— А где этот отряд? — спросил Слава.

— При типографии, в Краснопресненском районе.

— Хорошо б пойти посмотреть! — сказал Слава.

— Не мешает,— согласился Миша.— Только надо узнать точный адрес.

Мальчики замолчали. Через открытые двери кино виднелись черные ряды зрителей, над которыми клубился светлый луч киноаппарата.

Мимо ребят прошла Алла Сергеевна, Славина мать, красивая, нарядная женщина. Увидев ее, Слава поднялся.

— Слава,— сказала она, натягивая на руки перчатки,— пора домой.

— Я скоро пойду.

— Даша даст тебе поужинать, и ложись спать.

Она ушла, оставив после себя запах духов.

— Мама ушла на концерт,— сказал Слава.— Пошли в кино! Сегодня «Красные дьяволята», вторая серия.

— А деньги?

Слава замялся:

— У меня есть два рубля на ноты.

— Где ты сейчас купишь ноты? Все магазины уже закрыты! — воскликнул Генка.

— Но я могу завтра купить,— резонно ответил Слава.

— Завтра будет видно. Никогда ничего не надо откладывать на завтра. Раз можно сегодня идти в кино, значит, надо идти...

В тесном фойе толпились демобилизованные в кепках и военных шинелях, работницы в платочках, парни в косоворотках, пиджаках и брюках, выпущенных на сапоги.

На стенах вперемежку с ветхими афишами и портретами знаменитых киноактеров приколоты плакаты. Красноармеец в буденовке устремлял на каждого указательный палец: «А ты не дезертир?» В «Окнах РОСТА» под квадратами рисунков краснели строчки стихов Маяковского. Над буфетом с засохшими пирожными и ландрином висел плакат: «Все на борьбу с детской беспризорностью!»

Раздался звонок.

Публика заторопилась в зрительный зал, спеша занять лучшие места. Погас свет. Киноаппарат начал яростно стрекотать. Разнесся монотонный аккомпанемент разбитого рояля. Зрители теснились на узких скамейках, шептались, грызли подсолнухи, курили, пряча папиросы в рукав... Картина кончилась. Мальчики вышли на улицу, но мыслями они были там, с «красными дьяволятами», с их удивительными приключениями. Вот это настоящие комсомольцы! Эх, жалко, что он, Миша, был в Ревске еще маленьким! Теперь-то он знает, как разделаться с Никитским...

Кончился первый день каникул. Пора домой. На улице совсем темно. Только освещенный вход «Арса» большим светляком дрожит на тротуаре. За железными сетками тускнеют фотографии, оборванные полотнища афиш бьются о двери.

Глава 23

ДРАМКРУЖОК

На следующий день, придя во двор, Миша увидел дворника дядю Василия, выходящего с черного хода с молотком и гвоздями в руках.

Миша заглянул туда и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука! Теряясь в догадках, он вернулся во двор. Дядя Василий поливал асфальт из толстой брезентовой кишки.

— Дядя Василий, дай я полью! — попросил Миша.

— Много вас тут, поливальщиков! Баловство одно.— Дворник был не в духе.

Миша осторожно спросил:

— Что это ты, дядя Василий, плотничать вздумал?

Дворник тряхнул кишкой и обдал струей воды окна второго этажа.

— Филин, вишь, за свой склад беспокоится, а ты заколачивай. Из подвала к нему могут жулики залезть, а ты заколачивай. В складе-то одно железо, а ты, обратно, заколачивай. Баловство одно!

Вот оно что! Филин велел забить ход в подвал. Тут что-то есть. Недаром Борька не пускал его вчера в подземный ход... Это все не зря!

Борька торговал у подъезда папиросами. Миша подошел к нему:

— Ну, пойдем в подвал?

Борька осклабился:

— Ход-то заколотили.

— Кто велел?

Борька шмыгнул носом:

— Известно кто: управдом велел.

— Почему он велел? — допытывался Миша.

— «Почему»... «Зачем»...— передразнил его Борька.— Чтобы мертвецы не убежали, вот зачем...— И, отбежав в сторону, крикнул: — И чтобы дурачки вроде тебя по подвалу не шатались!

Миша погнался за ним, но Борька юркнул в склад. Миша пригрозил ему кулаком и направился в клуб.

Записка Журбина подействовала. Митя Сахаров отвел ребятам место, но предупредил, что не даст им ни копейки.

— Основной принцип искусства,— сказал он,— самоокупаемость. Привыкайте работать без дотации.— И наговорил еще много других непонятных слов.

Шурка-большой проводил испытания поступающим в драмкружок. Он заставлял их декламировать стихотворение Пушкина «Пророк». Все декламировали не так, как следовало, и Шура сам показывал, как это надо делать. При словах: «И вырвал грешный мой язык» — он делал зверскую физиономию и отчаянным жестом будто вырывал свой язык и выбрасывал его на лестницу. У него это здорово получалось! Маленький Вовка Баранов, по прозвищу «Бяшка», потом все время глядел ему в рот, высматривая, есть там язык или нет.

После испытаний начали выбирать пьесу.

— «Иванов Павел»,— предложил Слава.

— Надоело, надоело! — отмахнулся Шура.— Избитая, мещанская пьеса.— И, гримасничая, продекламировал:

Царь персидский — грозный Кир
В бегстве свой порвал мундир...

Знаем мы этого Кира!.. Не пойдет.

После долгих споров остановились на пьесе в стихах под названием «Кулак и батрак»: о мальчике Ване — батраке кулака Пахома.

Шура взялся играть кулака, Генка — мальчика Ваню, ба-

бушку — Зина Круглова, толстая смешливая девочка из первого подъезда.

Миша не принимал участия в испытаниях. Подперев подбородок кулаком, сидел он за шахматным столиком и думал о подвале.

Борька нарочно его обманул. Он сказал отцу, и Филин велел заколотить ход в подвал.

Что же угрожает складу, где хранятся старые, негодные станки и части к ним? Эти части валяются во дворе без всякой охраны. Кому они нужны? Кто полезет туда, особенно через подвал, где нужно ползти на четвереньках?..

А может быть, Филин — это тот самый Филин, о котором говорил ему Полевой? Миша вспомнил его узкое, точно сплюснутое с боков, лицо и маленькие, щупающие глазки. Как-то раз, зимой, он приходил к ним, дал маме крошечный мешочек серой муки и взял за это папин костюм, темно-синий костюм с жилетом, почти неношенный. Он все высматривал, что бы ему еще выменять. Его маленькие глазки шарили по комнате. Когда мама сказала, что ей жалко отдавать костюм, потому что это последняя память о папе, Филин сказал: «Вы что же, эту память с маслом собираетесь кушать?» Мама тогда вздохнула и ничего ему не ответила.

Нужно обязательно выяснить, в чем тут дело. Пусть Борька не думает, что так легко его провел.

Миша внимательным взглядом обвел клуб.

А нельзя ли попасть в подвал отсюда?

Ведь клуб тоже находится в подвале, правда под другим корпусом, но это не важно: подвалы как-то, наверно, соединяются.

Миша обошел клуб, тщательно исследовал его стены, оттягивал плакаты, диаграммы, залезал за шкафы, но ничего не находил. За кулисами в полумраке виднелись прислоненные к стене декорации: фанерные березки с черно-белыми стволами, изба с резными окошками, комната с часами и видом на реку.

Миша раздвинул декорации, собираясь пробраться к стене, как вдруг из-за кулис появился товарищ Митя Сахаров:

— Поляков! Что ты здесь делаешь?

— Гривенник затерялся, Дмитрий Иванович, никак найти не могу.

— Что за гривенник?

— Гривенник, понимаете, такой круглый гривенник,— бормотал Миша, но глаза его неотступно смотрели в одну точку.

За щитом с помещичьим, в белых колоннах домом виднелась железная дверь. Миша смотрел на нее и бормотал:

— Понимаете, такой серебряный двугривенный...

— М-да... Что за чепуха! То гривенник, то двугривенный... Ты что, с ума сошел?

— Нет,— Миша все смотрел на дверь,— был у меня гривенник, а затерялся двугривенный. Что тут непонятного?

— Очень непонятно,— пожал плечами Митя Сахаров.— Во всяком случае, ищи скорей свой гривенный-двугривенный и убирайся отсюда.

Растопыренной ладонью Митя Сахаров откинул назад волосы и удалился.

Глава 24

ПОДВАЛ

Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки, у Дорогомиловского моста, возле вновь построенной водной станции. Миша убеждал друзей идти с ним разыскивать подземный ход.

Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мячи, скользили по реке, касаясь воды и тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили.

— Мертвецы, гробы — это басни,— говорил Миша.— Станет Филин заботиться о мертвецах! Все это выдумки, хочет отпугнуть нас от подвала. Там или подземный ход, или они что-то прячут.

— Не говори, Миша,— вздохнул Генка,— есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, а они на тебя ка-ак навалятся.

— Мертвецов там, конечно, нет,— сказал Слава,— но зачем нам все это? Ну, прячет там что-нибудь Филин, известный спекулянт.

— А если это действительно подземный ход под всей Москвой?

— Мы его все равно не найдем,— возразил Слава,— плана у нас нет.

— Ладно! — Миша встал.— Вы просто дрейфите. Зря я вам рассказал. Без вас обойдусь.

— Я не отказываюсь,— замотал головой Генка.— Я только сказал о мертвецах. Это Славка отказывается, а я пожалуйста, в любое время.

— Когда я отказывался? — Слава покраснел.— Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так?

На ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех.

Репетиции детского кружка проходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые.

В этот промежуток времени, от четырех до пяти, и нужно проникнуть в подвал.

Миша и Слава спрятались за кулисы. Генка поджидал остальных актеров. Вскоре они явились и начали репетировать. Сидя за кулисами, Миша и Слава слышали их голоса.

Шура-кулак уговаривал Генку-Ваню: «Ваня, тебя я крестил»,— на что Генка-Ваня высокомерно отвечал: «Я вас об этом совсем не просил». И они спорили о том, как в это время Генка должен стоять: лицом к публике и спиной к Шуре или, наоборот, лицом к Шуре, а спиной к публике. Вообще они больше спорили, чем репетировали. Шура грозился все бросить, Генка препирался с ним, Зина Круглова все время хохотала — такая она смешливая девочка.

Наконец репетиция кончилась. Генка незаметно присоединился к Мише и Славе, остальные ребята ушли; тетя Елизавета закрыла клуб. Мальчики остались одни перед массивной железной дверью.

Припасенными клещами они отогнули гвозди и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она отворилась.

Мальчиков обдало сырым, спертым воздухом. Миша зажег электрический фонарик. Они вступили в подземелье.

Фонарик светил едва-едва. Нужно было вплотную приблизить его к стене, чтобы увидеть ее серую неровную поверхность.

Помещения, образованные фундаментом дома, были пусты, только в одном из них мальчики увидели два больших котла. Это была заброшенная котельная. На полу валялись обрезки труб, куски затвердевшей извести, кирпич, каменный уголь, ящики с засохшим цементным раствором.

Фонарик быстро слабел и вскоре погас. Мальчики двигались в темноте, нащупывая руками повороты. Иногда им казалось, что они кружат на одном месте, но Миша упорно продвигался вперед, и Генка со Славой не отставали от него.

Блеснула полоска света. Вот и заколоченный вход. Свет пробивался между досками. В щели виднелась узкая лестница черного хода с высокими ступеньками и железными перилами.

Мальчики пошли дальше, по-прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупал потолок. Вот железная труба. Он прислушался: над ним тихо журчала вода. Миша присел на корточки, зажег спичку. Внизу тянулся узкий проход, тот самый, в который он упал, испугавшись внезапного шороха. Мальчики поползли по этому проходу. Когда он кончился, Миша поднялся и пошарил над собой рукой. Высоко! Он зажег спичку.

Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком.

— Ребята,— прошептал вдруг Генка,— гробы...

Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, шорох, глухие, замогильные голоса. Ребята стояли оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснула, все расширяясь, полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там затаив дыхание.

В потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница. По ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им кто-то подавал ящики. Они устанавливали их рядом с теми, которые мальчики со страху приняли за гробы. Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Этот голос показался Мише знакомым.

Человек обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом воздух:

— Кто здесь жег спички?

Мальчики обмерли.

— Это вам показалось, Сергей Иваныч,— ответил ему один из мужчин.

Это был голос Филина.

— Мне никогда ничего не кажется, запомните это, Филин.— Высокий подошел к проходу и стоял теперь совсем рядом с мальчиками. Но он стоял спиной к ним, и лица его не было видно.— Завалили проход?

— Так точно,— торопливо ответил Филин,— дверь заколотили, а проход завалили.

И соврал: проход вовсе не был завален.

Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу.

Люк закрылся, погрузив помещение в темноту.

Мальчики выбрались из подвала, пробежали по клубу и выскочили на улицу.

Глава 25

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Только что прошел короткий летний дождь. Блестели булыжники мостовой, стекла витрин, серые верха пролеток, черный шелк зонтиков. Вдоль тротуаров, стекая в решетчатые колодцы, бежали мутные ручьи. Девушки с туфлями в руках шлепали по лужам. Прошли сезонники с мешками в виде капюшонов на голове. Из оторванной водосточной трубы лила вода. Она ударялась в стену и рикошетом попадала на прохожих, в испуге отскакивавших в сторону. И над всем этим веселое солнце, играя, разгоняло мохнатые, неуклюжие тучи.

— Что же ты, Геннастый, страху напустил? — сказал Миша.— Гробы ему все мерещатся!

— А вы не испугались? — оправдывался Генка.— Сами испугались не знаю как, а на меня сваливают!

Он помолчал, потом сказал:

— Я знаю, что в ящиках.

— Что?

— Нитки. Теперь все спекулянты нитками торгуют. Самый выгодный товар.

А Мише все слышался резкий, так странно знакомый голос. Кто это мог быть? Его зовут Сергеем Иванычем...

Полевого тоже так звали, но ведь это не Полевой... Просто совпадение.

Мальчики стояли возле кино «Арс». Миша следил за воротами склада. Генка и Слава рассматривали висевшие за сеткой кадры картины «Голод... голод... голод...». Это был фильм о голоде в Поволжье.

Мимо них прошел Юра. Сын доктора «Ухо, горло, нос». Раньше Юра был скаутом. Теперь скаутских отрядов не существовало, Юра форму не носил, но его по-прежнему называли «Юрка-скаут». Он шел с двумя товарищами и держал в руке скаутский посох.

— Эй вы, скаутенки! — Генка схватил Юрин посох.— Отдай палку!

Генка тянул посох к себе, Юра с товарищами — к себе. Генка был один против троих. Он оглянулся на друзей: что это они его не выручают? Но Миша коротко приказал:

— Брось,— и продолжал смотреть в сторону филинского склада.

Как это «брось»? Уступить скаутам? Этим буржуйским подлипалам? Они стоят за какого-то английского генерала. Сейчас он им покажет английского генерала! Генка изо всех сил потянул посох к себе.

— Брось, я тебе говорю! — снова сказал Миша.

Генка отпустил посох и, тяжело дыша от напряжения, прошептал:

— Ладно, я вам еще покажу.

— Покажи! — высокомерно усмехнулся Юра.— Испугались тебя!

Юра со своими товарищами удалился. Генка с удивлением смотрел на Мишу, но Миша не обращал внимания ни на Генку, ни на Юру.

В подворотне появился высокий, худощавый человек в сапогах и белой кавказской рубахе, подпоясанной черным ремешком с серебряным набором. Он остановился и закурил, поднеся к папиросе спичку и прикрывая ее от ветра ладонями. Ладони закрыли его лицо; из-за них внимательный взгляд скользнул по улице. Человек бросил спичку на тротуар и пошел к Ар-

батской площади. Миша — за ним, но высокий, пересекая улицу, неожиданно вскочил на ходу в трамвай.

Охваченный смутной тревогой, бродил Миша по вечерним московским улицам.

Пламенеющий закат зажег золотые костры на куполах церквей. Летний вечер знойно дышал расплавленным асфальтом тротуаров и пылью булыжных мостовых. Беззаботные дети играли на зеленых бульварах. Старые женщины сидели на скамейках.

«Что это за человек? Почему его голос показался таким знакомым? — думал Миша.— Что прячет Филин в подвале? А может быть, тут ничего и нет? Просто склад в подвале. И что голос знакомый, только показалось... А вдруг... Нет, не может быть! Неужели это Никитский? Нет! Он не похож на него. Где чуб? Нет, это не Никитский. И зовут его Сергей Иваныч... Разве стал бы Никитский так свободно разгуливать по Москве?»

Миша миновал Воздвиженку и оказался на Моховой.

Вдоль университетской ограды расположили свои ларьки букинисты. Открытые книги лежали на каменном цоколе, буквы чернели на пожелтевших листах, золотились на тисненых переплетах. Пожилые мужчины, худые, сутулые, в очках и помятых шляпах, стояли на тротуаре, уткнув носы в страницы. Из университетских ворот выходили студенты, рабфаковцы в коворотках, кожаных куртках, с обтрепанными портфелями.

На углу Большой Никитской дорогу Мише преградили колонны демонстрантов. Рабочие Красной Пресни шли к Дому Союзов, где в Колонном зале происходил суд над правыми эсерами.

С Лубянской и Красной площадей шли тоже колонны. Шли рабочие Сокольников, Замоскворечья, рабочие «Гужона», «Бромлея», «Михельсона»... Шумели комсомольцы. С импровизированных трибун выступали ораторы. Они говорили, что капиталисты Англии и Америки руками эсеров хотели задушить Советскую Республику. Им не удалось этого сделать в открытом бою, интервенция провалилась, и теперь они организуют заговоры.

«А может быть, Никитский не удрал за границу,— думал Миша.— Может быть, он скрывается у Филина, загримировался, переменил фамилию... Может быть, в этом складе они прячут оружие для своей белогвардейской шайки».

Конечно, Полевой предупреждал, чтобы Миша остерегался. Но тогда он был маленький, а теперь он во всем разбирается. Разве он имеет право ждать, пока придет Полевой? А если действительно заговор и оружие? Нет, ждать нельзя...

Миша очутился у входа в Дом Союзов. Два красноармейца

проверяли пропуска. Миша попытался прошмыгнуть в дверь, но крепкая рука ухватила его за плечо:

— Пропуск?!

Миша отошел в сторону. Подумаешь, охрана! Стоят тут и не знают, какой страшный заговор, может быть, он скоро раскроет.

Глава 26

ВОЗДУШНАЯ ДОРОГА

Часто бродил теперь Миша возле склада Филина. Один раз он даже зашел туда, но Филин прогнал его. Миша стал наблюдать за воротами склада издалека. Стоял в подъезде кино, у закусочной с зелено-желтой вывеской, перед булочной, но тот высокий человек в белой кавказской рубахе больше не появлялся. Однажды Миша снова залез в подвал, но к складу Филина он уже пробраться не смог — проход был завален.

Репетиции подходили к концу, приближался день спектакля, и Шура настойчиво требовал реквизит.

— Раз ты администратор,— говорил он Мише,— то должен заботиться. Декорации мы сами сделаем, а чем наводить грим? Дальше: парики, кадило... Все это ты должен достать. Я загружен творческой работой и не могу отвлекаться на хозяйственные дела.

Митя Сахаров денег не давал. Тогда Миша решил организовать лотерею. Для выигрыша он пожертвовал свое собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе. Жалко было расставаться с Гоголем, но что делать! Не срывать же спектакль.

Сто лотерейных билетов, по тридцать копеек каждый, были быстро распроданы. Только Борька не купил билета, пытался сорвать лотерею, кричал, что выигрыш обязательно падет на Мишин билет и Миша деньги прикарманит. Ему за это несколько раз здорово попадало и от Миши и от Генки, но он не унимался.

Борька дружил теперь с Юркой-скаутом. И для того чтобы отвлечь ребят от драмкружка, Юра с Борькой устроили воздушную дорогу. Она состояла из металлического троса, протянутого над задним двором с угла на угол. Один конец троса был прикреплен к пожарной лестнице на высоте второго этажа, другой — к дереву на высоте первого. По тросу двигалась на ролике веревочная петля. «Пассажир» усаживался в петлю, отталкивался от лестницы и вихрем пролетал над задним двором. Длинной веревкой петля оттягивалась назад.

Первым прокатился Борька, за ним — Юра, потом — другие мальчики.

Эта затея привлекла всеобщее внимание. Пришли ребята из соседних домов. Из окон смотрели любопытные жильцы. Дворник Василий долго стоял, опершись на метлу, и, пробормотав: «Баловство одно!» — ушел.

Вдруг Борька остановил дорогу и, пошептавшись с Юркой, объявил, что бесплатное катание кончилось. Теперь за каждый раз нужно платить пять копеек.

— А у кого нет,— добавил он,— сдавай Мишке билеты и получай обратно деньги. На кой вам лотерея? Все равно ничего не выиграете.

Первым к Мише подошел Егорка-голубятник, за ним — Васька-губан.

Они протянули Мише билеты и потребовали обратно деньги. Но Генка заслонил собой Мишу и, подражая продавцу из булочной, слащавым голосом произнес:

— Граждане, извиняюсь. Проданный товар обратно не принимается. Деньги проверять, не отходя от кассы.

Поднялся страшный шум. Борька кричал, что это грабеж и обираловка. Егорка и Васька требовали вернуть им деньги. Юра стоял в стороне и ехидно улыбался.

Миша отстранил Генку, спокойно оглядел кричащих ребят и вынул лотерейные деньги. Все замолчали.

Миша пересчитал деньги, ровно тридцать рублей, положил на ступеньки черного хода, придавил камнем, чтобы не унесло ветром, и сказал:

— Мне эти деньги не нужны. Можете взять их обратно. Только вы подумайте: почему Юра и Борька хотят сорвать наш спектакль? Ведь Юра ходил в скаутский клуб, а скауты стоят за буржуев, и они не хотят, чтобы мы имели свой клуб. О Борьке и говорить нечего. Теперь, у кого нет совести, пусть сам возьмет свои деньги и рядом положит свой билет.

Он сел на батарею и отвернулся. Но никто не подошел за деньгами. Все сконфуженно переминались. Каждый делал вид, что и не думал возвращать свой билет.

Тем временем Генка влез на пожарную лестницу и отвязал воздушную дорогу.

— Слезай,— закричал Борька,— не смей трогать!

Но трос вместе с петлей уже упал на землю.

Генка спрыгнул с лестницы и подошел к Борьке:

— Ты чего разоряешься? Думаешь, мы ничего не знаем? Все знаем: и про подвал, и про ящики!.. Ну, убирайся отсюда!

Борька исподлобья оглядел всех, поднял с земли трос, свернул его и молча пошел со двора.

Глава 27

ТАЙНА

— Растрепал!..— ругал Миша Генку.— Эх ты, звонарь.

— А я ему должен молчать? — оправдывался Генка.— Он будет спектакль срывать, а я ему должен молчать?

...Квартира у Славы большая, светлая. На полу — ковры. Над столом — красивый абажур. На диване — маленькие пестрые подушки. Генка сидел на круглом вращающемся стуле перед пианино и делал вид, что рассматривает обложки нотных тетрадей. Он чувствовал себя виноватым и, чтоб скрыть это, болтал без умолку.

— «Паганини»...— прочитал он.— Что это за Паганини такой?

— Знаменитый скрипач,— объяснил Слава.— Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке, но он сыграл на одной струне, и никто этого не заметил.

— Подумаешь! — сказал Генка.— У отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играл что хочешь. Попробовал бы твой Паганини на бутылке сыграть.

— Что с тобой говорить! — рассердился Слава.— Ты в музыке ничего не понимаешь...

— Разве мне разговаривать запрещено? — Оттолкнувшись от пианино, Генка сделал несколько оборотов на стуле.

— Нужно думать, что говоришь,— мрачно произнес Миша.— Если бы ты думал, то не разболтал бы Борьке о ящиках.

— Тем более, что ничего в этих ящиках нет,— вставил Слава.

— Нет, есть,— возразил Генка,— там нитки.

— Болтаешь, чего не знаешь! — сказал Миша.— Там другое.

— Что?

— Так я тебе и сказал! Чтоб ты снова раззвонил!

— Ей-богу! — Генка приложил руку к груди.— Чтоб мне не встать с этого места! Чтоб...

— Хоть до утра божись,— перебил его Миша.— Ты звонарем был, звонарем и остался.

— Но ведь я не разболтал,— сказал Слава,— мне ты можешь рассказать?

— Ничего я вам не скажу. Вам нельзя доверить серьезное дело.

Некоторое время мальчики сидели молча, дуясь друг на друга, потом Слава сказал:

— Все же нечестно скрывать. Мы все трое лазили в подвал — между нами не должно быть секретов.

— Я разве знал? — заговорил Генка.— Я думал: ящики, ну и ящики... Сам что-то скрывает, а другие виноваты.

Миша молчал. Конечно, он не совсем прав. Надо было поделиться с ребятами своими догадками. Но... как же тогда кортик? И о кортике рассказать! Конечно, они ребята надежные, не выдадут... Но рассказать о кортике!..

Он проворчал:

— Когда у человека есть голова на плечах, то он должен сам мозгами шевелить...

Генка почувствовал в его словах примирение и начал энергично оправдываться:

— Но ты пойми, Миша, откуда я мог знать? Разве я думал, что ты от нас что-то скрываешь! Ведь я от тебя ничего не скрываю.

— Поскольку у тебя есть от нас секреты...— обиженным голосом заговорил Слава.

— Ладно,— перебил его Миша,— я вам расскажу, но имейте в виду: это тайна. Эту тайну мне доверил не кто-нибудь. Мне ее доверил...— Он смотрел в напряженные от любопытства лица ребят.— Мне ее доверил Полевой. Вот кто мне ее доверил!

У Генки округлились глаза. Слава тоже внимательно смотрел на Мишу — он знал и о Полевом и о Никитском.

— Так вот,— продолжал Миша,— прежде всего дайте честное слово, что никогда никому ничего не разболтаете.

— Даю честное слово благородного человека! — Генка ударил себя в грудь кулаком.

— Клянусь своей честью! — сказал Слава.

Миша открыл дверь, осмотрел коридор, потом плотно прикрыл ее, внимательным взглядом обвел комнату, заглянул под диван и, показав пальцем на спальню, шепотом спросил:

— Там никого нет?

— Никого,— также шепотом ответил Слава.

— Так вот, знайте,— Миша еще раз таинственно оглядел-ся,— знайте: у Никитского есть помощник и его фамилия... Филин! Вот!

Генка вцепился руками в стул и открыл рот. Слава мигал, точно ему насыпали в глаза песок. Налюбовавшись произведенным впечатлением, Миша продолжал:

— И мне кажется, что тот высокий, который был в подвале, а потом вышел... Помните, в кавказской рубахе? Это и есть Никитский!

Генка чуть не упал со стула. Слава тоже растерянно смотрел на Мишу.

— Это серьезно? — едва мог он произнести.

Миша пожал плечами:

— Буду я шутить такими вещами! Не до шуток. Я его по голосу узнал... Правда, лица я его не видел, но уж факт — загримировался.

— Немедленно сообщить в милицию,— сказал Слава.

— Нельзя, нужно все как следует выяснить,— уклончиво ответил Миша.

— Чего тут выяснять! — возразил Слава.— Пусть даже ты не совсем уверен, что это Никитский, но ведь Филин тот...

Положение становилось критическим. Славка такой дотошный! Сейчас начнет рассуждать, а ведь неизвестно — тот это Филин или не тот.

Миша встал:

— Я вам еще не все рассказал. Пошли ко мне.

Проходя по двору, Генка подозрительно оглядывался по сторонам. Ему казалось, что сейчас здесь появится Никитский...

Глава 28

ШИФР

Дома Миша закрыл дверь на крючок, сдвинул занавески. Потом вытащил из шкафа сверток и положил на стол.

— Теперь смотрите,— таинственно прошептал он и развернул сверток... В Мишиных руках блеснул кортик.

— Кортик...— прошептал Генка.

Миша поднял палец.

— Тихо! Смотрите,— он показал три клейма на клинке,— волк, скорпион, лилия... Видите? Так. А теперь самое главное...— Он вывернул рукоятку, вынул пластинку и растянул ее на столе.

— Шифр,— прошептал Слава и вопросительно посмотрел на Мишу.

— Да,— подтвердил Миша,— шифр, а ключ к этому шифру в ножнах, понятно? А ножны эти... у Никитского... Вот... А теперь слушайте...

Понизив голос, вращая глазами и жестикулируя, Миша рассказал о линкоре «Императрица Мария», о его гибели, об убийстве офицера по имени Владимир...

Мальчики сидели молча, потрясенные этой загадочной историей. В комнате совсем уже стемнело. В коридоре тишина, точно вымерли все. Только глухо заурчит иногда вода в водопроводе да раздастся на лестнице протяжный тоскливый крик бездомной кошки. В окружающем мраке мальчикам чудились

неведомые корабли, дальние необитаемые земли. Они ощущали холод морских пучин, прикосновение морских чудовищ...

Миша встал и повернул выключатель. Маленькая лампочка вспыхнула и осветила взволнованные лица мальчиков, стол, покрытый белой скатертью, и на ней блестящий стальной клинок кортика, с бронзовой змейкой, извивающейся вокруг побуревшей рукоятки...

— Что же это может быть? — прервал молчание Слава.

— Трудно сказать.— Миша пожал плечами.— Полевой тоже не знал, в чем дело, да и Никитский вряд ли знает. Ведь он ищет кортик, чтобы расшифровать пластинку. Значит, для него это тоже тайна.

— Все ясно,— вмешался Генка.— Никитский ищет клад. А в кортике указано, где этот клад находится. Ох и деньжищ там, должно быть!

— Клады бывают только в романах,— возразил Миша,— специально для бездельников. Сидит такой бездельник, работать ему неохота, вот он и мечтает найти клад.

— Конечно, никакого клада нет,— сказал Слава,— ведь из-за этого кортика Никитский убил человека. Разве ты, например, Генка, убил бы из-за денег человека?

— Сравнил! То я, а то Никитский. Я б, конечно, не убил, а для Никитского это раз плюнуть.

— Может быть, здесь кроется военная тайна,— сказал Слава.— Ведь это произошло во время войны, на военном корабле.

— Я уж думал об этом,— сказал Миша.— Зачем Никитский искал кортик в двадцать первом году? Ведь война кончилась.

— Любой шифр можно расшифровать без ключа,— продолжал Слава.— У Эдгара По...

— Знаем, знаем! — перебил его Миша.— «Золотой жук». Здесь совсем другое. Смотрите... (Все наклонились к пластинке.) Видите? Тут только три вида знаков: точки, черточки и кружки. Если знак — это буква, то выходит, что здесь всего три буквы. Видите? Эти знаки написаны столбиками.

— Может быть, каждый столбик — это буква,— сказал Слава.

— И об этом я думал,— ответил Миша,— но здесь большинство столбиков с пятью знаками. Посчитайте! Ровно семьдесят столбиков, из них сорок с пятью знаками. Не может ведь одна буква повторяться сорок раз из семидесяти.

— Нечего разводить философию,— сказал Генка,— надо искать ножны. Тем более — Никитский здесь.

— Еще неизвестно: Никитский это или не Никитский,— возразил Слава.

— Все равно,— упорствовал Генка,— это Никитский. Ведь Филин здесь, а он с Никитским в одной шайке... Правда, Миша?

— Я еще не знаю, тот это Филин или не тот...— признался Миша.

— Как н-не знаешь? — остолбенели мальчики.

— Так... Мне Полевой назвал только фамилию — Филин. А тот ли это Филин? Мало ли Филиных! Я думаю, что тот самый.

— Да...— протянул Слава,— получается уравнение с двумя неизвестными.

— Тот Филин, определенно,— сказал Генка,— по роже видно — бандит.

— Рожа не доказательство,— возразил Слава.

— Будем рассуждать по порядку,— сказал Миша.— Во-первых, Филин. Фамилия уже сходится. Подозрительный он человек или нет? Подозрительный, спекулянт и вообще... Во-вторых, темными делами они занимаются? Занимаются. Склад в подвале, ящики, дверь заколотили, завалили проход... В-третьих, тот высокий — подозрительный человек или нет? Подозрительный. Видали, как он осматривал улицу, закрывал лицо? И голос мне его знаком. Допустим даже, что это не Никитский. Но ведь факт, что шайка. Может быть, белогвардейцы. Разве мы имеем право сидеть сложа руки? Нет! Наша обязанность раскрыть эту шайку...

— Точно,— подтвердил Генка,— шайку накрыть, ножны отобрать, клад разделить на троих поровну.

— Погоди ты со своим кладом,— рассердился Миша,— не перебивай! Теперь так. Мы, конечно, можем заявить в милицию, но... вдруг там ничего нет? Что тогда? Нас засмеют. Надо сначала все выяснить: тот это Филин или не тот, что они прячут в подвале, главное, выследить того, высокого, в белой рубахе, и узнать, кто он такой.

— Тяжелое дело,— проговорил Слава и, заметив насмешливый Генкин взгляд, торопливо добавил: — Банду мы должны, конечно, раскрыть, но надо хорошенько обдумать.

— Конечно, надо обдумать,— согласился Миша.— Будем следить по очереди, чтобы не вызвать подозрения у Филина и у Борьки.

— Вот это здорово! — сказал Генка.— Шайку раскроем!

— Так шайки и раскрываются,— сказал Миша.— Это, знаете, не за кулисами орать.

Часть третья

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Глава 29

ЭЛЛЕН БУШ

Через несколько дней Миша и Шурка-большой отправились на Смоленский рынок покупать краски для грима. Возле склада Филина прохаживался Генка.

— Ты что здесь торчишь? — спросил его Шура.— Пойдем с нами реквизит покупать.

— Некогда.— Генка обменялся с Мишей многозначительным взглядом.

Миша и Шура пришли на рынок. Вдоль рядов двигалась густая толпа. Шныряли беспризорники, хрипели граммофоны, скандалили покупатели часов. Унылые старухи в старомодных шляпках продавали сломанные замки и медные подсвечники.

Вспотевший деревенский парень, видимо, с утра торговал гармошку. Окруженный любителями музыки, он растягивал на ней все одно и то же «Страдание».

Попугай вытаскивал конвертики с предсказанием будущего и описанием прошедшего. Шатались цыганки в развевающихся юбках и ярких платках. Барахолка казалась нескончаемой. Она уходила далеко — на усеянные подсолнечной шелухой дорожки Новинского бульвара, где рабочие городского хозяйства устанавливали первые урны для мусора и огораживали чахлую травку блестящей проволокой.

Мальчики стояли возле старика, торговавшего «всем для театра», как вдруг кто-то тронул Мишу за плечо.

Он обернулся и увидел девочку-акробатку. Она была в обыкновенном платье и вовсе не походила на артистку. Девочка протянула Мише руку:

— Здравствуй!

Мише не понравился ее покровительственный тон, и он холодно ответил:

— Здравствуйте.

— Что ты такой сердитый?

— Обыкновенный.

— Как тебя зовут?

— Миша.

— А меня Эллен.

Миша поднял брови:

— Что за имя Эллен?

— Мой псевдоним Эллен Буш. Все артисты имеют псевдонимы. А настоящее мое имя Елена Фролова.

— А мальчик, что выступал с тобой?

— Мой брат, Игорь.

— А бритый?

— Какой бритый?

— Ваш этот, старший. Хозяин, что ли?

Лена рассмеялась:

— Хозяин? Это мой папа.

— Почему же ты его Бушем называешь?

— Я ведь тебе объяснила: это наш псевдоним.

— Вы всё по дворам ходите?

— Нет. Как начнется сезон, будем выступать в цирке. Ты бывал в цирке?

— Конечно, бывал. Но у нас в доме теперь есть свой драмкружок. Вот наш режиссер.— Миша представил Шуру.

Шура важно наклонил голову.

— В воскресенье наш первый спектакль,— продолжал Миша.— Пьеса замечательная! Приходи с братом. После спектакля выступите!

— Хорошо,— сказала Лена,— я передам Бушу.— И, подумав, спросила: — А сколько за выход?

— Что? — не понял Миша.

— Сколько вы нам заплатите за выступление?

— Ты что, с ума сошла? Это спектакль в пользу голодающих Поволжья. Все наши артисты выступают бесплатно.

— Н-не знаю,— Лена с сомнением покачала головой.— Буш, наверное, не согласится.

— Без вас обойдемся! Другие жертвуют, чтобы помочь голодающим, а вы хотите от них себе урвать.

— Не сердись, не сердись! — Лена засмеялась.— Какой ты сердитый! Мы сделаем так: отпросимся с Игорем погулять и придем к вам. Ладно?

— Ладно.

— Только ты, пожалуйста, не сердись.

— Я не сержусь,— ответил Миша.

Когда Лена ушла, он сказал Шуре:

— Канитель с девчонками!

Глава 30

ПОКУПКА РЕКВИЗИТА

Они начали выбирать краски.

— Вот самые подходящие.— Шура вертел в руках коробку с карандашами.— Этот цвет называется «бордо». Бери, Мишка.

Мишка опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. Все закружилось перед ним. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Миша взвизгнул и бросился вдогонку.

Беспризорник выскочил из рядов, свернул в переулок и бежал, путаясь в длинном рваном пальто. Он юркнул в проходной двор, но Миша не отставал от него и наконец догнал на каком-то пустыре. Он схватил его за пальто и, тяжело дыша, сказал:

— Отдай!

— Не тронь меня, я психический! — дико закричал беспризорник и выкатил белки глаз, страшные на его черном, измазанном сажей лице.

Они сцепились. Беспризорник визжал и кусался. Миша свалил его и, прижимая к земле, шарил по грязным лохмотьям, отыскивая кошелек. Беспризорник отчаянно отбивался. Миша рванул его за рукав. Рукав оторвался, кошелек упал на землю. Миша схватил его, и страшная злоба овладела им. Сколько он трудился над созданием драмкружка, ходил, клянчил, уговаривал, отдал своего Гоголя! И этот воришка чуть не разрушил все! Ребята могли подумать, что он присвоил деньги. Нет! Надо ему еще наподдать!

Беспризорник лежал на земле ничком. Его грязная худая шея казалась совсем тонкой в широком воротнике мужского пальто. Из оторванного рукава неестественно торчала голая рука, грязная, исцарапанная.

Ладно. Лежачего не бьют... Миша слегка, для порядка, ткнул беспризорника ногой:

— Будешь знать, как воровать.

Беспризорник лежал на земле.

Миша отошел, потом вернулся и мрачно произнес:

— Вставай, довольно притворяться!

Беспризорник сел.

Всхлипывая и вытирая кулаками лицо, пробормотал:

— Справился?.. Да?

— А зачем кошелек взял? Я ведь тебя не трогал.

— Иди к черту!

— Поругайся, поругайся,— сказал Миша,— вот я тебе еще добавлю!

Но злоба прошла, и он знал, что не добавит.

Продолжая всхлипывать, беспризорник поднял оторванный рукав. Пальто его распахнулось, обнажив худенькое, с выступающими ребрами тело. На беспризорнике не было даже рубашки.

— Как же ты его пришьешь? — Миша присел на корточки.

Беспризорник вертел рукав и угрюмо молчал.

— Знаешь что? — сказал Миша.— Пойдем к нам, моя мать зашьет.

Беспризорник недоверчиво посмотрел на него:

— Застукать хочешь...

— Вот честное слово! Тебя как зовут?

— Михайлой.

— Здорово! — Миша рассмеялся.— Меня тоже Михаилом зовут. Пойдем к нам в клуб.

— Не видал я вашего клуба!

— Пойдем! Тебе девочки в момент рукав пришьют.

— Не видал я ваших девчонок!

— Не хочешь в клуб — пойдем ко мне домой. Пообедаешь у нас.

— Не видал я вашего обеда!

— Пойдем, тебе говорят! — Миша потянул беспризорника за целый рукав.— Вставай!

— Пусти! — закричал беспризорник, но было уже поздно: затрещали нитки — второй рукав очутился у Миши в руках.

— Ну вот,— пробормотал Миша,— говорил тебе: идем сразу.

— А ты собрался с силой? Да, собрался?..

Теперь на пальто у беспризорника вовсе не было рукавов, только торчали голые руки.

— Ладно.— Миша взял оба рукава.— Пошли ко мне! А не пойдешь — не отдам, ходи без рукавов.

Глава 31

БЕСПРИЗОРНИК КОРОВИН

«Как встретит нас мама? — думал Миша.— Еще, пожалуй, прогонит. Ладно. Что сделано, то сделано».

Вот и Генка на своем посту.

Он удивленным взглядом проводил Мишу и его оборванного спутника.

Ребята во дворе тоже уставились на них. Миша пересчитал деньги и отдал Славе:

— На! Пусть Шурка сам покупает, мне некогда...

Они пришли домой. Миша втолкнул беспризорника в комнату:

— Мама, этот парнишка с нами пообедает.

Мама молчала.

— Я ему нечаянно рукава оторвал,— добавил Миша.— Его тоже Мишей зовут.

— А фамилия? — спросила мама.

Миша посмотрел на беспризорника. Тот засопел и важно произнес:

— Фамилия наша Коровин.

— Ну что же,— вздохнула мама,— идите хоть умойтесь, товарищ Коровин.

Миша отправился с ним на кухню, но большого желания мыться Коровин не проявил, да и отмыть его не было никакой возможности.

Они постояли перед краном, вернулись в комнату и сели за стол.

На скатерти, там, где Коровин держал локти, появились темные пятна.

Миша ел молча, искоса поглядывая на мать. Она повесила на стул пальто Коровина и пришивала к нему рукава. По хмурому выражению ее лица Миша понял, что после ухода Коровина предстоит неприятный разговор.

После супа мама подала сковородку с жареной картошкой. Миша отодвинул свою тарелку.

— Спасибо, мама, я уже сыт.

— Ешь,— сказала мама,— всем хватит.

Она уже приладила к пальто рукава и теперь пришивала разорванную подкладку.

Коровин кончил есть и положил ложку на стол.

— Ну вот,— сказала мама, расправляя на руках пальто,— шуба готова.— Она протянула ее Коровину: — Не жарко тебе в ней?

Коровин натянул на себя пальто, пробормотал:

— Мы привычные...

— Родные-то у тебя есть?

Коровин молчал.

— Мать, отец, есть кто-нибудь?

Коровин стоял уже у самой двери. Он засопел, но опять ничего не ответил.

«Куда же он пойдет?» — думал Миша.

Не глядя на мать, он спросил:

— Куда же ты теперь пойдешь?

Беспризорник запахнулся в пальто и вышел из комнаты. Миша пошел проводить его.

— Погоди, здесь темно.— Он открыл входную дверь и про-

пустил Коровина.— Так заходи,— сказал он на прощание.— Я всегда дома или во дворе.

Беспризорник ничего не ответил и пошел вниз по лестнице.

Глава 32

РАЗГОВОР С МАМОЙ

Миша читал. В комнате было тихо. Только жужжала с перерывами швейная машина. Отблески солнца играли на ее металлических частях, на стальном колесе и золотых фирменных эмблемах. Предстоящий разговор, конечно, неприятен, но мама все равно заговорит, и лучше уж поскорей.

— Где ты с ним познакомился? — не оборачиваясь, спросила она наконец.

— На рынке. Деньги у меня украл.

Мама остановила машину и обернулась к Мише:

— Какие деньги?

— Лотерейные. Я тебе рассказывал. Мы с Шурой краски покупали.

— И вернул он тебе деньги?

Миша усмехнулся:

— Еще бы! Я его догнал.

— Так и познакомились?

— Так и познакомились.

Она покачала головой:

— Красивая картина: на улице дерешься с беспризорниками.

— Я его так, прижал немного.

— А зачем ты его сюда привел? Чтобы он и здесь что-нибудь украл?

— Он не украдет.

— Почему ты так думаешь?

— Так думаю.

Снова молчание, равномерный стук машины, потом вопрос:

— Что все-таки побудило тебя привести его сюда?

Миша пожал плечами.

— Я ему оторвал рукава, надо их пришить.

— Да, конечно...— Она снова завертела машину. Белое полотнище ползло на пол и волнами ложилось возле стула.

— Ты недовольна?

— Малоприятное знакомство. И ты чуть было не предложил ему остаться у нас.

— Жалко его.

— Конечно, жалко...— согласилась мама.— Теперь многие берут на воспитание этих ребят, но ты сам понимаешь, я не имею такой возможности.

— Вот увидишь, скоро беспризорность ликвидируют! — сказал Миша.— Знаешь, сколько детдомов организовали!

— Я знаю, но перевоспитать этих детей очень трудно. Они испорчены улицей.

— В Москве есть такой отряд,— сказал Миша,— называется «Отряд юных пионеров». Там ребята все равно как комсомольцы, занимаются с беспризорными и вообще,— он сделал неопределенный жест,— проводят всякую работу. Мы с Генкой и Славкой решили туда поступить. Это на Пантелеевке. В воскресенье мы туда пойдем.

— На Пантелеевке? — переспросила мама.— Но ведь это очень далеко.

— Что такого! Теперь ведь лето, времени много. А когда нам исполнится четырнадцать лет, мы в комсомол поступим.

Мама обернулась и посмотрела на Мишу:

— Ты уже в комсомол собираешься?

— Не сейчас, конечно, сейчас не примут, а потом...

— Ну вот,— вздохнула мама,— вступишь в комсомол, появится у тебя куча дел, и меня, наверное, совсем забросишь.

— Что ты, мама! Разве я тебя заброшу?

Миша смотрел на мать.

Она склонилась над машиной. Туго закрученный узел ее каштановых волос касался зеленой блестящей кофточки с гладким воротником.

Миша встал, подошел к матери, обнял, прижался щекой к ее волосам.

— Ну что? — Мама опустила руки с шитьем на колени.

— Знаешь, мама, что мне кажется? Только ты честно ответишь: да или нет?

— Хорошо, отвечу.

— Мне кажется, что ты на меня не сердишься...

Мама тихонько засмеялась, разжала его руки и поправила прическу.

— Не сержусь. Но все же не води сюда слишком много беспризорных.

Глава 33

ЧЕРНЫЙ ВЕЕР

— Миша-а!

Миша выглянул в окно. Генка стоял внизу, задрав кверху голову.

— Чего?

— Иди скорей, дело есть! — Генка скосил глаза в сторону филинского склада.

— Чего еще? — нетерпеливо крикнул Миша.

— Иди скорей!.. Понимаешь?

Всякими знаками он показывал, что дело не терпит никакого отлагательства.

Миша спустился во двор. Генка тут же подступил к нему:

— Знаешь, где тот, высокий?

— Где?

— В закусочной.

Ребята выскочили на улицу и подошли к закусочной.

Через широкое мутное стекло виднелись сидящие вокруг мраморных столиков люди. Лепные фигуры на потолке плавали в голубых волнах табачного дыма. В проходах балансировал с подносом в руках маленький официант. Белая пена падала из кружек на его халат. За крайним столиком сидел Филин.

— Где же высокий? — спросил Миша.

— Только что здесь был,— недоумевал Генка,— сидел с Филиным... Куда он делся?..

— Хорошо,— быстро проговорил Миша,— далеко он не ушел. Ты иди налево, к Смоленской, а я направо, к Арбатской.

Миша быстро пошел к Арбатской площади, внимательно всматриваясь в пешеходов. В конце Никольского переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на Могильцах. Миша добежал до церкви, остановился, огляделся по сторонам.

Высокий шел по Мертвому переулку. Миша последовал за ним. Высокий пересек Пречистенку и пошел по Всеволожскому переулку. Миша нагнал его у самой Остоженки, проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, высокого на улице уже не было.

Куда он скрылся? Миша растерянно оглядывал улицу. На противоположной стороне филателистический магазин. Он иногда покупает там марки для своей коллекции. И сюда, по словам Генки, зачем-то ходит Борька Филин. Миша перебежал улицу и вошел в магазин. Над дверью коротко звякнул звонок.

В магазине никого не было. На прилавке под стеклом лежали марки, на полке стояли коробки и альбомы.

На звонок из внутреннего помещения вышел хозяин — лысый красноносый старик. Он плотно прикрыл дверь и спросил у Миши, что ему надо.

— Можно марки посмотреть? — спросил Миша.

Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам ушел, оставив дверь приоткрытой.

Вертя в руках марку Боснии и Герцеговины, Миша искоса поглядывал в помещение, куда удалился старик. Там было совсем темно, только стол тускло освещен электрической лампой. Кто-то вполголоса переговаривался со стариком. Прилавок ме-

шал Мише заглянуть туда, но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог. Раздался звук отодвигаемого стула. Сейчас они выйдут! Миша наклонил голову к маркам и напрягся в ожидании. Сейчас он увидит этого человека. В глубине скрипнула дверь, и вскоре появился старик. Вот так штука! Тот, высокий, ушел через черный ход...

— Выбрал? — хмуро спросил старик.

— Сейчас,— ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает марки.

— Скорее,— сказал старик,— магазин закрывается.

Он опять вышел, но дверь на этот раз не закрыл.

Лампа освещала края стола. В ее свете Миша видел костлявые руки старика. Они собирали бумаги со стола и складывали их в выдвинутый ящик. Потом в руках появился черный веер. Руки подержали его некоторое время открытым, затем медленно свернули. Веер превратился в продолговатый предмет...

Затем в руках старика что-то блеснуло. Как будто кольцо и шарик. Вместе со свернутым веером старик положил их в ящик стола.

Глава 34

АГРИППИНА ТИХОНОВНА

Медленно возвращался Миша домой. Итак, он не увидел таинственного незнакомца. Этот человек ушел через черный ход. И старик вел себя настороженно. И Борька-жила сюда ходит...

Уже подойдя к своему дому, Миша подумал о веере. И неожиданная мысль пришла ему в голову. Когда старик свернул веер, он стал подобен ножнам. И кольцо как ободок.

Неужели ножны?

Взволнованный этой догадкой, Миша побежал разыскивать Генку и Славу. Он нашел их на квартире у Генки.

Слава линовал бумагу, а Генка что-то писал под диктовку Агриппины Тихоновны. Она диктовала ему с листка, который держала высоко над столом, на уровне глаз. На кончик ее носа были водружены очки в железной оправе.

— «...Рубцова Анна Григорьевна»,— читала Агриппина Тихоновна.— Написал? Аккуратней, аккуратней пиши, не торопись. Так... «Семенова Евдокия Гавриловна».

— Гляди, Миша,— крикнул Генка,— у меня новая должность — секретарь женотдела!

Миша заглянул через плечо Генки: «Список работниц сновального цеха, окончивших школу ликвидации неграмотности».

Против каждой фамилии стоял возраст. Моложе сорока лет не было никого.

— Не вертись,— прикрикнула Агриппина Тихоновна,— весь лист измараешь! Написал?

— Написал, написал... Давайте дальше. И чего вы вздумали старушек учить?

Агриппина Тихоновна укоризненно посмотрела на Генку:

— Ты это всерьез?

— Конечно, всерьез. Вот,— он ткнул пером в список,— пятьдесят четыре года. Для чего ей грамота?

— Вот ты какой, оказывается! — медленно проговорила Агриппина Тихоновна и сняла очки.

— Чего, чего вы? — смутился Генка.

— Вот оно что... Тебе, значит, одному грамота?

— Я не...

— Не перебивай! Значит, тебе одному грамота? А Семеновой так темной бабой и помирай? И я, выходит, зря училась? Двух сыновей в гражданскую схоронила, чтобы, значит, Генка учился, а я как была, так и осталась? Асафьеву из подвала в квартиру переселили тоже зря. Могла бы и в подвале помереть — шестьдесят годов в нем прожила... Так, значит, по-твоему? А? Скажи.

— Тетя,— плачущим голосом закричал Генка,— вы меня не поняли! Я в шутку.

— Отлично поняла,— отрезала Агриппина Тихоновна.— И не думала и не гадала, Геннадий, что ты такое представление имеешь о рабочем человеке.

— Тетя,— упавшим голосом прошептал Генка, не поднимая глаз от стола,— тетя! Я не подумавши сказал... Не подумал и сказал глупость...

— То-то,— наставительно проговорила Агриппина Тихоновна.— В другой раз думай.

Глава 35

ФИЛИН

Агриппина Тихоновна вышла на кухню. Генка сидел понурив голову.

— Попало? — сказал Миша.— Мало она тебе всыпала. За твой язык еще не так надо.

— Ведь он признался, что был неправ,— примирительно заметил Слава.

— Ладно,— сказал Миша.— Ну что, Генка, догнал ты того, высокого?

— Никого я не догнал,— мрачно ответил Генка.

— Так вот,— безразличным голосом произнес Миша.— Я видел ножны.

— Какие ножны? — не понял Слава.

— Обыкновенные, от кортика.

Генка поднял голову и недоверчиво посмотрел на Мишу.

— У старика филателиста, на Остоженке.

— Врешь?

— Не вру.

Миша торопливо, пока не вошла Агриппина Тихоновна, рассказал о филателисте, высоком незнакомце и черном веере...

— Я думал, ножны, а ты веер какой-то,— разочарованно протянул Генка.

— В общем,— сказал Слава,— было уравнение с двумя неизвестными, а теперь с тремя: первое — Филин, второе — Никитский, третье — веер. И вообще, если это не тот Филин, то остальное тоже фантазия.

Генка поддержал Славу:

— Верно, Мишка. Может, тебе все это показалось?

Миша облокотился о край комода, покрытого белой салфеткой с кружевной оборкой. На комоде стояло квадратное зеркало с зеленым лепестком в верхнем углу. Лежал моток ниток, проткнутый длинной иглой. Стояли старинные фотографии в овальных рамках, с тисненными золотом фамилиями фотографов. Фамилии были разные, но фон на всех фотографиях одинаковый — меж серых занавесей пруд с дальней, окутанной туманом беседкой.

— Если бы ты не ссорился с теткой, мы бы все узнали о Филине.

— Как так?

— Ведь она знает Филина. Хоть бы сказала, из Ревска он или нет.

— Почему она не скажет? Скажет.

— Она с тобой и разговаривать не захочет.

— Она не захочет? Со мной? Плохо ты ее знаешь. Она все давным-давно забыла, тем более я извинился. К ней только нужен особый подход. Сейчас увидишь...

Когда Агриппина Тихоновна вернулась в комнату и начала убирать со стола, Генка сделал вид, что продолжает прерванный рассказ:

— Я ему говорю: «Твой отец спекулянт, и весь ваш род спекулянтский. Вас, я говорю, весь Ревск знает...»

— Ты о ком? — спросила Агриппина Тихоновна.

— О Борьке Филине.— Генка поднял на Агриппину Тихоновну простодушные глаза.— Я ему говорю: «Вашу фамилию весь Ревск знает». А он мне: «Мы, говорит, в этом Ревске никогда не бывали. И знать ничего не знаем».

Мальчики вопросительно уставились на Агриппину Тихоновну. Она сердито тряхнула скатертью:

— Какие у тебя с ним дела? Сколько раз говорила: не водись с этим Борькой, не доведет он тебя до добра.

— А зачем он врет? Раз из Ревска, так и скажи: из Ревска. Зачем врать?

— Он-то, может, и не бывал в Ревске,— сказала Агриппина Тихоновна.

— Я и не говорю, что бывал, но ведь папаша-то его из Ревска. Зачем же врать?

— А он, может, и не знает про отца-то.

— Да ведь сам Филин тут же сидел. Смеется и говорит: «Мы, говорит, коренные москвичи, пролетарии...»

— Это они-то пролетарии? — не выдержала Агриппина Тихоновна.— Да его-то, Филина, отец жандармом в Ревске служил.

Агриппина Тихоновна свернула скатерть и вышла из комнаты.

— Видали? — Генка подмигнул ей вслед.— Все сказала! Я свою тетку знаю. Теперь все ясно. Филин тот самый. Значит, и Никитский здесь и ножны. Чувствую, чувствую, клад близко!

— Не совсем ясно,— возразил Слава.— Ведь ты сам говорил, что в Ревске полно Филиных. Может быть, это другой Филин.

— Ладно,— весело сказал Миша,— может быть, не тот, а может быть, и тот. Во всяком случае, он из Ревска. Теперь узнаем, служил ли он на линкоре «Императрица Мария».

— Как мы это узнаем? — спросил Генка.

— Проще простого. Неужели у Борьки-жилы не выведаем?

Глава 36

НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

В воскресенье мальчишки решили пойти на Пантелеевку, в типографию, узнать про юных пионеров. По воскресеньям трамваи не ходили — не хватало электроэнергии. Мальчики поднялись чуть свет. Был тот ранний час, когда на улице никого нет. Даже дворники еще не вышли со своими метлами. Охваченные радостной свежестью утра, мальчики весело шагали по окутанному серой дымкой Арбату. Каблуки постукивали по холодному звонкому асфальту. Шаги гулко отдавались на пустынной улице. Маленькие фигурки ребят, отражаясь, мелькали в стеклах витрин.

«Как странно видеть Арбат безлюдным!» — думал Миша. Только теперь по-настоящему видны все его здания

Вон кино «Карнавал». За ним здание Военного трибунала. А вот дом, где жил Александр Сергеевич Пушкин. Обыкновенный двухэтажный дом, ничем не примечательный. Даже странно, что в нем жил Пушкин... И Пушкин ходил по Арбату, как все люди, никто этому не удивлялся. А появись теперь Пушкин на Арбате — вот бы суматоха поднялась! Вся бы Москва сбежалась!

— Посмотрим, что за пионеры такие,— болтал Генка.— Может, в них ничего особенного и нет: сидят себе и цветочки вышивают, как девочки в детдоме.

— Ну да! — ответил Миша.— Это ведь коммунистическая организация, понял? Значит, они занимаются чем-нибудь серьезным.

— Как-то неудобно идти туда,— заметил Слава.

— Почему?

Слава пожал плечами:

— Спросят, кто такие, зачем пришли.

— Очень удобно! — решительно ответил Миша.— Может быть, мы тоже хотим стать пионерами. Разве мы не имеем права?

Мальчики замолчали. Невидимое, поднималось за домами великолепное утреннее солнце, заливая Арбат ярким, ослепительным и радостным светом.

Улица оживилась.

Из почтового отделения выходили почтальоны с толстыми кожаными сумками, туго набитыми газетами.

Гремя пустыми бидонами, прошли молочницы.

Проехал обоз ломовых лошадей.

Ребята свернули на Поварскую.

Вот и Кудринская площадь.

— Смотри, Генка! — Миша показал на угловой дом, изрешеченный пулями и осколками снарядов.— Здесь в Октябрьскую революцию были самые бои. Наши по кадетам из пушек лупили. Мы со Славкой видели. Помнишь, Славка?

— Я здесь тогда не был,— признался Слава,— и, по-моему, ты тоже.

— Я? Сколько раз! Мы сюда с Шуркой бегали. Один раз полную шапку гильз набрали. Правда, очень давно — мне тогда было восемь лет. А ты, конечно, не видал. Ты дома сидел. Тебя мама не пускала.

Мальчики пришли на Пантелеевку.

Через широкие окна типографии виднелись большие залы, уставленные машинами. В цехах было пусто. Над воротами висела вывеска: «Типография Мосполиграфтреста». Мальчики вошли в проходную.

В тесном дощатом помещении за низким барьером сидел сторож и хлебал из большой миски суп.

Тут же вертелась девочка лет десяти с маленькими косичками, завязанными красной ленточкой.

Сторож поднял голову, тыльной стороной ладони вытер усы, вопросительно посмотрел на ребят.

— Скажите, пожалуйста,— обратился к нему Миша,— где здесь отряд юных пионеров?

— Пионеров? — Сторож опять взялся за ложку.— А вы откудова — из райкома или как?

— Да... мы... тут...— замялся Миша,— мы по делу.

Девочка с любопытством смотрела на мальчиков. Сторож доел суп, отодвинул миску:

— Есть у нас такие — пионеры. В клубе они у себя.

— Вы не скажете, где клуб?

Девочка хмыкнула.

— Вы клуба нашего не знаете? — спросил сторож.

— Мы из другого района. Из Хамовников.

— А-а...— протянул сторож.— На Садовой клуб ихний, тут недалеко.

— На какой Садовой? Садовых много.

— Вот смешные! — захихикала девочка.— Клуб не знают!

— Ты много знаешь! — прикрикнул сторож на девочку.— Проводи их. Может, и в самом деле нужно,— добавил он с сомнением.

Девочка сполоснула под бачком миску и ложку, завязала их в салфетку и вышла с мальчиками на улицу.

— Я пионеров хорошо знаю,— болтала девочка.— Наш Васька там самый главный — он на барабане играет.

Миша насмешливо посмотрел на нее, но промолчал. Что спорить с мелюзгой?

— У них и труба есть,— продолжала девочка.— У них знаете как строго! Ругаться нельзя, на буферах кататься тоже нельзя. Руки в карманах держать нельзя, девчонок бить тоже нельзя. А драться можно только со скаутами. Только если драться, так галстуки снимать. В галстуке тоже нельзя.

— Не вертись под ногами! — сказал Миша.

— И девочек туда принимают,— опять затараторила девочка,— только не всех, только достигших возраста.

— А вашему Васе много лет? — спросил Слава.

— Четырнадцать, а может быть, и пятнадцать. Он серьезный! Приходит прямо на квартиру и все забирает.

Мальчики с удивлением посмотрели на нее.

— Как это — забирает? — спросил Генка.

— Очень просто,— ответила девочка,— для беспризорных детдомов. Пионеры ходят и вещи собирают. У меня кофточку отобрали! — с гордостью объявила она.

— Это, положим, неправда,— сказал Генка,— никто не имеет права отбирать.

— Они не сами, им маманя дала.

— А тебе жалко стало? — засмеялся Слава.

— И не жалко вовсе. Я им еще хотела прошлогоднюю шапочку отдать, а Васька говорит: «Не надо, а то, говорит, тебе в следующий раз отдавать будет нечего. Ты, говорит, не беспокойся, мы скоро опять будем собирать». И правда: утром кофточку взяли, а вечером за шапочкой пришли.— Она вздохнула: — Беспризорников ведь много — когда всех обуешь, оденешь.

Они подошли к большому красивому особняку на Садовой.

— Вот здесь, на третьем этаже,— показала девочка и заторопилась: — Я пойду, а то Васька увидит.

Глава 37

МАЛЕНЬКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда. Их вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них и исчез, потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась.

Мальчики стояли в нерешительности. Мише вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще прогонят...

Но рядом были Генка и Слава. Не мог же он обнаружить перед ними такое малодушие! Миша решительно двинулся вверх по лестнице. Генка и Славка — за ним.

Они поднялись на третий этаж, открыли резную дубовую дверь и увидели большую квадратную комнату. У задней стены на подставке стояло свернутое знамя с золотыми кистями и бронзовым овальным острием. Над знаменем, во всю длину стены,— красное полотнище: «Организация детей — лучший путь воспитания коммунаров. Ленин». Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабан и горн. По углам стояли маленькие флажки с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты.

В комнате никого.

На лестнице тоже.

В верхнем этаже послышался топот, и опять все стихло.

Мальчики вошли.

На флажках были изображены: сова, лисица, медведь, пантера. Рядом на стене — рисунки, вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками, азбука Морзе.

На веревочках — тетрадки, озаглавленные: «Звеньевой журнал».

Вдруг они услышали позади шорох. Они оглянулись, к ним подкрадывались мальчишки в красных галстуках.

Друзья мгновенно приняли положение «к обороне».

Пионеры, увидев, что их заметили, с криком бросились в атаку...

Заняв неприступную позицию в углу комнаты, тесно сомкнув строй с Мишей в центре, Генкой и Славой на флангах, друзья отчаянно отбивались.

Пионеры бросились во вторую атаку. Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он метался из стороны в сторону и кричал:

— Спокойно... так... спокойно... Не давай им уходить!.. Спокойно... растаскивай их... Спокойно!..

Вторая атака оказалась успешной. Противникам удалось оттащить Славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и друзьям пришлось сражаться в одиночку.

— Спокойно! — кричал белобрысый, вцепившись в Славу.— Спокойно... Применяй бокс! Спокойно... Сережка, общую тревогу!

Яростно затрещал барабан.

Мише удалось наконец отбить Славу, и друзья снова заняли свою позицию в углу.

Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону, у Славы был разорван воротник. Генка ощупывал свои рыжие волосы, чувствуя, что они уменьшились в количестве.

— Чего вы? — тяжело дыша, начал Миша.

— Пленные, молчать! — закричал белобрысый.— Сейчас мы вас... двойным морским.

Барабан продолжал издавать отчаянную дробь.

В комнату вбежало несколько пионеров, за ними — еще и еще...

— Спокойно! — кричал белобрысый, продолжая метаться из стороны в сторону.— Не подходить! Это пленные нашего звена, больше никого... Медведи, лисицы... не ввязываться. Это не ваши пленные, это наши, мы их поймали...

В комнату вошел широкоплечий парень в майке, длинных черных брюках, тоже с галстуком.

Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил:

— Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя. Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда и всё осматривались...

— Выпустите их,— приказал вожатый.

Толпа пионеров раздвинулась. Мальчики вышли из своего угла.

— Продолжай, Вася,— сказал вожатый, оглядывая ребят.

— Они всё осматривались,— опять заговорил белобрысый,—

потом пошли по лестнице. Мы — с черного хода, наверх. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли, а мы их цап — всех в плен взяли.

— Вы кто? — обратился вожатый к мальчикам.

— Мы никто,— угрюмо ответил Миша.— Зашли посмотреть, что за пионеры такие.

Все рассмеялись. Белобрысый закричал:

— Не сознаются! Это скауты. Я вот этого знаю.— Он ткнул в Славу.— Он у них патрульный.

Слава покраснел.

— Неправда! Я никогда скаутом не был!

— Не был!.. Рассказывай! Я тебя знаю. Мы тебя сколько раз видели... Правда, Сережка?

— Правда,— не моргнув глазом подтвердил мальчик, бивший на барабане тревогу.

— А еще отпирается! — закричал белобрысый.— Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут.

— Вот и неправда,— сказал Миша,— мы живем на Арбате.

— На Арбате? — удивился вожатый.— Как же вы сюда попали?

— Пришли... Ведь только здесь есть отряд.

— Нет,— сказал вожатый,— не только здесь. У вас в Хамовниках тоже есть отряд, на Гознаке. И Дом пионеров организован на Девичьем поле. Почему вы туда не пошли?

— Да? — смутился Миша.— Мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд — ваш.

— Кто сказал?

— Товарищ Журбин.

— Откуда вы его знаете?

— Он у нас в доме живет.

— А-а...— Вожатый дружески улыбнулся.— Я знаю товарища Журбина. Так это он вам сказал? Только наш отряд не единственный. Есть в Сокольниках в железнодорожных мастерских и у вас на Гознаке. А ваши родители где работают?

— На фабрике Свердлова,— вмешался Генка.— У нас в доме клуб и драмкружок.

— Теперь все понятно,— засмеялся вожатый.— Вышла маленькая ошибка. Наши ребята, по старой памяти, все со скаутами воюют, вот вам и попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим.

Он засвистел в плоский физкультурный свисток. Отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат, в центре которого стоял вожатый и рядом с ним — Миша, Генка и Слава.

Мальчики завороженно смотрели на пионеров. Они стояли стройными рядами, по звеньям, с звеньевым флажком на правом фланге.

— Горнист, приветствие! — скомандовал вожатый.

Горн протрубил приветствие.

— Ребята! — сказал вожатый.— К нам пришли гости из Хамовнического района. Они тоже хотят стать пионерами. Попросим их передать ребятам Хамовников наш пламенный пионерский привет.

И пионеры Красной Пресни приветствовали будущих пионеров Хамовников троекратным «ура».

Глава 38

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем виденным, возвращались они по бульварам Садовой к себе домой.

— «Пионер здоров и вынослив» — вот самый правильный закон,— разглагольствовал Генка, размахивая руками,— самый правильный! Надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы.

— Есть законы поважней,— заметил Слава.

— Какие?

— Например, «Пионер стремится к знанию. Знание и умение — сила в борьбе за рабочее дело».

— Это поважней? Ничего ты не понимаешь! Если будешь слабым, тебя буржуи в момент расколошматят, никакие знания не помогут. Верно, Мишка?

— Самых важных законов два,— наставительно произнес Миша.— Во-первых: «Пионер смел, настойчив и никогда не падает духом». Но самое главное — это то, что сказал Ленин. Слыхали, их вожатый читал: «Дети, подрастающие пролетарии, должны помогать революции». Вот это самое главное.

— А вы заметили, как о них сторож в типографии говорил? — сказал Слава.— С уважением.

— Еще бы,— сказал Миша,— их весь район знает, а уж в своей типографии и подавно.

— Только почему у них нет никакого оружия? — недоумевал Генка.— Хотя бы винтовочка какая-нибудь для порядка.

— Мы как отряд организуем,— сказал Миша,— так звенья будем по-другому называть. Зачем все эти звери? Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Либкнехта или Спартака. А слышали, вожатый сказал: «К Международному юношескому дню передадим лучших пионеров в комсомол». Видали? Этот белобрысый будет комсомольцем, а мы еще даже не пионеры.

— Этому белобрысому нужно наложить как следует,— проворчал Генка.

— За что? — возразил Миша.— Они защищали свое знамя. Ведь они не знали, кто мы такие.

— Надо пойти на Гознак,— сказал Слава,— может быть, нас примут в пионеры.

— Зачем нам куда-то ходить,— возразил Миша,— ведь у нас есть своя фабрика. Их вожатый сказал: отряды будут созданы при всех фабриках и заводах.

Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора.

Они побежали туда и увидели толпу ребят, окруживших беспризорника Коровина. Он стоял, прижавшись спиной к стене, как затравленный волчонок.

— Воровать сюда пришел?! — наскакивал на него Борька Филин.— А? Воровать?! Бей его, ребята!

Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником.

— Вы чего к нему пристали?

— Брось, Мишка,— крикнул Генка,— ведь это он у тебя деньги украл! Нечего его защищать. Знаю я этих беспризорников... Малолетние преступники!

Коровин засопел и пробормотал:

— Сам ты рыжий преступник.

Все рассмеялись.

— Айда в клуб,— сказал Миша.— Пойдем с нами.— Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил, вспомнив, что рукава у Коровина плохо держатся.

— Не пойду я,— угрюмо ответил Коровин, исподлобья поглядывая на Генку.

— Не ходи с ними, пацан,— ввязался вдруг Борька.— Давай лучше в расшибалочку постукаем.

— Пойдем,— Миша обнял Коровина за плечи,— не бузи, пойдем.

Глава 39

ХУДОЖНИКИ

В клубе драмкружковцы рисовали декорации. На сцене лежали длинные полосы белой бумаги. Маленький Вовка Баранов, по прозвищу «Бяшка», тщетно пытался нарисовать богатую крестьянскую избу, жилище кулака Пахома.

— Эх ты, Бяшка несчастная! — ругался Шура-большой.— Не можешь простую избу нарисовать, а еще сын художника!

— При чем здесь «сын художника»? — оправдывался маленький Бяшка.— Наследственность передается только в третьем поколении.

Коровин поглядел и неожиданно для всех взял уголь и начал рисовать. На белых листах появились очертания печи, окошек, длинных лавок.

— Видал? — Миша подтолкнул Генку локтем.

— Что с того, что он умеет рисовать?..— Генка презрительно тряхнул волосами.— Охота тебе с ним возиться!

— Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется,— изрек Миша.

Коровин кончил эскиз и сказал:

— Кисть не годится.

Шура принес ему несколько кистей, но Коровин все забраковал.

— Другие нужно,— твердил он.

Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их Коровину:

— Сходи купи какие надо.

Коровин молча смотрел на Мишу.

— Иди,— сказал Миша.— Чего ты на меня глаза таращишь?

Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел ребят и вышел из клуба.

— Фью! — свистнул Генка.— Ухнули наши денежки!

— Если ты так будешь распоряжаться финансами,— объявил Шура,— то я с себя снимаю ответственность за спектакль.

— Нечего прежде времени волноваться,— ответил Миша,— подождем.

Наступило томительное ожидание. Уже собрались взрослые.

«Неужели обманет? — думал Миша. Он вспомнил, как Коровин поглядел на него, когда брал деньги.— Нет. Придет».

Но Коровина все не было.

— Нечего больше ждать,— сказал Шура.— Давай, Бяшка, рисуй.

Вовка начал разводить краски, как вдруг дверь распахнулась и появился Коровин.

Он был не один. Его крепко держала за плечо высокая смуглая девушка с черными, коротко остриженными волосами, одетая в синюю юбку и защитного цвета гимнастерку, перехваченную в талии широким командирским ремнем. И самое интересное: на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала Коровина, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был решительный. Она строго спросила:

— Кто посылал его за кистями?

— Я,— ответил Миша.

— Зачем вам кисти?

— Декорации рисуем.

Девушка отпустила Коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила:

— Какую пьесу вы ставите?

Вперед выступил Шурка-большой:

— «Кулак и батрак». Разрешите представиться: Александр Огуреев. Художественный руководитель и режиссер.

Девушка пожала Шурке руку и сказала:

— Валя Иванова. Из районного Дома юных пионеров.— Она показала на Коровина: — Мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он стащил у нас кисти.

— Я не стащил,— пробормотал Коровин,— я взял с возвратом.

Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет семнадцать, не больше, а она уже вожатая и работает в Доме юных пионеров.

— Где же ваш дом? — недоверчиво спросил он.

— На Девичьем поле... А что у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите?

— Мы при домкоме! — крикнул Генка.

— А знаете вы, кто такие юные пионеры? — спросила девушка.

Мишка, Генка и Слава закричали: «Знаем!» — но их голоса потонули в крике остальных ребят: «Нет, не знаем!»

— Тише! — Девушка подняла руку.

Когда все замолчали, она сказала:

— Пионеры — это смена комсомолу.

— Мы тоже скоро будем пионерами! — крикнул Генка.

— Конечно, будете,— сказала девушка.— А пока приходите в Дом пионеров. Приходите. Тогда и кисти принесете.

— Ладно,— сказал Миша,— а вы придите в воскресенье на наш спектакль...

Девушка ушла. Коровин вернул Мише деньги и снова принялся рисовать.

— Почему в магазине не купил? — спросил Миша.

— А чего зря платить! Я ведь не для себя.

— Ему платить непривычно,— ехидно заметил Генка и примирительно добавил: — Ладно, рисуй... Эх ты, Корова...

Глава 40

ОПЫТНЫЕ СЫЩИКИ

— Идет! — прошептал Генка.

Из ворот вышел Филин, свернул в Никольский переулок и направился к Пречистенке.

Генка и Слава двинулись за ним.

— Вразвалку идет,— шептал Генка.— Определенно бывший матрос. Видишь, ноги расставляет, как на палубе.

— Обыкновенная походка,— возразил Слава,— ничего особенного. Потом, он в сапогах, а заправские матросы носят брюки клеш.

— При чем здесь клеш! Вот как он оглянется, ты на лицо посмотри. Увидишь — красное, как морковка. Ясно — обветренное на корабле.

— Лицо у него действительно красное,— согласился Слава,— но не забывай, что Филин алкоголик. Потом, смотри,— руки держит в карманах. Разве настоящий матрос держит руки в карманах? Никогда. Он ими размахивает, потому что привык балансировать во время качки.

— Брось пожалуйста! «Руки в карманах»... Если хочешь знать, у моряков самый шик во время бури держать руки в карманах и трубку изо рта не выпускать.

Переговариваясь таким образом, мальчики шли за Филиным.

Он пересек Пречистенку, дошел до Остоженки и вошел в магазин филателиста.

— Все,— сказал Слава,— пошли обратно.

Генка минуту колебался, потом сказал:

— Зайдем в магазин.

— Как тебе не стыдно! Ведь Миша сказал: в магазин не заходить... Его старик уже раз прогнал и нас прогонит...

— Не прогонит!

Генка решительно открыл дверь в магазин. Славе пришлось войти вслед за ним.

Старик стоял за прилавком и разговаривал с Филиным. Когда мальчики вошли, они замолчали.

— Вам что? — спросил старик.

— Марки посмотреть,— сказал Генка.

— Нечего смотреть! — раздраженно крикнул старик.— Каждый день смотрите — ничего не покупаете! Какие марки вам надо?

— Гватемалы,— прошептал растерявшийся Генка.

Старик бросил на прилавок конверт.

— Выбирайте!

Генка начал неуверенно выбирать марки. Все молча смотрели на него. Генка совсем смутился и ткнул в одну марку.

— Вот эту.

— Двадцать копеек,— сказал старик.

У Генки не было денег. У Славы тоже не было ни копейки.

Старик и Филин выжидательно смотрели на мальчиков.

— Двадцать копеек! — повторил старик.

Вместо ответа Генка опрометью бросился из магазина. Слава выскочил за ним.

— Говорил тебе, не надо заходить...— начал Славка.

— А что такого? — беззаботно ответил Генка.

— Как — что? Поняли, что мы за ними следим.

— Так уж и поняли! Мало к нему ребят без денег ходит.

— Попадет тебе от Мишки,— начал Слава.

— А что мне Мишка за начальник!

— Ты своими глупыми штуками все портишь.

— Я сам знаю, что надо делать! — отрезал Генка.— У меня своя голова на плечах.

Они подошли к дому и увидели Мишу.

— Мишка! — как ни в чем не бывало крикнул Генка.— Новости!

— Ну что?

— Все в порядке,— зашептал Генка.— Выследили Филина. Он ходил к старику. Походку проверили. Моряк, определенно моряк, установлено.

— Прекрасно! — сказал Миша.— Теперь надо выяснить, служил ли Филин на линкоре. А потом возьмемся за филателиста. Только придется вам: меня он уже в магазин не пускает.

— Нам тоже не придется,— вмешался Слава.— Нас в магазин тоже больше не пустят.

— В чем дело? — Миша переводил недоуменный взгляд с Генки на Славу и со Славы на Генку.— Почему не пустят?

— Пусть он скажет.— Слава кивнул на Генку.

Генка торопливо заговорил:

— Понимаешь, Миша, мы идем за Филиным. Он в переулок — мы за ним. Он на Остоженку — мы за ним. Он в магазин — мы за ним. А в магазине у нас не оказалось денег, чтобы купить марки. Мы спокойно повернулись и ушли. Вот и все.

— Понятно...— протянул Миша.— Попались... Ведь говорил: не ходите в магазин. Ты уже второй раз все срываешь! То Борьке разболтал о ящиках, теперь в магазине все провалил. Хватит! Придется без тебя дело делать. Довольно.

Генка не стал спорить. Он знал, что Миша посердится и успокоится, а уж без него «дело делать» не будут.

Глава 41

СПЕКТАКЛЬ

Уже несколько дней на дверях клуба висела афиша о предстоящем в воскресенье спектакле для детей.

Будет представлена пьеса в трех действиях «Кулак и батрак». Руководитель студии — Александр Огуреев. Режиссер — Александр Огуреев. В главной роли — Александр Огуреев.

И в самом низу маленькими буквами: «Художник Михаил Коровин, под руководством Александра Огуреева».

Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили толпы беспризорных.

Билеты были распроданы задолго до спектакля. Весь сбор ребята отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим Поволжья.

В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами.

Пришли дети из соседних домов и большая толпа беспризорных из Рукавишниковского приемника; явились акробаты Буш — Игорь и Лена.

Валя Иванова привела с собой комсомольца в кепке и кожаной куртке, из кармана которой торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косоворотка с комсомольским значком на груди.

Комсомолец протянул Мише руку:

— Будем знакомы. Севостьянов Коля.

Он говорил, пристально разглядывая Мишу, чуть наклонясь вперед, высокий, немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и, как показалось Мише, очень умные.

— Товарищ Севостьянов посмотрит спектакль,— сказала Валя,— а потом кое-что вам расскажет.

Перед поднятием занавеса выступил заведующий клубом Митя Сахаров.

Откинув волосы назад, он сказал:

— Товарищи! Сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драмкружка нашего клуба. Администрация клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми — дело важное для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены. А теперь, товарищи, попросим...— И он захлопал в ладоши.

Спектакль прошел с большим успехом.

Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру кочергой, что у него спина затрещала.

Зрители в восторге кричали: «Бей его, Зина, лупи!»

Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно.

В эпилоге все действующие лица пели и плясали. В заключение выступили акробаты Лена и Игорь Буш.

Потом на сцену поднялся Коля Севостьянов и спросил:

— Понравилось?

— Понравилось! — хором ответили зрители.

— Вот видите,— сказал Коля.— Ребята этого дома помогли

нашим маленьким товарищам в Поволжье. Как по-вашему: хорошо они сделали?

— Хорошо! — опять хором ответили ребята.

— Так,— продолжал Коля.— Теперь знаете вы, кто такие юные пионеры?

Все зашумели. «Знаем!» — кричали одни. «Не знаем!» — кричали другие.

Коля поднял руку и, когда все утихли, сказал:

— Пионеры должны довести до конца дело, которое начали их отцы и старшие братья,— дело коммунизма. В нашем районе уже есть три отряда: на «Каучуке», «Ливерсе» и Гознаке...

— А почему у нас нет? — спросил Миша.

— Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб переходит в ведение нашей фабрики. И при фабрике организуется пионерский отряд. Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться.

— Сейчас я ему задам один вопросик,— тихо проговорил Генка.

— Что за вопросик? — насторожился Миша.

— Имеют ли право пионеры лупить скаутов?

— Глупый вопрос! — рассердился Миша.— И вообще, что у тебя за привычка: лупить да лупить... Лупить тоже надо с толком.

Часть четвертая

ОТРЯД № 17

Глава 42

УГОЛОК ЗВЕНА

— Пионер свое дело делает быстро и аккуратно,— размахивая молотком, разглагольствовал Генка. Он стоял на верхней ступеньке деревянной лестницы, под самым потолком клуба, и прибивал к стене плакат.

— Вот-вот, быстро и аккуратно, а ты уже целый час копаешься,— заметил Слава, державший лестницу.

С потолка свисали гирлянды еловых ветвей с рассыпанными по ним разноцветными лампочками. Пионеры кончали устройство звеньевых уголков. Пахло свежей елью, столярным клеем, краской.

Пионеры были в новенькой форме защитного цвета. Костюмы им выдала дирекция фабрики.

— Вот, ребята,— сказал директор фабрики, подписывая наряд на материал,— страна наша разута, раздета, только из разрухи вылезает, а для вас ничего не жалеет. Помните это.

Генка слез с лестницы и стал рядом с Мишей и Славой. Мальчики с удовольствием осматривали свою работу.

В центре звеньевого уголка красовался фанерный щит: «Звено № 1 имени Красного Флота». Буквы были вырезаны в фанере и заклеены с обратной стороны красной бумагой. Сзади щита помещалась электрическая лампочка, и буквы горели ярко-красным пламенем.

— А? Здорово? — хвастался Генка.— Никто так не придумал!

С банкой краски в руках мимо них пробежал маленький Вовка Баранов. Он чуть не задел Генку. Генка отскочил в сторону и с испугом посмотрел на рукав своей новенькой гимнастерки.

— Бяшка несчастная! Носится как угорелый! Чуть гимнастерку не запачкал! — Генка с удовольствием пощупал гимнастерку.— Материальчик первый сорт! — Он причмокнул губами.— Вот тебе и текстильная промышленность!

К ним подошел вожатый отряда Коля Севостьянов.

— Коля,— сказал ему Генка,— смотри, как мы здорово придумали. Лучше, чем у всех.

— Неплохо,— равнодушно ответил Коля,— а хвастать нечего. Ваше звено старшее, у вас и должно быть лучше... Поляков! Быстро! Со звеном на площадку. Там Коровин со своими пришел.

— Есть! — ответил Миша.

— Первая встреча самая ответственная. Сумеете подружиться — будут ребята ходить. Не сумеете — больше не придут. Для первого раза постарайтесь вовлечь их в игру.

— Звено Красного Флота,— крикнул Миша,— становись!

Глава 43

ПЛОЩАДКА

Пионеры выскочили из клуба и побежали на площадку — так назывался теперь задний двор. Ничто там, впрочем, не изменилось, только висела сетка для волейбола. Возле дома на асфальте сидели беспризорники, в лохмотьях, грязные, с нестриженными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно только сегодня раздобытой. Они изредка перебрасывались словами, не обращая внимания на окруживших

их маленьких ребятишек, с любопытством разглядывавших странных пришельцев.

Пионеры разбились на две группы и заняли места на волейбольной площадке.

— Еще шесть человек! — крикнул Миша, приглашая этим беспризорников вступить в игру.

Никто из них не пошевелился. И все время, пока пионеры играли, они сидели в прежних позах, равнодушные и к игре, и ко всему окружающему.

— Не поддаются! — прошептал Генка.

Вместо ответа Миша направил мяч прямо в беспризорных. И это не произвело никакого впечатления. Только Коровин лениво отпихнул мяч ногой.

Пионеры играли с азартом. Поминутно слышалось: «пасок», «бей», «удар», «режь», «свечка», «туши», «мазила», но и это не подзадоривало беспризорников. Некоторые из них, прислонившись к стене, дремали.

«Они присматриваются, сразу их не вовлечешь,— думал Миша,— но как бы они не ушли».

Последний свисток судьи, игра закончилась. На площадку вступили девочки, мальчики подсели к беспризорникам.

— Здорово, Коровин! — сказал Миша.— Как дела?

— Помаленьку,— нехотя ответил Коровин.

— Что это у вас за палка? — спросил беспризорник с таким обилием веснушек на лице, что их не мог скрыть даже толстый слой грязи, и показал на водопроводную трубу, укрепленную между двумя деревьями.

— Турник,— объяснил Миша.

— Зачем?

— А вот зачем.— Миша подошел к турнику, подтянулся, сделал преднос и соскочил.— Сумеешь так?

— Не знаю, не пробовал.

— А ты попробуй,— предложил Миша.

Беспризорник лениво встал, вразвалку подошел к турнику, посмотрел на него снизу, подпрыгнул, ухватился и выжал стойку. Пальто опустилось ему на голову, в воздухе торчали босые грязные ноги.

Потом он соскочил, так же вразвалку отошел и сел на свое место. Беспризорники ухмылялись и насмешливо поглядывали на пионеров.

— Здорово! — сказал Миша.— А ну, Генка, давай ты.

— Где уж мне! — Генка махнул рукой.

— Давай, давай!

Генка стал под турником, поднял голову, вытянулся, присел, подпрыгнул и ухватился за турник. Потом, не сгибая колен, выбросил ноги вперед и начал раскачиваться. Он раскачивался

все быстрей, быстрей, быстрей... Раз! — сделал стойку. Два! — вторую. Три! — третью. Он описывал быстрые круги, и красный галстук летел вслед за ним. Потом опять раскачивание, все медленней и медленней, и Генка спрыгнул на землю.

— Подходяще,— сказал Коровин.

— Это называется «вертеть солнце»,— объяснил Миша.

— Нам ни к чему,— сказал беспризорник в кепке.

— Ничего не бывает «ни к чему»,— вмешался Шурка-большой.— Все надо уметь, и все надо знать.

— А, «кулак»? — хихикнул маленький беспризорник.— Здорово тебя кочергой огрели.

— Настоящий артист должен все испытать,— сказал Шурка.— Искусство требует жертв.

— Верно,— подтвердил беспризорник в кепке.— Лазаренко, того и гляди, шею сломает, а все прыгает.

— В цирке и вовсе под крышей кувыркаются и то не дрейфят,— подхватил беспризорник с веснушками.

Беседа завязалась. Разговором овладел Шурка-большой. Он уже собирался рассказать содержание новой кинокартины — «Комбриг Иванов». Неожиданное обстоятельство нарушило так удачно начатую беседу.

Глава 44

ЮРКИН ВЕЛОСИПЕД

Во двор на велосипеде въехали Юрка-скаут и Борька.

Велосипед был дамский, но настоящий, двухколесный, новый, с яркой шелковой сеткой на заднем колесе.

Юра стоя вертел педалями, а Борька сидел в седле и торжествующе улыбался во весь свой щербатый рот.

Они объехали задний двор. Потом Борька слез с велосипеда. Юра начал кататься один, выделывая разные фигуры.

Он ехал «без рук», становился коленями на седло, делал «ласточку», ехал на одной педали, соскакивал назад.

Борька, стараясь привлечь к этому зрелищу всеобщее внимание, орал во все горло: «Вот это да!», «Вот это дает!», «А ну еще, Юрка!» — и в восхищении хлопал себя по штанам.

Все смотрели на Юру. Разговор пионеров с беспризорниками оборвался.

«Это они нарочно, чтобы работу сорвать»,— думал Миша.

— Давай их наладим отсюда,— шепотом предложил Генка.

Но Миша отмахнулся: не затевать же драку. Только дело испортишь. Что же делать?

И вдруг увидел в воротах Юриного отца, доктора «Ухо, горло, нос».

Юра не замечал отца, поправляя цепь на велосипеде.

— Юрка-а-а,— крикнул Миша,— иди сюда! — и подмигнул Генке, скосив глаза в сторону Юриного отца.

Юра с недоумением посмотрел на Мишу.

— Иди! — крикнул снова Миша.— Чего боишься?

Юра, придерживая рукой велосипед, нерешительно подошел.

— Это какая марка? — Миша кивнул на велосипед.

— «Эйнфильд».

— Ах, «Эйнфильд»! — Миша потрогал велосипед.— Ничего машина.

Коровин и беспризорник в кепке тоже начали ощупывать велосипед.

Вдруг Генка заложил пальцы в рот и отчаянно засвистел. Стоявший в воротах доктор обернулся и, увидев Юру, подошел.

Это был красивый мужчина с холеным лицом и полными белыми руками. От него пахло не то одеколоном, не то аптекой.

Юра стоял у велосипеда и растерянно смотрел на отца.

— Юрий,— строго произнес доктор,— домой!

— Я вовсе...— начал было Юра.

— Домой! — ледяным голосом повторил доктор, оглядел беспризорников, брезгливо поморщился, повернулся и пошел со двора.

Придерживая рукой велосипед, Юра побрел за ним.

— Здорово разыграл! — сказал Коровин.

— Не задавайся,— поучительно добавил беспризорник с веснушками.

Глава 45

ЛЕНТОЧКА

Уходя, беспризорники обещали прийти завтра.

Довольные первым успехом, пионеры обсуждали поведение беспризорных. Невдалеке, на асфальтовой дорожке, Борька сам с собой играл в расшибалочку.

— Эй, Жила! — крикнул Генка.— Что же ты на велосипеде не катаешься?

Борька промолчал.

— Имей в виду...— продолжал Генка,— сам имей в виду и скауту своему несчастному передай: будете срывать нам работу — таких кренделей вам навешаем, что вы их в год не соберете.

Борька опять промолчал.

— Чего ты, Генка, к нему привязываешься? — примирительно сказал Миша.— Чего привязываешься? Борька — парень ничего, только зря со скаутом водится.

Борька насторожился, опасаясь подвоха.

— Юра его и за человека не считает. Видали, как его папаша на нас посмотрел? — продолжал Миша.

— Ты чего меня агитируешь? — ответил Борька.— В пионеры хочешь записать? Не нужны мне ваши пионеры. Зря стараешься.

— Тебя никто и не примет,— вставил Генка.

— Я тебя не агитирую,— сказал Миша,— я просто так говорю. А с тобой я хотел одно дело сделать. Серьезное дело. Вот только вчера об этом со Славкой говорили. Верно, Славка?

Слава ничего не понимал, но подтвердил, что верно, только вчера говорили.

— Какое такое дело? — недоверчиво спросил Борька.

— Видишь ли,— продолжал Миша,— мы ставим пьесу из матросской жизни, и нам нужна матросская форма: тельняшка, брюки, бескозырка. Старая или новая — все равно. Главное, ленточка чтоб была и название корабля на ней. Может, достанешь?

Борька усмехнулся:

— С какой это радости я буду для вас стараться? На дармовщинку хотите? Дураков ищете?

— Мы заплатим.

— Гм! — Борька задумался.— А сколько заплатите?

— Посмотреть надо. А сумеешь достать?

— Я что хочешь из-под земли достану... Дашь ножик? Сейчас ленточку принесу.

— Настоящую?

— Настоящую.

— Тащи.

Борька поднялся с земли:

— Без обману?

— Точно тебе говорю. Неси. Получишь ножик.

Борька побежал домой.

— В чем дело, Миша? — возмутился Шурка-большой.— Что это за пьесу ты собираешься ставить? Почему я об этом ничего не знаю?

— Я тебе потом расскажу. Это... для другого дела.

— Как это «потом»? Я руководитель драмкружка. Ты не имеешь права меня обходить. Я отвечаю за художественную часть.

— Ну и отвечай,— пожал плечами Генка,— никто тебе не мешает.

— Тише,— остановил их Миша,— Борька...

Подбежал Борька; в кулаке он что-то держал.

— Давай ножик!

— Покажи сначала.

Борька чуть разжал и показал краешек смятой черной ленточки.

Миша протянул руку.

— Дай посмотрю. Может, она не настоящая.

Борька сжал кулак:

— Сначала давай ножик. Не беспокойся, настоящая.

Эх, была не была! Миша протянул Борьке ножик.

Тот схватил нож и передал Мише ленточку. Миша развернул ее.

На потертой ленточке мальчики увидели следы серебряных букв «Императрица Мария».

Глава 46

ПРОЕКТЫ

Теперь беспризорники каждый день приходили на площадку. Они приводили с собой товарищей, играли с пионерами в лапту, в волейбол, слушали Шурины рассказы, но заставить их снять лохмотья было невозможно, хотя стояли жаркие июльские дни.

Воздух был пропитан терпким запахом горячего асфальта. Асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных веревкой тротуарах.

Трамваи, свежевыкрашенные, с рекламными вывесками на крышах, медленно ползли по улицам, отчаянно трезвоня каменщикам, перекладывавшим мостовую. Дворы были завалены паровыми котлами, батареями, трубами, кирпичом, бочками с цементом и известью. Москва восстанавливалась.

— «Циндель» пустили,— объявлял всезнающий Генка, показывая на дальний дымок, поднимавшийся из невидимой за домами фабричной трубы,— завтра «Трехгорка» пойдет в ход.

— Все ты знаешь,— насмешливо отвечал Миша,— даже из чьей трубы дым идет. А вот это что? — Он показал на монтеров, работавших на столбах.

— Как — что? Электричество починяют. Испортилось, наверное.

— Эх, ты! «Испортилось»... Каширскую электростанцию пустили. Теперь фонари будут всю ночь гореть, и не по одной, а по обеим сторонам улицы. Понял? И Шатурскую станцию начали строить на торфе... А на Волхове электростанцию будет вода вертеть.

— Это я без тебя знаю,— сказал Генка.— Думаешь, ты один газеты читаешь?

У Генки дома действительно лежала кипа газет: номер «Известий» за одно и то же число. Под заголовком «В фонд помощи голодающим Поволжья» был напечатан длинный список

организаций — участников сбора. И среди них: «От детей жилтоварищества № 267—87 рублей». Ребята очень этим гордились. Генка таскал газету с собой и всем показывал.

...Дни проходили, а мальчики не могли придумать, как им добыть ножны. Теперь установлено: Филин — тот самый Филин. Но как выяснить, видел Миша у филателиста ножны или это был веер?

— Залезть к старику, и все,— говорил Генка.— Бандиты, нечего с ними церемониться.

— Как же ты к нему залезешь?

— Очень просто: через форточку. А еще лучше — Коровину поручить.

— Коровина нечего впутывать. В форточку залезть!.. Что он подумает о пионерах. Ведь он не знает о кортике. Тут надо придумать что-то другое.

И Миша придумал. Только мысль эта пришла к нему несколькими днями позже — во время поездки отряда в двухдневный лагерь на озеро Сенеж.

Глава 47

СБОРЫ В ЛАГЕРЬ

Миша проснулся рано. За окном в предутреннем тумане виднелись серые стены соседнего корпуса.

Кое-где в окнах горели утренние огни, тусклые и беспокойные.

Миша вскочил с кровати:

— Мама, который час?

— Пять, поспи еще, успеешь.

Мама двигалась по комнате, собирая завтрак.

— Нет, надо вставать.— Миша быстро оделся.— Нужно еще за ребятами зайти. Наверное, спят.

— Поешь сначала,— сказала мама.

— Сейчас.

Миша наспех умылся и собирал свой вещевой мешок.

— Мама,— отчаянно закричал он,— где же ложка?

— Там, где ты ее положил.

— Нет ее! — Миша торопливо рылся в мешке.— Ага, вот она.

— Никто не трогал твоего мешка.— Мама зевнула и зябко передернула плечами.— И не копайся там, все перевернешь. Пей чай, я сама одеяло скатаю.

— Нет, нет, ты не знаешь как.— Миша скатал одеяло и привязал его к мешку, на котором болтались уже кружка и котелок.— Вот как надо!

— Хорошо... Только не потеряй там ничего и, пожалуйста, далеко не плавай.

— Сам знаю.— Миша, обжигаясь, прихлебывал чай на краю стола с откинутой скатертью.— Ты меня все маленьким считаешь...

С мешком за плечами Миша вышел из квартиры. В дверях он столкнулся с Генкой. Миша послал его во двор собрать остальных ребят, а сам поднялся к Славе.

Как он и предполагал, Слава еще не проснулся.

— Так и знал! — рассердился Миша.— Сколько можно спать?

— Ведь мы договорились, что ты за мной зайдешь,— оправдывался Слава, потягиваясь и протирая глаза.

— Нужно на себя надеяться. Одевайся быстрей!

Из спальни вышел Константин Алексеевич, Славин отец. Его большой живот спускался на ремешок, поддерживавший брюки. Низкий ворот вышитой рубашки открывал полную грудь, заросшую рыжими волосами. И без того маленькие глазки теперь, со сна, казались совсем узенькими щелочками на полном добродушном лице.

— В поход? — Он зевнул и протянул Мише руку.— С утра подчиненных пробираете! Муштруйте их, муштруйте!

— Мы просто так разговаривали,— ответил Миша.

Он всегда смущался, встречаясь с Константином Алексеевичем. Мише казалось, что тот в душе посмеивается над ребятами. К тому же — технический директор фабрики, «спец», как говорила Агриппина Тихоновна.

— Ну-ну, разговаривайте.

Шлепая туфлями, Константин Алексеевич вышел в кухню. Вскоре оттуда послышалось шипение примуса...

«Чай затевают! — тоскливо подумал Миша.— Опоздаем мы из-за этого Славки!»

— Слава! — донесся из спальни голос Аллы Сергеевны.— Слава!

— Что?

— Скажи папе, чтобы котлеты завернул в вощеную бумагу.

— Хорошо,— ответил Слава, зашнуровывая ботинки.

— Не «хорошо», а иди и скажи ему!

Слава промолчал.

— Кто к тебе пришел? — снова раздался голос Аллы Сергеевны.

— Миша.

— Здравствуйте, Миша!

— Здравствуйте! — громко ответил Миша.

— Мишенька, голубчик,— заговорила Алла Сергеевна, не

вставая с кровати,— я вас очень прошу: не позволяйте Славе купаться. Ему врачи запретили.

Слава покраснел и отчаянно затеребил шнурки ботинок.

— Хорошо,— улыбнулся Миша.

— И вообще,— продолжала Алла Сергеевна,— посмотрите за ним. Без вас я бы не пустила его. Вы рассудительный мальчик, и он вас послушает.

— Хорошо, я посмотрю за ним,— ответил Миша и скорчил Славе рожу.

В комнату с чайником и проволочной подставкой в руках вошел Константин Алексеевич.

— Ну, пейте чай.

— Спасибо,— ответил Миша,— я уже позавтракал.

— Костя,— снова раздался из спальни голос Аллы Сергеевны,— что ты там возишься? Разбуди Дашу!

— Не нужно,— ответил Константин Алексеевич, нарезая хлеб,— все готово.

— Скажи Даше,— продолжала Алла Сергеевна,— когда придет молочница, пусть возьмет только одну кружку.

— Хорошо, скажу. Ты спи, спи...

— Разве я могу заснуть! — капризным голосом ответила Алла Сергеевна.— Зачем ты разрешил ему ехать! Два дня беспокойства.

— Пусть съездит.

— Отпускать ребенка на двое суток, одного, неизвестно куда, неизвестно зачем... Слава! Не смей там бегать босиком!

— Хорошо,— пробурчал Слава, допивая чай.

Глава 48

В ЛАГЕРЕ

Мальчики закончили сооружение плота, выкупались и теперь отдыхали на берегу.

Безбрежное, расстилалось перед ними озеро. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Остроокрылые чайки разрезали выпуклую синеву воды. Тысячи мальков шмыгали по мелководью. Белые лилии дремали на убаюкивающей зыби. Их длинные зеленые стебли путались в прибрежном камыше, где квакали лягушки и раздавался иногда шумный всплеск большой рыбы.

— Главное, нужно как следует загореть,— озабоченно говорил Генка, натирая грудь и плечи мазью.— Загар — первый признак здоровья. А ну, Мишка, натри мне спину, потом я тебе.

Миша взял у Генки баночку, понюхал, брезгливо поморщился:

— Ну и дрянь!

— Много ты понимаешь! Это ореховое масло. Первый сорт. А пахнет банка. Она из-под гуталина.

Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь:

— Крошки какие-то, яичная скорлупа...

— У меня в мешке все перемешалось. Ничего, давай мажь!

— Нет! — Миша вернул Генке банку.— Сам мажься.

— И намажусь. К вечеру буду как бронза.

— Пошли, ребята,— сказал Слава.

Мальчики направились к разбитым на опушке леса серым остроугольным палаткам.

В середине лагеря высилась мачта. Свежевскопанная и утоптанная ребячьими ногами земля вокруг нее серым бугорком выделялась на опушке.

Из-за крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках палке, висели котелки. Запах подгоревшей каши распространялся по лагерю.

— Простое дело — кашу сварить, а они шумят, будто быка жарят,— сказал Генка.

Из лесу вышел Коля, окруженный беспризорниками. Они были в лохмотьях, один только Коровин был обнажен до пояса.

— Вы куда ходили? — спросил Миша у Коровина.

— В деревню.

— Зачем?

— Хлеба смотрели, молотьбу...— Он вздохнул.— У нас раньше тоже корова была.

Коля стоял у костра, окруженный девчонками, и пробовал кашу, смеясь и дуя на ложку.

«Умный он все-таки,— думал Миша.— Повел ребят в деревню, чтобы они вспомнили свой дом, свою семью».

— Еще на станцию ходили,— продолжал Коровин.

— Зачем?

— Детдом там. Смотрели, как ребята живут. Ничего живут, подходяще. Свой огород имеют.

«И в детдом их нарочно повел»,— подумал Миша.

Миша подошел к костру.

— Как я буду делить? — плачущим голосом говорила Зина Круглова.— Тут сто всяких продуктов. Никто не принес одинаковые. Вот,— она показала на разложенную возле костра провизию,— котлет пять штук, селедок — восемь, яиц — двенадцать, мяса девять кусков, воблы — четыре и крупы все разные.— Она вдруг расхохоталась.— А второе звено рыбы

наловило — шестнадцать пескарей...— Ее красное от жары лицо с маленьким вздернутым носиком стало совсем круглым.

— Мелковата рыбешка,— согласился Коля.— Ничего, пообедаем, только пальчики оближем...

Глава 49

ГЕНЕРАЛ-КВАРТИРМЕЙСТЕР

Каша чудесно пахла дымом и вареной воблой, в чае плавали еловые иглы, капельки жира и яичная скорлупа.

Ели сделанными из бересты ложками, рассевшись вокруг костра. Вверху шумели сосны, встревоженно каркали вороны. Коля распрямил кусок проволоки, нанизал на него кусочки мяса и приготовил шашлык. Всем досталось по маленькому кусочку, зато шашлык был настоящий.

После обеда Коля сказал:

— Завтра мы с детским домом проведем военную игру «Взятие Перекопа». Сегодня потренируемся. Вон там будет штаб белых.— Он показал на рощицу, расположенную на правом берегу озера.— Задача: проникнуть в штаб белых и захватить их флаг. Врангелем назначается Шура Огуреев, а Генка Петров — начальником штаба.

— Почему мы будем белыми? — запротестовал Генка.

— Действительно,— сказал Шура.— Это несправедливо. К тому же у белых не было должности начальника штаба. Он назывался генерал-квартирмейстером.

— Хорошо,— согласился Коля,— значит, Генка будет генерал-квартирмейстером. А приказ выполняйте! Как только услышите сигнал трубы, игру кончить и всем собраться в лагере.

Шуру и Генку очень обидело это назначение, и, когда Перекоп был взят и штаб белых разгромлен, Врангель и его генерал-квартирмейстер исчезли.

Их долго искали, несколько раз трубили в горн, но они явились только к вечеру.

Впереди шел Шура. За ним с поникшей головой, охая и вздыхая, как будто его поколотили, плелся Генка.

— Зачем пришли? — сухо спросил Коля.

— Мы сдаемся,— объявил Шура.

— Почему вы не явились по сигналу?

Шура начал приготовленную заранее речь.

— Мы решили,— сказал он,— соблюдать историческую правду. Ведь Врангель удрал из Крыма. Вот и мы скрывались.— Он помолчал, потом добавил: — А если, по-вашему, это неправильное толкование роли, то прошу впредь меня Врангелем не назначать.

— Почему вы все-таки пришли?

Шура показал на Генку:

— Мой генерал-квартирмейстер опасно заболел.

«Генерал-квартирмейстер» имел жалкий вид. Лицо его горело, как в лихорадке, тело дергалось, будто Генку кололи иглами.

— Что с тобой? — спросил Коля.

Генка молчал.

— Тяжелое повреждение кожных покровов,— ответил за него Шура.

Генка поднял рубашку, спина его была покрыта большими волдырями.

— Мазался чем-нибудь? — спросил Коля.

— Ма... мазался,— пролепетал Генка.

— Чем?

— Оре... ореховым маслом.

— Покажи.

Болезненно морщась, Генка вытащил из кармана баночку и протянул Коле.

Коля понюхал, потом спросил:

— Где ты ее взял?

— Сам... сам сделал... по рецепту.

— По какому рецепту?

— Борька-жила дал.

— Это смесь цинковой мази с сапожным кремом,— сказал Коля.— Эх ты, провизор...

Несчастного Генку смазали вазелином и уложили в палатке.

Глава 50

КОСТЕР

Вечером отряд расположился вокруг зажженного на берегу костра.

Луна проложила по озеру сверкающую серебряную дорожку.

Под черной громадой спящего леса белели маленькие палатки.

И только звезды, сторожа уснувший мир, перемигивались, посылая друг другу короткие сигналы.

Коля рассказывал о далеких странах: о маленьких детях, работающих на чайных плантациях Цейлона; о нищих, умирающих на улицах Бомбея; об измученных горняках Силезии и бесправных неграх Соединенных Штатов Америки.

Вспыхивающее пламя вырывало из темноты лица ребят, галстуки, худощавое Колино лицо с косой прядью мягких волос, падающих на бледный лоб. Хворост трещал под огнем и рас-

падался на маленькие красные угольки, горевшие коротким фиолетовым пламенем. Иногда уголек выскакивал из костра, и тогда кто-нибудь подталкивал его обратно в огонь, к жарким, пылающим веткам.

И еще Коля рассказывал о коммунистах и комсомольцах капиталистических стран, отважных солдатах мировой революции.

Миша лежал на животе, подперев кулаками подбородок. Лицу было жарко от близости огня, по ногам и спине пробегал тянущий с озера холодок. Он слушал Колю и думал о бесстрашных людях, сокрушающих старый мир. Его охватывала жажда подвига, и он мечтал о жизни, отданной революции.

Коля кончил беседу и приказал дать отбой. Протяжные звуки горна всколыхнули воздух и дальним эхом отозвались за верхушками деревьев. Все разошлись по палаткам. Лагерь затих.

Миша не спал. Он лежал на пахучих еловых ветках и через открытую полость палатки смотрел на звезды.

Рядом с Мишей, вытянувшись во весь рост и покрывшись с головой одеялом, спал Шурка-большой. За ним, съежившись и уткнув голову в самодельную, набитую травой подушку,— Слава. Ворочался и стонал Генка.

Хрустнула ветка. Миша прислушался. Это часовые. Из палатки девочек слышался тихий, приглушенный смех. Наверное, Зина Круглова. Все ей смешно.

Он вспомнил Лену и Игоря Буш. Где они теперь, бродячие акробаты? Давно ребята не видели их, почти все лето. Где их ослик, тележка? Генка все мечтал об этой тележке, хотел на ней возить рекламу, чтобы бесплатно пускали в кино. Чудак Генка!

Миша представил, как Генка возит тележку по московским улицам, и вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову. Тележка... тележка... Как это он раньше не сообразил! Миша даже привстал от волнения. Идея! Это будет здорово! Черт возьми, вот это да!

Ему захотелось сейчас же разбудить Генку и Славу и поделиться с ними своим планом... но ребята крепко спят, придется потерпеть до завтра. Теперь самое главное — найти Бушей, а там... Миша еще долго не мог заснуть, обдумывая свой чудесный план.

Шаги часовых удалились, смех в палатке девочек прекратился, и все стихло.

Потухший костер круглым пятном чернел на высоком, залитом лунным светом берегу. В его пепле еще долго перебегали маленькие огоньки. Вспыхивали и гасли, точно играя в прятки меж обгоревших и обуглившихся поленьев.

Глава 51

ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Кончался август. Зябнувшие бульвары закутывались в яркие ковры опавших листьев. Паутина плыла в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета.

Миша, Генка и Слава подошли к Новодевичьему монастырю.

В расщелинах высокой стены гнездились галки. Их громкий крик оглашал пустынное кладбище. Унылая травка на могильных холмиках высохла и пожелтела. Металлические решетки вздрагивали, колеблемые резкими порывами ветра.

— Придется подождать,— сказал Миша,— они, наверное, скоро придут.

Друзья уселись на припавшую к земле скамейку.

— Половину покойников хоронят живыми,— объявил Генка, поглядывая на могилы.

— Почему? — спросил Слава.

— Кажется, что человек умер, а на самом деле он заснул летаргическим сном. В могиле он просыпается. Пойди тогда доказывай, что ты живой.

— Это бывает, но редко.

— Наоборот, очень часто,— возразил Генка.— Нужно в покойника пропустить электрический ток, тогда не ошибешься.

— Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова!

— Прием от двух до четырех.

— Смейтесь, смейтесь,— сказал Генка.— Похоронят вас живыми, тогда узнаете. Смейтесь! — Потом нетерпеливо спросил: — Когда они придут?

— Придут,— ответил Миша.— Раз обещали — значит, придут.

— Может быть, все же лучше пойти в милицию и все рассказать? — предложил Слава.

— С ума сошел! — рассердился Генка.— Чтобы милиции весь клад достался, а мы с носом!

— Успеем в милицию,— сказал Миша.— Прежде надо все как следует выяснить. В общем, как решили, так и сделаем.

Из монастырских ворот показались Лена и Игорь Буш. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом.

Лена была в демисезонном пальто и яркой косынке. Игорь в костюме с галстуком и в модном кепи имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись, он посмотрел на часы:

— Кажется, не опоздали.

Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков:

— Как поживаете?

— Ничего,— ответил за всех Миша.— А вы как поживаете?
— Мы тоже ничего. Недавно вернулись из поездки.
— Где были?
— В Курске были, в Орле, на Кавказе...
— Хорошо на Кавказе! — сказал Генка.— Там урюк растет.
— Положим, урюк там не растет,— заметил Слава.
— Как с нашей просьбой? — спросил Миша.
— Мы всё устроили,— пробасил Игорь.
— Да,— подтвердила Лена,— мы договорились. Можете ее взять. Но зачем она вам нужна? Она совсем сломана.
— Мы ее починим,— сказал Миша.
— Но зачем вам нужна эта тележка? — допытывалась Лена.
— Для одного дела,— уклончиво ответил Миша.
— Я уверена, что вы ищете клад,— сказала Лена.
Мальчики удивились.
— Почему ты так думаешь?
— У людей, которые ищут клад, ужасно глупый вид.
— Вот и не угадала,— сказал Генка,— никакого клада мы не ищем. Сама понимаешь: уж кто-кто, а я такими пустяками заниматься не стану.
— Ладно,— сказал Миша,— шутки в сторону. Когда мы можем взять тележку и сколько мы должны за нее заплатить?
— Можете взять ее в любое время,— сказала Лена,— а платить ничего не надо. Она цирку уже больше не нужна.
— Списана по бухгалтерии,— солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы.— Лена, нам пора.

Мальчики проводили Бушей до трамвая. Возле остановки притопывал ногами, потирал зябнущие руки лоточник. Его фуражка с золотой надписью «Моссельпром» была надвинута на самые уши, и завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили «Прозрачных» и угостили Бушей. Потом Лена и Игорь уехали. Друзья по Большой Царицынской, через Девичье поле, отправились домой.

Глава 52

РЕКЛАМНАЯ ТЕЛЕЖКА

На пустынном сквере осенний ветер играл опавшими листьями. Он собирал их в кучи, кружил вокруг голых деревьев, метал на серый гранит церковных ступеней, шуршал по одиноким скамейкам, бросал под ноги прохожим и грязными клочьями волочил вверх по Остоженке, забивал под колеса яркой рекламной тележки, стоявшей на углу Всеволожского переулка. На тележке были укреплены под углом два фанерных щита с

развешанными на них афишами новой кинокартины — «Комбриг Иванов». Вверху, там, где щиты сходились, качались вырезанные из фанеры буквы: «Кино арбатский Арс».

Прохожие Остоженки привыкли к тележке, уже несколько дней неизменно торчавшей на углу. Вечером за ней являлся мальчик и увозил. Лысый старик, хозяин филателистического магазина, ругал мальчика за то, что тот ставит тележку против магазина. Мальчик ничего не отвечал, подкладывал камни под колеса и удалялся.

Однажды вечером мальчик явился, вынул камни из-под колес тележки, вкатил ее во двор магазина и пошел в дворницкую.

Дворник, худой рыжий татарин, сидел на широкой кровати, свесив на пол босые ноги.

— Дяденька,— сказал мальчик,— моя тележка сломалась. Можно ей постоять во дворе?

— Опять сломалси,— дворник лениво посмотрел в окно,— опять сломалси.— Он зевнул, похлопал ладонью по губам.— Пущай стоит, нам развя жалка.

Мальчик вышел, осмотрел тележку, тронул верхнюю планку, тихонько стукнул по щиту и ушел.

Двор опустел. В окнах гасли огни.

Когда совсем стемнело, из подъезда черного хода вышли старик филателист и Филин.

Они остановились у самой тележки. Старик вполголоса спросил:

— Значит, решено?

— Да,— раздраженным шепотом ответил Филин.— Чего ему ждать? Год, как вы за нос водите.

— Сложный шифр,— пробормотал старик,— по всем данным — литорея, а вот без ключа не могу прочесть.

— Если б вы знали, что там есть,— зашептал Филин, наклонясь к старику,— то прочли бы.

— Понимаю, понимаю, да что делать! — Старик развел руками.— Может, подождет еще Валерий Сигизмундович?

— Не может он больше ждать. Понятно? Не может. Так что к воскресенью все приготовьте. Я сам не приду, пришлю мальчонку.

Филин ушел. Шамкая беззубым ртом, старик побрел домой. В освещенном окне появилась его сгорбленная фигура. Старик медленно передвигался по кухне. Наклонившись, он подкачал примус. Длинные красные языки высовывались из-под чайника, облизывая его крутые бока.

Потом старик долго, медленно и аккуратно чистил картошку. Кожура длинной, изломанной лентой падала в ведро.

Из кухни старик перешел в комнату и склонился над столом.

Некоторое время он стоял неподвижно, потом поднял голову, посмотрел в окно, перед которым стояла тележка, и задернул занавеску. Задернул он ее одной рукой. В другой он держал ножны. Они были отчетливо видны. Черные кожаные, с металлическим ободком наверху и шариком на конце...

Вышел дворник, почесался, глядя на луну, зевнул и пошел к воротам. Только он хотел их закрыть, как появились Генка и Слава.

— Бери свой тележка,— сказал дворник,— в порядке тележка. Бери.

Мальчики вынули камни из-под колес тележки и выкатили ее на улицу. Дворник запер ворота...

Мальчики вкатили тележку в безлюдный переулок, осмотрелись, отодвинули верхнюю планку и раздвинули щиты. Из тележки вылез Миша.

Домой Миша вернулся поздно ночью. Мамы не было: она работала в ночной смене. Миша разделся, юркнул в постель и долго лежал не засыпая.

Здорово они придумали с тележкой! Неделю изо дня в день следили из нее за магазином старика. Провожая посетителей, старик разговаривал с ними возле тележки и не догадывался, что там кто-то сидит. Ночью они ставили тележку во дворе и таким образом узнали весь распорядок жизни старика. И ножны несколько раз видели. Если снять ободок и вывернуть шарик, они разворачиваются веером. На веере что-то написано. Непонятно только одно: старик сказал Филину, что без ключа он не может расшифровать, но ведь ключ-то у него в ножнах. Что же он расшифровывает?

Того высокого зовут Валерий Сигизмундович. Ясно, это Никитский. Они его, правда, больше не видели, но важно завладеть ножнами, а Никитский потом никуда не денется. Теперь дело будет проще. Борьку-то они сумеют надуть. Борька давно зарится на тележку.

С тележкой, конечно, придется расстаться. Правда, за то, что они ее возят, их бесплатно пускают в кино, но все равно — с понедельника в школу. И не к лицу пионерам заниматься такой коммерцией.

Глава 53

НОЖНЫ

Посвистывая, Борька-жила шел по Никольскому переулку. В руках он держал обвязанный шпагатом пакет. Борька шел не останавливаясь. Отец приказал ему по дороге от филателиста домой нигде не задерживаться.

Это приказание было бы выполнено в точности, если бы внимание Борьки не привлекла рекламная тележка кино «Арс», стоящая на церковном дворе. Вокруг стояли Миша, Генка, Слава и беспризорник Коровин. Они рассматривали тележку и горячо спорили.

Борька подошел к ним, с любопытством оглядел всю компанию.

— Ты на резину посмотри, на резину,— говорил Миша, тыкая ногой в колеса,— одни покрышки чего стоят.

Коровин засопел:

— Цена окончательная.

— Уж это ты брось! — сказал Генка.— Пять рублей за такую тележку!

— Тележку продаете? — Борька придвинулся ближе к ребятам.

Миша обернулся к нему:

— Продаем. А тебе что?

— Спросить нельзя?

— Нечего зря спрашивать.

— А я, может, куплю!

— Покупай.

— Сколько просите?

— Десять рублей.

Борька присел на корточки и начал осматривать тележку, ощупывать колеса. Пакет он положил рядом с собой.

— Чего ты щупаешь? — Миша взялся за ручки.— Колеса-то на подшипниках. Смотри, ход какой.— Он толкнул тележку вперед.— Слышишь ход?

Борька подвигался вместе с тележкой, прислушиваясь к шуму колес с видом большого знатока.

Миша остановился:

— Сама идет. Попробуй.

Борька толкнул тележку. Она действительно катилась очень легко.

Генка и Славка тоже подвигались вслед за тележкой, загораживая собой Коровина.

— А самое главное, смотри.— Миша отъединил планку, раздвинул щиты.— Видал? Можешь даже спать. Поставил тележку — и ложись.

— Ты уж нахвалишь,— сказал Борька,— а резина-то вся истрепалась.

— Резина истрепалась? Смотри, что написано: «Треугольник», первый сорт.

— Написано! И краска облезла. Вы уж давайте подешевле.

— Ладно, Мишка,— раздался вдруг голос Коровина,— я забираю тележку.

APC

К стр. 190

Мишкин азарт вдруг пропал:

— Вот и хорошо. Бери. Прозевал ты тележку, Жила!

— А я, может, дороже дам.

— Нет, теперь уж не дашь.

— Почему? — Борька подошел к пакету, поднял его.

— Потому! — Мишка усмехнулся.

Борька недоуменно оглядел ребят. Они насмешливо улыбались, только один Коровин, как всегда, смотрел мрачно.

— Не хочешь — как хочешь! — сказал Борька.— Потом сам будешь набиваться, но уж больше двугривенного не получишь.

Борька скрылся за поворотом. Мальчики забежали за церковный предел, и Коровин вытащил из кармана ножны.

Миша нетерпеливо выхватил их у него, повертел в руках, затем осторожно снял ободок и вывернул шарик.

Ножны развернулись веером. Мальчики уставились на них, потом удивленно переглянулись...

На внутренней стороне ножен столбиками были нанесены знаки: точки, черточки, кружки. Точно так же, как и на пластинке кортика.

Больше ничего в ножнах не было.

Часть пятая

СЕДЬМАЯ ГРУППА «Б»

Глава 54

ТЕТЯ БРОША

На уроке математики не оказалось мела.

Преподавательница Александра Сергеевна строго посмотрела на Мишу:

— Староста, почему нет мела?

— Разве нет? — Миша вскочил со своего места и с деланным изумлением округлил глаза.— Перед самым уроком был.

— Значит, он убежал,— насмешливо сказала Александра Сергеевна.— Верни его обратно.

Миша вышел из класса, побежал в раздевалку за мелом и увидел, что тетя Броша, гардеробщица, плачет:

— Ты что, тетя Броша? — спросил Миша, заглядывая ей в глаза.— Ты почему плачешь? Кто тебя обидел?

Никто точно не знал, почему гардеробщицу звали тетей

Брошей. Может быть, это было ее имя, может быть, из-за большой желтой броши, приколотой к полосатой кофте у самого подбородка, а возможно, и потому, что она сама походила на брошку — маленькая толстенькая старушка. Она всегда сидела у раздевалки, вязала чулок и казалась комочком, приютившимся на дне глубокого колодца из металлической сетки, которой был обит лестничный проем. Она будто бы умела заговаривать ячмени. И действительно, посмотрит на глаз, пошепчет что-то — ячмень и проходит иногда на другой день, иногда через неделю.

И вот теперь тетя Броша сидела у раздевалки и плакала.

— Скажи, кто тебя обидел? — допытывался Миша.

Тетя Броша вытерла платком глаза:

— Тридцать лет прослужила, слова худого не слышала, а теперь дурой старой называть стали.

— Кто? Кто?

— Бог с ним! — Тетя Броша махнула рукой.

— При чем тут бог! — рассердился Миша.— Никто не имеет права оскорблять. Кто тебя обругал?

— Юра обругал, вот кто. Опоздал, а мне не велено пускать. Иди, говорю, к директору. А он мне — «старая дура»! А ведь хороших родителей... И маменька его здесь училась, когда гимназия была. Только, Мишенька,— испуганно забормотала она,— никому, деточка, не рассказывай!

Но Миша не слушал уже, схватил мел и, прыгая через три ступеньки, помчался в класс.

У доски маялся Филя Китов, по прозвищу «Кит». Александра Сергеевна зловеще молчала. Кит при доказательстве равенства углов в равнобедренном треугольнике помножил квадрат гипотенузы на сумму квадратов катетов и уставился на доску, озадаченный результатом. Кит остался в седьмом классе на второй год и, наверное, останется на третий. На уроках он всегда дремлет или вырезает ножиком на парте, а на переменках клянчит у ребят завтраки. Клянчит не потому, что голоден, а потому, что великий обжора.

— Дальше! — Александра Сергеевна произнесла это тоном, говорящим, что дальше ничего хорошего не будет.

Кит умоляюще посмотрел на класс.

— На доску смотри,— сказала Александра Сергеевна.

Кит снова повернулся к классу своей толстой, беспомощной спиной и недоуменным хохолком на белобрысой макушке.

Александра Сергеевна прохаживалась между партами, зорко поглядывая на класс. Маленькая, худенькая, с высокой прической и длинным напудренным носом, она все замечала и не прощала никакой мелочи. Когда она отворачивалась, Зина Круглова быстро поднимала руку с растопыренными пальцами, по-

казывая всему классу, сколько минут осталось до звонка. Зина, единственная в классе обладательница часов, сидела на первой парте.

Миша с возмущением посмотрел на Юру: «Задавала несчастный! Ходит с открытыми коленками, хочет показать, какой он закаленный. Воображает себя Печориным. Так и написал в анкете: «Хочу быть похожим на Печорина». Сейчас, после урока, я тебе покажу Печорина!»

Миша вырвал из блокнота листочек бумаги и, прикрывая его ладонью, написал: «Юра обругал Брошу дурой, Броша плачет, нужно обсудить». В это время он смотрел на доску, и буквы разъехались вкривь и вкось.

Он придвинул записку Славе. Слава прочел и в знак согласия кивнул головой. Миша сложил листок, и надписал: «Шуре Огурееву и Генке Петрову» — и перебросил на соседнюю парту.

Шурка-большой прочел, подумал и написал: «Лучше устроить показательный суд. Согласен быть прокурором». Потом свернул и перекинул записку к сестрам Некрасовым, но Александра Сергеевна, почувствовав сзади себя движение, быстро обернулась. Все сидели тихо, только Зина Круглова едва успела опустить руку с растопыренными пальцами.

— Круглова, к доске,— сказала Александра Сергеевна.

Кит побрел на место.

От сестер Некрасовых записка через Лелю Подволоцкую добралась до Генки. Он прочитал ее и написал внизу: «Отлупить как следует, чтобы помнил».

Тем же путем записка вернулась к Мише. Он прочитал Шурин и Генкин ответы и показал Славе. Слава отрицательно мотнул головой. Миша придвинул записку к себе и начал на ней что-то писать, как вдруг Слава толкнул его под партой ногой. Миша не обратил внимания. Слава толкнул его опять, но было поздно. Александра Сергеевна протягивала руку к записке:

— Что ты пишешь?

Миша смял записку в кулаке и молча встал.

— Покажи, что у тебя в руке!

Миша молчал и не отрываясь смотрел на прибитые к стенам планки для диаграмм.

— Я тебя спрашиваю,— совсем тихо сказала Александра Сергеевна,— что ты писал на уроке? — Она заметила лежавшую под тетрадями книгу и взяла ее.— Это что еще такое? — Она громко прочла: — «Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала девятнадцатого века». Посторонние книги читаешь во время урока?

— Она просто лежала, я ее не читал,— попробовал оправдаться Миша.

— Записку ты тоже не писал? Постыдись! Староста, пионер, член учкома. Эту книгу ты получишь у директора, а пока оставь класс.

Ни на кого не глядя, Миша вышел.

Глава 55

КЛАССНОЕ СОБРАНИЕ

Он вышел из класса и сел на подоконник. В окне виднелись противоположная сторона Кривоарбатского переулка, два фонаря, уже зажженных, несмотря на ранний час, школьная площадка, занесенная снегом.

В коридоре тихо. Только слышно, как падают в ведро капли из бачка с кипяченой водой да сверху, из гимнастического зала, доносятся звуки рояля: трам-там, тара-тара, трам-та-та, трам-та-та, трам-та-та — и на потолке глухо отдается равномерный топот маршировки: трам-та-та, трам-та-та...

Нехорошо получилось! Являйся теперь к директору. Алексей Иваныч, конечно, спросит о книге... Зачем да почему...

И все из-за этого задавалы Юрки-скаута!

Прозвенел звонок. Тишина разорвалась хлопаньем дверей, топотом, криком и визгом.

Из класса вышел Юра.

— Ты зачем тетю Брошу обругал? — остановил его Миша.

— Тебе какое дело? — Юра презрительно посмотрел на него.

— Ты на меня так не смотри, а то быстро заработаешь!

Их окружили ребята.

— Какую привычку взял,— продолжал Миша,— оскорблять технический персонал! Это тебе не дома — на прислугу орать.

— Чего ты с ним, Мишка, разговариваешь! — Генка стал против Юры.— С ним вот как надо!

Он полез драться, но Миша удержал его:

— Вот что, Юра, ты должен извиниться перед тетей Брошей.

Юра удивленно вскинул тонкие брови:

— Я буду извиняться перед уборщицей?

— Обязательно.

— Сомневаюсь!

— Заставим. А если не извинишься, поставлю вопрос на классном собрании.

— Мне плевать на ваше собрание!

— Не доплюнешь!

— Посмотрим.

— Посмотрим.

Перед последним уроком Генка вбежал в класс и закричал:

— Ура! Альма не пришла, немецкого не будет, собирай книжечки!

— Подожди,— остановил его Миша.— Тише, ребята! Сейчас проведем классное собрание.

— Вот еще!..— недовольно протянул Генка.— Ушли бы домой на два часа раньше!

— Как будто нельзя в другой раз собрание устроить, обязательно сегодня! — сказала Леля Подволоцкая, красивая девочка с белокурыми волосами.

— Не останусь я на собрании,— объявил Кит,— я есть хочу.

— Ты всегда есть хочешь. Будет собрание, и все.— Миша закрыл дверь.

Когда все сели по местам, он сказал:

— Обсуждается вопрос о Юре. Слово имеет Генка Петров.

Генка встал и, размахивая руками, начал:

— Юра опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это — безобразие! Теперь не царский режим. Небось Алексея Иваныча он так не назовет, побоится, а тетя Броша — простая уборщица, так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще скауты из буржуев. Предлагаю исключить Юру из школы.

Поднялся Слава:

— Юре пора подумать о своем мировоззрении. Он индивидуалист и отделяется от коллектива. Подражать Печорину нечего. Печорин — продукт разложения дворянского общества. Это все знают. Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а исключить из школы — слишком суровое наказание.

Слово попросила Леля Подволоцкая:

— Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру. Генка в тысячу раз больше хулиганит, а еще пионер. Это несправедливо. Нужно прежде всего выслушать Юру. Может быть, ничего и не было.

Юра, не поднимаясь с места, глядя в окно, сказал:

— Во-первых, я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Кроме того, он еще не директор, чтобы исключать из школы. Нечего так много брать на себя. Во-вторых, принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку,— это ограничивает нашу свободу. В-третьих, я вообще ни перед кем отчитываться не желаю. Извиняться я не буду, так как не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять что вам угодно, мне это глубоко безразлично.

Шура Огуреев вышел к учительскому столику, обернулся к классу и произнес такую речь:

— Товарищи! Инцидент с тетей Брошей нужно рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем? Мы имеем два факта. Первый — оскорбление женщины, что недопустимо. Второй — употребление слова «дура». Такие слова засоряют наш язык, наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов.

— Не Некрасов, а Тургенев,— поправил его Миша.

— Нет,— авторитетно произнес Шура,— сначала сказал Некрасов, а потом уже повторил Тургенев. Нужно читать первоисточники, тогда будешь знать. Я предлагаю запретить употребление таких и подобных слов.

Довольный своей речью, Шура направился к парте и с важным видом уселся на свое место.

— Кто еще хочет высказаться? — спросил Миша и, увидев, что Зина Круглова хочет, но не решается выступить, сказал: — Говори, Зина, чего боишься?

Зина поднялась и быстро затараторила:

— Девочки, это ужасно! Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юру защищать. А если он нравится Леле, пусть она так и скажет. Потом Шура. Он очень красиво говорил о женщинах, а сам на уроках пишет письма девочкам. Это тоже неправильно. Потом,— продолжала Зина,— я хотела сказать о Генке Петрове. Он на уроках всегда меня расхохатывает.

После всех выступил Миша:

— Юра обругал тетю Брошу потому, что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она тридцать лет работает в школе, приносит пользу обществу, а Юра сидит на шее у своего папеньки, в жизни еще палец о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Предлагаю: Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а если он не захочет, передать вопрос в учком. Пусть вся школа обсуждает его поступок.

Классное собрание постановило: обязать Юру извиниться перед тетей Брошей.

Глава 56

ЛИТОРЕЯ

После собрания Миша явился к директору школы.

Алексей Иваныч сидел в своем кабинете за столом и перелистывал книгу, ту самую, что отобрала у Миши Александра Сергеевна. Он указал Мише на диван:

— Садись.

Миша сел.

— Что вы обсуждали на собрании? — спросил Алексей Иваныч.

Миша рассказал.

— Постановить — это полдела,— сказал Алексей Иваныч.— Нужно, чтобы Юра осознал низость своего поступка.

Он помолчал, потом спросил:

— А твое поведение обсуждали?

— Какое поведение? — Миша покраснел.

— Посторонние книги читаешь на уроке, записки пишешь.

— Книгу я не читал,— сказал Миша,— она просто так лежала. Записку действительно писал.

— Скажи, Поляков,— Алексей Иваныч внимательно посмотрел на Мишу,— почему тебя интересует холодное оружие?

— Просто так,— ответил Миша, глядя в пол.

Как бы не слыша Мишиного ответа, Алексей Иваныч спросил:

— Ты и твои приятели интересуетесь шифрами?

Миша молчал, и опять, словно не замечая его молчания, Алексей Иваныч продолжал:

— Когда я был мальчиком, я тоже увлекался шифрами. Очень интересное занятие.

Миша думал. Может быть, показать пластинку? Вот уж два месяца, как они бьются и не могут прочесть надпись. На обеих пластинках совершенно одинаковые значки, а ключа к ним нет. Значит, Полевой думал, что ключ к шифру в ножнах, а Никитский предполагал, что он в кортике.

На самом же деле ни там, ни здесь ключа нет... Может, Алексей Иваныч разберет.

Миша вздохнул, вынул из кармана пластинку от рукоятки кортика и протянул ее Алексею Иванычу.

— Вот, Алексей Иваныч, мы никак не можем расшифровать эту надпись. Я слышал, что это литорея, но мы не знаем, что такое литорея.

— Да,— сказал Алексей Иваныч, рассматривая пластинку,— похоже. Литорея — это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Литорея была двух родов: простая, называлась также тарабарской грамотой, отсюда и «тарабарщина». Это простой шифр. Буквы алфавита пишут в два ряда: верхние буквы употребляют вместо нижних, нижние — вместо верхних. Мудрая литорея — более сложный шифр. Весь алфавит разбивался на три группы, по десяти букв в каждой. Первый десяток букв обозначался точками. Например, «а» — одна точка, «б» — две точки и так далее. Второй десяток обозначался черточками. Например, «л» — одна черточка, «м» — две черточки и так далее. И наконец, третий десяток обозначался кружками. Например, «х» — один кружок, «ц» — два кружка... Значки эти писались столбиками. Понял теперь?

— Это ж очень просто! — удивился Миша.— Теперь я понимаю, как прочесть пластинку!

— Это было бы просто в том случае,— возразил Алексей Иваныч,— если бы на этой пластинке в каждом столбике было от одного до десяти знаков, а здесь самое большее пять...

Алексей Иваныч сидел задумавшись, потом медленно проговорил:

— Если это литорея, то здесь только половина текста. Где-то должна быть и другая.

Глава 57

СТРАННАЯ НАДПИСЬ

Вот оно в чем дело! Миша пощупал в кармане ножны. Теперь понятно, почему старик не мог расшифровать текст.

— Где-то должна быть вторая половина текста,— повторил Алексей Иваныч и вопросительно посмотрел на Мишу.

Эх, была не была! Миша вынул ножны, снял ободок, развернул их веером и положил на стол.

Алексей Иваныч соединил обе пластинки. Миша только сейчас увидел, что на одной из них есть выпуклость, а на другой углубление, показывающее, где их нужно соединять. Как это он раньше не заметил?

Соединив обе пластинки, Алексей Иваныч положил их плашмя и придавил пресс-папье.

— Видишь,— сказал он Мише,— получилась десятизначная литорея. Теперь попробуем читать.

Он встал, подошел к шкафу, снял с полки большую книгу, положил ее перед собой и внимательно перелистал.

— Так.— Алексей Иваныч заложил страницы двумя пальцами.— Бери карандаш, бумагу и пиши... «с». Написал? «И», «м». Что получилось?

— «Сим»,— прочел Миша.

— «Г», «а», «д», «о», «м». Что написал?

— «Гадом»,— сказал Миша.

И так, слово за словом, Миша написал следующее: «Сим гадом завести часы понеже проследует стрелка полудень башне самой повернутой быть».

— Странная надпись,— задумался Алексей Иваныч,— странная.— Он молча разглядывал ножны, потом посмотрел на Мишу: — Что ты скажешь по этому поводу?

Миша молча пожал плечами.

— Во всяком случае, знаешь ты больше меня,— сказал Алексей Иваныч.— Например: где кинжал?

Миша молча смотрел на пол.

— Раз есть ножны, то должен быть и кинжал,— сказал Алексей Иваныч.

Миша вынул кортик и показал, как закладывается туда стержень.

— Остроумно,— заметил Алексей Иваныч,— это подобие кортика.

— Это кортик и есть,— сказал Миша.

Алексей Иваныч поднял брови:

— Ты уверен в этом?

— Конечно.

— Хорошо, если ты уверен,— говорил Алексей Иваныч, рассматривая кортик.— Рукоятка с секретом — вещь распространенная в средние века. В рукоятки мечей вкладывались мощи святых, и рыцари перед боем «прикладывались к мощам». Отсюда и обычай целовать оружие. Так...— Алексей Иваныч продолжал рассматривать кортик.— Так... Бронзовая змейка, по-видимому, и есть искомый гад. Следовательно, недостает только часов, которые надо завести. Ну, Поляков, теперь расскажи, откуда у тебя этот кортик.

Выслушав Мишин рассказ, Алексей Иваныч некоторое время задумчиво барабанил пальцами по столу, потом сказал:

— Я отлично помню историю гибели линкора «Императрица Мария». Было много шуму в газетах, но этим и кончилось: виновников взрыва не нашли. Но то, что ты рассказал, проливает на это какой-то свет. Никитский не мог безнаказанно убить офицера. Он рассчитывал, что все покроет взрыв.

Миша удивленно посмотрел на Алексея Иваныча. Действительно! Как это он раньше не сообразил? Значит, Никитский участвовал во взрыве корабля.

— Что ты намерен делать? — спросил Алексей Иваныч.

— Не знаю,— сказал Миша.— Мы думали, что после расшифровки все будет ясно; оказывается, нет.— Он вопросительно посмотрел на Алексея Иваныча: — Нужно узнать, кто этот убитый офицер...

— Правильно,— сказал Алексей Иваныч.— Тебе ведь Полевой назвал его имя.

— Да, только имя: Владимир. Но фамилии он сам не знал. Правда...— Миша замялся.

— Что ты хотел сказать? — спросил Алексей Иваныч.

— Мы с ребятами кое-что выяснили о кортике...

— Исследовали?

— Да.

— Хорошо.— Алексей Иваныч встал.— На днях я вас вызову, и вы расскажете о своих исследованиях.

Глава 58

СТЕННАЯ ГАЗЕТА

Через несколько дней в коридоре появился первый номер стенгазеты «Боевой листок». Газета начиналась Мишиной статьей «Нездоровое увлечение».

«Нездоровое увлечение

В нашей седьмой группе «Б» наблюдается нездоровое увлечение некоторыми личностями, как, например, Печориным и Мэри Пикфорд.

Начнем с Мэри Пикфорд. Каждая ее картина кончается тем, что она выходит замуж за миллионера. Чего же ей подражать, когда всем известно, что в нашей стране миллионеров нет и вообще их скоро нигде не будет?

Теперь о Печорине.

Во-первых, он дворянин и белый офицер.

Во-вторых, он стопроцентный эгоист. Из-за своего эгоизма он доставляет всем страдания: губит Бэлу, обманывает Мери (правда, она княжна, но и Печорин сам дворянин), высокомерно относится к Максиму Максимычу.

Печорин даже не скрывает своего эгоизма, он говорит: «Какое мне дело до бедствий и радостей человеческих». Значит, он не уважает общество, его интересует только собственная персона. Отсюда вывод: человек, который не приносит обществу пользы, приносит ему вред, потому что он не хочет считаться с другими людьми. (Это мы видим на одном примере, который недавно обсуждал наш класс.) Из всего этого ясно, что если все будут подражать Печорину и думать только о себе, то все люди передерутся и будет чистейший капитализм.

Поляков»

Вслед за этой статьей шли заметки:

«О порче мебели

Некоторые учащиеся любят вырезать на партах ножиком. Этим усиленно занимается Китов, воображая, вероятно, что перед ним колбаса. Пора прекратить недопустимую порчу школьной мебели. Тот, кто режет парты, увеличивает разруху.

Шило»

«Где справедливость?

Как известно, в нашей школе существует кружок по изучению театра и кино. Председателем кружка является выдающийся актер нашего времени Шура Огуреев. Кружок существует пол-

года, но ни разу не собирался. Зато сам Шура имеет мандат и бесплатно ходит в кино и театр. Сам ходит, а другим контрамарок не выдает. Где справедливость?

Зритель»

«О б о л ь ш о й п е р е м е н е

Некоторые учащиеся во время большой перемены стараются остаться в классе (мы не будем указывать на личности, но все знают, что этим занимается Геннадий Петров). Этим они мешают проветривать класс и преступно расходуют и без того ограниченный запас кислорода. Пора это прекратить. А кому надо сдувать, пусть сдувает в коридоре.

Зоркий»

«О к л и ч к а х

Учащиеся нашего класса любят наделять друг друга, а также преподавателей кличками. Пора оставить этот пережиток старой школы. Кличка унижает достоинство человека и низводит его до степени животного.

Эльдаров»

Вся школа читала «Боевой листок». Все смеялись и говорили, что в заметке о Печорине и Мэри Пикфорд написано про Юру и Лелю Подволоцкую.

Прочитав листок, Юра презрительно усмехнулся, а на другой день рядом со стенгазетой появился листок такого содержания:

«К т о э г о и с т?

(Послание с того света)

Господа!

Я — Григорий Александрович Печорин. Ученик седьмой группы «Б» Михаил Поляков потревожил мой мирный сон. Я встал из гроба, и две недели мой дух незримо присутствовал в седьмой группе «Б». Вот мой ответ.

Поляков утверждает, что я эгоист. Допустим. А как же сам Поляков? Он целые ночи зубрит, чтобы быть первым учеником. Зачем? Затем, чтобы показать, что он лучше и умнее всех. С этой же целью он нахватал себе всякие нагрузки: он и вожатый звена, и староста, и член учкома, и член редколлегии.

Спрашивается, кто же из нас эгоист?

Печорин»

Эта заметка возмутила Мишу. Все в ней неправда! Разве он зубрит и разве это эгоизм, если он хорошо учится? Ведь ясно,

что надо хорошо учиться. Юра тоже неплохо учится, но ему отец за хорошие отметки всегда что-нибудь покупает. И потом, разве он, Миша, виноват, что его выбрали старостой группы и членом учкома?

— Вот видишь,— говорил ему Генка,— видишь, что Юрка вытворяет! Я тебе давно говорил: нужно его вздуть как следует, будет знать...

— Кулаками ничего не докажешь,— сказал Слава,— нужно в следующем номере «Боевого листка» ответить на это загробное послание.

— Дело не в том, что он про меня написал,— сказал Миша,— дело в принципе: что такое эгоизм. Юрка хочет запутать этот вопрос. А мы его должны распутать.

И мальчики начали готовить следующий номер стенной газеты, посвященный вопросу: «Что такое эгоизм?»

Глава 59

ПОЛКОВОЙ ОРУЖЕЙНЫЙ МАСТЕР

В назначенный день Миша, Генка и Слава вошли в кабинет Алексея Иваныча.

Возле Алексея Иваныча сидел человек в шинели и военной фуражке.

— Садитесь,— сказал Алексей Иваныч.— Миша, ты принес кортик?

Миша нерешительно посмотрел на военного.

— При этом товарище можешь все рассказывать,— сказал Алексей Иваныч.

Военный долго и внимательно рассматривал пластинки. Когда он положил их на стол, Алексей Иваныч сказал ребятам:

— Мы вас слушаем.

Миша оглянулся на друзей и, откашлявшись, произнес:

— Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру, жившему в царствование Анны Иоанновны, то есть в середине восемнадцатого столетия.

Алексей Иваныч удивленно поднял брови, военный внимательно посмотрел на Мишу.

— Анны Иоанновны? — переспросил Алексей Иваныч.

— Анны Иоанновны.

— Это та, что ледяной дом построила,— вставил Генка.

Он хотел еще что-то сказать, но Слава толкнул его ногой, чтобы не мешал.

— Как вы это установили?

— Очень просто.— Миша взял в руки кортик, вынул из ножен клинок.— Прежде всего клейма. Их три: волк, скорпион и лилия. Видите? Так вот. Волк — это клеймо золингенских мастеров в Германии. Такие клинки назывались «волчата». Они изготовлялись до середины шестнадцатого века.

— Есть такая марка оружия, очень знаменитая,— подтвердил Алексей Иваныч.

— Изображением волка или собаки,— продолжал Миша,— отмечал свои клинки толедский мастер Юлиан дель Рей, Испания.

— Крещеный мавр,— вставил Генка.

— Он жил в конце пятнадцатого века,— продолжал Миша.— Теперь скорпион. Это — клеймо итальянских мастеров из города Милана. Наконец, лилия. Клеймо флорентийского мастера...

— Параджини,— подсказал Генка.

— Да, Параджини. Он тоже жил в начале шестнадцатого века. Вот что обозначают эти клейма. Они обозначают мастеров.

— Кто же из них сделал кортик? — спросил Алексей Иваныч.

— Никто,— решительно ответил Миша.

— Почему?

— Потому что во всех книгах, которые мы прочли, написано, что кортики появились только в начале семнадцатого века, а все эти клейма относятся к шестнадцатому веку.

— Логично,— сказал Алексей Иваныч.— Но зачем же, в таком случае, клейма?

Миша пожал плечами:

— Этого мы не знаем.

— Ребята правы.— Военный взял у Миши клинок и поднес его к свету. По всей длине клинка тянулись едва заметные волнообразные рисунки в виде переплетенных роз.— Это дамасская сталь. Она изготовлялась только на Востоке. Значит, клейма европейских мастеров не имеют к клинку никакого отношения. По-видимому, мастер, изготовивший этот кинжал, хотел показать, что его клинок лучше самых знаменитых. С этой целью он и поставил эти три клейма.

Миша несколько смутился тем, что военный сразу определил то, над чем мальчики трудились столько времени, но продолжал:

— Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а этот трехгранный. Значит, не подходит. Во-вторых, кортик егерей, но его длина тринадцать вершков, а нашего — только восемь. Значит, тоже не подходит. Наконец, третий — это кортик полковых оружейных мастеров

при императрице Анне Иоанновне. Он имел в длину восемь вершков, наш — тоже. Он был трехгранный, наш — тоже. И другие приметы сходятся. Поэтому мы решили, что этот кортик принадлежал какому-то оружейному мастеру времен Анны Иоанновны.

Миша кончил говорить, постоял немного и сел на диван рядом с Генкой и Славой.

— Что ж,— сказал военный,— попробуем искать владельца.

Алексей Иваныч взял со стола квадратную книгу. На ее плотной обложке было написано: «Морской сборник. 1916 год».

— Так вот,— сказал Алексей Иваныч,— при взрыве линейного корабля «Императрица Мария» погибло три офицера, носивших имя Владимир. Иванов — мичман, Терентьев — капитан второго ранга, Неустроев — лейтенант. Встает вопрос: кто из них владелец кортика? Сейчас посмотрим некрологи.— Алексей Иваныч перелистал и пробежал глазами несколько страниц.— Иванов... молодой и прочее... Неустроев... исполнительный...— Алексей Иваныч замолчал, читая про себя, потом медленно проговорил: — А вот интересно, прошу послушать: «Трагическая смерть унесла В. В. Терентьева, выдающегося инженера Российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П. Н. Подволоцкого, давали ему все основания стать для вооружения флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П. И. Терентьев».

— Кажется, попали в точку,— сказал военный.— Есть у вас военная энциклопедия, Алексей Иваныч?

— Петров,— сказал Алексей Иваныч,— сбегай к Софье Павловне и возьми для меня военную энциклопедию Гранат на букву «Т».

Генка принес книгу, Алексей Иваныч перелистал ее:

— Есть: «Терентьев, Поликарп Иваныч. Родился в тысяча семьсот первом году. Умер в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году. Выдающийся оружейный мастер времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Служил при фельдмаршале Минихе. Участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине. Создатель первой конструкции водолазного прибора. Известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата «Трапезунд».

— Вот и пригодился ваш оружейный мастер,— сказал военный.

— Интересное совпадение,— заметил Алексей Иваныч,— упоминаемый в некрологе профессор Подволоцкий — дедушка одной из наших учениц.

Мальчики переглянулись. Лелька! Вот здорово!

— Ну, ребята,— сказал военный,— поработали вы на сла-

ву.— Он встал.— Кортик, Миша, я пока у тебя возьму. Не беспокойся, придет время — верну. Вижу, что и у тебя есть какая-то тайна. Может быть, расскажешь?

— Никакой тайны у меня нет,— ответил Миша.— Мы просто хотим открыть секрет кортика.

Военный положил ему руку на плечо:

— Я вам в этом помогу. Только дела свои ограничьте библиотекой. Больше ни во что не ввязывайтесь. Вы свое дело сделали. Фамилия моя Свиридов, товарищ Свиридов. Ну, по рукам, что ли? — Он протянул Мише руку, большую и широкую, как у Полевого, и Миша пожал ее.

Глава 60

УРОК РИСОВАНИЯ

— Новое дело! — негодовал Генка, спускаясь по лестнице.— Мы достали ножны, провели серьезные исследования, не вылезали из библиотеки, все выяснили, а теперь, когда остается только взять клад, он у нас все забрал!

— Он прав,— сказал Слава,— мы можем испортить все дело.

— До сих пор не портили,— проворчал Генка.

— Мешать мы ему, конечно, не должны,— сказал Миша,— но почему нам не узнать про Терентьева? Этим мы никому не помешаем.

Ребята пришли в класс рисования. Вместо парт здесь табуреты и мольберты. На стенах развешаны работы лучших художников школы — в большинстве эскизы декораций школьных постановок. Под картинами, на полочках,— «мертвая натура»: статуи греческих богов, животных, фрукты из папье-маше. Сегодня рисуют статую «классической лошади».

На уроке рисования весело. Можно сидеть в любой позе, вставать, разговаривать. Преподаватель рисования Борис Федорович Романенко — ребята называют его «Барфед»,— плотный, добродушный украинец с длинными казацкими усами, расхаживал между мольбертами и поправлял работы.

Миша подсел к Леле Подволоцкой:

— Леля, у меня к тебе вопрос.

— Какой? — спросила Леля, водя глазами от рисунка к натуре.

— Скажи, Подволоцкий, адмирал, профессор Морской академии,— твой дедушка?

— Да. А что?

Миша замялся:

— Видишь ли, у него в академии учился один мой дальний родственник, потом он пропал без вести. Так вот, не знает ли твой дедушка о его судьбе?

— Но дедушка умер давным-давно,— ответила Леля.

— Ах да,— спохватился Миша,— я и забыл совсем. Кто жив из его семьи?

— Бабушка и тетя Соня.

— Как думаешь, они знали дедушкиных учеников?

— Не думаю. Он ведь читал лекции один, без бабушки и без тети Сони.

— Это я сам понимаю,— с досадой ответил Миша.— Возможно, что некоторых учеников они все же знали.

— Не думаю...

— Секретничаете? — раздался за ними насмешливый голос Юры.

Леля засмеялась:

— Миша интересуется моими предками.

Миша пересел к Славе и сказал:

— После дедушки остались бабушка и тетя Соня. Вдруг они знали Терентьева?

— Попроси Лелю — она тебя познакомит со своей бабушкой.

Миша махнул рукой.

— Подошел Юрка, она ему все раззвонила...

Миша хотел сообщить об этом Генке, но увидел, что Генка занят важным делом: он дразнил Кита.

— Кит, а Кит!

— Чего?

— Ты из какого океана?

Кит привык к этой шутке и молчал. Тогда Генка начал его обстреливать из стеклянной трубочки жеваной бумажкой. Он попадал ему в затылок, и Кит, не понимая, в чем дело, проводил по шее ладонью, как бы смахивая муху, к великой потехе Зины Кругловой. Мише, как старосте, конечно, надо бы остановить Генку, но Кит так смешно смахивал несуществующую муху, что Миша сам давился от смеха. Между тем Кит, одной рукой проводя по затылку, другой тщетно пытался нарисовать лошадь. Ничего у него не получалось.

Борис Федорович постоял возле Кита, затем подошел к доске и начал показывать, что такое пропорции.

— Вам, Китов,— говорил Борис Федорович, рисуя мелом лошадь,— нужно больше интересоваться живописью, развивать художественный вкус. А вы ничем не интересуетесь. Ну-ка, назовите мне великих художников, которых вы знаете.

Кит не знал никаких художников и только сопел, вытаращив глаза на Бориса Федоровича.

— Что вы молчите? — спросил Борис Федорович.— Ведь

вы были с нами в Третьяковской галерее. Вспомните, картины каких художников вы там видели. Вспомните...

— Репин,— тихо прошептал Генка позади Китова.

— Репин,— громко повторил Кит.

— Правильно,— сказал Борис Федорович, заштриховывая гриву коня на своем рисунке.— Какие картины Репина вы помните?

— «Иван Грозный убивает своего сына»,— подсказал Генка.

— «Иван Грозный убивает своего сына»,— грустно повторил Кит.

— Хорошо,— сказал Борис Федорович, деля лошадь на квадраты.— Вспоминайте, вспоминайте.

— Романенко нарисовал лошадь,— давясь от смеха, прошептал Генка.

— Романенко нарисовал лошадь,— провозгласил Кит, и класс грохнул от хохота.

— Что? Что вы сказали? — Рука Бориса Федоровича повисла в воздухе.

— Он нарисовал лошадь,— повторил несчастный Кит.

— Кто — он?

— Ну... этот... как его... Романенко.

На этот раз никто не рассмеялся. Лицо Бориса Федоровича побагровело, усы оттопырились. Он бросил мел на стол и вышел из класса.

Глава 61

БОРИС ФЕДОРОВИЧ

— Не знал я, что он Романенко,— пробурчал Кит;— я думал, Барфед, ну и Барфед.

— Ты думал! — передразнил его Генка.— Я про себя сказал, а ты повторяешь как попугай! Привык на подсказках выезжать. Теперь не выдавай. Попался, так выворачивайся.

— Генка, это подлость! — сказал Миша.

— Что ты, Миша? — Генка покраснел.— При чем тут я?

Миша не успел ответить. Дверь отворилась, все бросились по местам. В класс вошел Алексей Иваныч.

Высокий, худой, гладко выбритый, он стал у учительского стола и окинул притихший класс отчужденным, неприязненным взглядом.

— Я не намерен обсуждать здесь ваш возмутительный поступок,— начал Алексей Иваныч.— Я хочу поговорить с вами совсем о другом. Должен сознаться,— он поднял брови,— я не знал за Китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной области...

Все отлично поняли, о какой способности говорит Алексей Иваныч, и насмешливо посмотрели на Кита.

— Очевидно,— продолжал Алексей Иваныч,— сидение по два года в каждом классе развивает в Китове остроумие, но остроумие это очень низкого сорта. Китову, видите ли, кажется очень смешным сравнение великого художника со скромным учителем рисования. А я ничего в этом смешного не нахожу.

Алексей Иваныч помолчал, посмотрел в окно и продолжал:

— По-видимому, Китов предполагает, что Борис Федорович не стал великим художником из-за своей бесталанности. Могу уверить его, что это не так. Борис Федорович — человек очень талантливый, окончил в свое время Академию художеств, перед ним была открыта широкая дорога к славе, известности, к тому, что, по мнению Китова, только и достойно уважения. А Борис Федорович пошел другой дорогой. Он стал скромным учителем рисования, то есть тем, что, по мнению Китова, уважения недостойно и может служить предметом его глупых шуток.

Китов сидел, не поднимая глаз от парты.

— По окончании академии,— продолжал Алексей Иваныч,— Борис Федорович со своими товарищами, такими же выходцами из народа, как он сам, создал бесплатную художественную школу для детей рабочих. Они искали способных ребят и привлекали их в школу. Что заставило его пойти по этому пути? Его заставил это сделать пример своей собственной жизни — жизни человека из народа, претерпевшего огромные лишения, чтобы добиться права заниматься искусством. Потому что искусство тогда было доступно только богатым и обеспеченным людям. Борис Федорович посвятил свою жизнь маленьким народным талантам. Вот на что ушла жизнь Бориса Федоровича! Мы с вами, конечно, понимаем, что он во многом ошибался. Нужно было изменить строй, создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала Октябрьская революция. Все же, оценивая его жизнь, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться: ею руководила чистая и благородная цель...

В коридоре раздались шаги. Дверь открылась, и в класс вошел Борис Федорович.

После паузы, вызванной приходом Бориса Федоровича, Алексей Иваныч продолжал:

— Рассказываю я вам это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель — это звучит очень гордо. Но есть в культуре и незаметная, будничная, но главная работа, ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта. И если кто-нибудь из вас станет большим, знаменитым человеком, пусть он, увидя

скромного сельского учителя, с почтением снимет перед ним шляпу, помня, что этот незаметный труженик воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы — Человека.

Алексей Иваныч замолчал. В классе стояла все та же напряженная тишина.

— Вот о чем я хотел с вами поговорить,— сказал Алексей Иваныч.— А теперь,— он повернулся к Борису Федоровичу,— прошу продолжать урок.

Он вышел из класса.

Генка стоял у своего мольберта и смотрел на Бориса Федоровича.

— Ты чего? — спросил Борис Федорович.

— Борис Федорович,— сказал Генка,— извините меня, я вас очень прошу.

— За что?

— Это я подсказал Китову, извините меня.

— Ладно,— сказал Борис Федорович,— рисуй.— Потом посмотрел на Китова и добавил: — Значит, и киты попадаются на удочку.

И, усмехаясь в усы, Борис Федорович прошел по классу, рассматривая приколотые к мольбертам рисунки «классической лошади».

Глава 62

БАБУШКА И ТЕТЯ СОНЯ

Леля все же дала Мише бабушкин адрес. Вечером Миша, Генка и Слава направились к Лелиной бабушке. Мальчики скользили по ледяным дорожкам, тянувшимся вдоль тротуаров Борисоглебского переулка.

Тихая пелена снежинок струилась в мутном свете редких фонарей. Голубые звезды висели в небе.

Над зданием Моссельпрома, выкрашенным полосами в белый и синий цвета, вспыхивала и гасла, пробегая по буквам, электрическая реклама: «Нигде кроме как в Моссельпроме».

Генка был на коньках, прикрепленных к валенкам веревками. Его старенькое пальтишко было расстегнуто, уши буденовки болтались на плечах.

— Безобразие! — негодовал Генка.— Раньше только улицы песком посыпали, а теперь уж до переулков добрались! Жалко им, если человек прокатится. Видно, только на катке придется кататься. Эх, жалко, нет у меня «норвежек», а то бы я показал Юрке, какой он чемпион.

Они подошли к небольшому деревянному домику.

— Всем идти неудобно,— сказал Миша.— Я пойду один, а вы дожидайтесь меня здесь.

По скрипучей лестнице с расшатанными перилами Миша поднялся на второй этаж и зажег спичку. В глубине заваленной всякой рухлядью площадки виднелась дверь с оборванной клеенкой и болтающейся тесьмой. Миша осторожно постучал.

— Ногами стучите,— раздался в темноте голос спускающегося по лестнице человека.— Старухи глухие, ногами стучите.

Миша загрохотал по двери ногами. За дверью послышались шаги. Женский голос спросил:

— Кто там?

— К Подволоцким! — крикнул Миша.

— Кто такие?

— От Лели Подволоцкой.

— Подождите, ключ найду.

Шаги удалились. Минут через пять они снова раздались за дверью. В замке заскрежетал ключ. Он скрежетал долго, и наконец дверь открылась.

Натыкаясь на какие-то предметы, Миша шел вслед за женщиной. Он ее не видел, только слышал шаркающие шаги и голос, бормотавший: «Осторожно, не споткнитесь, осторожно»,— как будто он мог что-нибудь видеть в темном коридоре.

Женщина открыла дверь и впустила Мишу в комнату. Тусклая лампочка освещала столик и разложенные на нем карты. За пасьянсом сидела бабушка Подволоцкая, а тетя Соня вошла вслед за Мишей. Это она открывала ему дверь.

Миша огляделся. Комната была похожа на мебельный магазин. В беспорядке стояли шкафы, столы, тумбочки, кресла, сундуки. В углу виднелись округлые контуры рояля. Через всю комнату от железной печи тянулись к окну трубы, подвешенные на проволоке к потолку. На полу валялась картофельная шелуха. В углу облезлая щетка прикрывала кучу мусора, который всё собираются вынести, но никак не вынесут. Возле двери стоял рукомойник, под ним — переполненное ведро.

— Проходите, молодой человек,— сказала бабушка и отвернулась к картам. Края ее потертого бархатного салопа лежали на полу.— За беспорядок извините — теснота.— Она задумалась над картами.— От холода спасаемся. (Пауза и шелест карт.) Вот и перебрались в одну комнату: дровишки нынче кусаются...

— Мама,— перебила ее тетя Соня, взявшись за ручку ведра с явным намерением его вынести,— не успел человек войти, а вы уже о дровах!

— Соня, не перечь,— ответила бабушка, не отрывая глаз от карт.— Ты положила на место ключ?

— Положила. Только вы, ради бога, его не трогайте.— Тетя

Соня опустила ведро, видимо прикидывая, можно ли его еще наполнить.

— Куда ты его положила?

— В буфет,— нетерпеливо ответила тетя Соня.

— Уж и слова сказать нельзя! — Бабушка смешала карты и начала их снова раскладывать.— Постыдилась бы — чужой человек в доме.

Потом бабушка обратилась к Мише.

— Садитесь,— она показала на стул,— только осторожнее садитесь. Беда со стульями. Столяр деньги взял, а толком не сделал. Кругом, знаете, мошенники... Приходит мужчина, прилично одет — хочет купить трюмо. Я прошу десять миллионов, а он дает мне пятнадцать рублей. И смеется. Говорит, миллионы отменены. Каково? — Старушка переложила карты.— Я ему говорю: «Знаете, когда миллионы ввели, я год не верила и по твердому рублю вещи продавала, а теперь уж извините, миллионы так миллионы...»

— Мама,— опять прервала ее тетя Соня, все еще в нерешительности стоявшая у ведра,— кому интересно слушать ваши басни? Спросили бы, зачем человек пришел.

— Соня, не перечь,— нетерпеливо ответила бабушка.— Вы, наверное, от Абросимовых? — обратилась она к Мише.

— Нет, я...

— Значит, от Повздоровых?

— Нет, я...

— От Захлоповых?

— Я от вашей внучки Лели. Скажите: вы знали Владимира Владимировича Терентьева? — одним духом выпалил Миша.

Глава 63

ПИСЬМА

— Как вы сказали? — переспросила старуха.

Миша повторил:

— Не знали ли вы Владимира Владимировича Терентьева, офицера флота? Он учился в Морской академии.

— Терентьев Владимир Владимирович! — Старушка задумалась.— Нет, не знала такого.

— Как же вы не помните, мама! — сказала тетя Соня. Она подняла ведро и теперь, вмешавшись в разговор, поставила его обратно. От этого помои еще больше расплескались.— Это несчастный Вольдемар, муж Ксении.

— Ах! — Старушка всплеснула руками, Миша бросился поднимать упавшие на пол карты.— Ах, Вольдемар! Боже мой!

Ксения! — Она подняла глаза к потолку и говорила нараспев: — Вольдемар! Ксения! Боже мой! Несчастный Вольдемар...— И неожиданно спокойным голосом добавила: — Да, но он погиб.

— Меня интересует судьба его семьи,— сказал Миша.

— Что же,— старушка вздохнула,— знавала я Вольдемара. И супругу его, Ксению Сигизмундовну, тоже знавала. Только давно это было.

— Простите,— Миша встал,— как вы назвали его жену?

— Ксения Сигизмундовна.

— Сигизмундовна?

— Да, Ксения Сигизмундовна. Красавица женщина, красавица, картина!

— Ее брата вы не знали? — спросил Миша.

— Как же,— с пафосом ответила старушка,— Валерий Никитский! Блестящий офицер. Красавец. Он тоже погиб на войне. Мамашу Владимира Владимировича, эту самую Терентьеву... как ее... Марию Гавриловну, скажу по правде, я недолюбливала. Неприятная женщина, из простых... Впрочем, нынче простые в моде.

— Вы не знаете, где они теперь? — спросил Миша.

— Не знаю, не знаю.— Старушка отрицательно покачала головой.— Вся их семья странная, загадочная. Какие-то тайны, предания, кошмары...

— Возможно, вы знаете их прежний адрес?

— В Петербурге жили, а адрес не помню.

— Адрес можно узнать,— сказала вдруг тетя Соня. Она стояла у самой двери с ведром в руках.— На его письмах к папе есть обратный адрес. Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь!

— Я вас очень прошу,— сказал Миша, переводя умоляющий взгляд с бабушки на тетю Соню и с тети Сони на бабушку,— я вас очень прошу. Знаете, родственник, пропал без вести.— Он вскочил со стула.— Я вам помогу, вы не беспокойтесь, только скажите, что надо сделать. Я вас очень прошу!

— Найди ему, Соня, найди,— благосклонно проговорила бабушка, снова принимаясь за карты.

Тетя Соня колебалась, но представившаяся возможность отложить выливание помоев взяла, видимо, верх. Она поставила ведро обратно в лужу и показала Мише, что делать.

Он передвинул шкаф, комод, влез на рояль, снял со шкафа ящик, за ним корзину. Тетя Соня нагнулась над корзиной, вытащила из груды бумаг пакет, на котором потускневшими от времени чернилами было написано: «От В. В. Терентьева», и вручила Мише.

— Большое спасибо,— сказал Миша, надевая шапку,— большое спасибо!

— Пожалуйста, молодой человек, пожалуйста,— проговорила бабушка, не отрывая глаз от карт.— Заходите к нам.

Сжимая в кармане пакет с письмами, Миша выскочил на улицу к дожидавшимся его ребятам.

Часть шестая

ДОМИК В ПУШКИНЕ

Глава 64

СЛАВА

Все письма были в одинаковых конвертах.

Аккуратным почерком на них был выведен адрес: «Его Превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому. Москва, Ружейный переулок, собственный дом. От В. В. Терентьева, С.-Петербург, Мойка, дом С. С. Васильевой».

Содержание писем тоже было одинаково: поздравления с днем ангела, с Новым годом и тому подобное. Только одна открытка, датированная 12 декабря 1915 года, была несколько пространнее.

«Уважаемый Петр Николаевич,— сообщал в ней Терентьев,— пишу с вокзала. До поезда тридцать минут, и я, к сожалению, лишен возможности лично засвидетельствовать Вам свое почтение. Задержался в Пушкине, а к месту назначения должен явиться не позднее 15-го сего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный Вам В. Терентьев».

— Дело в шляпе,— сказал Генка,— нужно ехать в Питер.

— В открытке упоминается еще Пушкино,— заметил Миша.

— Чего тут думать, когда у нас есть точный адрес,— возразил Генка.— Нужно ехать.

— Письма написаны восемь лет назад,— сказал Слава.— Может быть, там никто из Терентьевых не живет.

— Запросим сначала адресный стол,— решил Миша.

Мальчики тут же сочинили письмо и вложили его в конверт.

Они сидели у Славы, Алла Сергеевна была в театре, Константин Алексеевич еще не пришел с работы.

— Да,— мечтательно произнес Генка, поглядывая на зеле-

ный конверт,— теперь уж клад от нас не уйдет. Я все точно узнал. В те времена все боялись Бирона и прятали от него сокровища.

— Что ты еще узнал? — насмешливо спросил Миша.

— Еще я узнал,— невозмутимо продолжал Генка,— тому, кто найдет клад, принадлежит двадцать пять процентов. Так что нужно свою долю сразу забрать, а то будешь за ней целый год ходить.

Мальчики засмеялись, Слава сказал:

— Ни в какой клад я не верю. Но допустим, там действительно сокровища. Нам достанется какая-то их часть. Что мы будем с ней делать?

— Ты первый скажи, тогда и я скажу,— ответил Генка.

— Я бы отдал на детский дом.

— Нет уж, пожалуйста,— замотал головой Генка,— детдомов у нас хватает. Если по-серьезному говорить, так нужно, чтобы на эти деньги построили большой стадион с катком, футбольным полем и теннисной площадкой. Вход бесплатный. А детские дома, санатории — это все фантазии... Ты еще придумай музыкальную школу построить.

— Думаешь, стадион нужней, чем музыкальные школы? — обиделся Слава.

— Сравнил! Музыкальные школы! Эх, ты... Вообще, Славка, если ты хочешь, чтобы тебя приняли в комсомол, тебе надо серьезно подумать о своем будущем.

— Почему?

— Ведь ты собираешься стать музыкантом?

— Что же из этого?

— Как — что? Ведь задача комсомольцев — строить коммунизм.

— Но при чем тут музыка?

— Как — при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тренькать. Этот номер не пройдет.

— Ты много построишь! Тоже строитель нашелся!

— Конечно.— Генка развеселился.— Кончу семилетку, поступлю в фабзавуч. Буду металлистом, настоящим рабочим. Меня в комсомол и без кандидатского стажа примут. Мы с Мишей это давно решили. Правда, Мишка?

Миша медлил с ответом.

На последнем сборе отряда Коля читал речь Ленина на III съезде комсомола. И одно место в этой речи поразило Мишу: «...Поколение, которому сейчас пятнадцать лет... увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества».

Эти слова относились прямо к нему, к Генке, к Славе. Задача

всей их жизни — строить коммунизм. То же самое говорил ему Полевой. «Будешь для народа жить — на большом корабле поплывешь». Это и значит строить коммунизм — жить для народа. А как же Слава? Разве он для себя будет сочинять музыку? Разве песня не нужна народу? А «Интернационал»?..

— Не беспокойся, Слава,— сказал Миша,— я думаю, тебя примут в комсомол.

Глава 65

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал галоши, сморкался.

— Папа пришел,— сказал Слава.

Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Его щеки были пунцовыми от мороза. Плохо повязанный галстук обнажал большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие, заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно.

— Ага, пионеры! — приветствовал он мальчиков.— Здравствуйте.

Вслед за Константином Алексеевичем вошла домработница Даша и стала накрывать на стол.

Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол. Слава унес полотенце в спальню и вернулся.

— О чем беседовали? — Константин Алексеевич заметил лежащий на столе конверт, взял в руки, начал рассматривать.— «Петроград, адресный стол...» Кого это вы разыскиваете?

— Так, одного человека.— Слава забрал у отца письмо и спрятал в карман.

— Ну-ну, дела секретные! — засмеялся Константин Алексеевич, отщипывая и жуя хлеб.— Так о чем разговор?

— Мы говорили о разных специальностях. Кто кем будет,— ответил Слава.

— Гм! Ну и кто куда?

Константин Алексеевич посыпал суп перцем, хлебнул.

— Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом.

— Я этого не говорил,— запротестовал Генка.

— Как — не говорил?!

— Что я сказал? Я сказал, что кроме музыки, надо иметь еще какую-нибудь специальность.

Генка слукавил обдуманно: знал главный предмет разногласия между Константином Алексеевичем и Славой.

— Ай да Генка,— сказал Константин Алексеевич,— молодец! Специальность обязательно надо иметь. В жизни нужно на ногах стоять твердо. А там — пожалуйста, хоть канарейкой пой.

— Все же я буду музыкантом,— сказал Слава.

— Пожалуйста, кто тебе мешает! Бородин тоже был композитором, а ведь химик...— Константин Алексеевич отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы.— Не обязательно быть именно химиком. Можно и другую специальность избрать, но чтобы ремесло было настоящее.

— Разве музыка, живопись, вообще искусство — не ремесло? — возразил Слава.

— Только ремесло это такое... как бы тебе сказать, воздушное.— Константин Алексеевич пошевелил в воздухе толстыми пальцами.

— Почему же воздушное? — не сдавался Слава.— Разве мало людей искусства прославили Россию: Чайковский, Глинка, Репин, Толстой...

— Ну, брат,— протянул Константин Алексеевич,— то ведь гиганты, титаны, не всякому это дано.

— Я согласен со Славкой,— сказал Миша.— Если он хочет быть музыкантом, то и должен учиться на музыканта. Вот вы говорите: он должен получить специальность. Значит, он пойдет в вуз, станет инженером, а потом это дело бросит, будет музыкантом. Зачем же он тогда учился, зачем на него государство тратило деньги? На его месте мог бы учиться кто-нибудь другой. У нас не так много вузов.

— М-да...— Константин Алексеевич задумчиво крошил пальцами хлеб.— Не сговориться, видно, мне с вами...

Он встал, заходил по комнате.

— Я ведь не бирюк, понимаю. В молодости в спектаклях участвовал, чуть было актером на стал... Вот и жена у меня актриса. Я понимаю, молодость — она всегда жизнь за горло берет...— Он шумно вздохнул.— И мне когда-то было четырнадцать лет. А кругом жизнь — дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела: как, мол, ты один будешь пробиваться... «Пробиваться»! Слово-то какое! — Он рассек кулаком воздух.— Пробиваться!!! Биться!!! Вот как... Я молод был, думал: «Ага, вот хорошее место есть, как бы мне его заполучить», а Миша говорит: «Ты, Слава, зря в вузе места не занимай, на этом месте другой может учиться...» Другой. А кто этот другой? Иванов? Петров? Сидоров? Кто он? Родственник его, приятель? Он его и в глаза не видел! Ему важно, чтобы государство еще одного инженера получило. Вот он о чем печется.

— Разве это плохо? — улыбнулся Слава.

— Я не говорю, что плохо.— Константин Алексеевич остановился против Генки.— Разбили они нас, Генка.

— Почему «нас»? — возразил Генка.— «Вас», а не «нас».

— Как так? — удивился Константин Алексеевич.— Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения?

— О,— протянул Генка,— это когда было!..— и отошел в сторону.

— Единственного союзника потерял...— развел руками Константин Алексеевич.— Ну, а ты кем собираешься быть?

— Я пойду во флот служить,— объявил Генка.

— Полчаса назад он собирался в фабзавуч, а теперь во флот,— заметил Слава.

— Сначала в фабзавуч, а потом во флот,— хладнокровно ответил Генка.

— Так, так... Ну, а ты, Миша?

— Я еще не решил.

— Он тоже в фабзавуч собирается! — крикнул Генка.— А потом поступит в Коммунистический университет.

— Брось ты, Генка! — перебил его Миша.

— Далеко вы прицеливаетесь,— покачал головой Константин Алексеевич.— А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать.

— Не знаю,— нехотя ответил Миша,— маме трудно. Учиться буду вечерами. В общем, там видно будет.

Он посмотрел на часы, обрамленные бронзовыми фигурами. Взгляд его поймал мгновенное движение большой стрелки, дернувшейся и застывшей на цифре девять. Без четверти двенадцать. Мальчики стали собираться домой.

— Ну-ну,— весело сказал Константин Алексеевич, пожимая им руки,— а на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи.

Глава 66

ПЕРЕПИСКА

Пришел ответ адресного стола. «На ваш запрос сообщаем, что для получения справки об адресате нужно указать год и место рождения разыскиваемого лица».

— Поди знай, где и когда родилась эта самая Мария Гавриловна! — сказал Генка.— Нет, надо ехать в Питер.

— Успеем в Питер,— сказал Миша,— а этот ответ — чистейший бюрократизм. Напишем секретарю комсомольской ячейки.

Они сочинили такое письмо:

«Петроград, адресный стол, секретарю ячейки РКСМ. Дорогой товарищ секретарь! Извините за беспокойство. Дело очень важное. До войны 1914 года в Петрограде, на улице Мойке, дом С. С. Васильевой, проживали гражданин Владимир Владимирович Терентьев, его жена Ксения Сигизмундовна и мать Мария Гавриловна. Пожалуйста, сообщите, живут они там или куда переехали. Не все, конечно, потому что Владимир Владимирович взорвался на линкоре, а мать и жена, наверное, живы. Мы уже запрашивали, но от нас требуют год и место рождения, что является чистейшим бюрократизмом. Вам, как секретарю РКСМ, нужно выжечь его каленым железом. С пионерским приветом Поляков, Петров, Эльдаров».

Ребята отправили письмо и стали дожидаться ответа.

Приближался конец первого полугодия. Приходилось много заниматься, да и в отряде хватало работы.

А ведь надо побывать и на катке.

Они приходили на каток вечером, торопливо переодевались на тесных скамейках и, став на коньки, несли свои вещи в гардероб. Коньки деревянно стучали по полу, этот дробный стук речитативом выделялся в общем шуме раздевалки, окутанной клубами белого морозного воздуха, врывающегося с катка через поминутно открываемые двери.

Взрослые конькобежцы раздевались в отдельном помещении. Они выходили оттуда затянутые в черные трико. Ребята почтительно шептали: «Мельников... Ипполитов... Кушин...»

Фонари пятнами освещали снежные полосы на льду. По кругу двигались катающиеся, странные в бесцельности своего движения. Они двигались толпой, но каждый ехал сам по себе, в одиночку, парами, перегоняя друг друга. Новички ехали осторожно, высоко поднимая ноги, неуклюже отталкиваясь и двигаясь по инерции.

Все ребята ездили на «снегурочках», «нурмисе» и только один Юра — на «норвежках».

Одетый в черный вязаный костюм, он катался только на беговой дорожке, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, эффектно удлиняя чрезножку на поворотах. Всем своим видом он показывал полное пренебрежение к другим ребятам.

Миша и Слава не обращали внимания на Юру, но Генка не мог спокойно переносить Юрино высокомерие и однажды, выехав на круг, попробовал гоняться с ним наперегонки. Генка катался на коньках очень хорошо, лучше всех в школе, но разве мог он на «снегурочках» угнаться за «норвежками»! Он позорно отстал от Юры на целых полкруга.

После этого случая все стали дразнить Генку. Ездили за ним и кричали:

— Эй, валенки, даешь рекорд!

Генка с досады перестал ходить на каток, по улицам на коньках тоже не бегал.

Глава 67

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕНКИ

Как-то Генка объявил Мише и Славке, что приглашает их в субботу на день рождения. Мальчики удивились:

— С собственным угощением?

— Угощение мое, подарки ваши.

В субботу вечером друзья пришли к Генке и изумились при виде обильно и празднично накрытого стола. На краю его свистел струйками пара самовар с расписным чайником на верхушке. На тарелках — ломтики сала, вареники в сметане, пирожки и монпансье. У стола хлопотала Агриппина Тихоновна.

— Вот это да! — протянул Миша.— Ай да Генка!..

— На какие капиталы ты все это оборудовал? — спросил Слава.

Генка ухмыльнулся.

— Это уж дело хозяйское...

— Отец прислал,— сказала Агриппина Тихоновна.— Я говорю: «Тебе, Геннадий, этих продуктов на месяц хватит». А он и слушать не хочет — давай на стол, и дело с концом. Весь в отца! — добавила она не то с осуждением, не то с восхищением.

— Даже конфеты прислал,— сказал Миша.

— Нет,— сказала Агриппина Тихоновна,— монпансье Геннадий сам купил: коньки-то он продал.

— Тетя! — закричал Генка.— Ведь я вас просил!

— Чего уж там,— отмахнулась Агриппина Тихоновна.— Оно и лучше: валенок не напасешься.

— Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки,— сказал Миша,— я бы к тебе в гости не пришел.

— Без коньков проживу,— мотнул головой Генка.— Подумаешь, «снегурочки»! Поступлю в фабзавуч — «норвежки» куплю. Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал. А? Зачем?

— Нужно,— уклончиво ответил Миша.

— Я знаю,— сказал Генка,— ты на кожаную куртку копишь. Хочешь на настоящего комсомольца походить.

— Может быть,— неопределенно ответил Миша.— Славка свои шахматы тоже продал.

— Да? — удивился Генка.— Костяные шахматы? Зачем?

— Надо,— тоже уклончиво ответил Слава.

Раздалось три звонка.

— К нам.— Агриппина Тихоновна пошла открывать.

В комнату вошел Миша Коровин, одетый в форменное пальто и фуражку трудколониста. Он поздоровался с ребятами, разделся, вынул из кармана пачку папирос «Бокс» и закурил.

— Как дела? — спросил его Миша.

— Движутся помаленьку. Вчера на четвертый разряд сдал.

— Сколько ты теперь будешь получать?

— Рублей девяносто,— небрежно ответил Коровин, вытащил из кармана часы размером с хороший будильник, приложил их к уху и сказал: — Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо.

— Покажи! — Генка взял в руки часы, послушал.— Ход что надо.

— Ничего ход,— сказал Коровин,— пятнадцать камней.— Он спрятал часы в карман куртки.— Ячейку у нас организовали, комсомола. Я уж заявление подал.

Девяносто рублей в месяц и часы ребята выдержали, но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал.

— Нас тоже скоро в комсомол передают, прямо из отряда,— сказал Миша и посмотрел искоса на Генку и Славу.

Они молчали, как будто Миша действительно сказал правду.

— Знаете, кого к нам в колонию прислали? — спросил Коровин.

— Кого?

— Борьку-жилу.

— Ну?

— Ага. За ножны-то отец его чуть не убил. Сбежал он из дома. Теперь у нас.

Снова три звонка.

Агриппина Тихоновна пошла открывать.

В комнату вошла Зина Круглова.

Генка стал в торжественную позу.

— Дорогие гости, принимаю поздравления и подарки! Прошу не толкаться и соблюдать очередь.

Зина смеялась без передышки. Такая уж она смешливая!

Она подарила Генке клоуна, своими взлохмаченными волосами очень похожего на именинника.

— Замечательно! — сказал Генка.— Девочки, как всегда, отличаются аккуратностью. Чем порадуют меня мальчики?

— Ах да,— спохватился Миша,— чуть не забыл!

Он открыл свою сумку, вытащил оттуда пакет и очень долго разворачивал его. Все следили за его руками. Наконец Миша развернул последний лист... Блеснуло стальное лезвие конька... «норвежка»!

Генка взял в руки конек, осторожно провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и наконец проговорил:

— Здорово... А где второй?

Миша развел руками:

— Только один... второго не достал. Ничего, поездишь пока на одном, а там видно будет.

У Генки было такое жалкое выражение лица, что даже Зина и та не рассмеялась. А уж как смешно было представить себе Генку бегающим по катку на одном коньке!

Генка положил конек на табурет, глубоко вздохнул и упавшим голосом произнес:

— Прошу к столу.

— Погоди,— остановил его Слава,— у меня ведь тоже есть подарок.— Он засунул руку в портфель, долго шарил там и... вытащил второй конек.

— Разыграли! — взвизгнул Генка, потом замолчал, внимательно посмотрел на друзей и медленно проговорил: — Значит... коллекция, шахматы, кожаная куртка.

— Ладно,— перебил его Миша,— замнем для ясности.

Глава 68

ПУШКИНО

Наконец пришел ответ из Петрограда:

«Здравствуйте, ребята! Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но всё не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны, а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно. С комсомольским приветом Куприянова».

— Вот,— сказал Миша.— Учитесь, как пользоваться достижениями науки и техники.

— Какая же тут техника? — спросил Генка.

— Почтовая связь разве не техника? Вот как действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда.

Генка в ответ съязвил:

— Тебя она тоже здóрово поддела с бюрократизмом.

— Ничего не здóрово,— сказал Миша,— но не в этом дело. В воскресенье поедем в Пушкино и возьмем с собой лыжи.

— Зачем лыжи? — удивился Слава.

— Для конспирации.

...В воскресенье друзья сошли на станции Пушкино. В руках у каждого были лыжи и палки.

Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме палисадников. Они замыкали квадраты дачных участков. Протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок.

— По одной стороне туда, по другой — обратно,— сказал Миша.— Главное — не пропустить ни одной таблички.

— Лучше в сельсовете спросить,— сказал Слава.

— Нельзя,— возразил Миша,— поселок маленький, это вызовет подозрения.

— Кого нам бояться! — сказал Генка.— Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем.

— Ты ее в глаза не видел, а рассуждаешь,— заметил Миша.— Поехали.

Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли.

— Так ничего не выйдет,— сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции,— половина домов без табличек. Нужно в сельсовете спросить.

— Я тебе уж сказал: нельзя! — рассердился Миша.— Забыли, что Свиридов говорил? В следующее воскресенье опять приедем.

Мальчики сняли лыжи. Когда они подошли к кассе, их окликнули: «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись и увидели Елену и Игоря Буш, акробатов.

Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил:

— Сколько лет, сколько зим!

— На лыжах катались? — спросила Лена.— Почему к нам не заехали?

— А вы разве здесь живете? — спросил Миша.

— Здесь. У нас свой дом. Пойдемте.

— Поздно,— сказал Миша,— мы приедем в следующее воскресенье.

— Обязательно приедем,— подтвердил Генка и таинственно добавил: — Дело тут есть.

— Какое дело? — спросила Лена.

— Так, ерунда.— Миша свирепо посмотрел на Генку.

— Нет, скажите,— настаивала Лена.

— Я тетку свою разыскиваю,— сказал вдруг Генка.

Лена удивилась:

— Она ведь в Москве, твоя тетка?

К стр. 297

— То одна тетка, а это другая.
— И вы ее не нашли?
— Нет, адрес потеряли.
— Как ее фамилия?
Мальчики молчали.
— Как ее фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли?
— Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна,— сказал Миша.— Вы не знаете ее?
— Терентьева, Мария Гавриловна? Знаю,— сказала Лена,— она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем.

Глава 69

НИКИТСКИЙ

— Имейте в виду,— говорил по дороге Миша,— тетке нельзя говорить, что Генка ее ищет.
— Почему?
— Это длинная история. Она думает, что Генка умер, и если ей так прямо бухнуть, то у нее от радости может случиться разрыв сердца.
— Мы с ней почти незнакомы,— сказала Лена.— Она живет очень замкнуто.
— Вообще,— продолжал Миша,— никому не говорите. И папе своему не говорите.
— Папа умер,— сказала Лена.
Миша смутился:
— Извини.— И, помолчав, спросил: — Как же вы теперь?
— Работаем с Игорем «два-Буш-два, воздушный аттракцион».
Они подошли к небольшому домику.
— А вот здесь живет Мария Гавриловна.— Лена показала на соседний дом.
Из-за высокого забора виднелась только крыша с ноздреватой коркой снега по краю.
— Как эта улица называется? — спросил Миша.
— Ямская слобода,— сказал Игорь.— Наш номер восемнадцать, а Терентьевых — двадцать.
— Хорошо ты искал! — Миша с упреком посмотрел на Генку.
— Не понимаю,— бормотал Генка, отводя глаза,— как это я пропустил.
— На этой стороне даже нет лыжных следов,— заметил Слава.
— Как — нет? — бормотал Генка, рассматривая дорожку.—

Куда они делись?.. Стерлись! Видите, движение какое! — Он показал на пустынную улицу.

— Зайдемте к нам,— предложила Лена.— Мы, правда, три дня не были дома, но сейчас затопим, и будет тепло-тепло.

Домик был маленький и тихий. Пушистый иней лежал на окнах. Равномерно тикали на стене часы. Чуть скрипели под ногами половицы. Пестрые дорожки лежали на чисто вымытом полу. Большая керосиновая лампа висела над столом, покрытым цветастой клеенкой. На стене в рамах висели большие портреты мужчины и женщины. У мужчины были густые нафабренные усы, аккуратный пробор на голове, бритый подбородок упирался в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. «Точно так, как на дедушкином портрете в Ревске»,— подумал Миша.

Лена переоделась в старое пальтишко, обула валенки и повязала голову платком. Она выглядела теперь деревенской девочкой.

— Пошли за дровами,— сказала она Игорю.

— Мы принесем! — закричали мальчики.— Покажи где.

Лена отперла сарай. Миша и Генка кололи дрова. Слава и Игорь носили их в дом.

Генка вошел в азарт.

— Мы их все переколем,— бормотал он, замахиваясь топором.

Полено никак не поддавалось.

— Возьми другое,— сказал Миша.

— Нет,— Генка раскраснелся, буденовка его сдвинулась на самую макушку,— полено упрямое, но и я тоже.

Вскоре печь запылала ярким пламенем. Ребята уселись возле нее: Лена и Слава на стульях, остальные на полу.

— Вот так и живем,— сказала Лена.— Приезжаем сюда только в свободные дни, когда не выступаем.

— Нужно переехать в Москву,— пробасил Игорь.

— А мне жалко,— сказала Лена,— здесь папа и мама жили.

Пламя в трубе протяжно завыло, рыжие пятна заплясали на полу.

— Мы здесь будем всю неделю,— сказала Лена.— Приезжайте к нам.

— Не знаю,— сказал Миша,— на этой неделе мы будем очень заняты.

Помолчав, спросил:

— Скажи, у вас есть чердак?

— Есть.

— Из него виден двор Терентьевых?

— Виден. Зачем тебе?

— Хочу посмотреть.

— Пойдем, покажу.

Миша и Лена вышли в холодные сени, по крутой лестнице поднялись на чердак.

— Дай руку,— сказала Лена,— а то упадешь.

Они перелезли через стропила и подошли к слуховому окну.

Поселок лежал большими квадратами кварталов, за ним темнел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей. Чернели по снегу длинные тени домов, сараев, заборов. Телеграфные провода струились от столба к столбу, фарфоровые ролики комочками ютились на перекладинах. Было светло почти как днем.

Лена стояла рядом с Мишей. Лицо ее, освещенное луной, казалось совсем прозрачным. Она держала Мишу за руку. Оба молчали... Миша рассматривал старинный каменный дом, дворовые постройки, запущенные и частью разрушенные, сваленные вдоль забора бревна. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна указывали, что под жилье используется только левая его половина.

Двор был пуст.

Завыл где-то гудок паровоза и сразу оборвался.

Дверь дома открылась. На заднее крыльцо вышел высокий человек в накинутом на плечи полушубке. Он стоял спиной к Мише и курил. Потом бросил окурок в снег и медленно повернулся. Миша изо всех сил сжал руку Лены.

Это был Никитский.

Глава 70

ОТЕЦ

Домой ребята вернулись поздно вечером.

Мама читала. Она обернулась к Мише и укоризненно покачала головой.

— Понимаешь, мама, встретили в Пушкине знакомых и задержались. Я там поужинал, так что не беспокойся.— Он заглянул через ее плечо в книгу.— Ты что читаешь? «Анну Каренину»...

Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила:

— Тебе не нравится?

— Не особенно. Я люблю больше «Войну и мир».— Миша сел на кровать.

— Почему?

— В «Войне и мире» герои все серьезные: Болконский, Безухов, Ростов... А здесь не поймешь, что за люди. Стива — бездельник какой-то. Ему сорок лет, а он из себя все деточку строит.

— Не все герои легкомысленны,— возразила мама.— Например, Левин.

— Левин посерьезней. Да и его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует.

— Видишь ли,— мама медленно подбирала слова,— это были люди своего времени.

— Я понимаю.— Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову.— Это великосветское общество. Но и в «Войне и мире» тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют цели, стремления, сознают свой долг перед обществом, а здесь не поймешь, для чего они живут,— например, Вронский, Стива. Ведь человек должен иметь цель в жизни?

— Конечно, должен,— сказала мама,— но каждый из героев «Анны Карениной» имеет цель. Правда, эти цели сугубо личные: например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, конечно, но все же цели.

Миша поднялся на локте:

— Какая же это цель, мама! Если так рассуждать, то выходит, у алкоголика тоже есть цель: пьянствовать. И у нэпмана: деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю... Цель должна быть возвышенной, благородной. На днях мы разговаривали с Константином Алексеевичем. Раньше он служил только из-за денег, значит, у него цель была не возвышенная. А сейчас он работает круглые сутки, хочет восстановить фабрику,— значит, цель благородная. И мой папа, например. Он отдал жизнь за революцию. Значит, у него была самая возвышенная, благородная цель.

Они помолчали.

— Я себе очень хорошо представляю папу,— сказал вдруг Миша.— Мне кажется, что он никогда ничего не боялся.

— Да,— сказала мама,— смелый был человек.

Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце.

Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель, а Миша еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в лунные блики, скользившие по комнате.

Разговор с матерью взволновал его. Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается и он вступает в жизнь.

И, думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец,— люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции.

Глава 71

ГЕНКИНА ОШИБКА

О том, что он видел Никитского, Миша рассказал Свиридову. Свиридов велел ребятам ждать и в Пушкино больше не ездить.

Впрочем, другие заботы владели теперь мальчиками. Совет отряда постановил передать в комсомол Мишу, Генку, Славу, Шуру Огуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома.

Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта? Он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры райкома. Веселые, непринужденные ребята! Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверное, волновались. Но для них это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба.

Первым вызвали Генку.

— Ну что? — кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты.

— Все в порядке! — Генка молодецки сдвинул свою буденовку набок.— Ответил на все вопросы.

Он перечислил заданные ему вопросы, в том числе, какой кандидатский стаж положен для учащихся.

— Я ответил, что шесть месяцев,— сказал Генка.

— Вот и неправильно,— сказал Миша,— год.

— Нет, шесть месяцев! — настаивал Генка.— Я так ответил, и председатель сказал, что правильно.

— Как же так,— недоумевал Миша,— я сам читал устав.

Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку сидел Коля Севостьянов. Миша робко сел на стул и ждал вопросов.

Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово «так»: «Поляков — так, Михаил Григорьевич — так, учащийся — так...»

— Это наш актив,— отрекомендовал Коля Севостьянов,— вожатый звена и член учкома.

— Ты своих не хвали,— отрезал председатель,— сами разберемся.

Миша ответил на все вопросы.

Последним был вопрос о кандидатском стаже.

Миша знал, что год, но Генка... И он нерешительно сказал:

— Шесть месяцев...

— Неправильно,— сказал председатель,— год. Ладно, иди.

Из райкома ребята поехали к Свиридову, вызвавшему их на десять часов утра. Всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил.

— Теперь начинай все сначала,— говорил Миша,— всех примут, а нас нет. Позор на всю школу!

— Зато у него большие успехи по конькам! — сказал Слава.— Целые дни пропадает на катке, даже газеты в руки не берет.

Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его бранить и, самое обидное, говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему.

— У нас все в порядке,— передразнил Миша Генку,— знай наших! Мы сами с усами, лаптем щи хлебаем.

— Шапками закидаем,— добавил Слава.

— Он все о кладе мечтает,— не унимался Миша,— все клад и клад... Какой кладовщик нашелся!

— Он в миллионеры метит,— добавил Слава, но более мягко. Ему стало жаль Генку.

Они доехали до большого здания на Петровке, где внизу их ожидал пропуск в комнату номер двести три, к товарищу Свиридову.

— Что же вы, друзья, опаздываете? — спросил Свиридов, когда они явились.

— В райкоме задержались, на приемной комиссии.

— Ого! — Свиридов поднял брови.— Поздравляю молодых комсомольцев.

Мальчики вздохнули.

— Что случилось? — спросил Свиридов.

— Провалились,— сказал Миша.

— Провалились? — удивился Свиридов.— На чем?

— На вопросе о кандидатском стаже.

— Это я виноват,— угрюмо произнес Генка.

— А на остальные вопросы как ответили?

— Как будто правильно.

— Что же вы горюете? — рассмеялся Свиридов.— Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Так что не огорчайтесь... А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно. Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина.— Свиридов усмехнулся.— Хотя после пропажи ножен они все передрались: Филин сваливает на филателиста, филателист — на Филина. Между прочим,— он по-

смотрел на ребят,— свой склад они заблаговременно ликвидировали: видимо, их кто-то спугнул.

Мальчики молча уставились в пол.

— Да,— повторил Свиридов,— кто-то их спугнул. А сейчас будет очная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно было на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да...— Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише: — Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, ты, Поляков, предъявишь кортик.

Глава 72

ОЧНАЯ СТАВКА

Сначала вызвали Славу, за ним Генку и, наконец, Мишу.

Миша вошел. За столом, кроме Свиридова, сидел еще один пожилой человек, во флотской форме, с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях шапки.

В середине комнаты, против Свиридова, сидел на стуле Никитский. Одетый в защитный френч, синие галифе и сапоги, он сидел в небрежной позе, положив ногу на ногу. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад.

Блестящие солнечные блики двигались по комнате.

Когда Миша вошел, Никитский бросил на него быстрый колючий взгляд. Но здесь был не Ревск и не будка обходчика. Миша смотрел прямо на Никитского. Он смотрел на Никитского и видел Полевого, избитого и окровавленного, разобранные рельсы и зеленое поле, по которому бегали кони, потерявшие всадников.

— Вы знаете этого человека? — спросил Свиридов и указал на Никитского.

— Знаю.

— Кто он такой?

— Никитский Валерий Сигизмундович,— твердо ответил Миша, продолжая смотреть на Никитского.

Никитский сидел не шевелясь.

— Расскажите подробно, откуда вы его знаете,— сказал Свиридов.

Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина.

— Что вы скажете, гражданин Никитский? — спросил Свиридов.

— Я уже говорил,— спокойно ответил Никитский,— у вас

есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка.

— Вы продолжаете утверждать, что вы Сергей Иванович Никольский?

— Да.

— И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой как бывший подчиненный ее сына, Владимира Владимировича Терентьева?

— Да. Она может это подтвердить.

— Вы продолжаете утверждать, что Владимир Владимирович Терентьев погиб при взрыве линкора?

— Да. Это всем известно. Я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер.

— Значит, вы пытались его спасти?

— Да.

— Хорошо... Теперь вы, Поляков, скажите...— Свиридов помедлил и, не отрывая пристального взгляда от Никитского, спросил: — Не знаете ли вы, кто застрелил Терентьева?

— Он! — решительно ответил Миша и показал на Никитского.

Никитский сидел по-прежнему не шевелясь.

— Мне Полевой рассказывал, он сам видел.

— Что вы на это скажете? — обратился Свиридов к Никитскому.

Никитский криво усмехнулся:

— Это такая нелепость... И после этого живу в доме его матери! Если вы склонны верить таким бредням...

— Поляков! Какие у вас есть доказательства?

Миша протянул кортик. Никитский не отрываясь смотрел на него.

Свиридов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками.

— Гражданин Никитский, знаком вам этот предмет?

Никитский откинулся на спинку стула:

— Я впервые его вижу.

— Продолжаете упорствовать.— Свиридов положил кортик под бумаги, встал, открыл дверь в глубине комнаты и сказал:

— Мария Гавриловна, войдите, пожалуйста!

В комнату вошла высокая женщина в черном пальто, в черном платке, из-под которого выбивались седые волосы.

— Пожалуйста, садитесь,— Свиридов указал на стул.

Она села и устало закрыла глаза.

— Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека,— сказал Свиридов.

— Сергей Иванович Никольский,— не поднимая глаз, тихо произнесла Терентьева.

— Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?

— Во время войны он приезжал ко мне с письмом от сына.

— Как звали вашего сына?

— Владимир Владимирович.

— Где он?

— Погиб.

— Когда?

— Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года при взрыве линкора «Императрица Мария».

— Вы уверены, что он погиб именно при взрыве?

— Конечно,— она подняла глаза и с недоумением посмотрела на Свиридова,— конечно. Я получила извещение.

— Вам прислали его вещи?

— Нет. Разве их могли прислать? Кто мог спасти его вещи?

— Значит, все вещи вашего сына пропали?

— Я думаю.

— Подойдите к столу.

Терентьева тяжело поднялась и подошла к столу.

Свиридов вынул из-под бумаг кортик и протянул его Терентьевой.

— Вы узнаете кортик вашего сына? — жестко спросил он.

— Да...— произнесла Терентьева, разглядывая кортик.— Да...— Она растерянно посмотрела на Никитского, он сидел не шевелясь.— Да... это наш... это его кортик... Владимира...

— Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик остался цел?

Терентьева ничего не отвечала. Пальцы ее дрожали на краю стола.

— Вы молчите,— сказал Свиридов.— Тогда ответьте мне... я вас спрашиваю в последний раз: кто этот человек? — Он указал на Никитского.

— Никольский,— едва слышно произнесла Терентьева.

— Так вот,— Свиридов встал и протянул руку по направлению к Никитскому,— он убийца вашего сына!

Терентьева покачнулась, дрожащие ее пальцы впились в край стола.

— Что...— прошептала она,— что вы сказали?

Не глядя на нее, Свиридов сухим, официальным голосом прочитал:

— «Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана

второго ранга Терентьева Владимира Владимировича... Цель убийства — похищение кортика».

В комнате стало совсем тихо. Никитский сидел не шевелясь, устремив взгляд на носок своего сапога. Терентьева стояла неподвижно. Она смотрела на Никитского, ее длинные, сухие пальцы сжимали край стола.

— Валерий...— прошептала она,— Валерий...

Ее помертвевшее лицо белым пятном разрезало синеву комнаты. Свиридов и моряк бросились ее поднимать.

Глава 73

СЕМЬЯ ТЕРЕНТЬЕВЫХ

По Ярославскому шоссе мчалась легковая машина. В ней сидели Свиридов, моряк, Терентьева и мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов, мачты высоковольтной передачи, стальная излучина Окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, кюветы с серым, рыхлым снегом, подмосковные деревни.

— Этот кортик,— рассказывала Мария Гавриловна,— принадлежал Поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему сто пятьдесят лет назад. По преданию, он вывез его с Востока.

Миша толкнул ребят и поднял палец.

— При Елизавете Петровне,— продолжала Мария Гавриловна,— Поликарп Терентьев попал в опалу и удалился в свое поместье. Там он устроил тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельства, а может быть, страсть к механике. У нас в доме до сих пор хранятся сделанные им вещи: шкатулка с секретами, особенные подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело укоренились в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл на острове Цейлон, поднимал какой-то корабль, да так и не поднял. Отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной.

— Интересно! — сказал Свиридов.

— Особенность тайника,— продолжала Мария Гавриловна,— заключалась в том, что о нем знал только один человек в

доме — глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре пятнадцатого года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Роковую роль в этом сыграл брат Ксении, Валерий Никитский, видимо, он был уверен, что в тайнике хранятся ценности. Но если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, оставил бы кортик мне. В прошлом году приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью просил эти документы уничтожить. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться.

Машина въехала в Пушкино и вскоре остановилась возле дома Терентьевой.

В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы, ее, видимо, перебирали.

— Часов в доме много,— сказала Мария Гавриловна,— но какие из них, я не знаю.

— Вероятней всего те, о которых вы упоминали,— сказал Свиридов.

— Тогда пройдемте в кабинет.

В кабинете, в глубокой нише, стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем рядом с отверстием для завода часов виднелась едва приметная, узкая щель.

Свиридов открыл дверцу часов. Маятник криво качнулся и звякнул.

Свиридов перевел стрелки на двенадцать часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы.

Минутная стрелка дрогнула, подвинулась — открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней повернулась башня часов, открыв верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами.

Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми, обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листами бумаги, тетради, большой блокнот в сафьяновом переплете.

Свиридов и моряк осторожно вынули документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть.

— Все разложено по морям. Вот даже Индийский океан,— говорил моряк. Он прочитал на обложке одной папки: — «Английский корабль «Гросвенор». Затонул в тысяча семьсот восемьдесят втором году у острова Цейлон. Груз: золото и драгоценные камни». Бриг «Бетси»...»

— Давайте-ка лучше свои моря поглядим,— перебил его Свиридов.

— Так.— Моряк перебрал папки и развязал одну.— Черное море. Вот оглавление: «Трапезунд», корабль крымского хана Девлет-Гирея... «Черный принц» — затонул двадцать четвертого ноября тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Балаклавской бухте, разбившись во время шторма о прибрежные скалы, груз — пять миллионов рублей золотом...» — Он перелистал бумаги, покачал головой.— Какие сведения! Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал...

— Крепко! — весело сказал Свиридов.— Для «Судоподъема» все это очень пригодится.

— Да,— подтвердил моряк,— материал неоценимый.

Глава 74

ВСТУПЛЕНИЕ

Машина мчалась по Ярославскому шоссе к Москве. На заднем сиденье развалились Миша, Генка и Слава. Ребята торопились в школу на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии. Свиридов и моряк остались у Терентьевой.

— Все ж таки он вредный старикашка,— сказал Генка.

— Кто?

— Поликарп Терентьев.

— Почему?

— Не мог в тайник немного наличными подбросить.

— Вот-вот,— засмеялся Миша,— ты еще о нитках поговори.

— При чем тут нитки! Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие? Отлично знал. Только я нарочно о

нитках говорил, для конспирации. Вот увидите: в конце концов Никитский признается, что взорвал «Императрицу Марию».

— Миша,— сказал Слава,— а письмо?

— Ах да!

Миша вынул из кармана письмо, которое только что вручил им Свиридов. На конверте крупным, четким почерком было написано: «Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично».

Миша вскрыл письмо и вслух прочел:

— «Здравствуйте, дорогие ребята Миша и Генка!

Угадайте-ка, от кого это письмо. Угадали? Ну, конечно, угадали. Правильно! Это я, он самый, Полевой, Сергей Иванович.

Товарищ Свиридов написал мне о ваших делах. Вот уж никогда не думал, что вы с Никитским справитесь! Мне даже немного стыдно, что он тогда, в Ревске, бока мне намял.

Кортик дарю вам на память. Вырастете большие, посмотрите на кортик и вспомните свою молодость.

О себе могу сообщить, что опять служу на флоте. Поднимаем со дна корабли, ремонтируем и пускаем плавать по морям-океанам.

На этом кончаю. С коммунистическим приветом

Полевой».

Машина въехала в город. Сквозь ветровое стекло виднелась Сухарева башня.

— Опоздали мы на собрание,— сказал Миша.

— Может быть, вовсе не идти? — предложил Слава.— Очень интересно смотреть, как другим будут вручать комсомольские билеты.

— Именно поэтому мы и должны прийти,— сказал Миша,— а то еще больше засмеют.

Вот уже и Арбат.

— Приехали,— объявил шофер.

Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок.

Собрание уже началось.

— Не велено пускать,— сказала она,— чтобы не опаздывали.

— Ну, Брошечка,— попросил Миша,— ради праздника.

— Разве уж,— сказала тетя Броша и приняла их одежду.

Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный зал и стали у дверей.

В глубине зала виднелся стол президиума, покрытый красной материей.

Над столом, над широкими окнами, висело красное полотнище с лозунгом: «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир».

Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца нестерпимо блестел в окне, яркие его лучи слепили глаза.

Коля Севостьянов окончил доклад. Он закрыл блокнот и сказал:

— Товарищи! Этот день для нас тем более торжествен, что сегодня решением бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда, а именно...

Приятели покраснели. Генка и Слава стояли потупившись, а Миша не отрываясь, до боли в глазах, смотрел в окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячью маленьких блестящих дисков.

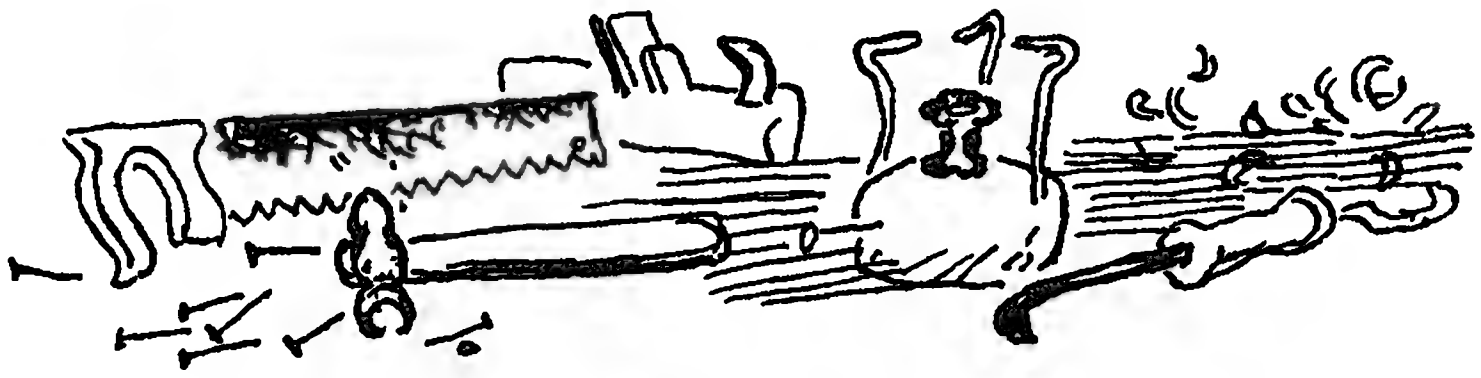
— ...а именно,— продолжал Коля и снова открыл блокнот: — Воронина Маргарита, Круглова Зинаида, Огуреев Александр, Эльдаров Святослав, Поляков Михаил, Петров Геннадий...

Что такое? Не ослышались ли они? Приятели посмотрели друг на друга. Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи. Но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец. Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой.

Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом.

Блестящий диск за окном разгорался все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколен, кремлевских башен.

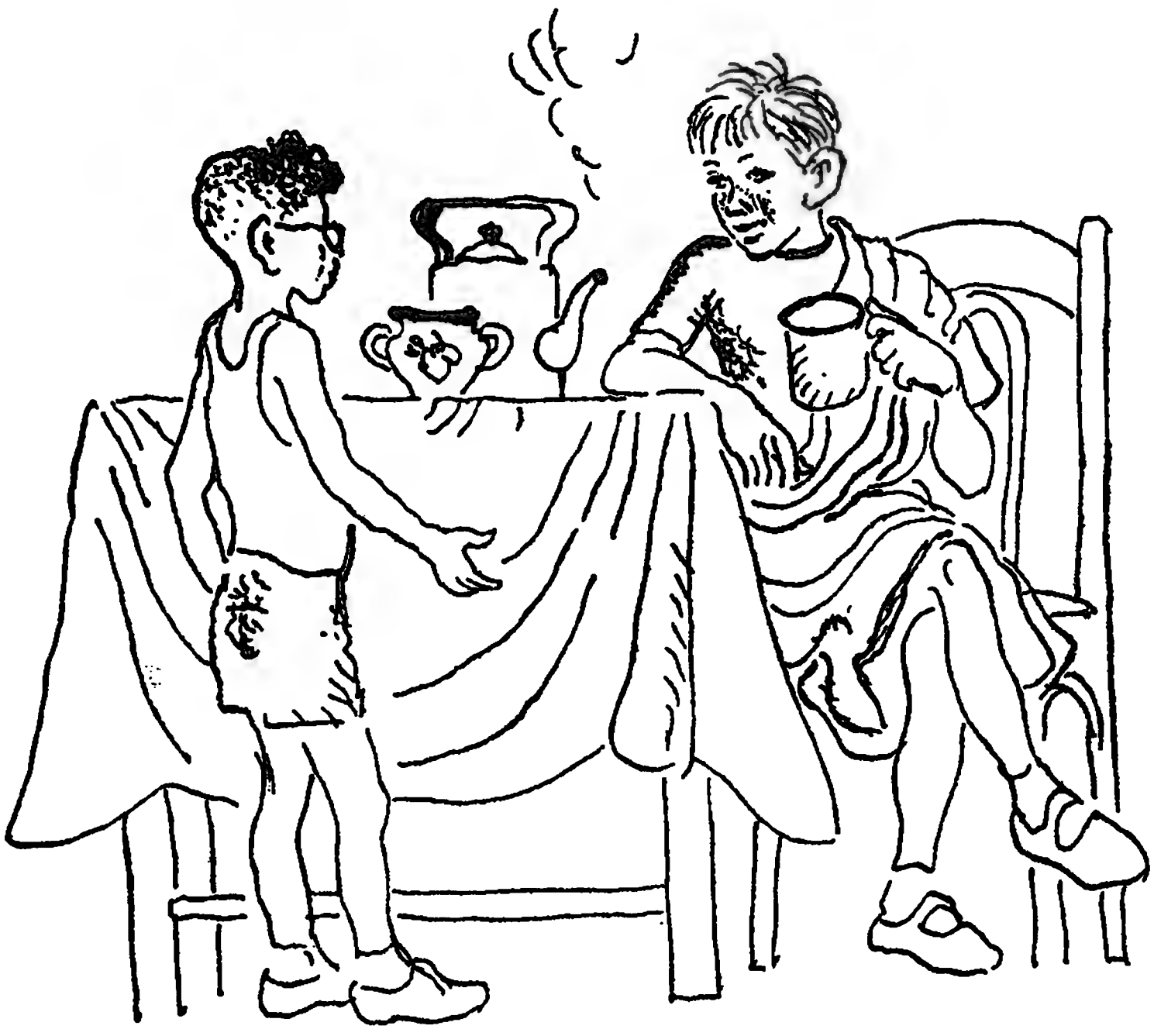
Миша все смотрел на этот диск. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.



ЮРИЙ СОТНИК

„Архимед" Вовки Грушина

Рассказы



НЕВИДАННАЯ ПТИЦА

По тропинке, что вилась над обрывистым берегом реки, шли с удочками трое ребят. Впереди шагал Вася в отцовской шинели, просторным балахоном свисавшей до самых пят, и в пилотке, сползавшей на нос. За ним шел Дима — сын врача, который жил в доме Васиного отца. Сзади всех, придерживая у подбородка края накинутого на голову теплого платка, семенила младшая Васина сестренка Нюша.

Солнце зашло недавно, однако было темно, как ночью, потому что небо закрывали густые, клубящиеся тучи. Изредка и ненадолго тучи разрывались, и в образовавшийся просвет проглядывали зеленоватое небо и бледные звезды. Время от времени набегал ветерок, и тогда большое ржаное поле справа от тропинки глухо шелестело колосьями.

Слева, под обрывом, поблескивала река, а за речкой, на низком берегу, почти у самой воды топорщился черный лес.

— Полпути прошли,— не оборачиваясь, сказал Вася.— Теперь еще метров триста — и вниз, а там такой омут, что ахнешь.

— Такой омут... мне аж с ручками,— подтвердила Нюша.

Дима шел, зажав удочки под мышкой, сунув руки в карманы серого пальто. Вид у него был сонный, недовольный.

— Глупо! — сказал он, зевнув.

— Чего? — обернулся Вася.

— Глупо было так рано выходить. Могли бы поспать до полуночи.

— Рановато, конечно, зато у костра посидим и самую зорьку застанем. У нас знаешь какая рыба? Если на самой-самой зорьке придешь — килограмма три наловишь, а чуть солнышко показалось — и как отрезало, не клюет.

— Ну, насчет трех килограммов это вы, Васечка, того... немножко хватили.

— Ну, три не три, а знаешь, сколько я прошлый раз наловил? Восемь штук вот таких ершей да еще две плотвички.

— Так бы и говорил «восемь ершей». А то — три килограмма! Любишь ты фантазировать!

Вася больше не спорил. Он замедлил шаги и приглушенно сказал:

— Нюшк!

— А?

— Покажем Димке то место?

— Ага! Дима, сейчас мы тебе такое место покажем! Ты прямо умрешь со страху.

— Какое место?

— Увидишь... Васька, ничего ему не говори!

Вася прошел еще немного и вдруг остановился.

— Тут,— сказал он шепотом.

На том берегу у самой воды росли две большие корявые ветлы. За ними виднелась лужайка, отлого спускавшаяся к реке, а в конце лужайки, наполовину закрытые ветлами, неясно белели стены большого дома.

Нюша крепко держалась за рукав Диминого пальто:

— Страшно как!.. Вот увидишь.

Вася подошел к ним поближе. Его лицо, овальное, с носом, похожим на кнопку, было очень серьезно.

— Слушай! — шепнул он и, набрав в легкие воздуха, крикнул: — Эй!

«Эй!» — послышалось с того берега, да так громко, что Дима вздрогнул.

«Эй!» — донеслось еще раз, но уже глуше, отдаленней.

«Эй!» — отозвалось где-то совсем далеко.

— Страшно, да? — спросил Вася.

Дима пожал плечами.

— Страшного ничего нет...— начал было он и осекся.

«...ашного ничего нет»,— отчетливо сказал противоположный берег.

«...ничего нет»,— покатилось в конце лужайки.

«...чего нет»,— замерло вдали.

Дима помолчал и продолжал, на этот раз шепотом:

— Обыкновенное эхо. Отражение звука.

— Сам знаю, что отражение, а все-таки боязно. Будто кто-то в развалинах сидит и дразнится.

— В каких развалинах?

— А вон там. Видишь, белые? Там санаторий был, а в сорок первом его разбомбило: фашист не долетел до Москвы и все фугаски тут побросал.

— Восстанавливают его?

— А что восстанавливать? Только две стены остались.

— Говорят, новый построили. В другом месте,— добавила Нюша.

Ребята помолчали. Никому больше не хотелось тревожить эхо. Над рекой стояла мертвая тишина.

— Идем? — прошептал Вася.

— Пошли! — ответил Дима.

Но ребята не успели двинуться с места.

Нюша случайно оглянулась в ржаное поле, колосья которого сливались вдали в темную, серую муть. Мальчики заметили, что глаза у Васиной сестренки странно расширились. Взглянули и они в ту сторону, куда смотрела Нюша. Взглянули и на мгновение оцепенели.

Над рожью по направлению к ним, быстро увеличиваясь в размерах, неслась какая-то тень. Прошло не больше секунды. Нюша тихо вскрикнула и присела, мальчики, словно по команде, припали к земле.

В каких-нибудь трех метрах от ребят пролетела огромная, невиданная птица. Распластав в воздухе черные крылья, она мелькнула над тропинкой, бесшумно скользнула над рекой и скрылась в темной листве одной из ветел, что росли на противоположном берегу. Оттуда донесся легкий шорох, потом все стихло, как будто ничего и не было.

Очень долго ребята боялись шевельнуться. Нюша сидела на корточках, закрывшись платком. Мальчики стояли на коленях, опираясь на локти, пригнув головы к земле. Лишь минуты через две Нюша тихо прошептала:

— Вася!.. Ой, Вася!.. Что это такое было?

Вася осторожно приподнял голову, поправил пилотку.

— Дима... Видел?

Тот молча кивнул головой.

— Птица, да?

Не меняя позы, Дима пожал плечами.

— На ту ветлу села. Да?

Дима опять кивнул.

Вася медленно выпрямился, но продолжал стоять на коленях. Все трое смотрели на ветлу за рекой. Однако в темной листве ее ничего невозможно было разглядеть.

— Орлов таких не бывает,— снова зашептал Вася.— И журавлей таких не бывает: каждое крыло больше метра!

— Такой... только этот... кондор бывает,— сказала Нюша.

— Кто?

— Кондор. Помните, в «Детях капитана Гранта»? Как он мальчишку унес...

Все опять умолкли. Ветлы на том берегу были совершенно неподвижны, и оттуда не доносилось ни звука.

— Притаилась. Высматривает нас,— прошептал Вася.

Дима припал еще ниже к земле и пополз в том направлении, откуда они пришли. За ним поползла Нюша, скребя землю носками маленьких сапожек, за Нюшей — Вася, путаясь в своей шинели.

Пилотка опять съехала Васе на глаза. Он наткнулся лицом на кустик репейника и вскрикнул.

«Ой! Ой! Ой!» — трижды отозвалось за речкой.

Все трое вскочили, словно подброшенные, и помчались вдоль обрыва.

Метров триста, если не больше, бежали ребята, пока не очутились на улице маленькой деревушки, у ворот своего дома. Остановившись, они долго не произносили ни слова. Все трое тяжело дышали. Дима обмахивался кепкой, Нюша махала приподнятым над головой краем платка, Вася вытирал лицо пилоткой. Взмокшие светлые волосы его торчали вихрами во все стороны.

— Глупо! — сказал наконец Дима.

— Чего — глупо?

— Кондоры в Советском Союзе не водятся.

— А что же это тогда за птица?

— Такие большие птицы у нас вообще не водятся,— решительно сказал Дима.

Вася пристально смотрел на него:

— Димк!

— Ну?

— А вдруг это взаправду кондор? Случайно залетел...

— Чепуха! Таких случайностей не бывает.

— А вдруг... вдруг это вовсе не известная птица!.. Подстрелить бы ее, а? Вдруг это для науки такое значение, что...— Вася помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, и вдруг бросился в калитку.— Погодите! Я сейчас.

Вернулся он скоро. В руках его было отцовское двустволь ное ружье, вместо шинели был надет старенький пиджачок с куцыми

рукавами. Пилотку он оставил дома. Он подбежал к Диме и раскрыл перед его носом ладонь, на которой поблескивали две медные гильзы:

— Во! Жаль только, что бекасинник. Пошли попытаемся, а?

Дима отодвинулся от него на шаг:

— Что «попытаемся»? Что ты еще выдумал?

— Подстрелим ее, птицу эту. Вдруг — научное значение! Пошли?

Вася зашагал по направлению к околице. Нюша и Дима очень неохотно двинулись за ним.

— Васька, чего ты выдумал! Никуда я не пойду,— сказала Нюша.

— И не ходи. Мы с Димкой вдвоем...

— Со мной? Ну нет! Я не такой дурак.

Вася остановился:

— Не пойдешь?

Дима пожал плечами.

— Что я там не видел? Думаешь, очень интересно гоняться за какой-то птицей, которая давно улетела?

— А если не улетела? Если у нее гнездо на той ветле?

— А если нет гнезда?

— В лесу пойду искать.

— А если не найдешь?

— А если найду?

— А если и найдешь, все равно дробью не застрелишь. Только разозлишь ее, она тюкнет клювом по голове, вот тебе и капут.

— Ну и пусть капут! Значит, погиб за науку.

— Все героя из себя корчишь, да? А хочешь знать: может, это самая обыкновенная птица. Может, нам только показалось, что она такая большая.

— Так всем сразу и показалось?

— А что ты думал? Бывают оптические обманы.

— Ну тебя! С тобой говорить-то...— Вася махнул рукой и быстро зашагал.

Нюша побежала рядом с ним:

— Вася, я пойду, только я близко подходить не буду. Ладно? Дима постоял с минуту на месте, пожал плечами.

— Глупо! — сказал он громко и поплелся вслед за уходящими ребятами.

И вот началась охота на невиданную птицу.

Идя по тропинке над обрывом, Нюша все время повторяла: «Вася, я больше не пойду, я боюсь», но все-таки шла все дальше и дальше.

Немного не доходя до того места, где ребята впервые увидели птицу, Вася вспомнил, что еще не зарядил ружье.

Он остановился, обтер рукавом гильзы и вложил их в каналы стволов. Запирая ружье, он тяжело вздохнул:

— Бекасинник! Разве бекасинником такую убьешь!..

— Васька, я боюсь, не ходи! — прошептала Нюша.

Вася топтался на месте, тоскливо озираясь по сторонам. Тучи стали еще плотнее. Лес за рекой казался чернее, гуще, и река под обрывом — глубже и холоднее.

— Стой тут. В случае чего в рожь спрячься,— тихо сказал Вася и двинулся вперед, выставив перед собой ружье. Пройдя несколько шагов, он обернулся: — Нюшк!

— А?

— Если со мной что случится, ты в школе скажи: так, мол, и так...

— Васька, ну тебя!.. Васька, не ходи! — плаксиво начала Нюша, но Вася даже не оглянулся.

Сзади, метрах в пятидесяти от Нюши, смутно маячила фигура Димы.

— Глупо! — негромко донеслось оттуда.

— Тише ты там! Какой-то! — прошипела Нюша.

...Вот и знакомые ветлы на том берегу, поляна за ними, белые пятна развалин... Вася задержал дыхание, прислушался.

Ни звука.

Вася поднял ружье, прицеливаясь в ветлу, потом опустил его, облизнул губы и снова прислушался.

Послышался шорох. Вася резко обернулся: совсем близко от него среди колосьев торчала Нюшина голова. Она прошептала свое обычное: «Вася, я боюсь!» Зато у Васи прибавилось храбрости. Он опять прицелился и громко крикнул:

— Эй!

Эхо трижды повторило его крик и затихло. Ветлы на том берегу не шелохнулись.

— Эй! — снова крикнул Вася.

Все было по-прежнему спокойно.

— Улетела,— сказала Нюша.

Вася подошел к самому краю обрыва, прыгнул и съехал по крутой песчаной осыпи на довольно широкий пляж. Не выпуская ружья из рук, он снял тапочки, брюки и пошел к воде. В это время наверху послышались шаги. Вася оглянулся: над обрывом сидела на корточках Нюша, а возле нее стоял Дима.

— Ну, что я говорил тебе? Говорил, что ничего не получится? Говорил?

— Здесь не получилось — в лесу поищу,— буркнул Вася и пошел через речку вброд.

— Вася! Вася! — тихо позвала Нюша.

Охотник остановился.

— Вася, а вдруг она это нарочно?.. Вдруг сидит на дереве и виду не подает, а потом как выскочит...

Вася постоял, подумал, затем очень быстро, но бесшумно вернулся на берег.

Дима тихонько засмеялся:

— Что ж ты выскочил? А еще герой!

Вася не ответил. Нюша и Дима видели, как он ходит по песку, высматривая что-то у себя под ногами. Скоро он нашел сухую корягу, поднял ее, бросил в ветлу и тут же вскинул ружье. Послышался плеск: тяжелая коряга, не долетев до дерева, упала в воду. Вася нашел толстую короткую палку. Вот он взвесил ее в руке... прицелился, как городошник битой... размахнулся... швырнул...

— Мама! — пискнула Нюша.

— Ой! — басом крикнул Дима.

Они увидели, как большая тень отделилась от ветлы и, быстро снижаясь, описывая крутую дугу, понеслась над рекой. Внизу блеснул красноватый огонь, грохнул выстрел, раскатами прокатившийся по тому берегу. Птица взмыла вверх, перекувырнулась в воздухе и помчалась прямо на маленькую темную фигурку, застывшую с приподнятым ружьем.

— Ма-ма! — протяжно закричала Нюша.

Снова огонь, снова грохот... Птица подпрыгнула в воздухе и... на глазах у изумленных ребят распалась на куски.

Первой пришла в себя Нюша. Она прыгнула на осыпь, съехала по ней и подошла к Васе. То же сделал и Дима.

Около Васи пахло порохом. Даже в темноте было видно, что лицо его совершенно мокро от пота. Он стоял неподвижно, часто дышал.

Нюша тронула его за руку:

— Вася... Чего ты? Испугался, да?

— Ага! — промычал тот и, глотнув слюну, спросил: — Что это было?

Дима отошел в сторону и поднял один из кусков, на которые распалась «птица». Это был продолговатый плоский предмет длиной чуть побольше метра.

С минуту Дима вертел находку в руках. Потом сел на песок и расхохотался, обхватив колени руками и раскачиваясь вперед и назад.

Вася и Нюша приблизились к нему.

— Димка, ты что?

Дима захохотал еще громче.

— Герой! — взвизгнул он, указывая пальцем на Васю.— Охотник! Ты... ты знаешь, что подстрелил? Модель! Авиамодель подстрелил! — Он повалился на спину и принялся болтать в воздухе ногами.

...Прошло полчаса. Никто из ребят больше не думал о рыбной ловле. Они притащили Васин охотничий трофей в деревню и теперь рассматривали его на застекленной веранде у Димы, отец и мать которого были сегодня в Москве.

На столе под яркой керосиновой лампой лежали большой, чуть ли не в рост человека, фюзеляж и крыло обтекаемой формы. То и другое было сделано из множества тончайших планочек и папиросной бумаги, покрытой синим лаком. Хвостовое оперение модели сохранилось, но передняя часть фюзеляжа была вся измочалена дробью. Немногим лучше выглядело крыло, из которого среди лоскутков бумаги торчали сломанные планочки. Второго крыла ребята не нашли. Должно быть, его отбросило в реку и унесло течением.

— Так-с! — проговорил Дима, заглядывая внутрь фюзеляжа.— Резинки нет — значит, это планер. Фюзеляжная модель планера.

— Откуда она к нам-то попала? — спросил Вася.

— Хотите знать, откуда она прилетела?.. Со Всесоюзных авиамодельных соревнований. Вы в газетах читали?

— По радио слышал. А где они идут, эти соревнования?

— Не очень уж далеко. На станции С*** по нашей дороге.

— А ты почему знаешь?

— Отец рассказывал, вот почему. Он из вагона видел, как они над аэродромом летают.— Дима прошелся по веранде.— Ты понимаешь, что наделал? Эта модель около двадцати километров пролетела. И это только по прямой. Может быть, она мировой рекорд поставила, а ты ее раздолбал!

Вася стоял, опираясь о ружье, стволы которого почти касались его подбородка. Он обескураженно поглядывал то на Диму, то на исковерканную модель.

— Вася, а тут чего-то написано,— сказала Нюша и ткнула пальцем в фюзеляж.

Дима и Вася подошли поближе к столу.

К фюзеляжу был приклеен бумажный ярлычок. Бо́льшая часть его была сорвана, а на сохранившемся кусочке можно было прочесть отпечатанные на машинке слова:

« . . . . . дель № 112.
. . . . . росим вернуть.
. . . . . соавиахима».

— Ясно! — сказал Дима.— Тут было написано: «Модель номер сто двенадцать. Нашедшего просим вернуть туда-то».

— А если я не верну? — спросил Вася.

— Тогда, значит, ты нечестный гражданин. Может, конструктор над этой штукой полгода работал... Может, она мировой рекорд поставила... А если ты не вернешь — все это пропало.

Лицо у Васи было очень несчастное.

— Как же... я ее повезу, такую изуродованную?

Дима усмехнулся:

— Это уж дело ваше. Не я на нее охотился, а ты...

Вася долго молчал, исподлобья глядя на Диму.

— Попадет, да? — угрюмо сказал он.

— Уж конечно, по головке не погладят. Такую прекрасную модель разбить!

Вася судорожно глотнул.

— А если не повезу... если не повезу — может, и в самом деле у них рекорд пропадет?

Дима пожал плечами:

— А ты как думал?

— Димк!

— Что прикажете, товарищ герой?

— Отвези ее... а? И скажешь: «Так, мол, и...»

— Я? Ну нет! Если сам поедешь, я тебя, так и быть, провожу, чтобы ты не растерялся. А отдуваться за тебя... Нет уж, спасибо!

— Димк! А ты никому не скажешь на аэродроме?

— О чем не скажу?

— Ну, что это я ее так... Мы знаешь что скажем? Будто мы ее так нашли, уже поуродованную.

— Ладно уж! Не скажу.

На следующий день, примерно около часа, Дима и Вася прибыли в электричке на станцию С***.

Оба перед отъездом из деревни надели белые-пребелые рубахи, красные галстуки и тщательно отутюженные брюки. Соломенные Васины волосы были смочены, расчесаны на пробор и держались в таком положении довольно сносно.

Выйдя из электрички, ребята увидели почти у самой железной дороги несколько больших брезентовых палаток, а за палатками — ряд учебных самолетов.

Мальчики направились в ту сторону. Вася тащил завернутый в несколько газет фюзеляж. Вид у «охотника» был такой, словно он идет к зубному врачу. Дима, наоборот, был весел и шагал бодро, держа под мышкой обернутое газетой крыло.

Возле ворот их остановил парнишка с красной повязкой на рукаве. Дима объяснил ему, зачем они приехали.

— В штабе никого сейчас нет,— сказал парнишка.— Идите на поле, там спросите планерный старт.

Ребята пошли на аэродром.

День был ясный, солнечный. То здесь, то там на широком поле колыхались голубые флажки с белыми буквами на полотнищах. Каждый такой флажок обозначал место запуска моделей

определенного класса, и возле каждого флажка можно было насчитать несколько десятков авиамоделистов. Здесь звучала и русская речь, и эстонская, и узбекская, и украинская... Тут были студенты и студентки, военные, мальчики и девочки в пионерских галстуках, тут были и пожилые люди, которые годились в отцы этим мальчикам и девочкам. Одни куда-то спешили, неся в руках красивых птиц, построенных из планочек и папиросной бумаги, другие ползали на животе и на коленях по короткой траве, что-то налаживая в своих хрупких аппаратах, третьи стояли, подняв лица к высокому небу и следя за полетом моделей.

Над головами ребят с легким стрекотом проносились миниатюрные самолеты с резиновыми моторчиками, бесшумно парили модели планеров всех цветов и размеров. Один такой планер, снижаясь, клюнул Диму в затылок. В другой раз товарищам пришлось удирать от модели с бензиновым мотором, которая закапризничала и, свирепо треща, принялась носиться кругами над землей.

Дольше всего ребята задержались возле флажка с буквой «С» на полотнище. Здесь стартовали «схемки» — самые простенькие модели, у которых фюзеляж заменен четырехгранной планочкой. Одна из девочек, с виду чуть постарше Нюши, подняла над головой неказистую «схемку» и, придерживая пальцами пропеллер, обернулась через плечо:

— Иван Андреевич, засеките мне.

Стоявший у флажка человек нажал кнопку секундомера. Девочка выпустила модель, и та очень быстро набрала высоту. Девочка побежала по полю вслед за улетающей «схемкой». Сначала за моделью следил только человек с секундомером. Но та летела все дальше и дальше, девочка упорно бежала за ней, и авиамоделисты, бывшие на старте, один за другим поднимали головы, начинали следить за полетом. Когда модель стала чуть заметной точкой, а девочка маленьким пятнышком, человек с секундомером припал к окулярам стереотрубы, установленной на треноге. Прошла еще минута.

Люди кругом заволновались:

— Самолет!.. Модель уходит!.. Давайте самолет!

Человек с секундомером оторвался от трубы и побежал к стоявшему недалеко «УТ-2».

Через минуту самолет с ревом пронесся над стартом и помчался в ту сторону, куда улетела «схемка».

— Димка, видел? — тихонько сказал Вася.

— Что «видел»?

— За такой ерундовской моделью целый самолет послали!

— А ты как думал? Вдруг она рекорд поставила, и никто не узнает. Идем!

Мальчики снова зашагали по аэродрому.

— Дима!

— Что тебе?

— Дима, никому не скажешь, а?.. Здесь такую ерундовскую модель так берегут, а я такой огромный планер покалечил! Не скажешь, Дима, а?

— Я-то не скажу, только по твоему лицу всякий догадается.

Вася вздохнул и замедлил шаги. Видно было, что ему очень хочется удрать с аэродрома. Но было поздно: ребята уже подошли к планерному старту.

— Здравствуйте, товарищ,— обратился Дима к девушке в синем комбинезоне, с секундомером в руке.— У вас не пропадала модель?

Та резко обернулась:

— Пропадала. Сто двенадцать? Большая синяя? Неужели нашли?! — сказала она быстро и закричала: — Аббас! Аббас! Позовите Аббаса, модель нашлась!

Это взволновало всех моделистов. С гомоном, с радостными возгласами они окружили ребят.

— Вчерашний планер нашелся?

— Где нашли? Далеко?

— Аббас! Аббас! Сюда! Скорей!

Сквозь толпу протиснулся мальчишка одного возраста с Димой. Он был смуглый, большеглазый, с черными курчавыми волосами.

— Нашли? Где она? Где нашли? — проговорил он отрывисто, с восточным акцентом.

Наступил страшный момент.

Дима сунул крыло Васе в руки и отошел в сторонку.

Аббас выхватил у Васи фюзеляж и начал снимать газету.

— Она... она немного попорченная,— пробормотал Вася.

Аббас развернул газету. Моделисты дружно ахнули и затихли, увидев нос планера, превращенный в мочалку.

— Как же это ее угораздило? — послышался негромкий голос.

Рядом с Васей стоял худощавый военный с черными косматыми бровями. На плечах у него были погоны полковника, а на груди — золотая звездочка.

Девушка в комбинезоне внимательно рассматривала остатки планера:

— Сама по себе она не могла так изодраться, товарищ полковник.

Полковник молча кивнул и обратился к Васе:

— Где ты ее нашел?

Вася назвал свою деревню и железнодорожную станцию.

— Неплохо полетала,— задумчиво сказал полковник.— Какая же каналья ее так испортила?

Дима потупил глаза и улыбнулся, не разжимая губ. Вся его круглая физиономия как бы говорила: «Я-то уж знаю, что это за каналья!»

Вася залопотал:

— Мы... Я так ее и нашел, товарищ полковник. Она такая уже была...

— Какая «такая» была?

— Дробью прошибленная.

— Чем? — повысил голос полковник.

— Дро...— начал было Вася и умолк, почувствовав, что проговорился.

Толпа моделистов загудела. Полковник в упор смотрел на Васю:

— Откуда же ты знаешь, что именно дробью? Я, например, старый охотник, но и то не догадался.

Вася молчал. Он смотрел в одну точку и часто помаргивал. Он был такой красный, что казалось, даже волосы его порозовели. Дима улыбался, прикрыв ладонью рот. Аббас подскочил к Васе и закричал, размахивая руками:

— Я знаю!.. Он сам стрелял! Сам дробью модель стрелял! Смотрите, какой лицо! Сам стрелял!..

— Тихо, тихо! Не надо кричать,— мягко сказал полковник и обратился к Васе: — Ну?

Вася теребил пальцами кончики своего галстука и не отрываясь смотрел на них.

— Я... я нечаянно,— еле выдавил он.

— То есть как «нечаянно»?

— Я не знал, что это модель.

— Не знал? За что же ты ее принял? За перепелку?

Из левого Васиного глаза скатилась слеза и задержалась на уголке рта. Он быстро слизнул ее.

— За... за кондора принял,— прошептал он еле слышно.

— За кого?

— Кондор... За кондора...

— Ну-ка, расскажи по порядку. Так мы все равно ничего не поймем.

Вася молчал.

— Не хочешь говорить?

— Пусть он расскажет,— сказал Вася и кивнул на Диму.

Моделисты придвинулись ближе и затихли. Дима потер ладони и, улыбаясь, начал:

— Понимаете, дело, значит, было так. Иду я ночью на рыбалку. Со мной, значит, вот этот Вася и его сестра. Ну, тут, конечно, они мне рассказывают всякие рыбацкие истории, что в

их речке можно поймать три килограмма рыбы, но это к делу не относится. Итак, значит, идем. Вдруг мимо нас пролетает какая-то большая тень, перелетает через речку и скрывается на одном дереве. И тут вот этот «герой» начинает кричать: «Это кондор! Это какая-то загадочная птица! Собой пожертвую для науки, а ее подстрелю!»

Дима разошелся. С большим юмором он рассказывал о том, как Вася и Нюша шли на «охоту», как Вася, полумертвый от страха, кричал над обрывом «эй» и как он в одних трусах начал переходить реку, но, испугавшись, вернулся.

Рассказывал он так остроумно, что моделисты покатывались со смеху. Даже сердитый Аббас начал улыбаться. Даже сам Вася улыбнулся слабой, несчастненькой улыбкой.

Посмеивался и полковник, держа в зубах папироску. Чем дальше подвигался рассказ, тем он все чаще поглядывал на Васю, и тогда в глубоко запавших темных глазах его под косматыми бровями появлялось что-то ласковое.

Когда Дима начал рассказывать о самом сражении с невиданной птицей, полковник, продолжая смеяться, обнял Васю и похлопал его по плечу.

— ...Наш «герой» бабахнул второй раз, его «кондор» развалился, и вот вам результат,— закончил Дима, плавным жестом указав на разбитую модель.

Долго в толпе стоял такой гул, что ничего нельзя было разобрать. Одни что-то говорили, другие все еще смеялись. Дима, раскрасневшийся, довольный собой, обмахивался кепкой. Вася стоял, опустив плечи, и казалось, что он даже похудел за эти несколько минут.

— Занятно! — сказал полковник, когда шум немного утих. Он сдунул с папиросы пепел и обратился к Диме: — Ты, я вижу, человек остроумный, тебе на язычок не попадайся. Но вот что меня интересует: ты ведь тоже не знал, что это модель, так ведь?

— Не знал,— сказал Дима.

— Не знал, что это модель, и был уверен, что это не кондор. Что же ты тогда думал: что это было такое?

Дима перестал обмахиваться кепкой.

— Я... я вообще ничего не думал... Я вообще...

— Постой, постой! Как же это «ничего не думал»? Не думает дерево, камень, улитка, но человек-то всегда что-нибудь думает.

Моделисты негромко засмеялись. Дима покраснел.

— Я, конечно, видел, что это похоже на птицу, но я же знаю, что таких больших птиц не бывает.

Полковник смотрел на Диму, чуть улыбаясь:

— «Похоже на птицу, но таких птиц не бывает». Стало быть,

перед тобой было некое загадочное явление... и ты даже не попытался его исследовать. Так?

Дима молчал. Молчали и люди, окружавшие его, ожидая, что он ответит. Но Дима так ничего и не ответил.

— Какое же ты имеешь право смеяться над товарищем? Ты вот сидел сложа руки да критиковал, а он в это время действовал. Он-то был уверен, что это какое-то живое чудовище, и не побоялся выйти на него с дробовиком. Пусть он ошибся, но он был героем в тот момент, отважным исследователем, а ты кем был?

— А в результате модель все-таки нашлась,— громко сказал кто-то из моделистов.

— Да,— подхватил полковник,— модель нашлась. Ее вчера выпустили перед самым закатом солнца, не рассчитывая, что она улетит далеко. Но она пошла и пошла... Летчик, погнавшийся за ней, потерял ее: солнце в глаза светило. Модель рекорда не поставила, но результат показала хороший.

— А окажись твой друг таким же, как ты, знаешь, что могло случиться? — сказала девушка в комбинезоне.— Первым порывом ветра модель бы сбросило в реку, и поминай как звали!

— И не было бы у Аббаса ни модели, ни ценного подарка,— вставил кто-то из моделистов.

— Аббас, скажи спасибо охотнику!

— Аббас, извинись!

Аббас взял Васину руку и дважды сильно тряхнул ее.

— Спасибо! Извиняюсь! — сказал он.

Моделисты начали расходиться. Полковник снова обнял Васю за плечи.

— Ты на самолете летал? — спросил он.

Вася качнул головой.

— Ну идем, я тебя устрою.

Через пять минут жизнь планерного старта шла обычным порядком.

Моделисты бегали по полю, таща за собой планеры на длинных тонких шнурах — леерах. Белые, голубые, желтые, синие птицы взмывали в небо и, отцепившись от лееров, начинали парить.

Дима, хмурый, насупленный, брел по аэродрому, сунув руки в карманы брюк. Иногда он приостанавливался, подымал плечи и негромко произносил:

— Глупо!

Раздался рев мотора. Низко над Димой промчался учебный самолет. Это Вася несся к небу.

«ФЕОДАЛ» ДИМКА

Большие, чисто вымытые окна школьной читальни были открыты. Тянул мягкий, пахнущий сырой землей ветерок, и цветы в горшках на подоконниках, всю зиму простоявшие неподвижно, теперь шевелили листочками.

За одним из столиков, под широким солнечным лучом, сидели трое учкомовцев, за другим — провинившийся Димка Рожков и пострадавшая Нюся Беленькая.

Оба маленькие, худощавые, коротконосые, они сидели на разных концах стола и с каменными лицами дожидались начала заседания. На лбу у Нюси красовалась большая фиолетовая шишка.

Учкомовцев разморила весна. Жмурился от света здоровенный Пашка Грицина, поеживалась от ветерка, щекотавшего за ушами, черная сухонькая Зоя Кольцова, тихонько насвистывал какой-то вальс председатель учкома Женя Глуханский. Глаза его за круглыми очками были прикрыты, а длинный с горбинкой нос в такт вальсу описывал в воздухе круги и восьмерки.

Хлопнула дверь. Вбежала Оля.

Странная перемена произошла в председателе. Свист оборвался. Женя сидел теперь выпрямившись, поджав губы...

Сев за стол, Оля одернула рукава белой футболки, поправила светлые курчавые волосы и улыбнулась во весь рот:

— Ой, товарищи, как на улице хорошо! Ой... я прямо не знаю, как хорошо!

Она быстро взглянула на председателя. А тот сидел прямой как жердь, рассматривая табличку: «Уходя, гаси свет».

— Очень жаль, что погода хорошая,— сказал он.— Была бы похуже, нам не пришлось бы ждать, пока Смирнова нагуляется.

Оля замерла с руками на затылке:

— Как не стыдно! Ты сам послал меня домой за протоколами!

Председатель долго, старательно зевал, потом ответил:

— Откуда я знал, что ты будешь наслаждаться природой, пока другие ждут.

— Это свинство! — Оля вскочила. Круглое лицо ее покраснело, синие глаза расширились.— Это свинство! Я всю дорогу бежала! Я...

— Хватит вам! Вы! — пробасил Грицина.

— Ничего не хватит! Мне надоели эти идиотские придирки! И это очень подло — переносить свою личную неприязнь на деловые отношения!

Оля села и стала грызть кончик носового платка.

— Истерика — лучший способ самозащиты,— изрек председатель.

С минуту учкомовцы молчали, хмуро поглядывая на «подсудимого» и «пострадавшую». Те ёрзали на стульях, усаживаясь поудобней.

Мрачно покачивая темным, нависшим на лоб чубом, Женя объявил:

— Н-ну... Многих членов учкома не хватает... Одни больны, другие — на соревновании. Я думаю, что мы и вчетвером сможем обсудить вопрос о поведении этого вот... типа.

Председатель встал во весь свой длинный рост и направил блестящие стекла очков на Диму:

— Рожков! Отвечай на вопросы. Был такой факт? В середине этого года, когда Беленькая впервые пришла к нам в школу, ты обмакнул ее косу в чернильницу.

Димка сидел, опустив голову, держась руками за край стула.

— Был,— ответил он тихо.

— Дальше! Во время зимних каникул, встретив Беленькую на улице, ты ударил ее снежком в глаз. Верно это или нет?

— Верно...

— Так. Теперь скажи мне, Рожков: ты живую мышь в школу приносил?

Димка молчал. Муха села ему на колено. Он машинально поймал ее и принялся разглядывать.

— Рожков! Я тебя спрашиваю!

— Приносил,— шепнул Димка, отрывая у мухи лапу.

— А в буфете, во время завтрака, ты сунул эту мышь Беленькой за пазуху?

Димка молчал. Зоя постучала карандашом по столу:

— Рожков! Ты не у себя дома! Брось муху и отвечай!

— За шиворот, а не за пазуху,— сказал Димка и мрачно взглянул на нее из-под челки.

— Хорошо,— продолжал председатель.— Мы тебя, кажется, предупреждали, что подобная травля новеньких в советской школе недопустима, что, если ты не прекратишь своих выходок, тебе не поздоровится. И вот, вместо того чтобы исправиться, ты вчера подставил Беленькой ножку. Она упала и разбила себе лоб. Так, если не ошибаюсь?

Дима сидел, оттопырив губы. Он тяжело дышал и часто шмыгал носом. Нюся встала из-за стола. Держа руки по швам, она проговорила тихим, дрожащим голосом:

— И еще третьего дня он в меня резинкой стрельнул... Чуть кровь из уха не пошла.

Она снова села и застыла с неподвижным лицом. Женя тоже сел, откинувшись на спинку стула и протянув длинные ноги:

— Н-ну... Я думаю, дело тут простое. Говорите свое мнение.

Учкомовцы молчали. Молчали «подсудимый» и «пострадавшая».

За окном, на проводах воздушной сети, уселись две ласточки. Они, перебирая лапками, боком двигались по проводу и вытягивали шеи, заглядывая в окно.

— Выгнать! — басом сказал Грицина.

Зоя подняла указательный палец:

— Нет, товарищи! Не просто выгнать. Мы, конечно, можем ходатайствовать о переводе его в другую школу, но, товарищи, тут совершенно другое дело. Все мы здесь старшеклассники, и у нас не наблюдается случаев, чтобы мальчишки колотили девочек. А в младших классах, товарищи, это массовое бедствие. Мальчишки...

— Мальчики,— пробасил Грицина.

— Мальчики смотрят на девочек, как на существа низшие, всячески их притесняют. И я считаю, что это не что иное, как пережиток тех времен, когда на женщину смотрели, как на рабыню, товарищи...

— Загнула! — сказал Грицина.

— ...И по-моему, товарищи, мы должны организовать над Рожковым товарищеский суд, мы должны сделать этот случай достоянием всей школы, мы должны, товарищи, вытравить эти феодальные замашки из нашего коллектива.

Она замолчала. «Феодал» Димка кусал нижнюю губу. Нюся посматривала на него.

— Так,— сказал председатель.— Грицина — за исключение. Зоя — за товарищеский суд. Смирнова! Твое мнение?

Нехотя, все еще грызя платок, Оля проговорила:

— Если бы всех за это исключали, то тебя давно бы в школе не было. Как ты меня в шестом классе изводил!

Председатель разозлился. Темный чуб снова заболтался над очками.

— Вот что, Смирнова: мы, кажется, говорим о Рожкове... Понятно тебе? По-моему, дело ясное. Рожкова предупреждали не раз, что такого хулиганства школа не потерпит и что подобное хулиганство...

— Какое тут хулиганство! — раздался вдруг спокойный тоненький голосок.— Никакого тут хулиганства нет.

Все обернулись.

Читальня была как бы перегорожена голубоватыми косыми лучами солнца, и за этими лучами, в дальнем углу, сидела белобрысая девочка лет тринадцати. Навалившись на стол, закинув красный галстук за плечо, она писала заголовок для стенгазеты.

— Как? Что ты сказала? — переспросил Женя.

— Никакого тут хулиганства нет.

— Так. А что же это, по-твоему?

Не поднимая головы, девочка ответила спокойно:

— Просто сохнет он. И всё.

— Чего? — поднял голову Грицина.

— Сохнет он по ней, говорю. Ну, нравится она ему.

Председатель встал, снял очки и положил их на стол. С него слетела вся официальность:

— Погоди... Что ты чепуху городишь! А зачем бьет тогда?

— Ну, все так делают. Небось, когда по мне Антошкин сохнул, я вся в синяках ходила и то никому не жаловалась.

— Черт!.. Вот так штука! — пробормотал Женя и, заложив руки за спину, принялся ходить по читальне.

Димка вскочил весь красный. Маленькие серые глазки метались из стороны в сторону.

— Ничего я по ней не сохну! — закричал он свирепо.

Нюся Беленькая сидела опустив ресницы, такая же красная, как и Димка.

— Врет она! Ничего я по ней не сохну! — повторил Димка с еще большим остервенением.

Председатель остановился над ним:

— Ну-ка... Вот что: выйдите-ка на минуту.

Димка выбежал из комнаты. За ним, семеня тонкими ножками, вышла Нюся. Женя снова сел за столик.

— Черт!.. Вот задача! — Он повернулся к девочке: — Послушай!.. Как тебя!.. Ты уверена, что он именно... это... сохнет?

— Угу,— сказала девочка.— Весь класс знает.

— Да-а...— Женя подумал немного, теребя кончик носа.— Как же быть? А?.. Если б он из хулиганства ее лупил, можно было бы ему всыпать. А тут — дело другое. Тут...

— А нам-то что? — сказал Грицина.— Сохнет не сохнет — все равно морду бьет.

Зоя проговорила очень серьезно:

— Нет, Грицина. Это, знаешь, формальный подход. Перед нами живой человек все-таки. И может, он даже страдает, товарищи.

Оля наконец вынула изо рта платок, положила его на стол и скомкала двумя руками.

— Меня интересует один вопрос,— заговорила она медленно, не поднимая глаз.— Выходит, что если тебе кто-нибудь не нравится и ты его изводишь, то тебя за это накажут. Если же тебе нравится кто-нибудь, так издевайся над ним сколько хочешь, и тебя же за это пожалеют. Странно очень!

Председатель слегка покраснел:

— Ничего нет странного. Тут нужно учитывать психологию.

— Интересно! Какая же это психология!

— А такая: человеку нравится девочка. Он не решается ей об этом сказать, ну и...

Он запнулся. Зоя помогла ему:

— Понимаешь, он не решается ей сказать, но ему хочется обратить на себя внимание. Понимаешь?

— И колотит?

— Да. Но не из хулиганства, а чтоб обратить внимание.

Оля встала и в упор посмотрела на Женю:

— Дайте мне слово, товарищ председатель.

— Бери, кто его тебе не дает!

— Вот что я скажу. Рожков у нас не единственный. Вот... У нас много на него похожих... И даже в десятых классах есть. И я считаю, что Рожкова и ему подобных нужно судить товарищеским судом, как сказала Зоя... Потому что это безобразие! Никто не виноват, что им самолюбие не позволяет вести себя по-человечески. Будь моя воля, я бы этого Рожкова из школы выгнала... Они воображают, что никто ничего не знает. Нет! Простите Женечка! О Рожкове она говорит, что все знают, и о других тоже все знают. И, пожалуйста, избавьте нас от таких...

Снова наступило молчание.

Лицо председателя было в тени, а уши, сквозь которые просвечивало солнце, горели, как два светофора.

— Ничего не понимаю,— забормотал он.— Наговорила, наговорила, а чего наговорила, сама не разберет.

— Разберу великолепно! И ты разберешь,— буркнула Оля и опять вцепилась зубами в платок.

— Какие-то обобщения... которые никому не нужны... Говорила бы конкретно, что делать с Рожковым.

— Я знаю, что делать,— сказала Зоя.— Нужно, товарищи, не администрировать, а создать условия для нормальных дружеских отношений.

— Валяйте. Создавайте,— пожал плечами Грицина.

— Конкретно: нужно Беленькой и Рожкову дать совместную работу.

— Правильно,— сказал председатель.

— Бесполезно,— сказала Оля.

— Почему бесполезно? Общая работа всегда сближает.

— А я знаю, что бесполезно!

Председатель повернулся к ней и почти закричал:

— Вот что, Смирнова! Хочешь говорить, так говори прямо. Понятно?

— Я и так прямо говорю.

— Конкретно: какую работу дадим?

Грицина потянулся и зевнул:

— Дать им написать лозунги к Первому мая.

— Нельзя,— сказала Зоя.— Нужна творческая работа.

Они помолчали и стали думать. Председатель грыз ноготь. Грицина рассматривал свои большие, измазанные чернилами кулаки. Оля широко открытыми злыми глазами смотрела перед собой, прижав ко рту платок. Так прошло минуты две.

— Ничего я по ней не сохну,— раздалось за дверью.

Послышался звук затрещин — одной, другой, третьей, затем приглушенный писк. Учкомовцы повскакали со своих мест. Один стул полетел на пол.

— Рожков! Опять! — заорал Женя.— А ну-ка, войдите сюда.

За дверью все стихло.

— Войдите сюда, я вам говорю!

Дверь открылась. Вошла Нюся, красная и взъерошенная. Она держалась рукой за затылок.

— А где Рожков?

— Убёг,— тихо ответила Нюся.— То есть он убежал.

— Он опять колотил тебя?

Нюся быстро отняла руку от затылка.

— Я спрашиваю: он опять тебя ударил?

Нюся подумала немного, опустив глаза.

— Не!..— коротко ответила она.

...В светлой читальне было тихо и пусто. Девочка, трудившаяся над стенгазетой, встала из-за стола, потянулась и, подойдя к подоконнику, села на него. Болтая ногами, мурлыча какую-то песенку, она смотрела вниз, на теплый, тихий переулок. Крыши домов были уже совершенно сухие, но на мостовой между голубоватыми, розоватыми и серыми булыжниками еще чернела сырая земля.

Вот из дверей школы вышли Зоя и Грицина. Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Вот выбежала Нюся. Она весело поскакала по тротуару на тонких прямых ногах.

Вот вышли Оля в сером пальтишке и долговязый председатель в черном костюме. В каждой руке он держал по портфелю. Они остановились, поговорили немного и медленно побрели по чистому тротуару, обходя маленькие подсыхающие лужи. Два портфеля поочередно хлопали председателя по длинным ногам.

Девочка сползла с подоконника и вернулась к своему столу. Наматывая кончик красного галстука на палец, она с грустью смотрела на испорченный заголовок стенгазеты. Там было написано: «З а о т и ч н у ю у ч е б у».

ДРЕССИРОВЩИКИ

В передней раздался короткий звонок. Бабушка вышла из кухни и открыла дверь. На площадке лестницы стоял мальчик, которого бабушка еще не видела. Он слегка поклонился и очень вежливо спросил:

— Извините, пожалуйста. Тут живет Гриша Уточкин?

— Ту-ут,— протянула бабушка, подозрительно оглядывая гостя.

Сам мальчик произвел на нее довольно приятное впечатление. Он был одет в тщательно отутюженные синие брюки и чистенькую желтую тенниску с короткими рукавчиками. На груди у него алел шелковый галстук, золотистые волосы его были аккуратно расчесаны на пробор.

При всем этом он держал под мышкой очень грязную и рваную ватную стеганку, а в другой его руке был зажат конец веревки, привязанной к ошейнику криволапой, неопределенной масти собаки с торчащей клочьями шерстью. Вот эта стеганка и эта собака заставили бабушку насторожиться.

— Скажите, а можно видеть Гришу?

— Мо-о-ожно,— после некоторого колебания протянула бабушка. Она хотела было сказать, что собак не следует водить в комнаты, что от них одна только грязь, но сдержалась и лишь добавила: — В ту дверь иди.

Однако мальчик не повел собаку в комнату, а строгим голосом сказал:

— Пальма, сидеть! Сидеть! Пальма, кому говорят? Сидеть!

Пальма зевнула и села с выражением безнадежной скуки на бородатой морде. Мальчик привязал конец веревки к перилам лестницы и только после этого постучал в указанную бабушкой дверь.

Гриша, коренастый, с копною темных взъерошенных волос и с суровым выражением лица, пилил в это время какую-то дощечку, прижав ее коленкой к сиденью стула. Он несколько удивился, узнав в пришельце Олега Волошина, с которым он учился в параллельных классах и с которым почти не был знаком. Гриша выпрямился и, заправляя рубаху в штаны, молча уставился на гостя.

— Здравствуй, Уточкин,— сказал тот, прикрыв за собой дверь.— Ты не удивляйся, что я к тебе пришел. У меня к тебе одна просьба.

— Ну? — коротко спросил Гриша.

— Ты мог бы помочь мне дрессировать собаку?

Гриша всегда был готов взяться за любое дело, но говорить много не любил:

— Мог бы. А как?

— Понимаешь, я ее дрессирую на собаку охранно-сторожевой службы. Я уже научил ее ходить рядом, садиться по команде, ложиться... Теперь я с ней отрабатываю команду «фасс»... Чтобы она бросалась, на кого я прикажу. А для этого нужен ассистент, совсем незнакомый для собаки человек.

— Чтобы она на него бросалась?

— Ага. Мы ее уже дрессировали с ребятами нашего класса, и она очень хорошо на них бросалась, но теперь она с ними перезнакомилась и больше не бросается. А надо закрепить рефлекс. Вот я тебя и прошу...

Гриша в раздумье почесал широкий нос:

— А если покусает?

— Во-первых, я ее буду держать на поводке, а во-вторых, ассистент надевает защитную спецодежду.— Олег развернул стеганку и вынул из нее такие же драные ватные штаны.— Со мной все мальчишки из нашего класса ее дрессировали, а она только одного Сережку Лаптева немножко укусила. Согласен?

— Согласен. А где твоя собака?

— Я ее на лестнице оставил, чтобы она не знала, что мы с тобой знакомы. Я сейчас выйду с ней и буду ждать тебя на Тихой улице. А ты надевай спецодежду, приходи туда и подкрадывайся к Пальме, как будто злоумышленник. Ладно?

— Ладно. Иди!

Олег удалился. Гриша надел кепку и принялся облачаться в спецовку. Это оказалось делом нелегким, потому что брюки были огромных размеров. Стянув их ремнем под мышками и завязав тесемочками у щиколоток, Гриша стал похож на очень большую, диковинной формы гармошку. Ватная куртка, которую он надел, несколько поправила дело: свисая ниже колен, она почти совсем скрыла брюки. Рукава, болтавшиеся сантиметров на двадцать ниже кистей рук, Гриша засучивать не стал.

Грише, конечно, не хотелось, чтобы бабушка увидела его в таком костюме, поэтому, прежде чем выйти из комнаты, он приоткрыл дверь и прислушался, а потом уж выскользнул из квартиры.

Улица Тихая была и в самом деле очень тихой улочкой. Здесь вдоль тротуаров вкривь и вкось росли старые липы, за которыми прятались маленькие домики в один и два этажа. Движение тут было такое небольшое, что между булыжниками мостовой зеленела травка.

Придя сюда, Гриша издали увидел Олега, который расхаживал по мостовой, громко приговаривая:

— Рядом! Пальма, рядом!

— Эй! — негромко крикнул «ассистент».

Дрессировщик остановился, скомандовал Пальме сидеть и кивнул Грише головой: можно, мол, начинать.

Ассистент надвинул на нос кепку, свирепо выпятил нижнюю челюсть и, слегка приседая, болтая концами рукавов, зигзагами стал подбираться к собаке.

Пальма заметила ассистента и, сидя, принялась разглядывать его, склоняя бородатую морду то вправо, то влево. Когда Гриша приблизился к ней метров на десять, она поднялась и негромко зарычала.

— Пальма! Фу! Сидеть! — сказал Олег.

И Пальма неохотно села, продолжая скалить зубы.

Ассистент стал на четвереньки и тоже зарычал.

— Фасс! — крикнул Олег.

Пальма рявкнула и так стремительно бросилась на Гришу, что дрессировщик еле удержал ее за веревку.

Гриша вскочил и шарахнулся в сторону.

— Видал? — тихонько сказал Олег.

— Ага,— так же тихо ответил Гриша.— Только она и без твоего «фасса» бросилась бы... Ведь я ее дразнил.

— Теперь знаешь что? Теперь давай без дразнения. Ты спрячься за угол, а потом выйди и спокойно иди по тротуару. И даже не смотри в нашу сторону. Ладно?

— Ладно!

Гриша добежал до перекрестка, спрятался за угол и, подождав там минуту, степенно зашагал по противоположному от Олега тротуару. Вот он поравнялся с ними... Вот прошел мимо...

— Фасс!

«Рррав! Рав-рав!»

Обернувшись, Гриша увидел, как Пальма, натягивая веревку, рвется к нему.

— Здóрово! — сказал Олег с другого тротуара.— Все! Спасибо! Проверка сделана. Снимай спецодежду и иди сюда.

Гриша снял ватник и, отирая пот со лба, приблизился к дрессировщику. Пальма попыталась цапнуть его за ногу, но Олег прикрикнул на нее и заставил сесть. Он улыбался, голубые глаза его блестели, а лицо разгорелось.

— Видел? Видел, что такое дрессировка? Ты даже не взглянул на нее, а она уже бросилась.

Стоя несколько поодаль от Пальмы, Гриша ковырял в носу.

— Ну и что ж, что бросилась! Я ее дразнил, она меня запомнила, вот и бросилась. И в такой одежде она на каждого бросится. Вот если бы она на ту тетеньку бросилась, тогда другое дело было бы! — И Гриша указал глазами на полную гражданку, которая вразвалочку шла по противоположному тротуару, держа в руке сумку с продуктами.

Олег перестал улыбаться и тоже посмотрел на гражданку.

Когда она прошла мимо, он присел рядом с Пальмой и, вытянув руку в направлении прохожей, тихонько скомандовал:

— Пальма, фасс!

В ту же секунду раздался звонкий лай, и веревка дернула Олега за руку.

— Пальма, фу! — Олег с торжеством обратился к Грише: — Ну что, а? Ну что, видел?

Только теперь Гриша уверовал в силу дрессировки. Держа под мышкой свою лохматую спецодежду, он присел на корточки перед Пальмой и стал разглядывать ее.

— Это какая порода? Дворняжка?

— В том-то и дело, что обыкновенная дворняжка!

— Если бы овчарка, она еще лучше бросилась бы,— заметил Гриша.

— А я, ты думаешь, для чего ее дрессирую? Я выучу ее, пойду в питомник, где служебных собак разводят, покажу, как я умею дрессировать, и мне дадут на воспитание щенка-овчарку.

Гриша поднялся. Он все еще смотрел на Пальму.

— Наверняка дадут? — спросил он.

— Не совсем наверняка, а просто я так думаю.

— А у нас в городе есть... эти самые... где овчарок разводят?

— Питомники? Конечно, есть... При ДОСААФе есть, при Управлении милиции есть... Я в ДОСААФ пойду. Вот только отработаю с ней лестницу, барьер и выдержку и пойду показывать.

— А что такое лестница, барьер и выдержка?

— Лестница — это чтобы она умела подниматься и спускаться по приставной лестнице. Барьер — это чтобы она умела преодолевать заборы, а выдержка — это так: я, например, скомандую ей сидеть, потом уйду куда-нибудь, хотя бы на полчаса, и она не сойдет с места до тех пор, пока я не вернусь.

До сих пор Гриша мало был знаком со служебным собаководством. Он слышал, что есть собаки-ищейки, раза два он видел в кино замечательно умных овчарок, совершавших подвиги вместе с пограничниками. Но всегда ему казалось, что воспитание подобных собак доступно лишь особым специалистам.

И вот теперь он увидел, что не специалист, а простой школьник заставляет не овчарку, а самую паршивенькую дворняжку по команде садиться, по команде ходить рядом, по команде бросаться на прохожих.

С виду флегматичный, угрюмый, Гриша был человеком страстным, увлекающимся. Он представлял себе, как идет рядом с огромной овчаркой, от которой все шарахаются в стороны, как он приходит с ней в школу и как на глазах у изумленных ребят этот свирепый, клыкастый зверь по одному его, Гришиному, слову перебирается через забор, поднимается по приставной

лестнице на чердак сарая и спокойно, не сходя с места, сидит во дворе, пока Гриша занимается в классе.

— Волошин, а где ты научился... это самое... дрессировать?

— Очень просто. Купил себе в магазине книжку, «Служебное собаководство» называется, по ней и научился.

— Я себе тоже такую куплю. С собаками вот плохо... Я бы мог какую-нибудь дворняжку поймать, только бабушка прогонит.

Ребята долго беседовали, стоя на краю тротуара. Олег показал Грише все штуки, какие умела проделывать Пальма. Гриша был так увлечен этим, что только раз оглянулся, услышав в отдалении неторопливые, четкие шаги. По противоположному тротуару шел милиционер — высокий, стройный, подтянутый, с лейтенантскими погонами. Заложив большие пальцы рук за поясной ремень, он поглядывал на ребят, возившихся со смешной собакой, и улыбался. Олег тоже заметил милиционера.

— Смотрит,— тихо сказал он.

Польщенные вниманием лейтенанта, ребята снова оглянулись на него и тоже улыбнулись. Тот слегка им подмигнул. И вдруг Гриша вспомнил, что, по словам Олега, в Управлении милиции тоже ведь есть питомник. Он тихонько толкнул Олега в бок и зашептал:

— Покажи ему! Покажи ему, как она бросается!

— Неудобно.

— Ну, чего неудобно! Шутя ведь. Покажи!

Олег секунду поколебался, потом присел, вытянул руку в направлении милиционера и громко, чтобы тот слышал, крикнул:

— Пальма, фасс! Фасс!

Пальма рванулась, выдернула веревку из руки Олега и с яростным лаем понеслась к милиционеру.

— Тикай! — в ту же секунду крикнул Гриша.

Что было дальше с Пальмой, ребята не видели. Кинув стеганку на тротуар, Гриша юркнул в ближайшие ворота. Олег бросился за ним.

Ребята даже не разглядели двора, в который они забежали, они заметили только, что у забора, справа от ворот, возвышается большая поленница, а между поленницей и забором есть щель шириной сантиметров в тридцать, если не меньше. Оба, словно сговорившись, свернули направо, втиснулись в эту щель и замерли.

Через несколько секунд до них донеслись размеренные шаги, затем стук пальцев по стеклу окна. Все это слышалось совсем близко, почти у самой поленницы. Прошло еще несколько секунд. Щелкнула задвижка, скрипнула дверь. Женский голос немного встревоженно спросил:

— Вам кого?

— Это ваши дети хулиганят, собак на прохожих натравливают?

— Де-ети? — протянула женщина.— У нас во всем доме ни одного ребенка нет.

— Ни одного ребенка нет, а я видел, как двое сюда побежали... Видите, что она мне сделала? Видите?

— Пожалуйста, войдите да посмотрите, если не верите. Двор у нас проходной. Вон калитка! Наверно, туда и убежали.

Несколько секунд длилось молчание.

— Ну, виноват...— пробормотал наконец лейтенант.

— Пожалуйста,— сухо ответила женщина.

Хлопнула дверь. Шаги милиционера стали удаляться в сторону, противоположную от ворот, и скоро совсем затихли.

Все это время мальчики простояли не шевелясь, не дыша, стиснутые между кирпичным забором и поленьями.

— Вылезай,— прошептал Гриша.

— Тише ты, дурак! — прошипел Олег и вцепился пальцами в Гришину руку повыше локтя. Он весь дрожал от испуга.

— Вылезай! А то вернется — здесь искать будет,— сказал Гриша и силой вытолкнул Олега из-за поленницы.

Не взглянув во двор, не поинтересовавшись, там ли милиционер или нет, ребята выскочили за ворота и со всех ног помчались по улице.

Они остановились только в подъезде Гришиного дома. На носу и щеке ассистента красовались большие ссадины: он ободрал лицо о поленья. Новенькие синие брюки дрессировщика были испачканы смолой, к ним прилипли мелкие щепочки и чешуйки сосновой коры.

— Вот это влипли! — медленно проговорил он, когда отдышался.— Дурак я был, что тебя послушался.

— Дурак, что веревку выпустил,— буркнул Гриша и сел на ступеньку, подперев подбородок кулаками, надув губы.

Олег подошел к Грише и наклонился над ним:

— Ты знаешь, что теперь будет? Думаешь, это дело так оставят? На представителя власти собак натравливать!

— И ничего не будет. Скажем, что нечаянно: показать хотели,— проворчал Гриша.

— «Показать хотели»! — передразнил Олег.— А кто тебе поверит, что показать хотели? Как ты докажешь, что хотели показать?

Гриша угрюмо молчал. На душе у него было тошно.

— А ты еще спецодежду потерял,— продолжал допекать его Олег.— Мне она не нужна, а знаешь, что теперь будет? Нас найти могут по этой спецовке.

— Как еще — найти? — уныло спросил Гриша.

— А очень даже просто: приведут ищейку, дадут ей понюхать спецодежду, и она по запаху найдет и меня и тебя, потому что ты тоже ее надевал.

Гришу совсем взяла тоска. Он встал, заложил руки за спину и, вцепившись пальцами в локти, прошелся по площадке. Через минуту он остановился перед Олегом:

— Слушай! Давай так: если тебя поймают, ты не говори, где я живу, скажи, что не знаешь. А если меня поймают, я не буду говорить, ладно?

— Ладно.— Помолчав немного, Олег вздохнул: — Пока! Пошел. Тут еще уроки надо готовить...

Высунув голову из двери, он посмотрел направо, посмотрел налево и рысцой затрусил по улице, то и дело оглядываясь... Гриша поплелся на второй этаж, в свою квартиру.

Бабушка, открывшая ему дверь, сразу заметила ссадины на его лице:

— Ишь ободрался! Где это тебя угораздило?

— Так просто...— буркнул Гриша и прошел в комнату.

До вечера он слонялся по квартире без дела, часто подходил к двери, со страхом прислушиваясь к шагам на лестнице, ожидая, что вот-вот раздастся звонок и на пороге появится милиционер с овчаркой.

А на дворе, как назло, стоял чудесный сентябрьский день. На улице, под окнами у Гриши, происходил напряженный матч между командой ребят из Гришиного дома, в которой он всегда играл вратарем, и футболистами соседнего двора.

— Гришк! Иди! Проигрываем без тебя! — кричали ему ребята, когда он выглядывал в окно.

— Не хочется,— угрюмо отвечал Гриша и отходил в глубину комнаты.

Настал вечер. Пришли папа и мама. Сели ужинать. Глядя себе в тарелку, Гриша жевал котлету так медленно, так неохотно, что мама встревожилась:

— Гришунь, что это ты скучный такой?

— Так...

Потянувшись через стол, мама пощупала ладонью Гришин лоб:

— Всегда такой аппетит у ребенка, а тут еле жует.

— Похоже, с ребятами чего не поделил. Видишь, нос ему поцарапали,— сказал папа.— Верно я говорю, Григорий Иванович?

Гриша ничего не ответил. Он молчал до конца ужина и только за чаем обратился к отцу:

— Пап, вот у нас один мальчишка натравил собаку на милиционера, и она его укусила. Что ему будет, этому мальчишке, если его поймают?

— Как — что будет? Родителей оштрафуют, в школу сообщат... За такое хулиганство по головке не погладят.

— Это сегодняшний небось натравил,— заметила бабушка.

— Какой «сегодняшний»? — переспросил папа.

— Да приходил тут к Гришке один. С виду аккуратный такой, а с ним собака... ну до того отвратительная — прямо глядеть тошно.

На следующий день было воскресенье. Все семейство собралось идти обедать к Гришиной тетке, которая праздновала день своего рождения.

Гриша хотел было сказать, что ему нездоровится, и остаться дома, но потом представил себе, как он будет томиться в квартире один-одинешенек в то время, когда можно было бы сидеть среди веселых тетиных гостей, есть всякие вкусные вещи и слушать радиолу...

Гриша отважился пойти. Как назло, папа, мама и бабушка решили не ехать на автобусе, а прогуляться пешком. В каждом милиционере Грише чудился тот самый лейтенант, и он не шел по улице, а все время маневрировал. Едва увидев человека в милицейской форме впереди себя, он сразу отставал от родных и шел за ними, почти уткнувшись лицом в папину спину. Обнаружив милиционера сзади, он забегал вперед и шел так близко от родителей, что они наступали ему на пятки.

— Слушай, друг, да иди ты, как люди ходят, что ты вертишься как заведенный! — не выдержал отец.

В этот момент шагах в пятнадцати от Гриши из какого-то магазина вышел высокий милиционер и направился прямо к нему. Гриша не успел разглядеть его лица, не заметил, какие на нем погоны. Он тут же юркнул в ближайший подъезд и взбежал на площадку второго этажа. Минуты две все семейство Уточкиных стояло перед подъездом, тщетно покрикивая:

— Григорий! А ну, довольно тебе дурить! Что, маленький, в самом деле?

— Гришка, будешь озорничать, домой отправишься, слышишь?

...С не меньшими предосторожностями шел Гриша на следующее утро в школу.

У школьного подъезда он встретил Олега. На нем вместо синих брюк были теперь серые, вместо желтой тенниски была белая рубаха. На голове у Олега сидела соломенная крымская шляпа с огромными полями, которая делала его похожим на гриб.

— Ну как? — спросил Гриша, поздоровавшись с Олегом.

— Пока ничего. Я костюм переменил для маскировки. Видишь?

— Пальма вернулась?

— Вчера еще. А у тебя как?

— Пока в порядке.

Прошло три дня. Никаких неприятностей за это время не случилось. Гриша постепенно осмелел. Он снова начал играть с ребятами в футбол и уже не шарахался в подъезды при виде милиционера. То же было и с Олегом. Скоро Гриша опять стал мечтать о воспитании овчарки и однажды, встретив во время перемены Олега, спросил его:

— Ну как, дрессируешь?

— Нет. У меня Пальма сейчас больна.

— Чем больна?

— Да так что-то... Ничего не ест, не пьет да все лежит...

— Когда будешь опять дрессировать, возьми меня, ладно? Я поучиться хочу.

Дрессировщик обещал позвать Гришу, а в следующее воскресенье случилось вот что.

Папа, мама и Гриша сидели за обеденным столом. Бабушка ушла зачем-то в кухню. Вдруг раздался звонок, бабушка открыла дверь и ввела в комнату Олега. Тот тяжело дышал, не то от волнения, не то от быстрого бега. На лбу и носу его блестели мелкие капельки пота.

— Здрасте! — сказал он и, помолчав, добавил: — Приятного аппетита!

Затем он помолчал еще немного, вобрал в себя воздуха и вдруг выпалил:

— Уточкин, я пришел тебе сказать, что тебе нужно делать прививки!

В комнате на секунду стало очень тихо.

— Какие прививки? — спросил Гриша.

— От бешенства. У нас Пальма заболела, перестала есть и пить, а потом ушла куда-то и пропала. Мама пошла в ветеринарную поликлинику, и ей там сказали, что у Пальмы могло быть бешенство, только тихое. Вот! И теперь мне, маме, тебе и другим ассистентам надо делать прививки.

— Та-ак! — негромко сказал Гришин папа.

— Ну, вот словно сердце чуяло! — проговорила бабушка.— Только он пришел со своей собакой этой, так... ну словно в меня что-то стрельнуло: не бывать добра от этой собаки, не бывать!

Олег добавил, что прививки надо делать срочно, потому что Пальма могла болеть уже давно, и ушел. Гриша расспросил отца о том, как проявляется бешенство, и после этого весь вечер бегал на кухню к крану пить воду, чтобы проверить, не начинается ли у него водобоязнь.

Он лег спать в очень мрачном настроении, проснулся на

следующее утро тоже не в духе. Но, придя в школу, сразу развеселился.

У школьного крыльца большая толпа ребят встретила его хохотом и громкими криками:

— Во! Еще один бешеный!

— Привет взбесившемуся!

Оказалось, что у Олега в школе, помимо Гриши, было еще целых тринадцать ассистентов и всем им нужно было сегодня идти на Пастеровскую станцию.

Вся школа уже узнала об этом, и шуткам не было конца. «Бешеные» не обижались, а, наоборот, сами развлекались вовсю. Среди школьниц нашлось несколько девочек, которые боялись подходить к помощникам Олега, считая их уже заразными. К великому удовольствию всех ребят, ассистенты на каждой перемене гонялись за этими девчонками, щелкая зубами и страшно завывая.

По окончании уроков десятка четыре школьников задумали провожать ассистентов и дрессировщика на Пастеровскую станцию.

— Олег, командуй!.. Олег, построй своих бешеных! — раздавались крики, когда наши герои вышли на улицу.

— Бешеные! Построиться! Правое плечо вперед, шагом марш! — скомандовал Олег.

Ухмыляющиеся ассистенты парами замаршировали по тротуару, а провожающие густой толпой последовали за ними, играя на губах веселый марш.

Войдя во двор, где помещалась станция, ребята подняли такой шум, что все медицинские работники повысовывались из окон.

Врачи и сестры сначала рассердились на ребят, но, узнав, что это провожают Олега, о котором они уже слышали вчера от его мамы, и что с ним четырнадцать ассистентов, они сами начали смеяться.

Провожающие остались во дворе, а дрессировщик и его помощники вошли в помещение станции и выстроились в очередь у окошка с табличкой: «Запись первичноукушенных». Эта табличка всех еще больше развеселила. Гриша даже выбежал во двор, чтобы сообщить ребятам:

— Мы теперь не бешеные, а первичноукушенные!

Получив от врача направление на укол, ассистенты вышли во двор. Олег скомандовал: «Первичноукушенные, построиться!» — и все торжественным маршем направились в районную амбулаторию, где ассистентам и дрессировщику впрыснули по порции сыворотки в животы. И, хотя уколы были довольно болезненны, всем по-прежнему было очень весело.

После прививок «первичноукушенные» и провожающие куч-

ками разошлись по домам в разные стороны. Гриша и Олег жили дальше всех, поэтому они скоро остались одни.

Бодро шагая рядом с Гришей, Олег вспомнил все пережитое за сегодняшний день.

— Мы теперь благодаря Пальме на всю школу прославились! — говорил он, улыбаясь.— Хотя нам и уколы теперь делают...

— Угу, зато смеха было сколько! — вставил Гриша.

— Главное — ко всему относиться с юмором,— философствовал Олег.— Если будешь ко всему относиться с юмором, то никакие неприятности тебе...— Он вдруг умолк, глядя куда-то вперед, в одну точку. Он уже не улыбался. Лицо его побледнело и приняло самое разнесчастное выражение.

Гриша взглянул в том направлении, куда смотрел Олег, и тоже весь как-то осунулся. Недалеко от них на середине перекрестка стоял постовой милиционер низенького роста, с большими, закрученными вверх усами.

Секунд пятнадцать ребята молча смотрели на этого милиционера, потом взглянули друг на друга.

— Э-э, а лейтенант-то?..— совсем тихо, упавшим голосом сказал Гриша.

Олег молчал. Ребята машинально тронулись дальше и долго шли, не говоря ни слова.

— А может, она его не покусала,— сказал наконец Гриша.

— Почем я знаю,— почти шепотом ответил Олег.

— А может, она и вовсе не бешеная, да?

Олег вдруг остановился.

— А если бешеная? А если покусала, тогда что? — вскрикнул он неожиданно тоненьким, пискливым голоском.

— Предупредить нужно, да? — глядя себе под ноги, сказал Гриша.

— А ты думаешь, не надо? Думаешь, не надо? А если человек из-за нас умрет? Тогда что?

— Вот я и говорю: надо.

— «Надо, надо»! А как ты предупредишь? Как предупредишь? Пойдешь и скажешь ему: «Здравствуйте! Это мы на вас собаку натравили. Теперь идите делать прививки»? Так ты ему скажешь, да? Знаешь, что он с нами сделает?

Ребята подошли к крыльцу старинного особняка, украшенному каменными львами со щербатыми мордами. Олег положил на одну из ступенек свой портфель и сел на него. Сел рядом с ним и Гриша. Глаза у дрессировщика покраснели, он часто моргал мокрыми ресницами и хлюпал носом.

— Дурак я... Нет... нет, не дурак, а просто идиот, что послушался тебя,— причитал он, мотая из стороны в сторону головой.— Послезавтра папа из отпуска приезжает, а я... ему

такой подарочек... «Платите штраф рубликов двести за вашего сына».

— И еще из пионеров исключат,— добавил Гриша.

Долго сидели дрессировщик и ассистент на ступеньках крыльца между каменными львами. Лица обоих выражали такое уныние, что прохожие замедляли шаги, поглядывая на них.

Уже давно настало время обеда, но ни Гриша, ни Олег не вспомнили об этом.

Каждый из них с тоской представлял себе, как его задерживают в милиции, как вызывают туда ничего не подозревающих родных и как, наконец, на глазах у всего класса снимают с него пионерский галстук. И каждый чувствовал, что он не в силах вынести все это. И каждого вместе с тем мороз продирал по коже, как только он начинал думать о лейтенанте, который мог умереть мучительной смертью из-за их малодушия.

— У него, может, дети есть,— медленно проговорил Гриша.

Олег помолчал немного, потом сказал решительным тоном:

— До приезда папы из отпуска ничего не будем делать. Послезавтра папа приедет, я его встречу как следует, а после послезавтра пойдем и заявим.

Гриша не ответил. Олег помолчал еще немного и вдруг быстро поднялся:

— Нет, не могу! Уж лучше сразу, чем еще два дня мучиться. Идем!

Гриша не шевелился. Он сидел на ступеньках, опустив голову, и молчал.

— Ну, пошли! Решили так уж решили,— сказал Олег.

— Куда пошли? — проворчал Гриша, не поднимая головы.

— Ну, в милицию, в третье отделение. Пойдем расскажем все, а там они уж сами найдут того лейтенанта и предупредят. Пошли!

Но Гриша и на этот раз не шевельнулся.

— А мне чего ходить? Твоя собака, ты и иди.

— Ах, так! Ну и пожалуйста!.. Как хочешь!..— Олег всхлипнул.— Сам подбил меня, чтобы натравить, а теперь в кусты... Как хочешь... Пожалуйста!..

И Олег, вытянувшись в струнку, слегка подрагивая узкими плечами, не оглядываясь, быстро пошел по тротуару.

Тут только Гриша поднял голову и стал смотреть вслед удаляющемуся товарищу. Через минуту он вскочил и рысцой догнал дрессировщика:

— Ладно. Пошли.

Приятели рядышком зашагали по тротуару. Пройдя два квартала молча, Олег громко, с какой-то судорожной уверенностью в голосе, заговорил:

— Вот увидишь, что нам ничего не будет! Ну, вот увидишь!..

Ведь они же должны понимать!.. Ведь мы же благородный поступок... Ведь мы же ему, может быть, жизнь спасаем, правда? Ведь они должны понять, правда?

Гриша молчал, только сопел.

И вот они остановились перед подъездом, рядом с которым была прибита вывеска: «Третье отделение милиции».

— Пошли? — чуть слышно сказал Олег, взглянув на Гришу.

— Пошли,— прошептал тот.

И оба не двинулись с места.

— Ну идем? — сказал через минуту Олег.

— Идем.

Олег приоткрыл дверь, заглянул в нее, потом тихонько, словно крадучись, вошел в подъезд. Следом за ним бочком протиснулся и Гриша.

Ребята очутились в длинном коридоре с двумя рядами закрытых дверей. Только первая дверь справа была открыта. Она вела в комнату, разделенную на две части деревянным барьером.

Первая половина комнаты была пуста, если не считать милиционера, стоявшего у двери. За барьером у стола стоял маленький, толстый лейтенант с красным лицом и что-то сердито кричал в телефонную трубку. За другим столом в дальнем углу сидел еще один милицейский работник.

— Вам чего тут нужно? — строго спросил милиционер у двери, как только ребята сунулись в комнату.

— Нам?.. Нам... начальника...— пролепетал Олег.

— Какого начальника? Дежурного? По какому вопросу?

— Нам по вопросу... нам заявить нужно, по очень важному...

— Дежурный занят. Посидите здесь,— сказал милиционер, пропуская ребят в комнату, и передразнил с усмешкой: — «Заявить»!

Ассистент с дрессировщиком сели на скамью с высокой спинкой. Лица их теперь стали серыми от страха, потому что толстый лейтенант, сверкая маленькими глазками и с каждой секундой все больше распаляясь, кричал в телефон:

— А я из-за вас получать взыскание не намерен, товарищ Фролов! Понятно вам? Не намерен! Я лучше сам на вас взыскание наложу... Письмо получено. Да, да, получено, товарищ Фролов.— Лейтенант взял со стола какой-то зеленый конверт, потряс им над головой и с размаху бросил на стол.— И вы дурака не валяйте, товарищ Фролов. Маленького из себя не стройте!

Тут Гриша почувствовал, как Олег толкнул его в бок, и услышал его взволнованный шепот:

— Дураки мы! Пойдем скорее! Ведь письмо написать можно... Напишем письмо, и все!

Ребята поднялись.

— Все! Кончены разговоры! Все! — яростно прокричал толстый дежурный, треснул трубкой о рычаг и, сопя, повернулся к мальчикам: — Так! Слушаю вас!

Мальчики взглянули друг на друга и ничего не ответили.

— Ну? Что вам угодно? — повысил голос дежурный.

— Нам... мы... нам ничего... мы просто так...— пробормотал Олег.

— Как это «просто так»? Гулять, что ли, сюда пришли?

— Мы... мы... Пойдем, Уточкин,— быстро сказал Олег.

Мальчики дернулись было к выходу, но тут же застыли на месте, в ужасе приоткрыв рты и вытаращив глаза. В дверях стоял тот самый лейтенант.

Гриша так и не запомнил, сколько длилось страшное, леденящее душу молчание. Ему казалось, что прошли целые часы, прежде чем Олег выговорил сдавленным голосом:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант!

— Здравия желаю! — ответил тот, вглядываясь в мальчишек.

И вдруг дрессировщик и ассистент, словно подхваченные волной отчаяния, заговорили одновременно, заговорили громко, быстро, перебивая друг друга, стараясь друг друга перекричать:

— Товарищ лейтенант, вы... вы... нас простите, это мы на вас тогда собаку...

— Ага... нечаянно... мы вам только показать...

— Мы ее дрессировали на собаку охранно-сторожевой службы...

— Он поводок нечаянно упустил. Он вам только показать, а она вырвалась...

— Мы отрабатывали с ней команду «фасс», и мы хотели потом пойти в питомник и показать, как мы ее дрессируем...

— Вам теперь прививки надо делать...

— И мы хотели попросить, чтобы нам дали настоящую овчарку на воспитание, и...

— Потому она, может быть, бешеная. Нам тоже делают прививки...

По мере того как дрессировщик с ассистентом несли эту околесицу, лицо лейтенанта становилось все жестче, все сердитее.

— Ясно! Хватит! — вдруг крикнул он и, сунув руки в карманы брюк, большими шагами стал ходить по комнате.

Ребята умолкли. От них, как говорится, пар шел.

— А, ч-ч-черт! — прорычал высокий лейтенант.

Дежурный сидел, низко склонив голову над столом, и Гриша заметил, как он покусывает губы, чтобы не рассмеяться.

Милиционер, сидевший в углу, закрыл лицо растопыренны-

ми пальцами правой руки, и плечи у него дрожали. И милиционер, стоявший у двери, тоже сдерживал улыбку.

— А, ч-черт! — повторил лейтенант и вдруг, вынув руки из карманов, сжав кулаки, остановился перед мальчишками.— Да вы... Да я вас сейчас... да я!..— выкрикнул он громко и, так и не договорив, снова принялся шагать по комнате.

— Это которая тебе брюки на коленке порвала? — спросил дежурный, все еще глядя в стол.

Лейтенант не ответил. Тогда дежурный поднял голову и обратился к Грише:

— Так! Твой адрес и фамилия?

— Кузнецов переулок, дом три, квартира восемь,— тихо ответил тот.

Дежурный записал адрес и посмотрел на Олега:

— Твой?

— Проезд Короленко, дом пятнадцать, квартира один.

— Так. Идите!

Мальчики направились к двери, но через два шага Олег остановился и обернулся к дежурному:

— Скажите, пожалуйста, а что нам теперь будет?

— Там увидим. Идите, пока целы.

Милиционер, стоявший в дверях, пропуская ребят, легонько щелкнул Гришу по макушке.

Очутившись на тротуаре, мальчишки бросились бежать, словно боясь, что лейтенант сейчас выскочит и погонится за ними. Когда же свернули в ближайший переулок, Олег вдруг остановился, сунул руки в карманы брюк и прислонился спиной к стене дома.

— Дураки, дураки и дураки! — сказал он медленно и негромко.

— Кто... дураки?

— Мы с тобой дураки: зачем мы правдашние адреса дали? Ведь никто не проверял.

Гриша в ответ на это только вздохнул.

Одиннадцать дней Гриша ждал, что его родителей вызовут в милицию. На двенадцатый день, когда он был в школе, раздался звонок. Бабушка открыла дверь и увидела стройного лейтенанта в милицейской форме.

— Виноват! Здесь живет Гриша Уточкин?

— Зде-е-есь,— протянула бабушка упавшим голосом.

— Дома он?

— Не-е-ту... В школе!..

— Разрешите на минуту!..

Бабушка посторонилась, пропуская лейтенанта в переднюю, и тут только заметила, что лейтенант ведет на поводке щенка-

овчарку с острой мордой, торчащими ушами и высокими толстыми лапами.

— Вот, передайте ему, пожалуйста,— сказал лейтенант, вкладывая конец поводка в бабушкину руку.— На ошейнике монограмма есть. И скажите, что привет им обоим от лейтенанта Самойленко.

Лейтенант приложил руку к козырьку и удалился.

Бабушка выпустила из рук поводок и долго стояла, уперев руки в бока, глядя на щенка, который расхаживал по передней, потягивая носом. Потом она сходила в комнату, надела очки и, вернувшись в переднюю, присела на корточки.

— Ну-ка, ты! Как тебя?.. Поди сюда! — сказала она, чмокнув губами.

Щенок подошел к ней, виляя хвостом и улыбаясь. Придерживая его за спину, бабушка нашла на ошейнике металлическую пластинку. На ней было выгравировано:

«Грише Уточкину и Олегу Волошину от работников 3-го отделения милиции».

— Ишь ты!..— прошептала бабушка.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Как-то раз, еще будучи студентом-практикантом, я присутствовал на уроке Николая Николаевича.

Николай Николаевич стоял, вытянувшись перед классом, чуть приподняв седую бородку клинышком. Белая, вся в вихрах и завитушках шевелюра его резко выделялась на фоне классной доски, а черная суконная блуза-«толстовка» почти сливалась с ней. В правой руке он держал раскрытую книгу, в левой — пенсне на черной тесемочке. Не глядя в книгу, чуть помахивая пенсне, он взволнованно читал:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Сидя на самой задней парте, я видел перед собой тридцать шесть затылков и по ним мог судить о том, с каким вниманием слушают ребята Николая Николаевича. Темные и белобрысые, с косами и без кос — все затылки держались на слегка вытянутых шеях и были совершенно неподвижны.

Но вдруг два затылка — один рыжий, другой черный — оживленно задвигались. Двое мальчишек, сидевших за одной партой, принялись указывать друг другу куда-то под потолок и громко шептаться.

Николай Николаевич укоризненно взглянул на ребят. Те угомонились, но ненадолго. Вскоре рыжий поднял маленький грязный кулак и кому-то им погрозил.

Несколько учеников возмущенно взглянули на рыжего. Николай Николаевич нервно дернул бородкой в его сторону.

— Анатолий, голубчик! Если тебе неинтересно, можешь выйти из класса, но другим слушать, пожалуйста, не мешай,— сказал он сдержанно и продолжал чтение.

Дойдя до второй части стихотворения, Николай Николаевич понизил голос. Гневно поглядывая на класс, он стал читать медленно и тяжело:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!

— Хи-хи! — раздалось в классе.

Николай Николаевич захлопнул книгу.

— Я не могу...— заговорил он подрагивающим голосом.— Я не могу продолжать урок при таком отношении к творчеству Михаила Юрьевича. Я убедительно прошу Анатолия выйти из класса и не мешать коллективу работать.

Рыжий мальчишка сидел за своей партой не шевелясь.

— Толька, выйди!.. Слышишь? Выходи, Толька! — закричало несколько голосов.

Толька вздохнул на весь класс и направился к двери.

— Виноват! Минутку! — проговорил Николай Николаевич.— Подойди, пожалуйста, сюда.

Мальчишка повернулся и подошел к учителю. Маленькое лицо его было светло-малинового цвета, на нем такие же рыжие, как волосы, поблескивали веснушки, и из этого пестрого окружения тоскливо смотрели небольшие голубые глаза.

Николай Николаевич осторожно приподнял кончик красного галстука, висевшего на шее у Анатолия.

— Что это такое? — спросил он.

— Галстук,— тихо сказал мальчишка.

— Какой галстук?

— Пионерский.

Мальчишка не проговорил, а прохрипел это, но все в классе услышали его.

Николай Николаевич серьезно посмотрел на класс:

— Обращаю внимание товарищей пионеров на это явление. Анатолия прошу подождать меня возле учительской.

Николай Николаевич умолк и протянул руку с пенсне по направлению к двери. Мальчишка с напряженной физиономией вышел из класса.

— Безобразие! До чего разболтались! — пробормотал Николай Николаевич, снова раскрывая книгу.

Но в это время сдержанно засмеялся один ученик, потом другой, третий, и через несколько секунд уже громко хохотал весь класс. Все смотрели туда, куда только что глядел пострадавший Анатолий.

Посмотрел туда и Николай Николаевич. Посмотрел и я.

На стене, под самым потолком, была вентиляционная отдушина, прикрытая железной решеткой величиной с тетрадь. И за этой решеткой виднелось человеческое лицо. Николай Николаевич сразу притих. Мягкими шажками он сошел с кафедры и стал напротив решетки, заложив руки за спину.

— Эт-то что такое? — проговорил он очень тихо.

В коридоре раздался звонок. Учебный день кончился, но в классе царила такая же тишина, как и в начале урока.

Физиономия за решеткой быстро уплыла в темноту.

Николай Николаевич почти выбежал из класса. Я бросился за ним.

Мы разыскали дворника, узнали от него, что попасть в вентиляционную систему здания можно только через котельную, и вместе с ним спустились в подвальный этаж. Дверь котельной оказалась запертой. Николай Николаевич шепотом спросил дворника:

— Матвей Иванович, могу я узнать, как они сюда попали?

— Стало быть, через окно,— ответил тот, ковыряя ключом в замке.

Вошли в котельную. Там было прохладно, пахло сажей. Слева, высоко от пола, светились два окна с покатыми подоконниками, справа стояли два бездействующих (был май), коричневых от ржавчины котла. В конце помещения кирпичная стена имела выступ, похожий на огромную голландскую печь. Внизу на выступе имелась металлическая дверка, тоже похожая на печную, но только гораздо больших размеров. Дворник молча указал нам на нее.

— Николай Николаевич...— начал было я.

— Тшшш!

Мы услышали шорох, и все трое тихонько спрятались за котел. Послышалось два приглушенных голоса:

— Ну, чего ты там застрял?

— Погоди! Я за что-то зацепился.

Железная дверца приоткрылась, и из нее выполз худенький мальчишка лет двенадцати, с тонкой, очень серьезной физиономией и давно не стриженными волосами, серыми от осевшей на них пыли. Следом за ним появился другой мальчишка, толстый, круглоголовый. Он выглядел примерно на год младше

первого. Оба они принялись хлопать ладонями друг друга по бокам, по спине, и пыль, поднявшаяся от их костюмов, образовала целое облако.

— Знаешь, меня Николай Николаевич, наверно, узнал,— сказал толстый мальчишка.— Я заглянул к нему в класс, а он как увидит да ка-ак закричит: «Это что та...»

Николай Николаевич, стоявший согнувшись за котлом, молча выпрямился. Выпрямились и мы с дворником. У обоих мальчишек челюсти отвисли от ужаса.

Заложив руки за спину, учитель приблизился к ним.

— Итак, что вы делали, позвольте узнать? — ровным голосом спросил он.

Мальчишки молчали. Толстый рассеянно смотрел на кирпичную стену подвала, тонкий шевелил носком ботинка валявшийся на полу кусочек кокса.

— Ну-с! Я жду!

Толстый поднял на Николая Николаевича полные грусти выпуклые глаза и, снова опустив их, прошептал:

— Исследовали...

— Просто лазили,— тихо поправил его товарищ.

— И для этого сбежали с урока?

«Исследователи» молчали.

— Блестяще! — сказал Николай Николаевич.— А знаете ли, дорогие, как можно назвать ваш поступок? Растратой государственных средств! Да, да! Самой настоящей растратой государственных средств. Государство тратит огромные деньги, чтобы дать вам образование, чтобы сделать из вас людей, а вы что делаете во время занятий? И сами не учитесь и мешаете другим! Как это можно назвать?

Толстый растратчик государственных средств тихонько заплакал. Тонкий наступил каблуком на кусочек кокса и принялся сверлить им цементный пол.

— Идите! И прошу подождать меня возле учительской.

«Исследователи» бесшумно вышли из подвала. Николай Николаевич обратился к дворнику:

— Матвей Иванович, надо запереть эту дверку. Этак много любителей найдется.

— Да тут был замок... Не знаю, куда делся.

— Очень вас прошу: сейчас же найдите новый и повесьте.

Мы с учителем остались одни. Николай Николаевич прошелся по котельной и улыбнулся, покачивая головой.

— Ужас, что за народ! — вздохнул он.

Он помолчал, оглядывая котельную, причем бородка его резко дергалась во все стороны. Потом вздохнул и заговорил мягко, задумчиво:

— Да, милый вы мой! Удивительно все-таки жизнь устро-

ена! Тридцать лет преподаю в этой школе, смотрю на эти отдушины с решетками и ни разу не подумал, что у меня под боком такой лабиринтище.

Он еще раз осмотрелся кругом, нагнулся и зачем-то заглянул под котлы.

— Вот вы живете в доме, живете десятки лет. Уж, казалось бы, вы должны знать его до последней балки. А вы и сотой части не знаете. А потом вот такой... как бы вам сказать... шпингалет открывает вам глаза. А? Милый мой, разве не удивительно?

Я кашлянул и сказал:

— Да... Конечно...

Николай Николаевич теперь прохаживался по котельной и размахивал в воздухе пенсне:

— В конце концов, настоящая любознательность, то есть чисто биологическая страсть к познаванию мира, живет в человеке очень недолго... Лет с пятнадцати-шестнадцати мы уже перестаем замечать весьма многие окружающие нас явления. Мы сосредоточиваем свое внимание на... как бы вам, милый мой, сказать... на весьма узкой сфере этих самых явлений... Мм-да!

Николай Николаевич остановился, надел пенсне и принялся разглядывать выступ в стене.

— По всей вероятности...— Он помолчал, соображая.— По всей вероятности, такая система вентиляции в современных домах не строится. Стены слишком тонкие. А это... вы посмотрите... это же целый лабиринт...

Он подошел ближе к выступу:

— Очевидно, это основной, центральный, так сказать, канал... Или шахта. Как вы думаете? А? От него идут ответвления...

Николай Николаевич открыл железную дверцу и нагнулся, заглядывая в нее:

— И в этих ответвлениях... в этих ответвлениях создается своего рода сквозняк...

Голос Николая Николаевича стал глуше, потому что он совсем влез в отверстие и теперь стоял выпрямившись в шахте.

Мне стало скучно:

— Пора, Николай Николаевич. Может быть, пойдемте...

— А вот тут скобы есть,— донеслось из отверстия,— чтобы лазить... Удивительно, как все предусмотрено! Очевидно, для очистки. Мм-да... Гм! Гм!

Бормотание Николая Николаевича стало еще глуше и отдаленнее. Я сунул голову в отверстие:

— Пойдемте, Николай Николаевич. Уже, наверно, из школы все ушли.

Откуда-то сверху из темноты донесся голос:

— Гм! Вы только посмотрите: эта шахта... Идите-ка сюда. Да нет, вы идите сюда... Вот здесь, на стене, металлические скобы, так вы по ним... Вы обратите внимание, как здесь все предусмотрено... Да вы лезьте сюда. Вот здесь, около меня, уже боковой ход...

Я подумал, что старик обидится, если я его не послушаюсь, и, нащупав скобы, полез во тьму... Вскоре я коснулся головой ботинка Николая Николаевича.

— Виноват,— сказал он.

В это время внизу, в котельной, послышались шаги.

— Николай Николаевич, идет кто-то, неудобно.

— Тш-ш! — прошипел Николай Николаевич.

Мы притихли. Шаги приблизились. Глухо хлопнула металлическая дверца, что-то лязгнуло, потом щелкнуло. Шаги, на этот раз чуть слышные, удалились.

Если раньше можно было видеть слабо освещенное дно шахты, то теперь наступила абсолютная, кромешная темнота.

— Милый вы мой,— забормотал над моей головой Николай Николаевич,— мы, кажется, большую оплошность допустили.

— А именно?..

— Несомненно, это дворник приходил.

— И он запер нас?

— Да, голубчик, по всей вероятности.

— Гм!

— Да-а!

Мы помолчали. Николай Николаевич завозился наверху.

— Вы разрешите мне спуститься. Все-таки, знаете ли, седьмой десяток.

Я сполз по скобам вниз, за мной — педагог. В узкой шахте мы стояли вплотную друг к другу. Я потрогал дверцу.

— Заперта, Николай Николаевич.

Он вздохнул:

— Милый вы мой! Как это все нехорошо получается!

Опять помолчали. Потом я предложил:

— Кричать надо.

— Кричать? Гм! Да... Кричать... Но, знаете, уж больно это будет... как бы вам сказать... странно. Вы же сами понимаете, занятия кончились, но много детей еще осталось: кто в кружках, кто в читальне, а мы будем кричать, и в каждой комнате услышат... «Что такое?» — скажут. «А это Николай Николаевич в трубу забрался и голос подает». Неловко.

— Так что же делать?

— Честное слово, ничего не могу придумать, милый вы мой. Поверите ли... со мной никогда подобных приключений не случалось...

Я сказал, что охотно верю. Я начинал злиться.

Николай Николаевич дотронулся до моего плеча:

— Знаете что, голубчик? Вы человек молодой, ловкий... Может быть, вы слазите в какой-нибудь боковой канал и тихонько, не поднимая шума, скажете кому-нибудь: так, мол, и так, случилось такое досадное происшествие... А? Я вам буду очень признателен за это.

Что ж делать? Я снова нащупал шершавые скобы и стал карабкаться в потемках наверх, жалея, что у меня нет спичек. С каждым движением на меня сыпались какие-то соринки, было очень пыльно, и я чихал. В темноте я не видел, на какую высоту залез, но когда я добрался до первого бокового хода, то вообразил, что вишу над бездонной пропастью. Хорошо, что Николай Николаевич время от времени покашливал внизу.

Боковой канал был четырехгранной трубой длиной метров в шесть. В конце его сквозь решетку проходил свет. Я лег на живот и стал протискиваться в тесной трубе, засыпанной пылью, кусочками известки и кирпича. Когда я добрался наконец до решетки и стал смотреть через нее, то долго не мог понять, к какому помещению попал. Все оно было заполнено какими-то перегородками. Когда же понял, то полез обратно. Вылезая из трубы, я выгреб своим телом кучу мусора, и он полетел вниз. Николай Николаевич закашлялся, зачихал, потом бодро спросил:

— Ну, каковы результаты?

— Раздевалка, Николай Николаевич.

— Жаль, жаль!

Долго я ползал по пыльным и тесным ходам этого дурацкого лабиринта. И каждый раз попадал или к совершенно пустому классу, или к классу, где занимался какой-нибудь кружок. В конце концов я подполз к учительской. Там вокруг большого овального стола сидели все педагоги школы и слушали выступление директора — высокого человека в кавказской рубахе. Поспешно отступая от учительской, я заметил, что есть еще один канал, перпендикулярный тому, по которому я полз. Я залез в него, добрался до решетки, заглянул сквозь нее и сразу дернулся назад.

Решетка выходила в коридор. В коридоре, как раз напротив решетки, стояли и тихо разговаривали Анатолий (рыжий мальчишка, изгнанный Николаем Николаевичем из класса) и два «исследователя», из-за которых мы попали в эту историю.

Совершенно измученный, я спустился на дно шахты:

— Плохо, Николай Николаевич!

— Никого не нашли?

— Нашел. В учительской заседание педсовета.

— Ох!

— А рядом с учительской трое ребят, с которыми у вас должен быть разговор.

Николай Николаевич вздохнул где-то возле моего плеча и прошептал:

— Все еще меня ждут.

Мы помолчали с минуту.

— Итак, милый мой, что же вы предложите?

— Что же предлагать! Нужно опять добраться до учительской.

— Ох, милый мой, что вы!..— взволнованно зашептал Николай Николаевич.— Вы все-таки войдите в мое положение... Директор наш и все педагоги — милейшие люди, но... как бы вам сказать... едва ли они смогут понять причины, побудившие меня, старика...

— Эх, Николай Николаевич! А кто их сможет понять, эти причины!

— Мм-да... Конечно, но... Нет, я против этого. Категорически против.

— Ну так что же... Этим вашим мальчишкам говорить?

Николай Николаевич ответил не сразу:

— Видите ли, голубчик... При условии соблюдения ими полнейшей тайны это был бы неплохой выход... Они очень хорошо относятся ко мне, но в данном случае они являются лицами, до некоторой степени от меня зависимыми... Вы ведь знаете, чего они от меня сейчас ждут... И вот поэтому я не считаю себя вправе заставить их оказать мне такую...

— Да бросьте, Николай Николаевич! Я пошутил.

— Нет, почему же «бросьте»... Вы знаете, я нашел выход! Отправляйтесь сейчас к ним...

— К кому?

— К ребятам, разумеется... И скажите, что Николай Николаевич попал в такую-то беду и обращается к каждому из них, как... ну, человек к человеку. Причем обязательно подчеркните, что неприятный разговор у меня с ними все равно будет, это мой долг, а к ним обращаюсь как человек к человеку, а не как педагог или там начальство...

— Бросьте, Николай Николаевич. Только что распекли их за это дело, а сами...

— Ну, знаете, милый вы мой... Они прекрасно знают, что я распекал их за пренебрежение занятиями, а не за вполне естественную любознательность, здоровую страсть к исследованиям. Если бы, голубчик, не было этой страсти, Америка не была бы открыта.

— Тогда уж лучше сообщить о нашем положении кому-нибудь одному из них, а не всем троим. Но вот как это сделать?

— Не надо! Один разболтает. Обязательно разболтает. А

трое — никогда. Ступайте! Ступайте! Они поймут. Только прежде всего возьмите с них слово, что все останется в тайне.

— Все-таки тайну нужно сохранить? — пробормотал я.

— Ничего не поделаешь. Нужно считаться... как бы вам сказать, со своего рода условностями. Ступайте, дорогой. Ступайте!

Николай Николаевич тихонько подталкивал меня, пока я снова не полез по скобам во тьму.

Добравшись до нужной решетки, я долго смотрел через нее на мальчишек. Они уже не разговаривали, а переминались с ноги на ногу, тоскливо поглядывая в конец коридора. Рыжий Анатолий присел на корточки у стены, вынул из кармана карандаш и принялся грызть его, отдирая зубами мелкие щепочки.

Долговязый «исследователь» вентиляционных каналов проговорил:

— Да не придет он. Уже, наверно, из школы ушел.

Рыжий даже не взглянул на него:

— Да, «не придет»! Не знаешь, так молчи уж.

— А что?

«Исследователи» сели рядом с Анатолием.

— А то! Ты в четвертом?

— В четвертом.

— Он у вас не преподает еще. Вот перейдешь в пятый, тогда узнаешь!

Рыжий некоторое время трудился над своим карандашом, потом вдруг повернулся к «исследователю»:

— Знаешь самое первое правило для хорошего педагога? Никогда с детьми не трепись зря. Сказал — и делай. А Николай Николаевич знаешь какой педагог? О нем в «Пионерке» писали.

— Знаю. Только строгий очень,— вздохнул толстый.

— Не будешь с нами строгим, так мы всю школу разнесем.

Рыжий снова принялся за карандаш. Я лежал в своей норе, таращил на них глаза и глотал от волнения слюну. Лишь минуты через две я собрался с духом и прошептал:

— Мальчики!

Они не услышали. Толстый опять заговорил:

— А кто это молодой такой? С ним был.

Анатолий вынул из карандаша графит и стал писать им у себя на ладони.

— Ерунда. Практикант.

Мне стало душно. От пыли свербило в носу. Хотелось чихнуть.

— Мальчики! Мальчики! Ребята! — шепнул я уже погромче.

Все трое дернули головами, разом поднялись и уставились на меня. Толстый мальчишка тихонько хохотнул.

— Во! Еще один!

Анатолий швырнул в решетку мусор, оставшийся от карандаша:

— Тебе здорово всыплют! Их уже поймали.

— Ребята!.. Мальчики!.. Я не то... Я говорю, я не тот, кто вы думаете. Я к вам как человек к человеку (тьфу, черт!)... Одним словом, я к вам по поручению... ну, от Николая Николаевича... Вернее, не от Николая Николаевича, а...

— Чего ты там бормочешь? — спросил толстый.

— Я говорю... Видите ли, какая штука... Николай Николаевич... Ну, просто к вам обращается. Тут маленькая неприятность вышла... Одним словом, нас заперли... Дворник запер. И вот мы... Нечаянно, конечно, запер...

Рыжий вдруг перестал скалить зубы.

— Вы кто: практикант? — догадался он.

— Ну конечно, практикант! — обрадовался я и стал говорить более внятно: — По некоторым причинам, ребята, мы с Николаем Николаевичем оказались запертыми в этой штуке. И вот Николай Николаевич обращается к вам с просьбой выручить нас, но так, чтобы никто не знал. Все мальчишки просияли, как будто я предложил им ехать на Северный полюс.

— Где заперли? Ту дверку? — спросил тощий мальчишка.

— Ну да. Внизу.

Толстый от восторга ударил своего приятеля по спине:

— Вот это Николай Николаевич!

Анатолий тянул их обоих за рукава:

— Пошли! Пошли!

— Сейчас выручим,— сказал толстый.

Вся тройка собралась было умчаться, но я остановил их:

— Только, ребята, Николай Николаевич просил дать честное пионерское, что вы никому — ни слова.

Анатолий кивнул головой:

— Конечно! А как же!

Выбравшись из канала и спустившись к учителю, я услышал возню за дверцей и возбужденный шепот:

— Ты гвоздем! Гвоздем его надо!..

Через полчаса Николай Николаевич сидел за партой в пустом классе. Возле него стояли трое мальчишек и смотрели на него во все глаза. Разговор о трудовой дисциплине, о том, как дорог каждый час учебы, был закончен.

— Нет, голубчик. Я думаю, что твое предположение неверно,— говорил Николай Николаевич, укладывая пенсне в футляр.— Теоретически, может быть, и возможно, что такая система вентиляции способствует поддержанию более или менее одинаковой температуры во всех помещениях, но практически... Ведь ты, наверно, обратил внимание, что...

Толстый мальчишка перебил его:

— Николай Николаевич... а зачем вы туда полезли?

Николай Николаевич посмотрел на него, потом улыбнулся.

— Знаешь, в старину говорили: лукавый попутал...

— Гы-ы! — хором сказали мальчишки и вполне удовлетворились его ответом.

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ НЕРВОВ»

У Лоди была одна слабость: ему так хотелось прослыть храбрецом, человеком исключительным, прошедшим огонь и воду, что он иной раз не мог не приврать.

Когда в пионерском лагере устраивали прогулку на лодках по реке, он всем своим видом давал понять, что ему скучно катание в «этой посудине для сухопутных крыс и маменькиных сынков». Если проходил пароход и лодки начинали покачиваться, а девочки весело и немного испуганно пищать, Лодя нарочно еще сильнее раскачивал «эту посудину» и говорил:

— Попробовали бы вы пять баллов на Черном море!

— А ты пробовал?

Лодя кивал головой и рассказывал о том, как он, взяв потихоньку лодку, прошел в пятибальный шторм из Третьего лагеря Артека к Нижнему лагерю, чуть не разбившись по дороге о скалу Султанку.

— Ничего страшного нет. Не теряйся — и все в порядке. Струсил — тогда играй похоронный марш,— заканчивал он.

Особенно Лодя старался поразить своей отвагой двенадцатилетнюю Машу Брыкину из второго отряда девочек. Ей он рассказывал о том, как он собственными руками задушил напавшего на него бешеного фокстерьера, и о том, как они с отцом заблудились однажды в пустыне Каракум и спаслись только благодаря его, Лодиной, находчивости. Маша всему верила. Ее круглое, очень смуглое лицо со вздернутым носом застывало от ужаса, большие карие глаза неподвижно смотрели на щуплого Лодю. Временами она перебивала рассказчика и взволнованно спрашивала:

— Нет, Лодька, ты сознайся: неужели... неужели ну вот ни капельки не было страшно?

— Что ж тут страшного! — пожимал плечами Лодя.— Не теряйся — и все.

Маша от избытка чувств мотала головой, и толстая золотистая коса била ее по плечам.

— Нет... нет, Лодька... Ты... ты какой-то особенный! Ты просто человек без нервов!

Сердце Лоди приятно замирало от таких слов. Он начинал мечтать о том, как бы на деле доказать Маше, что он «человек без нервов».

Однажды под вечер Лоде и Маше поручили сходить в соседнюю деревню и пригласить на костер председателя колхоза, получившего звание Героя Социалистического Труда. До деревни было километра полтора.

Слева вдоль проселочной дороги тянулось поле овса, справа вплотную к дороге подступал лес. У самого края росли молодые светло-зеленые елочки; за ними, словно охраняя малышей, стояли взрослые ели с тяжелой синеватой хвоей на опущенных ветках.

Маша то и дело замедляла шаги, всматриваясь в глубь леса.

— Угадай, на сколько тянется этот лес? — говорила она.— Не знаешь? До самой железной дороги, больше чем на двадцать километров. Евстигней Иванович, начальник лагеря, сказал, что если кто-нибудь пойдет в этот лес без вожатых, то его сразу отправят к родным. Знаешь почему? Потому что в этом лесу не только ребята, а даже здешние колхозники иной раз плутают: кружат, кружат, а выйти не могут.

— Тоже мне лес! Ты настоящего леса не видела,— отвечал Лодя и уже обдумывал новый рассказ о своих приключениях в Уссурийской тайге.

Овес кончился. Дорога отошла от леса и потянулась наискосок через луг. В конце луга виднелись длинные строения колхозной фермы. На лугу, шагах в пятнадцати от дороги, пасся большой черный с белыми пятнами бык, привязанный к стволу одинокой березы. Поравнявшись с быком, ребята остановились.

— Берендей,— почтительно сказала Маша.

Лодя молча кивнул.

— Его неделю тому назад в колхоз привезли. В стадо его еще не пускают.

— Знаю. Карантин,— сказал Лодя.

— Его вся деревня боится,— снова вполголоса заговорила Маша.— На прошлой неделе, когда его вели в стойло, он лошадь забодал, а во вторник счетовод на велосипеде ехал, так он на него... Счетовод прямо с велосипеда через забор прыгнул и поэтому остался живой.

Все это Лодя уже знал. Знал он также, что Берендей не подпускает к себе ни одного из работников фермы и что ладит с ним лишь колхозный зоотехник, который и привез Берендея откуда-то из-под Ярославля.

Берендей перестал щипать траву, приподнял голову и, стоя боком к ребятам, следил за ними блестящим немигающим глазом.

— Идем,— сказала Маша.— Он чего-то смотрит на нас...

Лодя побаивался коров, а о быках и говорить нечего. Именно поэтому он не двинулся с места.

— Лодя, идем! Видишь, он смотрит на нас.

— Не бойся. Не с такими дело имел.

Какое он имел дело с быками, Лодя еще не придумал, но Маша его и не спрашивала. Она только смотрела то на щуплого Лодю в широких и длинных, не по росту, трусах, то на здоровенного быка, у которого черная лоснящаяся шкура туго обтягивала каждый мускул.

Бык, по-видимому, был надежно привязан к березе. Лодю так и подмывало удивить Машу своим невероятным самообладанием. Он озабоченно сдвинул брови и сказал:

— Похоже, что веревка возле рогов перетерлась.

— Ой!.. Лодька, правда?

— Да. Я сейчас проверю. Отойди подальше на всякий случай.

— Лодька, вернись! Нет, это прямо сумасшедший какой-то! — закричала Маша, пятясь назад по дороге.

Лодя не обратил на этот крик никакого внимания. Размеренной поступью он приближался к быку. Берендей повернулся рогами к Лоде и с шумом выдохнул воздух: «Хух!» От этого «хух» у Лоди сразу ослабели ноги. Он уголком глаза посмотрел на Машу.

Та стояла уже возле самого леса и кричала:

— Лодя, не надо! Лодя, что ты делаешь?!

Это подбодрило Лодю. Он сделал еще несколько, на этот раз очень неровных, шагов и остановился в полутора метрах от быка.

Берендей опустил рога, сильно ударил себя хвостом по боку, и снова послышалось: «Хух!»

— Но-но у меня!.. Ты не очень-то! — слабеньким голоском сказал Лодя и сделал бочком еще один шаг.

Берендей крутнул головой, словно желая стряхнуть веревку, двойной восьмеркой оплетавшую рога, и двинулся к Лоде. Однако веревка натянулась и вывернула ему голову так, что один глаз стал смотреть в землю, а другой — в небо. Бык замычал протяжно и раскатисто. Маша завизжала. У Лоди что-то сжалось в животе. Он было собрался удрать, но увидел, что бык стоит в прежнем положении и веревка крепко держит его.

«Дотронусь до морды и уйду!»

Лодя снова бочком приблизился к Берендею, сильно вытянул левую руку и, заискивающе приговаривая: «Быченька, быченька...», ткнул «быченьку» указательным пальцем в мягкий теплый нос. Берендей не шевельнулся. Лодя разом осмелел.

— Но-но! Не на того напал,— сказал он громко, чтобы

Маша могла услышать, и снова ткнул быка в нос, на этот раз кулаком.

Берендей неуклюже попятился. Теперь можно было с достоинством уйти. Лодя повернулся и направился к Маше, стараясь не спешить и не оглядываться назад. Не оглядываться было очень трудно, потому что сзади слышалась какая-то тяжелая возня. Однако Лодя не повернул головы. Он даже изобразил на своем лице беспечную улыбку. Так он прошел примерно половину пути. И вдруг он увидел, как Машино лицо перекосилось, услышал, как она взвизгнула не своим голосом, увидел, как ее словно ветром сдуло и понесло по дороге к лагерю. Лодина голова сама собой повернулась.

Берендей, опустив рога, ровной рысцой бежал к нему.

«Человек без нервов» не пискнул, не издал ни звука. В голове его мелькнуло: «Бежать!», а ноги уже пронесли его метров десять по направлению к лесу... Потом он подумал: «Спрятаться!», а сам уже секунду лежал под ветками огромной, разлапистой ели, росшими почти у самой земли. Больше Лодя ни о чем не думал, только ждал, что бык сейчас доберется до него и забодает...

Но Берендей не появлялся. Долго, очень долго Лодя лежал пластом на сухих еловых иглах, потом приподнял голову и прислушался. Кругом было тихо. Трудно сказать, сколько времени длилась эта тишина: то ли пять минут, то ли полчаса. Наконец где-то совсем близко прозвучал тихий прерывающийся голос:

— Лодя!.. Лодя, где ты? Лодя!

«Человек без нервов» выполз из-под ели, с трудом продрался сквозь густые заросли молодняка, которых он не заметил, спасаясь от Берендея, и очутился на дороге.

Маша стояла в трех шагах от него. Круглое лицо ее раскраснелось, ресницы слиплись от слез, от гладкой прически отделилось множество тонких прядок, которые слегка шевелились и поблескивали золотыми искорками. Лодя, наоборот, был бледен. Через нос и правую щеку его тянулась большая ссадина. Трусы, рубашка и всклокоченные пепельные волосы были унизаны сухими еловыми иглами.

Маша долго рассматривала его, потом глубоко вздохнула:

— Я уж думала, ты погиб.

Лодя постарался улыбнуться.

— З-занятное приключение! — выдавил он, чуть заикаясь.

Оба помолчали, рассеянно оглядываясь по сторонам. Ни на дороге, ни в деревне, ни на лугу не было видно ни души.

Вдруг на лице у Маши снова появилось испуганное выражение.

— Лодька! А Берендей! Где Берендей?

Лодя равнодушно махнул рукой в сторону леса:

— Там где-то.

Маша подошла поближе и посмотрела ему в глаза.

— Лодька, ты понимаешь, что ты наделал? Понимаешь? — сказала она.

Лодя молчал.

— Он же в лес ушел! Он же пропадет! — почти крикнула Маша.

Только теперь Лодя увидел другую сторону всей этой истории. Из-за него сорвался с привязи племенной колхозный бык. Бык может уйти далеко в лес, может заблудиться, погибнуть... Плечи у Лоди опустились, лицо вытянулось.

— Вот что ты наделал!

Маша постояла в раздумье, зажав зубами кончик пионерского галстука, искоса, уже без всякого восхищения поглядывая на «человека без нервов». Потом она круто повернулась и скрылась среди молодых елочек. Лодя пошел за ней.

Лес был неровный. Плотные заросли елей походили на материки и острова. Между ними бухтами и проливами зеленели лужайки с пушистыми шариками одуванчиков. Маша как будто забыла свой страх перед Берендеем, забыла и о том, что в этом лесу можно заблудиться. То ей слышался треск сухой ветки, и она бежала на этот звук. То ей казалось, что за деревьями что-то шевелится, и она шла в противоположном направлении, продираясь сквозь колючий ельник.

Лодя всюду следовал за ней и думал: что они будут делать с Берендеем, если даже найдут его? Ведь ни он, ни Маша не решатся подойти к быку и на двадцать шагов. Не лучше ли пойти в правление колхоза и рассказать обо всем? Но как рассказать? Неужели так прямо и заявить: «Дорогие товарищи! Я выпустил вашего быка, и он ушел в лес. Пойдите поищите его». Нет! Уж лучше продолжать поиски, а там видно будет.

Постепенно Лодя ободрился и стал разглядывать траву, надеясь обнаружить следы Берендея. Но трава была невысокая и такая упругая, что Лодя даже собственные следы различал с большим трудом.

Так они петляли по лесу, пока не заметили, что одуванчики на больших лужайках стали красными от лучей заходящего солнца, а на маленьких лужайках, окруженных елями, сделалось тускло и серо.

— Лодька!.. Что ты наделал! Ты понимаешь, что ты наделал? — десятый раз повторяла Маша.

— В колхоз нужно идти. Заявить,— упавшим голосом ответил «человек без нервов».

Усталые, унылые, они побрели обратно. Маша неуверенно говорила, что им нужно идти правей. Лодя так же неуверенно

предлагал забрать немного влево. На душе у каждого становилось все тревожней и тревожней.

Скоро, однако, в деревьях показался просвет, и ребята вышли к прямой, широкой просеке, на которой то здесь, то там росли приземистые кустики можжевельника. Маша сразу повеселела:

— Ой! Это же та самая! Она к лагерю ведет!

Маша раздвинула ветки, вышла на просеку, посмотрела влево, повернулась, посмотрела вправо... и попятилась.

Лодя подошел к ней и тоже взглянул направо: на просеке, шагах в пятидесяти от ребят, пасся Берендей.

Маша вцепилась в Лодину руку чуть повыше локтя и, не спуская глаз с Берендея, прошептала:

— Лодька, никому в колхозе не говорить, что это он из-за тебя сорвался!

— Вот еще! Буду я прятаться! — прошептал Лодя, тоже внимательно следя за быком.

— Лодька, тебе ничего не будет, потому что ты мальчишка, а для вожатых — неприятности.

Лодя помолчал. Маша еще крепче впилась в его руку:

— Лодька, дай мне честное слово, что не будешь близко к нему подходить!

— А что?

— Я сейчас побегу в лагерь, а оттуда в колхоз... А ты оставайся здесь и никуда его не пускай, пока люди не придут. Только близко не подходи. Ладно?

— Л-ладно,— вяло ответил Лодя, тоскливо глядя на быка, на темные стены елей, сходившиеся вдали, на большое красное солнце, которое садилось в конце просеки.

— А если он все-таки уйдет, то иди за ним и кричи все время «ау». Мы по голосу тебя отыщем. Хорошо?

Лодя только молча кивнул.

— Пока!.. Ой, Лодька, я бы на твоем месте со страху померла!

Маша пустилась бежать. Малиновая от заката кофточка ее еще долго мелькала среди низких кустов. На просеке стояла тишина. Никогда еще Лодя не чувствовал себя таким одиноким.

Он поднял с земли большую сухую ветку и стал обламывать с нее сучки. Он понимал, что палкой от быка не спасешься, но все же с нею было как-то спокойнее.

Один из сломанных сучков треснул так громко, что Берендей поднял голову.

Лодя юркнул за ближайшую елку. Несколько секунд бык прислушивался, потом он зашагал по просеке в сторону, противоположную той, куда убежала Маша.

Лодя думал, что он отойдет немного и снова примется

за еду. Но Берендей продолжал идти, слегка покачивая белым хвостом с грязной кистью на конце. Обрывок привязанной к рогам веревки волочился за ним по траве.

«Уходит! Уйдет!..» — подумал Лодя и побежал за быком.

— Берендей! — крикнул он.

Берендей все шел. У него был такой вид, словно он знает, куда и зачем идет, и знает также, что путь предстоит далекий. Лодя пришел в такое отчаяние, что еще ближе подбежал к быку и снова крикнул:

— Берендей!

Берендей остановился и посмотрел на Лодю через плечо. Тот застыл на месте.

Берендей медленно повернулся всем корпусом на сто восемьдесят градусов. Лодя слегка присел. Берендей подхлестнул себя хвостом и шагом двинулся на Лодю. «Человек без нервов» большими скачками понесся в ельник.

Когда он снова выбрался на просеку, быка на ней не было. Лодя крадучись двинулся вперед и услышал, как недалеко в лесу шелестят ветки. Лодя пошел на этот шорох и скоро увидел среди хвои белый хвост Берендея.

Снова начались блуждания по лужайкам и прогалинам. Постепенно деревья становились черней и как будто выше, а трава из зеленой превратилась в темно-серую. Приближалась ночь. Берендей шел все дальше и дальше. Иногда он останавливался и мычал глухо и тревожно. На некотором расстоянии за огромным быком следовала маленькая фигурка с корявой палкой в руках. Фигурка всхлипывала и время от времени принималась кричать:

— Ма-ша-а! Эй, Ма-ша-а!

Никто не отзывался.

Но вот ельник кончился. Берендей пересек узкий луг и пошел к пологому бугру, где росли редкие высокие, как мачты, сосны и белели то здесь, то там стволы берез. На склоне этого бугра Берендей остановился и опять замычал очень тихо, словно боясь, что его услышат. Постепенно настороженность его исчезла, голова понуро опустилась. Через несколько минут он лег спиной к Лоде и стал похож на большой черный валун, облитый в нескольких местах известкой.

Лодя сел на широкий, влажный от росы пень. Его тапочки промокли. Он сильно замерз и очень хотел есть.

В голове были самые безрадостные мысли. Что, если они ошиблись, думая, что просека выведет Машу к лагерю? Что, если это какая-нибудь другая просека и Маша заблудилась, идя по ней, и колхозники ищут сейчас быка где-нибудь далеко отсюда? С рассветом Берендей снова начнет кружить по лесу. Идя за быком, можно проплутать без пищи, без теплой одежды

и день, и два, и целую неделю, можно, наконец, погибнуть в такой глуши, где никто и костей не найдет!..

Лоде очень захотелось встать и уйти. Ведь Маша не скажет, что это он выпустил быка, а следовательно, и отвечать ему не придется. Но только Лодя подумал об этом, как на душе его сделалось невыносимо мерзко.

А что, если Маша не заблудилась? Что, если его сейчас ищут десятки колхозников, вожатые, старшие пионеры? Может, все они только и надеются, что он, Лодя, не струсит, задержит быка. И, уж конечно, Маша-то уверена, что он не подведет...

Лодя понял: если он сейчас покинет Берендея, то никогда потом не избавится от презрения к самому себе.

Лодя встал со своего пня и подошел поближе к Берендею. Уже совсем настала ночь. Луна не всходила, но небо было по-летнему светлое, с чуть заметными звездами.

Лодя смог разглядеть рога Берендея, торчавшие из-за черной крутой спины, и привязанную к ним веревку, конец которой терялся в траве. Лодя вспомнил, как эта веревка волочилась за быком во время блужданий по лесу. Длиной она была метра три, может быть, больше.

Лодя перевел взгляд на тонкую сосенку, возле которой лежал Берендей. Хорошо бы набраться храбрости, подкрасться к быку и привязать его к этой сосенке! Тогда можно быть уверенным, что Берендей не уйдет, если, конечно, его опять не раздразнить. Но тут Лодя представил себе, как он подкрадывается к Берендею, а тот вскакивает и бросается на него. Спрятаться негде: только пни да редкие деревья с гладкими стволами. Лодя бежит, а бык все ближе, ближе...

Долго стоял «человек без нервов» как вкопанный, не спуская глаз с веревки на рогах Берендея. Сколько раз он рассказывал о своих выдуманных подвигах! Сколько раз он мечтал о том, как он совершит эти подвиги в действительности! И вот теперь, когда нужно совершить не подвиг, а просто смелый поступок, он...

Сердце у Лоди вдруг прерывисто заколотилось, холод куда-то исчез, ему стало душно. Лодя решился...

Маленькими, чуть заметными шажками, то и дело останавливаясь и задерживая дыхание, он начал подкрадываться к Берендею.

Чем ближе он подходил к быку, тем шажки становились короче, а остановки продолжительнее. Вот до Берендея осталось каких-нибудь пять метров.

Минуты через две это расстояние сократилось до трех, еще через несколько минут Лодя стоял возле сосенки, так близко от быка, что мог бы дотянуться до него своей палкой, которую он держал в руке, сам не зная для чего.

Берендей не двигался. Лишь округлые бока его слегка подымались и опускались от дыхания. Лодя по-прежнему видел только рога да еще белые уши быка и не видел его головы, повернутой в сторону и скрытой за туловищем.

Лодя пошарил глазами в траве, отыскивая веревку. Ему повезло: конец веревки лежал недалеко от его ног. Не сходя с места, Лодя очень медленно присел, бесшумно положил в траву палку и дотянулся рукой до веревки.

Потом он начал так же медленно подыматься. Веревка тащилась за его рукой, и трава хотя очень тихо, но все-таки шуршала.

Уши Берендея шевельнулись. Лодя замер, согнувшись в три погибели, но тут же понял, что долго так выстоять не сможет. Он потянул веревку к себе, в одну секунду обмотал ее вокруг сосенки и сделал первый узел.

Берендей повернул голову. Лодя знал, что веревка развяжется, если он не сделает второго узла. Он отчаянно заторопился, руки его тряслись, он смотрел уже не на веревку, а на Берендея и поэтому долго не мог просунуть конец веревки в петлю. Наконец он затянул узел и побежал.

За его спиной раздалось страшное «хух», бык вскочил на ноги. Лодя слетел с бугра, перенесся через луговину и остановился лишь тогда, когда добежал до милого его сердцу ельника.

Берендей стоял на прежнем месте. Через несколько минут он снова лег. Лодя вернулся на бугор и увидел, что веревка, которой он привязал Берендея, цела.

Удивительная легкость охватила «человека без нервов». Голод, холод, мокрые от росы тапочки — все казалось теперь пустяками. Темный, безлюдный лес вдруг сделался уютным и ласковым.

Лодя опять спустился на луг и стал расхаживать по нему, дожидаясь рассвета, громко насвистывая «Марш тореадора» и дирижируя себе обеими руками.

Скоро, однако, он заметил, что к его свисту иногда примешивается какой-то посторонний звук. Он прервал свой концерт, прислушался, понял все и протяжно закричал:

— Эй, сюда-а!

Пока люди, искавшие Лодю, наконец добрались до него, стало заметно светлее.

Первыми вышли из леса две девушки-колхозницы и пионер-вожатый Дима. Потом в другой стороне появился курчавый парнишка лет восемнадцати. Он вел под уздцы неоседланную лошадь, на которой сидела Маша, одетая в пальто.

Все окружили Лодю, что-то говорили, перебивая друг друга, а Маша, не слезая с лошади, тараторила о том, что просека оказалась не та и что она лишь в одиннадцать ночи попала в

лагерь. Курчавый парнишка оказался колхозным зоотехником. Он подошел к поднявшемуся с земли Берендею, и тот потянулся губами к карману его пиджака, из которого торчал кусок хлеба. Угощая хлебом Берендея, зоотехник обернулся к Лоде:

— Это ты его привязал?

— А кто же еще? — пожал плечами Лодя.

— Храбрый ты, однако!

Девушки удивленно заохали, а Маша замотала головой:

— Нет, Лодька, нет! Я всегда говорила, что ты сумасшедший! Ты не знаешь, какой ты сумасшедший!

Зоотехник отвязал быка и потащил его за собой.

— Нет,— восклицала Маша,— нет, Лодька, ты только скажи: что ты чувствовал, когда привязывал Берендея? Неужели ну вот ни капельки, ни капельки не было страшно?

Лодя с минуту молча шагал рядом с конем, потом поднял голову, посмотрел на Машу и медленно ответил:

— Что чувствовал? Чувствовал, как все поджилки трясутся. Вот что чувствовал!

«АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА

Я решил записать эту историю потому, что, когда Вовка станет знаменитым, она будет представлять большую ценность для всего человечества.

Я сам лично принимал участие в испытании одного из Вовкиных изобретений. Мне за это здорово нагорело от матери и пионервожатых.

Началось все это так.

Андрюшка, его соседка Галка и я готовились к экзамену по географии. Мы сидели в комнате у Андрюшки. Нам очень не хотелось заниматься. За окном было лето, выходной день, а у подоконника на карнизе прыгал воробей, чирикал и точно говорил нам: «Не поймать, не поймать вам меня!» Но мы даже не обращали внимания на воробья и спрашивали друг у друга названия союзных и автономных республик.

Вдруг раздался звонок. Через несколько секунд с треском распахнулась дверь комнаты. Пошатнулась этажерка, полетел на пол стул. Воробей в испуге слетел с подоконника... Это пришел Вовка Грушин. Он прищурил свои близорукие глаза и громко спросил:

— Готовитесь?

Вовка, маленький, востроносый, со стриженной под первый номер головой, сам походил на воробья, который мешал нам заниматься. Галка сердито уставилась на него и очень строго ответила:

— Да, готовимся.

— А мне некогда готовиться,— сказал Вовка.

— Ну и провалишься! — буркнул Андрюшка.

— А мне некуда больше проваливаться. Я и так уже провалился по двум предметам!

Галка так и заерзала на своем стуле:

— И он еще радуется!

Вовка вздернул острый, успевший облупиться от загара нос:

— А ты почем знаешь? Может, мне стоило получить переэкзаменовку.

Галка уставилась на Вовку:

— Это ради чего же стоило?

— Ну, хотя бы ради одного изобретения.

— Какого?

Вовкино лицо стало непроницаемым:

— Это тайна.

У Вовки что ни изобретение, то роковая тайна.

Мы знали это и не стали расспрашивать. Он быстро, огромными шагами начал ходить по комнате.

— Я к вам на минутку. Андрюшка, дай мне твои плоскогубцы, мои сломались. Это, понимаешь, такое изобретение, такое изобретение!.. Я сегодня еду на дачу... буду там работать. Досада — средств не хватает! Я три месяца в кино не ходил: все копил средства. Вот увидите, все газеты будут полны!.. Где достать трубу метра в три длиной? Не знаете? Жаль!.. На этой штуке можно будет хоть вокруг света объехать...

— Самолет? — спросил Андрюшка, передавая Вовке плоскогубцы.

— «Самолет»! Чудак ты... Получше будет!.. Я за это лето построю...

Тут он вспомнил, что это тайна, и прикусил язык.

Галка спросила его с надеждой:

— А тебе, наверно, здо-орово попало за то, что ты получил переэкзаменовку?

— Попало... Главное, не надо никакого топлива!.. Ну, пока, товарищи! Масса дел. В лагерь едете?.. А я не поеду. Родные посылали, а я наотрез отказался.

— А за это попало? — спросила Галка.

— Ну и что ж! — отвечал Вовка.— Я все равно отговорился. В лагере мне нельзя работать.

— А в техкружке?

— Чепуха! В техкружке всякие модельки строят, а у меня — мировое дело... Ну, пока! Пошел. Да!.. Чуть не забыл! Мы сняли дачу в двух километрах от лагеря. Буду заходить. Только не болтайте никому. Это такое дело, такое дело!..

Размахивая руками, Вовка пятился к двери, пока снова не ткнулся в этажерку, на этот раз так сильно, что с нее упал гипсовый бюст Архимеда. Вовка подхватил его на лету.

— Это кто? — спросил он.

— Архимед,— ответил Андрюшка.

— Гм! Архимед... Архимед... Это, наверно, какой-нибудь знаменитый человек...— Вовка помолчал, разглядывая бюст.— У него симпатичное лицо, у этого Архимеда. О! Вот увидите, это имя благодаря мне станет дважды знаменитым!

— Не какой-нибудь знаменитый...— начал было Андрюшка, но Вовка уже скрылся.

Галина постукала себя карандашом по лбу и посмотрела на нас.

...Как только наступили каникулы, мы переехали в лагерь. Мы прожили там десять дней, а Вовка не появлялся. Только на одиннадцатый день мы встретились с ним при загадочных обстоятельствах.

На маленькой речке возле лагеря у нас имелись две плоскодонные лодки. Наши техкружковцы переоборудовали их в крейсеры «Аврора» и «Марат».

С боков у лодок были сделаны гребные колеса, которые приводились в движение руками. На носу у каждого крейсера возвышалась броневая башня из фанеры. Там мог поместиться человек, если сидеть на корточках.

Иногда мы устраивали морские игры. Происходило это так. Человек восемь занимали места на «Авроре», и десяток — на «Марате». Все вооружались жестяными кружками.

Река возле лагеря была неглубокая, не больше метра глубиной. Суда маневрировали друг возле друга, ребята черпали кружками воду и выплескивали ее в «противника». Дым стоял коромыслом! Каждую секунду десятки кружек воды выплескивались в лодки; на обоих берегах орали ребята, разделившиеся на «красных» и «синих». Кончалось тем, что одна из лодок шла ко дну. Экипаж ее, фыркая, выбирался на берег. Тогда деревянный «крейсер» всплывал и его уводили победители.

В тот день я был на «Авроре». «Марат» подошел вплотную и взял нас на абордаж. После ожесточенной схватки шестеро из нас оказались за бортом. «В живых» остались только Галина и я. Мы бросились удирать. Голосящий «Марат» следовал за нами метрах в пяти. Я вертел колеса так, что от меня пар шел. Толстая Галка пыхтела на корме и плескалась из кружки, целясь в лицо капитану «Марата».

Вдруг капитан «Марата» взял длинную веревку, сделал из нее петлю и накинул ее на Галку. Та закричала. Не разобрав, в чем дело, я завертел колеса еще быстрее. Галина, конечно, выбыла из строя. Только брызги полетели!

Я перестал вертеть колеса. «Марат» подошел вплотную. Капитан его заявил, что берет нас в плен. «Неприятельские» матросы подтянули на аркане Галину и втащили ее к себе.

— Все в порядке,— сказал мне капитан.— Принимай буксир!

Но тут мы услышали, что кто-то продолжает плескаться у борта. Я оглянулся: это был Вовка Грушин. Он отплевывался и тихонько ругался.

— Вовка? Ты откуда?

— Из воды,— ответил он.— Вы меня сбили с моего плота. Во-он мой плот. Догоните его!

По речке медленно плыли два плохо связанных бревна...

«Марат» подошел к лагерю. За ним на буксире тащились «Аврора» и Вовкин плот.

Капитан «Марата» рапортовал начальнику штаба «синих»:

— Крейсером «Марат» под моей командой захвачено неприятельское судно «Аврора» вместе с остатками экипажа. Кроме того, арестована подозрительная личность, разъезжавшая вдоль побережья на двух бревнах будто бы с целью исследования фарватера.

Старшая вожатая Леля поманила Вовку к себе:

— Ну-ка, подозрительная личность, подойди сюда!

Вовка подошел. Их окружили ребята.

— Скажите мне, подозрительная личность, вы, кажется, живете недалеко от лагеря?

— Два километра.

— А можно узнать, почему вы забыли о своем отряде?

— Я не забыл. Я просто очень занят.

— Чем, позвольте спросить?

— Я работаю над большим изобретением. Я, Леля... Я, понимаешь... Нет, ты ничего не понимаешь!

— Да, я не понимаю,— серьезно сказала Леля.— Я не понимаю, почему надо становиться отшельником, когда что-нибудь изобретаешь, почему не работать в техкружке над своим изобретением, почему надо отделяться от своих ребят, с которыми столько лет проучился... Ну, скажи мне, что это за изобретение?

Вовка оттянул резинку промокших оранжевых трусов и щелкнул ею себя по животу:

— Это тайна.

Ребята тихонько засмеялись.

Леля хотела удержать Вовку, но он ушел, пообещав прийти на днях.

Прошло уже две недели, а Вовка не появлялся.

Однажды на костре о нем поставили вопрос. Говорили, что он отошел от коллектива, говорили, что он увлекается всевозможными фантастическими проектами, и еще многое говорили

и наконец постановили снарядить экспедицию для розыска Вовки, которая должна его доставить в лагерь для разговора. Экспедицию составили из Галки и меня, потому что мы самые близкие его приятели.

На другой день утром мы запаслись бутербродами и тронулись в путь.

В двух километрах от лагеря было три поселка. Мы не знали, в каком из них живет Вовка. Но нам повезло: в первом же поселке в саду одной из дач мы увидели на ветке березы оранжевые Вовкины трусы и тут же услышали голос его матери. Она издали закричала нам:

— Наконец-то пожаловали! Владимир у них целыми днями пропадает, а они даже носа не покажут!

Мы растерянно переглянулись. Я начал было:

— Как... а разве...

Но Галка толкнула меня в бок. Ничего не понимая, я замолчал.

— Что он у вас там делает? — спросила Вовкина мама.

Галина, размахивая руками, стала смущенно объяснять:

— Да-а... вообще... Вы же знаете... У нас там очень интересно... Всякие игры, и все такое...

Вовкина мама как-то странно на нас посмотрела и больше ни о чем не расспрашивала. Она хотела угостить нас земляникой, но мы поблагодарили ее и ушли.

По дороге в лагерь мы долго шли молча. Наконец Галина сказала:

— Факт! Вовка говорит родным, что он уходит в лагерь, а сам идет работать где-то над своим изобретением. Интересно...

Она не договорила. В конце просеки, по которой мы шли, показался Андрюшка. Он быстро семенил нам навстречу. Подойдя к нам, он отрывисто сказал:

— Вышел вас встречать. Получил письмо от Грушина.

Я взял у Андрюшки письмо и стал читать вслух:

— «Андрюшка!

Я пишу тебе, Сережке и Галке, как своим близким друзьям.

Сегодня в полночь решается моя судьба. Я испытываю свое изобретение, на которое истратил все свои сбережения и ради которого, может, останусь на второй год.

Мне нужна ваша помощь, и, если вы мне друзья, вы мне не откажете. Возьмите свои броненосцы и ровно в полночь приезжайте на то место, где мы с вами столкнулись. Пароль — «Архимед».

Если вы мне друзья, вы это сделаете. Если вы кому-нибудь сболтнете, это будет подлость с вашей стороны.

Грушин».

Прочтя письмо, мы долго молчали. Потом Андрюшка проговорил:

— А вдруг опять ракетный двигатель?

Это Андрюшка вспомнил историю с моделью ракетного автомобиля. Когда мы навещали после аварии Вовку в больнице, он нам объяснил, что взрыв произошел из-за ошибки в конструкции, и обещал переделать автомобиль.

Долго мы сидели под ветками сосны у придорожной канавы, шевелили, как тараканы усами, зажатыми в зубах травинками и думали, как быть. Удрать из лагеря ночью — за такое дело можно вылететь из отряда. Выдать Вовкину тайну было бы не по-товарищески. Но если Вовка опять строит ракетный двигатель, то может произойти несчастный случай, и его нельзя оставить одного.

За лесом заиграл горн. Это в лагере звали к обеду. Мы поднялись с земли.

— Так как же? — спросил Андрюшка.

Галка стряхнула соринки, приставшие к юбке. Вдруг она покраснела и ни с того ни с сего разозлилась:

— Вот дурак!.. Ну какой же он дурак!..

Андрюшка задумчиво проговорил:

— Почем ты знаешь? Многих изобретателей сначала считали дураками, а потом оказывалось, что они гении.

И Андрюшка посмотрел на Галку своими большими глазами. Видно было, что ему очень хотелось помогать Вовке. Я тоже был не прочь. Я занимался в литературном кружке, и наш руководитель говорил, что если хочешь быть писателем, то нужно все видеть и все испытать.

— Ну? — спросил я Галку.

Галка набросилась на меня:

— «Ну, ну»! Вот если попадемся сегодня ночью, так уж... так уж я не виновата!

Мы с большим нетерпением дождались десяти часов вечера, когда лагерь укладывается спать. Потом ждали еще полчаса, лежа в кроватях, пока лагерь уснет. Наконец мы осторожно выбрались из дому и встретились у реки, где у причала из двух досок стоял наш флот.

Галя и Андрей сели на «Марата», я занял «Аврору». Метров сто мы шли на шестах (боялись, что колеса наделают много шуму), потом пустили в ход машины.

Медленно двигались наши суда по темной извилистой речке. Над берегами нависли ивы, и по их верхушкам осторожно пробиралась следом за нами луна. Плыли мы очень долго. Я уже думал, что мы в потемках проехали место встречи, как вдруг чей-то голос в кустах на берегу тихо произнес:

— Архимед!

Мы застопорили машины и стали смотреть на берег. Ничего не видно. Темно.

— Архимед! — тихо повторил Вовка.

Мы стали причаливать. О борта лодок зашуршали листья кувшинок. Кусты зашевелились. Появился Вовка. Мы высадились на берег и привязали лодки к большой коряге.

На Вовке была надета бумазейная куртка, такие же штаны, заправленные в чулки, и большая теплая кепка.

— Спасибо, что пришли,— сказал он.— Пойдемте!

— Вовка! Чего ты еще выдумал? — зашипела Галка.

— Пойдемте! — повторил Вовка.

Он повел нас по темному дну оврага узкой тропинкой между огромных зарослей каких-то растений. Скоро мы поняли, что это крапива: Галка так взвизгнула, что в деревне за рекой собаки залаяли.

Спотыкаясь, подымая руки, чтобы не задеть крапиву, мы дошли до какого-то заброшенного сарая. Тут Грушин остановился.

— Чего ты еще выдумал, Вовка? — снова зашипела Галина и боязливо оглянулась.

Вовка помолчал немного, потом ответил:

— Подводную лодку нового типа.

Мы сразу повеселели: испытывать модель подводной лодки — это вам не ракетный двигатель!

— Вы мне нужны для того, чтобы завинтить меня в люк.

— Ку... куда завинтить? — хрипло спросила Галина.

— В люк,— спокойно ответил Вовка.

Галка тяжело дышала. Я чувствовал, что сейчас выйдет неприятность. К Галине подошел Андрюшка. Он тихонько проговорил:

— Назвался груздем — полезай в кузов.

Галка ничего не ответила.

Отчаянно заскрипела большая дверь, и мы вошли в сарай. В темноте пахло масляной краской. Вовка зажег свечу.

Помещение было завалено всяким хламом. Валялись в куче инструменты и старые журналы: «Всемирный следопыт», «Мир приключений», «Вокруг света». В углу стоял примус без ножек, около него — паяльник. Два здоровенных паука торопливо подтягивались к потолку.

У стены почти во всю ее длину на особых подставках стояла подводная лодка Вовки Грушина. Она напоминала небольшую байдарку. В носовой части ее возвышалась труба метра три вышиной и сантиметра четыре в диаметре. Вся лодка была выкрашена в зеленый цвет, а на борту красными буквами было написано: «Архимед».

Вовка объяснил нам ее устройство:

— Судно погружается на глубину двух метров... Движется с помощью винта. Винт движется с помощью... ногами (там особые педали есть). Находясь в погруженном состоянии, судно может прицепиться к подводной части любого парохода (будет устроено специальное приспособление). Пароход идет, а подводная лодка — за ним. Так можно из Москвы попасть через Беломорканал в Белое море, а оттуда — хоть в океан!

Галина спросила:

— А как же в ней сидеть?

— Сидеть? Сидеть и не нужно. Можно лежать.

— А как же дышать?

— Перископ ведь торчит из воды, через него и дышать.— И Вовка указал на трубу.

Андрюшка потер ладонью лоб.

— Гм! Ну, а как же ты будешь спускаться и подыматься?

— Специальный резервуар, как в наст... ну, как в обыкновенной подводной лодке: чтобы опуститься, в него пускают воду; чтобы подняться, накачивают туда воздух и выдавливают воду обратно.

Вовка открыл крышку маленького люка и показал, как устроен «Архимед» внутри:

— Вот резервуар для воды и воздушный компрессор.

Мы увидели бидон от керосина и приделанный к нему велосипедный насос.

— Вон там педали для винта, а это — иллюминаторы.— Вовка показал на вделанную в носу лодки пару очковых стекол.— А это карманный фонарик для освещения.

— Вовка, тут повернуться негде!

— Во всякой подводной лодке тесновато. Это, голубчик, тебе не спортплощадка.

— Ну, а в перископ хорошо видно?

— Он еще не совсем готов. Только труба, чтобы дышать.

Вовка умолк. Мы тоже молчали и осматривали судно.

— Пора,— сказал Вовка.— Ну-ка, ребята, взяли!

— Чудак ты все-таки, Вовка! — проговорила Галина.

Все четверо мы подняли лодку и чуть не уронили ее — такая она была тяжелая. Кое-как мы вытащили судно наружу. Несли мы его медленно, с передышками, по темному заросшему оврагу. Вовка всю дорогу причитал:

— Ой, ребята, милые, поосторожней! Ой, ребята, не уроните!

Когда мы пришли к реке, Андрюшка слазил в бронебашню «Марата» и достал оттуда штатив, фотоаппарат и чашечку для магния.

И вот состоялся торжественный спуск «Архимеда» на воду. Мы спустили сначала нос, потом налегли на корму. В ту же

секунду чихнул Андрюшкин магний. «Архимед» сполз с берега и, слегка покачиваясь, стал рядом с «Авророй». Я тихо спросил:

— Вова, а здесь глубоко?

— Два с половиной метра. Я мерил.

— Может быть, где помельче?

Грушин презрительно посмотрел на меня и ничего не ответил. Андрей с фотоаппаратом, засучив штаны, бродил по воде и, фыркая магнием, снимал «Архимед» и Вовку на скамье «Марата».

Вовка пожал нам по очереди руки и сказал:

— Пора!

Он старался быть совершенно спокойным, но я-то видел, как дрожала у него правая коленка.

— Вов,— сказала Галка,— давай-ка мы обвяжем твоего «Архимеда» веревкой. В случае чего вытащим.

Вовка даже не посмотрел на нее. Он подошел к люку «Архимеда» и стал влезать в него. Но, как только он сунул туда голову, «Архимед» качнулся, и Вовка чуть не искупался. Тогда он велел нам привязать подводную лодку между «броненосцами» и, когда влезет в люк, обрезать веревки. Так и сделали. Когда «Архимеда» привязали, Вовка нагнулся, всунул голову в отверстие люка и вполз туда, громко кряхтя. Там он перевернулся на спину и закрыл люк изнутри какой-то доской с дыркой в середине.

— Закройте крышку люка так, чтобы винт попал в дырку!

Тут только мы заметили, что на крышке торчит болт с винтовой нарезкой.

Мы исполнили приказание.

— Придержите крышку, пока я не завинчу гайку,— глухо, как из бочки, пробубнил Вовка.

Мы придержали. Стало совсем тихо. У Андрюшки в руках так и прыгал фотоаппарат. (К сожалению, карточки не вышли, потому что все снимки он сделал на одну пластинку.)

В иллюминаторе вспыхнул свет.

— Спускайте! — прогудело внутри «Архимеда».

Мы развязали веревки. «Архимед» очень быстро ушел под воду. Мы оглянуться не успели, как из воды остался торчать лишь кончик перископа.

Было совсем тихо. Мы сидели на своих «броненосцах» и смотрели, как маленькие пузырьки появляются в том месте, где погрузился «Архимед». Где-то очень глубоко, как нам казалось, дрожало светлое пятнышко: это был свет из иллюминаторов. Прошло минут пять. Андрей припал губами к концу перископа:

— Вовка, ну как?

Нас мороз пробрал по коже, когда мы услышали Вовкин голос из трубы — такой он был замогильный.

— Я достиг предельной глубины.
— Жив, значит! — вздохнула Галка.
Снова поползли длинные минуты, и снова вопрос:
— Вовк! Жив?
И замогильный ответ:
— Выкачиваю воду из резервуара.
Подождали еще. Начало светать.
— Уж два часа...— проговорил Андрюшка.
Галина перебила его:
— Смотрите на перископ! Он сейчас полезет вверх!
Но перископ не лез вверх. Я наклонился к нему:
— Вова, ну как?
Молчание.
— Вова-а! Слышишь! Как?
— Я уже все выкачал.
— Ну, и что же?
— Она не подымается.
— Почему?
— Не знаю.

Мы взволнованно переглянулись. Потом все трое потянулись к трубе.

— Как же теперь, Вовка?
— Не знаю.
— Вот говорила, говорила! — захныкала Галка.— Надо было его за веревку привязать. А теперь... Как вот теперь?

И вдруг Вовка озабоченным тоном сказал из трубы:

— На меня чего-то капает.
— Откуда капает?
— Из люка капает.

Мы вскочили, ошалело оглядываясь. Что делать? Я крикнул было: «Перископ!» — и схватился руками за трубу, но оттуда раздался испуганный Вовкин голос:

— Не смейте за перископ! Оторвется.
— Говорила, говорила! — хныкала Галка.

Вова посоветовал:

— Подденьте меня веревкой.

Мы взяли оба наших причала, связали их, привязали к середине камень, опустили его на дно и за оба конца стали водить веревку вдоль бортов лодок. Но «Архимед» слишком глубоко врылся в ил, и его нельзя было поддеть.

— Капает, Вовка?
— Капает? У меня уже здоровая лужа. Поскорей! — кричал Вовка из глубины.
— Надо достать какую-нибудь узенькую баночку. Мы будем опускать ее в перископ и вытягивать с водой,— сказал Андрюшка.

Это он неплохо придумал. Я помчался через крапиву к сараю. В Вовкиной мастерской не оказалось ни одной подходящей банки, зато я нашел там резиновую кишку сантиметра в полтора толщиной. Я измерил ее длину и решил, что хватит. Вернулся и сообщил свой план ребятам.

— Вовка, держи кишку! Выкачивать будем. Держи так, чтобы конец был все время в воде!

Мы просунули кишку в трубу.

— Галка, выкачивай!

Галина взяла в рот верхний конец и стала тянуть из кишки. Она трудилась изо всех сил, так что глаза у нее на лоб полезли, но вода почему-то не выкачивалась. Пока она работала, мы с Андреем старались подковырнуть «Архимеда» шестами. Но шесты оказались слишком короткими. К тому же их было очень трудно удержать под водой.

Вовка изредка справлялся о ходе спасательных работ и говорил, что вода у него хоть и прибывает, но очень медленно.

Уже почти совсем рассвело.

— Хватит! Ничего мы так не сделаем,— сказал я.— Надо ехать за ребятами в лагерь.

Все согласились со мной. Галина осталась на месте, чтобы Вовке не было страшно, а мы с Андреем взяли «Аврору» и, подняв два огромных столба брызг, накручивая изо всех сил колеса, помчались по оранжевой от восходящего солнца реке.

Я не помню, как мы доехали, только мы были все мокрые от пота.

Выскочив на берег, я зазвонил в колокол; Андрюшка бросился в дом, отчаянно крича. Из дверей, из всех окон стали выскакивать полуодетые, испуганные ребята и вожатые. Леля выбежала с одеялом на плечах. Я закричал:

— Скорее! Вовка Грушин тонет! Возьмите веревки! Возьмите багры!

Прошло ровно пять минут. Битком набитая «Аврора» неслась по реке. Каждый греб чем мог, помогая колесам. За ними сквозь заросли вдоль берега, ломая ветки, продирался весь лагерь.

По дороге я и Андрюшка сбивчиво рассказали, в чем дело, но никто нас толком не понял.

Вот и «Марат»... Спокойно застыл над водой конец перископа. На борту «Марата» сидит Галина, посасывает из кишки и горько плачет.

— Где Вовка? — спросила Леля.

— Тут...— указал Андрюшка под воду.

— Сколько времени?

— Да часа три уже.

Леля побледнела.

— Вовка, ты жив? — спросил я.

— Жив,— со дна речного ответил Вовка и добавил: — Холодно!

Ребята столпились у берега и, разинув рты, уставились на перископ.

И тут началась спасательная работа.

Пятеро лучших пловцов ныряли, стараясь подвести веревки под «Архимеда». Остальные тыкали в воду баграми, засучив штаны, бродили в воде и подавали тысячи советов. Стоял галдеж, как на птичьем дворе во время кормежки. Наконец нашим водолазам удалось подцепить веревками корму и нос подводной лодки. Они выбрались на берег продрогшие, измученные, но очень гордые.

Ребята посильнее принялись тянуть веревки вверх. Смолкли крики. Наступила полная тишина. Человек восемьдесят смотрели, как подымается из воды труба перископа. И когда наконец появился зеленый верх «Архимеда», такое раздалось «ура», что казалось, солнце подпрыгнуло.

Потом снова наступила тишина. Крышка люка на подводной лодке шевельнулась и открылась. Из отверстия высунулась сначала одна нога, потом другая, затем медленно появилась Вовкина спина, затем плечи и голова.

Изобретатель был бледен и лязгал зубами от холода, но важности у него хватило бы на двадцать капитанов Немо.

Вовка срочно был доставлен в лагерь. Там его переодели и стали согревать чаем. Мы в это время чувствовали себя очень скверно. Леля, проходя мимо, так на нас посматривала, что мы поняли: будет крупный разговор.

Огромная толпа ребят окружала Вовку, пока он пил чай, глазела на него и засыпáла вопросами:

— Сколько времени ты строил свою лодку?

— А как ты ее рассчитывал?

— Никак. Построил, да и всё.

— Ты, значит, ошибся в расчете, и потому она затонула. Да?

— Ну конечно, не рассчитал! — сказал кто-то из старших ребят.— Не рассчитал соотношения между весом лодки и ее объемом.

К Вовке протиснулся маленький Буся Кацман и прижался носом к краю стола.

— А что Архимед — это рыба такая?

Изобретатель презрительно взглянул на него, отхлебнул из кружки чаю, прожевал кусок хлеба и только тогда ответил:

— «Рыба»! Чудак ты! Это полководец!

Вот всё, что я могу рассказать об «Архимеде» Вовки Грушина.

БЕЛАЯ КРЫСА

Боря трубил в горн. Леня бил в барабан. За ними шли Вава и Дима, а впереди выступала звеньевая Таня Закатова.

Лоб ее был перевязан бинтом (она недавно упала с дерева), на затылке торчала темная метелочка волос. Эта метелочка резко дергалась, когда Таня оглядывалась на звено.

— Вава! Почему не в ногу?.. Димка! Отстаешь!

Дело было серьезное: Таня Закатова несла пакет с очень важным посланием. В этом послании сообщалось, что «карбиды», то есть пионерлагерь завода «Карбид», вызывают на спортивную игру «трикотажей» — пионерлагерь трикотажной фабрики № 2.

Неторопливо, торжественно шагало звено через маленький лес, разделявший оба лагеря. Трещал барабан, ревел горн, и с освещенных заходящим солнцем деревьев то и дело шарахались в небо испуганные стаи грачей.

Дорога вышла из леса на большую поляну. В конце ее стоял белый дом с башенками и остроконечной крышей. Ребята видели, как «трикотажи» сбегаются на линейку.

— Ждут! Знают, в чем дело! — сказала Таня.— Вавка, опять не в ногу!.. Димка, поправь галстук!.. Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре!

Они вошли в калитку и замаршировали мимо неподвижных рядов «трикотажей». Возле мачты с флагом их поджидал председатель совета лагеря Миша Бурлак. Таня остановилась перед ним.

Смолкли горн с барабаном. Стало совсем тихо. Председатель, толстый, солидный, исподлобья поглядывал на представительницу «карбидов», а она, тонконогая, худенькая, настороженно смотрела на председателя.

Что-то странное было в поведении председателя. Он старался стоять смирно и сохранять обычную солидность, но время от времени делал какие-то непонятные движения: то поводил плечами, то вдруг выпячивал живот, то совсем убирал его. Таня передала ему пакет, заклеенный смолой. Бурлак взял его и почему-то поднял правую ногу, согнув ее в колене.

На линейке зашушукались.

Председатель вскрыл пакет. Он опустил ногу, согнулся, точно у него болел живот, и стал торопливо читать дрожащим голосом, то и дело сбиваясь:

— «Отважным трикотажам от отважных карбидов.

Уважаемые храбрые трикотажи!

Мы, ваши соседи, отважные карбиды, предлагаем вам помериться ловкостью, выносливостью и смекалкой в большой военной игре. Игру предлагаем начать завтра, с восьми

часов утра, и вести ее до полной победы той или другой стороны.

Условия игры вам известны.

Примите заверения в большом к вам уважении...»

Миша читал, но никто не слушал его. Вытаращив глаза, все смотрели на левую ногу председателя: из короткой штанины его трусов медленно выползала... белая крыса.

— «...Примите... примите... заверения... в большом к вам...»

Крыса упала животом на землю, расставив короткие лапы. И в ту же секунду отчаянный визг раздался над линейкой. Два «трикотажа», сбитые с ног, покатились на землю. Чья-то фигура мелькнула над забором и скрылась за ним. Начался переполох. Полторы сотни кричащих ребят окружили председателя совета.

— Пустите-ка! В чем тут дело? Бурлак, что произошло?

Расталкивая ребят, к Бурлаку подошел старший вожатый.

— Ни в чем не дело! — бормотал председатель.— Я ее просто сунул за пазуху, а она — в трусы и на землю... А эта чего-то испугалась...

— Таня! — позвал вожатый.

Над забором показалась забинтованная Танина голова на тонкой шее. Она угрюмо уставилась на вожатого.

— Чудачка! Чего испугалась? Иди сюда!

— Не пойду,— ответила Таня.

Босоногие «трикотажи» запрыгали и захихикали:

— Трусиха! Крысы боится! От крысы удрала!

— Да, боюсь,— ответила Таня.— Петр Первый храбрым человеком был, а тараканов боялся!

Вожатый поднял крысу и показал ее Тане:

— Ну, Петр Первый, я ее уношу. Иди сюда!

...С кислыми лицами пустились «карбиды» в обратный путь.

До калитки их провожали веселые «трикотажи».

— С самим Петром Первым завтра воюем!

— Пусть крыса нас сторожит! Ни один карбид не тронет!

До леса за ними бежал какой-то маленький мальчишка. Приплясывая, он пищал:

— Петр Первый, а Петр Первый! Петр Первый!

В лесу Леня стукнул мальчишку барабаном по голове, и тот побежал домой.

— Оскандалились! — проворчал барабанщик.— Тоже еще звеньевая! Крыс боится!

— Что-о? — Таня сразу остановилась и повернулась к нему.— Что ты сказал?

Крепкий, коренастый Леня молча попятился.

— А ну-ка перепрыгни!

Дорогу пересекала глубокая канава, через которую был переброшен мостик. Леня пробормотал:

— Охота была ноги ломать!

Таня сошла с дорожки, разбежалась и, перелетев через канаву, упала на противоположной стороне.

Больше никто не роптал на звеньевую. Шли молча и быстро. Впереди было еще одно очень важное дело.

Настала ночь. Заснули «трикотажи» в своей даче с остроконечными башнями. Погасли огни в деревенской школе, где жили «карбиды». Яркая кособокая луна поползла по мерцающему небу, и верхушки деревьев в маленьком лесу засветились голубоватым светом.

Внизу, под деревьями, было темно и тихо. Осторожно, в молчании пробиралась сквозь заросли пятерка разведчиков. Таня шла впереди, держа под мышкой фанерный ящик с самодельным телеграфным аппаратом. Вава несла рюкзак с провизией, а ее брат Дима, такой же маленький и курчавый, как она, крепко прижимал к себе четвертную бутыль с кипяченой водой. Сзади всех двигались Боря и Леня. Согнувшись и сдержанно кряхтя, они тащили большую катушку с проводом. Катушка медленно вертелась, чуть поскрипывая в ночной тишине, и черный саперный провод ложился на мокрую от росы траву.

Шли очень медленно. Ветки цеплялись за одежду, невидимые коряги хватали за ноги, какие-то прутья больно хлестали по головам. Крохотный лесок, такой уютный днем, теперь глухо ворчал сухим валежником под ногами и не хотел пропускать.

Исцарапанные, они вышли из леса на край маленького оврага, на дне которого журчал ручей. Сразу же за оврагом возвышался холм. На вершине его, четко выделяясь на мерцающем небе, чернели три столба от сгоревшей сторожки и двускатная крыша заброшенного погреба.

Таня спустилась в овражек и перешла по камням ручей. За ней пошел Дима. Он стал на камень посредине ручья, выбирая, куда бы шагнуть дальше, но вдруг зашатался, согнулся и быстро выпрямился. Раздался звон. Дима, опустив руки, застыл.

— Разбил! — тихонько вскрикнула Таня.

— Упала,— ответил Дима.

— Шляпа!

«Карбиды» шепотом стали бранить Диму. Потом Боря сказал, что нужно сходить в лагерь и принести другую бутыль.

— Ну да еще! — рассердилась Таня.— Будем всю ночь взад-вперед бегать!.. Пошли!

Они переправились через ручей, взобрались на освещенную луной вершину холма и остановились там, молчаливые, насто-

роженные. У мальчиков были низко надвинуты на лбы кепки и у всех подняты воротники пальто.

За холмом тянулась поляна, голубая от лунного света. В дальней стороне ее, окруженный с трех сторон темными соснами, белел дом «трикотажей». Боря зачем-то снял кепку. На его макушке, как перо индейца, торчал одинокий прямой вихор.

— Спят и не знают, что́ мы им готовим,— прошептал он.

Все молча кивнули головами и продолжали смотреть на белый дом.

Завтра начнется игра. Завтра отряды «карбидов» и «трикотажей» с красными и синими повязками на руках станут ползать в лесу, стараясь пробраться к лагерю «противника» и похитить флажок, спрятанный в условном месте. И все это время пятеро отважных разведчиков будут сидеть на холме под самым носом у «неприятеля». Они будут следить за каждым движением «противника» и сообщать обо всем по телеграфу в свой штаб. Это придумала Таня.

— Пошли! — тихо скомандовала она.— Борис, Ленька, тяните провод!

«Карбиды» в молчании направились к погребу. Один за другим вошли в низенькую дверь между скатами крыши. Таня включила карманный фонарик.

Наземная часть погреба была пуста. В середине дощатого пола чернел открытый люк. Ребята, стоя вокруг него на четвереньках, заглянули вниз.

В глубокую яму вела приставная лестница. На дне ямы при слабом свете Таниного фонарика ребята увидели пустые деревянные кадки, лежавшие на боку.

— Капусту квасили,— прошептала Вава.

Леня поправил кепку, съехавшую на нос, и тихонько засмеялся:

— Танька! А вдруг здесь крысы есть!

— Не испугаешь. Они бы здесь с голоду подохли. Чем языком болтать, устанавливай аппарат.

Вскоре телеграфный аппарат с электромагнитом от звонка, роликом от пишущей машинки и бумажной лентой, нарезанной из газетных полей, стоял в углу под скатом крыши. Сидя возле него на корточках, ребята смотрели, как Леня делал пробу.

— Передай,— сказала Таня,— «Погреб заняли, невзирая на трудности. Сообщите, как принимаете. Начпункта Закатова».

Леня снял кепку, склонил стриженую голову над аппаратом и стал нажимать на ключ, приговаривая:

— Точка, тире, тире, точка... Тире, тире, тире...

Леня передавал эту депешу минут пять и весь взмок от напряжения. Под конец он сообщил, что переходит на прием.

и повернул какой-то рычажок. Теперь все смотрели на якорь магнита с карандашным графитиком. Вот он слегка дернулся. Леня взял пальцами кончик бумажной ленты и стал тянуть ее к себе.

Где-то за лесом, в комнате у вожатого «карбидов», дежурный телеграфист лагеря Сеня Жуков стучал ключом, а здесь на бумажной ленте появились слабые черточки и точки. С трудом разбирая их при свете фонаря, Леня читал:

— «При-маем хшо. Же-ла-ем у-пе-ха. Дежурный связе-е-ет Жуков».

Вава тихонько засмеялась и тихо захлопала в ладоши.

— Работает! — в восторге шептали «карбиды».— Работает!

После испытания аппарата они разместились по разным углам, и Таня потушила фонарь.

Стало совсем темно. Только щели в крыше светились слабым ночным светом. Ребята притихли каждый в своем углу. Было слышно, как журчит ручей под холмом и пищит одинокий комар, залетевший в погреб. Так прошло полчаса.

— Товарищи! Вы не спите? — зашептал вдруг Боря.

«Карбиды» возмущенно заворчали в темноте:

— Мы и не думали засыпать!

— Знаете что? Вот все наши ребята спят сейчас в теплых постелях, а мы тут бодрствуем, как на передовых позициях... А, товарищи?

— Угу! — отозвался кто-то.

Таня заворочалась где-то возле двери:

— Слушайте-ка! А что бы нам такое совершить?

— Совершить?.. Что совершить?

— А вот: нас с нашим лагерем соединяет только провод. И вот бы по этому проводу послать депешу: «Сегодня, положим, в ноль часов пятьдесят минут разведчики такие-то совершили то-то и то-то». Что-нибудь особенное, подвиг, понимаете?

Эта мысль всем понравилась. «Карбиды» стали придумывать, какой бы совершить подвиг.

— Нет! — сказал Леня.— Такую депешу послать: «Сегодня ночью разведчики такие-то пробрались... в это... как его... в месторасположение неприятеля и... сделали чего-нибудь такое».

— А что именно сделали? — спросил Боря.

— Ну, какой-нибудь диверсионный акт.

— Ой, девочки! — пропищала Вава.— У них там две овчарки и ночной сторож. Они такой «диверсионный акт» покажут, что просто ужас!

— И вообще нельзя: игра еще не началась,— сказала Таня.

Долго ломали голову «карбиды».

Постепенно щели в крыше посветлели. На полу стало за-

метно черное пятно люка, а по углам — смутные фигуры ребят. Они сидели кто на корточках, кто просто на полу и поеживались от утреннего холода.

— Закусим? — предложил Боря.

Вава развязала мешок. Она вынула оттуда буханку хлеба и несколько вареных картофелин. Затем, хитро посмотрев на ребят, извлекла одну за другой пять сушеных вобл.

— Сама достала, в сельпо! — сказала она важно, раздавая ребятам порции на салфетках из газеты.

Разведчики принялись громко чмокать, обсасывая косточки воблы и продолжая вслух мечтать о подвиге.

— Хоть бы гроза какая-нибудь! — говорила Таня, держа двумя пальцами рыбий хвост.— «В районе наблюдательного пункта разразилась гроза. Погреб затоплен. Продолжаем наблюдения по колено в воде».

— А по-моему, лучше так,— предложил Боря.— «В районе наблюдательного пункта бушует гроза. Огромное дерево упало рядом с погребом. Продолжаем наблюдения».

— Нет! Не так! Вот как! — Леня даже приподнялся.— «В районе наблюдательного пункта бушует гроза. Молния ударила в погреб. Часть разведчиков оглушена. Продолжаем наблюдения среди дымящихся развалин».

— Ой, девочки! — пропищала Вава.— Если все это случится, вожатые прогонят нас отсюда и прекратят игру.

Прошло часа три. Щели в крыше стали золотистыми, и от них протянулись сизые лучи, в которых плавали блестящие пылинки. Мрачную картину осветили они!

Бледные, осунувшиеся, ребята сидели на своих местах, вытянув шеи, поминутно делая судорожные глотательные движения. Клочки газеты, обглоданные рыбьи кости и картофельные очистки валялись на полу.

Прижавшись затылком к стене и перекатывая голову с одного плеча на другое, Леня громко, с надрывом шептал:

— Ну прямо все кишки выжгло!.. Прямо, наверно, какое-нибудь воспаление теперь начинается! — И, уставившись на Таню злыми глазами, сказал: — Ну, чего тебе сделается, если я к ручью сбегаю?

— Не пущу. «Трикотажи» увидят,— в десятый раз повторила Таня.

«Увидят»! Они еще спят преспокойно, а ты здесь мучайся!

Таня, бледная, решительная, стояла на коленях, загораживая собою дверь.

— Все хотят пить. И я не меньше тебя.

— «Не меньше»! Две кружки чаю за ужином выпила, а я...

— Не пущу! Понятно?

Боря молча слушал этот разговор. Длинная физиономия его еще больше вытянулась, Вава коротко всхлипывала, точно икала, а ее брат сидел неподвижно, страдальчески подняв маленький нос и большие темные глаза.

Вдруг Боря поднялся:

— Товарищи! Зачем ссориться? Если каждый станет бегать к ручью и обратно, то нас могут заметить. Но кто-нибудь может взять рюкзак и принести воду для всех.

— Правильно! Он брезентовый и не протекает.

— И очень хорошо! И великолепно! — одобрительно запищала Вава.

— Не пущу!

Но тут терпение у «карбидов» лопнуло. Леня, согнувшись, подошел к звеньевой. Вава вскочила на ноги. Злое лицо ее выглядывало из-за Лёниной спины. Шагнул вперед и Боря с торчащим вихром.

— Что ж, нам здесь помирать? — мрачно спросил Леня.

— Не пущу!

— Кричала, кричала о подвиге, а как до дела дошло — одного человека боишься выпустить!

— Не пущу!!

— Ой, девочки, какая странная у нас звеньевая! Крыс боится, «трикотажей» боится и всего боится!

Леня бил себя кулаком в грудь:

— Ну, меня, меня пусти! Я так проползу, что...

— Уж ты проползешь! Знаем тебя!

— Ну, сама иди!

— И сама не пойду.

Леня подошел к ней поближе. Неожиданно мягким, ласковым голоском он спросил:

— Струсила?

— Струсила? — пискнула Вава.

Таня вскочила, стукнулась головой о крышу и, держась за макушку, отчеканила:

— Давайте мешок!

— Вот и прекрасно! Вот и прекрасно! И ничего такого не случится,— миролюбиво заговорила Вава, вытряхивая из рюкзака остатки провизии.

Таня сняла пальто и взяла мешок.

— Струсила, говоришь?

Она открыла дверь, согнулась, чтобы не стукнуться снова о притолоку, сделала шаг вперед, остановилась на секунду... и вдруг, резко дернувшись назад, закрыла дверь.

— Чего ты? — удивились ребята.

— Стоят! — чуть слышно ответила Таня.

Все бросились к стене и приникли к щелям в досках. Даже Дима перестал «умирать».

Повертев удивленно головой, он поднялся и подбежал к двери.

На крыльце дома «трикотажей» стояли двое мальчишек с полотенцами через плечо: один — маленький, другой — большой. Маленький, протянув руку, показывал на погреб.

«Карбиды» бросились прочь от стены.

— Идут!

— Ой, девочки, прямо сюда идут!

С минуту они метались по погребу, стукаясь головами о скаты крыши.

— В люк! В бочки! — скомандовала Таня.— Всё убрать!

Пальто, катушка из-под провода, рюкзак, очистки картошки, рыбьи головы и хвосты полетели вниз, в глубину погреба. Леня отцепил аппарат от провода и съехал на животе по шаткой приставной лестнице вниз. За ним скатились остальные. Кряхтя, толкаясь, «карбиды» убрали лестницу и спрятали ее за бочки, лежащие двумя рядами у стен. Бросили туда же свои вещи и остатки провизии. Затем каждый забрался в бочку, и все затихли.

Прошла минута, может быть, две. Вот наверху скрипнула дверь. Послышались два приглушенных голоса. Один, солидный, басистый, похожий на голос Бурлака, сердито спросил:

— Ну, где твои «карбиды»?

Другой, тонкий, ответил негромко, но горячо:

— Честное пионерское, видел! Эта, ихняя... Петр Первый... По ковбойке узнал. Открыла дверь, а потом сразу как захлопнет... А за ней еще какие-то... Сам видел.

— Сколько? — спросил председатель.

— Десять... Нет, Мишка, человек двадцать! Так и высматривают, так и высматривают!

— Врешь,— лениво сказал Бурлак.

— Ну вот тебе честное-распречестное слово! Знаю, где они! Внизу сидят.

Притихшие в бочках «карбиды» услышали, как два «трикотажа» подобрались к люку.

— Эй! — басом крикнул маленький мальчишка.

Лёнина бочка лежала против Таниной. Он взглянул на звеньевую. Таня сидела согнувшись, поджав под себя колени, прикусив кончик языка. Один глаз ее был закрыт прядью волос, другой неподвижно смотрел куда-то вверх.

— Эй, Петр Первый! Все равно знаем — в бочках сидите.

Ребята даже дышать перестали. Затекли ноги, болели спины, а шевельнуться было нельзя: при малейшем движении бочки качались.

— В бочках сидят! Честное пионерское, в бочках! Бежим подымем тревогу! Это разведчики ихние!

— Чудак ты, право, человек! Подымем тревогу, а здесь никого не окажется. Смешно прямо!

— Давай спрыгнем, посмотрим.

— И поломаем шеи!

— Ну, давай я один спрыгну, собой пожертвую. Хочешь?

— Собой жертвовать нетрудно. А ты попробуй без жертв захватить. Это другое дело.

— А как... без жертв?

Два «трикотажа» стали шептаться так тихо, что «карбиды» ничего не могли услышать. Потом маленький хихикнул и спросил:

— На веревке?

— Ну да,— ответил Бурлак.

Они опять зашептались.

— Ладно, сторожи́. Я сейчас! — громко сказал Бурлак и вышел из погреба.

Некоторое время стояла полная тишина. Было слышно, как над люком дышит и шмыгает носом маленький «трикотаж». Вдруг он поворочался наверху и довольным тоном объявил:

— А Мишка за белой крысой пошел!

«Карбиды» почуяли недоброе. Леня снова взглянул на Таню. Она еще больше сжалась в своей бочке.

— Эй, Петр Первый, выходи лучше! — угрожающе крикнул «трикотаж».

«Карбиды» молчали. Сердца их отчаянно бились. Хотелось шумно, глубоко вздохнуть, а мальчишка над люком, как назло, притих.

Прошло минут десять. Наверху раздались шаги, и снова послышался шепот:

— Зачем за ногу? За хвост... Осторожней, дурак, уронишь!.. Потихоньку! Потихоньку!

Между бочками Лени и Тани появилась в воздухе белая крыса. Вертясь и покачиваясь, суча розовыми лапками, она медленно опускалась, привязанная на шпагате за хвост. Вот она заскребла передними лапками земляной пол и села, поводя острой мордой с подвижными усиками.

— Эй, Петр Первый, выходи! Хуже будет!

Таня, бледная, закусив губы, пристально смотрела на крысу. Сжатые кулаки ее с острыми косточками дрожали.

Шпагат натянулся и дернул крысу за хвост. Та поползла в сторону Лени, волоча за собой веревку. Леня знал, что белые крысы не боятся людей. Так оно и оказалось. Крыса вошла в бочку и, наступив лапой на Лёнин мизинец, стала его обнюхи-

вать. Леня приподнял было другую руку, чтобы схватить крысу и не пустить ее к Тане, но вспомнил, что «трикотажи» могут дернуть за веревку, и раздумал.

Шпагат снова натянулся и вытащил крысу в проход между бочками.

— Так все бочки обследовать! Понимаешь? — услышали ребята шепот Бурлака.

— Есть все бочки обследовать!

Белая крыса бесшумно ползала по дну погреба. Она то заползала в одну из бочек, то снова появлялась на черном земляном полу, и пять пар внимательных глаз, скрытых от «трикотажей», следили за каждым ее движением.

Вот она снова очутилась между Леней и Таней и снова направилась к Лене...

Веревка натянулась. Крыса остановилась, а потом повернула к Тане.

Бочка, в которой сидела Вава, качнулась. К счастью, «трикотажи» не заметили этого.

Таня крепко зажмурила глаза. Все сильней и сильней дрожали ее сжатые кулаки и худенькие плечи.

Крыса часто останавливалась, сворачивала в сторону, но все же приближалась к ней. Вот она вошла в бочку, обнюхала дрожащий кулак и, неожиданно вскочив на Танину руку, стала карабкаться на плечо. Не разжимая глаз, Таня широко открыла рот, и Леня понял, что сейчас раздастся тот истошный, пронзительный визг, который раздался вчера вечером на линейке «трикотажей». Но визга он не услышал. Таня сжала зубы и больше не делала ни одного движения. А крыса забралась на ее плечо и подползла к шее. Ее белые усики шевелились возле самого Таниного уха.

Снова дрогнула бочка, в которой сидела Вава. Леня не боялся крыс, но по спине его бегали мурашки, когда он смотрел на звеньевую.

Где-то далеко прозвучал горн. В ту же секунду крыса вылетела из бочки. Дрыгая лапами, она взвилась вверх и исчезла.

— Хватит дурака валять! — проворчал над люком Бурлак.

— Да честное пионерское, мне показалось...— уже совсем неуверенно сказал его товарищ.

— Мало чего тебе показалось! Сначала проверь, потом подымай панику. Идем!

И «трикотажи» ушли из погреба.

Один за другим вылезли из бочек измученные, грязные «карбиды». Они собрали свои вещи и приставили лестницу. Никто из них не сказал ни слова.

Молчали они и наверху. Леня стал прикреплять концы

проводов к аппарату, остальные сели по своим местам и приникли к щелям между досками.

От пережитого волнения жажда усилилась. Каждому казалось, что вот-вот потрескается кожа на языке. Но все молчали и время от времени поглядывали на Таню. Она стояла на коленях перед дверью и не отрывалась от щели.

— Аппарат готов,— тихо сказал Леня.

Звеньевая молчала, по-прежнему глядя в щель. Перед белым домом выстроились четырехугольником «трикотажи». Опять заиграл горн. Послышалась дробь барабана, и красный, горящий на солнце флаг рывками поднялся вверх.

— Передай,— не оборачиваясь, сказала Таня.— «Флаг у противника поднят».

Леня облизнул пересохшие губы и прислушался к слабому журчанию ручья под холмом. Он знал теперь, что он и его товарищи будут слушать это журчание три часа, пять, может быть, восемь, и никто из них не скажет ни слова о том, что хочется пить.

Склонив голову к аппарату, Леня стал медленно нажимать на ключ, шепча про себя:

— Точка, точка, тире, точка... точка, тире, точка, точка... «Флаг у противника поднят!»

КАК Я БЫЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

День, когда я впервые почувствовал себя самостоятельным, врезался мне в память на всю жизнь. Я до сих пор вспоминаю о нем с содроганием.

Накануне вечером мама и папа сидели на лавочке у подъезда нашего большого нового дома и спорили.

— Парню десятый год! — сердито говорил папа.— Неужели он дня не может прожить самостоятельно? До коих же пор ему нянька будет нужна!

— Говори что хочешь, Михаил, а я знаю одно,— твердила мама,— если мы Лешку оставим здесь, для меня вся поездка будет испорчена. Здесь даже соседей нет знакомых, чтобы присмотреть за ребенком. Я просто вся изведусь от беспокойства.

Решалась моя судьба на весь завтрашний день. Папин товарищ по работе, полковник Харитонов, пригласил родителей провести воскресенье у него на даче, но меня туда брать было нельзя, потому что сынишка Харитонова болел корью. Мама никогда не оставляла меня надолго одного — ей все казалось, что я еще маленький ребенок. В новом доме мы поселились несколько дней

тому назад, ни с кем из соседей еще не познакомились, поэтому мама хотела «подбросить» меня на воскресенье к своей приятельнице, жившей на другом конце города.

Папа возражал, говоря, что неудобно беспокоить приятельницу и что пора приучать меня к самостоятельности.

Я стоял и слушал этот спор, от волнения выкручивая себе пальцы за спиной. Провести хотя бы один день без присмотра взрослых и так было моей давнишней мечтой, а теперь, когда мы переехали в новый дом, мне этого хотелось с удвоенной силой. Причиной тому была Аглая — смуглая темноглазая девчонка, известная как заводила среди здешних ребят. Эта Аглая мне очень нравилась, но я чувствовал, что она относится ко мне с пренебрежением, считая меня маленьким мальчиком, да к тому же маменькиным сынком. Мне казалось, что день, проведенный самостоятельным человеком, позволит мне возвыситься в ее глазах. К моему огорчению, Аглая находилась тут же, во дворе. Она прыгала на одной ноге, толкая перед собой камешек, слышала весь унизительный для меня разговор папы с мамой и время от времени вставляла, ни к кому не обращаясь:

— У! Я с шести лет одна дома оставалась, и то ничего! — Или: — У! Я сколько раз себе сама обед готовила, не то что разогревала.

Я косился на Аглаю и тихонько, но вкладывая в слова всю душу убеждал:

— Ну мама! Ну мама же! Ну что со мной может случиться? Ну ты только послушай, как я буду жить: вы уедете, я пойду немножко погуляю...

— Дверь захлопнешь, а ключ оставишь дома...

— И вовсе нет! Я ключ еще вечером положу в карман... Значит, пойду погуляю...

— Тебе домашнюю работу надо делать, а не гулять. Скоро первое сентября, а ты и половины примеров не решил.

— Ой, мама, ну ладно! Я гулять не буду. Значит, вы уезжаете, я сажусь делать примеры, потом захотел есть — включаю газ...

— Еще с газом что-нибудь натворит,— пробормотала мама.

— У! Я давно уже газ...— начала было Аглая, но в этот момент прибежал Антошка Дудкин с большим листом бумаги в руках.

— Готово! Куда вешать? — сказал он Аглае, и они вдвоем прикрепили к парадному написанную чернилами афишу.

Она гласила, что завтра в пять часов вечера в клубе имени Полины Кожемякиной состоится спектакль пионерского драматического кружка.

Наконец нам с папой удалось уговорить маму. Было решено,

что родители уедут с шестичасовым поездом, а я встану, как обычно, в восемь, сам уберу квартиру, сам приготовлю себе чай, сам накормлю и выведу погулять таксу Шумку, сам (то есть без понуканий) решу десять примеров и сам разогрею себе обед. Я был на седьмом небе. Для меня все это было так ново, так радостно, как иному мальчишке возможность пожить на необитаемом острове.

Весь вечер мама мне давала наставления. Ночью я долго не мог уснуть, а когда проснулся солнечным утром, в квартире стояла необычная тишина. Только Шумка, чесавшая себя за ухом, мягко постукивала лапой по полу. Я был один! Я был полным хозяином квартиры. Я мог как угодно распоряжаться самим собой. Я вскочил с постели и в одних трусах, уперев кулаками в бока, громко насвистывая какой-то марш, отправился обозревать свои владения. Я тут же наметил себе огромную программу действий. Убирая квартиру, я не просто подмету паркетный пол, а заново натру его воском; я даже вычищу и повешу в шкаф папин старый мундир, оставленный им на спинке стула. Примеров я решу не десять, как мы с мамой уговорились, а все двадцать штук. Вечером, если папа с мамой задержатся, я разогрею для них ужин, заверну его в старое одеяло, как это иногда делала мама, а сам лягу спать, оставив на столе записку: «Котлеты и картошка горячие, в кухне, на табурете». Словом, теперь мама узнает, как глупо было с ее стороны бояться оставить меня одного.

Я быстро оделся, умылся и собрался было вывести Шумку, которая уже скулила у двери, но тут меня осенила такая мысль: а что, если заодно пойти в магазин и купить чего-нибудь себе к завтраку? Ведь одно дело, когда в магазин тебя посылает мама, и совсем другое, когда ты сам захотел чего-нибудь, пошел и купил. Ради такого удовольствия не жалко было истратить трешку из пятнадцати рублей, скопленных на аквариум.

Хлеб, масло и колбаса у меня к чаю были. Подумав немного, я решил, что мне хочется сыру.

Через минуту, держа Шумку на поводке, я шел по двору, шел неторопливо, степенно, поглядывая на окна квартиры в первом этаже, где жила Аглая. Вдруг как раз из ее окна вылетела и шмякнулась к моим ногам дохлая ворона. Шумка тявкнула от неожиданности.

— А ну, чтоб духу вашего здесь больше не было! — послышался из окна сердитый женский голос.— Ишь нанесли всякой дряни! Репетировать им надо! На то клуб есть, чтобы репетировать, там и ходите на головах, а людям покой надо дать. Ну! Сколько раз мне говорить? Марш отсюда!

Вслед за этим из подъезда выскочил и подхватил на бегу ворону рыжий мальчишка с лицом, казалось, состоявшим из

одних веснушек. За плечами у него в виде мантии болталось синее одеяло, на котором были нашиты узоры из серебряной бумаги от чая, на голове сидела корона, обклеенная той же бумагой. За ним, прижимая к груди ворох цветных тряпок, выскочила такая же рыжая девчонка, за девчонкой — Антошка Дудкин, одетый как обычно, а за Антошкой выбежала Аглая. Я взглянул на нее, да так и застыл.

Аглая мне нравилась даже в самой затрапезной своей одежде, даже тогда, когда она выбегала во двор в старом материнском жакете, доходившем ей до колен, и в драных валенках на тонких ногах. А тут... тут она предстала предо мной в наряде сказочной принцессы. На ней было платье из марли, раскрашенной голубой, розовой и желтой красками; на шее блестело ожерелье из разноцветных стеклянных бус, какими украшают елки; два крупных шарика от этих бус болтались на ниточках под ушами, надо лбом в темных волосах блестела мохнатая елочная звезда, а две такие звезды, но поменьше, украшали стоптанные тапочки.

Заглядевшись на всю эту красоту, я даже палец сунул в рот от восхищения. Пробегая мимо, Аглая едва кивнула мне, но вдруг остановилась и спросила через плечо:

— Ну что, уехали твои?

Я быстро вынул палец изо рта и сказал как можно небрежней:

— Конечно, уехали.

— И тебя одного оставили?

— Конечно, одного. Вот еще!.. Не знаешь, магазин открыт? Хочу сыру купить себе к завтраку.

— Открыт,— сказала Аглая, о чем-то думая.— Ты потом домой придешь?

— Ага. Вот только сыру куплю. Сыру чего-то захотелось.

— Эй! Идите-ка! — крикнула Аглая своим приятелям и, когда те подошли, обратилась ко мне: — Тебя Лешей зовут, да? Леша, можно мы к тебе придем? А то нам репетировать надо, а нас отовсюду гонят и клуб закрыт... а ты один в квартире. Ладно?

— Пожалуйста, конечно! — обрадовался я.— Я вот только квартиру уберу, примеры сделаю, и приходите.

Лицо Аглаи стало каким-то скучным.

— У-у! Примеры! А тебя что, заставляют с утра заниматься? Меня, например, никто не заставляет. Когда хочу, тогда и занимаюсь.

— А меня разве заставляют? Меня вовсе никто и не заставляет, это я сам хотел,— заторопился я.— Пожалуйста! Хоть сейчас пойдемте! Я и квартиру могу не убирать... Когда захочу, тогда и уберу. Пожалуйста! Шумка, домой!

Большими уверенными шагами я зашагал впереди артистов к своему подъезду, поднялся вместе с ними на второй этаж, открыл ключом дверь и широко распахнул ее.

— Пожалуйста! Вы в какой комнате хотите? В этой или в той? В какой хотите, в той и репетируйте. Пожалуйста!

Артисты прошли в большую комнату, служившую столовой и одновременно моей спальней. Я из кожи лез, чтобы показать, какой я независимый человек и гостеприимный хозяин.

— Аглая, ты не стесняйся, говори, что нужно. Стол мешает? Стол можно отодвинуть, и очень даже просто. Шумка, на место! Не путаться под ногами! Как нужно, так и сделаем, как захотим, так и устроим. Да, Аглая?

Принцесса разглядывала себя в большом зеркале, стоявшем у стены.

— У тебя губная помада есть? — спросила она.

— Помада? У! — воскликнул я совсем как Аглая.— Я тебе не только помаду могу дать, я и пудру могу, и краску для бровей, и одеколон даже...

Удалившись в другую комнату, я взял там большую коробку с парфюмерным набором «Белая сирень», захватил еще коробочку с краской для бровей и притащил все это Аглае.

— Вот! Пожалуйста! Выбирай что хочешь. Очень даже просто!

Аглая напудрила себе лоб и нос, накрасила губы и подрумянила щеки. То же самое проделала Зина — рыжая девчонка, игравшая пожилую королеву. Кроме того, ей густо напудрили волосы, чтобы она казалась седой.

— Антошка! — сказала Аглая.— Давай теперь ты загримируйся. Знаешь, как артисты делают, чтобы красивей быть? На носу белую черту проводят, а под бровями розовой краской мажут. И губы тоже.

Но Дудкин, скрестив руки на груди, повесив голову, с угрюмым видом бродил по комнате.

— А ну тебя! «Загримируйся»! Мне козел покоя не дает, а ты — «загримируйся»...

— Какой козел? — спросил я.

Мне объяснили, что Дудкин играет Иванушку-дурачка и по ходу пьесы должен приехать к принцессе верхом на козле и с дохлой вороной в руках. Вот этим козлом, наскоро выпиленным из фанеры, Антошка был очень недоволен.

— Дохлую ворону и ту настоящую достали, а козла курам на смех сделали. Надо, чтобы он на четырех ногах был, чтобы я мог сесть на него и меня бы на нем за веревочку и втащили. А на фанерного разве сядешь! Волочи его между ног, а сам топай на своих на двоих. Публика только смеяться будет.

Король уныло кивнул:

— Ага. Я говорил Наталье Петровне, что надо другого козла, а она свое: «Мы, говорит, сказку ставим, а в сказке и фанерный сойдет».

Артисты замолчали в раздумье. Я тоже молчал и все поглядывал на Аглаю. Мне очень хотелось узнать, что она думает обо мне, убедилась ли наконец, что я человек, достойный ее уважения. Но Аглая не смотрела на меня. Как назло, она обратила внимание на стоявшего у кровати большого коня из папье-маше, на котором я еще недавно ездил верхом по квартире, гоняясь за Шумкой и стреляя в нее из жестяного пистолета.

— Это твой конь? — спросила она.

Я очень любил своего скакуна, относился к нему как к живому существу, но теперь я отрекся от него:

— Нет, не мой... То есть мой, но я в него давно не играю. Он просто так стоит. Что я, маленький, что ли!

Ковыряя в носу, принцесса задумчиво смотрела на коня.

— Антон! Вот бы из этой лошади козла сделать... У нее даже колесики есть. Леша, одолжи нам этого коня. А?

— Конечно, одолжу! Пожалуйста! Что мне, жалко? Я в него вовсе и не играю... Он просто так стоит...

Присев на корточки, Дудкин внимательно осмотрел коня.

— Этот, факт, лучше фанерного,— сказал он.— А хвост куда девать?.. Ты козлов с такими хвостами видела?

И тут я окончательно предал своего старого друга.

— А хвост... а хвост можно отрезать! — звенящим голосом выпалил я и завертел головой, глядя, какое это произведет на всех впечатление.

— Тебе от матери попадет,— пробасила Зинаида.

— Что? Попадет? Вот еще!.. «Попадет»! Это моя лошадь: что хочу, то и делаю. Сейчас отрежем, и все! И очень даже просто!

Я снова сбегал в другую комнату, вернулся оттуда с ножницами и присел перед конем. Через минуту пышный мочальный хвост лежал на полу, а я поднялся, мокрый от испарины.

— Вот и все! Вот и пожалуйста! И ничего тут такого нет...

Сделать из лошади козла оказалось работой сложной и трудной. Мне пришлось искать, где у папы лежат плитки сухого столярного клея, потом толочь его, чтобы он быстрее размок, потом варить его в маленькой кастрюльке (подходящей банки в доме не оказалось). Потом мы принялись делать рога. Сначала Аглая свернула из бумаги узенькие фунтики, и мы приклеили их к лошадиной голове, но Антошка сказал, что таких прямых рогов у козлов не бывает. Тогда мы стали делать их плоскими, вырезая из картона, и извели кучу всяких коробок от настольных игр, прежде чем Дудкину понравилась форма рогов.

Для бороды мы, конечно, использовали часть отрезанного мной хвоста, но и тут пришлось помучиться, потому что руки у нас были все в клею и мочалка больше прилипала к пальцам, чем к лошадиной морде. Когда борода была наконец готова, Дудкин заявил, что лошадь надо перекрасить из светло-коричневого в другой какой-нибудь цвет, хотя бы в белый. Зубной пасты оказалось мало, и Зина предложила покрасить мукой. Я достал муки, и мы разболтали ее в тазике, так что получилось нечто вроде теста для блинов. Чем дольше мы работали, тем больше у меня скребли кошки на сердце, когда я смотрел на паркетный пол, заляпанный клеем, жидким тестом и облепленный кусочками мочалки.

Пробило два часа. Королева заторопилась:

— Васька, пойдем, обедать пора. Антон, кончай скорей. В пять часов спектакль, а мы и не репетировали сегодня из-за твоего козла.

Только теперь я вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера. В животе у меня бурчало, в голове неприятно шумело.

Держа в левой руке тазик с тестом, а в правой — старую кисточку для бритья, Дудкин мазнул по коню еще разок, отошел шага на два и склонил голову набок. Потом он бросил кисточку в таз, а таз поставил на стол и вздохнул:

— Зря только коня испортили.

Аглая передернула плечами:

— У, какой-то!.. Тебе все плохо! Фанерный ему плох, этот плох...

— А по-твоему, хорош, да, хорош? — закричал Дудкин.— Ты посмотри на него: у тебя мурашки по спине не бегают? Ведь он на черта похож, с которого содрали шкуру, а ты — хорош!

Я не представлял себе, как выглядит черт без шкуры, но то существо, которое у нас получилось, и правда имело вид жутковатый.

Непросохшее тесто блестело скользким блеском, один картонный рог надломился и свесился набок, куцый хвост, испачканный клеем, превратился в какую-то сосульку, а рыжая борода, наоборот, была слишком пышна и топорщилась во все стороны.

Как видно, и Аглае стало не по себе, потому что она больше не возражала Антону. На некоторое время в комнате воцарилось унылое молчание.

— Аглая! — закричали вдруг за окном сразу несколько голосов.— Эй, Аглая! Дудкин!

— Мы здесь! — отозвалась Аглая, подбежав к окну.

— «Здесь! Здесь»! Мы вас два часа ищем. Ушли куда-то и не предупредили. Хотите спектакль сорвать?

— Идите сюда. Мы здесь репетируем, в двадцать второй.— Аглая отошла от окна.— Леша, поди открой, это еще артисты идут... Антошка, мы Сене Ласточкину козла покажем. Он староста кружка: пусть как хочет, так и решает.

Я открыл входную дверь, и в квартиру ввалились еще человек шесть ребят. Среди них выделялся плечистый мальчишка с самоуверенной физиономией.

— Сеня, гляди! — сказала ему Аглая.— Мы вот какого козла вместо фанерного сделали, а Дудкину и этот не нравится.

Мальчишка посмотрел на наше страшилище маленькими, узкими глазками.

— Халтура! — проворчал он и добавил: — Я вам получше козла достану. Живого. Настоящего.

— Вот! Настоящего! — обрадовались артисты.— Конечно, хорошо бы настоящего, только где ты его возьмешь?

— У моего дяди есть козел. В сарайчике живет. Только бодливый, черт!

— Это ничего, что бодливый,— сказал Дудкин.— Лишь бы дядя позволил взять.

— А мы его и спрашивать не будем. Потихоньку возьмем, а потом обратно... Вот где бы его спрятать до спектакля? А то дядя скоро вернется, тогда ничего не получится.

Все помолчали, обдумывая этот вопрос.

— В закоулке каком-нибудь привязать, и все.

— В закоулке украсть могут.

— Сторожить по очереди будем.

Сеня качнул головой:

— Не годится. Дядя увидит, что козла нет, и пойдет его искать по дворам да закоулкам.— Он помолчал.— У Юрки спрячем. Юра, у тебя отец с матерью по воскресеньям работают и квартира отдельная. В квартирах козлов не ищут.

Мальчик, которого звали Юрой, попятился от него:

— Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, что мне за это будет!

На Юру напали со всех сторон:

— Не хочешь помочь товарищам, да?

— Вот Сеня наверняка знает, что от дяди попадет, а и то не боится для общего дела.

— Ругайтесь себе сколько хотите,— ответил Юра.— Я лучше из кружка совсем уйду, а козла в квартиру пускать не буду. У меня голова на плечах еще есть.

— А я знаю, где козла спрятать! — воскликнула Аглая.— Леша, мы к тебе его приведем. Хорошо?

Тут уж я оторопел. Я почувствовал, что козел в квартире, да еще почти что краденый,— это уж слишком.

— Я... ко мне козла...

У меня пересохло в горле, я поперхнулся. Аглая этим

воспользовалась. Быстро поглядывая на меня, она заговорила с воодушевлением:

— К Леше поставим. Леша не такой нюня, как Юрка. Правда, Леша? Он мальчишка самостоятельный, не какой-нибудь маменькин сынок — да, Леша? Мы к нему поставим козла в прихожую и все пойдем обедать. Он часочка два всего постоит, а перед спектаклем заберем. И никто даже ничего и не узнает. Леша, верно я говорю? Ты не забоишься, как Юрка, да, Леша?

— Я... мне...

Я снова запнулся. Все ждали моего ответа, ждала и Аглая. Она раскраснелась, маленькие черные глаза ее блестели, цветные зеркальные шарики покачивались под розовыми ушами. И я не смог отказаться. Я посмотрел на Юру, которому Аглая ставила меня в пример, и слегка расправил плечи:

— Я... Пожалуйста, конечно... Мне, конечно, ничего не стоит... Только... только он, наверное, будет кричать, а соседи...

— У! Кричать? Зачем ему кричать? А соседям ты не открывай. Это твоя квартира, ты хозяин, и пусть они не суются.— И, как видно испугавшись, что я пойду на попятный, Аглая снова принялась меня хвалить: — Ну, что я говорила? Говорила, что Леша не забоится,— он и не забоялся. Он не то что Юрка, он знаете какой отчаянный!

— Ладно! Пошли тогда,— сказал Сеня и кивнул мне: — Ты жди, значит. Мы скоро...

Артисты повалили к выходу. В передней королева сказала, что ей с Васькой давно пора обедать.

— После пообедаешь,— отрезал староста.— Нам рабочая сила нужна. Он знаешь какой здоровый? Вот такущую собаку насмерть забодал.

Услышав эту фразу, я совсем расстроился, но было уже поздно: артисты ушли.

Я принялся слоняться по квартире. Я понимал, что следует привести в порядок комнату, попытаться хотя бы соскрести тесто с коня, а в первую очередь чего-нибудь перекусить, но от тревоги у меня ни к чему не лежали руки. То и дело я забирался на подоконник.

Наш дом был первым многоэтажным зданием, построенным в этом районе. Его со всех сторон обступили деревянные дома и домишки, в свою очередь окруженные многочисленными сарайчиками и клетушками. В одной из таких клетушек, наверное, и жил этот проклятый козел.

Прошло двадцать минут, потом полчаса. Артисты не возвращались. Я стал подумывать, что, пожалуй, не так уж легко протащить чужого козла в летний воскресный день по проходным дворам. Может, на мое счастье, артистов еще и застукают на месте преступления. Когда часы пробили три, у меня совсем

отлегло от сердца, и я направился на кухню разогревать себе обед.

— Леша! Леша! Открывай! — донесся в этот момент всполошенный Аглаин голос.

Остановившись на полдороге, я подбежал к окну, но во дворе уже никого не было. В отвратительном настроении побрел я в переднюю и открыл дверь. Артистов я не увидел. Я только услышал, что под моей площадкой идет приглушенная, но, как видно, отчаянная борьба. Там сопели, пыхтели, кряхтели и шаркали ногами. Временами кто-то яростно фыркал. Иногда что-то шмякалось не то об стену, не то о ступеньки.

— Рога! Рога держите! Рога не отпускайте! — хрипло шептали внизу.

— Ыть!.. Еще немного! Ыть! Еще разок!..

— Ой! У-юй!

— Тише! Услышат!

— Подымай ему ногу! Подымай ему ногу! Подымай ногу... Уп!.. Есть!

— Чего — есть?

— По губе копытом!

— Ыть! Еще разок! Ыть!.. Мне за штаны влетит. Ыть!.. Не починишь теперь.

Но вот на лестнице, ведущей к площадке, показалась куча рук, ног, стриженых затылков и растрепанных кос. Она шевелилась, судорожно дергалась и постепенно приближалась ко мне.

Полумертвый от страха, я отступил в переднюю, однако двери не закрыл. Вот куча артистов показалась на площадке. С минуту они трепыхались перед дверью, потом что-то случилось, и в переднюю разом влетели Дудкин с окровавленной губой, еще два артиста и козел. Он был черный с белыми пятнами. Одного глаза на белой половине морды у него не было, а глаз на черной половине был открыт и смотрел безумным взглядом, каким смотрит с картины Иван Грозный, убивший своего сына. На правом роге его, как чек в магазине, был наколот квадратный кусочек синей материи.

— Двери! — закричал мне Дудкин, устремляясь к выходу.— Закрывай все двери! А то пропадешь!

Козел повернулся, красиво стал на дыбы, Дудкин ойкнул и захлопнул за собой дверь. В следующий момент рога так треснули по ней, что сверху побелка посыпалась.

Я оцепенел. Секунд пять я не двигал ни рукой, ни ногой. Как сквозь вату, я услышал, что в дверь слабо застучали кулаком.

— Мальчик! Мальчик! — запищал тонкий девчачий голосок.— У него на роге мой карман от передника остался. Мальчик, а мальчик, у него на роге мой карман...

Мне, конечно, было не до кармана. Козел снова повернулся,

опустил рога и мелкими шажками потопал ко мне. Я шмыгнул в комнату и запер дверь на крючок.

— Черта с два я на такого сяду! — донесся со двора голос Дудкина.— Я уж лучше на фанерном. Что мне, жизнь не дорога?

Я не расслышал, что ему ответили. Шумка, которая до сих пор лишь нервно тявкала в соседней комнате, вдруг закатилась отчаянным лаем. Я сунулся было туда и отскочил назад. Козел был уже в комнате родителей. Он проник туда через другую дверь, которую я не догадался закрыть. Он медленно вертелся, подставляя Шумке рога, а та, захлебываясь от ярости, прижимаясь грудью к полу, в свою очередь, вертелась вокруг козла и норовила схватить его за пятку. Крючка на двери в эту комнату не было. Я забаррикадировал ее тяжелым плюшевым креслом.

И началась катавасия! Лай, топот, фырканье постепенно удалились в кухню, причем там загремело что-то железное, потом шум битвы снова переместился в соседнюю комнату. Я был отрезан от всей квартиры. Я не мог взять из кухни продукты. Мне была недоступна даже уборная, куда я стремился всей душой. Ломая себе пальцы в тоске, я слонялся по комнате и думал о том, как же я открою артистам, когда они придут за козлом, и придут ли они вообще до спектакля, если Дудкин отказался на нем ездить.

Шумка была из тех собачонок, которых называют «заводными». Обычно стоило кому-нибудь пройти по лестнице мимо нашей квартиры, как она впадала в истерику минут на пять. Козел появился у нас примерно в четверть четвертого. Ровно в четыре в квартире продолжался все тот же тарарам, и Шумка даже не охрипла. Со двора уже давно доносились голоса:

— Безобразие какое!

— Это в двадцать второй!

И Шумка, как говорится, допрыгалась. Лай ее вдруг прервался, она громко икнула, а в следующий момент заверещала таким дурным, таким страшным голосом, что я подумал: «Все! Шумке конец».

— Эй! Двадцать вторая! Что вы там, с ума посходили? — закричали во дворе.

— Прекратите это хулиганство, слышите?

Сам не зная зачем, я подошел к окну. По ту сторону двора стоял двухэтажный бревенчатый дом. Из многих окон его выглядывали жильцы. Несколько мужчин и женщин стояли на крыльце и возле него, подняв головы к окнам нашей квартиры. Стоило мне показаться, как они накинулись на меня:

— Эй, малый! Это ты там безобразничаешь?

— У тебя совесть есть так собаку мучить?

— Мать с отцом уехали, он и распоясался!

В голове у меня звенело от Шумкиного визга, сердце измученно колотилось, но все же я еще разок попробовал показать свою самостоятельность. Печально глядя в окно, голосом слабым, как у тяжелобольного, я пролепетал:

— Вас... вас не касается. Я... я сам... я сам знаю, что делаю. Это наша квартира. И... и вас не касается.

Я отошел от окна. Шумка вдруг перестала верещать и затявкала где-то на кухне, визгливо, обиженно.

«Хам! Грубиян! — как бы говорила она, лежа, очевидно, под газовой плитой.— С тобой и дела-то иметь нельзя». Потявкав немного, она успокоилась. В квартире наступила тишина. Я забрался с ногами на кровать, прижался спиной к стене и тоже затих. На противоположной стене висело зеркало, в котором маячило мое отражение. Никогда еще я не казался себе таким бледным, таким тощим. Я смотрел в зеркало и грустно думал о том, что у меня, наверное, будет рак. Я слышал, как взрослые говорили, что рак развивается на нервной почве и первым признаком его бывает исхудание.

Пробило половину пятого, но я уже не ждал артистов. Я понимал, что они не смогут взять у меня козла, когда во дворе столько народа.

В соседней комнате что-то полилось, потом из-под двери ко мне потекла лужа. Меня это уже не взволновало. Мне уже было все равно.

Потом то ли козел проголодался, то ли ему захотелось домой, но только он начал блеять. Он блеял настойчиво, требовательно, хриплым басом.

— Ишь какой зловредный мальчишка! — послышался со двора старушечий голос.— То собаку мучил, теперь козлом кричит. Все назло!

— Нет, тут что-то не то,— отозвался мужчина.— Разве мальчишка сможет так реветь? У него и голоса не хватит. Странное дело!

— Дядь Терентий! Дядь Терентий! — вдруг взволнованно крикнула какая-то девушка.

— А-я! — донеслось издалека.

— Ты козла ищешь? Поди-ка сюда! Это не твой орет?

Прошло несколько секунд молчания, потом со двора послышалось:

— Ага! Он и есть! Ах люди! Ну что за люди! Средь бела дня!

Дядя Терентий принялся кричать нам в окна, чтобы ему немедленно вернули козла и что он нам покажет, как скотину воровать. Я не отвечал. Собравшиеся во дворе успокаивали дядю Терентия, говорили, что тут, очевидно, какое-то недоразумение,

что квартира принадлежит солидному человеку, подполковнику, который едва ли станет заниматься такими делами. Говорили также, что подполковника сейчас нет и что дома только его сынишка, то есть я.

— А мне шут с ним, кто там дома, кого нет. Мой козел — стало быть, отдай! — сказал дядя Терентий.— Верка! Стой здесь! Пойду участкового приведу.

Козел притих, словно понял, что освобождение близко. Я не боялся прихода милиционера, я был даже рад, что он придет, и думал только о том, как он попадет в квартиру. И вдруг у меня мелькнула такая мысль: козел сейчас в комнате родителей. Что, если я в одну секунду проскочу переднюю, открою входную дверь... А там лестница, а там двор, а там люди, от которых мне попадет, но которые избавят меня от козла...

Я прислушался. В квартире было тихо. Я и не подозревал, что козел уже перебрался в переднюю и стоит у самой двери моей комнаты. Я на цыпочках подкрался к этой двери, тихонько снял с нее крючок, затем сразу распахнул ее и... чуть не напоролся на козлиные рога.

В следующий момент я был на середине комнаты. Козел направился ко мне. Я вскочил с ногами на подоконник. Козел подошел к подоконнику и, мотая головой, глядя на меня своим страшным глазом, хрипло заблеял. И тут я окончательно забыл про свою самостоятельность. Я отодвинулся почти к самому карнизу, свесил ноги наружу, поднял лицо к небу и заревел на весь двор, где уже собралось очень много народу. Однако я недолго ревел. Вскоре еще больший ужас потряс меня так, что я и голос потерял.

Во двор вошли папа и мама. Они шли не под руку, как обычно, а на расстоянии метра друг от друга. Лицо у папы было красное и очень сердитое. Уже потом я узнал, что мама испортила папе все удовольствие от поездки, потому что все время беспокоилась за меня и говорила, что у нее какое-то тяжелое предчувствие. Они уехали от полковника Харитонова, даже не пообедав, и всю дорогу ссорились.

Папа был так рассержен, что даже не заметил толпы, которая глазела на мое окно. Увидев меня, он остановился и почти закричал маме:

— На! Смотри! Целехонько твое сокровище, здоровехонько! И что вообще с ним могло случиться?

Не слушая папы, мама закричала мне, чтобы я лез обратно в комнату, что я могу свалиться. Но я не послушался.

— Дядя Терентий! Дядя Терентий! — сказали в это время в толпе.— Вот как раз товарищ подполковник. Вернулся!

Во двор вошел низенький, грязно одетый дядька с полуседой щетиной на лице, а с ним круглолицый, розовощекий милици-

онер. Тут папа впервые обратил внимание на толпу и как-то притих. Милиционер подошел к нему и отдал честь:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться!

— Пожалуйста! Слушаю!

Милиционер смущенно улыбнулся:

— Не знаешь, как и начать... Короче, вот от гражданина поступило заявление, что у вас в квартире... ну, домашнее животное.

— Что за чушь? Какое животное?

— Козел,— пояснил милиционер, зачем-то понизив голос.

— Что-о?

— Козел, товарищ подполковник.

Папа вскинул голову. Глаза его сверкали.

— Алексей! В чем дело? Что там такое у тебя?

«Ме-е-е!» — закричал козел за моей спиной.

Что было дальше, рассказывать незачем, об этом каждый догадается. Скажу лишь одно: я много вынес в тот день, но самый тяжелый удар, удар в самое сердце, постиг меня на следующее утро.

Папа был на службе, мама ушла в магазин. Мне запретили выходить. Я лежал на подоконнике и смотрел во двор. Подо мной на лавочке сидели Аглая и другие театральные деятели. Вчерашний спектакль прошел у них успешно, несмотря на то что пришлось довольствоваться фанерным козлом. За живого козла им, конечно, тоже нагорело, но они уже забыли об этом и обдумывали новую постановку.

— Валенки для партизан достанем, полушубки найдутся,— говорил Сеня Ласточкин.— А вот портупею, кобуру и полевую сумку — это надо поискать.

— Лешка достанет,— сказала Аглая.— У него отец военный.

— Какой Лешка! Из двадцать второй? — вмешался Дудкин.— Нет! Не достанет. Теперь ему отец ничего не даст.

— Лешка-то? У! Я ему скажу, что он самостоятельный,— он и без спроса возьмет. Я им как хочу, так и верчу.

«НА ТЕБЯ ВСЯ НАДЕЖДА...»

Из-за переезда в новый дом мы не сняли дачу. Я, правда, побывал в пионерском лагере, но родители мои почти все лето провели в городе. Только два раза они выезжали на природу, и каждый раз со мной в это время что-нибудь случалось.

Про историю с козлом я уже рассказал. Вторая история случилась уже в середине августа, когда папа только что получил отпуск. Знакомые предложили родителям отправиться дней на десять в байдарочный поход. Папа с мамой никогда на байдарках не ходили, им очень хотелось узнать, что это за удовольствие, но взять меня с собой они отказались.

— Дай мы сами научимся весла держать,— сказал папа.— Тогда купим на следующий год байдарку — будешь с нами плавать.

Снова родители стали советоваться, на кого меня оставить. В этот раз такой человек нашелся быстро. Мама поехала зачем-то в центр города и вернулась очень довольная.

— Все устроилось! Тетя Соня у нас поживет.

— Тетя Соня? Тихомирова? — слегка удивился папа.

— Ну да! Я ее в автобусе встретила. Она сказала, что с восторгом переберется к нам и присмотрит за Лешкой.

— С восторгом? — тем же тоном переспросил папа.

Я тоже был несколько удивлен, что за мной будет присматривать именно тетя Соня и что она будет делать это с восторгом. Она была замужем за приятелем моего покойного дедушки. Папа знал его с детства, мама — тоже очень давно, но после смерти дедушки родители бывали у Тихомировых редко, а я последний раз виделся с тетей Соней, когда мне было лет шесть или семь.

Мама объяснила, почему тетя Соня пришла в такой восторг. К ее мужу приехала куча родственников из Хабаровска, и она вынуждена была готовить на них, да мыть посуду, да водить их по магазинам. Теперь она скажет, что у нее заболел кто-то из близких, что она должна уехать, и пусть эти родственники сами моют посуду.

— Она уверена, что поладит с Лешей,— добавила мама.— Она говорит, что у нее прирожденный педагогический талант.

— А у самой детей не было,— заметил папа.

— Хорошо! — рассердилась мама.— Что тебе, собственно, не нравится? Ну, пусть она преувеличивает и у нее нет педагогического таланта. А у кого из наших близких он есть?

Папа не ответил, а мне было все равно, кто за мной будет присматривать и есть ли у него педагогический талант. Я слишком был огорчен, что меня не берут в поход.

Всю вторую половину дня накануне отъезда папа с мамой ползали на четвереньках среди разложенных по полу вещей, все время что-то теряли, то и дело ссорились. Я тогда не читал еще «Трое в одной лодке» и не знал, что все туристы так собираются в путь.

Часов в восемь раздался звонок.

— Тетя Соня,— сказала мама, и мы все пошли в переднюю.

Я слышал, что тете Соне около шестидесяти, но выглядела она моложе. У нее были светло-желтые, кудряшками, волосы и короткое пестрое платье. Молча сжав красные губы бантиком, она подставила маме для поцелуя одну щеку, папе — другую. Затем она наклонилась ко мне и ткнула себя пальцем куда-то рядом с узким напудренным носом.

— Целуй сюда! — сказала она и снова сжала красные губы бантиком.

Я вяло чмокнул ее. Тетя Соня прошлась по передней, заглянула в одну комнату, в другую.

— Блаженство! — сказала она без всякого выражения.

— Что? — не понял папа.

— После того кошмара, который у нас в доме, здесь рай.

Мы вошли в комнату. Тетя Соня села на стул, вынула из сумочки плитку шоколада.

— Алеха!.. Это тебе.

Я взял шоколад, поблагодарил. Тетя подняла указательный палец.

— Но только, Леха, уговор: пока я здесь, ты будешь получать сладкое только после обеда и после ужина.— Склонив голову набок, она посмотрела на меня круглыми светло-серыми глазами.— Ну как, лады?

— Угу,— промычал я. Что-то не понравилось мне это «лады» и вообще манера тети Сони разговаривать со мной.

А она протянула руку и сказала:

— Молодец! Давай лапу на уговор!

Это мне тоже не понравилось, но я пожал руку. Покосившись на папу с мамой, я заметил, что они переглянулись.

Больше в тот вечер тетя Соня со мной не разговаривала. Меня послали гулять с Шумкой, а потом уложили спать.

На следующее утро тете Соне было не до меня. Она спрашивала маму, где лежит мое белье, как варить кашу «геркулес» (ей никогда не приходилось этого делать), по какому адресу сообщить, если со мной случится что-нибудь особенное. На это мама сказала, что она сама будет звонить из каждого поселка, где есть переговорный пункт.

Папа сходил за такси и приехал в нем к нашему подъезду. Антошка Дудкин, Аглая и рыжие Зинка и Васька Брыкины подошли к машине и стали смотреть, как в нее засовывают рюкзаки, авоськи, удочки и таксу Шумку (родители решили взять ее с собой).

— Лешк! Куда едешь? — спросил Дудкин.

— Никуда,— ответил я.

— Опять один остаешься? — спросила Аглая.

— Нет, голубчики,— сказала мама.— Теперь мы ученые, больше вы нам в квартиру козла не притащите.

— А мы и не собираемся,— буркнула Аглая, и все четверо отошли от машины.

Родители поцеловали меня, тетю Соню... Такси двинулось и скоро исчезло за воротами.

Вот тут тетя Соня за меня и принялась.

— Лешка! Пошли к Антону,— сказала Аглая.— Ему белых крыс подарили.

Я двинулся к ребятам, но тут услышал за спиной очень негромкий голос тети Сони:

— Алеша, можно тебя на минуточку?

Я вернулся, подошел к ней.

— Понимаешь, какое дело, Алеха,— почти шепотом проговорила она.— Нам нужно очень серьезно потолковать. Идем, а?

Я сказал ребятам, что скоро вернусь, и пошел за тетей Соней наверх. В кухне она села спиной к окну, положила ногу на ногу, чиркнула спичкой, затянулась сигаретой и заговорила:

— Слушай, Леха... Ты парень взрослый, голова у тебя работает — во! — Она показала большой палец.— Значит, мы можем говорить, как человек с человеком. Ага?

— Ага,— пробормотал я.

— Так вот, я хотела тебя спросить: как ты расцениваешь свой поступок?

— Какой поступок?..

— А вот сейчас, во дворе...

Я молчал, обалдело глядя на эту странную тетку. А тетка отвела руку с сигаретой далеко в сторону, и тоже молчала, и тоже смотрела на меня круглыми светлыми глазами со слипшимися от краски ресницами.

— Я... я не помню никакого поступка,— пробормотал я.

— Очень жаль! — молвила тетя Соня и снова застыла, сжав губы бантиком.

Я взмок от напряжения, но так и не понял, что ей от меня надо.

— Хорошо. Я тебе подскажу,— смилостивилась наконец тетя Соня.— Вот тебя ребята позвали смотреть белых крыс. Я понимаю, крысы, конечно, дело важное, но я-то все-таки не пустое место. А?

Тут я молча кивнул.

— А как же ты поступил? Тебя позвали, а ты, не оглянувшись на меня, не спросив, как я к этому отнесусь, взял да и пошел к ребятам. Словно и нет меня. По-товарищески это, как ты полагаешь?

Я совершенно не понимал, что в моем поступке могло быть нетоварищеского, но на всякий случай качнул головой.

Тетя Соня затянулась сигаретой, выпустила дым.

— Так что же, по-твоему, теперь надо сделать?

— Попросить прощения,— в страшной тоске промямлил я.

— Умница! — воскликнула тетя Соня.— Давай лапу! Я была уверена, что мы с тобой душа в душу заживем.

— Лешка! Ну, скоро ты? — донеслось со двора.

Я уже знал, как надо себя вести.

— Тетя Соня, можно я пойду?

— К этим самым... крысам? — Тетя Соня помолчала.— Крысы, я понимаю,— это очень интересно, только знаешь, что я тебе скажу!.. Давай такой уговор: сначала дело, а потом развлечения. Ага?

Я спросил, какое дело она имеет в виду.

— А дело оч-чень, оч-чень важное. Мы сейчас займемся составлением распорядка дня.

Я не стал возражать. Я пошел в комнату, лег на подоконник и сказал ребятам, что к Антону не пойду.

— Эта... длинноносая не пускает? — приглушенно спросила Аглая.

Я молча кивнул.

Тетя Соня так увлеклась составлением распорядка дня, что забыла приготовить обед, и мы пообедали «геркулесом», сваренным, правда, на молоке. Теперь, согласно «распорядку», я мог гулять только два часа перед обедом и столько же перед ужином, а остальную часть дня мне предстояло заниматься «осмысленным времяпрепровождением». Под этим тетя Соня подразумевала утреннюю гимнастику (я ее и так делал), уборку своей комнаты, мытье чайной посуды (столовую посуду тетя Соня взяла на себя), повторение пройденного в школе, чтение художественной литературы (два часа), послеобеденный отдых (один час). Где-то между этим отдыхом и вечерней прогулкой тетя Соня написала: «Свободное время». Но потом она спросила меня, чем я люблю в свободное время заниматься. Я сдуру ответил, что люблю мастерить, что сейчас клею из картона фрегат. Тут тетя Соня зачеркнула «свободное время», а сверху написала: «Труд».

Я попытался объяснить, что уже сделал всю домашнюю работу, которую получил на лето, пытался втолковать тете Соне, что я люблю читать, но привык это делать, когда мне захочется, пытался я возразить и против пункта о прогулках... Тетя Соня долго смотрела на меня, склонив голову набок, потом проговорила:

— Лешка!.. Ты слышал когда-нибудь о знаменитом русском ученом Павлове?

— Слышал,— сказал я.

— Что же ты слышал?

— Он делал опыты с собаками... и еще там... эти... рефлексы всякие.

— Правильно! — сказала тетя Соня.— Так вот, этот академик в журнале «Здоровье» недавно написал, что для человека имеет колоссальное значение размеренный ритм жизни.— Тетя Соня закурила очередную сигарету: — Леха! Ты же совершенно взрослый парень! Ты же не можешь не понимать, что папа с мамой тебя немного разболтали. Верно ведь? Да?

Я промолчал.

— Так вот, давай устроим папе с мамой сюрприз. Они вернутся и не узнают своего сына: подтянутый, дисциплинированный — словом, во человек!

Я спорить не стал. Я не додумался, я просто почувствовал, что это бесполезно.

Из-за составления распорядка дня мне перед обедом погулять не пришлось. Не удалось и почитать: это положено было делать перед дневной прогулкой. Зато сразу же после обеда я начал жить в строго размеренном ритме: мне пришлось достать подушку, плед и лечь на диван. Читать в это время не разрешалось.

Я лежал, смотрел в потолок и думал об академике Павлове. Почему-то мне казалось, что он давно умер, а он, выходит, жив и пишет в журнале «Здоровье». Я удивлялся: неужели и он читает художественную литературу только в строго определенные часы, даже тогда, когда читать ему совсем не хочется? Что-то, казалось мне, здесь не так.

Через час в комнату вошла тетя Соня и, вскинув голые руки к потолку, весело закричала:

— Подъе-е-ем! — И тут же спросила: — Итак, чем сейчас будем заниматься?

— Трудом,— вздохнул я.

— Умница! — сказала тетя Соня и исчезла.

Убрав подушку и плед, я сел за маленький столик, над которым висели кое-какие инструменты и на котором стоял остов моего фрегата.

Как сделать его, меня научил папа. Я уже вырезал из картона киль и приклеил к нему округлые картонные шпангоуты. Края шпангоутов были часто надрезаны и загнуты так, чтобы к ним можно было приклеивать обшивку, состоящую из множества узких, тоже картонных полосок. Часть обшивки была уже готова, оставалось доделать примерно две трети.

Безо всякого удовольствия наклеил я одну полоску, другую, но потом я вспомнил, что мне надо еще сделать в бортах люки для пушек. Мне стало вдруг интересно, и я принялся за работу уже с увлечением.

Дверь открылась, вошла тетя Соня.

— Молодец малый! — сказала она и, придвинув стул, подсела к столику.— До чего приятно смотреть на человека, кото-

рый не собак гоняет, а что-то такое создает, соображает что-то такое...

Я скрючился над своим столиком. Тетя Соня долго рассказывала, какие ценные качества развивают в человеке занятия трудом, а я все макал да макал кисточку в клей и все водил да водил этой кисточкой по одной и той же картонной полоске, лежащей на старой газете.

Вдруг тетя Соня переменила тон:

— Между прочим, Леха, я подметила в тебе одну слабую черточку.

— Какую? — не поднимая головы, спросил я.

— Ты работаешь старательно, но очень медленно. Ты подумай: я уже столько здесь сижу, а ты все мажешь, мажешь эту штучку... А когда же приклеивать? Надо так: намазал — приклеил, намазал — приклеил!.. Ну? Ты согласен со мной?

Я перестал мазать и начал приклеивать полоску картона к этому распроклятому кораблю.

...Когда я вышел гулять, во дворе на лавочке сидели Аглая и Антошка Дудкин. Дудкин спросил меня, почему я все время торчу дома.

— Небось эта тетка не пускает,— сказала Аглая.— Кто она тебе?

Как я ни сдерживался, а все-таки начал всхлипывать. Аглая и Дудкин встревожились:

— Чего это с ним?

— Лешка!.. Ты чего?

— Из-за вас все это...— проплакал я.

— Что из-за нас?

Я напомнил им, как родители попробовали оставить меня на целый день одного и что из этого получилось. И вот теперь мне не доверяют. Я поведал, как «эта тетка» мне вздохнуть не дает, рассказал про распорядок дня, про занятия трудом. Увлекшись, я даже приврал, что тетя Соня ходит за мной по пятам, подглядывает и все время читает нотации.

— Чокнутая какая-то,— сказала Аглая.

— А у тебя что, языка нет? — спросил Дудкин.

— Какого языка?

— А вот такого! Чтобы сказать: «Я вам не маленький, и нечего вам командовать. Буду жить, как при родителях жил, и все! И не привязывайтесь!»

Этот совет засел у меня в голове, но ни в тот день, ни на следующий я не решался его выполнить. Я взбунтовался лишь на третий день после отъезда родителей.

Утро началось как обычно. Тетя Соня усадила меня за повторение пройденного. Я положил перед собой учебник географии, которую знал назубок, и как только тетя Соня ушла в

продуктовый магазин, взялся читать «Приключения Тома Сойера». Тетя Соня вернулась, проверила меня по учебнику, похвалила и ушла в кухню, напомнив, что теперь я должен заняться чтением художественной литературы.

Я не возражал. Я как раз дочитал до того места, где Том и Гек решают отправиться ночью на кладбище сводить бородавки. До сих пор «чтение художественной литературы» было для меня самым приятным пунктом в «распорядке дня». Тетя Соня готовила в это время обед и ко мне не заходила. Однако на этот раз все получилось иначе.

...По спине у меня ползли мурашки, в животе было холодно. Я читал, как на кладбище, где притаились мальчишки, явились гробокопатели: индеец Джо, Мефф Поттер и доктор Робинсон. «Теми же лопатами они подняли крышку, выволокли мертвеца и бесцеремонно бросили его на землю»,— прочел я.

— Умница! — послышался голос тети Сони. Она стояла в дверях, скрестив руки на груди.— Я вот уже минут пять наблюдаю за тобой и вижу, что ты читаешь не абы как, а внимательно, с интересом... Вот так всегда читай! Чтение только ради чтения никакой пользы не приносит.— Она подсела к столу (совсем как тогда, с фрегатом) и взяла книгу.— «Приключения Тома Сойера». Должно быть, очень интересно. Да?

Я понял, что тетя Соня «Тома Сойера» не читала; а она полистала книгу и спросила:

— Ну, кто тебе из героев больше нравится: Бекки Тэчер или этот. Как его? — Она снова полистала книгу.— Или индеец Джо?

— Бекки Тэчер,— прохрипел я, начиная дрожать.

Тетя Соня положила книгу, поставила локти на стол и подперла подбородок тыльной стороной ладоней.

— Ну, давай расскажи мне содержание. Мне хочется знать, как ты усваиваешь прочитанное.

Я молчал. Я слова не мог вымолвить.

— Погоди! Не рассказывай! — вдруг воскликнула тетя Соня. Ее осенила новая идея.

Она велела мне взять чистую тетрадку и надписать: «Дневник чтения». Когда я выполнил это, она поднялась.

— Теперь я пойду готовить обед, а ты продолжай читать. Когда дочитаешь, запиши фамилию автора, название и краткое содержание. Идет?

Я слез со стула и тихо сказал:

— Не буду я записывать.

— Что? — переспросила тетя Соня.

— Ничего я не буду записывать,— повторил я уже громче.— И... и вообще я сейчас пойду гулять.

Тетя Соня слегка попятилась, сцепила пальцы перед грудью и уставилась на меня.

— Алексей!.. Я хотела бы знать, что это за тон и что это значит: «Я пойду гулять»?

— А то и значит: пойду гулять, и все! — Крикнув это, я выбежал в переднюю и там обернулся: — И вообще... и вообще буду делать что хочу. Вот! И не привязывайтесь!.. Вот!

Тетя Соня повернулась в сторону передней, но ничего не ответила.

Ребята во дворе одобрили мой бунт. Всю первую половину дня я проболтался вместе с ними, но так и не запомнил, во что мы играли, о чем говорили. Я думал о том, как вести себя, когда вернусь домой.

Во время игры Аглая вдруг зашептала:

— Лешк! Смотрит!.. На тебя смотрит!

Оглянувшись, я увидел в окне тетю Соню. Она вытирала тарелку и смотрела на меня с каменным лицом. Я поспешил отвернуться. Когда я снова покосился на окно, тети Сони уже не было.

Но вот ребята разошлись: настало время обедать. Поплелся домой и я. Открыл дверь своим ключом, вошел в переднюю на цыпочках, надеясь проскользнуть к себе в комнату бесшумно. Только ничего не получилось.

— Можешь идти обедать,— сказала тетя Соня из кухни.

Вымыв руки, я вошел в кухню и сел перед тарелкой с красным борщом. Тетя Соня сидела напротив. Перед ней тоже стоял прибор, но в тарелке у нее ничего не было.

Ел я без аппетита. Прошло, наверное, минут десять, пока я одолел полтарелки. Все это время тетя Соня сидела, подперев подбородок руками, и не шевелилась. Но вот она негромко спросила:

— Ты ничего не замечаешь?

Я посмотрел на нее, на ее пустую тарелку и ответил:

— Замечаю.

— Что же именно ты замечаешь?

— Что вы ничего не едите.

После этого тетя Соня молчала еще минуты две, потом заговорила:

— Так вот, Алексей: я никогда детей не наказывала и наказывать не стану. Таков мой принцип. Но имей в виду: я до тех пор ничего не буду есть, пока ты не извинишься передо мной и не начнешь вести себя, как мы уговорились. Дошло?

Я так и застыл с полной ложкой во рту. Уж казалось, я испытал на себе все приемы, к которым прибегают взрослые, воспитывая детей: мне делали ласковые замечания, читали строгие нотации, со мной часами не разговаривали, меня наказывали

по-всякому. Папа раза два даже угостил ремнем... Но чтобы из-за меня объявляли голодовку — такого я еще не знал.

Я проглотил наконец ложку борща и стал думать, как быть. Не извиняться, согласиться на то, чтобы тетя Соня продолжала голодать,— что-то в этом было нехорошее. Но если я попрошу прощения, мне сегодня же придется в обязательном порядке клеить фрегат. И вдруг меня осенило. Я вылез из-за стола и сказал:

— Я тоже не буду есть.

Тетя Соня выпрямилась и приоткрыла рот. Такого хода с моей стороны она не ожидала. Но она очень скоро пришла в себя и холодно отчеканила:

— Не ешь.

У себя в комнате я лег на диван и натянул плед на голову. Это я проделал на тот случай, если тетя Соня вздумает войти и завести разговор. Но она не вошла.

Я лежал и подсчитывал, сколько же мне еще осталось терпеть. Выходило — не меньше недели. Я представил себе три байдарки, скользящие вдоль зеленых берегов, а в одной из них — папу с мамой. Они плывут себе, переговариваясь с друзьями, по вечерам ставят палатки и, наверное, подолгу болтают у костра... И небось они воображают, что мне очень даже хорошо с этой теткой, вообразившей себя великим педагогом. Они там развлекаются в свое удовольствие, а мне вот мучайся из-за них.

Я всхлипнул. Я почувствовал, что сердце мое ожесточилось. Мне захотелось выкинуть что-нибудь такое, что мама с папой надолго бы запомнили. Одним словом, мне захотелось проучить своих родителей и эту самую тетю Соню.

Я откинул плед, посмотрел на часы. Прошло минут тридцать, как я лег. В квартире не было слышно ни звука. Нет!.. Какой-то звук все-таки доносился из соседней комнаты: вроде бы похрапывание... Я встал, прошел в одних носках в переднюю. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта...

Так и есть! Тетя Соня лежала на тахте и спала. Рядом с ней на полу валялась книга и стояла пепельница, в которой еще дымился окурок.

Примерно еще через полчаса я вышел из подъезда. На мне было драповое пальто, зеленая вязаная шапка и шерстяные брюки. Под мышкой я держал школьный портфель. В нем навалом лежали шесть котлет, граммов триста колбасы, «Приключения Тома Сойера», полбатона, полпачки сахара и куча сухарей, которые мама сушила в духовке на котлеты. Сухарей было так много, что портфель из-за них не закрывался.

Под аркой ворот я встретил Аглаю. Она несла в авоське

пакеты с молоком. Увидев меня, она застыла, поставив исцарапанные ноги носками внутрь.

— Чего это ты? Как на Северный полюс...

Я всегда чувствовал, что Аглая относится ко мне свысока, считая меня размазней или маменькиным сынком. Вот теперь она поймет, с кем имеет дело! Я остановился и, понизив голос, сказал загадочно:

— Ничего! Зато вот ночью мне не будет холодно.

— Как это... ночью?

— А вот так! Никому не скажешь?

— Чего не скажу? Вот тебе честное — никому! А что такое?..

— Я из дома убежал.

Аглая неподвижно смотрела на меня черными глазками. Одна растрепанная коса свисала ей на грудь, а другая была за спиной.

— Вот... да-а-а! — протянула она тихо.— Насовсем?

— Насовсем. То есть... пока родители не вернутся.

— Тебя эта тетка довела?

Я кивнул.

Аглая разглядывала меня так, словно мы только что познакомились.

— Вот... да-а-а! — снова протянула она в раздумье.— А где ты жить будешь?

Я сказал, что днем буду скитаться по улицам, а ночевать — в парке на лавочке. Не зря я так тепло оделся.

— Тебя в милицию заберут.

— Ну и пусть. Так ей и надо.— Я имел в виду не милицию, а тетю Соню.

— А если простудишься и помрешь?

— И пожалуйста! В другой раз они будут знать.

— Кто «они»?

— Родители.

— Во дурной! Да ведь другого раза тогда уже не будет: ты ведь помрешь!

Я промолчал. Я почувствовал, что тут не все до конца мной продумано.

Аглая замотала головой:

— Лешка, не! В парке на лавочке — это все глупости... Гляди, какая туча, и еще по радио говорили — сегодня похолодание и дождь. Лешка, знаешь что? Иди пока в «ущелье» и там жди. Я молоко отнесу, ребят позову, и мы что-нибудь придумаем. Мы над тобой шефство возьмем: спрячем где-нибудь и будем тебе пищу носить и все такое.

Аглая убежала, а я остался под аркой слегка ошеломленный.

Уходя из дома, я рисовал перед собой такую картину: вечер,

людная, освещенная фонарями улица... Куда-то спешат веселые, беззаботные прохожие... А недалеко в пустом и темном парке лежит на скамейке бесприютный мальчик. У меня даже в горле першило от очень приятной жалости к себе. Теперь все получилось не так трогательно, зато куда интересней. Вся Аглаина компания узнает, какой я отчаянный. Все они будут волноваться из-за меня, хлопотать, шушукаться, и сама Аглая будет заботиться о моем пропитании.

«Ущельем» назывался узкий тупичок между бетонным забором нашего двора и большой трансформаторной будкой. Я пробирался в него через весь двор, держась под самой стеной дома, чтобы тетя Соня не увидела из окна. Во дворе сидели на лавочках старушки, перед ними играли малыши, но никто не обратил на меня внимания.

В «ущелье» стоял какой-то старый ящик. Я положил на него портфель, снял пальто, шапку и стал прохаживаться, ожидая ребят. Я решил держаться перед ними очень хладнокровно, как будто побег из дома для меня самое плевое дело.

Прошло минут двадцать. Я забеспокоился, вдруг Аглаю почему-либо задержали родители? Но только я об этом подумал, как в мой тупичок вбежали четверо: Зина и Васька Брыкины, Аглая и Антошка.

— Лешка, порядок! — объявил Дудкин.— Аглая мне сказала, у меня сразу мозги завертелись, и я в момент все придумал.

— У тебя квартира будет шикарная,— пояснила Аглая.— Четыре комнаты, кухня и два телефона.

— Только ты смотри ничего не трогай,— сказала Зинаида.

— Ага! — кивнул Васька.— А то нам знаешь как попадет!

Он и его сестра были двойняшки и очень походили друг на друга: оба рыжие, круглолицые, оба в веснушках и почти без бровей. Но характеры у них были разные: Зина — властная, деловитая, а Ваську ребята часто называли «лопухом» — он только поддакивал сестре да во всем подчинялся ей.

Я ничего не понял. Какая квартира? Какие комнаты? Какие там еще телефоны?.. Но постепенно мне все объяснили. На одной площадке с Брыкиными была квартира профессора Грабова. Сейчас профессор с семьей жил на даче, а ключи от его квартиры были оставлены Брыкиным, которые взялись поливать цветы в горшках на подоконниках. Вот в этой квартире мне и предлагали поселиться. Поливкой цветов занимались Зина и Вася. Два ключа, связанные тесемочкой, болтались сейчас на указательном пальце Зинаиды. Она сказала:

— Я бы ни в жизнь не согласилась, если бы не Антон. Он говорит, что ты из-за нас страдаешь.

— Ага,— кивнул Вася.— Из-за козла.

Я как-то скис. Ночевать в пустой чужой квартире показалось

мне страшнее, чем ночевать в парке. Но признаться я в этом не захотел и попытался выкрутиться другим способом. Я поблагодарил и сказал, что не хочу подводить Зину и Васю: ведь им может попасть из-за меня.

— Да откуда им попадет! — воскликнула Аглая.— Ты, главное, сиди тихо, свет не включай и ничего не трогай. Тогда никто ничего и не узнает.

Услышав «свет не включай», я еще больше скис. Я сказал, что тетя Соня может обратиться в милицию, оттуда пришлют собаку-ищейку, и она найдет меня по следам. Зинаида помрачнела.

— Тогда отец с меня шкуру сдерет.

— И с меня тоже,— сказал Вася.

— Придумал! — вскричал Антон.— Ни одна собака его не найдет. Мы с Васькой его на руках отнесем, и он никаких следов не оставит.

— На четвертый этаж? — усомнилась Аглая.

— А чего? Мы только до лифта. А там чуток подержать его на руках, и лифт нас подымет.

Всем понравилась эта идея, и я понял, что мне уже не отвертеться. Девочки взяли мой портфель и пальто, Вася с Антоном скрестили руки, и я сел на них, обхватив мальчишек за шею. Они двинулись по двору мелкими шажками. Девочки шли рядом, загораживая меня от малышей и старушек.

— Как бы в подъезде... как бы в подъезде на кого не нарваться! — прокряхтел Дудкин.

Дверь подъезда, как всегда, была открыта только на одну створку. Антону с Васькой пришлось попыхтеть, втаскивая меня боком. Нам повезло: в подъезде мы никого не встретили и кабина лифта оказалась внизу. Зина побежала наверх пешком, Антошка с Васькой внесли меня в лифт, за нами вошла Аглая. Она закрыла двери и нажала кнопку. Зина взбежала на четвертый этаж почти одновременно с нами. Тяжело дыша, она открыла сначала внутренний замок, потом английский.

— Тащите! — прошептала она.

Дудкин с Васькой снова запыхтели, протаскивая меня в дверь. Войдя в переднюю, Антон споткнулся о резиновый коврик для ног, и мы все трое грохнулись на пол. Девчонки юркнули за нами и бесшумно закрыли дверь.

— Вроде тощий, а какой тяжелый! — заметил Дудкин, подымаясь и потирая голову над ухом.

Отдышавшись, мы пошли осматривать мое новое жилище. Тут действительно было четыре комнаты: кабинет профессора, спальня профессора и его жены, комната их взрослой дочери и ее мужа и еще большая общая комната вроде гостиной. Мебель везде была новая, низкая, и только в спальне стояли две

старомодные кровати никелированными спинками к двери. На них Зинаида обратила мое особое внимание.

— Ты, если услышишь три звонка, не бойся: это значит — я пришла или Вася. А если услышишь, кто-то без звонка входит,— сразу под кровать ныряй: это значит — мама пришла или, еще хуже, отец.

Получил я и другие инструкции. Мне велено было держать пальто и провизию под кроватью, чтобы в случае тревоги не оставить где-нибудь на виду. Меня предупредили, чтобы я не зажигал электричества даже в передней и в коридоре, потому что двери в комнатах застекленные и свет будет заметен со двора. Потом все собрались уходить.

— Я тебе сегодня горячий ужин принесу,— сказала Аглая.— Я сразу пять звонков позвоню, и ты открой. А то для желудка вредно без горячей пищи.

Оставшись один, я присел на тахту в большой комнате. Конечно, это очень здорово, что Аглая принесет мне горячий ужин, но сидеть одному было скучновато, и вообще меня смущала мысль о том, что я буду тут делать, когда стемнеет. Когда же я подумал о ночи, которую мне придется провести, не зажигая света, в этой огромной квартире, мне совсем стало тошно.

Я решил еще раз осмотреть квартиру. Заглянул в кухню, в комнату дочки профессора, зашел в его кабинет. Там две боковые стены от пола до потолка были заняты некрашеными полками с книгами. Я прошел вдоль левой стены, читая названия на корешках. Тут все было что-то научное, как я понял, медицинское. Я перешел к полкам на противоположной стене и начал двигаться от окна к двери. Здесь попадались книги, которые были и у нас: Достоевский, Чехов, Паустовский... Я стал высматривать, не попадется ли что-нибудь приключенческое. Прошел почти вдоль всей стены, но ничего не попалось.

Двери из гостиной были распахнуты внутрь кабинета. Одна из створок закрывала от меня самые крайние книги. Я потянул к себе створку и... тут же скакнул назад. В углу на полке вровень с моей физиономией стоял грязно-желтый человеческий череп. Нескольких зубов у него не хватало, а во лбу над черной глазницей чернела неровная дыра.

Даже когда я был маленьким, меня нельзя было напугать ни Бабой-Ягой, ни Кощеем Бессмертным, ни другими сказочными страшилищами. Но всего, что связано с мертвыми, я боялся до судороги.

Я выскочил в большую комнату. Я знал теперь одно: надо сматываться отсюда! Но только я об этом подумал, как услышал, что кто-то открывает входную дверь без всяких предварительных звонков. Я влетел в спальню и так стремительно бросился

на паркет, что на полтуловища въехал под кровать юзом. Едва я заполз туда целиком, послышались шаги и знакомый голос:

— Лешка! Эй! Это мы пришли.

Я вылез и увидел Зину с Васькой. Они объяснили, что не позвонили нарочно: хотели проверить, как я умею прятаться.

— Топаешь очень,— сказала Зина.— Ты ботинки сними.— Она присмотрелась ко мне.— Во, бледный какой! Испугался, да?

— Ага! — кивнул Васька.— Он испугался, когда мы вошли.

— Нет, я не испугался,— заговорил я быстро, осененный прекрасной идеей.— Я знаете... Мне что-то очень нездоровится... У меня, наверное...— Я помолчал, стараясь придумать такую болезнь, чтобы ребята сами поняли: мне надо немедленно вернуться домой и лечь в постель. Но придумать я ничего не успел: один за другим прозвенели пять звонков.

— Наши! — сказала Зина.

Брат и сестра побежали открывать.

Я за ними не последовал, а только вышел в большую комнату.

Это пришли Аглая, Дудкин и еще один мальчишка — Юра Кузнецов. Взрослые говорили, что это самый интеллигентный мальчик в нашем доме. Он был чуть постарше меня, всегда спокойный, вежливый, аккуратно одетый. Когда наши решили похитить козла для своего спектакля, он единственный отказался участвовать в этом мероприятии.

— Лешка! — возбужденно заговорила Аглая.— Мы рассказали все Юре... и он такое придумал!.. Ты, может быть, уже сегодня вернешься домой, а тетка эта самая будет перед тобой на задних лапках ходить.

— Ультиматум ей надо послать,— вставил Дудкин.

— Что? — не понял я.

— Ультиматум,— повторила Аглая.— Юр! Объясни ему!

Юра стал передо мной и заговорил как можно убедительней:

— Слушай! Чего ради тебе торчать в этой квартире целую неделю?

У меня сразу стало очень хорошо на душе. Две минуты назад я ломал голову, под каким бы предлогом унести отсюда ноги, а тут меня самого убеждают, что торчать мне здесь вовсе не нужно. Но я промолчал, а Юра продолжал меня уговаривать:

— Во-первых, ты здесь умрешь от скуки. Да еще без свежего воздуха. Во-вторых, что, если профессор возьмет да и приедет с дачи?.. Ты прогноз слушал? Похолодание и дожди до последней пятидневки месяца.

— Ой, граждане! — заговорила Зина.— Профессор наверняка приедет, если дожди... Лешка! Ты уж, так и быть, эту ночь переночуй, а завтра иди еще куда-нибудь. А то нам такое будет!..

— Да он сегодня еще уйдет. Не мешай! — сказал Антон, и Юра продолжал:

— Ну вот! А с другой стороны, твоя тетка тоже не заинтересована, чтобы ты пропадал. Ты пойми ее положение: ей поручили присматривать за ребенком, а ребенок взял да смылся!

Короче говоря, когда Юра объяснил мне, что такое ультиматум, я понял, что передо мной могучего ума человек. Зина сказала, что у нее просто гора с плеч свалилась, а Васька поддакнул:

— Ага. И у меня тоже... гора.

У Юры уже все было готово для написания этого важного документа. Он дал мне листок бумаги и ручку. Я присел за низкий круглый столик, на котором стоял телефон.

— Заглавие написать — «Ультиматум»? — спросил я.

Юра сказал, что не надо. Как видно, он и содержание ультиматума уже обдумал, потому что продиктовал его мне почти без запинки:

— «Уважаемая тетя Соня!

Я категорически не согласен с Вашим педагогическим методом, которым Вы меня воспитываете. Я привык жить, как меня приучили мои родители, а Вы только и знаете, что нарушаете мою свободу и вмешиваетесь в мои дела. Вы думаете, что все это очень педагогично, а на самом деле Вы только потеряли для меня всякий авторитет. И вот результат! Мне пришлось бежать из дому, потому что лучше быть бесприютным бродягой, чем жить в Ваших невыносимых условиях.

Но для Вас еще не все потеряно. Если Вы дадите честное слово, что я получу свободу, как при маме с папой, я готов вернуться домой.

Если Вы согласны на мой ультиматум, вывесите в форточке белое полотенце.

С уважением — *Леша Тучков*».

Несколько минут мы только и делали, что расхваливали Юру. Особенно поразила всех великолепная фраза: «Но для Вас не все потеряно». Решено было, что Аглая бросит ультиматум в щель для почты на двери нашей квартиры, а Юра позвонит тете Соне по телефону и скажет измененным голосом: «Возьмите письмо от Леши».

Я был уверен, что тетя Соня вывесит полотенце еще до наступления вечера. Я так приободрился, что мне захотелось пофорсить перед ребятами.

— Хотите посмотреть одну забавную штучку? — сказал я небрежным голосом и повел ребят в кабинет профессора.

Увидев череп, Аглая вся передернулась:

— Ввввввв!..

Антошка Дудкин и Брыкины молча попятились. Один Юра ничуть не испугался.

— Пуля, наверное, круглую дыру бы сделала,— сказал он.— А это... возможно, его холодным оружием убили: копьем каким-нибудь или чем-нибудь еще.

— Вввввв!..— снова сказала Аглая и пошла из комнаты.— И как Лешке не страшно с ним в одной квартире!

— Я бы ни в жизнь не осталась,— сказала Зинаида.

Я промолчал. Форсить мне что-то больше не хотелось. Я понял, что сейчас все уйдут, а мне-то придется «с ним» остаться еще на несколько часов.

— Мы, как увидим полотенце, сразу тебе сообщим,— сказал на прощание Дудкин.

Я поплелся провожать своих гостей. В переднюю я за ними не пошел, а остался за углом длинного коридора. И хорошо сделал. Когда ребята выходили на площадку, я услышал, как распахнулась дверь квартиры Брыкиных и сердитый мужской голос громко спросил:

— А это еще что за визитеры?

Секунды три длилась полная тишина. Потом Зинаида залепетала:

— Папа... я... мы... мы им только цветы... Я им только цветы хотела показать...

— Они... цветы...— пропищал Васька.

— «Цветы»! Тебе ключи для того дали, чтобы ты весь двор водила? (Голос папаши Брыкина донесся уже из передней, и я на цыпочках пустился в спальню.) Давай сюда ключи! А с матерью я еще поговорю. Ее люди об одолжении попросили, а она это дело соплякам перепоручила!

Я слышал, как отец Зины и Васьки обошел всю квартиру, как зашел в спальню, постоял там немного.

— Черт их носит! — сказал он негромко и удалился.

Хлопнула входная дверь, потом чуть слышно дважды щелкнул ключ в замке. Страшная догадка потрясла меня. Подождав немного, убедившись, что настала полная тишина, я вылез из-под кровати и пошел в переднюю. Там я повернул ручку английского замка и потрогал дверь. Так я и знал: папаша Брыкин запер меня на внутренний замок.

Вернувшись в комнату, я машинально остановился перед большим зеркалом. Тогда я не обратил внимания, как выглядит мое отражение, а сейчас припоминаю: что-то вроде близкого к обмороку небольшого червячка с взъерошенной челкой над белым лицом.

Прошло некоторое время, прежде чем я начал что-то соображать. Может, Зина проследит, куда отец положил ключи, а потом утащит их?..

Я прикрыл дверь кабинета и сел подальше от нее на уголке тахты. Не знаю, сколько времени я так просидел. Послышалось пять звонков. Я пошел в переднюю и прошептал:

— Кто там?

Металлическая крышка над щелью для почты приподнялась, и за дверью зашелестело:

— Лешка! Это я, Антон... Тебя на внутренний замок заперли.

— Знаю,— прошептал я.

— Лешк! Мы твой телефон разведали. Будем по-особому звонить: сначала один звонок дадим и сразу положим трубку... А когда снова позвоним, ты подходи. А если просто будут звонить, ты не подходи. Понял?

— Понял,— прошептал я и услышал, как Дудкин понесся по ступенькам вниз.

Минут через десять зазвонил телефон и умолк. Когда он снова зазвонил, я взял трубку.

— Леш! Это я говорю, Аглая. Во какая ужасная вещь получилась! Зинкин отец ключи забрал к себе и в ящик запер... А ключ от ящика всегда у него.

— А... а как же я?

— А ты... ты, Лешка, пока потерпи... Мы потом что-нибудь придумаем... Сообразим что-нибудь...

— А... а сколько мне терпеть?

— Леша! Мы пока еще ничего не знаем. Если бы Зинкин папа на работе был, он бы ключи матери оставил, и тогда мы уже как-нибудь... Но только Зинкин папа отгул взял на четыре дня: стены обоями оклеивать.

— А я? Вы меня, значит, не выпустите?

— Не, Леш... выпустим. Только не сегодня.

— Завтра? — с ужасом в сердце спросил я.

— Не, Леш... не завтра и не послезавтра...— Аглая объяснила мне, что цветы поливают через два дня на третий, а сегодня их уже поливали. Значит, только через два дня Зинин папа отдаст Зининой маме ключи, и тогда их можно будет попытаться стащить.

Я молчал. Я просто не знал, что мне сказать на все это.

— Леша, ты слушаешь? — спросила Аглая.

— Слушаю.

— Леш, ты только не подведи, в окна не выглядывай и свет не зажигай. А то знаешь, что Зинке с Васькой от отца будет! Они сейчас сидят у нас в подъезде и ревут оба... Леша, и нам всем попадет, на тебя вся надежда... Не подведешь? Леша, пока!.. Мама из гастронома вернулась...

Послышались частые гудки.

В другой раз я лопнул бы от гордости, услышав, как Аглая сказала: «На тебя вся надежда». Но сейчас я никакой гордости не испытывал. Я вернулся на уголок тахты. Мне хотелось плакать, но я почему-то сдерживался и только тихонечко кряхтел, не замечая, что у меня течет из носа.

За окном что-то стало тихо постукивать. Это пошел дождь.

Через какое-то время телефон снова зазвонил, умолк и зазвонил опять. На сей раз это был Дудкин.

— Лешка! Твоя тетка ходит по квартирам и спрашивает, куда ты мог деваться.

— А про ультиматум она говорит?

Дудкин ответил, что про ультиматум тетя Соня ничего не говорит, хотя он наверняка ею получен: Аглая отнесла его, как было условлено, а Юра позвонил и лично разговаривал с тетей Соней.

— А полотенце она вывесила?

— Не, не вывесила. Она говорит, что, если до вечера тебя не найдет, в милицию заявит.— Антошка помолчал.— Леш! А вдруг такое дело получится: ультиматум дадут понюхать ищейке и она Аглаю найдет... А та с перепугу и признается...

Антошка не подозревал, как меня обрадовали эти слова. Не то чтобы я верил в ищейку, но я верил в милицию вообще. Ее работники не такие тайны раскрывали, уж наверное, они сумеют быстро узнать, куда меня запрятали.

После разговора с Дудкиным у меня даже аппетит появился. Я съел три котлеты, запил их водой из крана и стал ждать дальнейших сообщений.

Но телефон молчал, а на дворе быстро темнело. Скоро сделалось так темно, что я смог подойти к окну, не боясь, что меня увидят. Уже светились окна в двухэтажных бревенчатых домишках напротив нашего нового дома... Вот зажглись яркие фонари в нашем большом дворе. Я придвинул к подоконнику стул, забрался на него коленями и принялся смотреть вниз: не появится ли там милиция. Я смотрел так внимательно, так напряженно, что даже забыл на некоторое время про череп. Но съежившиеся фигуры, которые иногда пробегали под дождем, на милиционеров не походили.

И вот опять зазвонил телефон.

— Лешк! — почему-то встревоженно проговорил Дудкин.— Твоя тетка полотенце вывесила. Уже часа два как висит.

— А как же в милицию?.. Не заявила? — разочарованно спросил я.

— Не... Похоже, не заявила. А чего ей заявлять? Она знает, что ты живой и здоровый... Где-то поблизости прячешься.— Голос Антона снова зазвучал тревожно: — Лешка, слушай! Меня и Глашку уже родители допрашивали... «По лицам, говорят,

видим, что вы в этом деле замешаны. Если, говорят, узнаем, что это так...» Лешка, одним словом, сам понимаешь: мы из-за тебя можем все пропасть. Ты, главное, свет не зажигай. Лешка, ну, пока! Я из автомата... Тут очередь...— Я уже собрался положить трубку, как из нее послышалось: — Лешка! Эй!

— Ну? — спросил я грустно.

— Лешка, Аглая велела тебе передать, чтобы ты этого не боялся... Ну, который у профессора на полке... Чего его бояться? Ну, кость и кость... Ты что, костей не видел? Лешка, пока! До завтра! Тут стучат...

Я остался в темноте и в тишине. Теперь я уже не мог не думать о «кости», как назвал эту штуку Дудкин. Я потоптался возле столика, потом снова сел в кресло и почти ощупью набрал номер нашей квартиры. Я не знал, о чем буду говорить. Мне просто хотелось услышать человеческий голос.

— Да! Слушаю!

— Тетя Соня, это вы?

— Лешка! Ты... ты жестокий, бесчувственный мальчишка! У меня больное сердце! Я из-за тебя «неотложку» собиралась вызывать. Где ты находишься?

Мне представилась светлая, такая уютная комната, моя полка с книгами, мой недостроенный фрегат... Но тут же я вспомнил о Зинке с Васькой, которые ревели от страха в подъезде у Дудкина, вспомнил слова Аглаи: «На тебя вся надежда». И я почувствовал, что в этот момент решается вся моя судьба: или я промолчу, или навсегда сделаюсь самым последним человеком. И я промолчал.

— Где ты находишься, тебя спрашивают!

— В одном месте,— почти плача ответил я.

Тетя Соня не заметила моего жалобного тона.

— Впрочем, мне наплевать, где ты находишься. Кончай свои глупости и немедленно являйся домой.

— Тетя Соня... я сейчас не могу...

— Что «не могу»?

— Домой прийти не могу.

— Почему это «не могу»?

— По... по одной причине.

— По какой еще причине? Алексей! Я, кажется, полотенце вывесила. Когда ты явишься наконец?

— Тетя Соня... Я... явлюсь. Только не сегодня и не завтра...

— Будь я трижды проклята, что связалась с этим кретином. Алексей! Ты понимаешь, что я отвечаю за тебя перед родителями? Ты хочешь меня до сердечного приступа довести?

Мы разговаривали очень долго. Я был бы рад, если бы наша беседа продлилась до утра, но голос тети Сони с каждой минутой становился спокойней. Наконец она сказала:

— В общем, спасибо за то, что позвонил! Теперь я вижу, что с тобой ничего не случилось, а ты попросту хулиганишь. Скорее всего, сидишь у какого-нибудь своего дружка. Интересно, где только его родители?

Поговорив с тетей Соней, я пробрался по коридору и нащупал выключатель рядом с дверью ванной. Уж здесь-то я мог зажечь свет. В ванной было очень хорошо: яркая лампа, белые кафельные стены, белый ящик для белья, белая табуретка рядом с ним. Я сел на эту табуретку, однако спокойней себя не почувствовал. Здесь-то было хорошо, светло, но я знал, что недалеко, в темной комнате профессора, стоит на полке череп с пробитым лбом. Я старался не думать о нем, но у меня ничего не получалось.

И вдруг я понял, что мне поможет отвлечься. Ведь у меня в портфеле лежит «Том Сойер»! Очень долго я собирался с духом, чтобы выйти из светлой ванной. Наконец вышел, оставив дверь чуть приоткрытой, пробрался, весь дрожа, в спальню, нащупал под кроватью портфель и, схватив его, сломя голову бросился обратно, рассыпая по дороге сухари.

В ванной я запер дверь на задвижку, отдышался, извлек «Тома Сойера» из кучи съестных припасов, открыл книгу на заложенной бумажкой странице и тут же прочитал: «В этот момент луна выплыла из-за туч и осветила бледное лицо мертвеца». Я захлопнул книгу, положил ее на ящик для белья и остался сидеть почти не дыша.

Не знаю, сколько я просидел: может быть, двадцать минут, а может быть, час. Меня била дрожь. Неожиданно я услышал, что где-то за стеной шумно льется вода. И тут же мужской голос отчетливо произнес:

— Я тебя потом крикну. Спину потрешь.

Я понял, что моя ванная примыкает к ванной другой квартиры, дверь которой выходит в соседний подъезд, понял, что там, совсем близко от меня, люди, живые люди...

Меня осенила такая идея: я тоже наполню свою ванну и залезу в нее. Лежа в теплой воде, зная, что за стеной — совсем близко от меня — человек, я прочитаю самое страшное место в книге, а потом смогу читать «Тома Сойера» хоть целую ночь.

Я отвернул краны как можно сильнее, чтобы моя ванна успела наполниться, пока в соседней квартире шумит вода, и стал раздеваться.

Удивительная вещь — теплая вода! Погрузившись в нее, я почувствовал, как из меня выгнало весь мой страх. Я даже стал «назло» думать о черепе и нисколечко не боялся. Я встал, вытер о полотенце руки, взял книгу, раскрыл ее на самой страшной странице и снова погрузился в воду. Я прочел всю историю с гробокопателями и тоже ничуть не испугался.

Человек за стеной плескался, то снова пускал воду, то закрывал ее и с кем-то громко переговаривался.

— А? Что? Да не похоже. Он, наверное, в кино пошел. Чего? В кино, говорю, пошел.

И вдруг я услышал другой голос. Он звучал уже не за стеной, а за дверью ванной. Это был густой спокойный бас:

— Я думаю, тут метеоспутники свою роль сыграли в прогнозировании: за это лето было очень мало ошибок.— Человек за дверью помолчал, потом заметил: — Интересно, какой дурак оставил свет в ванной?

Я замер. Дверь дернули снаружи. Тот же бас произнес:

— Черт! Почему-то она еще и заперта.

Женский голос сказал:

— Что заперто?

— Да дверь вот заперта. По-видимому, кто-то хлопнул ею и задвижка сама собой закрылась.

Я встал в ванне, вода с меня полилась, и это услышали.

— Кто там? — тревожно крикнул бас, и дверь снова дернули, на этот раз очень сильно.

Я понял, что надо заговорить.

— Одну минутку... Я сейчас...

За дверью воцарилось такое молчание, словно там никого и не было. Потом женский голос произнес, на этот раз совсем тихо:

— Ираклий!.. Что все это значит?

— Шут его знает! — так же тихо произнес Ираклий и снова повысил голос: — Кто там?!

Я открыл дверь. Перед ней, сунув руки в карманы брюк, стоял гражданин лет шестидесяти, в светлом костюме. Он был весь какой-то квадратный: невысокого роста, но очень широкий в плечах. И голова его мне показалась квадратной: широкий угловатый подбородок и седые волосы, стриженные бобриком... И стекла очков у него были не круглые, а прямоугольной формы.

За спиной профессора (я, конечно, понял, что это он) стояла дородная пожилая женщина. Она попятилась, сцепив руки на груди, и тихо произнесла:

— Господи ты боже мой!

— М-да! — промычал профессор. Он дал мне застегнуть последнюю пуговицу и спросил: — Каким образом ты очутился в нашей квартире?

Я ничего не ответил.

— Ну что ж!.. Пойдемте в комнату,— сказал профессор.

Все трое мы пошли в большую комнату. Профессор включил свет, уселся в низкое кресло, закурил. Я стал напротив него. Его жена тоже не села. Она стояла рядом со мной и все время смотрела на меня.

— Что ты здесь делаешь? — спокойно спросил профессор.

— Живу,— ответил я.

— А почему именно здесь?

— Так...— сказал я.

— Господи! Ираклий! — воскликнула жена профессора.— Да это же из двадцать второй квартиры. Ну, помнишь, он козла к себе в дом пустил?

— А-а! — сказал профессор и затянулся сигаретой, продолжая смотреть на меня.— Так кто же тебя сюда поселил? Зинаида? Или Василий?

— Никто не поселил... Я сам...

— Что — сам?

— Поселился...— с трудом выдавил я.

— Так! Значит, сам. А каким же образом ты попал в квартиру, кто тебе открыл дверь?

Я хотел было сказать, что случайно увидел дверь открытой и вошел, но тут же подумал, что Зинке с Васькой и за это может попасть.

— Я... я сам дверь открыл...

— Сам, значит. Отмычкой? Или подобрал ключи?

— Подобрал,— сказал я чуть слышно.

— Господи ты боже мой! — снова прошептала жена профессора, но сам он остался невозмутимым.

— Так! Подобрал сразу два ключа. И где же они?

Я огляделся по сторонам.

— Тут где-то... Я, кажется... кажется, я их где-то потерял.

— Так! Потерял.— Профессор придвинулся вместе с креслом поближе ко мне.— Слушай! Но что все-таки тебя заставило обосноваться в нашей квартире да еще принимать тут ванну?

Тут я заплакал.

— Ну довольно тебе его мучить! — вскрикнула профессорша.— Не видишь — он весь трясется! Ему валерьянки надо дать!

Она ушла из комнаты. Профессор побарабанил пальцами по ручке кресла.

— Так-так, старый взломщик! Ну, а дома у тебя кто-нибудь есть?

— Есть...— ответил я.

Профессорша принесла мне рюмку с валерьяновыми каплями, заставила подобрать рассыпанные по коридору сухари, и мы все трое пошли ко мне домой. Я сразу юркнул к себе в комнату и не слышал толком, о чем разговаривали взрослые.

Тетя Соня говорила приглушенно, но очень взволнованно, а профессор и его жена то и дело смеялись, причем профессор смеялся не басом, а, наоборот, тоненьким голоском.

...И ночью (я вернулся в одиннадцать), и на следующее утро тетя Соня со мной не разговаривала. Но в конце завтрака она все-таки обратилась ко мне:

— Алексей! Так уж и быть, я о твоих художествах отцу с матерью не скажу, но в таком случае и ты не проговорись. А то получится, будто я тебя покрываю.

Я кивнул, а сам понял: тете Соне не хочется, чтобы родители узнали о ее педагогических «успехах».

Дождь на некоторое время перестал. Выглянув в окно, я увидел, что возле мокрой скамейки стоят Аглая, Дудкин и оба Брыкины. Они взволнованно о чем-то говорили, указывая то на окна профессорской квартиры, то на мои. Я решил выйти и объяснить им, что я никого не выдал.

Когда я появился во дворе, все они повернулись в одну сторону и уставились на меня. У Аглаи было примерно такое выражение: «Ой! Что-то он сейчас скажет?!» У Дудкина — такое: «Сейчас я ему морду набью!» Лица Брыкиных ничего не выражали: рты у них были полуоткрытые, а глаза мутные.

Я не чувствовал за собой никакой вины, но все-таки приближался к ним с опаской, не торопясь. Но прежде чем я к ним подошел, все они стали смотреть куда-то в другую сторону. Посмотрел туда же и я. Из подъезда вышел профессор. Он был в плаще и в берете, с сумкой для продуктов в руке. Увидев меня и ребят, он направился к нам.

— Василий и Зинаида! — сказал он строгим голосом.— За то, что вы добросовестно поливали цветы, вам полагается по плитке шоколада. Если подождете с полчаса, я их принесу.

Он подмигнул мне и пошел к воротам.

Вот и все!

Тетя Соня перестала меня воспитывать, зато и утратила ко мне всякий интерес. Наскоро приготовив обед, она исчезала до вечера, а раза два и ночевать не пришла, сказав по телефону, что плохо себя чувствует. В такие вечера Аглая, Брыкины, Дудкин и Юра собирались у меня и пили чай.

Дождь теперь лил почти не переставая, и папа с мамой вернулись из своей поездки на четыре дня раньше срока.

На этот раз в квартире у меня был полный порядок.

МАСКА

Мы были в красном уголке. Сеня Ласточкин и Антошка Дудкин играли в пинг-понг, Аглая листала старые журналы, а я просто так околачивался, без всякого дела. Вдруг Аглая спросила:

— Сень! Что такое маска?

— А ты чего, не знаешь?

— Я знаю маски, которые на маскараде, а тут написано: «Маска с лица Пушкина».

Сеня поймал шарик, подошел к Аглае и взглянул на страницу растрепанного журнала. Мы с Дудкиным тоже подошли и посмотрели.

— Маска как маска. С лица покойника.

— Сень... А для чего их делают?

— Ну, для памяти, «для чего»! Для музеев всяких.

— А трудно их делать?

— Ерунда: налил гипса на лицо, снял форму, а по форме отлил маску.

— А с живого человека можно? — спросил Дудкин.

Сеня только плечами пожал:

— Ничего сложного: вставил трубочки в нос, чтобы дышать, и отливай!

Все мы очень уважали Сеню, и не только потому, что он был старше нас: он все решительно знал. Если мы говорили о том, что хорошо бы научиться управлять автомобилем, Сеня даже зевал от скуки.

— Тоже мне премудрость! Включил зажигание, выжал сцепление, потом — носком на стартер, а пяткой — на газ.

Заходила речь о рыбной ловле, и Сеня нам целую лекцию прочитывал: щуку можно ловить на донную удочку, на дорожку, на кружки, а жерех днем ловится внахлест и впроводку, а ночью со дна...

Управление машиной да рыбная ловля — дела все-таки обычные. Но отливка масок с живых людей... Мы до сих пор даже не подозревали, что такое занятие вообще существует. Узнав, что Ласточкин и в этом деле «собаку съел», мы только молча переглянулись между собой: вот, мол, человек!

— Пошли! — сказал Сеня и направился обратно к столу для пинг-понга. Дудкин пошел было за ним, как вдруг Аглая вскрикнула:

— Ой! Антон! Для выставки маску сделаем!

Антошка сразу забыл про игру.

— В-во! — сказал он и оглядел всех нас, подняв большой палец.

Каждый год к первому сентября в нашей школе советом дружины устраивался смотр юных умельцев. Ребята приносили на выставку самодельные приборы, модели, рисунки, вышивки. Специальное жюри оценивало эти работы, и лучшие из них оставались навеки в школьном музее. Аглая с Дудкиным все лето мечтали сделать что-нибудь такое удивительное, чтобы их творение обязательно попало в музей. Это было не так-то

просто: на выставку ежегодно представлялось больше сотни вещей, а в музей попадали две-три.

— Во-во! — повторил Дудкин.— А гипс в «Стройматериалах» продается. Я сам видел. Сень! Покажешь нам, как отлить?

— Ага, Сень...— подхватила Аглая.— Ты только руководи. Мы все сами будем делать, ты только руководи.

Сеня у нас никогда не отказывался руководить. В свое время он был старостой нашего драмкружка (это когда ко мне в квартиру притащили живого козла), руководил оборудованием красного уголка (тогда еще Дудкин перебил шлямбуром внутреннюю электропроводку). Теперь он тоже согласился:

— Ладно уж. Только быстрее давайте: мне в кино идти на пять тридцать.

Стали думать, с кого отлить маску. Ласточкин сказал, что хорошо бы найти какого-нибудь знаменитого человека: тогда уж маску наверняка примут в музей. Дудкин вспомнил было, что в нашем доме живет профессор Грабов, лауреат Ленинской премии, но тут же сам добавил, что профессор едва ли позволит лить себе на лицо гипс. И вдруг меня осенило.

— Гога Люкин! — сказал я.

Аглая с Дудкиным сразу повеселели.

Гога Люкин жил в нашем доме. Он учился во втором классе, но его знала вся школа. Дело в том, что он был замечательный музыкант. Во всех концертах школьной самодеятельности он играл нам произведения Шуберта, Моцарта и других великих композиторов. Он был курчавый, большеглазый и очень щупленький, с большой головой на тонкой шее. Когда мы слушали его, нас всегда удивляло, как это он, такой крохотуля, может выбивать из рояля такие звуки. Но еще больше нас удивляло, что он в свои восемь лет сам сочиняет вальсы и польки и они получаются у него совсем как настоящие. Я сам слышал, как педагоги называли его «удивительно одаренным ребенком», и все мы были уверены, что Гога станет композитором.

— У него башка варит,— сказал Дудкин, кивнув на меня.

— «Варит»! — вскричала Аглая.— Да нам с тобой такого в жизни не придумать! Когда Гошка станет знаменитым, маску не то что в школьном — в настоящем музее с руками оторвут.

Мы надели плащи (на улице шел дождь) и побежали искать композитора.

На ловца, как говорится, и зверь бежит: мы встретили Гошку во дворе. Он был в зеленом дождевике из пластика, доходившем ему до пят, в таком же капюшоне, спускавшемся почти до носа.

Мы окружили Гошу. Аглая, Дудкин и я, перебивая друг друга, объяснили, зачем он нам нужен. Нам не терпелось, мы хотели заняться отливкой маски немедленно. Композитор выслушал нас и остался совершенно равнодушным.

— Я сейчас не могу,— сказал он из-под капюшона.

Мы заговорили о том, что он своего счастья не понимает, что это большая честь для него, если его маска будет висеть в школьном музее. Но и это не произвело на него никакого впечатления. Похоже было, что ему наплевать на то, что он композитор и что его ожидает слава.

— Мне некогда,— сказал он.— Я в галантерею иду.

— А чего тебе делать в галантерее? — спросил Дудкин.

— У мамы завтра день рождения, и мне надо ей подарок купить.

— А чего ты ей хочешь подарить?

— Пудреницу. За рубль пятнадцать.— Композитор разжал ладонь и показал несколько двугривенных и пятиалтынных.

— Тю-ю! «Пудреницу»! — передразнила Аглая и обратилась к Ласточкину: — Сень, а две маски можно сделать?

— Да хоть десять. Была бы форма.

И тут мы все накинулись на композитора. Мы хором кричали о том, что глупо покупать грошовую пудреницу, когда можно сделать маме ценнейший подарок: ведь гипсовую маску можно повесить на стенку, она провисит там десятки лет, и мама будет любоваться ею, когда ее сын станет совсем большим.

Это на Гошу подействовало. Он сдвинул капюшон и, подняв голову, посмотрел на нас. У него были черные, густые, как у взрослого, брови, и они всё время шевелились, пока он раздумывал.

— А это долго? — спросил он наконец.

— Полчаса хватит,— ответил Сеня.

Композитор опять подвигал бровями.

— А со мной ничего не будет?

— Ну, чего с тобой может быть?! — воскликнул Антошка.— Полежишь чуток неподвижно — и готово!

Аглая добавила, что мы даже денег на гипс с Гоши не возьмем и он может купить на них, что ему вздумается.

Композитор наконец согласился. Магазин «Стройматериалы» помещался в нашем доме. Минут через десять мы вошли в квартиру Антона. Папа и мама его были на работе.

— Ну, Сень, руководи,— сказал Дудкин.— С чего начнем?

Ласточкин прижал широкий подбородок к груди, потеребил толстую нижнюю губу.

— Халат давай. Или фартук. Мне! — приказал он низким голосом.

Мы поняли, что на этот раз он собирается не только руководить. Мы не возражали. Уж очень это было необычное дело — отливать маску.

Антошка принес старый материнский халат, в котором он занимался фотографией. Ласточкин облачился в него и подпоясался матерчатым пояском. Халат был не белый, а пестрый, весь в каких-то пятнах, но Сеня все равно походил в нем на профессора, который готовится к операции.

— Теперь чего? — спросил Антон.

Ласточкин велел нам устлать старыми газетами диван с высокой спинкой и пол возле него. Мы быстро исполнили приказание и молча уставились на Сеню. Он кивнул на композитора.

— Кладите его!

— Давай, Гоша, ложись,— сказал Дудкин.— Пластом ложись, на спину.

Все это время композитор стоял поодаль, сдвинув ноги носками внутрь, склонив курчавую голову набок и ковыряя в носу. Вид у него был такой, словно все наши хлопоты его не касаются. Пошуршав газетами, он улегся на диван и принялся что-то разглядывать на потолке.

— Сень! — сказала Аглая.— А разве гипс у него на лице удержится? Он же весь стечет!

Наш руководитель почему-то задумался. Он присел и посмотрел на Гошу сбоку, потом подошел к его ногам и стал смотреть композитору в лицо. Смотрел он долго, почесывая у себя за правым ухом. Наконец он обернулся к Дудкину:

— Кусок картона есть? Вот такой.

Антон достал из-за шкафа пыльную крышку от какой-то настольной игры. Сеня вырезал в ней ножницами овальную дыру и надел эту рамку композитору на голову так, чтобы из отверстия высовывалось только лицо. Затем Антон принес отцовские папиросы «Беломор». Ласточкин отрезал от них два мундштука и сунул их Гоше в ноздри.

Теперь композитор стал проявлять некоторый интерес к тому, что мы с ним делаем. С лицом, обрамленным грязным картоном, с белыми трубочками, торчащими из носа, он уже не смотрел на потолок, а, скосив глаза, следил за нами. Удивительные брови его то сходились на переносице, то ползли вверх, то как-то дико перекашивались.

А работа у нас кипела вовсю. Сунув ладони за поясок на халате, Сеня прохаживался по комнате и командовал:

— Таз!.. Воды кувшин!.. Ложку столовую!.. Вазелин!.. Нету? Тогда масло подсолнечное. Шевелитесь давайте, мне в кино скоро идти.

Мы и без того шевелились. В какие-нибудь три минуты и таз, и вода, и подсолнечное масло оказались на столе.

— Все! — сказал Дудкин.— Валяй, Сеня, действуй!

Наступил самый ответственный момент. Сеня смазал Гошино

лицо постным маслом, потом засучил рукава по локти и принялся разводить гипс. Он работал, не произнося ни слова, только сопел. Он то подливал в таз воды, то добавлял гипса и быстро размешивал его ложкой. Аглая, Дудкин и я стояли тихо-тихо. Мне захотелось чихнуть, но я побоялся это сделать и стал тереть переносицу.

Скосив глаза на Сеню, композитор следил за его работой. Он тоже молчал, но брови его прямо ходуном ходили. Кроме того, он зачем-то высунул язык и зажал его в уголке рта.

— Готово! — тяжело вздохнул Ласточкин. Он сел на край дивана рядом с Гошей, поставив таз себе на колени.— Закрой рот. И глаза закрой.

Композитор спрятал язык и так зажмурился, что вся физиономия его сморщилась.

— Спокойно! Начинаю,— сказал Сеня. Он горстью зачерпнул из таза сметанообразную массу и ляпнул ее композитору на лоб.

Лишь в последнюю секунду я заметил, что на лбу у Гоши темнеют выбившиеся из-под картона кудряшки. Я подумал, что не мешало бы их убрать, но как-то не решился делать замечания Сене.

Очень скоро Гошино лицо скрылось под толстым слоем гипса. Кончики мундштуков от папирос торчали из него не больше чем на сантиметр. Ласточкин поставил таз на стол.

— Дышать не трудно? — спросил он.

— Осторожно! Прольешь! — вскрикнули Дудкин и Аглая. Дело в том, что Гоша качнул головой, и гипс стал растекаться по картону.

Сеня подправил гипс, а Дудкин дал Гоше карандаш и большой альбом для рисования.

— Ты пиши нам, если нужно. На ощупь пиши.

После этого мы сели на стулья и стали ждать.

— Гош! Ну как ты себя чувствуешь? — спросила через минуту Аглая.

Композитор подогнул коленки, прислонил к ним альбом и вывел огромными каракулями: «ХАРАШО».

Через некоторое время Сеня потрогал гипс. Тот уже не прилипал к рукам.

— Порядок! — сказал руководитель.— Теперь скоро.

В этот момент композитор снова принялся писать. «ЖМЕТ И ЖАРКО»,— прочли мы.

— Нормальное явление,— успокоил его Сеня.— При застывании гипс расширяется и выделяет тепло.

Еще минуты через три он постукал пальцами по затвердевшему гипсу и обратился к нам:

— Значит, так: самое трудное сделано. Я форму сейчас

сниму, а маску вы сами отольете. Мне в кино пора.— Он уперся коленом в диван и схватился за край картона.— Гошка, внимание! Держи голову крепче. Крепче голову!

Сеня потянул за картон, но форма не отделялась. Ласточкин дернул сильней... Композитор вцепился ему в руки и так взбрыкнул ногами, что альбом полетел на пол.

— Ты чего? — спросил руководитель.

— Гош, на, держи, пиши! — Аглая подала композитору упавший альбом.

«ВОЛОСЫ»,— написал тот каракулями и, подумав, добавил: «НА ЛБУ И ОКОЛО УХ». Потом он еще немного подумал и начертал поверх написанного: «И БРОВИ».

— Чего? Какие брови? — спросил Ласточкин.

«ПРИЛИПЛО»,— написал композитор.

После этого мы очень долго молчали.

— Вот это да-а! — прошептал наконец Дудкин.

— Ладно! Без паники! — сипло сказал Сеня, а сам покраснел как рак.

Он кусками оборвал картонную рамку и снова потянул, но композитор опять забрыкался.

— Не учли немножко,— пробормотал руководитель.

Он подступался и так и этак... Он хватался за гипсовый ком и со стороны подбородка, и сбоку, и сверху... Он то сажал Гошу, то снова укладывал его. Ничего не помогло! Всякий раз, как Сеня дергал за форму, композитор отчаянно лягался и размахивал руками.

Аглая, Дудкин и я почти с ужасом следили за этой возней. Смуглое лицо Аглаи стало каким-то зеленоватым, темная прядка волос повисла вдоль носа, и она ее не убирала. Антошка стоял, подняв плечи до самых ушей, свесив руки по швам... Самым страшным было то, что Гоша не издавал ни звука. Он только со свистом дышал через папиросные мундштуки.

— Небось даже плакать не может,— прошептала Аглая.

— Как в могиле,— кивнул Дудкин.

Зазвонил телефон.

— Лешк, подойди,— сказал Антон, не спуская глаз с композитора.

Я взял трубку. В ней послышался женский голос:

— Это квартира Дудкиных?

— Да.

— Гога Люкин у вас?

— У нас,— машинально ответил я.

— Скажите, чтобы он немедленно шел домой! — раздраженно заговорила женщина.— Я его по всему дому ищу. Скажите, что, если он через минуту не вернется, я сама за ним приду и ему уши надеру.

Когда я передал ребятам этот разговор, Дудкин чуть не заплакал от злости.

— У тебя в голове мозги или что? Не мог сказать, что его у нас нет!

— Недоразвитый какой-то! — прошипела Аглая.

Сеня поднялся с дивана. Он сделался вдруг каким-то очень спокойным.

— Так, значит... Где у вас руки вымыть? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сам направился в ванную. Там он стал перед умывальником, а мы — за его спиной.

— Сень... Как же теперь? — спросила Аглая.

— Что — как? — буркнул тот и открыл кран.

— Как же с Гошей-то?

— К родителям его отведете, и все. Тут без взрослых не обойдешься.

Несколько секунд мы оторопело молчали.

— Сеня, а ты? — спросил наконец Дудкин.

— Мне в кино пора. Меня Боря ждет.

И снова наступило молчание. Руководитель скреб ладони под струей, а Дудкин и Аглая смотрели на его короткую шею, на толстые уши. И шея и уши были сейчас красные.

Потом Сеня быстро вытер руки полотенцем, потом он бочком, отвернувшись к стене, выбрался в переднюю... Там, стоя лицом к вешалке, он принялся надевать плащ. Он делал вид, будто совсем не торопится, но долго не мог попасть рукой в рукав.

— Значит... пока! — буркнул он, шмыгнул к двери, мгновенно открыл ее и затарахтел подметками по лестнице.

Только тут Аглая перестала молчать. Она выскочила на площадку.

— Трус паршивый! — крикнула она плачущим голосом и затопала правой ногой.— Трус паршивый! Трус паршивый! Трус паршивый!

Дудкин молча втащил ее за локоть в переднюю.

— Хватит тебе! — сказал он сердито.— Давай жребий тянуть.

— Какой еще жребий? — всхлипнула Аглая.

— Ну, кто его домой поведет... Уж лучше пусть кто-нибудь один страдает, чем сразу все.

Но Аглая замотала головой и закричала, что не надо никакого жребия, что она скорей умрет, чем одна поведет Гошу к родителям.

Решили вести его все вместе.

Наше счастье, что дождь усилился и во дворе никого не было, когда мы вели Гошу к подъезду. Собственно, вели его

Аглая с Дудкиным, а я шел сзади. В своем зеленом дождевике до пят композитор семенил мелкими-мелкими шажками. От этого казалось, что он не идет, а будто плывет, совсем как танцовщица из ансамбля «Березка». Капюшон был натянут ему на голову, вместо лица белела гипсовая блямба. Гоша поддерживал ее ладонями, чтобы она не тянула за волосы, а его, в свою очередь, держали под руки Дудкин и Аглая. Они тоже семенили, чтобы идти в ногу с композитором.

Наконец мы добрались до квартиры Люкиных. Аглая и Дудкин взглянули на кнопку звонка, но никто из них не подошел к ней. Дудкин вынул скомканный платок и принялся вытирать им лицо и светлые вихры на темени. Покончив с этим, он снова взглянул на кнопку и стал откусывать заусеницу на большом пальце. Аглая его не торопила.

— Противный мальчишка! Ну и наподдам я ему сейчас! — послышался сердитый голос.

Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина, похожая на испанку, в красном шелковом плаще. Она застыла в красивой позе, положив левую руку на бедро, а правой держась за дверь чуть повыше головы.

— Что это еще у тебя? А ну-ка сними!

Композитор не шевельнулся.

— Я кому говорю? Сними сию минуту!

— Оно не снимается,— чуть слышно сказал Антон.

— Это гипс... Он... он прилип...— пролепетала Аглая.

Гошина мама оглядела нас большими глазами и бросилась в переднюю.

— Аркадий! Аркадий! Иди сюда! — крикнула она.

Появился папа композитора, очень высокий и толстый. Над ушами у него курчавились волосы, а на темени поблескивала лысина. Брови у него были такие же густые, как у Гоши. Он мне понравился гораздо больше, чем мама. Он вышел вместе с ней на площадку, посмотрел на Гошу и сказал только одно слово:

— Любопытно!

Мама гневно зыркнула на него глазами, но промолчала.

— Он не отлипает, этот гипс...— снова залопотала Аглая и повернулась к маме: — Мы хотели маску сделать... чтобы вам... ко дню рождения...

— А как он дышит? — спросил папа.

— Вот... трубочка,— показал Антон.

Папа нагнулся, посмотрел на трубочки и, взяв своего сына за плечи, повел его в квартиру.

— Заходите, пожалуйста,— сказал он нам.

В комнате Аглая с Дудкиным невнятно объяснили ему, что у Гоши прилипли волосы на лбу и возле ушей, что брови тоже,

может быть, прилипли... Папа сел на стул и, поставив Гошу между колен, слегка подергал маску.

— Неплохо тебя упаковали!

— Тебе все шуточки! — сказала Гошина мама. Скрестив руки на груди, она сидела на краешке письменного стола.

Папа встал, вынул из ящика стола лезвие от безопасной бритвы и снова вернулся к Гоше.

— Теперь не вертись, а то порежу.— Осторожно сунув лезвие под край формы, он стал подрезать прилипшие к ней волосы.

— Я не могу на это смотреть,— сказала мама и ушла из комнаты.

Минут пять папа занимался своей работой. Наконец он вынул лезвие и передал Дудкину.

— Ну, а брови, наверное, пострадают. Держись! — Он дернул за форму, и та осталась у него в руках. В ней темнели волосы из Гошиных бровей, но их было немного.

Все мы смотрели на Гошу. Он стоял, крепко зажмурившись. Лицо его, сначала бледное, постепенно розовело. Вот он приоткрыл глаза и тут же снова зажмурился (как видно, он отвык от света). Но вот он снова их открыл и больше не закрывал. Мы думали, что он набросится на нас с кулаками или, по крайней мере, заплачет, но он ничего этого не сделал. Он посмотрел на форму, на всех нас, на папу и тихо спросил:

— Получится?

— Несомненно,— сказал папа и позвал, разглядывая форму: — Томочка! Операция окончена.

Мама быстро вошла в комнату.

— Мама, получится! — сообщил ей композитор.

Она присела перед своим сыном, разглядывая, повертела его в разные стороны.

— Выкиньте эту гадость! — сказала она, кивнув на форму.

— Что ты, голубушка! Твой сын такие муки перенес, и теперь, когда главное сделано... Нет, это дудки!

Антон принес гипс к Люкиным, и мы отлили две маски. Гошина мама очень смеялась: с каждой маски на нас смотрела такая сморщенная, такая перекошенная физиономия с зажмуренными глазами, что в школу ее неловко было нести.

С Сеней мы долго не разговаривали. Повстречавшись с нами, он обычно круто сворачивал и обходил нас, делая большую дугу.

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

Белый Бим Черное ухо

Повесть

Александру
Трифоновичу
Твардовскому

Глава 1

ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда,— искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, несмотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.

Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он — Бим.

В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз не шевелится — интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом, он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из рамки, как из окошка?

Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно. В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил брусочек и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок. Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.

— Это еще что?! — прикрикнул хозяин.— Нельзя! — И тыкал Бима носом в книжку.— Бим, нельзя. Нельзя!

После такого внушения даже человек откажется от чтения, но Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бок, то на другой. И, видимо, решил-таки: раз уж нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами играючи, да еще и с припрыгом.

Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое «нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:

— Нельзя! — и трепанул за ухо.— Ты же мне, глупая твоя голова, «Библию для верующих и неверующих» изорвал.— И опять: — Нельзя! Книги — нельзя! — Он еще раз дернул за ухо.

Бим взвизгнул да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит.

— Нельзя! Нельзя! — долбил тот нарочито и совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш.— И сел. И посадил на колени.

Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через «Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо.

Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя». И все же очень, очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы,

шевелятся добрые губы и как прикасаются к шерстке теплые, ласковые пальцы. Зато Бим уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет.

А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму:

— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет.— Она, брат, умерла. Нет ее. Нет...— Он гладил Бима и в полной уверенности приговаривал: — Ах ты мой дурачок, Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.

Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как и на кличку. А раз уж он, в таком возрасте, осваивал интонацию голоса, то, конечно же, обещал быть умнейшей собакой.

Но только ли ум определяет положение собаки среди своих собратьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке.

Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство. Хозяин мог бы по этим анкетам не только дойти до прадеда и прабабки Бима, но и знать, при желании, прадедового прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль. По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть обязательно «черный, с блестящим синеватым отливом — цвета воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким: туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно — как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон, а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос породы.

В общем-то, с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под большими умными темно-карими глазами морда Бима была даже симпатичней, приметней, может быть, даже умнее или, как

бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать мордой, а скорее — собачьим лицом. Но по законам кинологии белый окрас, в конкретном случае, считается признаком вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.

Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался.

Но хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничьих собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии) определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой.

Владелец матери Бима, в общем-то, уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить, но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима: глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит вопрос: дадут или не дадут родословную?

Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима как действительного представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотыми медалями на груди: какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен.

Какая же все-таки несправедливость на белом свете!

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской — чувствами всегда неотразимыми, если между ними не втерлось подхалимство, каковое может потом, постепенно, превратить все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество — подхалимаж. Не дай-то боже! Но Бим — пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.

Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?

Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изображена собака — явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, у ш и т о ж е ч е р н ы е, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний кострец тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски.

Вторая собака, длинношерстная, т о ж е с ч е р н ы м и у ш а м и. Обессилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду.

Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком.

Ведь за минуту до этого все они были в отчаянии, у них не было ни капли надежды. И они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею:

«О, если бы мы умерли от руки господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся уморить голодом».

Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский: хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине Бассано.

А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно.

Картине Д. Бассано около четырехсот лет. Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть природа.

Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинение против Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.

Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и напомнит мне о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать просто: а при чем тут черные уши у Бассано?

Поищем данные ближе к Биму по времени.

*

Выписка из стандартов охотничьих собак: «Сеттеры-гордоны выведены в Шотландии... Порода сложилась к началу второй половины XIX столетия... Современные шотландские сеттеры, сохранив свою мощь и массивность костяка, приобрели более быстрый ход. Собаки спокойного, мягкого характера, послушные и незлобные, они рано и легче принимаются за работу, успешно используются и на болоте, и в лесу... Характерна отчетливая, спокойная, высокая стойка с головой не ниже уровня холки...»

*

Из двухтомника «Собаки» Л. П. Сабанеева, автора замечательных книг — «Охотничий календарь» и «Рыбы России»:

«Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, которая в течение многих столетий получала, так сказать, домашнее воспитание, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную и интеллигентную породу».

Так! Бим, следовательно, собака интеллигентной породы. Это уже может пригодиться.

*

Из той же книги Л. П. Сабанеева:

«В 1847 году Пэрлендом из Англии были привезены для подарка Великому Князю Михаилу Павловичу два замечательных красивых сеттера очень редкой породы... Собаки были непродажныя и променены на лошадь, стоившую 2000 рублей...»

Вот. Вез для подарка, а содрал цену двадцати крепостных. Но виноваты ли собаки? И при чем тут Бим? Это непригодно.

*

Из письма известного в свое время природолюба, охотника и собаковода С. В. Пенского к Л. П. Сабанееву:

«Во время Крымской войны я видел очень хорошего красного

сеттера у Сухово-Кобылина, автора «Свадьбы Кречинского», и желто-пегих в Рязани у художника Петра Соколова».

Ага, это уже ближе к делу. Интересно: даже сатирик имел тогда сеттера. А у художника — желто-пегий. Не оттуда ли твоя кровь, Бим? Вот бы! Но зачем тогда... черное ухо? Непонятно.

*

Из того же письма:

«Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером покойного Императора Александра Николаевича. Какие вышли щенки и куда они девались — не знаю; знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой».

Стоп! Не тут ли? Если твоя нога и ухо черны от собаки Льва Николаевича Толстого, ты счастливая собака, Бим, даже без личного листка породы, самая счастливая из всех собак на свете. Великий писатель любил собак.

*

Еще из того же письма:

«Императорского черного кобеля я видел в Ильинском после обеда, на который Государь пригласил членов правления Московского общества охоты. Это была очень крупная и весьма красивая комнатная собака, с прекрасной головой, хорошо одетая, но сеттериного типа в ней было мало; к тому же ноги были слишком длинны, и одна из ног совершенно белая. Говорят, сеттер этот был подарен покойному Императору каким-то польским паном, и слух ходил, что кобель-то был не совсем кровный».

Выходит, польский пан облапошил императора? Могло быть. Могло это быть и на собачьем фронте. Ох уж этот мне черный императорский кобель! Впрочем, тут же рядом идет кровь желтой суки Берса, обладавшей «чутьем необыкновенным и замечательной сметкой». Значит, если даже нога твоя, Бим, от черного кобеля императора, то весь-то ты вполне можешь быть дальним потомком собаки величайшего писателя... Но нет, Бимка, дудки! Об императорском — ни слова. Не было — и все тут. Еще чего недоставало.

*

Что же остается на случай возможного спора в защиту Бима?

Моисей отпадает по понятным причинам. Сухово-Кобылин отпадает и по времени, и по окрасу. Остается Лев Николаевич

Толстой: а) по времени ближе всех; б) отец его собаки был черным, а мать красная. Все подходяще. Но отец-то, черный-то,— императорский, вот загвоздка.

Как ни поверни, о поисках дальних кровей Бима приходится молчать. Следовательно, кинологи будут определять только по родословной отца и матери Бима, как у них полагается: нет белого в родословной и — аминь. А Толстой им — ни при чем. И они правы. Да и в самом деле, этак каждый может происхождение своей собаки довести до собаки писателя, а там и самому недалеко до Л. Н. Толстого. И действительно: сколько их у нас, Толстых-то! Ужас как много объявилось, помрачительно много.

Как ни обидно, но разум мой готов уже смириться с тем, что Биму быть изгоем среди породистых собак. Плохо. Остается одно: Бим — собака интеллигентной породы. Но и это — не доказательство (на то и стандарты).

*

— Плохо, Бим, плохо,— вздохнул хозяин, отложив ручку и засунув в стол общую тетрадь.

Бим, услышав свою кличку, поднялся с лежака, сел, наклонив голову на сторону черного уха, будто слушал только желто-рыженьким. И это было очень симпатично. Всем своим видом он говорил: «Ты хороший, мой добрый друг. Я слушаю. Чего же ты хочешь?»

Хозяин сразу же повеселел от такого вопроса Бима и сказал:

— Ты молодец, Бим! Будем жить вместе, хотя бы и без родословной. Ты хороший пес. Хороших собак все любят.— Он взял Бима на колени и гладил его шерстку, приговаривая: — Хорошо. Все равно хорошо, мальчик.

Биму было тепло и уютно. Он тут же на всю жизнь понял: «Хорошо» — это ласка, благодарность и дружба.

И Бим уснул. Какое ему дело до того, кто он, его хозяин? Важно — он хороший и близкий.

— Эх ты, черное ухо, императорская нога,— тихо сказал тот и перенес Бима на лежак.

Он долго стоял перед окном, всматриваясь в темно-сиреневую ночь. Потом взглянул на портрет женщины и проговорил:

— Видишь, мне стало немножко легче. Я уже не одинок.— Он не заметил, как в одиночестве постепенно привык говорить вслух ей или даже самому себе, а теперь и Биму.— Вот я и не один,— повторил он портрету.

А Бим спал.

Так они и жили вдвоем в одной комнате. Бим рос крепышом. Очень скоро он узнал, что хозяина зовут «Иван Иваныч». Умный щенок, сообразительный. И мало-помалу он понял, что ничего нельзя трогать, можно только смотреть на вещи и людей. И вообще все нельзя, если не разрешит или не прикажет хозяин. Так слово «нельзя» стало главным законом жизни Бима. А глаза Ивана Иваныча, интонация, жесты, четкие слова-приказы и слова ласки были руководством в собачьей жизни. Более того, самостоятельные решения к какому-либо действию никоим образом не должны были противоречить желаниям хозяина. Зато Бим постепенно стал даже угадывать некоторые намерения друга. Вот, например, стоит он перед окном и смотрит, смотрит вдаль и думает, думает. Тогда Бим садится рядом и тоже смотрит и тоже думает. Человек не знает, о чем думает собака, а собака всем видом своим говорит: «Сейчас мой добрый друг сядет за стол, обязательно сядет. Походит немного из угла в угол и сядет и будет водить по белому листку палочкой, а та будет чуть-чуть шептать. Это будет долго, потому посижу-ка и я с ним рядом». Затем ткнется носом в теплую ладонь. А хозяин скажет:

— Ну, что ж, Бимка, будем работать,— и правда садится.

А Бим калачиком ложится в ногах или, если сказано «На место», уйдет на свой лежак в угол и будет ждать. Будет ждать взгляда, слова, жеста. Впрочем, через некоторое время можно и сойти с места, заниматься круглой костью, разгрызть которую невозможно, но зубы точить — пожалуйста, только не мешай.

Но когда Иван Иваныч закроет лицо ладонями, облокотившись на стол, тогда Бим подходит к нему и кладет разноухую мордашку на колени. И стоит. Знает, погладит. Знает, другу что-то не так. А Иван Иваныч поблагодарит:

— Спасибо, милый, спасибо, Бимка,— и будет снова шептать палочкой по белой бумаге.

Так было дома.

Но не так было на лугу, где оба забывали обо всем. Здесь можно бегать, резвиться, гоняться за бабочками, барахтаться в траве — все было позволительно. Однако и здесь, после восьми месяцев жизни Бима, все пошло по командам хозяина: «Поди-поди!» — можешь играть, «Назад!» — очень понятно, «Лежать!» — абсолютно ясно, «Ап!» — перепрыгивай, «Ищи!» — разыскивай кусочки сыра, «Рядом!» — иди рядом, но только слева, «Ко мне!» — быстро к хозяину, будет кусочек сахара. И много других слов узнал Бим до года. Друзья все больше и больше понимали друг друга, любили и жили на равных — человек и собака.

Но случилось однажды такое, что у Бима жизнь изменилась, и он повзрослел за несколько дней. Произошло это только

потому, что Бим вдруг открыл у хозяина большой, поразительный недостаток.

Дело было так. Тщательно и старательно шел Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг среди разных запахов трав, цветов, самой земли и реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим,— воробьев там разных, веселых синиц, трясогузок и всякой мелочи, догнать какую нечего и пытаться (пробовали). Пахло чем-то неизвестным, что будоражило кровь. Бим приостановился и оглянулся на Ивана Иваныча. А тот повернул в сторону, ничего не заметив. Бим был удивлен: друг-то не чует. Да ведь он же калека! И тогда Бим принял решение с а м: тихо переступая в потяжке, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Иваныча. Шажки становились все реже и реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать, не зацепить будылинку. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим, так и не опустив на землю правую переднюю лапу, замер на месте, застыл, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения самого себя.

О нет, хозяин тихо подходит, гладит чуть-чуть вздрагивающего в трепете Бима:

— Хорошо, хорошо, мальчик. Хорошо,— и берет за ошейник.— Вперед... Вперед...

А Бим не может — нет сил.

— Вперед... Вперед...,— тянет его Иван Иваныч.

И Бим пошел! Тихо-тихо. Остается совсем чуть — кажется, неведомое рядом. Но вдруг приказ резко:

— Вперед!!!

Бим бросился. Шумно выпорхнул перепел. Бим рванулся за ним и-и-и... погнал, страстно, изо всех сил.

— Наза-ад! — крикнул хозяин.

Но Бим ничего не слышал, ушей будто и не было.

— Наза-ад! — И свисток.— Наза-ад! — И свисток.

Бим мчался до тех пор, пока не потерял из виду перепела, а затем, веселый и радостный, вернулся. Но что же это значит? Хозяин сумрачен, смотрит строго, не ласкает. Все было ясно: ничего не чует его друг! Несчастный друг... Бим как-то осторожненько лизнул руку, выражая этим трогательную жалость к выдающейся наследственной неполноценности самого близкого ему существа.

Хозяин сказал:

— Да ты вовсе не о том, дурачок.— И веселее: — А ну-ка, начнем, Бим, по-настоящему.— Он снял ошейник, надел другой

(неудобный) и пристегнул к нему длинный ремень.— Ищи!

Теперь Бим разыскивал з а п а х перепела — больше ничего. А Иван Иваныч направлял его туда, куда переместилась птица. Биму было невдомек, что его друг видел, где приблизительно сел перепел после позорной погони (чуять, конечно, не чуял, а видеть видел).

И вот тот же запах! Бим, не замечая ремня, сужает челнок, тянет, тянет, поднял голову и тянет ве́рхом... Снова стойка! На фоне заката солнца он поразителен в своей необычайной красоте, понять которую дано не многим. Дрожа от волнения, Иван Иваныч взял конец ремня, крепко завернул на руку и тихо приказал:

— Вперед... Вперед...

Бим пошел на подводку. И еще раз приостановился.

— Вперед!!!

Бим так же бросился, как и в первый раз. Перепел теперь вспорхнул с жестким стрекотом крыльев. Бим опять ринулся было безрассудно догонять птицу, но... рывок ремня заставил его отскочить назад.

— Назад!!! — крикнул хозяин.— Нельзя!!!

Бим, опрокинувшись, упал. Он не понял — за что так. И тянул ремень вновь в сторону перепела.

— Лежать!

Бим лег.

И еще раз все повторилось, уже по новому перепелу. Но теперь Бим почувствовал рывок ремня раньше, чем тогда, а по приказу лег и дрожал от волнения, страсти и в то же время от уныния и печали: все это было в его облике от носа до хвоста. Ведь так больно! И не только от жесткого, противного ремня, а еще и от колючек внутри ошейника.

— Вот так-то, Бимка. Ничего не поделаешь — так надо.— Иван Иваныч, лаская, поглаживал Бима.

С этого дня и началась настоящая охотничья собака. С этого же дня Бим понял, что только он, только он один может узнать, где птица, и что хозяин-то беспомощен, а нос у него пристроен только для виду. Началась настоящая служба, в основе ее лежали три слова: нельзя, назад, хорошо.

А потом — эх! — потом ружье! Выстрел. Перепел падал, как ошпаренный кипятком.

И догонять его, оказывается, вовсе не надо, его только найти, поднять на крыло и лечь, а остальное сделает друг. Игра на равных: хозяин без чутья, собака без ружья.

Так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа, соль дружбы.

*

К двум годам Бим стал отличной охотничьей собакой, доверчивой и честной. Он знал уже около ста слов, относящихся к охоте и дому: скажи Иван Иваныч «Подай» — будет сделано; скажи он «Подай тапки» — подаст, «Неси миску» — принесет, «На стул!» — сядет на стул. Да что там! По глазам уже понимал: хорошо смотрит хозяин на человека, и Биму он — знакомый с той же минуты; недружелюбно глянет — и Бим иной раз даже и взрычит; даже лесть (ласковую лесть) он улавливал в голосе чужого. Но никогда и никого Бим не укусил — хоть на хвост наступи. Лаем предупредит ночью, что к костру подходит чужой, пожалуйста, но укусить — ни в коем случае. Такая уж интеллигентная порода.

Что до интеллигентности, то Бим даже умел так: научился сам, дошел своим умом, царапаться в дверь, чтобы открыли. Бывало, заболеет Иван Иваныч и не идет с ним гулять, а выпускает одного. Бим побегает малость, управится, как и полагается, и спешит домой. Поцарапает в дверь, став на задние лапы, чуть поскулит просяще, и дверь открывается. Хозяин, тяжело шлепая по прихожей, встречает, ласкает и снова ложится в постель. Это когда он, пожилой человек, прихварывал (кстати, побаливал он все чаще и чаще, чего Бим не мог не заметить). Бим твердо усвоил: поцарапайся в дверь, тебе откроют обязательно; двери и существуют для того, чтобы каждый мог войти: попросись — тебя впустят. С собачьей точки зрения, это было уже твердое убеждение.

Только не знал Бим, не знал и не мог знать, сколько потом будет разочарований и бед от такой наивной доверчивости, не знал и не мог знать, что есть двери, которые не открываются, сколько в них ни царапайся.

Как оно там будет дальше, неизвестно, но пока остается сказать одно: Бим, пес с выдающимся чутьем, так-таки и остался сомнительным — свидетельство родословной не выдали. Дважды Иван Иваныч выводил его на выставку: снимали с ринга без оценки. Значит — изгой.

И все же Бим — не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да еще как! Хочется верить, что перед ним открывается хорошее будущее.

Глава 2

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

На втором сезоне, то есть на третьем году от рождения Бима, Иван Иваныч познакомил его и с лесом. Это было очень интересно и собаке и хозяину.

В лугах и на поле, там все ясно: простор, трава, хлеба, хозяина всегда видно, ходи челноком в широком поиске, ищи, найди, делай стойку и жди приказа. Прелесть! А тут, в лесу, совсем-совсем иное дело.

Была ранняя весна.

Когда они пришли впервые, вечерняя заря только начиналась, а меж деревьев уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в темных тонах: стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав, даже плоды шиповника, густо-рубиновые осенью, теперь, выдержав зиму, казались кофейными зернами.

Ветви слегка шумели от легкого ветра, жидко и голо; они будто ощупывали друг друга, то притрагиваясь концами, то чуть прикасаясь серединой сучьев: жив ли? Верхушки стволов легонько покачивались — деревья казались живыми даже и безлистые. Все было таинственно-шуршащим и густо-пахучим: и деревья, и листва под ногами, мягкая, с весенним запахом лесной земли, и шаги Ивана Иваныча, осторожные и тихие. Его ботинки тоже шуршали, а следы пахли куда сильнее, чем в поле. За каждым деревом что-то незнакомое, таинственное. Поэтому-то Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов: пробежит вперед — влево, вправо — и катит назад и смотрит в лицо, спрашивая: «Мы зачем сюда попали?»

— Не поймешь, что к чему? — догадался Иван Иваныч.— Поймешь, Бимка, поймешь. Подожди малость.

Так и шли, присматривая друг за другом.

Но вот они остановились на широкой поляне, на пересечении двух просек: дороги на все четыре стороны. Иван Иваныч стал за куст орешника, лицом к заре, и смотрел вверх. Бим тоже поглядывал туда, изо всех сил стараясь сообразить, что же там надо высматривать.

Вверху было светло, а здесь, внизу, становилось все темнее и темнее. Кто-то прошуршал по лесу и притих. Еще прошуршал и опять притих. Бим прижался к ноге Ивана Иваныча — так он спрашивал: «Что там? Кто там? Может, пойдем посмотрим?»

— Заяц,— еле слышно сказал хозяин.— Все хорошо, Бим. Хорошо. Заяц. Пусть его бегает.

Ну, раз «хорошо», значит, все в порядке. «Заяц» — тоже понятно: не раз, когда Бим натыкался на след зверька, ему

повторяли это слово. А однажды видел и самого зайца, пытался его догнать, но заработал строгое предупреждение и был наказан. Нельзя!

Итак, недалеко прошуршал заяц. А дальше что?

Вдруг вверху кто-то, невидимый и неведомый, захоркал: «Хор-хор!.. Хор-хор!.. Хор-хор!..» Бим услышал это первым и вздрогнул. Хозяин тоже. Оба смотрели вверх, только вверх... Неожиданно на фоне багряно-синеватой зари вдоль просеки показалась птица. Она летела прямо на них, изредка выкрикивала так, будто это не птица, а зверек, летит и хоркает. Но то была все-таки птица. Она казалась большой, крылья же совершенно были бесшумны (не то что перепел, куропатка или утка). Одним словом, незнакомое летело вверху.

Иван Иваныч вскинул ружье. Бим, как по команде, лег, не спуская взора с птицы... В лесу выстрел был таким резким и сильным, какого раньше Бим не слышал никогда. Эхо прокатилось по лесу и замерло далеко-далеко.

Птица упала в кусты, но друзья быстренько ее отыскали. Иван Иваныч положил ее перед Бимом и сказал:

— Знакомься, брат: в а л ь д ш н е п.— И еще раз повторил: — Вальдшнеп.

Бим обнюхивал, трогал лапой за длинный нос, потом сел, подрагивая и перебирая передними лапами в удивлении. Конечно же, он этим и говорил про себя: «Таких носов еще не вида-ал. Вот это действительно но-ос!»

А лес слегка шумел, но все тише и тише. Потом совсем затих как-то сразу, будто кто-то невидимый легонько взмахнул могучим крылом над деревьями в последний раз: хватит шороху. Ветви стали недвижны, деревья, казалось, засыпали, разве что изредка вздрагивая в полутьме.

Пролетели и еще три вальдшнепа, но Иван Иваныч не стрелял. Хотя последнего они уже и не видели в темноте, а только слышали голос, но Бим был удивлен: почему друг не стрелял даже и в тех, каких хорошо видно. От этого Бим волновался. А Иван Иваныч или просто смотрел вверх, или, потупившись, слушал тишину. Оба молчали.

Вот уж когда не надо никаких слов — ни человеку, ни тем более собаке!

Только напоследок, перед уходом, Иван Иваныч проговорил:

— Хорошо, Бим! Жизнь начинается вновь. Весна.

По интонации Бим понял, что другу сейчас приятно. И он ткнул его носом в колено, повиливая хвостом: хорошо, дескать, о чем речь!

...Второй раз они приходили сюда же поздним утром, но уже без ружья.

Ароматные набухшие почки березы, могучие запахи корень-

ев, тончайшие струйки от пробивающихся ростков трав — все это было поразительно ново и восхитительно. Солнце пронизывало в лесу все насквозь, кроме сосняка, да и тот кое-где изрезан золотом лучей. И было тихо. Главное — было тихо. До чего же хороша весенняя утренняя тишина в лесу!

На этот раз Бим стал смелее: все отлично просматривается (не то что тогда в сумерках). И он носился по лесу вволю, не упуская, однако, из виду хозяина. Все было великолепно.

Наконец Бим наткнулся на ниточку запаха вальдшнепа. И потянул. И сделал классическую стойку. Иван Иваныч послал «Вперед», а стрелять-то ему и нечем. Да еще приказал лежать, как полагается при взлете птицы. Абсолютно непонятно: видит хозяин или нет? Бим искоса поглядывал на него до тех пор, пока не убедился — видит.

По второму вальдшнепу все получилось так же. Что-то похожее на обиду Бим теперь все-таки выражал: настороженный взгляд, побежка сторонкой, даже попытки к неповиновению — одним словом, недовольство назревало и искало выхода. Именно поэтому-то Бим и погнался за взлетевшим, третьим уже, вальдшнепом, как обыкновенная дворняга. Но за вальдшнепом далеко не поскачешь: мелькнул в ветвях, и нет его. Бим вернулся недовольный, да к тому же еще был наказан. Что же, он лег в сторонке и глубоко вздохнул (собаки здорово умеют так делать).

Все это еще можно было перенести, если бы не добавилась вторая обида. Бим на этот раз открыл новый недостаток у хозяина — извращенное чутье: и без того бесчутый, да еще...

А дело было так.

Остановился Иван Иваныч и смотрит, смотрит по сторонам и нюхает (туда же!). Потом шагнул к дереву, присел и тихонечко, одним пальцем, погладил цветок, малюсенький такой (для Ивана Иваныча он почти без запаха, а для Бима вонючий до невозможности). И что ему в том цветке? Но хозяин сидел, улыбался. Бим, конечно, сделал вид, что ему тоже вроде бы хорошо, но это только исключительно из уважения к личности, а на самом деле он был немало удивлен.

— Ты посмотри, посмотри-ка, Бим! — воскликнул Иван Иваныч и наклонил нос собаки к цветку.

Такого Бим уже не мог вынести — он отвернулся. Затем незамедлительно отошел и лег на полянке, всем видом выражая одно: «Ну и нюхай свой цветок!» Расхождения требовали срочного выяснения отношений, но хозяин смеялся в глаза Биму счастливым смехом. И это было обидно. «Тоже мне, хохочет!»

А тот опять к цветку:

— Здравствуй, первенький!

Бим понял точно: «здравствуй» сказано не ему.

Ревность закралась в собачью душу, если можно так выразиться, вот что случилось. Хотя дома отношения как будто и наладились, но день для Бима получился неудачный: была дичь — не стреляли, побежал сам за птицей — наказали, да еще — цветок тот. Нет, все-таки и у собаки жизнь бывает собачья, ибо она живет под гипнозом трех «китов»: «Нельзя», «Назад», «Хорошо».

Только не ведали они, ни Бим, ни Иван Иваныч, что когда-то этот день, если бы они вспомнили, показался бы им огромным счастьем.

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга,— неожиданно донесся запах подснежника! Еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти и не ощутим. Смотрю вокруг — оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого, и счастливого, и несчастного, он сейчас — украшение жизни.

Вот так и среди нас, человеков: есть скромные люди с чистым сердцем, «незаметные» и «маленькие», но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себя все лучшее, что есть в человечестве,— доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле...

А через несколько дней (вчера) мы были с Бимом на том же месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу, высматриваю: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметить, не найти — затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки, сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке. Жизнь идет.

...А Биму ничего из этого недоступно понять. Даже обиделся в первый раз, заревновал. Впрочем, когда было уже много цветов, он и тогда не обращал на них внимания. При натаске же вел себя — не ахти: расстроился без ружья. Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа

творит по устойчивому закону: необходимость одного в другом; начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде — этот закон... Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима?

...Как о н а была мне необходима! О н а тоже любила подснежники. Прошлое как сон...

А не сон ли — настоящее? Не сон ли это — вчерашний весенний лес с голубизной на земле? Что ж: голубые сны — божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым. Не во власти человека приказать: «Солнце, остановись!» Время неостановимо, неудержимо и неумолимо. Все — во времени и движении. А тот, кто ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом, будь он молодым радетелем о себе или престарелым — возраст не имеет значения. Голубое имеет свой звук, оно звучит как покой, забвение, но только временное, всего лишь для отдыха; такие минуты никогда не надо пропускать.

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так:

«О беспокойный Человек! Слава тебе вовеки, думающему, страдающему ради будущего! Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. Иди, отдохни. Подснежники — к счастью, говорят в народе».

...А Бим дрыхнет. И видит сон: подрыгивает ногами — бежит во сне. Этому подснежники «до лампочки»: голубое он видит только серым (так уж устроено зрение у собаки). Природа создала как бы очернителя действительности. Поди убеди его, милого друга, чтобы он видел с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему. Вполне самостоятельный пес.

Глава 3

ПЕРВЫЙ НЕПРИЯТЕЛЬ БИМА

Прошло лето, веселое для Бима, радостное, заполненное дружбой с Иваном Иванычем. Походы в луга и болота (без ружья), солнечные дни, купание, тихие вечера на берегу реки — что еще надо любой собаке? Ничего не надо — это точно.

При тренировке и натаске они встречались и с охотниками. С этими знакомство происходило незамедлительно, потому что с каждым таким человеком была собака. Еще до того, как сходились хозяева, обе собаки бежали друг к другу и коротко беседовали на собачьем языке жестов и взглядов:

«Ты кто: он или она?» — спрашивал Бим, обнюхивая соответствующие места (конечно, для проформы).

«Сам видишь, чего и спрашивать»,— отвечала она.

«Как жизнь?» — весело спрашивал Бим.

«Работаем!» — взвизгнув, отвечала собеседница, кокетливо подпрыгнув на всех четырех ногах.

После этого они мчались к хозяевам и то одному, то другому докладывали о знакомстве. Когда же оба охотника усаживались для разговоров в тени куста или дерева, собаки резвились до того, что язык не умещался во рту. Тогда они ложились около хозяев и слушали тихую задушевную беседу.

Другие люди, кроме охотников, для Бима были малоинтересны: люди, и все. Они хорошие. Но не охотники же!

А вот собаки, эти — разные.

Однажды в лугу встретился он с лохматенькой собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались сдержанно, без кокетства. Да и какое уж там кокетство, если новая знакомая на обычный для таких случаев перечень вопросов отвечала, лениво взмахивая хвостом:

«Я есть хочу».

У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, обнюхав ее губы:

«Ты съела мышь?»

«Съела мышь,— ответила та.— Я есть хочу». И принялась грызть белый узловатый корень камыша.

Бим хотел попробовать камышовый корешок, но она, протестуя, сказала все то же:

«Я есть хочу».

Бим подождал сидя, пока она догрызла все, и пригласил ее с собой. Та пошла беспрекословно, притрухивая за ним, взлохмаченная, но чистая (видимо, любила купаться, как и большинство собак, отчего летом они и не бывают грязными, даже бездомные). Бим привел ее к хозяину, издали следившему за знакомством своего друга. Но Лохматка не поверила сразу в чужого человека, а села поодаль, несмотря на то, что Бим перебегал от хозяина к ней и обратно, зовя ее, убеждая. Иван Иваныч снял рюкзак, достал оттуда колбаску, отрезал маленький кусочек и бросил Лохматке:

— Ко мне, ко мне, Лохматка. Ко мне.

Кусочек упал метрах в трех от нее. Она, осторожно переступая, дотянулась, съела его и села тут же. Со следующим

кусочком приблизилась еще. А потом ела уже у ног человека, даже позволила погладить себя, хотя и с опаской. Бим и Иван Иваныч отдали ей все колечко колбаски: хозяин бросал куски, а Бим не мешал Лохматке есть. Все обыкновенно: брось кусочек — подойдет ближе, брось второй — еще ближе, с третьим, четвертым — уже у ног окажется и будет служить верой и правдой. Так думал Иван Иваныч. Он ощупал Лохматку, потрепал по холке и сказал:

— Нос холодный — здоровая. Это хорошо.— И дал команду обоим: — Поди, поди!

Лохматка не понимала таких слов, но когда увидела, как Бим взвился челноком по траве, то сообразила: надо бегать. И конечно, они взыграли по-собачьи так, что Бим забыл даже, зачем он тут находится. Иван Иваныч не возражал, а шел себе и шел, посвистывая.

До города Лохматка сопровождала без никаких, но на окраине неожиданно села сбоку дороги и — ни с места. Звали, приглашали — не идет. Так и осталась сидеть, провожая их взглядом. Ошибся Иван Иваныч — не каждую собаку можно купить на приманку.

Бим не знал и знать не мог, что у Лохматки тоже были хозяева, что жили они в своем маленьком домике, что улицу ту, где был домик, всю снесли, а хозяевам Лохматки дали квартиру на пятом этаже со всеми удобствами.

Одним словом, Лохматку бросили на произвол судьбы. Но она нашла-таки и тот новый дом, и дверь хозяина, а там ее побили и прогнали. Вот она и живет одна. По городу ходит только ночью, как и большинство бездомных собак. Иван Иваныч обо всем догадался, но Биму-то рассказать невозможно. Бим просто не хотел ее оставлять: оглядывался назад. Бим приостанавливался и обращал взор к Ивану Иванычу. Но тот шел себе и шел.

Если бы он знал, ка́к горькая судьба сведет Бима и Лохматку, если бы знал, когда и где они встретятся, не шел бы он теперь так спокойно. Но будущее неизвестно и человеку.

*

...Третье лето прошло. Хорошее для Бима лето, неплохое и для Ивана Иваныча. Однажды ночью хозяин закрыл окно и сказал:

— Морозец, Бимка, первый морозец.

Бим не понял. Он встал, ткнулся в темноте носом в колено Ивана Иваныча, чем и сказал: «Не понимаю».

Иван Иваныч знал собачий язык хорошо — язык глаз и движений. Он зажег свет и спросил:

— Не понимаешь, дурачок? — Затем разъяснил точно: — На вальдшнепов завтра. В а л ь д ш н е п!

О, это слово Бим знал! Он подпрыгнул и лизнул-таки друга в подбородок.

— На охоту завтра, н а о х о т у, Бим!

Куда там! Бим завертелся, заюлил волчком, хватая собственный хвост, взвизгнул, потом сел и впился глазами в лицо Ивана Иваныча, подрагивая очесами передних лап. Это обворожительное слово «охота» знакомо Биму, как сигнал к счастью.

Но хозяин приказал:

— А пока — спать.— Выключил свет и лег.

Остаток ночи Бим пролежал у кровати друга. Какой уж тут сон! Он и сам, Иван Иваныч, то дремал, то просыпался в ожидании рассвета.

Утром они вместе собрали рюкзак, протерли от масла стволы ружья, легко позавтракали (на охоту идти — нельзя нажираться), проверили патронташ, перекладывая патроны из гнезда в гнездо. Работы было много за этот короткий час сборов: хозяин на кухню — Бим на кухню, хозяин в чулан — Бим туда же, хозяин вынимает консервную банку из рюкзака (неудобно легла) — Бим берет ее и сует обратно, хозяин проверяет патроны — Бим следит (не ошибся бы); и в чехол с ружьем надо ткнуться носом не раз (тут ли?); а к тому же в такие колготные минуты чешется за ухом от волнения — то и дело поднимай лапу и чеши, будь оно неладно, когда и без того хлопотно до последней степени.

Ну, собрались. Бим был в восторге. Как же! Хозяин, уже в охотничьей куртке, перекинул на плечо охотничью сумку, снял ружье.

— На охоту, Бим! На охотку,— повторил он.

«На охотку, на охотку!» — говорил глазами и Бим в восхищении. Он даже чуть привизгивал от переполнившего чувства благодарности и любви к своему единственному в мире другу.

В тот момент и вошел человек. Бим его знал — встречал во дворе,— но считал малоинтересным и не заслуживающим какого-либо особого внимания с его стороны. Коротконогий, толстый, широколицый, он сказал чуть скрипучим баском:

— Привет, значит! — и сел на стул, вытирая лицо платком.— Та-ак... На охоту, значит?

— На охоту,— недовольно буркнул Иван Иваныч,— по вальдшнепам. Да вы проходите — гостем будете.

— Вот та-ак... на охоту... Придется повременить, значит.

Бим переводил взгляд с хозяина на Гостя, удивленно и внимательно. Иван Иваныч сказал почти сердито:

К стр. 372

— Не понимаю вас. Уточните.

И тут Бим, наш ласковый Бим, сначала слегка взрычал и вдруг гавкнул. Сроду такого не было, чтобы вот так — дома и на гостя. Гость не испугался, он, казалось, был равнодушен.

— На место! — так же сердито приказал Иван Иваныч.

Бим повиновался: лег на лежак, положив голову на лапы, и смотрел в сторону чужого.

— Ишь ты! Слушается, значит. Та-ак... Значит, он и жильцов в подъезде облаивает так же, как, допустим, лисиц?

— Никогда. Никогда и никого. Это впервые. Честное слово! — тревожился Иван Иваныч и сердился.— Кстати, к лисицам он никакого отношения не имеет.

— Та-ак...— снова протянул Гость.— К делу давайте.

Иван Иваныч снял куртку и сумку.

— Я вас слушаю.

— У вас, значит, собака...— начал Гость.— А у меня,— он вынул бумагу из кармана,— жалоба на нее. Вот.— И подал бумагу хозяину.

Читая, Иван Иваныч волновался. Бим, заметив это, самовольно сошел с места и сел в ногах друга, как бы защищая его, но на Гостя уже не смотрел, хотя и был настороже.

— Глупости здесь,— сказал Иван Иваныч уже спокойнее.— Чепуха, Бим — собака ласковая, никого он не укусил и не укусит, никого не обидит. Собака интеллигентная.

— Хе-хе-хе! — потряс животом Гость. И чихнул некстати.— У-у, быдло! — обратился он беззлобно к Биму.

Бим отвернулся в сторону еще больше, но понял, что разговор идет о нем. И вздохнул.

— Как же это вы так рассматриваете жалобы? — спросил Иван Иваныч, теперь уже совсем спокойно и улыбаясь.— На кого жалоба, тому и даете ее читать. Я бы вам и так поверил, по пересказу.

Бим заметил в глазах Гостя смешинку. А тот проговорил:

— Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаке мы не дадим читать.— И рассмеялся.

Хозяин тоже посмеялся малость. Бим даже и не улыбнулся: он знал, что речь о нем, а что к чему, не мог взять в толк — очень уж непонятный Гость оказался. Тот ткнул пальцем в сторону Бима и сказал:

— Собаку надо увольнять.— И отмахнул рукой к двери.

Бим понял, что от него требуют точно: уходи. Но от хозяина он не отступил ни на сантиметр.

— А вы позовите жалобщицу — поговорим, уладим, может быть,— попросил Иван Иваныч.

Гость, сверх ожидания, вышел и вскоре же вернулся с женщиной.

— Вот, привел тебе тетку, значит.

Бим ее тоже знал: небольшого роста, визгливенькая и жирная, она, однако, днями сидела на скамейке во дворе с другими свободными женщинами. Однажды Бим даже лизнул ей руку (не от избытка чувств только к ней лично, а к человечеству вообще), отчего та взвизгнула и стала кричать что-то на весь двор, обращаясь к открытым окнам. Что уж она там кричала, Бим не понял, но испугался, бросился прочь и зацарапал в дверь домой. Больше вины за ним перед Теткой не было. И вот она вошла. Что с ним сделалось! Он сначала прижался к ногам хозяина, а когда тот погладил его, то, поджав хвост, ушел на лежак и смотрел на нее исподлобья. Он ничего не понимал из слов Тетки, а она стрекотала сорокой и все время показывала свою руку. Но по этим жестам, по сердитым ее взглядам Бим понял: это за то, что лизнул не тому, кому надо. Молод, молод был Бим, почему и не все еще соображал. Может быть, он думал и так: «Виноват, конечно, но что поделаешь теперь». По крайней мере, что-то подобное в его глазах было.

Только невдомек Биму, что обвиняли его ложно.

— Укусить хотел! Укуси-ить!!! Почти укуси-ил!

Иван Иваныч, перебив стрекот Тетки, обратился прямо к Биму:

— Бим! А принеси-ка мне тапки.

Бим исполнил охотно и лег перед хозяином. Тот снял охотничьи ботинки и сунул ноги в тапки.

— Теперь отнеси ботинки.

Бим и это проделал: поочередно отнес их под вешалку.

Тетка замолчала, вытаращив очи. Гость сказал похвально:

— Молоде-ец! Ты смотри, умеет, значит,— и как-то вроде бы недружелюбно посмотрел на Тетку.— А еще он умеет чего-нибудь?

— Вы садитесь, садитесь,— попросил Иван Иваныч и Тетку.

Она села, спрятав руки под фартук. Хозяин поставил стул Биму и скомандовал:

— Бим! На стул!

Биму повторять не требуется. Теперь все сидели на стульях. Тетка прикусила губу. Гость, удовлетворенно покачивая ногой, приговаривал:

— Ладно получается, ладно, ладно.

Хозяин же хитренько прищурил глаза в сторону Бима:

— А ну дай лапу,— и протянул ладонь.

Поздоровались.

— Теперь, дурачок, поздоровайся с гостем,— и указал на того пальцем.

Гость протянул руку:

— Здравствуй, братка, здравствуй, значит.

Бим все сделал элегантно, как и полагается.

— А не укусит? — осторожно спросила Тетка.

— Что вы! — изумился Иван Иваныч.— Протяните руку и скажите: «Лапку!»

Та действительно выволокла ладонь из-под фартука и протянула Биму.

— Только не укуси,— предупредила она.

Ну, тут уж описать невозможно, что произошло. Бим шарахнулся на лежак, занял немедленно оборонительную позицию, прижавшись задом в угол, и в упор смотрел на хозяина. Иван Иваныч подошел к нему, погладил, взял за ошейник и подвел к жалобщице:

— Дай лапку, дай...

Нет, не подал лапу Бим. Отвернулся и смотрел в пол. Впервые ослушался. И угрюмо поплелся опять в угол, медленно, виновато и удрученно.

Ой, что тут сотворилось! Тетка задребезжала рассохшейся трещоткой.

— Ты ж меня оскорбил! — кричала она на Ивана Иваныча.— Какая-то паршивая собака меня, советскую женщину, ни во что не ставит! — и тыкала пальцем в сторону Бима.— Да я... да я... Подожди-и!

— Хватит! — неожиданно рявкнул на нее Гость.— Брешешь ты, значит. Не укусила она тебя и не собиралась. Она ж тебя боится, как черт ладана.

— А ты не ори,— попробовала она отбиться.

Тогда Гость сказал однозначно:

— Цыть! — И обратился к хозяину: — С такими иначе нельзя.— И снова к Тетке: — Ишь ты! «Советская женщина», тоже мне... Иди отсюда! — рыкнул он.— Еще намутишь раз, опозорю. Иди!

Жалобу он порвал у нее на глазах.

Последнюю речь Гостя Бим понял отлично. А Тетка ушла молча, гордо вскинув голову и ни на кого не глядя, хотя Бим теперь не спускал с нее глаз и даже продолжал смотреть на дверь после того, как она ушла, а шаги ее затихли.

— Очень уж вы с ней... грубовато,— сказал Иван Иваныч.

— Иначе нельзя, говорю вам: весь двор перемутит, знаю. Раз говорю, значит, знаю. Вот они где мне, эти сплетницы да смутьяны.— Он похлопал себя по загривку.— Делать-то ей нечего, вот она и норовит, кого бы ей укусить. Таких распусти — весь дом пойдет чертокопытом.

Бим все время следил за выражением лиц, за жестами, интонацией и понял отлично: Гость и хозяин — вовсе никакие

не враги, а даже, по всей видимости, уважают друг друга. Наблюдал он еще долго, пока они о чем-то потом беседовали. Но раз уж он установил главное, то остальное его интересовало мало. Он подошел к Гостю и улегся у его ног, как бы говоря этим: «Извиняюсь».

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

Сегодня был председатель домкома, разбирал жалобу на собаку.

Победил Бим. Впрочем, гость мой судил как Соломон. Самородок!

Почему же Бим зарычал на него вначале? А, понял! Я ведь не подал руки, встретил вошедшего сурово (охоту же пришлось отложить), а Бим действовал согласно со своей собачьей натурой: недруг хозяина — мой недруг. И тут должно быть стыдно мне, но не Биму. Удивительно, какое у него тончайшее восприятие интонации, выражения лица, жестов! Это обязательно надо всегда иметь в виду.

После у нас состоялся интересный разговор с преддомкома. Он окончательно перешел на «ты».

— Ты,— говорит,— только подумай: сто пятьдесят квартир в моем доме! А четыре-пять смутьянок-бездельниц могут такое сотворить, что житья никому не будет. И все их знают, и все боятся, а потихоньку клянут. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит. Ей-бо!.. Самый мой страшный враг кто? Да тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Тут что-то не так, скажу я тебе по душам. Не так, значит... Можно, можно не работать. Ишь ты! Вот ты, например, чего делаешь?

— Пишу,— отвечаю, хотя я и не понял, шутит он или говорит серьезно (люди с юмором частенько выдают такое).

— Да разве ж это работа! Сидишь — ничего не делаешь, а деньги небось платят?

— Платят,— отвечаю.— Но ведь я мало получаю — староват стал, на пенсию живу.

— А до пенсии — кем?

— Журналист я. В газетах работал. А теперь вот помаленьку пишу кое-что дома.

— Пишешь? — снисходительно переспросил он.

— Пишу.

— Ну, валяй, раз уж такое дело... Конечно, ты человек, видать, неплохой, а вот видишь... То-то и оно. Я тоже пенсию получаю, сто рублей, а работаю же преддомкома, бесплатно работаю, учти. Я привык работать, всю жизнь на руководящей,

и из номенклатуры не вышибали, и по второму кругу не ходил. Под конец уж затерли: ниже, ниже и ниже. Последнее место — маленький заводик. Там и пенсию назначили. А персональную не дали — закавыка маленькая есть... Работать обязан каждый. Так я думаю.

— Но ведь у меня работа тоже трудная,— пытался я оправдаться.

— Писать-то? Глупости. Был бы ты молодой — взялся бы я и за тебя. Ну, раз пенсия... А так, если молодые, да не работают, выживаю из дома: иль трудись, иль катись куда подальше.

Он и правда гроза бездельников в доме. Кажется, главная цель его жизни теперь — пилить лодырей, сплетников и тунеядцев, но зато воспитывать — всех без исключения, что он и делает охотно. Доказать же ему, что писать — тоже работа, оказалось невозможным: тут он либо хитрил с подводным юморком, либо был просто снисходителен (пусть, дескать, пока пишут — есть бездельники и похлестче).

Уходил он добрый, отбросив хитринку, погладил Бима и сказал:

— А ты живи, значит. Но с Теткой не связывайся.— И ко мне: — Ну, бывай. Пиши, видно, куда ж денешься, раз оно такое дело.

Мы пожали друг другу руки. Бим проводил его до дверей, виляя хвостом и заглядывая в лицо. У Бима появился новый знакомый: Павел Титыч Рыдаев, в обыденности — Палтитыч.

Зато у Бима завелся и неприятель: Тетка, единственный человек из всех людей, которому он не верит. Собака опознала клеветника.

Но охота сегодня пропала. Так бывает: ждет человек доброго дня, а выходят одни неприятности. Бывает.

Глава 4

ЖЕЛТЫЙ ЛЕС

В один из следующих дней, рано утром, они вдвоем вышли из дому. Сначала ехали трамваем, стоя на площадке. Вагоновожатая оказалась знакомой Ивану Иванычу и Биму. Конечно же, Бим приветствовал ее, когда та выходила перевести стрелку. Вожатая потрепала его за ухо, но Бим руки не лизнул, а просто посеменил лапами сидя и отстучал хвостом соответственное случаю приветствие.

Потом, уже за городом, ехали в автобусе, в котором и было-то всего пять-шесть человек в такое раннее утро. При посадке

водитель что-то заворчал, повторяя слово «собака» и «не положено». Бим легко во всем разобрался: шофер не желает их везти, и это плохо,— по лицам разобрался. Один из пассажиров вступился за них, второй, наоборот, поддержал шофера. Бим с большим интересом наблюдал за перепалкой. Наконец шофер вышел из автобуса. У порога хозяин дал ему желтенькую бумажку, поднялся по ступенькам вместе с Бимом, сел на сиденье и печально вздохнул: «Эх-хе-хе!»

Бим давно заметил, что люди обмениваются какими-то бумажками, пахнущими не разберешь чем. Однажды он почуял, что одна из лежащих на столе пахнет кровью, потыкал в нее носом, стараясь обратить внимание хозяина, но тот и ухом не повел — бесчутый! — а твердит свое «нельзя». Да еще и запер бумажки в стол. Иные, правда, пока чистые, пахнут хлебом, колбасой, вообще магазином, но большинство — множеством рук. Люди их любят, эти бумажки, прячут в карман или в стол, как хозяин. Хотя в этих делах Бим ничего не понимал, однако же легко сообразил: как только хозяин дал шоферу бумажку, они стали друзьями. А почему вздохнул Иван Иваныч, Бим не понял, что было видно по его внимательному взгляду в глаза друга. В общем, о магической силе бумажек он даже и смутно не догадывался — недоступно это собачьему уму; не знал Бим, что для него они сослужат когда-то роковую службу.

От шоссе до леса шли пешком.

Иван Иваныч остановился на опушке отдохнуть, а Бим поблизости обследовал местность. Такого леса он еще не видел никогда. Лес-то, собственно, тот же — они здесь бывали весной, приходили и летом (так, пошататься), но теперь здесь все-все вокруг было желтое и багряное, казалось, все горело и светило вместе с солнцем.

Деревья только-только начали сбрасывать одеяние, и листья падали, покачиваясь в воздухе, бесшумно и плавно. Было прохладно и легко, а потому и весело. Осенний запах леса — особенный, неповторимый, стойкий и чистый настолько, что за десятки метров Бим чуял хозяина. Лесную мышь он «прихватил» далеко, но не пошел за ней (знакомый пустяк!), а вот что-то живое так ударило издали в нос, что Бим приостановился. А подойдя вплотную, облаял колючий шар.

Иван Иваныч встал с пенечка и подошел к Биму:

— Нельзя, Бим! Нельзя, дурачок. Ежик называется. Назад! — и увел Бима с собой.

Выходит, ежик — зверюшка, и притом хорошая, а трогать его нельзя.

Теперь Иван Иваныч опять же сел на пенек, приказал Биму тоже сидеть, а сам снял кепку, положил ее рядом на землю и смотрел на листья. И слушал тишину леса. Ну конечно же,

он улыбался! Он был сейчас таким, как всегда перед началом охоты.

Бим тоже слушал.

Прилетела сорока, прострекотала нахально и улетела. Перепрыгивая с ветки на ветку, приблизилась сойка, прокричала с кошачьим надрывом и тоже упрыгала так же, по веткам. А вот королек-малютка, этот совсем-совсем рядом: «Свить, свить! Свить, свить!» Ну что ты с ним будешь делать! И размером-то с жука, а туда же: «Свить, свить!» Вроде бы приветствует.

Все остальное было тишиной.

И вот хозяин встал, расчехлил ружье, вложил патроны. Бим задрожал от волнения. Иван Иваныч потрепал его ласково по загривку, отчего Бим еще больше разволновался.

— Ну, мальчик... ищи!

Бим пошел! Малым челноком пошел, лавируя между деревьями, приземисто, пружинисто и почти бесшумно. Иван Иваныч потихоньку двинулся за ним, любуясь работой друга. Теперь лес со всеми красотами остался на втором плане: главное — Бим, изящный, страстный, легкий на ходу. Изредка подзывая его к себе, Иван Иваныч приказывал ему лежать, чтобы дать успокоиться, втянуться. А вскоре Бим уже пошел ровно, со знанием дела. Великое искусство — работа сеттера! Вот он идет легким галопом, подняв голову, ему не надо опускать ее и искать низом, он берет запахи верхом, при этом шелковистая шерсть облегает его точеную шею; оттого он так и красив, что держит голову высоко, с достоинством, уверенностью и страстью.

Такие часы для Ивана Иваныча были часами забвения. Он забывал войну, забывал невзгоды прошедшей жизни и свое одиночество. Даже сын Коля, его кровное дитя, отнятое жестокой войной, будто присутствовал с ним, будто он, отец, доставлял ему радость даже мертвому. Он ведь тоже был охотником! Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердце живых такими, какими они ушли. Так и у Ивана Иваныча: рана зарубцевалась в душе, но болит всегда. На охоте же всякая боль души становится хоть немного, но легче. Благо тому, кто родился охотником!

И вот Бим замедлил ход, сужая челнок, чуть приостановился на секунду и пошел редким, крадущимся шагом. Что-то от кошачьего было в его движениях, мягких, осторожных, плавных. Теперь он уже вытянул голову вровень с туловищем. Каждой частицей тела, включая и вытянутый хвост, оперенный длинной шерстью, он был сосредоточен на струе запаха. Шаг... И поднимается только одна лапа. Шаг — и следующая лапа так же на долю секунды замирает в воздухе и неслышно опускается.

Наконец передняя правая, как почти всегда, замерла, не коснувшись земли.

Позади, взяв ружье на изготовку, тихо подошел Иван Иваныч. Теперь две статуи: человек и собака.

Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Притихли молодые дубки рядом с величавым исполином дубом, отцом и прародителем. Бесшумно трепетали оставшиеся на осине серебряно-серенькие листья. А на палой желтой листве стояла собака — одно из лучших творений природы и терпеливого человека. Ни единый мускул не дрогнет! В такие минуты Бим кажется полумертвым, это похоже на транс от восхищения и страсти. Вот что такое классическая стойка в желтом лесу.

— Вперед, мальчик...

Бим поднял вальдшнепа на крыло.

Выстрел!

Лес встрепенулся, ответив недовольным, обиженным эхом. Казалось, береза, забравшаяся на границу дубняка и осинника, испугалась, вздрогнула. Дубы охнули, как богатыри. Осина, что рядом, торопливо посыпала листьями.

Вальдшнеп упал комом. Бим подал его по всем правилам. Но хозяин, приласкав Бима и поблагодарив за красивую работу, подержал птицу на ладони, посмотрел на нее и сказал задумчиво:

— Эх, не надо бы...

Бим не понял, вглядывался в лицо Ивана Иваныча, а тот продолжал:

— Для тебя только, Бим, для тебя, глупыш. А так — не стоит.

И опять Бим не понял — недоступно ему такое понять. Но за всю охоту стрелок, как казалось Биму, «мазал», как слепой. Очень недоволен был пес, когда хозяин и вовсе не выстрелил в одного из вальдшнепов. Зато самого последнего он свалил чисто.

Домой они возвратились уже затемно, усталые и оба добрые, ласковые друг к другу. Бим, например, не пожелал ночевать на своем лежаке, а стащил оттуда подстилку, приволок ее к кровати Ивана Иваныча и улегся рядом с ним, на полу. В этом был смысл: его нельзя прогнать на место, потому что «место» он принес с собой.

Иван Иваныч потрогал его за ухо, потрепал по холке. Дружба, казалось, будет вечной.

Ночью же Иван Иваныч почему-то стонал тихонько, вставал, глотал таблетки и снова ложился. Бим сначала настороженно прислушивался, присматривался к другу, потом встал и лизнул вытянутую с кровати руку.

— Осколок... Осколок, Бимка... ползет. Плохо, мальчик,— сказал Иван Иваныч, держа руку у сердца.

Слово «плохо» Бим знал отлично и уже давно. И вот уже несколько раз он слышал слово «осколок», он его не понимал, но собачьим нутром догадывался, что оно тревожное, плохое слово, жуткое.

Но все обошлось: утром, после прогулки, Иван Иваныч сел за стол, как и обычно, положил перед собой белый лист и зашептал по нему палочкой.

ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

Вчера был счастливый день. Все — как надо: осень, солнце, желтый лес, изящная работа Бима. А все-таки какой-то осадок на душе. Отчего бы?

В автобусе Бим явно заметил, как я вздохнул, и явно же не понял меня. Пес вовсе не может представить, что я дал взятку шоферу. Собаке — наплевать на это. А мне? Какая разница — рубль я дал за малое «дело», или двадцать — за большое, или тысячу — за крупное? Все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается об этом.

Не понять того Биму, что бумажки эти и совесть иногда находятся в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от собаки больше того, что она может: очеловечивать собаку нельзя.

И еще: мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг, и вдруг мертвая птица... Я не вегетарианец и не ханжа, описывающий страдание убитых животных и уписывающий с удовольствием их мясо, но до конца дней ставлю себе условие: одного-двух вальдшнепов за охоту, не больше. Если ни одного — еще бы лучше, но тогда Бим загибнет как охотничья собака, а я вынужден буду купить птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж, увольте от такого... А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе: раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени неизбежно. Веками от этого спасала человека собака.

Откуда же все-таки осадок от вчерашнего? И только ли от вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль?.. Итак, вчерашний день: стремление к счастью — и желтый рубль; желтый лес — и убитая птица. Что это: уж не сделка ли со своей совестью?

Стоп! Вот какая мысль ускользнула вчера: не сделка, а укор совести и боль за всех, убивающих бесполезно, когда человек

теряет человечность. Из прошлого, из воспоминаний о прошлом идет и все более растет во мне жалость к птицам и животным.

Я вспоминаю.

Была установка руководства Общества охотников об уничтожении сорок как вредных птиц, и это обосновывалось якобы наблюдениями биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была такая установка и об ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках. Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в триста рублей (старыми деньгами), а за лапки сороки или коршуна, представленные в Общество охотников, то ли пять копеек, то ли пятьдесят — не помню.

Но вдруг, в новой установке, коршун и сорока объявлены полезными птицами, не врагами птиц: уничтожать их запрещено. Строжайший приказ к уничтожению сменился строжайшим наказом к запрещению.

Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению, объявленная вне закона,— серая ворона. Она якобы разоряет птичьи гнезда (в чем, впрочем, обвинялась безапелляционно и сорока). Зато никто не отвечает за отравление ядохимикатами птиц степных и лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали птиц, а уничтожая их, губили... леса. Неужели виноватой оказалась серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества?

Вали на серую ворону! — самое верное, элементарное оправдание виновных в смерти птиц.

Длительные эксперименты со смертью — ужасно. Уже восстают против этого честные ученые-биологи и охотники, уже борьба за охрану птиц и лесов идет в международном масштабе.

Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью? Нет. И это — укор и моей совести. Как бледно и немощно прозвучал бы мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так:

«Спасите серую ворону — отличного санитара местожительства людей, спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от нечистот местность вокруг нас так же, как сатирик очищает общество от духовных нечистот, спасите серую ворону за это самое; пусть она немножко воровка птичьих яиц, но на то и серая ворона, чтобы птицы умели строить гнезда; спасите эту колготную насмешницу, единственную птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза человеку может так и ляпнуть с дерева: «Ка-ар-р!» (уходи, дурак!) А только вы отошли, слетит вниз и, насмешливо покрякивая, примется вновь уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет; спасите серую ворону — сатирика птичьего мира! Не бойтесь ее. Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют оттуда, где и без нее чистота, а она улетает

от них, ехидненько покаркивая, туда, где пахнет тухлым. Спасите серую ворону!»

Действительно получилось бы и немощно и бездоказательно. Но так пусть и остается такое в той тетрадке о Биме. Сейчас прямо и напишу на обложке: «Б и м». Здесь все будет только для самого себя. Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем рождении, но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает; да и кому интересно читать «о собаке, о себе»? Никому. Так и хочется написать словами Кольцова:

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы,
Для милых, искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

...А Бим лежит и днем — наработался, дружище, нахватался целительных запахов желтого леса.

Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище.

Глава 5

НА ОБЛАВЕ В ВОЛЧЬЕМ ЯРУ

В один из осенних дней к Ивану Иванычу зашел человек, от которого пахло ружьем и собакой. Хотя он не был в охотничьих доспехах и одет обыкновенно, как все малоинтересные люди, но Бим уловил в нем и тонкий запах леса, и следы ружья на ладонях, и ароматный дух осеннего листа от ботинок. Конечно же, Бим обо всем этом сказал, обнюхивая гостя, бросая взгляды на хозяина и энергично работая хвостом. Видел он его впервые, а вот сразу же признал товарищем без никаких сомнений и колебаний.

Гость знал собачий язык, потому и сказал ласково:

— Признал, признал. Молодец, хорошо, хорошо.— Потрепал по голове и сказал уверенно и четко: — Сидеть!

Бим исполнил приказание — сел, в нетерпении перебирая лапами. И слушал, и смотрел неотрывно.

Хозяин и гость пожали руки, встретившись добрыми-добрыми глазами.

«Отлично!» — сказал Бим, взвизгнув.

— Умный пес,— сказал гость, бросив взгляд на Бима.

— Хороший Бим, лучше не надо! — подтвердил Иван Иваныч.

Вот так они поговорили втроем немного, и гость-охотник достал из кармана бумагу, разложил ее, стал водить по ней пальцем и говорить:

— Вот т у т... т у т, в самой гущине Волчьего яра. Сам подвывал... Пятеро откликнулись: три прибылых, два матерых. Одного перевидел. Ну и во-олк!

Бим знал слова хозяина на поиске: «тут-тут, тут-тут». И насторожился. Но когда было сказано «во-олк!», он расширил глаза: это тот жуткий запах лесной собаки, запах, которого испугался когда-то Бим, запах, о котором хозяин тогда устрашающе повторял, показывая след: «Волк! Это волк, Бим». Вот теперь и охотник сказал тоже так: «Ну и во-олк!»

Гость ушел, попрощавшись и с Бимом.

Иван Иваныч сел заряжать патроны, закладывая крупные горошины свинца и пересыпая их картофельной мукой.

Ночью Бим спал беспокойно.

А задолго до рассвета они вышли с ружьем на улицу и стали на углу. Вскоре подъехал большой автомобиль, загруженный охотниками. Они сидели в крытом кузове на скамейках, сидели тихо и торжественно. Иван Иваныч сначала подсадил Бима, потом и сам влез в шалаш. Вчерашний охотник сказал Ивану Иванычу:

— Э-э, нет! Зачем же Бима с собой!

— Собак не должно быть на облаве. Снять! — строго сказал кто-то.— Голос подаст — и пропала облава.

— Бим не подаст голоса,— будто оправдываясь, говорил Иван Иваныч.— Не гончак же он.

Ему возражали одновременно несколько человек, но кончилось тем, что вчерашний гость сказал:

— Ладно. С Бимом поставлю в запасную. Есть место, Иван Иваныч: было так, что волк прорывался там через флажки, по протоке.

Бим догадался, что его не хотят брать. Он тоже уговаривал соседей, но в темноте этого никто не понял. И все же автомобиль тронулся.

Уже солнце взошло, когда остановились у кордона знакомого лесника. Вышли все тихо, без единого слова, как и Бим. Потом долго шли гуськом вдоль опушки. Никто не курил, не кашлял, не стукнул даже сапогом о сапог, ступая по-собачьи: тут все знали — куда, кто и зачем. Не знал только один Бим, но он тоже шел тенью след в след за хозяином. Тот на ходу притронулся к уху Бима: хорошо, дескать, хорошо, Бим.

Впереди всех, главным, шел вчерашний гость-охотник. И вот он поднял руку — все остановились. Трое передних ушли в лес

еще тише, по-кошачьи, и вскоре вернулись. Теперь Главный поднял вверх фуражку и отмахнул ею вперед. По этому знаку половина охотников пошла за ним, в том числе, позади прочих, Иван Иваныч и Бим. Так что Бим шел последним; тише его никто не мог передвигаться, но, несмотря на это, Иван Иваныч взял его на поводок.

По безмолвной команде Главного первый, идущий за ним, стал за куст и замер. Вскоре так же замер у дубняка второй, потом третий, и так поодиночке все заняли свои номера. Остались около Главного Иван Иваныч и Бим. Они шли еще осторожнее, чем раньше. Теперь Бим увидел, что сбоку их пути протянут шнур, а на нем не шевелясь висели куски материи, похожей на огонь. Но наконец Главный поставил и их вдвоем, а сам ушел назад.

Бим чутким ухом все-таки слышал его шаги, хотя людям казалось, что их никто не слышит. Бим уловил, что Главный провел и остальных охотников, но так далеко, что, по мере удаления, даже Бим уже не различал шороха.

И наступила тишина. Настороженная, тревожная тишина леса. Бим это чувствовал и по тому, как хозяин замер, как у него дрогнуло колено, как он беззвучно открыл ружье, вложил патроны, закрыл и снова застыл в напряжении.

Они стояли под прикрытием куста орешника сбоку промоины, заросшей густым терником. А кругом был могучий дубовый лес, суровый сейчас, молчаливый. Каждое дерево — богатырь! А между ними густой подлесок еще сильнее подчеркивал необыкновенную мощь вековечного леса.

Бим превратился в сгусток внимания: он сел недвижно и ловил запахи, но пока ничего особенного не примечал, так как воздух неподвижен. И от этого Биму было неспокойно. Когда есть хоть малый ветерок, он всегда знал, что́ там, впереди, он читал по струям, как по строкам, а в безветрие, да еще в таком лесу,— попробуй-ка быть спокойным, когда к тому же его добрый друг стоит рядом и волнуется.

И вдруг началось.

Сигнальный выстрел разорвал тишину на большие куски: эхо пророкотало то там, то тут, то где-то вдали. А вслед, как бы в тон лесному рокоту, далеко-далеко голос Главного:

— Поше-е-ел! О-го-го-го-го-го-о-о!

Иван Иваныч наклонился к уху Бима и еле слышно прошептал:

— Лежать!

Бим лег. И дрожал.

— О-го-го-о-о! — ревели там охотники-загонщики.

Тишина теперь рассыпалась на голоса, незнакомые, неистовые, дикие. Застучали палками о деревья, затрещала трещотка,

как сто сорóк перед погибелью. Цепь загонщиков приближалась с криком, гомоном и выстрелами вверх.

И вот... Бим зачуял знакомый с юности запах: волк! Он прижался к ноге хозяина, чуть-чуть — совсем чуть-чуть! — привстал на лапы и вытянул хвост. Иван Иваныч все понял.

Они увидели оба: вдоль флажков, вне выстрела, показался волк. Шел он широкими махами, голову опустил, хвост висел поленом. И тут же зверь скрылся. Сразу же, почти тотчас, раздался выстрел в цепи, за ним — второй.

Лес рокотал. Лес почти озлобленно встревожился.

Еще выстрел на номере. Это уже совсем близко. А крики все ближе, ближе и ближе.

Волк, огромный старый волк появился неожиданно. Он пришел промоиной, скрытый терником, а завидев флажки, резко остановился, будто на что-то напоролся. Но здесь, над промоиной, флажки висели выше, чем на всей линии, втрое выше роста зверя. А гомон людей настигал вплотную. Волк как-то не очень решительно и даже вяло прошел под флажками и оказался в пятнадцати метрах от Ивана Иваныча и Бима. Вот он сделал несколько махов, но за это время человек и собака успели рассмотреть, что он был ранен: пятно крови расплылось на боку, рот окаймлен пеной с красноватым налетом.

Иван Иваныч выстрелил.

Волк, подпрыгнув на всех четырех ногах, резко, всем корпусом, не поворачивая шеи, обернулся на выстрел и... стал. Широкий мощный лоб, налитые кровью глаза, оскаленные зубы, красноватая пена... И все-таки он не был жалок. Он был красив, этот вольный дикарь. О нет, он не был трусом, он не хотел падать и сейчас, гордый зверь, но... рухнул-таки плашмя, медленно перебирая лапами. Потом замер, присмирел, успокоился.

Бим не смог вынести всего этого. Он вскочил и встал на стойку. Но чтó это была за стойка! Шерсть на спине взъерошилась, на холке она почти стояла торчком, а хвост зажат между ног: озлобленно-трусливая, безобразная стойка на своего брата, на гордого царя собак, уже мертвого и потому безопасного, но страшного духом своим и кровью своей страшного. Бим ненавидел брата своего. Бим верил человеку, волк не верил. Бим боялся брата, волк не боялся его, даже смертельно раненный.

...А крики уже приблизились вплотную. Еще был один выстрел. И еще дуплет. Видимо, какой-то опытный волк шел совсем близко от цепи и, возможно, прорвался через нее в самый последний момент, когда люди уже потеряли бдительность и уже сходились друг с другом. Наконец появился из подлеска Главный, подошел к Ивану Иванычу и сказал, глядя на Бима:

— Ух ты! И на собаку не похож: зверь зверем. А два прорвались все-таки, ушли. Один раненый.

Иван Иваныч гладил Бима, ласкал, уговаривал, но тот хотя и уложил шерсть на спине, однако все еще крутился на месте, часто-часто дышал, высунув язык, и отворачивался от людей. Когда же оба охотника направились к трупу волка, Бим не пошел за ними, а, наоборот, нарушив все правила, волоча за собой поводок, отошел метров на тридцать подальше, лег, положил голову на желтые листья и дрожал как в лихорадке. Вернувшись к нему, Иван Иваныч заметил, что белки глаз у Бима кроваво-красные. Зверь!

— Ах, Бимка, Бимка. Плохо тебе? Конечно, плохо. Так надо, мальчик. Надо.

— Учти, Иван Иваныч,— сказал Главный,— легавую собаку можно и загубить волком — леса будет бояться. Собака — раб, волк — зверь свободный.

— Так-то оно так, но Биму уже четыре года — собака взрослая, лесом не испугаешь. Зато в лесу, где волки, он уже не отойдет от тебя: наткнется на след и скажет: «Волки!»

— И правда ведь: волки берут легавых, как малых цыплят. А этого теперь вряд возьмет: от ноги твоей не отойдет, если зачует.

— Вот видишь! Только до года не надо пугать зверем. А так — что ж поделаешь! — пусть переживет.

Иван Иваныч увел Бима, а Главный остался у волка, поджидая загонщиков.

Когда собрались на кордоне все охотники, выпили по чарке и загомонили, веселые и возбужденные, Бим отчужденно и одиноко лежал под плетнем, свернувшись калачиком, суровый, красноглазый, пораженный и зараженный волчьим духом. Ах, если бы Бим мог знать, что судьба еще раз забросит его в этот же самый лес!

К нему подошел лесник, хозяин кордона, присел на корточки, погладил по спине:

— Хороший пес, хороший. Умный пес. За всю облаву не гавкнул и не завыл.

Тут все любили собак.

Но когда охотники уселись в автомобиль и Иван Иваныч подсадил туда Бима, тот кошкой выпрыгнул на землю, ощетинившись и скуля: он не желал быть вместе с тремя мертвыми волками.

— Ого! — сказал Главный.— Этот теперь не пропадет.

Незнакомый тучный охотник недовольно вышел из кабины и грузно полез в кузов, а Иван Иваныч с Бимом сели в кабину.

*

После было не так уж много охот на вальдшнепа, но Бим работал отлично, как и всегда. Однако стоило ему причуять след волка, он прекращал охоту: прижимался к ноге хозяина и — ни шагу. Так он четко выражал слово «волк». И это было хорошо. А после облавы он еще больше стал любить Ивана Иваныча и верить в его силу. Верил Бим в доброту человека. Великое благо — верить. И любить. Собака без такой веры — уже не собака, а вольный волк или (что хуже) бродячий пес. Из этих двух возможностей выбирает каждая собака, если она перестала верить хозяину и ушла от него или если ее выгнали. Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет быть ни вольным волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной и верной потерянному другу, но одинокой до конца жизни.

Я не буду, дорогой читатель, рассказывать ни одной из множества достоверных историй о такой преданности в течение многих лет и до конца собачьей жизни. Я расскажу только об одном Биме с черным ухом.

Глава 6

ПРОЩАНИЕ С ДРУГОМ

Как-то после охоты Иван Иваныч пришел домой, накормил Бима и лег в постель, не поужинав и не выключив свет. В этот день Бим здорово наработался, потому быстро уснул и ничего не слышал. Но в последующие дни и Бим стал замечать, что хозяин все чаще ложится и днем, о чем-то печалится, иногда внезапно охнет от боли. Больше недели Бим гулял один, неподолгу — по надобности. Потом Иван Иваныч слег, он еле-еле доходил до двери, чтобы выпустить или впустить Бима. Однажды он простонал в постели как-то особенно тоскливо. Бим подошел, сел у кровати, внимательно посмотрел в лицо друга, затем положил голову на вытянутую его руку. Он увидел, какое стало у хозяина лицо: бледное-бледное, под глазами темные каемки, небритый подбородок заострился. Иван Иваныч повернул голову к Биму и тихо, ослабевшим голосом сказал:

— Ну? Что будем делать, мальчик?.. Худо мне, Бим, плохо. Осколок... подполз под сердце. Плохо, Бим.

Голос его был таким необычным, что Бим заволновался. Он заходил по комнате, то и дело царапаясь в дверь, как бы зовя:

«Вставай, дескать, пойдем, пойдем». А Иван Иваныч боялся лошевелиться. Бим снова сел около него и проскулил тихонько.

— Что же, Бимка, давай попробуем,— еле выговорил Иван Иваныч и осторожно привстал.

Он немного посидел на кровати, затем стал на ноги и, опираясь одной рукой о стену, другую держа у сердца, тихо переступал к двери. Бим шел рядом с ним, не спуская взгляда с друга, и ни разу, ни разу не вильнул хвостом. Он будто хотел сказать: ну, вот и хорошо. Пошли, пошли потихоньку, пошли.

На лестничной площадке Иван Иваныч позвонил в соседнюю дверь, а когда появилась девочка, Люся, он что-то ей сказал. Та убежала к себе в комнату и вернулась со старушкой, Степановной. Как только Иван Иваныч сказал ей то же самое слово «осколок», она засуетилась, взяла его под руку и повела обратно.

— Вам надо лежать, Иван Иваныч. Лежать. Вот так,— заключила она, когда тот вновь лег на спину.— Только лежать.— Она взяла со стола ключи и быстро ушла, почти побежала, засеменив по-старушечьи.

Конечно, Бим воспринял слово «лежать», повторенное трижды, так, будто оно относится и к нему. Он лег рядом с кроватью, не спуская взора с двери: горестное состояние хозяина, волнение Степановны и то, что она взяла со стола ключи,— все это передалось Биму, и он находился в тревожном ожидании.

Вскоре он услышал: ключ вставили в скважину, замок щелкнул, дверь открылась, в прихожей заговорили, затем вошла Степановна, а за нею трое чужих в белых халатах — две женщины и мужчина. От них пахло не так, как от других людей, а скорее тем ящичком, что висит на стене, который хозяин открывал только тогда, когда говорил: «Худо мне, Бим, худо, плохо».

Мужчина решительно шагнул к кровати, но...

Бим бросился на него зверем, упер ему в грудь лапы и дважды гавкнул изо всей силы.

«Вон! Вон!» — прокричал Бим.

Мужчина отпрянул, оттолкнув Бима, женщины выскочили в прихожую, а Бим сел у кровати, дрожал всем телом и, видно, был готов скорее отдать жизнь, чем подпустить неведомых людей к другу в такую трудную для него минуту.

Врач, стоя в дверях, сказал:

— Ну и собака! Что же делать?

Тогда Иван Иваныч позвал Бима жестом поближе, погладил по голове, чуть повернувшись. А Бим прижался к другу плечом и лизал ему шею, лицо, руки...

— Подойдите,— тихо произнес Иван Иваныч, глядя на врача.

Тот подошел.

— Дайте мне руку.

Тот подал.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— сказал врач.

Бим прикоснулся носом к руке врача, что и означало на собачьем языке: «Что ж поделаешь! Так тому быть: друг моего друга — мне друг».

Внесли носилки. Положили на них Ивана Иваныча. Он проговорил:

— Степановна... присмотрите за Бимом, дорогая. Выпускайте утром. Он сам приходит скоро... Бим будет меня ждать.— И к Биму: — Ждать... ждать...

Бим знал слово «ждать»: у магазина — «Сидеть, ждать», у рюкзака на охоте — «Сидеть, ждать». Сейчас он привизгнул, повиляв хвостом, что означало: «О, мой друг вернется! Он уходит, но скоро вернется».

Только понял его один Иван Иваныч, остальные не поняли — это он увидел в глазах всех. Бим сел у носилок и положил на них лапу. Иван Иваныч пожал ее.

— Ждать, мальчик. Ждать.

Вот этого Бим никогда не видел у своего друга, чтобы вот так горошинами скатилась вода из глаз.

Когда унесли носилки и щелкнул замок, он лег у двери, вытянул передние лапы, а голову положил на пол, вывернув ее на сторону: так собаки ложатся, когда им больно и тоскливо; они и умирают чаще всего в такой позе.

Но Бим не умер от тоски, как та собака-поводырь, прожившая со слепым человеком много лет. Та легла около могилы хозяина, отказалась от пищи, приносимой кладбищенскими доброхотами, а на пятый день, когда взошло солнце, она умерла. И это быль, а не выдумка. Зная необыкновенную собачью преданность и любовь, редко какой охотник скажет о собаке: «Издохла», он всегда скажет: «Умерла».

Нет, Бим не умер. Биму сказано точно: «Ждать». Он верит — друг придет. Ведь сколько раз было так: скажет «Ждать» — и обязательно придет.

Ждать! Вот теперь вся цель жизни Бима.

Но как тяжко было в ту ночь одному, как больно! Что-то делается не так, как обычно... От халатов пахнет бедой. И Бим затосковал.

В полночь, когда взошла луна, стало невыносимо. Рядом с хозяином и то она всегда беспокоила Бима, эта луна: у нее глаза есть, она смотрит этими мертвыми глазами, светит мертвым холодным светом, и Бим уходил от нее в темный угол. А теперь даже в дрожь бросает от ее взгляда, а хозяина нет. И вот глубокой ночью он завыл, протяжно, с подголоском, завыл как

перед напастью. Он верил, что кто-то услышит, а может быть, и сам хозяин услышит.

Пришла Степановна.

— Ну, что ты, Бим? Что? Ивана Иваныча нету. Ай-ай-ай, плохо.

Бим не ответил ни взглядом, ни хвостом. Он только смотрел на дверь. Степановна включила свет и ушла. С огнем стало легче — луна отодвинулась дальше и стала меньше. Бим устроился под самой лампочкой, спиной к луне, но вскоре снова лег перед дверью: ждать.

Утром Степановна принесла кашу, положила ее в Бимову миску, но он даже и не встал. Так поступала и собака-поводырь — она не поднималась и тогда, когда приносили пищу.

— Ты смотри, сердешный какой, а? Это ж уму непостижимо. Ну, пойди погуляй, Бим.— Она распахнула дверь.— Пойди погуляй.

Бим поднял голову, внимательно посмотрел на старушку. Слово «гулять» ему знакомо, оно означает — воля, а «Поди, поди гулять» — полная свобода. О, Бим знал, что такое свобода: делай все, что разрешает хозяин. Но вот его нет, а говорят: «Поди погуляй». Какая же это свобода?

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, что такие, как Бим, понимают человека и без слов, а те слова, что они знают, вмещают в себе многое и, соответственно случаю, разное. Она, по простоте душевной, сказала:

— Не хочешь кашу, пойди п о и щ и чего-нибудь. Ты и травку любишь. Небось и на помойке что-то раскопаешь (не знала она по наивности, что Бим к помойкам не прикасался). Пойди п о и щ и.

Бим встал, даже встрепенулся. Что такое? «Ищи»? Что искать? «Ищи» означает: ищи спрятанный кусочек сыра, ищи дичь, ищи потерянную или спрятанную вещь. «Ищи» — это приказ, а что искать — Бим определяет по обстоятельствам, по ходу дела. Что же сейчас искать?

Все это он сказал Степановне глазами, хвостом, вопросительным перебором передних лап, но она ничегошеньки не поняла, а повторила:

— Пойди гулять. И щ и!

И Бим бросился в дверь. Молнией проскочил ступеньки со второго этажа, выскочил во двор. Искать, искать хозяина! Вот что искать — больше ничего: так он понял. Вот здесь стояли носилки. Да, стояли. Вот уже со слабым-слабым запахом следы людей в белых халатах. След автомобиля. Бим сделал круг, вошел в него (так поступила бы даже самая бездарная собака), но опять — тот же след. Он потянул по нему, вышел на улицу и сразу же потерял его около угла: там вся дорога пахла той

же резиной. Человеческие следы есть разные и много, а автомобильные слились все вместе и все одинаковые. Но тот, нужный ему след пошел со двора туда, за угол, значит, и надо — туда.

Бим пробежал по одной улице, по другой, вернулся к дому, обегал места, где они гуляли с Иваном Иванычем,— нет признаков, никаких и нигде. Однажды он издали увидел клетчатую фуражку, догнал того человека — нет, не он. Присмотревшись внимательнее, он установил: оказывается, в клетчатых фуражках идут многие-многие. Откуда ему было знать, что в эту осень продавали только клетчатые фуражки и потому они нравились в с е м. Раньше он этого как-то не приметил, потому что собаки всегда обращают внимание (и запоминают) главным образом на нижнюю часть одеяния человека. Это у них еще от волка, от природы, от многих столетий. Так, лиса, например, если охотник стал за густой куст, закрывающий только до пояса, не замечает человека, если он не шевелится и если ветер не доносит от него запаха. Так что Бим увидел неожиданно в этом какой-то отдаленный смысл: поверху искать нечего, так как головы могут быть одинаковыми по цвету, подогнанными друг под друга.

День выдался ясный. На некоторых улицах листья пятнами покрыли тротуары, на некоторых лежали сплошь, так что, попадись хоть частичка следа хозяина, Бим ее уловил бы. Но — нигде и ничего.

К середине дня Бим отчаялся. И вдруг в одном из дворов он наткнулся на след носилок: тут они стояли. А потом струя того же запаха потекла со стороны. Бим пошел по ней, как по битой дорожке. Пороги отдавали людьми в белых халатах. Бим поцарапался в дверь. Ему открыла девушка тоже в белом халате и отпрянула с испуга. Но Бим приветствовал ее всеми способами, спрашивая: «Нет ли здесь Ивана Иваныча?»

— Уйди, уйди! — закричала она и закрыла дверь. Потом приоткрыла и крикнула кому-то: — Петров! Прогони кобеля, а то мне шеф намылит шею, начнет выпинаться: «Псарня, а не «Скорая помощь»!» Гони!

От гаража подошел человек в черном халате, затопал ногами на Бима и вовсе незлобно прокричал, как бы по обязанности и даже с ленцой:

— Вот я тебе, тварь! Пошел! Пошел!

Никаких таких слов, как «шеф», «псарня», «гони», «мылить шею», «выпинаться» и уж тем более «скорая помощь», Бим не понимал и даже вовсе никогда не слышал, но слова «уйди» и «пошел», в сочетании с интонацией и настроением, он понял прекрасно. Тут Бима не обмануть. Он отбежал на некоторое расстояние и сел, и смотрел на ту дверь. Если бы люди знали,

что ищет Бим, они ему помогли бы, хотя Ивана Иваныча сюда и не привозили, а доставили прямо в больницу. Но что поделаешь, если собаки понимают людей, а те не всегда понимают собак и даже друг друга. Кстати, Биму недоступны такие глубокие мысли; непонятно было и то, на каком таком основании его не пропускают в дверь, в которую он честно царапался, доверительно и прямодушно, и за которой, по всей вероятности, находится его друг.

Бим сидел у куста сирени с поблеклыми уже листьями до самого вечера. Приезжали машины, из них выходили люди в белых халатах и вели кого-то под руки или просто шли следом; изредка выносили из автомобиля человека на носилках, тогда Бим чуть приближался, проверял запах: нет, не он. Ввечеру на собаку обратили внимание и другие люди. Кто-то принес кусочек колбасы — Бим не притронулся; кто-то хотел взять его за ошейник — Бим отбежал; даже тот дядька в черном халате несколько раз проходил мимо и, остановившись, смотрел на Бима сочувственно и не топал ногами. Бим сидел статуей и никому ничего не говорил. Он ждал.

В сумерках он спохватился: вдруг хозяин-то дома? И побежал торопливо, легким наметом.

По городу бежала красивая с блестящей шерстью, ухоженная собака — белая, с черным ухом. Любой добрый гражданин скажет: «Ах, какая милая охотничья собака!»

Бим поцарапался в родную дверь, но она не открылась. Тогда он лег у порожка, свернувшись калачиком. Не хотелось ни есть, ни пить — ничего не хотелось. Тоска.

На площадку вышла Степановна:

— Пришел, горемышный?

Бим вильнул хвостом только один раз («Пришел»).

— Ну вот теперь и поужинай.— Она пододвинула ему миску с утренней кашей.

Бим не при́тронулся.

— Так и знала: накормился сам. Умница. Спи,— и закрыла за собой дверь.

В эту ночь Бим уже не выл. Но и не отходил от двери: ждать!

А утром снова забеспокоился. Искать, искать друга! В этом весь смысл жизни. И когда Степановна выпустила его, он, во-первых, сбегал к людям в белых халатах. Но на этот раз какой-то тучный человек кричал на всех и часто повторял слово «собака». В Бима бросали камнями, хотя и нарочито мимо, махали на него палками и наконец больно-пребольно стегнули длинной хворостинкой. Бим отбежал, сел, посидел малость и, видимо, решил: тут его быть не может, иначе не гнали бы так жестоко. И ушел Бим, слегка опустив голову.

По городу шел одинокий, грустный, ни за что обиженный пес.

Вышел он на кипучую улицу. Людей было видимо-невидимо, и все спешили, изредка торопливо перебрасываясь словами, текли куда-то и текли без конца. Наверняка Биму пришло в голову: «А не пройдет ли он здесь?» И без всякой логики сел в тени, на углу, неподалеку от калитки, и стал следить, не пропуская своим вниманием почти ни одного человека.

Во-первых, Бим заметил, что все люди, оказывается, пахнут автомобильным дымом, а уж через него пробиваются другие запахи разной силы.

Вот идет человек, тощий, высокий, в больших, порядком стоптанных ботинках, и несет в сетке картошку, такую же, какую приносил домой хозяин. Тощий несет картошку, а пахнет табаком. Шагает быстренько, спешит, будто кого-то догоняет. Но это только показалось — догоняют кого-то все. И все что-то ищут, как на полевых испытаниях, иначе зачем и бежать по улице, забегать в двери и выбегать и снова бежать?

— Привет, Черное ухо! — бросил Тощий на ходу.

«Здравствуй»,— угрюмо ответил Бим, двинув по земле хвостом, не растрачивая сосредоточенности и вглядываясь в людей.

А вот за ним идет человек в комбинезоне, пахнет он так, как пахнет стена, когда ее лизнешь (мокрая стена). Он почти весь серо-белый. Несет длинную белую палку с бородкой на конце и тяжелую сумку.

— Ты чего тут? — спросил он у Бима, остановившись.— Уселся ж д а т ь хозяина или затерялся?

«Да, ж д а т ь»,— ответил Бим, посеменив передними лапами.

— Тогда на-ка вот тебе.— Он вынул из сумки кулек, положил перед Бимом конфету и потрепал пса за черное ушко.— Ешь, ешь. (Бим не прикоснулся.) Дрессированный. Интеллигент! Из чужой тарелки есть не будет.— И пошел дальше тихо, спокойненько, не так, как все.

Кому как, а для Бима этот человек — хороший: он знает, что такое «ждать», он сказал «ждать», он понял Бима.

Толстый-претолстый, с толстой палкой в руке, в толстых черных очках на носу, несет толстую папку: все-все у него толсто. Пахнет он явно бумагами, по каким Иван Иваныч шептал палочкой, и еще, кажется, теми желтыми бумажками, какие всегда кладут в карман. Он остановился около Бима и сказал:

— Фух! Ну и ну! Дошли: кобели на проспекте.

Из калитки появился дворник с метлой и стал рядом с Толстым. А тот продолжал, обращаясь к дворнику, указывая пальцем на Бима:

— Видишь? На твоей небось территории?

— Факт, вижу,— и оперся на метлу, поставив ее вверх бородой.

— Видишь... Ничего ты не видишь,— сказал сердито.— Даже конфету не жрет, заелся. Как же дальше жить?! — Он злился вовсю.

— А ты не живи,— сказал дворник и равнодушно добавил: — Ишь как ты исхудал, бедняга.

— Оскорбляешь! — рявкнул Толстый.

Остановились трое молодых ребят и почему-то улыбались, глядя то на Толстого, то на Бима.

— Чего вам смешно? Чего смешно? Я ему говорю... собака! Тыща собак, по два-три кило мяса каждой — две-три тонны в день. Соображаете, сколько получится?

Один из ребят возразил:

— Три кило и верблюд не съест.

Дворник невозмутимо внес поправку:

— Верблюды мясо не едят.— Неожиданно он перехватил метлу поперек палки и так-то сильно замахал ею по асфальту перед ногами Толстого.— Посторонись, гражданин! Ну? Я чего сказал, дубова твоя голова!

Толстый ушел, отплевываясь. Те трое ребят тоже пошли своей дорогой, посмеиваясь. Дворник тут же и перестал мести. Он погладил Бима по спине, постоял немного и сказал:

— Сиди, ж д и. Придет,— и ушел в калитку.

Из всей этой перепалки Бим не только понял — «мясо», «собака», возможно, «кобели», но слышал интонацию голосов и, главное, все в и д е л, а этого уже достаточно для того, чтобы умной собаке догадаться: Толстому — плохо жить, дворнику — хорошо; один — злой, другой — добрый. Кому уж лучше знать, как не Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и что они уважают собак. То, что дворник прогнал Толстого, Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то эта случайная пустяковая история только отвлекла Бима, хотя, может быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, и плохими. Ну что ж, и то польза, скажем мы со стороны. Но пока для Бима это было совершенно неважно — не до того: он смотрел и смотрел на проходящих.

От некоторых женщин пахло остро и невыносимо, как от ландышей, пахло теми беленькими цветами, что ошарашивают нюх и возле которых Бим становился бесчутым; в таких случаях Бим отворачивался и несколько секунд не дышал — ему не нравилось. У большинства женщин губы были такого же цвета, как флажки на волчьей облаве; Биму такой цвет тоже не нравился, как и всем животным, а собакам и быкам в особенности.

Почти все женщины что-нибудь несли в руках. Бим приметил, что мужчины с поноской попадаются реже, а женщины — часто.

...А Ивана Иваныча все нет и нет. Друг ты мой! Где же ты?..

Люди текли и текли. Тоска Бима как-то немножко забылась, рассеялась среди людей, и он еще внимательней вглядывался вперед — не идет ли он. Сегодня Бим будет ждать здесь. Ждать!

Около него остановился человек с мясистыми обвислыми губами, крупно-морщинистый, курносый, с глазами навыкате, и вскричал:

— Безобразие! (Люди стали останавливаться.) Кругом грипп, эпидемия, рак желудка, а тут что? — тыкал он всей ладонью в Бима.— Тут среди массы народа, в гуще тружеников, сидит живая зараза!

— Не каждая собака — зараза! Смотрите, какой он милый пес,— возразила девушка.

Курносый смерил ее взглядом сверху вниз и обратно и отвернулся, возмущаясь:

— Какая дикость! Какая в вас дикость, гражданочка.

И вот... Эх, если бы Бим был человеком! Вот подошла та самая Тетка, «советская женщина» — та клеветница. Бим сначала испугался, но потом, взъерошив шерсть на холке, принял оборонительную позицию. А Тетка затараторила, обращаясь ко всем, стоящим полукругом в некотором отдалении от Бима:

— Дикость и есть дикость! Она же меня укусила. У-ку-си-ла! — и показывала всем руку.

— Где укусила? — спросил юноша с портфельчиком.— Покажите.

— Ты мне еще, щенок! — да и спрятала руку.

Все, кроме Курносого, рассмеялись.

— Воспитали тебя в институте, чертенка, вот уж воспитали, гаденыш,— набросилась она на студента.— Ты мне, советской женщине, и не веришь? Да как же ты дальше-то будешь? Куда же мы идем, дорогие граждане? Или уж у нас Советской власти нету?

Юноша покраснел и вспылил:

— Если бы вы знали, как выглядите со стороны, то позавидовали бы этой собаке.— Он шагнул к Тетке и крикнул: — Кто дал вам право оскорблять?

Хотя Бим не понял слов, но выдержать больше не смог: он прыгнул в сторону Тетки, гавкнул изо всей силы и уперся всеми четырьмя лапами, сдерживаясь от дальнейших поступков (за последствия он уже не ручался). Интеллигент! Но все-таки — собака!

Тетка завопила истошно:

— Мили-ция! Мили-ция!

Где-то засвистел свисток, кто-то, подходя, крикнул:

— Пройдемте, гр-раждане! Пройдемте по своим делам! — Это был милиционер (Бим даже повилял чуть хвостом, несмотря на возбуждение).— Кто кричал?! Вы? — обратился милиционер к Тетке.

— Она,— подтвердил юноша-студент.

Вмешался Курносый.

— Куда вы смотрите! Чем занимаетесь? — запилил он милиционера.— Собаки, собаки — на проспекте областного города!

— Собаки! — кричала Тетка.

— И такие вот дикие питекантропусы! — кричал и студент.

— Он меня оскорбил! — почти рыдала Тетка.

— Граждане, р-разойдись! А вы, вы, да и вы, пройдемте в милицию,— указал он Тетке, юноше и Курносому.

— А собака?! — взвизгнула Тетка.— Честных людей — в милицию, а собаку...

— Не пойду,— отрубил юноша.

Подошел второй милиционер.

— Что тут?

Человек в галстуке и шляпе резонно и с достоинством разъяснил:

— Да вон, энтот студентишка не хочеть в милицию, не подчиняется. Энти вон, обоя, хотять, а энтот не хочеть. Неподчинение. А это не положено. Ведуть — должон иттить. Мало бы чего...— И он, отвернувшись от всех прочих, поковырял в собственном ухе большим пальцем, как бы расширяя слуховое отверстие. Явно это был жест убежденности, уверенности в прочности мыслей и безусловного превосходства перед присутствующими — даже перед милиционерами.

Оба милиционера переглянулись и все же увели студента с собой. Следом за ними потопали Курносый и Тетка. Люди разошлись, уже не обращая внимания на собаку, кроме той милой девушки. Она подошла к Биму, погладила его, но тоже пошла за милиционером. Сама пошла, как установил Бим. Он посмотрел ей вслед, потоптался на месте, да и побежал, догнал ее и пошел рядышком.

Человек и собака шли в милицию.

— Кого же ты ждал, Черное ухо? — спросила она, остановившись.

Бим уныло присел, опустил голову.

— И подвело у тебя живот, милый. Я тебя накормлю, подожди, накормлю, Черное ухо.

Вот уже несколько раз называли Бима «Черное ухо». И хозяин когда-то говорил: «Эх ты, Черное ухо!» Давно-давно он так произнес, еще в детстве.

«Где же мой друг?» — думал Бим. И пошел опять же с девушкой в печали и унынии.

В милицию они вошли вместе. Там кричала Тетка, рыкал курносый дядька; понурив голову, молчал студент, а за столом сидел милиционер, незнакомый, и явно недружелюбно посматривал на всех троих.

Девушка сказала:

— Привела виновника,— и указала на Бима.— Милейшее животное. Я все видела и слышала там с самого начала. Этот парень,— она кивнула на студента,— ни в чем не виноват.

Рассказывала она спокойно, то указывая на Бима, то на кого-нибудь из тех трех. Ее пытались перебить, но милиционер строго останавливал и Тетку, и Курносого. Он явно дружелюбно относился к девушке. В заключение она спросила шутя:

— Правильно я говорю, Черное ухо? — А обратившись к милиционеру, еще добавила: — Меня зовут Даша.— Потом к Биму: — Я Даша. Понял?

Бим всем существом показал, что он ее уважает.

— А ну, пойди к о м н е, Черное ухо. К о м н е! — позвал милиционер.

О, Бим знал это слово: «ко мне». Точно знал. И подошел.

Тот пошлепал по шее легонько, взял за ошейник, рассмотрел номерок и записал что-то. А Биму приказал:

— Лежать!

Бим лег, как и полагается: задние ноги под себя, передние вытянуты вперед, голова — глаза в глаза с собеседником и чуть набочок.

Теперь милиционер спрашивал в телефонную трубку:

— Союз о х о т н и к о в?

«Охота! — вздрогнул Бим.— Охота! Что же это значит здесь-то?»

— Союз охотников? Из милиции. Номер двадцать четыре посмотрите. Сеттер... Как так нету? Не может быть. С о б а к а х о р о ш а я, дрессированная... В горсовет? Хорошо.— Положил трубку и еще раз взял, что-то спрашивал и стал записывать, повторяя вслух: — Сеттер... с внешними наследственными дефектами, свидетельства о родословной нет, владелец И в а н И в а н ы ч И в а н о в, улица Проезжая, сорок один. Спасибо.— Теперь он обратился к девушке: — Вы, Даша, м о л о д е ц. Хозяин нашелся.

Бим запрыгал, ткнул носом в колено милиционера, лизнул руку Даше и смотрел ей в глаза, прямо в глаза, так, как могут смотреть только умные и ласковые доверчивые собаки. Он ведь понял, что говорили про Ивана Иваныча, про его друга, про его брата, про его бога, как сказал бы человек в таком случае. И вздрагивал от волнения.

Милиционер строго буркнул Тетке и Курносому:

— Идите. До свидания.

Дядька начал пилить дежурного:

— И это все? Какой же у вас будет порядок после такого? Распустили!

— Идите, идите, дед. До свидания. Отдыхайте.

— Какой я тебе дед? Я тебе — отец, папаша. Даже нежное обращение позабывали, с-сукины сыны. А хотите вот таких,— ткнул он в студента,— воспитывать, по головке гладить, по головке. А он вас — подождите! — гав! И скушает.— Гавкнул действительно по-собачьи, натурально.

Бим, конечно, ответил тем же.

Дежурный рассмеялся:

— Смотрите-ка, папаша, собака-то понимает, сочувствует.

А Тетка, вздрогнув от двойного лая человека и собаки, пятилась от Бима к двери и кричала:

— Это он на меня, на меня! И в милиции — никакой защиты советской женщине!

Они ушли все-таки.

— А меня что — задержите? — угрюмо спросил студент.

— Подчиняться надо, дорогой. Раз приглашают — обязан идти. Так положено.

— Положено? Ничего такого не положено, чтобы трезвого вести в милицию под руки, как вора. Тетке этой надо бы пятнадцать суток, а вы... Эх, вы! — И ушел, пошевелив Биму ухо.

Теперь Бим уже совсем ничего не понимал: плохие люди ругают милиционера, хорошие тоже ругают, а милиционер терпит да еще посмеивается; тут, видимо, и умной собаке не разобраться.

— Сами отведете? — спросил дежурный у Даши.

— Сама. Д о м о й. Черное ухо, д о м о й.

Бим теперь шел впереди, оглядываясь на Дашу и поджидая: он отлично знал слово «домой» и вел ее именно домой. Люди-то не сообразили, что он и сам пришел бы в квартиру, им казалось, что он малоумный пес; только Даша все поняла, одна Даша — вот эта белокурая девушка, с большими задумчивыми и теплыми глазами, которым Бим поверил с первого взгляда. И он привел ее к своей двери. Она позвонила — ответа не было. Еще раз позвонила, теперь к соседям. Вышла Степановна. Бим ее приветствовал: он явно был веселее, чем вчера, он говорил: «Пришла Даша. Я привел Дашу». (Иными словами нельзя объяснить взгляды Бима на Степановну и на Дашу попеременно.)

Женщины разговаривали тихо, при этом произносили «Иван Иваныч» и «осколок», затем Степановна открыла дверь. Бим

приглашал Дашу: не спускал с нее глаз. Она же первым делом взяла миску, понюхала кашу и сказала:

— Прокисла.— Выбросила кашу в мусорное ведро, вымыла миску и поставила опять на пол.— Я сейчас приду. Жди, Черное ухо.

— Его зовут Бим,— поправила Степановна.

— Ж д и, Бим.— И Даша вышла.

Степановна села на стул. Бим сел против нее, однако поглядывая все время на дверь.

— А ты пес сообразительный,— заговорила Степановна.— Остался один, а видишь вот, понимаешь, кто к тебе с душой. Я вот, Бимка, тоже... на старости лет с внучкой живу. Родители-то народили да и подались аж в Сибирь, а я воспитала. И она, внучка-то, х о р о ш о меня любит, всем сердцем к о м н е.

Степановна изливала душу сама перед собой, обращаясь к Биму. Так иногда люди, если некому сказать, обращаются к собаке, к любимой лошади или кормилице-корове. Собаки же выдающегося ума очень хорошо отличают несчастного человека и всегда выражают сочувствие. А тут обоюдно: Степановна явно жалуется ему, а Бим горюет, страдает оттого, что люди в белых халатах унесли друга; ведь все неприятности дня всего лишь немного отвлекли боль Бима, сейчас же она вновь возникла с еще большей силой. Он отличил в речи Степановны два знакомых слова «хорошо» и «ко мне», сказанных с грустной теплотой. Конечно же, Бим приблизился к ней вплотную и положил голову на колени, а Степановна приложила платок к глазам.

Даша вернулась со свертком. Бим тихо подошел, лег животом на пол, положил одну лапу на ее туфлю, а голову — на другую лапу. Так он сказал: «Спасибо тебе».

Даша достала из бумаги две котлеты, две картофелины и положила их в миску:

— Возьми.

Бим не стал есть, хотя третьи сутки у него не было во рту ни крохи. Даша легонько трепала его за холку и ласково говорила:

— Возьми, Бим, возьми.

Голос у Даши мягкий, душевный, тихий и, казалось, спокойный; руки теплые и нежные, ласковые. Но Бим отвернулся от котлет. Даша открыла рот Бима и втолкнула туда котлету. Бим подержал, подержал ее во рту, удивленно глядя на Дашу, а котлета тем временем проглотилась сама. Так произошло и со второй. С картошкой — то же.

— Его надо кормить насильно,— сказала Даша Степановне.— Он тоскует о хозяине, потому и не ест.

— Да что ты! — удивилась Степановна.— Собака сама себе найдет. Сколько их бродит, а едят же.

— Что же делать? — спросила Даша у Бима.— Ты ведь так пропадешь.

— Не пропадет,— уверенно сказала Степановна.— Такая умная собака не пропадет. Раз в день буду варить ему кулеш. Что ж поделаешь? Живность.

Даша о чем-то задумалась, потом сняла ошейник.

— Пока я не принесу ошейник, не выпускайте Бима. Завтра часам к десяти утра приду... А где же теперь Иван Иваныч? — спросила она у Степановны.

Бим встрепенулся: о нем!

— Увезли самолетом в Москву. Операция на сердце сложная. Осколок-то рядом.

Бим — весь внимание: «осколок», опять «осколок». Слово это звучит горем. Но раз они говорят про Ивана Иваныча, значит, он где-то должен быть. Надо искать. Искать!

Даша ушла. Степановна — тоже. Бим снова остался один коротать ночь. Теперь он нет-нет да и вздремнет, но только на несколько минут. И каждый раз он видел во сне Ивана Иваныча — дома или на охоте. И тогда он вскакивал, осматривался, ходил по комнате, нюхал по углам, прислушивался к тишине и вновь ложился у двери. Очень сильно болел рубец от хворостины, но это было ничто в сравнении с большим горем и неизвестностью. Ждать. Ждать. Стиснуть зубы и ждать.

Глава 7

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В это утро Бим чуть не плакал. Солнце уже выше окна, а никто не идет. Он прислушивался к шагам жильцов подъезда, проходивших мимо его двери с верхних этажей или поднимавшихся снизу. Все шаги знакомые, а его нет и нет. Наконец точно услышал туфельки Даши. Она! Бим голосом подал о себе знать. Его крик в переводе на человеческий язык означал: «Я тебя слышу, Даша!»

— Сейчас, сейчас,— откликнулась та и позвонила Степановне.

Обе они вошли к Биму. С каждой он поздоровался, затем бросился к двери, стал там, повернув голову к женщинам, и потребовал, просяще повиливая хвостом: «Открывайте. Надо искать».

Даша надела на него ошейник, на котором теперь во всю ширину был прочно закреплен латунный жетон-пластинка с выгравированной надписью: «Зовут его Бим. Он ждет хозяина.

Хорошо знает свой дом. Живет в квартире один. Не обижайте его, люди». Даша прочитала надпись Степановне.

— Какая же ты добрая душа! — всплеснула руками Степановна.— Любишь, значит, собак?

Даша погладила Бима и ответила необычно:

— Муж бросил. Мальчик умер... А мне тридцать лет. Жила на квартире. Уезжаю.

— Одинокая. Ой ты, моя желанная! — запричитала Степановна.— Да ведь это же...

Но Даша отрубила:

— Пойду.— А у двери добавила: — Пока не выпускайте Бима — не убежал бы за мной.

Бим попробовал протиснуться в дверь вместе с Дашей, но она оттеснила его и вышла со Степановной.

Не более как через час Бим заскулил, потом и завыл с тоски в голос, так завыл, как про это говорят люди: «Хочется завыть собакой».

Степановна выпустила его (Даша теперь далеко):

— Ну, иди, иди. Вечером кулеша наготовлю.

Бим даже и не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее глаза, а шемером скатился вниз и — во двор. Челноком просновал по двору, вышел на улицу, чуть постоял, будто подумал, а затем стал читать запахи, строку за строкой, не обращая внимания даже на те деревья, где стояли росписи собратьев и читать которые обязана каждая уважающая себя собака.

За весь день Бим не обнаружил никаких признаков Ивана Иваныча. А перед вечером, как бы на всякий случай, забрел в молодой парк вновь отстроенного района города. Там четверо мальчишек гоняли мяч. Он посидел малость, проверил окружающее, насколько хватал нос, и хотел было уходить. Но мальчик лет двенадцати отделился от играющих, приблизился к Биму и с любопытством смотрел на него.

— Ты чей? — спросил он, будто Бим смог бы ответить на вопрос.

Бим, во-первых, поздоровался: повилял хвостом, но с грустинкой, склонив голову сначала на одну сторону, потом на другую. Это, кроме того, означало и вопрос: «А ты — что за человек?»

Мальчик понял, что собака ему пока не доверяет полностью, и смело подошел, протянул руку:

— Здравствуй, Черное ухо.

Когда Бим подал лапу, мальчик крикнул:

— Ребята! Сюда, сюда!

Те подбежали, но остановились все же на отшибе.

— Смотрите, какие умные глаза! — восхищался первый мальчик.

— А может, он ученый? — спросил резонно пухленький карапуз.— Толя, Толька, ты скажи ему чего-нибудь — поймет иль не поймет?

Третий, более взрослый, чем остальные, авторитетно заявил:

— Ученая. Видишь, табличка на шее.

— И вовсе не ученая,— возразил худенький мальчишка.— Она не была бы такая тощая и унылая.

Бим и в самом деле страшно похудел без Ивана Иваныча и потерял уже былой вид: живот подтянуло, нечесаная шерсть свалялась на штанах и помутнела на лоснившейся когда-то спине. Тоска и голод не красят и собаку.

Толик прикоснулся ко лбу Бима, а он осмотрел всех и выразил теперь полное доверие. После этого все поочередно гладили Бима, и он не возражал. Отношения сразу же сложились добрые, а в атмосфере полного взаимопонимания всегда недалеко и до сердечной дружбы. Толик вслух прочитал написанное на латунной табличке и воскликнул:

— Он — Бим! Один живет в квартире! Ребята, он есть хочет. А ну по домам и — сюда: тащите кто что может.

Бим остался с Толиком, а ребятишки разбежались. Теперь мальчик сел на скамейку, а Бим лег у его ног и глубоко вздохнул.

— Плохо тебе, наверно, Бим? — спросил Толик, поглаживая голову собаки.— Где же твой хозяин?

Бим уткнулся носом в ботинок и так лежал. Вскоре появились один за другим те ребятишки. Пухленький принес пирожок, Взрослый — кусок колбасы, Худенький — два блинчика. Все это они положили перед Бимом, но он даже и не понюхал.

— Он больной,— сказал Худенький.— Может, даже и заразный,— и попятился от Бима.

Пухленький зачем-то вытер руки о штанишки и тоже отошел. Взрослый потер колбасой нос Бима и заключил уверенно:

— Не будет. Не хочет.

— Мама говорила — все собаки заразные,— все опасался Пухленький,— а эта и вовсе больная.

— Ну и уходи,— сердито буркнул Толик.— Чтоб я тебя тут не видел... «Заразная»... Заразных ловят собачатники, а эта — вон с какой табличкой.

Рассудительное доказательство подействовало: ребятишки вновь окружили Бима. Толик потянул за ошейник вверх. Бим сел. Толик завернул у него мягкую губу и увидел щелку в глубине челюсти, где кончаются зубы; отломил кусочек колбасы и засунул в эту щелку — Бим проглотил. Еще кусочек — и еще проглотил. Так покончили с колбасой под общее одобрение

присутствующих. Все наблюдали сосредоточенно, а Пухленький с каждым глотком Бима тоже глотал, хотя во рту ничего не было: он как бы помогал Биму. Кусочки пирожка никак нельзя было втолкнуть — они рассыпались, тогда Бим наконец взял пирожок сам, лег на живот, положил пирожок на лапы, посмотрел-посмотрел на него и съел. Сделал он так явно из уважения к Толику. У него такие ласковые руки и такой мягкий, даже чуть грустный взгляд, и так он жалеет Бима, что тот не устоял против теплоты душевной. Бим и раньше относился к детям особо, а теперь он окончательно уверился, что маленькие люди все хорошие, а большие бывают разные, бывают и плохие. Он, конечно, не мог знать, что маленькие люди потом становятся большими и тоже разными, но это — не собачье дело рассуждать, как и почему из маленьких хороших вырастают большие плохие люди, такие, как Тетка или Курносый. Он просто-напросто съел пирожок для Толика, и все. От этого ему стало легче, потому он не отказался и от блинчиков. И кроме того, за неделю Бим ел всего лишь второй раз.

Первый после трапезы Бима заговорил Толик:

— Попробуем узнать, что он может делать.

Худенький сказал:

— В цирке, если прыгать, кричат «Ап!».

Бим привстал и внимательно посмотрел на мальчика, будто спрашивал: «Через что — ап?!»

Двое из них взялись за концы пояска, а Толик скомандовал:

— Бим! Ап!

Бим легко перепрыгнул через наивный барьер. Все были в восторге. Пухленький приказал четко:

— Лежать!

Бим лег (пожалуйста, для вас — с удовольствием!).

— Сидеть,— попросил Толик. (Бим сел.) — Подай! — и бросил фуражку.

Бим принес и фуражку. Толик обнял его от восхищения, а Бим со своей стороны в долгу не остался и лизнул его прямо в щеку.

Конечно же, Биму стало куда легче с этими маленькими человечками. Но тут-то и подошел дядька, поигрывая палочкой-тростью, подошел так тихо, что ребята и не заметили его, пока он не задал вопрос:

— Чья собака?

С виду он был важный, в серой узкополой шляпе, при сером бантике вместо галстука, в сером пиджаке, серо-белых брюках, с короткой серой бородой, в очках. Он, не спуская глаз с Бима, повторил:

— Так чья же собачка, дети?

К стр. 374

В два голоса одновременно ответили Взрослый мальчик и Толик.

— Ничья,— сказал один наивно.

— Моя,— настороженно сказал Толик.— В эту минуту моя.

Толик не раз видел Серого дядьку: он важно прогуливался вокруг парка в одиночку. Как-то раз даже вел с собой собаку, которая упиралась и не хотела идти. А однажды подошел к ребятишкам и зудел им, что они и играть-то не умеют, как прежде, и вежливости у них нет, и воспитывают их неправильно, не так, как прежде, и что за них люди воевали даже еще в гражданскую, за вот этих, таких, а они не ценят и ничего не умеют, и что все это стыдно.

В тот далекий день, когда Серый поучал их, Толику было девять лет. Теперь же двенадцать. Но дядьку этого он помнил. Сейчас Толик сидел, обняв Бима, и сказал: «Моя».

— Ну, так как же: ничья или его? — спросил дядька, обращаясь ко всем и указывая на Толика.

— На ней вон табличка есть,— вмешался Пухленький не в добрый час.

Серый подошел к Биму, потрепал ухо и стал читать на ошейнике.

Бим тотчас почуял, совершенно точно: от Серого пахнет собаками, пахнет как-то отдаленно, многодневно, но пахнет. Он посмотрел ему в глаза и немедленно, тут же не поверил — ни в голос, ни во взгляд, даже и не в запахи. Не может быть, чтобы человек просто так вобрал в себя далекие запахи разных собак. Бим прижался к Толику, пытаясь отцепиться от Серого, но тот не отпускал.

— Нельзя лгать, мальчик,— укорил он Толика.— По табличке — не твоя собака. Стыдно, мальчик. Тебя что, родители так приучили говорить неправду? Какой же ты будешь, когда вырастешь? Эх-хе-хе! — Он вынул из кармана поводок и пристегнул к ошейнику.

Толик схватил за поводок и крикнул:

— Не троньте! Не дам!

Серый отвел его руку.

— Я обязан доставить собаку по месту назначения. А может быть, придется про́токол составить. («Он так и сказал «про́токол».) Возможно, его хозяина а́лкоголь зае́л. (Так и произнес — «а́лкоголь».) Если так, тогда надо собаку изъять. Должность моя такая — делать все по-честному, по-человеческому. Так-то. Найду его квартиру, проверю — правильно ли.

— А табличке не доверяете? — укоризненно и почти плача спросил Толик.

— Доверяю, мальчики, доверяю полностью. Но...— Он под-

нял палец вверх и поучительно произнес, почти торжественно: — Доверяй, но проверяй! — и повел Бима.

Бим упирался, оглядывался на Толика, видел, как тот заплакал от обиды, но — что поделаешь! — потом пошел-таки за Серым, поджав хвост и глядя в землю, сам на себя не похожий. Всем видом своим он говорил: «Такая уж наша собачья жизнь, когда нигде нет хозяина». Тут бы и всего дела — укусить бы за ляжку и бежать, но Бим — собака интеллигентная: веди, куда ведешь.

Шли они по улице, на которой стояли новые дома. Все новые. Все серые и настолько одинаковые, что даже Бим мог бы в них заблудиться. В одном из домов-близнецов поднялись на третий этаж, при этом Бим заметил, что и двери все одинаковые.

Открыла им женщина в сером платье:

— Опять привел? Да господи боже мой!

— Не гундеть! — строго оборвал Серый. Он снял с Бима ошейник и показал: — На, смотри.— Женщина разбирала, надев очки, а он продолжал: — Понятия нет. Во всей республике я — единственный коллекционер собачьих знаков. А эта табличка — вещь! Пятисотый знак!

Ничего не было понятного для Бима, ровным счетом ничего, никаких знакомых слов, никаких понятных жестов — ничего. Вот Серый пошел из прихожей в комнату, с ошейником в руках. Оттуда позвал:

— Бим, ко мне!

Бим подумал-подумал и осторожно вошел. В комнате осмотрелся, не подходя к Серому, а так — сидя у двери. На чистой стене висели доски, обшитые бархатом, а на них рядами висели собачьи знаки: номерки, жетоны, медали серые и медали желтые, несколько красивых поводков и ошейников, несколько усовершенствованных намордников и другие доспехи собачьего обихода, даже капроновая петля для удушения, смысла которой Бим, конечно, не понимал; где ее раздобыл владелец коллекции, понять невозможно даже и человеку, а для Бима она была обыкновенной веревкой, не больше.

Бим смотрел внимательно, как Серый повертел в руках его ошейник, плоскогубчиками снял табличку и прикрепил в середине одной из досок на бархат; так же поступил и с номерком, а затем надел ошейник на Бима и сказал:

— Ты — собака хорошая.

Точно так же говорил когда-то хозяин, но теперь Бим не поверил. Он вышел в прихожую и стал у двери, говоря: «Выпускай! Мне тут делать нечего».

— Уж выпусти,— сказала женщина.— Чего сюда-то припер его? Снял бы на улице.

— Нельзя было — пацаны привязались. И сейчас нельзя:

увидят они — без таблички, могут довести до сведения... Так что пусть ночует до зари. Лежать! — приказал он Биму.

Бим лег у двери: ничего не поделаешь! И опять же: стоило ему завыть в голос, заметаться по квартире, наброситься на Серого, и все! Выпустил бы. Но Бим умеет ждать. Да и устал он, обессилел так, что даже у чужой двери на некоторое время задремал, хотя и тревожным сном.

То была первая ночь, когда Бим не пришел домой, в свою квартиру. Он это почувствовал, когда очнулся от дремоты, и не сразу сообразил, где находится. А сообразивши, затосковал. Он же снова видел во сне Ивана Ивановича; каждый раз, как только засыпал, видел его, а проснувшись, ощущал еще теплоту его рук, знакомых с малого щенячьего возраста. Где он, мой хороший и добрый друг? Где? Тоска невыносимая. Одиночество тяжкое, и никуда от него не денешься. А тут еще Серый человек храпит, как заяц под борзой. И пахнет от всех этих бархатных досок умершими собаками. Тоска. И Бим заскулил. Потом чуть взлаял дважды, тоже с легким подвывом, как гончая, когда она добирает след зайца по вчерашней жировке. И наконец не выдержал — взвыл протяжно.

«Ох-хо-хо-ой! Ой-ой, лю-юди-и,— плакал он.— Тяжко мне, ой тяжко без друга. Отпустите вы меня, отпустите искать его. Ой-ой-ой, лю-юди-и-и, ой!»

Серый вскочил, включил свет и стал молотить Бима палкой и шипеть:

— Молчи, молчи, выродок! Соседи слышат. На́ тебе! На́ тебе!

Бим уклонялся от ударов, инстинктивно оберегая голову, и стонал, как человек: «Ох... Ах-х... Ах-хр-р... Ох...»

Но злой человек изловчился-таки и саданул по голове. Бим на несколько секунд потерял сознание, задрыгав лапами, но быстро опомнился, отскочил от двери, уперся задом в угол и оскалил зубы. Впервые оскалил.

Серый попятился от Бима:

— Ишь ты! Укусит еще, черт...— и распахнул дверь.

Но Бим не верил даже и в то, что дверь действительно открыта, не верил и тогда, когда Серый говорил:

— Ступай, ступай. Поди, Бим, гуляй. Иди, собачка, иди.

Не верил он этому ласковому, вкрадчивому тону, этой лести и заискиванию после побоев. О, лесть после побоев — новое открытие Бима в его жизни. Тетка и Курносый — люди просто нехорошие. А вот этот... этого Бим уже ненавидел. Ненавидел! Бим начинал терять веру в человека. Да, именно так.

Бим вытянул шею, оскалил зубы и... пошел на Серого, тихо, но решительно, медленно, но уверенно. Серый прижался к стене:

— Ты что?! Ты что?!

Женщина в ночной рубахе орала на Серого:

— Допрыгался! Укуси-ит!

Бим увидел, что страшный дядька испугался его, что он его до страсти боится. От этого Бим укрепился в решимости: прыгнул, цапнул увернувшегося врага за мягкое место и выскочил в распахнутую дверь. Бим бежал и ощущал во рту вкус человеческого мяса от задницы, которую он возненавидел всем существом. Нет, Бим не считал себя несчастным и жалким, наоборот, сейчас он был храбрым, а храбрость всегда совмещается с гордостью и чувством собственного достоинства — даже у хорька.

В предрассветной мути бежал Бим по улице, хотя и в своем ошейнике, но уже без номерка «24». Сначала он впопыхах направился не туда, то есть не в город, а из города (дальше домов не было). Он вернулся обратно и попал в тот же лабиринт одинаковых домов. Кружил, кружил, петлял, петлял да и попал к тому же дому, из которого выскочил. Тут уж он заспешил в нужном направлении, чему помогло совершенно закономерное обстоятельство, мало известное людям: вчера, когда его вели здесь, он уловил на одном углу роспись какого-то собрата, на другом углу — второго; теперь же, пробежав от знакомого по этому признаку угла до следующего, он и взял нужный ориентир. Поистине нужно отличное чутье, чтобы не только найти здесь дом, но и выбраться отсюда. Бим обладал отличным чутьем и замечательной сметкой.

Уже засветло он прибежал к своему дому, поднялся к своей родной двери, поцарапался. Ответа не было. Еще поцарапался — то же самое: тишина. Главное, у двери не было следов Ивана Ивановича. И еще слишком рано, чтобы Степановна услышала в зоревом сне позывные Бима. Он посидел у двери в задумчивости.

Болело все от побоев, стучало в голове и сильно тошнило, сил не было. Но он все же пошел. Искать пошел своего друга. Да и кто же, кроме Бима, будет его искать?

По городу бежала с виду унылая собака, но преданная, верная и смелая.

Глава 8

СЛУЧАЙ НА СТРЕЛКЕ

Дни шли за днями. Бим их уже не замечал. Он регулярно обследовал город и узнал его во всех подробностях. Теперь он ходил по заранее намеченному маршруту; если бы люди догадались, то они могли бы проверять по Биму свои часы.

Появись он у парка — пять утра, у вокзала — шесть, у завода — половина восьмого, на проспекте — двенадцать, на левобережье — четыре часа дня и так далее.

Завелись и новые знакомые среди людей. Бим установил, что большинство из них — добрые, но такие шли по улицам молча, а нехорошие всегда много болтали. Нашел и людей, пахнущих маслом и железом (раньше он встречал их поодиночке). Эти ежедневно, около восьми утра, текли сплошным потоком в ворота, потом в двери будки.

Здесь они были говорливы, как грачи, так что разобрать, пожалуй, ничего нельзя, да это, впрочем, и не интересовало Бима. Он садился в стороне от потока и смотрел, и ждал.

— Эй, Черное ухо! Привет! — здоровался каждое утро паренек в синем комбинезоне и выкладывал перед Бимом припасенный сверток с едой.— Жив, курилка! Здравствуй! — И подавал Биму свою добрую человеческую лапу, грубую, но теплую.

Иные молча протягивали ему ладонь, здоровались и спешили дальше. Никто ни разу здесь не обидел Бима.

Теперь Бим мало-помалу научился различать людей по сортам. Вот, например, часто попадается ему на пути дебелая бабочка, ноги — бутылками, всегда такая довольная, бодрая, на лице счастье; но, встречаясь с Бимом, она фыркала кошкой, плевалась, поднимала сумку с продуктами на уровень пышной груди и каждый раз твердила одно и то же:

— Фу, какая гадость! Неужели нельзя подушить всех собак, чтобы не трепали нервы? Вот вам, пожалуйста: «Моя милиция меня бережет». Как же! Уберегут... А тут каждый кобель среди бела дня запросто может спустить с тебя юбку. А что милиция? Милиции мы — пятая нога собаке.

Ввиду того, что она часто повторяла одно и то же, Бим, по простоте собачьей, почел, что бабочку так и зовут — Пятая Нога. Но он знал точно: к этой подходить нельзя. Мало ли что он не понимал ее слов, кроме ее же клички, зато он слышал и видел, потому и взял за правило: к таким — ни шагу, не связываться. Потом он как-то стал (чутьем, что ли?) определять, кого надо обходить и сторониться. Добрых было огромное большинство, злых — единицы, но все добрые боялись злых. Бим же — нет, не боялся, но ему было тоже не до них. Познание человеков расширялось и углублялось, а с собачьей точки зрения, он уже не казался каким-то вылощенным дилетантом и идеалистом, готовым вилять хвостом каждому прохожему. Бим за короткое время стал худущим, но серьезным псом, и у него была цель жизни — искать и ждать.

И вот однажды ранним утром, проверяя запахи одного из тротуаров, он опешил от радости. Он остановился, фыркнул

и побежал, как бешеная собака, ничего не разбирая и не видя впереди. Но так могло показаться со стороны, а на самом деле он бежал по свежему следу: здесь прошла Даша! Она только-только что была тут.

След привел его к вокзалу. Пройти в помещение не было никакой возможности: люди, люди и люди без конца; даже на улице, у какого-то окошка, они мяли друг друга, кричали, пыхтели, вопили, будто гончие приспели до зайца и рвут его в клочья, не слушаясь ни арапника, ни рога. В такой обстановке оказалось невозможным уловить след Даши — след пропал. Тогда Бим дал круг по-над вокзалом и вышел на перрон. Здесь люди стояли группами около дверей длинных домиков на колесах, не рычали, не толкались, а, наоборот, обнимались, целовались и даже плясами в одном месте, у двери домика. Никому не было дела до Бима, потому он свободно сновал челноком под ногами и сосредоточенно вчитывался в перрон.

И вдруг у одной из дверей пахнуло Дашей. Бим потянул к порогам, но женщина с большим жетоном на груди отогнала его. Однако Бим не сдался: он стал пронюхивать окна и всматриваться в них. Потом заметил, что последним вошли в домик две женщины в белых халатах. Он бросился было к ним, но домики потихоньку поехали. Бим кинулся к окнам. В его собачьем уме возникли совершенно, казалось, правильные заключения: Даша там, люди в белых халатах там, значит, Иван Иванович может быть там тоже. Может! Не увезли ли его люди в белых халатах?

И Бим, бедный Бим, теперь уже несчастный Бим, сначала легко бежал вровень с домиками, заглядывая в окно. Тут-то и увидела его Даша.

— Бим! Би-им!! — закричала она.— Милый Бим! Пришел проводить! Мой добрый Бим! Би-и-м! Би-и...

Голос ее становился все тише и тише. Домик убегал. А Бим, как ни старался, как ни напрягался изо всех сил, все отставал и отставал.

Потом он бежал некоторое время за последним домиком, до тех пор, пока тот не скрылся из виду, бежал и дальше, по той же дороге, потому что она никуда не сворачивала. Долго бежал. И наконец, еле переводя дух, пал между рельсами, вытянув все четыре лапы, задыхаясь и тихонько скуля. Надежды не оставалось никакой. Не хотелось никуда идти, да он и не смог бы, ничего не хотелось, даже жить не хотелось.

Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно — тихо, без ропота, в страданиях, не известных миру. Не дело Бима и не в его способностях понять, что если бы не было надежды совсем, ни одной капли на земле, то все люди тоже умерли бы от отчаяния. Для Бима все было проще: очень больно внутри, а

друга нет, и все тут. Как лебедь умирает после потери любимой, взмывая вверх и бросаясь оттуда камнем; как журавль, потеряв родную и единственную журавлиху, вытягивается плашмя, распластав крылья, и кричит, кричит, прося у луны смерти; так тогда и Бим: лежал, видел в бреду единственного и незаменимого друга и готов был ко всему, даже не сознавая этой готовности. Но он теперь молчал. Нет на земле ни единого человека, который слышал бы, к а к умирает собака. Собаки умирают молча.

Ах, если бы Биму сейчас несколько глотков воды! А так, наверно, он не встал бы никогда, если бы...

Подошла женщина. Она была в ватном пиджаке и ватных же брюках, голова повязана платком. Сильная, большая женщина. Видимо, она сперва подумала, что Бим уже мертв,— наклонилась над ним, став на колени, и прислушалась: Бим еще дышал. Он настолько ослабел со времени прощания с другом, что ему, конечно, нельзя было устраивать такой прогон, какой он совершил за поездом,— это безрассудно. Но разве имеет значение в таких случаях разум, даже у человека!

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла:

— Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так бежал, горемыка?

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до жути — провожать навсегда, это все равно что хоронить живого.

Она каялась Биму:

— Я вот — тоже. И отца, и мужа провожала на войну... Видишь, Черное ухо, старая стала... а все не забуду... Я тоже бежала за поездом... и тоже упала... и просила себе смерти... Пей, мой хороший, пей, горемыка...

Бим выпил из рукавицы почти всю воду. Теперь он посмотрел женщине в глаза и сразу же поверил: хороший человек. И лизал, лизал ее грубые, в трещинах, руки, слизывая капельки, падающие из глаз. Так второй раз в жизни Бим узнал вкус слез человека: первый раз — горошинки хозяина, теперь вот эти, прозрачные, блестящие на солнышке, густо просоленные неизбывным горем.

Женщина взяла его на руки и снесла с полотна дороги под откос.

— Лежи, Черное ухо. Лежи. Я приду,— и пошла туда, где несколько женщин копались на путях.

Бим смотрел ей вслед мутными глазами. Но потом с огром-

ным усилием приподнялся и, шатаясь, медленно побрел за нею. Та оглянулась, подождала его. Он приплелся и лег перед нею.

— Хозяин бросил? — спросила она.— Уехал?

Бим вздохнул. И она поняла.

Подошли они к той группе работающих. Все здесь были женщины, одеты так же, как и Хороший человек, а сбоку стоял и мужчина, в треухе на затылке и с трубкой в зубах. Он спросил сердито:

— За собакой увязалась, Матрена? А кто будет работать? Эх ты, Матрена, Матрена... Одно слово — Матрена,— и тыкал пальцем в ее сторону.

Бим уловил: Хороший человек — это Матрена. Она приказала ему лежать у обочины, а сама взяла какие-то огромные клещи и вцепилась ими в шпалу вместе с другими женщинами.

— Раз-два, взяли! — рявкнул мужчина.— Еще разик! Еще раз! — орал он подбоченясь и даже гордо.

На каждый его крик женщины отвечали дружными рывками так, что бревно подчинялось и ползло за ними, зажатое со всех сторон клещами. При каждом таком рывке лица женщин напрягались до красноты, а у одной из них, худосочной и квелой, наоборот, лицо бледнело и даже синело. Эту Матрена отстранила рукой и сказала ей так, как когда-то говорил хозяин Биму, отгоняя его:

— У й д и! Отдохни, а то богу душу отдашь.— И к мужчине: — Ну, кричи, что ль, антихрист!

— Раз-два, взяли! — гаркнул тот и, поправив треух, стал выводить как бы с огромным трудом: — Ой бабочки, еще раз! Муж уехал на Кавказ! Не доехал до Кавказа! Оженился там, зараза! Стоп! Ложи струмент!

Слово «зараза» Бим уже слышал от Курносого дядьки: плохое слово. Других слов он не понял.

А женщины положили в сторону клещи, взяли железные клинья и стали забивать их тяжелыми и длинными молотками. Матрена легко, вроде бы играючи, вколачивала штырь тремя ударами, а Квелая при каждом ударе охала, стонала:

— Ах-ха! Ох-ха!

— Давай, давай! — покрикивал Зараза, набивая трубку.— Давай, давай, Анисья! — Он приблизился к женщине: — С потягом бей, с потягом на себя — легче пойдет.

Анисья — это квелая. Она дольше других возилась с каждым клином и в конце концов оказалась на отшибе. Странное для женщин произошло тут событие и непонятное: Бим подошел к Анисье расслабленной походкой и тоже, как Матрене, полизал горькие брезентовые рукавицы. Все приостановили работу и с удивлением смотрели на Бима.

Потом они, по приказу Заразы, сели все под кустами и

обедали, каждая из своего узелка. И покормили Бима. Он ел. Теперь он уже брал пищу из рук хороших людей. Это было его спасением.

К вечеру он забеспокоился: подходил к Матрене, садился, вяло семенил передними лапами, смотрел ей в лицо, снова отходил, ложился, но вскоре опять подходил и снова отдалялся.

— Уйти хочешь, Черное ухо,— догадалась Матрена.— Ну, иди, ступай, Черное ухо. Куда же я тебя дену? Некуда. Иди.

Бим попрощался и пошел, медленно, шагом, не по-собачьи. Пошел вдоль железной дороги обратно. Дорога есть дорога, она указывает, куда идти,— никогда не собьешься, если взял правильное направление. Только вот все тело мучительно ныло от вчерашних побоев Серого, трудно было дышать на ходу, но — что поделаешь! — идти надо, благо он подкрепился у добрых женщин, да и тропинка по бровке была гладкой и ровной. Постепенно втянувшись, он легонько-легонько и затрусил. Как же живучи собаки и отходчивы!

Если посмотреть со стороны, ничего особенного в этом не было: по полотну железной дороги семенила хворая собака. И только.

Ближе к городу из одного пути стало два: еще пара железных непрерывных полос потянулась рядом. Потом их стало три. Недалеко от будочки неожиданно заморгали поочередно два красных глаза: левый, правый, левый, правый — метались из стороны в сторону. Красное для всех зверей неприятно; волк, например, не в силах даже перепрыгнуть линию красных флажков, а лисица, обложенная ими, остается в кольце на двое-трое суток и больше. Так что Бим решил обойти громадные красные живые глаза. Он сошел на третью линию рельсов, остановился, вглядываясь в моргающее красное, еще не решаясь идти дальше. И вдруг под ногами что-то скрежетнуло...

Бим взвыл от страшной боли, но никак не мог оторвать лапу от рельсов: на стрелке лапа попала в могучие тиски. Из воя Бима и можно было понять только одно: «Ой, больно! Помоги-ите-е!»

Людей поблизости нет. Люди не виноваты. Отгрызть собственную лапу, как это делает иногда волк в капкане, собака не может, она ж д е т помощи, она н а д е е т с я на помощь человека.

Но что это? Два огромных ярких белых глаза осветили путь и самого Бима, они ослепили его, надвигаясь медленно и неумолимо. Бим сжался в комок от боли и страха. И замолчал в предчувствии напасти. Но гремящее существо с такими глазами остановилось шагах в тридцати, а в зону света впрыгнул из темноты человек и подбежал к Биму. Потом, сразу же, появился и второй.

— Как же ты попал, бедняга? — спросил первый.

— Что же делать? — спросил у первого второй.

От них пахло почти так же, как от шоферов, оба были в фуражках с большими медалями.

— За остановку нам влетит, хоть мы и рядом со станцией,— сказал первый.

— Теперь все равно,— отозвался второй и пошел в будочку.

Наш бедный Бим понял по интонации (не по словам): это его спасители. Он слышал, как пронзительно зазвонил в будочке звонок, а через минуту тиски отпустили лапу. Но Бим не двигался, он оцепенел. Тогда его взял человек и отнес за линию дороги. Там Бим закрутился волчком на месте, зализывая раздавленные пальцы. И однако (до чего же собаки наблюдательны!) он слышал говор из окон и дверей поезда; теперь, не ослепленный светом, он видел поезд из темноты сбоку; разные голоса повторяли слова «собака» и «охотничья», слова очень понятные.

Бим был благодарен хорошим, добрым людям. Вот так. Где-то кто-то перевел стрелку той дороги, по которой доверительно шел Бим. И никакому «кто-то» нет теперь дела до того, что какой-то собаке защемило ногу и она стала калекой. Как бы там ни было, но теперь он уже никогда не пойдет по железной дороге: это он понял так же, как понял еще в юности, что там, где бегут автомобили, ходить нельзя.

Бим попрыгал на трех ногах, измученный, изуродованный. Он часто останавливался и лизал онемелые и уже припухшие пальцы больной лапы, кровь постепенно утихла, а он все лизал и лизал до тех пор, пока каждый бесформенный палец не стал идеально чистым. Это было очень больно, но другого выхода не было; каждая собака это знает: больно, но терпи, больно, а ты лижи, больно, но молчи.

...К родной двери он прихромал далеко за полночь. Нет! Опять нет следов Ивана Иваныча. Бим хотел поцарапаться в дверь, как обычно, но, оказалось, нельзя: с больной ногой невозможно не только встать на задние лапы, но даже и сесть,— только стоять на трех ногах или лежать плашмя. Тогда он уткнулся носом в угол двери и проверил запахи внутри: хозяина не было. Значит, уехал совсем. Так он стоял долго, как бы поддерживая головой ослабевшее тело. Затем подошел к двери Степановны и громко, коротко, в отчаянии сказал:

«Гав!» (Я тут.)

Степановна ахнула:

— Ах, боже ж ты мой! Да где же тебя так-то? — Открыла дверь, впустила и вошла с ним в его квартиру.— Ой ты, собака, собака, несчастная собака, что же мне с тобой делать-то теперь? И что скажет Иван Иваныч?

Бим только было лег посреди комнаты, вытянув ноги, но... Как так? «Иван Иваныч»? Бим поднял голову, повернул ее с усилием к Степановне и смотрел, смотрел на нее, не спуская глаз, он явно спрашивал: «Иван Иваныч? Где?»

Степановна не умела обращаться с собаками, не знала, как кормить и ухаживать, она, однако, умела жалеть. Может быть, чувство жалости и помогло ей теперь понять Бима, догадаться, что слова «Иван Иваныч» пробудили в больной собаке проблеск надежды.

— Да, да, Иван Иваныч,— подтвердила она.— Подожди-ка: я сейчас приду.— Торопливо выйдя, она сразу же и вернулась с письмом в руках, поднесла его к носу Бима: — Видишь вот? Письмо прислал Иван Иваныч.

Бим, бедный Бим, умиравший и воскресший, раздавленный и спасенный, больной и без капли надежды, Бим задрожал. Он уткнул нос в письмо, потом прошелся ноздрями по краям: да, да, да... вот о н сильно провел пальцами по конверту туда-сюда... Когда Степановна подняла конверт с пола и вынула из него письмо, Бим с усилием встал и потянулся к ней; теперь достала из того же конверта совершенно чистый лист бумаги и положила его перед Бимом. Он завилял хвостом: здесь написан запах пальцев Ивана Иваныча, да, это он нарочито тер пальцами.

— Тебе прислал-то,— сказала Степановна.— Так и пишет: дайте Биму этот чистый лист.— Она близко указывала на бумагу, приговаривая: — Иван Иваныч... Иван Иваныч...

Бим вдруг расслабленно опустился на пол и вытянулся, положив голову на лист. Из глаз его покатились слезы. Бим плакал первый раз в жизни. Это были слезы надежды, счастливые слезы, скажу я вам, лучшие в мире слезы, не хуже, чем слезы радости встреч и счастья.

...Дай-то бог, дорогой читатель! Но верь мне: сеттер умеет смеяться и плакать.

...Степановна начинала понимать собаку, но она поняла и то, что ей не справиться, не осилить одной, не может. Долго она сидела около Бима и думала о своей жизни. И так ей захотелось в деревню, где она родилась и выросла, так стало тоскливо в этих каменных клетках, где люди годами не знают друг друга, живя в одном доме, даже в одном подъезде. Но все же догадалась она дать Биму воды.

Ой как надо было ему воды! Он, чуть привстав, пил жадно, теряя капли на пол, а потом снова лег в том же положении. Бим закрыл глаза, казалось, забылся.

Уже перед рассветом Степановна вышла, так тихо, будто боялась побеспокоить тяжело больного человека.

А посреди комнаты лежала всего лишь одинокая собака.

Сколько Бим проспал, он не знал: может, несколько часов,

может, и сутки. Проснулся от жгучей боли в ноге. Был день, потому что светило солнце. Несмотря на боль, он понюхал листок. Запах хозяина стал слабее и дальше, но это было уже неважно. Главное в том, что о н есть, где-то есть, и его надо искать. Бим встал, напился из миски и заходил по квартире на трех ногах; было больно, но он ходил, ходил, ходил из комнаты в прихожую и обратно, кружил по комнате. Инстинкт ему подсказывал: если отлежал один бок, если больно, то надо ходить. Вскоре приспособился передвигаться, не причиняя боли раздавленной лапе: ее надо слегка поднимать вверх, а не волочить над полом — тогда боль меньше. Когда же Степановна принесла еду, он уже повилял ей хвостом, порадовал, а потом и поел. И почему, собственно, не поесть, если появилась надежда и возникли в собачьей голове два магических слова — «искать» и «ждать».

Но сколько он ни просился, сколько ни требовал, Степановна не выпускала его. (Сиди дома, ты — больной.) Но наконец и тут она уяснила, что Бим — существо живое, что ему тоже надо выйти по надобности. Она, безусловно, не знала, что были случаи, когда собаки умирали от разрыва кишечника или задыхались при запорах, если тех собак не выпускали более трех дней. А такие случаи были не раз.

Большая человеческая жалость и доброта души руководили Степановной в ее жизни. Только и всего. Она прицепила поводок к ошейнику и пошла. А Бим захромал рядом.

Во дворе, в дальнем углу, стояли двое: старая седая женщина и хромая худущая собака — вот такая получилась картина.

Ребятишки выскакивали из подъездов, спешили в школу, но многие из них подбегали и спрашивали:

— Бабушка, бабушка, почему Бим на трех ногах?

Или так:

— Бимка, больно тебе?

Но в школу бежать надо: это большая ответственность — ходить в школу, самая первая ответственность в жизни — перед семьей, перед учителем, перед друзьями. Потому они и не задерживались, убегали. Это обстоятельство оказалось очень важным и для Степановны, и для Бима, хотя они ничего не подозревали, а просто ушли домой, когда наступило к тому время.

У подъезда встретил их Палтитыч (Павел Титыч Рыдаев) и обратился к Степановне:

— Такое дело, значит. Кобель этот — собака стоящая, и ее надо беречь. Раз уж хозяин дал тебе поручение, то вот тебе совет: привяжи на цепь. Обязательно. Иначе убежит. Не укараулишь. Выскочит в дверь, и — каюк.

— Да разве ж можно такую умную собаку на цепь? — не очень уверенно возразила Степановна.

— Что, и тебя надо воспитывать? Учти: без хозяина и без цепи кобель почует волю. И — каюк.

— Да он же обозлеет, цепной сделается.

— Пойми ты, темный ты человек! Обозлеет — зато жив будет. На цепь, на цепь — вот тебе и вся моя инструкция. Добра желаючи говорю: на цепь!

Не подчиниться председателю домкома Степановна не могла, поэтому она купила цепочку за рубль десять и на ней выводила Бима во двор. Но дома отцепляла ее от ошейника и бросала в уголок. Хитрая бабушка Степановна — и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, ей самой пришлось выходить с Бимом всего лишь два-три раза, причиной чего оказались необыкновенные события, развернувшиеся вокруг имени Бима.

Глава 9

МАЛЕНЬКИЙ ДРУГ, ЛОЖНЫЕ СЛУХИ, ТАЙНЫЙ ДОНОС НА БИМА И ОТСТУПЛЕНИЕ АВТОРА

В школе, делясь новостями, ребятишки на первой же перемене распространили слух: есть в их дворе собака — ходила на четырех ногах, а теперь на трех, и худущая-прехудущая, а была не худущая, и она была гладкая, а теперь взлохмаченная, была веселая, а теперь унылая, и зовут ее Бим; хозяина увезли в Москву на операцию, а водит ее теперь бабушка Степановна.

Слух дошел до одного из учителей-методистов, тот на очередном районном собрании работников просвещения осветил это на следующий день в интересном выступлении приблизительно так: растет молодое поколение отличное, оно «приобщается к идее доброты, включающей в себя жалость, как таковую, ко всему живущему на Земле». Все это он подтвердил глубоким, опять же, интересом одной школы даже к какой-то неизвестной собаке с черным ухом, хозяина которой надолго положили на операцию.

Три дня подряд во всех школах района города учителя говорили детям о жалости к животным и рассказывали, как хорошо и тепло отнеслись в школе номер такой-то к собаке. Но наиболее осторожные, однако, предупреждали, что собака, в таком случае, не должна быть бешеной, чего и следует остерегаться. В школе, где учился Толик, учительница рассказывала об этом же, но просто и душевно.

— Ну, подумайте, дети, вы только подумайте! — говорила она.— Какой-то жестокий человек оторвал у собаки ногу. (Так

несколько изменился слух уже среди учителей: слух есть слух!) Это недостойно советского человека! А несчастная собачка с черным ухом навеки калека.— Она нашла в тетради нужную страничку и продолжала: — Теперь, дети, напишем сочинение, маленькое и теплое, на свободную тему: «Я люблю животных». Для свободного изложения и для того, чтобы вы чего-нибудь не напутали, вот вам планчик-вопросник.

И она написала мелом на доске, глядя в тетрадку:

1. Как зовут вашу собаку?
2. Белая она, черная или какая?
3. Острые у нее уши или вислые?
4. С хвостом она или с коротышкой?
5. Какой она породы, если это известно дома?
6. Ласковая она или злая?
7. Играешь ли ты с ней, а если играешь, то как?
8. Кусается она или нет? Если кусает, то — кого?
9. Любят ли ее папа и мама?
10. За что ты любишь собаку?
11. Как ты относишься к другим животным (куры, гуси, овцы, олени, мыши и другие)?
12. Видел ли ты когда-нибудь лося?
13. Почему корову доят, а лося не доят (домашние животные и дикие)?
14. Надо ли любить животных?

Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав:

— Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?

Учительница посмотрела в блокнот и ответила:

— Бем.

— Бим! — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь класс.— Отпустите меня, Анпална. Пожалуйста! Я пойду искать Бима, я его знаю — он очень добрый. Пожалуйста! — просил он жалобно, готовый в благодарности целовать руки Анпалне.

— Толя! — строго обратилась к нему Анна Павловна.— Ты мешаешь другим работать. Думай и пиши сочинение.

Толик сел. Он смотрел на чистый лист тетради, а видел Бима. Казалось, он сосредоточился на свободной теме вместе со всеми, но он написал только одно заглавие: «Я люблю животных». Лишь незадолго до звонка он начал быстро-быстро сочинять ответы. Даже и после звонка он на некоторое время задержался, а Анна Павловна, как обычно в таких случаях, сидела за столом и терпеливо ждала. Наконец Толик, мрачный, неизвестно чем недовольный, положил перед Анной Павловной свое сочинение. И вышел.

Его работа, таким образом, была сдана самой последней,

поэтому, как и всегда, Анна Павловна прочитала ее самой первой (сверху лежит).

Толик точно, даже с превышением, ответил на все вопросы свободной темы. Его творение включало даже и поэтические опыты, хотя и с явным плагиатом из популярной песенки, знакомой каждому малышу. В общем же все выглядело так:

Я ЛЮБЛЮ ЖИВОТНЫХ

Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Уши вислые. Хвост настоящий. Порода охотничья, не овчарка. Ласковая. Играл один раз, но какой-то дядька-зуда увел, дурной старикан и неподобный ни на что. Не кусается. Мама и папа ее любить не могут, она чужая, с желтой табличкой на шее. За что люблю, не знаю, просто так. Кур, гусей, овцы, олени, мыши люблю, но мышей боюсь. Лося пока не видел, они в городе не живут. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах и чтобы выполнялся план. («А ведь он дефективный!» — подумала Анна Павловна.) Лося не доят потому, что в магазинах не бывает лосинового молока и оно никому не нужно. Животных любить надо, а собака лучший друг человека. Я сочинил песенку сейчас:

И лось хорошо,
И олень хорошо,
И мышь хорошо,
А собака лучше.

Еще я заводил морских свинок, но мама сказала, они очень пахучие в квартире, нос зажимай, и отдала чужой девочке. А Бима я все равно найду, пусть даже вы меня и не отпустили. Все равно найду, сказал найду и найду. Хоть вы Анна Павловна, мне все равно.

У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же из рамок вон выскочил! Он же черт те о чем думает. В тихом омуте...» Последнюю мысль она не стала додумывать дальше, так как была педагогом, а просто, с сознанием долга, поставила двойку.

Вот ведь как оно выходит. Анна Павловна была на хорошем счету, дети ее, похоже, любили и слушались, за исключением некоторых, без каковых, впрочем, не обходится ни в одном классе. Воспитание — штука сложная, сложнейшая, скажу я вам, потому, видимо, Толик и написал такое, одно из первых своих, сочинение: просто-напросто от необъяснимой обиды и, конечно, несознательно, если иметь в виду, что о морских свинках и об Анне Павловне никаких вопросов в теме не было. Может

быть, с возрастом он и поймет свою ошибку детства, но пока ему этого не сообразить. Он даже не пришел в класс после перемены. А это уже — ЧП!

Толик поехал из своего нового района в другой, старый, в ту школу №... и допытался-таки у ребят обо всем: когда они видели Бима и где он живет. К радости своей, он узнал также, что нога вовсе не оторвана, а только висит. И пошел с ребятами в тот дом, к Биму.

Он нажал кнопку звонка. Бим ответил вопросом: «Гав! (Кто там?)»

— Это я — Толик! — крикнул гость. Потом услышал, как Бим, прислонив нос к щели, фыркал и втягивал воздух.— Бим, это я — Толик.

Бим взвизгнул, залаял. Так он кричал: «Здравствуй, Толик!»

И мальчик его понял, впервые понял фразу из собачьего языка.

Степановна, услышав лай и разговор человека с собакой, вышла:

— Ты чего, мальчик?

— Я — к Биму.

Выяснилось все без труда. Они вошли вдвоем.

Толик не узнал Бима: поджарый, без живота, свалявшаяся шерсть, кособокая походка, выпирающие наружу ребра — нет, это не Бим. Но глаза, умные и полные ласки, сказали: «Я — Бим».

Толик присел на корточки и дал волю собаке. Бим, обнюхивая его, лизал пиджачок, подбородок, руки и наконец положил мордаху на носок ботинка Толика. Казалось, он успокоился.

Все рассказала Степановна Толику, незнакомому мальчику, все, что знала о Биме и об Иване Иваныче, но не могла только объяснить, где и кто раздавил лапу.

— Судьба,— определила она.— И у каждой собаки — своя судьба.

Говорила она с мальчиком спокойно, хоть и с горечью, не кичась своей старостью и не подозревая своего большого жизненного опыта, на равных.

— А где табличка? — спросил Толик.— Была же. Я читал.

— Была. Тебя как звать-то?

— Толик.

— Толик — это хорошо... Была. Кто-то снял, стало быть.

Толик подумал: «Он снял, Серый дядька». Но все-таки вслух не произнес, поскольку не был еще уверен в этом.

— И что я с ним буду делать, господи? — спросила Степановна, глядя на Бима.— И жалко-то, и что делать — не знаю. Витинара бы ему.

— Ветеринара,— поправил Толик, тоже не ощущая своего превосходства, и ответил на вопрос «что делать»: — Я буду приходить каждый день после школы, буду его водить. Можно?

Так нашелся у Бима новый маленький друг. Он ежедневно, после обеда, ехал через весь город к Биму, ходил с ним по двору, по улицам, по парку и, к удовольствию всех ребят, говорил гордо:

— Собака — лучший друг человека.

Смысл в этих словах был совсем иным, чем в сочинении, написанном от обиды.

Но твердо решил Толик: найти того Серого дядьку и поговорить начистоту. В своем новом районе он стал его подкарауливать. И так-таки встретил лицом к лицу.

— Дяденька,— спросил он, приподняв козырек фуражки и заложив руки за спину,— зачем вы сняли табличку с Бима?

— Ты что, очумел, мальчик? — ответил тот вопросом на вопрос.

— Вы же его увели с табличкой. Я видел не один.

— И отпустил с табличкой. Он же меня укусил! Небось отпустишь, если кусается, как волк.

— Вы, дяденька, врете: Бим ласковый пес.

— Я? Я вру, щенок?.. Где твои родители? Где твои родители? Говори! — присучился он.

Отчасти Серый был прав. Именно отчасти: он не врал, что был укушен Бимом, и имел полное право возмущаться, но он врал, что будто бы не снимал табличку с ошейника. Первопричиной происшедшего он считал укус Бима, но не снятие таблички, а перестановка местами причины и следствия всегда очень выгодный прием доказательства. Он был глубоко убежден, что говорит правду, но то, что он говорил не всю правду,— это его уже не касалось. А кто знает, где она, причина, и где следствие: собака укусила сначала или табличка снята сперва? Это так и останется тайной для всех. Но Толик был глубоко убежден в том, что Бим укусить Серого не мог, потому что он — человек, а не заяц какой-нибудь или лисица. Потому он и повторил еще раз:

— Вы обманываете меня, дяденька. Это — стыдно.

— Бр-рысь! — гавкнул дядька. И ушел, прихрамывая и отставляя зад в сторону (видимо, здорово тяпнул его Бим).

Удивительно, как бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды.

Серый же шел и думал: «Пойдет с теми сопляками в милицию, доложит, они придут, увидят коллекцию... Нет, юбилейный, пятисотый, не отдам. За него можно дать двадцать знаков любых». И он решил: «Лучший вид обороны — нападение».

Дома он написал заявление, а затем отнес его в ветеринарный пункт. Там прочитали:

«...Бежала собака (беспородный сеттер с черным ухом), с разлету укусила, вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса и убежала дальше... Бежала она как бешеная, опустивши и хвост, и голову к земле, глаза были налитые кровью... Либо ее изловить и уничтожить, на что дать распоряжение бригаде ловцов бродячих собак, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности...» и т. д.

Ветврач заволновался:

— Куда укусила? Когда? Где? При каких обстоятельствах?

Серый врал, как заправский сочинитель, только без малейшего воображения. Для врача же все было ясно из личного документа укушенного, а именно: укушен бродячей собакой на улице! Он снял трубку телефона и вызвал дежурного пастеровского пункта.

Вскоре, буквально через несколько минут, приехала на автомобиле женщина-врач, спустила брюки Серого, глянула, спросила:

— Сколько дней прошло?

— Дней десять,— ответил невольный пациент.

— Через четыре дня сбеситесь,— категорически утвердила врач. Но так как пациент ничуть не заволновался от такого приговора, у нее возникли, видимо, какие-то сомнения, что ли, и она спросила: — А сколько месяцев вы не купались?

— С третьей субботы перед укушением. Боялся засорить, как бы антонов огонь не схватить... Место-то серьезное...

Вмешался ветврач:

— Место у вас действительно серьезное. Как телевизор. (Он был шутником, этот симпатичный ветврач.)

— Что же вы наделали! — воскликнула женщина-врач, еще раз присмотревшись к ране.— На пункт, на пункт, на пункт! Немедленно уколы против бешенства... в живот... в течение шести месяцев.

— Да вы что, очертенели! — взревел Серый дядька.

— Ничего не очертенели,— спокойно обрезал его ветврач.— Не подчинитесь — будем силой действовать, через милицию, дома вас возьмут, если вы такой темный человек.

— Я? Темный человек?! — вскричал Серый.— Да вы знаете, где я в свое время работал?!

— Меня это не касается,— ответила врач.— На пункт! — добавила она еще строже, чем прежде.

Теперь доносчик регулярно должен был ходить на уколы в определенные дни и часы. Мало приятного, попал как кур во щи: кобель — за задницу, а доктора — в живот.

А дальше было так.

Как уж они сошлись с Теткой той — неизвестно, но как-то сошлись. Может быть, они были знакомы давно (пожалуй, так оно и было), но в тот день они встретились на улице. Такие чуют друг друга так же, как рыбак рыбака, дурак дурака, а клеветник клеветника. Сошлись, значит, и разговорились. Выяснилось, что он кособочится от укуса собаки с черным ухом.

— Да я же ее знаю! Ей-богу, знаю! — всхрапнула Тетка.— И меня кусала.

Серый-то знал, что она врет, однако же сказал так:

— Я лично написал заявление, чтобы ее изловили и уничтожили. Так подсказывает мне совесть.

— И правильно подсказывает! — с воодушевлением поддержала Тетка.

— А вы тоже напишите... если, конечно, вы честный человек.

— Я? Я не отступлю!

И она в тот же день отнесла заявление туда же в ветеринарный пункт. В глубине души Серый думал (про себя думал): «Раз соврала, то пусть-ка тебя доктора — в животик». Он не любил, когда ему говорили неправду, и гордился этим. Ну, Тетка и попала тоже как кур во щи: вопила, ругалась, врала по мере надобности, в частности про то, что ранка была небольшая и уже зажила, тыкала пальцем в старый шрамчик на руке и еще кричала, что она, как честная советская женщина, написала для пользы дела, а ее за то наказывают в живот.

Странно, но почему-то ее отпустили, записав адрес, и сказали: мол, заедем завтра на дом для выяснения. Как бы там ни было, но Тетка возненавидела Бима лютой ненавистью, Серого — тоже, но несколько меньше, хотя он и подвел ее под монастырь.

В связи с такими двумя заявлениями через два дня в областной газете появилось объявление:

«Есть основание полагать: собака, беспородный сеттер, ухо черное, кусает прохожих. Знающих местопребывание таковой, а также укушенных просим сообщить по адресу... на предмет изловления для анализа и ликвидации возможных последствий. Граждане! Берегите свое здоровье и здоровье других — не молчите»... и т. п.

В ближайшие дни немедленно посыпались письма читателей. В одном из них сообщалось:

«...(такого-то числа и месяца сего года)... бежала собака в направлении к вокзалу (беспородный сеттер, ухо черное), она не разбирала ничего и перла напрямую; так здоровые духом собаки не бегают — напрямую или наискосок через площадь, а обходят препятствия или предметы, встречающиеся на пути

следования. Хвост был опущен вниз, и морда была действительно опущена вниз. Вышеупомянутая собака (беспородный сеттер, черное ухо) вполне опасна, может укусить любого гражданина Советского Союза и даже иностранного туриста, каковые есть, а потому ее следует ловить и ликвидировать без никаких исследований, о каковых упомянуто в объявлении вашей уважаемой нами газете».

Под петицией стояло двенадцать подписей.

Были и другие письма (всех не упомянешь). Ну, например, такое: «...Точно такая же собака, но без черного уха, бежала тоже напрямую»... Или: «Город забит собаками, а которая из них бешеная, понять невозможно никак». Или: «И вовсе та собака не бешеная, сами вы бешеные, витинары». Или: «Если облисполком не может поставить на широкую ногу организацию планомерного, рассчитанного на года, уничтожения собак, то куда мы идем, товарищ редактор? Где план? Где действенная критика и почему вы к ней не прислушиваетесь? Хлебы-то мы умеем печь, а вот охранить здоровье трудящегося гражданина — кишка тонка. Я — честный человек и говорю всегда в глаза одну матку-правду. И не боюсь я никого, кстати. А вы подумайте над теми моими словами. Мне уже терпеть нету мочи: пишешь, пишешь, а толку ноль».

В общем, писем было так много, что развернулась дискуссия, следствием чего явилась редакционная статья «Том в квартире», где приводились выдержки из письма доцента пединститута. Тот доцент был явным собаконенавистником. Почему это так, трудно догадаться, но воспитательное значение для детей и юношества его высказывание имело огромное: если они его поймут правильно, то с малых лет будут душить собак, заботясь о здоровье трудящихся, а на человека, содержащего дома собаку, будут коллективно и дружно кричать на улице: «Бездельник!» (таким словом доцент обозвал людей, любящих собак), «Грязнуля!» (тоже творчество того доцента).

Как уже сказано выше, всех писем перечислить не представляется возможным, но одно приведем все-таки, последнее. Оно было из двух строк. Читатель просто задал вопрос: «А на обоих ухах по черному если — бить?» То был читатель-практик, далекий от абстрактного восприятия мира. Но тем не менее это письмо не попало ни в статью, ни вообще на страницы печати и даже осталось без ответа. Только подумать! Какое неуважение к запросам человека, предлагающего свои услуги.

Есть, есть еще читатель отзывчивый, не перевелся, слава богу. Такой читатель не пропустит возможности высказаться и заклеймить. Так вот и в нашей истории: Бима искали уже по всему городу, опорочили добрую собаку. А за что? Ладно:

пусть он укусил, скажем,— это правда, а обстоятельства при укушении и то, что он бешеный,— это сущая неправда. Заботливый читатель смешал все это вместе не по своей вине: он не подозревал клеветы, а у нее хоть и короткие, но зато прочные ноги.

Но редактор вовремя заметил, что дискуссия эта — стихийная, вызванная, видимо, укушенным человеком, дискуссия вовсе не организованная, а самотечная. И он поступил мудро — дал объявление нонпарелью (тем шрифтом, какой никогда не пропустит устойчивый читатель): «Собака Черное ухо — поймана. Редакция прекращает дискуссию на эту тему. Рукописи не возвращаются».

Редактор тот был юморист, чего «читатель-борец» терпеть не может.

Но то была неправда: Бима никто не изловил. Просто-напросто Толик, узнав в школе про объявление, нашел перед вечером квартиру ветврача, позвонил, а когда ему открыли, сказал:

— Я — от Черного уха, от Бима.

Выяснился вопрос незамедлительно: на следующий день Толик поехал к Биму и отвел его, трехногого, на ветеринарный пункт к врачу. Тот осмотрел, сказал:

— Враки вся эта дискуссия. Собака не бешеная, а больная. Избитая и изуродованная. Эх, люди! — как-то неопределенно и безыдейно вздохнул он.

Зато осмотрел больную лапу, ослушал внутренности, выписал мазь для ноги, дал микстуру для внутренностей и, провожая друзей — мальчика и собаку, спросил на прощание:

— Тебя как же зовут, герой?

— Толик.

— Ты хороший мужик, Толик. Молодец!

Бим, уходя, тоже поблагодарил врача. От него пахло лекарствами, но он вовсе не был больной, а, наоборот, высокий, мужественный человек с добрыми глазами.

«Хороший человек,— сказал ему Бим хвостом и взглядом.— Очень хороший вы человек!»

*

...Читатель-друг! Не тот читатель, что мнит, будто без его клеймящих писем собаки поедят всех граждан и гражданок, нет — не тот. Другой — мой читатель, к тебе обращаюсь. Прости, что в лирическо-оптимистической повести о собаке я иногда напишу одну-две сатирические картинки. Не обвиняй в нарушении законов творчества, ибо у каждого писателя свои «законы». Не обвиняй, дорогой, и в смешении жанров, ибо сама

жизнь — смешение: добро и зло, счастье и несчастье, смех и горе, правда и ложь живут рядом, и так близко друг к другу, что иногда трудно отличить одно от другого. Хуже мне было бы, если б вдруг ты заметил у меня полуправду. Она похожа на полупустую бочку. А ведь разницу между полупустой и полуполной бочкой доказывать нет смысла.

Главное, я за то, чтобы писать обо всем, а не об одном и том же. Последнее вредно. Ты подумай! Если писать только о добре, то для зла — это находка, блеск; если писать только о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в конце концов не будут их замечать; если писать только о серьезно-прекрасном, то люди перестанут смеяться над безобразным.

Впрочем, сказать, я ведь и пишу только о собаке. В подтверждение чему следуют дальнейшие главы занимательных и, замечу кстати, не всегда веселых историй с нашим добрым Бимом.

Глава 10

ЗА ДЕНЬГИ

Благодаря стараниям Толика и Степановны Бим поправлялся. А недели через две лапа стала заживать, хотя и осталась разлапистой, широкой по сравнению с остальными; Бим уже пробовал на нее наступать, но пока еще так, немножко — только пробовал. Расчесанная Толиком шерсть придала Биму вполне пристойный вид. А вот голова стала болеть не переставая: от ударов Серого что-то в ней будто сместилось. Иной раз Бим испытывал головокружение; тогда он останавливался, ждал в удивлении, что же с ним будет, но потом, слава богу, прекращалось до следующего приступа. Так вот и у человека, травмированного или ошеломленного несправедливостью, неожиданно, не сразу, а через некоторое время, вдруг зашумит в ушах, закружится голова, заскочит не туда сердце, и он, покачиваясь, останавливается и ждет в горестном удивлении, что же с ним будет; потом действительно проходит, а иногда даже и не повторяется. Все бывает и все проходит. Человек — тоже животное, только более чувствительное.

Лишь поздней осенью, уже по устойчивым заморозкам, Бим пошел на четырех ногах, но так-таки и прихрамывал — нога почему-то стала чуть короче. Да, Бим остался калекой, хотя с головой дело будто бы и уладилось. Истинно: все бывает и все проходит.

Это еще ничего бы, но хозяина-то нет и нет. И листок письма давно уже ничем не пахнет, а лежит в углу как обыкновенная,

всегда бесполезная бумага. Бим уже мог бы снова искать друга, но Толик не спускал с поводка, когда с ним гулял. Толик все еще боялся и того объявления в газете, и Серого дядьку, да и прохожие иногда спрашивали: «А не та ли это собака, бешеная, с черным ухом?» Толик не отвечал и быстро уходил, оглядываясь. Он мог бы сказать: «Нет, не та собака» — и делу конец. Но он не умел лгать и скрывать свои чувства — страх, опасение, сомнение и прочее; даже наоборот, все это проявлялось открыто и прямо: ложь он называл ложью, правду — правдой. Более того, в нем зарождалось чувство юмора, как одного из способов выражения справедливости, настоящего юмора, при котором смешное говорится без тени улыбки, хотя обладатель этого чувства может внутренне почти плакать. Первым проявлением этого было то самое сочинение, сути которого он сам еще не понимал. Он еще ничего не понимал как следует, он только смутно начинал догадываться кое о чем.

Итак, мальчик в спортивных осенних брючках и желтых ботиночках, в светло-коричневом пиджачке и осенней ворсовой фуражечке каждый день, перед вечером, шел с хромой собакой по одному и тому же маршруту. Он всегда был такой чистенький и опрятный, что любой встречный думал: «Сразу видно — из культурной семьи мальчишка». К нему уже стали привыкать ближайшие к его маршруту жители, а некоторые из них спрашивали друг друга: «Чей же это такой хороший и смирный мальчик?»

С внучкой Степановны, Люсей, беленькой ровесницей, тихой и скромной, Толик подружился крепко, хотя почему-то и стеснялся брать ее на прогулки. Зато в квартире Ивана Иваныча они, бывало, забавлялись с Бимом, а тот платил им преданной любовью и неотступным вниманием. Степановна тут же сидела с вязаньем и радовалась, глядя на детей.

Однажды они разравнивали Биму очесы на ногах и подвесок на хвосте, а Люся спросила:

— Твой папа тут, в городе?

— Тут. Только его утром увозят на работу, а вечером привозят обратно, совсем уж поздно. Страшно устает! Говорит, «нервы напружинились до отказа».

— А мама?

— Маме всегда некогда. Всегда. То прачка приходит, то полотеры, то портниха, то телефон звонит без конца — никогда ей нету покоя. Даже на родительское собрание вырваться не может.

— Трудно,— вздохнув, подтвердила Люся чистосердечно, с грустинкой в глазах. Она ведь и задала Толику вопрос лишь потому, что всегда думала о своих папе и маме. Потому-то

и сказала: — А мои папа-мама далеко. Самолетом улетели. Мы с бабушкой вдвоем...— И совсем весело добавила: — У нас два рубля в день, вот сколько!

— Хватает, слава богу,— поддержала Степановна.— Десять буханок белого хлеба купить можно. Куда та-ам! А бывало-то, давно-то — вспомнишь... Да что та-ам! Аж муторно: сапоги мужнины, твоего дедушки, Люся, отдала за буханку...

— А когда это было? — спросил Толик, удивленно вздернув бровки.

— В гражданскую войну. Давно. Вас и на свете не было. Не дай бог вам такого.

Толик с удивлением смотрел на Люсю и на Степановну: для него было совсем непонятно, как это так, чтобы папы и мамы не жили с детьми и чтобы когда-то хлеб покупали за сапоги.

Степановна угадала его мысли по взгляду:

— Да и уехать нам нельзя: квартиру-то надо оберегать... а то отнимут... Теперь вот и эту тоже надо оберегать, пока приедет Иван Иваныч. А как же! Само собой: мы ж — соседы с Иван Иванычем.

Бим присмотрелся к Степановне и догадался: Иван Иваныч есть! Но где он? Искать, надо искать. И он стал просить, чтобы его выпустили. Желание оказалось несбыточным. Он улегся у двери и стал ждать. Казалось, никто из присутствующих ему не нужен. Ждать! — вот цель его существования. Искать и ждать.

Толик заметил, что бабушка Степановна говорит неправильно — «соседы», но теперь, в отличие от первой встречи, промолчал, потому что он уже уважал старушку, хотя и не мог бы сказать, за что, если бы его спросить об этом. Так просто — Люсина хорошая бабушка. Вот Бим, любит же он Степановну. Толик так и спросил:

— Бимка, ты любишь Степановну?

Бим не только знал всех по имени, не только знал, что без имени нет ни одного существа, даже самой паршивой собаки, но он точно исполнял, когда дети приказывали, чьи надо принести тапки. Он и теперь, по взгляду Толика и Степановны, по ее улыбке, понял, что речь идет именно о ней, потому подошел и положил ей голову на колени.

Степановна раньше была равнодушна к собакам (собака и собака, делов-то!), а Бим заставил ее любить, заставил своей добротой, доверием и верностью своему другу-человеку.

Теплые и милые эти четыре существа в чужой квартире — три человека и одна собака. У Степановны на душе было тоже тепло и спокойно. Что еще надо на старости!

Потом, после, через много лет, Толик будет вспоминать эти предвечерние часы со светло-сиреневым окном. Будет. Конечно,

будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия не присосется к его сердцу... Но в тот раз он спохватился:

— Мне надо к девяти домой. В девять — спать, точно. Завтра я тебе, Люся, принесу альбом для рисования и чешские цветные карандаши — ни в одном магазине таких ни за деньги, ни за сапоги не купишь. Заграничные!

— Правда?! — обрадовалась Люся.

— А ты папе-то сказал, куда ходишь? — спросила Степановна.

— Не-ет. А что?

— Надо сказать. Как же, Толик? Обязательно.

— Он же не спрашивает. И мама не спрашивает. Я к девяти всегда дома.

Когда Толик уходил, Бим очень, очень просил, чтобы выпустили, но тщетна была мольба. Его берегли и жалели, не учитывая того, что он страдал и тосковал о друге, хотя и любил их.

На следующий день Толик не пришел. А Люся так ждала его с альбомом и карандашами, каких не бывает в магазинах и какие не купить за деньги. Так ждала! Она и Биму повторила несколько раз:

— А Толика нету. Толик не идет.

Бим, конечно же, понял ее беспокойство, да и время прихода Толика уже прошло, потому он вместе с Люсей заглядывал через окно на улицу и ждал его с нетерпением. Но Толик не появился.

«Сказал отцу»,— подумала Степановна, а вслух произнесла:

— Вот тебе и собака... Плохо нам будет без Толика. Кто же будет водить Бима?

У Люси сжалось сердчишко, оно предсказывало что-то недоброе.

— Плохо,— согласилась она дрожащим голосом.

Бим подошел к ней, посмотрел на ладошки, закрывавшие личико, и чуть проскулил (не надо, дескать, Люся, не надо). Он помнил, как Иван Иваныч, сидя за столом и опершись локтями, иногда так же закрывал ладонями лицо. Это было плохо — Бим знал. Бим всегда в таких случаях подходил к нему, а хозяин гладил ему голову и говорил: «Спасибо, Бим, спасибо». Вот и Люся тоже: отняла ладошку от лица и погладила Бима по голове.

— Ну, вот и все, Люсенька, вот и все. Зачем и плакать? Толик придет. Приде-ет, не тревожься, детка. Толик придет,— утешала бабушка.

Бим подхромал к двери, будто хотел сказать: «Толик придет. Пойдем поищем его».

— Просится,— сказала Степановна.— Я уж стала его понимать. И не водить нельзя — живность же...

Люся чуть вздернула подбородок и, как-то не похоже на себя, сказала твердо:

— Я поведу сама.

Степановна вдруг заметила: взрослеет девочка не по дням, а по часам. И ей тоже стало горько оттого, что не пришел Толик.

...Девочка с собакой шла по улице. Навстречу — три мальчишки.

— Девочка, девочка,— затараторил один из них, рыжий Конопатик,— твоя собачка — мужичок или бабочка?

— Дурак! — ответила коротко Люся.

Все трое окружили Люсю с Бимом, а она готова была заплакать от первого в ее жизни хамства. Но, увидев, что шерсть у Бима на холке встопорщилась и он пригнул голову, вдруг осмелела и крикнула резко:

— Пошли вон!

Бим так гавкнул, так рванулся, что все трое посыпались в разные стороны. А Конопатик, отбежав и обидевшись за свой собственный страх, закричал чибисиным голоском:

— Э! Э! Девчонка с кобелем! Э! Бессовестная! Э! Э!

Люся побежала что было силы домой. Бим, конечно, за нею. Впервые в жизни он встретил плохого маленького человека — Конопатика.

После такого случая вновь стали выпускать Бима одного, по-старому. Сначала Люся выходила за ним и, стоя за углом, следила, посвистывая по-мальчишески, чтобы далеко не отходил. Потом Степановна отпустила его ранним утром одного. С этого раза и вовсе он гулял один, а вечером возвращался и охотно ел.

Надо же тому случиться! Как-то на перекрестке, на переходе через трамвайную линию, его кто-то окликнул:

— Бим!

Он оглянулся. Из двери трамвая высунулась знакомая вагоновожатая:

— Бим, здравствуй!

Бим подбежал и подал лапу. Это та же самая добрая женщина, что возила Бима с хозяином на охоту, до автобусной остановки. Она!

— Что-то давно не видать хозяина? Или заболел И в а н И в а н ы ч?

Бим вздрогнул: она знает, она, может быть, к нему и едет!

Когда же вагон тронулся, он прыгнул туда через порожки. Женщина-пассажир вскрикнула дико, мужчина заорал «По-ше-ел!», некоторые смеялись, сочувствуя Биму. Вагоновожатая остановила трамвай, вышла из кабины, успокоила пассажиров (Бим определенно это заметил) и сказала Биму:

— Уйди, Бим, уйди. Нельзя.— Легонько подтолкнула его и добавила: — Без хозяина нельзя. Без Ивана Иваныча нельзя.

Что ж поделать: нельзя, значит, нельзя. Бим сел, посидел мало-мало и затрусил в ту сторону, куда поехал трамвай. Тут они ездили с хозяином, тут — это точно, вот поворот у башни, вот постовой милиционер,— тут!

Бим бежал по линии трамвая, не пересекая ее даже и на поворотах. Милиционер свистнул. Бим на ходу обернулся и побежал своей дорогой. Он уважал милиционеров: такие люди никогда его не обижали, ни разу; он помнил и свой первый привод в милицию, все помнил, умный пес; оттуда они пошли с Дашей домой, и все было хорошо. Больше того, он не раз видел милиционера с собакой — черная такая, сильно серьезная с первого взгляда; с нею он даже знакомился когда-то на тротуаре; Иван Иваныч и милиционер подпустили их друг к другу и дали возможность поговорить вдоволь.

«От него пахнет лесом»,— сказала черная собака, глядя на милиционера.

— Были вчера на охоте,— подтвердил Иван Иваныч.

«Какая ты чистюля!» — сказал Бим черному, завершая законную процедуру обнюхивания.

«А как же иначе! Работа такая»,— вилял обрубком хвоста черный.

В знак наметившейся дружбы они даже расписались на одном и том же дереве, внизу.

Нет, милиционер — человек хороший, он собак любит, тут Бима не провести и не обмануть.

И он бежал себе и бежал помаленьку вдоль трамвайной линии, но только сбоку, так как помнил, что наступать на железные полосы нельзя — прижмут ногу.

У конечного кольца он дал круг по ходу трамвая и застопорил у остановки. Посидел, посмотрел: люди кругом все добрые. Так. Это уже хорошо. Отсюда они переходили с Иваном Иванычем улицу — вон к тому месту с дощечкой на столбе. Бим пошел туда не спеша и сел рядом с небольшой очередью, ожидающей автобуса. Присмотрелся: опять плохих людей не видать.

Когда подошел автобус, очередь уползла в дверь, а Бим потопал последним, как и полагается всякой скромной собаке.

— Ты куда? — вскричал шофер. Вдруг он глянул еще раз на Бима и пропел: — Постой, постой. Да ты мне знакомый.

Бим точно понял, что это — тот друг, что взял бумажку из рук хозяина. И завилял хвостом.

— Помнит, собачья душа! — воскликнул шофер. Потом подумал и позвал Бима в кабину: — Ко мне!

Бим уселся там, прижавшись к стеночке, чтобы не мешать, уселся в волнении: ведь именно этот шофер и вез их когда-то до леса, на охоту.

Автобус рычал и рычал, ехал и ехал. Замолчал он у той остановки, где Бим всегда выходил с Иваном Иванычем в лес. Тут-то Бим и загорелся! Он царапался в дверь, скулил, просил слезно: «Выпусти. Мне сюда и надо».

— Сидеть! — строго крикнул шофер.

Бим подчинился. Автобус снова зарычал. Один из пассажиров подошел к шоферу и спросил, указывая на Бима:

— Твоя собачка?

— Моя,— ответил тот.

— Ученая?

— Не очень... Но умная. Видишь? Смотри: лежать!

Бим лег.

— Может, продашь собачку? Моя померла, а я стадо овец пасу.

— Продам.

— Сколько?

— Четвертную.

— Ого! — произнес пассажир и отошел, предварительно потрепав Бима за ухо, приговаривая: — Хорошая собака, хорошая.

Очень знакомы эти добрые слова Биму, слова хозяина. И он вильнул хвостом чужому.

Бим теперь вовсе не знал, куда едет. Но, глядя в ветровое стекло из кабины, он примечал путь, как и всякая собака, едущая впервые по новому месту: так уж у собак заведено — никогда не забывать обратный путь. У людей этот инстинкт с веками пропал или почти пропал. А зря. Очень полезно не забывать обратный путь.

На одной из остановок тот Хороший человек, от которого пахло травой, вышел из автобуса. Шофер тоже вышел, оставив Бима в кабине. Бим следил за ними, не спуская взора. Вот шофер указал в сторону Бима, вот он взял за плечо Хорошего человека, а тот, улыбнувшись, достал бумажки и отдал их, затем, перекинув рюкзак через плечо, вошел в кабину, снял с себя пояс, прицепил Бима за ошейник и сказал:

— Ну, пойдем.— А в нескольких шагах от автобуса, обернувшись, спросил: — Зовут-то его как?

Шофер вопросительно посмотрел на Бима, потом на покупателя и ответил уверенно:

— Черное ухо.

— А ведь не твоя собака? Признайся.

— Моя, моя. Черное ухо, точно,— и поехал.

Итак, Бим был продан за деньги.

Он понимал, что происходит не то, совсем не то. Но человек, пахнущий травой, был явно добрый, и Бим пошел с ним рядом, печальный и расстроенный.

Шли, шли они молча и вдруг тот человек обратился непосредственно к Биму:

— Нет, ты не Черное ухо: так собак не зовут. А найдется твой хозяин — отдаст мне мои пятнадцать рублей. Что за вопрос?

Бим смотрел на него, склонив голову набок, будто хотел сказать: не понимаю тебя, человек.

— А ты, брат, видать, с о б а к а умная, х о р о ш а я.

Вот и еще раз он сказал слова, так часто повторяемые хозяином. Теперь Бим завилял хвостом в знак благодарности за ласку.

— Ну, раз такое дело, живи со мной,— заключил человек.

И пошли они дальше. Раза два Бим в пути все же пытался упираться, натягивал поводок и указывал взглядом назад (отпусти, дескать, мне — не туда).

Человек останавливался, гладил пса, говорил:

— Мало бы что... Мало бы что.

Тут бы пустяк: хватить за поясок разок-другой и — пополам. Но Бим знал: поводок для того, чтобы за него водили, чтобы собака шла не дальше и не ближе положенного. И прекратил свои просьбы.

Шли они сначала лесом. Деревья были задумчивыми и молчаливыми — голые, холодные, успокоенные морозцем; трава в лесу пожухлая, немощная и перепутанная, скучная. Тоска Биму, да и только.

Потом потянулись озимые, ковром укрывшие землю, мягкие и веселые. Стало Биму тут немного легче: простор, неимоверно много неба, веселое посвистывание человека рядом — это всегда было хорошо при Иване Иваныче. Но когда дорога пошла по зяби — опять веселого мало: земля черновато-серая с крапинами мела, а комков на ней никаких; казалась она мертвой, местами полумертвой — распыленная, изношенная земля.

Человек сошел с дороги, потоптал каблуком зябь и вздохнул.

— Плохо, брат,— сказал он Биму.— Еще одна-две ч е р н ы х б у р и, и конец землице. П л о х о, б р а т...

Слова «плохо, брат» Биму очень хорошо знакомы от Ивана Иваныча, и он знал, что это означает уныние, печаль или «что-то не так», а слова «черная буря» он принял, как «черное ухо» в неизвестной ему интерпретации. Однако то, что это относится к земле, Биму понять недоступно. Человек явно догадался об этом:

— Конечно, ты — собака, и ты ничего не смыслишь. А кому скажешь? Вот я тебе, ч е р н о у х, и жалуюсь... Пого-

ди-ка!..— Он посмотрел на Бима и добавил: — А пущай-ка ты будешь Черноух. Это по-собачьему — Черноух. Само вырвалось, так тому и быть.

Ну и что? Еще не доходя до деревни, Бим уже знал, что он теперь — Черноух, человек-то много раз ласково повторял: «Черноух — это хорошо». Или так: «молодец, Черноух, идешь хорошо». Или в том же роде, но обязательно «Черноух».

Так, за деньги, люди продали доброе имя Бима. Хорошо хоть, Бим не знал этого, как не знал и того, что за те бумажки иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, не знающей этого!

Но Бим теперь обязан забыть свое имя. Что ж поделаешь — тому, значит, быть. Только не забудет он своего друга Ивана Иваныча. Хотя жизнь пошла иная, нисколько не похожая на все, что было в прошлом, но е г о забыть он не мог.

Глава 11

ЧЕРНОУХ В ДЕРЕВНЕ

Деревня, куда привезли Бима, прямо-таки удивила его. Здесь тоже жили люди, но все было не так, как там, где он родился и вырос. Домики маленькие — прямо на земле, без никаких лестничных площадок, без многочисленных порогов, двери не щелкают замками. Ночью, правда, двери запирают на засов изнутри. Все домики покрыты ребристыми серовато-белыми листами. Утром, в одно и то же время, из каждого домика идет вверх дым, но, однако же, они не едут и не улетают никуда, а стоят себе ровненько рядами и дымят тихо и мирно, без скрежета.

Но самым поразительным для Бима (теперь Черноуха) оказалось то, что вместе с людьми здесь живут разные животные и птицы: коровы, куры, гуси, овцы, свиньи, знакомство с которыми состоялось не сразу. У животных, позади каждого людского домика, свои домики, покрытые иной раз соломой, а иной раз камышом и огороженные невысокой просвечивающей стеной из перекрученных палок и хворостин. И никто никого не трогает — ни люди животных и птиц, ни животные людей, и никто ни в кого не стреляет из ружья.

В первый день Биму постелили сена в углу сеней. Человек привязал его за веревку, хорошо накормил и куда-то ушел, надев плащ. Остаток дня Бим провел в одиночестве, при полной тишине и безмолвии. Перед вечером он услышал, как зашуршали копытцами по земле овцы, как они вошли во двор, как промычала корова внутри сарая (чего-то просила). А вскоре пришел

и человек тот, но теперь с мальчиком в плаще, в сапогах, на голове шапка, в руках длинная палка, лицо у него было такое же коричневое, как у доброго человека, а пахло от мальчика овцами.

— Ну, Алеша, смотри нового товарища,— сказал взрослый мальчику.

Они подошли к Биму вплотную.

— Папаня, а не укусит?

— Нет, Алеша, такие не кусаются... Ух ты, Черноух... Черноух — хорошая собака.— И легонько похлопывал его по боку.

Бим лежал и настороженно рассматривал мальчика. Тот тоже погладил:

— Черноух... Черноу-ух...— И обратился к взрослому: — Папаня, а если отвязать — не убежит?

— Подождем пока.— Он ушел в дверь, внутрь дома.

Бим встал, присел, подал мальчику лапу, чем и сказал: «Здравствуй. Ты — хороший».

— Папаня! — крикнул мальчик.— Папаня, иди-ка!

Тот вернулся.

— Здравствуй, Черноух! — протянул ладонь мальчик.

Бим еще раз поздоровался. Оба человека явно одобряли его вежливость. Эти первые минуты знакомства были важными для Бима: он узнал, что того, кто привел его сюда, зовут Папаня, а мальчика — Алеша. Даже обыкновенные, ничем не примечательные дворняги скоро узнают имена людей, а Бим... Да что там говорить! Мы уже знаем, что́ это за собака.

Потом, уже в сумерках, пришла и женщина. Эта была одета странно: голова укутана двумя платками, ватник на ней натянут барабаном, штаны такие же, как у той доброй женщины на железной дороге, что забивала костыли. Но от этой пахло землей и свеклой (сладкий такой корень, каким и Бим, бывало, не брезговал). Она вошла в дом, о чем-то там говорила с мужчинами, сразу же протопала через сени во двор с ведром в руках. Теперь Бим установил, не сходя с места: одна дверь из сеней — на улицу, другая — к животным, третья — в дом. Но до них не дотянуться — не пускает веревка. Вот пока и все, что узнал Бим.

Он снова лег.

Пахнет овцами, сильно пахнет, со двора. Что такое овцы — Бим знал давно. Они живут, как думалось раньше, стадом и ходят по полю и ничего не делают, только едят и кричат. А около них, бывало, всегда человек в брезентовом плаще, с длинной палкой с крючком на конце; один такой как-то подходил к Биму и Ивану Иванычу, когда они отдыхали у стога сена, жал руку хозяину; и еще с ним был большой лохматый пес. Бима

он встретил воинственно. Сначала бежал на него с разлету и лаял жутко, но Бим тогда лег на спину, подняв лапы вверх, и сказал: «В чем дело? Разве я в чем-то виноват?»

Корректность, конечно, победила грубость, а Лохматый пес, обнюхав Бима, полизал живот, отошел немного и расписался на камне. Бим сделал то же самое. В общем, это означало: миру — мир. А пока хозяин Бима разговаривал с хозяином Лохматого, они поиграли в догонялки и пятнашки, при этом Бим оказался и быстрее, и увертливее настолько, что заслужил нескрываемое уважение нового знакомого. Когда они расставались (надо же было идти за хозяевами!), то понюхали камень и переглянулись так:

«Ты приходи когда-нибудь сюда»,— сказал Бим и попрыгал дальше.

«Эх, работа...» — сказал Лохматый и поплелся к стаду, опустив голову.

Так было. Вот и теперь пахнет овцами. Бим не мог не вспомнить Ивана Иваныча при этом тревожащем память запахе: в чужих сенях, в чужом доме, в полутемноте сумерек, без людей, ему стало тоскливо-тоскливо.

Потом он услышал, как о железо ритмично жужжали какие-то струйки: жжих-жжих! жжих-жжих! Бим не знал, что это такое — жжих-жжих! жжих-жжих! Незнакомые звуки замолкли, и тотчас со двора, с тем ведром, вошла женщина. А из ведра пахло молоком. Знаменито пахло! В городе такого запаха от молока Бим не чуял ни разу, а это — другое, но все же молоко — это точно. В городе молоко не пахнет человеческими руками, разными приятными травами и совсем не пахнет коровой — вот что удивительно. А здесь все это вместе смешалось в восхитительный аромат, поражающий своей обаятельной, какой-то розовой пахучестью. Не будем спорить: уж если человек иногда отличает молоко от «молока», то как же не заметить того нашему Биму, обладающему сверхдальним чутьем, как не поразиться запаху, в котором человеческие руки перемешаны с цветами и травами. Потому-то он и вскочил быстро да и повилял хвостом женщине. Но вряд ли она могла понять восторг Бима.

За долгие четыре года своей жизни он, к сожалению, так ни разу и не видел, как доят коров. А молоко пахнет все-таки коровой. Какая-то неясность так и оставалась у Бима: он кое-чего не знал. Впрочем, мало ли чего не знает любая собака? В этом ничего зазорного нет. А если какой пес и скажет, допустим, что он в с е знает, и уверен в том, что может поучать, как и что делать и куда бежать, то даже курица ему не поверит; мало ли что он сильнее курицы — не поверит. А такие собаки бывают, скажу я вам. Например, скоч-терьер, возьмите вы его: он делает вид, что его голова-кирпич набита разными

идеями (борода! длинные усы и брови! философ!), а на деле — бестолковый, командует, ругается на хозяина день при дне, как нервнобольной, финтит беспрестанно. А толку? Да никакого! Одна внешность. А внутри пух либо вовсе пустота.

Нет, Бим — другое дело: он искренен и прям сердцем. Если чего не знает, то такой и вид подаст: чего не знаю, того не знаю. Если кого не любит, так и скажет: «Ты — нехороший человек. Иди отсюда! Гав!» И взлает иной раз так, что дай бог!

Женщину же, которая добывает где-то такое божественное молоко, он не мог не уважать. Потому-то он все смотрел и смотрел на ту дверь, в какую она ушла с ведром.

Но кто-то подошел с улицы и решительно распахнул дверь.

«Кто? — однозначно спросил Бим.— Гав!»

Вошедший шарахнулся из сеней обратно. Из дома выскочил Папаня, включил в сенях свет и спросил:

— Кто тут?

— Я, бригадир,— ответил незнакомец.

Затем он вошел в сени, они пожали друг другу руки (значит, друзья — лаять не положено) и подошли к Биму.

Папаня присел на корточки, гладил Бима и говорил:

— А ты молодец, Черноух. Молодец — службу знаешь. Хороший пес.— Отвязал его и впустил в комнату.

Самое важное: в комнате была и хромая курица. Бим прицелился на нее, сделал стойку, приподняв переднюю лапу, но как-то неуверенно, а это означало, что он говорит присутствующим: «Что за птица? Что-то не приходилось...»

— Смотри, бригадир! — воскликнул Папаня.— Да он же золотой пес, Черноух, на все руки!

Но поскольку курица — ноль внимания на Бима, то он сел, все же искоса посматривая на нее, что на собачьем языке означало короткие и много вмещающие слова: «Надо же... Туда же!.. Ты еще мне!» И обратился взором к присутствующим.

— И кур не тронет! — восторгался Алеша.

Бим внимательно наблюдал за ним, глядя в лицо.

— А глаза! Маманя, а глаза! Как человечьи,— радовался Алеша.— Черноух, иди к о м н е... к о м н е!

Разве Бим не отзывался на искреннюю радость? Он подошел к Алеше и сел около него.

За столом пошла беседа. Папаня распечатал бутылку, Маманя подала еду. Бригадир выпил из стакана все. Папаня — тоже. Маманя — тоже. Алеша почему-то не выпил, а ел ветчину и хлеб. Он бросил кусочек хлеба на середину пола, но Бим не сдвинулся с места (надо же было сказать «Возьми!»).

— Интеллигент, должно быть,— заметил раскрасневшийся бригадир,— хлеб не кушает.

Курица прихромала и утащила тот кусочек, предназначенный Биму. Все смеялись,. а Бим внимательно-внимательно смотрел на Алешу: не до смеха, если нет взаимопонимания даже и в атмосфере дружбы.

— Подожди-ка, Алеша,— сказал Папаня. Он положил кусочек хлебца на пол, отогнал курицу и обратился непосредственно к Биму: — Возьми, Черноух. Возьми!

Бим с удовольствием проглотил вкусный кусочек хлеба, хотя и был сыт.

Бригадир тоже положил так же кусочек ветчины.

— Нельзя! — предупредил он.

Бим сидел. Курица бочком-бочком подхрамывала к ветчине, но, только-только хотела схватить, Бим фыркнул на нее, чуть не толкнув носом. Та закостыляла под кровать. Одним словом, комедия, да и только.

— Черноух, в о з ь м и! — разрешил бригадир.

Бим вежливо скушал и этот кусочек.

— Все! — кричал Папаня. Он говорил громко, а покраснев, стал еще добрее.— Черноух — чудо преестественное! — И даже обнял его.

«Хорошие люди»,— подумал Бим. Еще ему понравились усы у Папани, мягкие, шерстяные, что он ощутил, когда тот обнимал.

А дальше пошел такой разговор, из которого Бим понял только одно слово — «овцы», но зато точнехонько определил, что двое мужчин вначале стали спорить.

— Ну, Хрисан Андреевич, давай о деле.— Бригадир положил руку на плечо Папани.— Овцы хотят есть иль не хотят?

— Хотят,— ответил Папаня.— Только мой срок кончился, мне — до покрова, а покров прошел.

— Овцы частные, личные, а не колхозные, и они тоже желают кормиться. Мне уж колхозники уши прозудели: снега нету, корм под ногами есть, овца должна до снегу на подножном. И правильно говорят.

— «Овца — до снегу»... А я железный? А Алешка тебе — железный?

— До снегу, Хрисан Андреевич,— твердил бригадир.— Плату положим двойную. Понял?

— Не буду,— твердил Папаня.— Баба моя на свекле закисла — надо помогать, а ты — «до снегу».

Но все-таки они похлопали по рукам друг друга вполне согласно и кончили твердить «овцы до снегу». Затем бригадира проводили на крыльцо все втроем, забыв про Бима.

Что ж, он тоже вышел на крыльцо, обежал вокруг двора, постоял за плетнем, постоял, втянул запахи овец, с какими связано одно из воспоминаний о любимом и единственном человеке, и присел в нерешительности.

Ночь. Осенняя темная ночь в деревне, тихая, притаившаяся от зимы, хотя и готовая ее встретить. Все в этой ночи неизвестно Биму. Собаки вообще не любят путешествовать ночами (разве что бродячие, избегающие людей, потерявшие веру в человека), а Бим... Что и говорить! Бим сомневался пока. Да и Алеша — такой хороший маленький человек.

Сомнения прервал голос Алеши. Он тревожно, во весь голос закричал:

— Черноу-ух!

Бим подбежал и вошел за ним в сени. Алеша уложил его на место, подоткнул сено с боков, поласкал и ушел спать.

Все затихло. Не слышно ни трамвая, ни троллейбуса, ни гудков — ничего привычного.

Новая жизнь началась.

Сегодня Бим узнал, что Папаня — еще и Хрисан Андреевич, еще он же — Отец, а Маманя — еще и Петровна, Алеша же — так Алеша и есть. Кроме того, курицу он не презирал, но и не уважал: птица, по собачьему разумению, должна обязательно летать, а эта только ходит, потому и недостойна уважения, как бескрылая и дефективная к тому же. Но вот овцы: они напоминают об Иване Иваныче; от Алеши пахнет овцами тоже... От Петровны — землей и свеклой... А такие запахи земли всегда волновали Бима. Может быть, и Иван Иваныч сюда придет...

Бим уснул, притеплившись в духовитом сене. В таком сене, дух которого вызывает невольную улыбку, даже человек засыпает немедленно, и от запаха свежего сена у него возникает в очах голубой цвет перед сном. Бим же был далеко чутьистее человека, поэтому каждый тончайший оттенок этого аромата успокаивал, ублажал его тоску.

Разбудил Бима крик петуха. Когда-то он его слышал не раз, но не так близко, а этот — прямо за стеной, громко, протяжно, гордо: «Ку-ка-ре-ку-у-у!» Ему откликнулись все петухи на селе. (Несколько позже Бим узнает, что этот петух — запевала и что такие петухи бывают сердитые.) Бим сидел и слушал удивительную музыку; дальше она перекатывалась волнами по селу — то ближе, то дальше, в зависимости от того, кому подходила очередь, что ли, а последним, в одиночку, прокричал какой-то немощный кукарешник, сипло, коротко и неподобно петуху, заслуживающему уважения. Потом, со временем, Бим разберется, что именно такие петухи — трусы, убегают даже от чужого петуха, врывающегося во дворовые владения, хотя по всем правилам куриного общежития этот трус обязан защищать покой подведомственных ему кур. А он убегает, идол. Зато именно такой петух безжалостен к чужим цыплятам — клюет, падаль такая, между тем как любой петух, если он не лишен

чувства собственного достоинства, никогда не клюнет цыпленка, забредшего невесть откуда. Такой вот и пропел последним, и только тогда, когда убедился, видимо, что не ошибся во времени. Люди назвали бы такого петушишку конъюнктурщиком, но Биму было просто-напросто смешно. Кстати, Бим вовсе не представлял, ввиду отсутствия опыта, что по таким задохлым полупетухам никто никогда не отсчитывает время.

Бим прилег и задремал. Вдруг снова прокатилось по селу из конца в конец песнопение. И Бим снова сел и снова слушал с большим удовольствием. Потом — в третий раз, еще сильнее, голосистее и, право же, возвышеннее. Ах, здорово поют! Вот уж здорово! А что они вытворяли где-то вдали, представить невозможно! Бим пока не знал, что это раздеклешивали хором на колхозной птицеферме, по неписаным нотам, белые, как кипень, самоуверенные петухи-красавцы, а в тот раз — не будь он запертым в сенях — он обязательно сбегал бы посмотреть и послушать поближе такое чудо. Но сени были его клеткой.

В щель двери мало-помалу расслабленно вползал серенький осенний рассвет. Бим встал, обследовал сени: стоит кадушка с зерном, в одном углу — закромок с початками кукурузы, в другом — кочаны капусты. Вот и все.

Вышла с ведром Петровна. Бим ее приветствовал. Она — во двор, и Бим — во двор, следом. Она села под корову, Бим — неподалеку. Струйки зазвенели о ведро, а Бим засеменил передними лапами от удивления: молоко! Корова стояла смирно и жевала про себя, без ничего — будто шептала и булькала симпатичная живая цистерна с открытыми краниками.

Петровна окончила дойку, позвала Бима (Черноух!), налила ему в миску молока, сказала: «Нельзя», чуть постояла, сказала: «Возьми», засмеялась добрым смехом и заторопилась в дом.

Ах, боже мой, какое же это было молоко! Тепленькое, духовитое, тут тебе и травами отдает, и цветами, полем — всем вместе, а еще (теперь уж точно!), еще — руками самой Петровны, а не просто человеческими руками вообще, как показалось Биму вчера на расстоянии. Бим вылакал все, вылизал, сделал утренний туалет и быстренько обследовал двор. Корова приняла его с полным доверием, даже лизнула в голову, за что Бим притронулся языком к ее шершавому, молочно-пахучему носу; овцы из-за перегородки потопали на него копытцами, вроде бы угрожая, но тут же и успокоились, поскольку уточнили, что Бим не имеет никаких агрессивных намерений; свинья и два поросенка в первый раз не удостоили Бима вниманием, а просто перехрюкнулись между собой иронически и даже не пошевелились, хотя и лежали головами к Биму, у решетки. Так приняли его четвероногие. Но вот куры — это да-а! Собственно,

не сами куры, а красный петух. Он, как только слетел с насеста, захлопал крыльями и зло заворчал: «Ко-ко-ко-ко-ко!» Да и бросился на Бима коршуном. Красный петух с красным гребнем ударил грудью и когтями собаку. (Вот какие петухи бывают!) Бим рыкнул на него в ответ и ударил лапой наотмашь. И тут, в ту же секунду, петух, повесив крылья и пригнувшись, побежал в угол двора к курам, собравшимся беспокойно стайкой участливых зрителей; бежал он от Бима в совершеннейшем унижении, а подскочил к ним уже героем. Да еще и закричал: «Вот как я его! Вот как, вот как!» Куры в один голос явно хвалили петуха изо всей куриной силы. И что же вы думаете? Бим пристально посмотрел на петуха, даже с уважением. Как ни говори, а Бим еще не видел, чтобы птица напала так смело на собаку. А это все-таки что-то значит.

— Что тут за переполох? — спросил Хрисан Андреевич, выходя из сеней во двор. И курам: — Цыть-те, вы! Собаки испугались, оглашенные.— Взял Бима за ошейник, подвел к курам, постоял так с ним и отпустил.

Бим отошел и отвернулся: а ну их! С тех пор петух и куры не подходили к собаке, но и бояться особо не боялись, а так — прококочет иная и — в сторону с пути Бима. А ему что? Ходят куры, не летают, не плавают; опять же, никто в них не стреляет,— значит, не птица, а так себе — смехоподобное существо. Петух — это, конечно, да: и на крышу взлетит, и предупредит о приближении чужого чуть ли не раньше Бима, да и руководит достойно — сам червяка не съест, а скличет подчиненных и, бывает, поделит даже. Так что петух вполне заслуживает своего звания.

Ввиду того что Бима пока не выпускали со двора еще с неделю, он, как-то само собой, стал тут за главного: ляжет посреди двора и следит глазами. Кур он уже знал в лицо всех на четвертый день, а когда залетела через плетень чужая курица, он ее так разогнал, так разогнал, что она долго еще тараторила, то убегая куда-то, то возвращаясь и топчась на одном месте, оглядываясь в страхе и любопытстве. Смех, да и только!

Поросенок, например, тот сам предложил знакомство на короткую ногу: подошел к Биму, хрюкнул, чуть-чуть толкнул его влажным пятачком в шею и смотрел глупенькими белобрысыми глазенками. Бим лизнул его в пятак. Тому неимоверно понравилось: он подпрыгнул от удовольствия и стал копаться около Бима, подковыривая под ним землю. Бим снисходительно перешел на другое место, а хрюшка опять к нему: поворчала что-то непонятное (свиньи и собаки не понимают друг друга так же, как иностранцы) да и улеглась, прижавшись к теплой шерстистой спине Бима. Поэтому когда в один из холодных дней Биму стало не по себе (дверь в сени закрыта на день), то никто

во дворе не удивился тому, что Бим спал между поросятами на мягкой подстилке, подогреваемый с двух сторон. Против такой дружбы и мама поросят не возражала, даже наоборот, каждый раз, как Бим входил в их жилище, она энергично стонала от прилива дружелюбия, но вовсе не от боли. Кстати, такую особенность свиного языка Бим отметил без труда, хотя дальше этого он в языкознании не продвинулся и потом. Пожалуй, это и не столь важно — знать язык. Собака и свинья — разные по всем статьям, но это не мешает им жить в мире и согласии.

Кормили Бима очень хорошо, а кроме того, и поросята — уже росленькие, в полроста от Бима — не возражали, если он у них иногда снимал пробу из корытца. Каждое утро он получал около литра молока, что здесь не считалось ни во что. Казалось бы, что еще нужно собаке? Но двор есть двор, клетка-лагерь, огороженный плетнем и всегда закрытыми воротами и калиткой. Не для охотничьей собаки это дело — лежать, караулить кур, воспитывать поросят,— нет и нет, да еще с таким выдающимся чутьем, каким, как мы уже давно знаем, обладал наш Бим.

Он уже привык ко двору, к его населению, не удивлялся сытой жизни. Но когда с луга тянул ветер, Бим беспокойно ходил, ходил от плетня к плетню или становился на задние лапы перед плетнем же, будто хотел хоть немного приблизиться к высоте, и смотрел вверх, в небо, где летали голуби — легкие, вольные. Что-то внутри сосало, а он смутно догадывался, что при такой сытости и хорошем обращении не было чего-то самого главного.

...Ах, голуби вы, голуби, ничего-то вы не знаете о сытой собаке в неволе!

Бим почувствовал еще и то, что доверия к нему нет, раз не выпускают. Каждое утро Хрисан Андреевич с Алешей выгоняли своих овец со двора и уходили с ними на весь день, в плащах, с палками. А Бима, как он ни просился, оставляли во дворе.

И вот однажды Бим лежал, уткнувшись носом в плетень, а ветер приносил вести: луг есть, где-то недалеко есть и лес. Свобода рядом! Увидел в щелку — пробежала собака. Тогда-то ему и стало невмоготу. Он копнул лапой землю под плетнем раз, другой, копнул еще и пошел трудиться изо всех сил: передними копал и совал землю под себя, а задними выбрасывал дальше; даже разлапистой можно работать, хоть и не в полную мочь.

Неизвестно, что произошло бы потом, но, когда Бим почти уже закончил подкоп, вошли во двор овцы. Они увидели, как земля брызжет из-под плетня, и шарахнулись обратно в калитку, где стоял Алеша, пригнавший их с пастбища. Овцы сбили

Алешу с ног и вдарились вдоль улицы как помешанные. Алеша побежал за ними, а Бим не обращал внимания ни на что: копал и копал.

Но подошел Хрисан Андреевич, взял его за хвост. Бим замер в своей норе, будто неживой.

— Затосковал, Черноух? — спросил Хрисан Андреевич, легонько подергивая за хвост, тем и приглашая Бима обратно.

Бим вылез. Что поделаешь, если тебя тянут за хвост!

— Что с тобой, Черноух?! — удивился Хрисан Андреевич и отстранился, оторопев.— Уж не сбесился ли ты?

Глаза у Бима налились кровью, он нервно подергивался, водя носом из стороны в сторону, часто-часто дышал, будто только-только кончил напряженную охоту. Он беспокойно забегал по двору и наконец стал царапаться в калитку, оглядываясь на Хрисана Андреевича.

Тот, стоя посредине двора, глубоко задумался. Бим подошел к нему, сел и говорил глазами совершенно отчетливо: «Мне надо туда, на простор. Пусти меня, пусти!» Он просяще вытянулся на животе и заскулил так тихо и жалобно, что Хрисан Андреевич нагнулся и стал его ласкать:

— Эх, Черноух, Черноух... И собака хочет воли. Куда-а там! — Затем зазвал Бима в сени, уложил на сено, привязал на веревку и принес миску с мясом.

Вот и все. Грустно. Сытая жизнь без свободы опротивела Биму.

К мясу он не притронулся.

Глава 12

НА ПРОСТОРЕ ПОЛЕЙ. НЕОБЫЧНАЯ ОХОТА. ПОБЕГ

Утром, как и ежедневно, в доме Хрисана Андреевича все повторилось по заведенному порядку: пружина трудового дня начала распускаться с последних, третьих петухов, потом промычала корова, Петровна подоила ее и затопила печь, Алеша вышел поласкать своего, теперь уж любимого, Черноуха, Папаня задал корм корове и свиньям, посыпал зерноотходы курам, после чего все сели за стол и позавтракали. Бим в то утро не прикоснулся даже к ароматному молоку, хотя Алеша и просил его, и уговаривал. Потом, пока родители хлопотали по дому, Алеша принес воды и вычистил котух коровы и еще раз просил Бима поесть, совал его нос в миску, но, увы, Черноух неожиданно стал почти совсем чужим. Под конец сборов на работу Хрисан Андреевич наточил огромный нож и засунул его над дверью.

С солнцем Петровна укуталась в свои толстые одежды и платки, взяла сумку и тот огромный нож, что точил Папаня, и ушла. За нею, надев плащи, вышли во двор Алеша с отцом и, слышно, выгнали овец на улицу.

Неужели оставили Бима одного, да еще на привязи в полутемных сенях? Бим не выдержал — взвыл горько и безнадежно.

И вот открылась дверь с улицы, вошел Хрисан Андреевич, отвязал Бима и вывел на крыльцо, потом запер дверь снаружи, направился к стайке овец, около которых стоял Алеша, передал ему из рук в руки Бима на веревке, сам зашел впереди овец и крикнул:

— Пошли, пошли-и!

Овцы двинулись за ним вдоль улицы. Из каждого двора к ним присоединялись то пяток, то десяток других, так что в конце села образовалась порядочная отара. Впереди все так же шел Хрисан Андреевич, позади Алеша с собакой.

День выдался морозный, сухой, земля под ногами твердая, почти такая же, как асфальт в городе, но более корявая; даже запорхали густо снежинки, заслонив на короткое время и без того холодное солнце, но тут же и перестали. Это была уже не осень, но еще и не зима, а просто настороженное межвременье, когда вот-вот заявится белая зима, ожидаемая, но всегда приходящая неожиданно.

Овцы бодро постукивали копытцами и блеяли, переговариваясь на своем овечьем протяжном языке, понять который, ну, право же, совершенно невозможно. Присматриваясь, Бим заметил: впереди отары, пятка в пятку за Хрисаном Андреевичем, шел баран с крученными рогами, а позади всех, прямо перед Алешей, хроменькая маленькая овечка. Алеша изредка легонько подталкивал ее крючком палки, чтобы не отставала, и тогда кричал:

— Папаня, осади малость! Хромушка не тянет!

Тот замедлял шаг не оборачиваясь, а вместе с ним сбавляло ход и все стадо.

Бим шел на веревке. Он видел, как важно выступал Папаня перед овцами, как они подчинялись малейшему его движению, как Алеша по-деловому, сосредоточенно, следил за овцами, сзади и с боков. Вот одна из них отделилась и, пощипывая желтоватую травку, потянула в сторону от стада. Алеша побежал с Бимом и крикнул:

— Куда пошла-а?!— и бросил перед нею свою палку.

Овца вернулась. Слева сразу три пожелали проявить самостоятельность и побрели себе к зеленоватому пятну, но Алеша так же побежал и так же поставил их на свое место. Бим очень

быстро сообразил, что ни одна овца не должна отлучаться от сообщества, а в очередной пробежке с Алешей он уже гавкнул на ту овцу, что нарушала порядок и дисциплину. «Гав-гав-гав!» — так же беззлобно, как и Алеша, предупредил он нарушительницу, то есть: «Куда пошла-а?!»

— Папаня! Слышишь? — крикнул Алеша.

Хрисан Андреевич обернулся и прокричал одобрительно:

— Молодец, Черноух!

На склоне яра он поднял над головой палку и еще прокричал так же громко:

— Распуска-ай! — А замедлив шаг, двигался теперь поперек хода отары.

Алеша стал делать то же самое, как и отец, но здесь, позади, он шагал торопливо, иногда перебежкой, прижимая овец к Хрисану Андреевичу. И тогда отара мало-помалу расходилась все шире и шире и наконец, не переставая щипать травку, выстроилась в одну линию, не гуще, чем в три-четыре овцы. Теперь Хрисан Андреевич остановился лицом к овцам, окинул взором строй, а рядом с ним пристроился и баран-вожак. Пастух достал из сумки буханку хлеба, отрезал корку и отдал ее почему-то тому барану. Бим не мог знать, что баран-вожак обязательно должен не только не бояться, а любить пастуха, поэтому, по своему неведению, он просто видел подтверждение того, что Папаня — человек добрый, и только. А Папаня, если по совести, был еще и человек хитрый — баран ходил за ним иногда собакой и всегда отзывался на голос. Не Биму, конечно, постичь всю премудрость пастуха. А Хрисан Андреевич знал отлично, что глупый, отбившийся баран небольшой отары, да еще если без собаки, уведет стадо невесть куда — только проморгай, засни от усталости и от размора солнцепеком. Нет, тут баран-вожак был особый, дрессированный баран, потому и Бима он принял с дорогой душой.

Хрисан Андреевич закурил трубочку и сказал Алеше:

— Ты не нажимай, не нажимай — тут кормок хороший.

...А что ты думаешь, дорогой мой читатель? Накормить овцу поздней осенью — дело действительно премудро-хитрое: не умеючи если, то через неделю полстада подохнет и на хорошем корму — затопчут его, и вся недолга; а с толком если, то и на посредственном выпасе овца будет сытая и жирная. Ухитряется же Хрисан Андреевич накормить стадо по пустырям, да по окрайкам, да перед носом у тракторов, когда они пашут зябь, а для этого требуется определенный талант, и призвание, и любовь к животным. Огромный труд — пасти овец, а в общем-то, и красивый труд, потому что человек-пастух, иногда даже и не задумываясь над тем, чувствует себя неотъемлемой частицей природы и ее хозяином и добродеем. Вот в чем соль.

Читатель простит, что я на время забыл о нашем Биме и заговорил о человеке на просторе поздней осенью.

Итак, овцы с дружным перетреском щипали короткую травку и хрумтели так согласно, что все это сливалось в один сплошной звук, спокойный, ровный, умиротворяющий. Теперь Папаня и Алеша были близко друг от друга и говорили уже тихо, не крича, как раньше, издали.

Алеша спросил:

— Папаня, спустить Черноуха?

— Давай пробовать. Не должон бы убечь сейчас: от воли не бегут. Спущай. Но сперва отстань, поиграй с ним — не колготи овцу.

Алеша подождал, пока отара отошла подальше, отвязал веревку и весело крикнул:

— Черноух! Побежали! — Тут он кинулся с горы в яр, топоча сапогами и подпрыгивая.

Бим обрадовался неимоверно. Он тоже подпрыгивал, стараясь на бегу лизнуть Алешу в щеку, отбегал в сторону и стрелой возвращался в восхищении полной свободой; потом схватил какую-то палку, помчался к Алеше, сел перед ним. Алеша взял ту палку, бросил в сторону и сказал:

— Подай, Черноух!

Бим принес ее и отдал. Алеша еще раз бросил, но теперь не взял изо рта Бима, а пошел вверх из яра к отаре, приказав:

— Черноух, держи. Неси!

Бим пошел за ним с поноской. Когда поднялись вверх, вместо палки Алеша вложил в рот Бима свою шапку. Бим понес и ее с удовольствием. Алеша же бежал вприпрыжку и повторял:

— Неси, Черноух. Неси, мой молодец. Вот хорошо. Вот хорошо.

Но к отаре они подошли тихо («Не колготи овцу»). Алеша скомандовал:

— Отдай Папане.

Хрисан Андреевич протянул руку. Бим отдал. Новое его качество открылось для пастухов неожиданно. Все трое были в восторге.

А не больше как через неделю Бим сам, своим умом дошел, что у него появилась обязанность: поворачивать самовольных овец к стаду, следить за ними, когда они распущены в линию, но не возражать, когда, войдя перед вечером в село, они разбредались стайками по домам.

Бим познакомился с двумя собаками, охраняющими огромную колхозную отару, где было три пастуха, и все взрослые, и все тоже в плащах. Хотя отары колхоза и колхозников никогда не сближались и не смешивались, но при коротких осенних остановках на тырлище Алеша бегал к колхозным пастухам, а

Бим, вместе с ним, к колхозным собакам. Хорошие собаки: палевые, шерстистые, большие, но смирные, спокойные; они даже и играли с Бимом спокойно и снисходительно, а вокруг стада ходили тихо, пешком, а не так, как Бим — вприпрыг или стелющимся галопом: с чувством собственного достоинства собаки. Нравились они Биму. И овцы тоже хорошие.

Началась вольная трудовая жизнь и для Бима. Хотя они, все втроем, возвращались усталые и оттого притихшие, но это была воля и доверие друг к другу. От такой жизни не бегают и собаки.

Но однажды, как-то вдруг, посыпал снег, закрутил ветер, закружил, заметелил. Хрисан Андреевич, Алеша и Бим сбили овец в круг, постояли немного да и повели стадо в село среди дня. На овцах был белый снег, на плечах людей снег, на земле снег. Белый снег всюду, только один снег в поле — больше ничего. Заявилась зима, свалилась с неба.

То ли Хрисан Андреевич решил, что такой собаке, как Бим, не положено спать с подсвинками или сидеть на веревке, то ли по чему-либо другому, но Бим перешел теперь ночевать в теплейшую будку, сколоченную в углу тех же сеней и набитую мягким сеном. А вечерами он входил в дом как член семьи и оставался там, пока не поужинают.

— Не может того быть, чтобы — зима. Рано,— сказал как-то Хрисан Андреевич Петровне.

Слово «зима» повторяли они в разговоре часто, о чем-то беспокоились; впрочем, Бим знал: зима — это белый холодный снег.

В тот вечер Петровна пришла вся запорошенная снежком, мокрая, с обветренным и опухшим лицом. Бим видел, как она, раздевшись, трясла руками и стонала. Руки у нее были в красноватых трещинах и землистых пятнах, как бы в подушечках, похожих на подушечки пальцев Бима. Потом она опускала руки в теплую воду, отмывала их, долго-долго втирала мазь и охала. А Хрисан Андреевич смотрел на Петровну и о чем-то вроде бы горевал (чего Бим не мог не заметить по его лицу).

А следующим утром он наточил ножи, и все вчетвером вышли из дому: Петровна, Хрисан Андреевич, Алеша и Бим. Сначала шли ровным белым полем, покрытым мелким снежком — в пол-лапы, не больше, так что идти было легко. Вокруг тихо, но холодно. Потом они оказались на поле, где рядами разбросаны кучи — буртики свеклы, сложенной листами наружу и прикрытой сверху листами же. У каждой кучки сидели женщины, одетые так же, как и Петровна, и что-то делали, молча и сосредоточенно.

Все четверо подошли к одному такому буртику, сели вокруг него, и Бим стал внимательно смотреть, что же тут происходит.

Петровна взялась за ботву, вытащила свеклу из кучи, ловко повернула ее корнем к себе и чик ножом! — листья отлетели. Еще чик-чик по головке свеклы! — головка чистая. И бросила в сторону, рядом с собой. Хрисан Андреевич повторил за нею все в точности. Алеша — тоже, даже ловчее, чем Папаня. И пошло! Чик-чик! — долой ботва. Чик-чик! — чистая головка. Трах! — свекла в стороне, уже в новой, очищенной, кучке.

Невдалеке, у такого же буртика свеклы, сидела женщина, одна, и делала то же самое. У следующего — тоже, но уже два-три человека вместе. И так на всем поле: свекла шалашиками, укутанные женщины с потрескавшимися ладонями и припухшими от холода лицами. Все работали или в легких брезентовых рукавицах, или голыми руками. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — нет ботвы. Чик-чик! — человек бросает нож и дует ртом на ладони, трет их друг о друга, и снова: чик-чик! — чистая головка. Как часы!

И холодно. Следя за ножами, Бим начал зябнуть, а потому встряхнулся и стал обследовать местность поблизости, не отбиваясь далеко. Согрелся и вернулся обратно к своим, хотя по пути его приглашали и другие женщины (все на селе уже знали, что такое Черноух).

Потом к ним подошла та женщина, что сидела и работала одна-одинешенька — молодая, но тощая. Она на что-то жаловалась, сморкалась на землю, затем села рядом с Петровной и показывала ей руки. Петровна тоже протянула ей свои ладони. Женщина пригорюнилась, закашлялась, прижимая брезентовой рукавицей грудь, и затихла. А звали ее Наталья.

Петровна — чик-чик! Хрисан Андреевич — чик-чик! Алешка — чик-чик! И дуют на руки, и трут щеки. Петровна — чик-чик! И вдруг — блюк!.. У той женщины-горемыки из глаз упала на лист капля. Она закрылась рукавом и ушла к себе, к своей свекле.

— Избави боже, еще и ты не застудись,— сказала Петровна Алеше, подошла, поправила ему теплый платок под шапкой, подоткнула на шее, сняла с себя холщовый кушак и опоясала Алешин меховой кожушок.

Бим тоже тыкался носом в Алешин кожух, помогал Петровне. Но Алеша, как установил Бим, вовсе не так уж и озяб, как казалось: наоборот, он был гораздо теплее Папани и Петровны (Бим-то уж чувствовал это лучше людей).

— Слышь, Алеша,— сказал Хрисан Андреевич, работая ножом за двоих. (Бим навострил уши.) — Поди-ка побегай с Черноухом, погрейтесь маненько.

И вот Бим уже бежит перед мальчиком по свекловичному полю, закаменелому от мороза. Прошли они поле поперек, Алеше стало жарко, и он снял шапку, развязал платок, сунул

его за пазуху, шапку надел, приподняв у нее уши. Рядом с лесной полосой, в густой желтой траве, Бим приостановился, потянул воздух, забегал челноком и неожиданно для Алеши замер в стойке.

Алеша подбежал к нему:

— Что тут, Черноух?

Бим стоял неподвижно и ждал приказа. Алеша сообразил-таки, в чем дело:

— Пужай! Пужай!

Бим ждал магического слова «Вперед». Но Алеша крикнул еще громче:

— Пужай!

Бим пошел на подводку и поднял на крыло стайку куропаток.

Недолго думая Алеша побежал обратно вместе с Бимом. Бим понял, что снова у них нет взаимопонимания — Алеша не знает слов Ивана Иваныча, но все же бежал рядом. А тот, запыхавшись и раскрасневшись, рассказал родителям, как Черноух нашел куропаток и «спужнул» их.

— Охотницкая собака Черноух, ученая,— одобрил Хрисан Андреевич.— Ружье бы нам, Алешка! И на охоту. А?

Ружье? Охота? Какие знакомые и дорогие слова для Бима! Он знает, что это значит.

Бим завилял хвостом, заласкался к Алеше, к Хрисану Андреевичу, к Петровне, он говорил им на своем языке отчетливо и ясно. Но его никто здесь не понял: никто не пошел за ружьем и никто не пошел на охоту и без ружья. Бим сел за спиной Алеши, прижавшись к кожуху, и задумался — по крайней мере, такой у него был вид.

Уже в сумерках они вернулись домой, усталые и прозябшие. А через несколько дней и вовсе перестали ходить на свеклу — кончили свою делянку.

Теперь Петровна никуда не уходила и была явно тому рада. Она все дни что-нибудь делала: чистила корову, стирала белье, мыла полы, рубила капусту, сбивала масло, топила печь, варила, шила на машинке, чинила одежду, выносила корове лохань — всего не перечислишь. Бим следил за ее работой.

За Алешей приходила чистая женщина с книжками, журила Петровну (но не сердито, как отметил Бим), обе они повторяли слова: «Алеша», «овцы», «свекла». На следующий день, утром, Алеша ушел с книжками и так пропадал теперь ежедневно. Хрисан Андреевич отправлялся к сроку куда-то с вилами, а по возвращении от него пахло навозом.

В один из обычных вечеров, когда собрались все и ужинали, вошел человек — высокий, широкий, костистый, крупнолицый,

но с маленькими лисьими глазками и в лисьей шапке. Бим приметил, что Хрисан Андреевич глянул на вошедшего без улыбки, а из-за стола не поднялся навстречу, как всегда, и руки не подал.

— Здорово были,— равнодушно сказал гость, не снимая шапки.

— Здравствуй, Клим,— ответил Хрисан Андреевич.— Садись.

Тот сел на лавку, свернул громадную цигарку, рассматривая Бима, и спросил:

— Так это и есть Черноух? (Бим навострился.) Пропадет собака без охоты. Иль убегет. Продай: дам двадцать пять.

— Непродажная,— сказал Хрисан Андреевич и теперь вышел из-за стола, закончив ужин.

Бим на расстоянии в три шага легко понял: от гостя пахнет зайцем. Он подошел, обнюхал, вильнул хвостом и глянул в лицо лисьей шапки, что и означало на языке Бима: «Понимаю — охотник».

— Видишь? — спросил Клим.— Чует Черноух, с кем дело имеет. Продай, говорю.

— Не продам, Клим, не продам. Дело прошлое — даже Алеша не знал сперва,— послал я три рубля в редакцию в областную и дал объявление: «Пристала собака охотницкая, белая, с черным ухом». Получил ответ: «Не объявляйте, пожалуйста. Пусть живет до срока». В чем дело — не знаю, но чую — собака эта важнецкая, беречь надо.

— А ты загубишь. Продай,— настаивал Клим, начиная сердиться.

— Дела не будет,— отрезал Хрисан Андреевич.— Так — бери на охоту, а приводи в тот же день. Пущай Черноух породу соблюдает, как ему по уставу положено.

— Так что непродажная,— вмешался и Алеша.

— Ну, так и так,— недовольно заключил Клим, потрепал Бима по холке и ушел.

После ужина, под фонарь, Хрисан Андреевич заколол валушка и, подвесив за задние ноги на распялке, снял с него шубу, выпотрошил, обмыл тушку и оставил ее в сарае до утра.

Петровна весь вечер то укладывала яйца в корзину, то набивала банки сливочным маслом или заливала топленым. Она потом аккуратно устанавливала их в базарные, из белых хворостинок, корзины.

Вот теперь-то Бим уловил, что от всего этого (барашек без шубы, яйца, масло, корзины) пахнет городским базаром. Ему ли не знать! Весь город от края до края он изучил в поисках Ивана Иваныча. И Бим заволновался: базар, город, корзины, своя

собственная квартира — все связалось в одно: Иван Иваныч там. Ночь он не сомкнул глаз.

Утром, рано-рано, Хрисан Андреевич завернул уже твердую тушку в чистую мешковину, обмотал шпагатом и вскинул на плечо. Петровна надела на коромысло две корзины, подняла и положила его на оба плеча. Как Бим просился с ними! Он ясно же говорил, втолковывал им настойчиво: «Мне надо с вами. Я — туда. Возьмите».

Никто не понял его переживаний. Больше того, Хрисан Андреевич сказал, поправляя и прилаживая к плечам тушку:

— Придержи-ка, Алеша, Черноуха — как бы не убег за нами.

Алеша взял его за ошейник и придержал на крыльце. А Папаня и Маманя, каждый с тяжелой ношей, медленно пошли к шоссе, к автобусной остановке. Бим провожал их взглядом, не обращая внимания на ласку и уговоры Алеши, провожал, пока они не скрылись из виду.

Вскоре пришел Клим с ружьем и рюкзаком. Охотничьей сумки и патронташа на нем нет (недостаток экипировки Бим отметил немедленно). Но все-таки — ружье! — вот в чем смысл. Бим доверчиво потянулся к охотнику и тут же установил, что патроны насыпаны в карман. Тоже непорядок большой. Главное же — ружье. За человеком с ружьем он пойдет куда угодно. Надолго или нет, а пойдет. Такая уж натура у легавых собак, и Бим не был исключением: у него на какой-то срок затихла тоска, возникшая в последний день,— даже так. В отношении к ружью Бим был обыкновенной охотничьей собакой. Не надо его обвинять в отсутствии логики, истину он постигал только практикой, хотя и был умнейшей собакой из собак. Ему еще много предстоит пережить только от одного того, что он — собака. Не будем обвинять.

— Пошли-ка, Черноух, на охоту,— сказал Клим.

Бим запрыгал перед ним: «На охоту, на охоту!»

Клим же взял его на поводок, а Алеша предупредил:

— Дядя Клим, когда Черноух станет, вытянется, замрет, то тут и куропатки. Ему надо крикнуть так: «Пужай!» А то с места не сойдет.

— Аль правда?

— Ну дык! Знаю же,— степенно ответил Алеша.— Мне вот уроки учить, а то бы показал сам.

— Мы тоже кой-чего понимаем. Не впервой,— заверил Клим.

Итак, после большого перерыва и многих переживаний Бим пошел на охоту. Сначала им ничего и не попадалось, кроме норы вонючего хоря.

— Рой,— сказал Клим.

Бим такого не понимал, отошел в сторону и сел в недоумении.

К середине дня сильно потеплело. Солнечно, тонкий слой снега раскис, под лапами уже хлюпала грязь, очесы на ногах Бима обмокли и вымазались, он стал поджарым и невзрачным, как и всякая мокрая легавая. Но Бим искал по всем правилам — челноком впереди Клима, поперек и с поверочным заходом. На опушке кустарникового колка Бим стал по куропаткам.

Клим крикнул:

— Пужай!

Бим даже вздрогнул от басового рыка и поднял куропаток рывком, без подводки (ай, какая ошибка!), но выстрела не последовало. Бим обернулся. Охотник засовывал патрон в одностволку, а никак. Потом стал его вынимать, тоже — никак. Бим сел, не сходя с места подъема куропаток, и, не приближаясь, однако, к охотнику, следил за ним. А Клим стал ругаться так, как ругаются вечером на тротуаре пьяные: качаются и ругаются друг на друга или просто в черную ночь. Этот же и не качался, а ругался. Хотя Клим в конце концов вынул патрон, вставил другой и закрыл ружье, но был злой и чем-то напоминал Серого.

— Ну, ищи! — приказал он Биму.— Черноух, ищи!

Отвернувшись и выходя против ветра на челнок, Бим сделал вид: «Ну что ж, буду искать».

Но что-то такое апатичное появилось в прихрамывающей побежке, не та уже прыть, что до подъема куропаток. Клим принял это как физическую слабость собаки, не понимая того, что у Бима это самое означает начало сомнений в человеке: вот так, искоса, оглядываться на него, не останавливаясь и не приближаясь, держась на почтительном расстоянии. Он как бы и не искал, а только следил за охотником, но это только казалось. Страсть необоримая, страсть вечная, пока существуют охотничьи собаки, взяла свое. В сущности, Бим шел за ружьем, а вовсе не за Климом.

Неожиданно он поймал запах зайца. По этим зверькам Иван Иваныч не охотился с Бимом, хотя раза два-три Бим и делал по ним стойку. Они ведь, эти зайцы, не держат стойку ничуть: только приостановись, а он — теку. Гонять за ним нельзя — хозяин не разрешал. Летом, правда, они кое-как еще лежат и под стойкой, но Иван Иваныч всегда отзывал Бима; а одного зайчонка величиной с ладонь даже отнял из-под лапы и пустил на волю. Так что заяц — не птица. Однако Бим настроил нос на струю, идущую от зайца, пошел точно и стал на стойку — мокрый, чуть кособокий на испорченную лапу. Нет, уже не та стойка у калеки. Не та художественная стать.

— Пужа-ай! — заорал Клим.

Заметим, в мягкую погоду, а тем более в раскисшей грязи,

заяц лежит крепко, а Бим пока все еще не стронулся с места, будто хотел сказать: неправильно кричишь-то.

— Пужа-ай, черт хромой! — рыкнул Клим.

Поднял зайца Бим и прилег, как и полагается перед выстрелом.

Клим бабахнул, как пушка. Заяц бежал, но все медленнее и медленнее. Потом сел, потом спрятался в борозде и пропал из глаз.

Клим кричал дико:

— Ату, ату его! Ала-ала-ла-ла! Ату! — и бежал по направлению, где спрятался заяц.

Бим, хотя и запрыгал рядом с Климом, знал точно, что все это происходит не по правилам: охотник не должен бежать собакой, Бим и сам найдет, если надо,— даже зайца, если приказал бы Иван Иваныч.

Клим остановился, запыхавшись, и неистово орал:

— Ищи, балда! Калека чертова!

Пошел Бим как-то обиженно. И без этого запах зайца не так-то уж его интересовал и раньше, а тут — позади топает ногами Балда. Но все же следом, следом Бим дотянул, стал в стойке, дождался противного «Пужай» и размахнулся на подъем зайца. Но тот буквально выполз из борозды и заковылял, как больной. Клим выстрелил, а заяц бежал. Еще выстрелил, а заяц тихо-тихо ковылял с приостановками. Бим лежал, как и полагается, несмотря на грязь, ждал приказа.

А Клим рычал:

— Ату, гад! Ату его, балда! — и указывал на зайца.

Бим вновь нашел затаившегося подранка и опять сделал стойку. Третью! И опять Балда промазал. И снова заяц побежал.

Так Клим и не смог понять в своем озлоблении, что Черноух не приучен рвать подранков и душить их, что это ниже достоинства интеллигентного сеттера, что сеттер не терпит таких охотников, как он. Когда в последний раз заяц скрылся из виду (он пошел несколько бодрее — видимо, рана была открытой), Клим снова рассвирепел: он подошел вплотную к Биму и часто повторял слово «мать», зло, с ненавистью: явно проклинал Бима.

Бим отвернулся сидя, собираясь уходить от ружья. И тут Клим с размаху ударил его изо всей силы носком громадного сапога в грудь снизу...

Бим охнул. Как человек, охнул.

«О-о-х! — вскрикнул протяжно Бим и упал.— Ой, ой...— говорил теперь Бим человеческим языком.— Ой... За что?!» И смотрел мучительным, страдающим взглядом на человека, не понимая и ужасаясь.

Потом он с трудом встал на четыре лапы, покачался чуть-чуть и рухнул вновь, шевеля лапами.

— Что ж я наделал! — схватился за голову Клим.— Теперь придется четвертную отдавать. Пропали деньги! — и затрусил скоро-скоро, будто убегая от взгляда Бима.

В тот день Клим не появился в селе, а где-то прошлялся до ночи. В полночь, крадучись огородами, заполз в свою хату, что на самом краю села.

Что же Бим? Где он?

Он остался один на сырой, холодной земле, один-одинешенек на всем белом свете. Внутри что-то оборвалось от удара, и это «что-то» стало теплым, оно захватило дыхание, сперло грудь, оттого он и потерял сознание. Но вот он кашлянул, его стошнило, вздохнул — дышать больно. Еще раз схватил воздух открытым ртом и откашлялся. С усилием приподнял голову: поле качалось так, будто Бим плыл по волнам в половодье. Он натужился, сел: поле качалось, солнце качалось, как подвешенное на веревке.

Сегодня с Бима спросили больше того, что он может, от него потребовали: ты д о л ж е н, о б я з а н сделать то, чего н е м о ж е ш ь сделать против своей собачьей чести и совести. За неисполнение жестоко и свирепо избили. А он, Бим, не позволит душить подранка.

«За что-о-о... За что-о-о...— скулил тихонько Бим.— Где ты, мой добрый друг... Где-е? Где?..» — все тише и тише жаловался Бим, а наконец и замолк.

Со стороны показалось бы, что лежит в открытом слякотном поле мертвая собака. Но это было не так.

Вот он приподнял зад, укрепился на ногах — не упал. Переступил раз — не упал. Постоял. Переступил второй раз. И заскоблил по пашне, волоча лапы, перечеркивая свой собственный след.

...О великое мужество и долготерпение собачье! Какие силы создали вас такими могучими и неистребимыми, что даже в предсмертный час вы движете тело вперед? Хоть помаленьку, но вперед. Вперед, туда, где, может быть, окажется доверие и доброта к несчастной, одинокой, забытой собаке с чистым сердцем.

И Бим шел. Еле шел, но все-таки шел. На губах выступила кровь, а он шел. Кашлял кровью, а шел. Спотыкался, припадая на колени, и шел. Ложился от бессилия на холодную землю, вставал и вновь продвигался вперед еще.

У ручья жадно напился воды — стало чуть легче. Что-то ему подсказывало: от воды уходить не надо. Он действительно добрался до ближайшей скирды, через силу просунулся под нависшую до земли солому и затих. Так собаки отлеживаются

от недуга, скрываясь от взора людей и зверья; этому научила их сама природа. Слава ее законному порядку и разумной целесообразности!

Сколько Бим пролежал в забытьи, он не знал, но, очнувшись, почувствовал острую боль в груди; голова закружилась, и он, ощутив нутром, что сейчас что-то произойдет с ним, выполз из соломы. Полежал на открытом воздухе. Ощутил, что шерсть стала сухой. Сел. Осенняя трава теперь не качалась, скирда не качалась, солнце — тоже, и оно теплое, немножко греет. Бим доплелся до ручья и вновь пил, пил, пил. Отдыхал немного и опять пил, уже маленькими глотками. Он заметил недалеко от ручья степную осоку, мелкую и еще зеленую, похожую на пырей (морозы не скоро ее берут). Бим стал есть осоку. Что ему подсказывало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал: обязательно надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая запоздалая ромашка, а на ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку. Еще вернулся к ручью, напился и пошел к деревне. Шел вперед и вперед.

Так-таки и добрел, когда уже смеркалось. Нет, Бим не пошел в деревню. Как же! Туда побежал Клим... Нет, за ним он не пойдет. Клим может взять снова за ошейник и тогда... Нет, такого не будет.

Бим устроился в остатках копны, отлежался немного. Почуял рядом стебель лопуха, попробовал его — сухой, отгрыз его вровень с землей и стал щипать корень, вгрызаясь в глубину. Это он тоже знал, что уж лопух-то надо есть обязательно.

Велики и многогранны лечебные познания собаки. Отпустите собаку в начале бешенства в лес: через две-три недели она придет истощенная до полного бессилия, но здоровая. Заболела собака желудком — ведите в лес или в степь и поживите с ней пару-тройку дней: она вылечит себя травами. Именно у собаки и надо учиться, как ее лечить. Природа закрепила настолько богатые «знания» у собаки, что чуду этому люди никогда не перестанут удивляться.

...Ночь прошла. Большая, осенняя, ноющая внутри ночь.

Прокричали первые петухи. Бим не стал дожидать вторых и третьих, последних, рассветных. Он поднялся, но никак не мог сдвинуться с места от боли в груди. Но все же с усилием размялся, дважды ложась и вставая вновь, да и побрел тихонько.

Он притащился к Хрисану Андреевичу, взобрался через два порожка на крыльцо и прилег. В доме было безмолвно.

Кто знает, может быть, он не ушел бы отсюда сегодня, но рядом, совсем рядом, прошел Клим, тихо, крадучись вором. Бим задрожал. Бим готов был защищаться до последнего издыхания. В Биме проснулась гордость обреченного, когда тому

больше нечего терять. Но Клим перегнулся через балясину и сказал полушепотом:

— Пришел, Черноух,— и торопливо, трусливо потопал обратно, будто повеселел.

У Бима не было сил, чтобы догнать и мстить за коварный, жестокий удар сапогом, лаять он не мог, потому что, кроме хрипа, из этой попытки ничего не получилось в искалеченной груди. Но Бим не желал и того, чтобы Клим вдруг пришел и пытался взять его. И вот он встал, тихо обошел двор, принюхался к подсвинкам, к корове, овцам, чуть посидел и пошел из села вон. А как хотелось прилечь у друзей-поросят!

...Пропели третьи петухи. Светало.

По направлению к шоссе шла собака. Голова опущена, хвост висел безжизненно, как у бешеной. Со стороны она и могла бы показаться бешеной, в последней стадии болезни: вот-вот рухнет, наткнувшись на первый попавшийся предмет, и умрет тут же. Это был наш Бим, наш добрый и верный Бим. Он шел искать своего хозяина, Ивана Иваныча. Шел точно старым путем, по которому его вели сюда.

От деревни до остановки автобуса было километров пять-шесть, но где-то на полпути Бима снова оставили силы, он едва дотянул до стога сена. Кто-то, воруя ночами, продергал в стоге дыру — туда Бим и забрался. Лежал там долго, почти весь день, а перед заходом солнца вышел из своего ухорона. Хотелось пить, но воды не было. Боль сверлила грудь, хотя дышать стало легче, а голова не закружилась, когда он тронулся в путь. Теперь ему попалась кулижка бессмертника, он съел и эти цветочки — желтенькие, сухие, не изменяющие цвета от начала цветения до созревания и дальше, на всю зиму до весны. Общипал и кустик ромашки, но у этой головки оказались созревшими, во рту рассыпались и першили в горле, отчего еще сильнее захотелось пить. Когда он переходил одну из полевых дорог, попалась лужица от растаявшего снега в колее. Так дорога сберегла для Бима водички. Он напился и пошел помаленьку дальше.

Затемно он прибыл наконец на шоссе. Посидел малость, проводил глазами несколько автомобилей с ослепительным светом и уже знал: надо идти туда. Но — не ночью же! А вдруг — Клим? Или — Серый дядька? Или — волк?

Бим решил не отходить от автомобильной дороги и спрятаться на ночь неподалеку, где-нибудь рядом. Он дотащился до автобусной остановки, где был маленький домик без одной стены, но с широкими лавками внутри; там забился в угол, под лавку, и стал ждать.

За ночь он не сомкнул глаз, несмотря на неимоверную слабость. То один, то другой проскакивали мимо автомобили —

дорога жила и ночью. Автобус замедлял ход перед остановкой, где лежал Бим, но из-за отсутствия пассажиров уезжал дальше.

Ночь была хотя и настороженная и больная, но теплая, слава богу,— осень еще раз прогнала зиму.

*

Что же произошло в деревне за эти сутки в отсутствие Бима?

Хрисан Андреевич с Петровной вернулись с базара уже в сумерки. Алеши не было — дом на замке. Они вошли, пересчитали деньги, вырученные в городе, спрятали их пока в сундучок, чтобы завтра отнести в сберкассу. Тут и заявился Алеша.

— Куда ты запропал? — спросил отец.

— Ходил до Клима.

— Аль он не привел Черноуха?

— Еще не пришел с охоты.

— Придет. Приведет — никуда не денется,— успокоила Петровна, примеряя Алеше новенький свитерок.

— Так-то оно так,— неуверенно сказал Хрисан Андреевич,— да только Клим-то, вишь, ворюга... Хоть бы брал-то одно колхозное — оно там ничье, а то ведь у колхозников тащит. О, с этим свяжись — рад не будешь. Любой-каждый его боится. Пущай уж берет Черноуха на охоту, леший с ним, с Климом.

— Как так ничье? — спросил Алеша.— Наше же?

— Оно, конечно, так... Оговорка... Это ты правильно — наше... Но... как бы тебе потолковее сказать? Там — наше, а тут — свое. Ну, скажем так: школа, к примеру, наша и дети все наши, а ты — мой. Или так: поля — наши, а усадьба— своя... Стало быть, и скотина: есть — наша, а есть — своя. Понял?

— Ну дык! Как не понять... А ты — ничье...

— Это ты правильно: совсем ничье — не может того быть.

Отец всегда разговаривал с Алешей как со взрослым. Алеша отвечал тем же:

— Стало быть, и Клим: брал бы из нашего, а не из моего.

— Фактически так,— заключил отец.— Мы же с тобой берем... сенца там аль свеколки для коровы? Берем. Потаенно от председателя, а берем чуть. Да и он, председатель, знает, и бригадир знает, все знают. И от этого никуда не денешься: из нашего берем. И берем по совести, из прошлогодних стогов иль добираем остатки свеклы. А как же? Скотину кормить-поить надо.

— Фактически так,— подтвердил тринадцатилетний мужичок, который уже может и пасти стадо, и ухаживать за «своей» скотиной, и пахтать масло, помогая матери, если свободен,

конечно, и чистить по морозу «нашу» свеклу, и копать «свою» картошку.

А Хрисан Андреевич разъяснял дальше:

— Как положено по уставу, так и действуем все: там — наше, а тут — мое. Я вот отнес барашка в город. А как же? Кормить-поить народ надо — мы к тому приставлены. И мать отнесла яйца. И масло. Все по уставу, все планово. Жизня, Алешка, наладилась хорошо, обуты, одеты не хуже учителя аль председателя, телевизор есть и все такое, деньжонки есть по потребности. А что работаем много, так, окромя крепости, от этого ничего не бывает. Только вот водку не надо пить,— наставлял Хрисан Андреевич.

— А сам пьешь,— резонно заметил Алеша.— Раз не надо — и не надо. Проку-то!

— Это ты правильно,— согласился отец.— Разве что бригадира уважить, так это ж не нами заведено... А Клим — что? Клим — ворюга. Как это так: пойти к соседу и украсть курицу? Это же надо потерять всякую совесть. Куда-а там! Пропал человек.

В ожидании Черноуха Алеша и Хрисан Андреевич проговорили так до одиннадцати вечера. Потом ходили вокруг двора, заглядывали к поросятам, под крыльцо (может быть, убежал от Клима да и спрятался). Наконец Хрисан Андреевич пошел сам.

Наталья, жена Клима, тихая и забитая мужем, та самая, что уронила слезу на свекольный лист, сказала горестно:

— Не пришел еще, бродяга. Заночевал где-нибудь, идолище. Либо запил, окаянный. Ох, горе мое! Считай, теперь завтра придет, шатун. А собаку он никуда не денет, знаю его. Приведет.

Хрисан Андреевич вернулся домой, рассказал, что слышал, и они с Алешей улеглись на покой, разговаривая шепотом, чтобы не будить мать. Они не слышали, как приходил Черноух на крыльцо, как подкрадывался и убежал Клим, как ушел их добрый новый друг от злого человека.

Утром отец разбудил Алешу:

— Вставай. На крыльце свежие следы: пришел Черноух.

Вдвоем они стали искать, звать, свистеть, но Черноух уже не мог их услышать. Хрисан Андреевич почти бегом затрусил до Клима, разбудил его.

— Привел же, привел,— басил тот хрипло и недовольно.— За полночь привел, не хотел тебя будить... Хочешь, следы свои покажу... А ты вот меня разбудил, растревожил. Как думаешь: по-человечески ты поступаешь или как? Да и кобель твой негодный для охоты. Сдался он мне — не буду его брать никогда.

Хрисан Андреевич не спорил: с этим только свяжись.

Они обошли с Алешей все село, огороды, были на колхозном дворе (не у собак ли Черноух в гостях). Нет, никто нигде не видел Черноуха. Пропал Черноух.

— Стало быть, Клим его побил,— догадался Хрисан Андреевич.— Убег Черноух.

А у Алеши щемило сердце от жалости и горя. Он стал рассматривать пол на крыльце: следы уже высохли, но место, где лежал Черноух, осталось заметным. Алеша наклонился и неожиданно кинулся в дом с криком:

— Папаня! Кровь!

Тот выбежал, присмотрелся: там, где лежала голова Черноуха, остались высохшие пятнышки от слюны, перемешанной с кровью.

— Зверь! — сказал Хрисан Андреевич. Подумал и предупредил Алешу: — Смотри не связывайся с этим человеком — беды наживешь. Вот что: пойдем-ка по путю Черноуха — кроме ему некуда.

Они добрались до автобусной остановки, по дороге зовя и выискивая Черноуха, долго там поджидали да и ушли домой. Думалось, если шел сюда, то теперь он уже далеко-далеко. В этот день они проходили неподалеку от того стога, где отлеживался Бим, их Черноух.

Вечером Алеша несколько раз выходил на крыльцо, ждал, звал. А потом вернулся в сени, сел у собачьей будки, набитой сеном, и заплакал, откровенно, по-детски, всхлипывая и размазывая рукавом непослушные слезы.

Хрисан Андреевич услышал. Вышел в сени, включил свет.

— Э, да ты, никак, того? — удивился он.

— Того,— ответил Алеша, вздрагивая.

Отец провел шершавой, деревянной ладонью по волосам сына и проговорил:

— Это хорошо, Алеша... Душа в тебе есть, мальчик...

Вышла и Петровна.

— Жалко Черноуха? — спросила она.

— Жалко, маманя!.. Жалко...

— Горе-то какое, отец,— всхлипнула она.— Что же теперь поделаешь, Алешенька... Так тому быть... Жалко...

...А в это самое время Бим уже лежал под лавкой павильончика автобусной остановки.

Лежал и ждал. Ждал он только одного — рассвета.

Глава 13

ЛЕСНАЯ БОЛЬНИЦА. ПАПА С МАМОЙ. ГРОЗА В ЛЕСУ

Как только забрезжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика: что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собачьи, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, потом — вторую, уперся ими в стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел. Отекшие ноги стали отходить. Превозмогая боль и утишая ее слабым поскуливанием, про себя, он пошел — сначала с трудом, чиркая лапами о землю, потом все прочнее и прочнее.

Попробовал малость впритруску — так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что собака и не бежит и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тела. Так Биму легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе.

Шел по левой стороне дороги, против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал «Правил уличного движения по дорогам СССР» и никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шоферам, в его законном движении не было — просто инстинкт подсказывал: этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках автомобилей, обязательно думали: «Умная собака какая — соблюдает правила движения. Но больная». На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности.

Долго семенил Бим — может, три, может, четыре часа (с остановками и отлежками больше, конечно). Скорость его не превышала скорости пешехода, возможно, чуть-чуть даже и больше. И то уже хорошо!

Но вот он, неожиданно для самого себя, узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иваном Иванычем перед началом охоты. Узнал!

Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево, на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул: «Бешеная!» Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намет, но это ему не удалось, скорость не прибавилась, только стало еще труднее.

Главное — туда. Туда, где, возможно, был недавно или скоро будет Иван Иваныч. Туда, вперед.

Бим трусил к лесу. На опушке он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места, обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг как-то решительно лег у пенька на палую листву: здесь, вот здесь сидел всегда Иван Иваныч перед охотой. Бим вытянул голову и терся, терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились.

А день тот был теплый-теплый!..

*

Бывает поздней осенью, даже и после зазимка вернется лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежится и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытнем, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим, напоминающим о прошлых погодах; и потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости лесной и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие и ласковые прощальные последние дни уходящей осени; она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок инея: все ушло, все в прошлом. И будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли из дарованного природой сосуда спасения души!

В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный, ты сливаешься с природой. В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянный ее нежной дремотой, в дни недолгого забвения предстоящей зимы, ты начинаешь понимать: только правда, только честь, только чистая совесть, и обо всем этом — с л о в о. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми.

Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу у пенечка. И тосковала.

*

Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был — боже мой! — теплый-теплый!

Но земля-то была холодная. Поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоря он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал ли Бим, что и эта кора — целебная для него?

Впрочем, людям, может быть, и невдомек, что тончайшее чутье собак, возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерианы остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах? Тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз корешок и съел. И еще съел. Корень валерианы почти сверху — достать его не трудно. Съел он столько, сколько надо, никак не больше, покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лежки, но место не понравилось (тоже неизвестно почему). Сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтоптал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном; однако же как-то рывком упал в постель и тут же, немедленно, уснул крепким сном.

Валериана взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области. Но ни в какой области и губернии здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется какая мордой о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент. Вот он и съел. Так что очень прошу вас: тише. Тише. В той ямке спит наш добрый Бим.

Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав, и не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес, по-осеннему притихший, оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес!

Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх. Идти хоть было и трудно, но уже легче, намного легче, чем утром. Внутри отмякло. Только вот сил все еще не было. Он сходил к род-

ному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовцу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся: все было спокойно. И вновь улегся в теплую, уютную глубокую ямку. Наверно, Бим видел хороший сон. Даже обязательно видел, потому что слегка, чуточку, повиливал хвостом.

Так он проспал всю ночь. И не прозяб.

На рассвете его разбудил тихий шорох, он приподнял голову, прислушался: кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом еле заметные в безветрии микроскопические струйки воздуха и установил точно: вальдшнеп!

Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальдшнеп был шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы волочилось по земле — так остаются подранки от горе-охотников, живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо все равно погибают, если ухитряются уцелеть до больших морозов.

Бим переставил лапу — вальдшнеп не услышал, увлеченный работой. Переставил другую — не слышит, работает. Вальдшнепу тоже нельзя терять времени: с теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так, из-за дерева, и замер в стойке. Никто не крикнул ему «Вперед!», он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось: просто упал и схватил вальдшнепа зубами. Подержал лежа на боку, повернулся на живот и... съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто.

Как же так получилось, что, дрессированный, натасканный опытной рукой охотника, Бим нарушил честь — съел дичь? То-то вот и оно, я и сам об этом думаю. Получилось так потому, что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать.

Силы у него прибавилось, вот в чем суть. Захотелось пить. Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь; съел, в дополнение к первой порции. И стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку. Съел, поморщившись (как-никак чеснок). Брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке две или три десятых процента йода? Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы, два дня назад, ему как откровение пришел опыт

его далеких предков, опыт, запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы!

Лечился Бим еще пять дней. Питался чем бог поможет, но лечился настойчиво. Спал в обжитой ямке, ставшей на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку, но отпробовать его не удалось: тот вскочил и дал стрекача. Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут — нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима, он кое-как прокормился,— плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал, отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело — Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь, искать человека-друга. И опять это произошло без особого разума, а только от сердца, от преданности и верности.

При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверно, он решил-таки, что Ивана Иваныча здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же — к пенечку; там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда; беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка не остановившись и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой.

*

В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда. И он шел осторожно и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой — к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику: все они, наверно, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было его обходить и вдруг замер у калитки: след Толика. Мальчик, какого так полюбил Бим, прошел здесь. Вот только-только прошел. Калитка была заперта, но Бим, не задумываясь, подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. Ну вот же, вот сейчас прошел! Это был крохотный парк-сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом. Туда и повел след.

Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Биму было

невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался, уже сильнее.

Из-за двери голос женщины:

— Кто тут?

«Я,— ответил Бим.— Гав!»

— Это еще что? Толик? Кто-то к тебе с собакой. Еще чего не хватало!

«Я, я! — сказал Бим.— Гав, гав!»

— Бим! Бим! — закричал Толик и открыл дверь.— Бим, милый Бим, Бимка! — и обнял его.

Бим лизал руки мальчика, курточку, тапки и непрерывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенесшей столько испытаний!

— Мама, мама, ты посмотри, какие у него глаза! Человеческие! Бимка, умный Бимка, нашел сам. Мама, сам нашел меня...

Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встрече. Когда же восторги улеглись, она спросила:

— Это та самая?

— Да,— ответил Толик.— Это Бим. Он хороший.

— Сейчас же прогони.

— Мама!

— Сейчас же!

Толик прижал Бима к себе:

— Не надо, мама. Пожалуйста! — и заплакал.

Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил:

— Что у вас тут за крик? Ты плачешь, Толик? — Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал: — Ну, что ты, дурачок? — И погладил Толика по голове, потрепал за ушко и Бима: — Ишь ты! Собачка. Смотри-ка, какая собачка... худая.

— Папа... папа, он — хороший, Бим. Не надо.

Мама теперь уже закричала:

— Вот так всегда! Я одно говорю ему, а ты — другое. Воспитание, называется! Изуродуешь ребенка! — Она перешла на «вы»: — Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно.

— Подожди, подожди, не кричи. Спокойно.— И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал.

Из всего этого Бим понял, что Мама против Бима, а Папа — «за» и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять!

И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату (там пахло исключительно одним Толиком).

Ни Бим, ни Толик не слышали дальнейшего разговора Мамы и Папы.

А там происходило вот что:

— Зачем же ты при Толике такие слова говоришь: «Изуродуешь ребенка» и тому подобное? Это же для него пагубно.

— А это не пагубно: явно больная собака, бродячая — да в нашу образцовую чистоту! Ты что, с ума сошел? Да он завтра же заболеет от нее черт те чем. Не позволю! Сейчас же выгони пса!

— Эх, мать, мать! — вздохнул Семен Петрович.— Ни капли ты не представляешь, что такое тактика.

— Провалитесь вы со своей тактикой, Семен Петрович!

— Ну вот, опять за свое... Надо же сделать с умом: и Толика не травмировать, и пса уволить.— Потом что-то пошептал ей и заключил: — Так и сделаем: уволим.

— Так бы и говорил сначала,— успокаивалась Мама.

— Не мог я сказать этого при Толике... А ты, дурочка, несешь: «провалитесь с тактикой».— Он потрепал ее по щеке (то есть помирились).

Они вошли к Толику, Мама сказала:

— Ну, пусть живет, что ли...

— Конечно, пусть,— поддержал Папа.

Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на Маму и Папу, он рассказывал о Биме и показывал все, что тот умеет.

Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью.

— Но одно условие, Толик: Бим будет спать в прихожей и ни в коем случае не с тобой,— заключил Папа.

— Пусть, пусть,— согласился Толик.— Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю.

Бим приметил, конечно, что Папа — хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда, несколько позже, Толик провел Бима по комнатам, знакомя с квартирой, то и тут Бим заметил, что Папа ест один, с газетой в руках, и тоже — спокойно и уверенно. Хороший человек — Папа, он же и Семен Петрович.

Допоздна провозился Толик с Бимом: расчесал его, покормил немного (больше не велел Папа: «Голодной собаке много нельзя, загубить можно»), выпросил у Мамы тюфячок (совсем новый!), постелил в углу прихожей и сказал:

— Вот твое м е с т о, Бим. На место!

Бим беспрекословно лег. Он все понял: здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка.

— Пора спать, Толик. Пора. Уже пол-одиннадцатого. Иди, ложись,— уговаривал Папа.

Толик лег в постель. Засыпая, он думал: «Завтра пойду к Степановне и скажу, пусть у меня живет Бим, пока вернется Иван Иваныч...» И еще вспомнил такое: когда он рассказал, что ходит к Степановне и там есть Люся, а он водит Бима, то мама раскричалась, а папа сказал Толику: «Больше туда не пойдешь»; когда же Толик плакал, то папа напоследок сказал маме: «Мы забыли с тобой, что такое тактика». И гладил Толика по голове, говоря: «Что теперь поделаешь? Надо тебе вырасти, большим человеком стать, но не собачником и не по бабкам разным там ходить. Ничего не поделаешь!» А теперь вот Бим будет жить у него и «по бабкам» ходить не надо... Он только один разик сходит к Степановне, чтобы сказать ей обо всем... и к Люсе... Она милая девочка, Люся... А Бим небось спит. Хороший Бим.

На этой мысли Толик уснул спокойным, радостным, светлым сном.

...Глубокой ночью Бим услышал шаги. Он открыл глаза, не поднимая головы, и смотрел. Папа тихо подошел к телефону, постоял, прислушался, потом взял трубку и полушепотом сказал всего два слова:

— Машину... Сейчас.

Значения этих слов Бим, конечно, не понял. Но заметил, что Папа тревожно смотрел на дверь Толика, бросил неспокойный взгляд на Бима, ушел в кухню, вышел оттуда на цыпочках, с веревкой и каким-то узелком. Бим сообразил: что-то не так, что-то в Папе изменилось — он не похож сам на себя. Внутреннее чутье подсказывало — надо залаять, надо бежать к Толику! Бим, вне всяких сомнений, сделал бы именно так, но Папа подошел и стал гладить Бима (значит, все хорошо), потом привязал веревку к ошейнику, надел пальто, тихо-тихо открыл дверь и вывел Бима.

У подъезда стоял и журчал живой автомобиль.

И вот едет Бим на заднем сиденье. Впереди человек за рулем, рядом с ним Семен Петрович. Из узелка, что положен рядом с Бимом, пахнет мясом. На шее веревка. Люди молчат. Бим тоже. Ночь. Темная, темная ночь. Небо заволокло тучами — оно черное, как чугун в доме Хрисана Андреевича, непроглядное. В такую ночь невозможно собаке следить за дорогой из автомобиля и заприметить обратный путь. И куда везут, Бим тоже не знал. Собачье дело — что? Везут, и все. Только вот веревка зачем? Беспокойство окончательно овладело Бимом, когда подъехали к лесу и остановились.

Семен Петрович повел Бима на веревке в глубь леса, захватив с собой ружье. Шли вниз, в яр, освещая просеку фо-

нариком. Дорожка уперлась в небольшую полянку, окруженную огромными дубами. Тут Семен Петрович привязал Бима к дереву за веревку, развернул узелок, вынул из него миску с мясом и поставил перед Бимом, не произнося ни единого слова. И пошел обратно. Но, отойдя на несколько шагов, обернулся, ослепил Бима фонарем и сказал:

— Ну, бывай. Вот так.

Бим провожал взглядом удаляющийся свет фонарика и молчал — в удивлении, в неведении и горькой обиде. Он ничего, ровным счетом ничего не понимал. И дрожал в волнении, хотя было тепло и даже душно, необычно для осени.

Автомобиль уехал. «Туда уехал»,— определил Бим по удаляющемуся звуку, что становился все тише и тише, а потом и совсем заглох; звук тот как бы проложил Биму направление — куда идти, в случае чего.

Лес молчал.

Темной-темной осенней ночью сидела в лесу собака под могучими деревьями, привязанная на веревке.

И надо же случиться такому именно в эту ночь! Редко, очень редко так бывает, но случилось: в конце ноября, при таком необычном потеплении, где-то далеко-далеко прогремел гром.

Сначала Бим сидел и слушал лес, проверяя вокруг, насколько хватало чутья. Для собаки не трудно определить — какой это лес, если она хоть однажды побывала в нем. Бим вскоре понял, что он находится там, где когда-то был с хозяином на облаве. Тот самый лес. Но волком пока нигде поблизости не пахло. Бим прижался к дереву боком, прижук в непроглядной темноте, слился с нею, одинокий, беззащитный, брошенный человеком, которому он не сделал никакого зла.

Внутренне, где-то в самых глубинах существа, инстинктом, Бим понял, что к Толику теперь идти не надо, что он теперь пойдет к своей родной двери, только туда и никуда больше. И так ему захотелось туда, что он, забыв о веревке, рванулся от дерева изо всех оставшихся сил и упал: боль в груди отдалась во всем теле и подкосила его. Теперь он лежал недвижимо, вытянув все четыре лапы. Но это продолжалось недолго, он вновь поднялся и вновь сел к дереву, казалось смирившись со своей судьбой.

В черной ночи еще раз пророкотал гром, теперь уже ближе, и прокатился по безлистому лесу грузно и широко. Подул ветер, ветви деревьев заныли, как от предчувствия беды, стволы, что послабее, закачались, и наконец все слилось в единый тревожный черный шум, в котором отчетливо выделялся стон полусухой осины; она ритмично скрипела и скрипела где-то у корня, уже надломившаяся и изношенная; ее глухой тоскливый стон пугал Бима больше, чем весь шум леса.

А лес шумел, шумел и шумел. А ветер все разыгрывался полным и единственным властелином в кромешной тьме, разыгрывался так, что застонали и дубы. Биму казалось, что кто-то черный-черный, огромный распластался над могучими дубами, над безнадежной, умирающей старой осиной, над ним, затерявшимся в этой суровости псом; и этот черный бил полами черного плаща по верхушкам леса, обхватывал деревья и качал их в дикой пляске, шаманил, подергиваясь и извиваясь, крича и завывая в стоголосой дикости.

Биму стало так жутко, что боль в теле на время отошла, забылась. Он вдавился в ствол дерева, влип. Ветер начал бросать на лес холодом, отчего внизу яра потекла знобящая струя и сразу же пронизала Бима. Так всегда позднее потепление резко сменяется похолоданием. Бим передвинулся на другую сторону ствола, от ветра, и так, чтобы против ветра следить чутьем, а под ветер — глазами. Но впереди было непроглядно темно. Бим дрожал.

Вдруг, как огненным узким ножом, молния рассекла черноту, на секунду осветив строптиво воющий лес, а вслед за нею что-то грохнуло вверху, ударило, задребезжало чем-то разбитым, ухнуло вниз и покатилось по лесу в разные стороны. Молния и гром будто испугали шамана, и он стал убегать, убегать, а потом и совсем затих; и тогда застучали сверху капли. Дождь был короткий, сильный, холодный. Потом и он перестал.

Лес теперь потихоньку ворчал, отряхиваясь и оправляясь, словно после боя. Но вдруг осина скрипнула, затрещала, цепляясь за другие деревья, прощаясь с соседями, жутко зашумела и повалилась на землю, ломая свои ветви в горестной предсмертной безнадежности: выдержала последний бой и пала. Осина стояла близко от Бима, ему было тревожно слышать смерть дерева и страшно оттого, что она падала, как ему вначале казалось, прямо на него; он в ту минуту попятился от своего рокового дуба, натянув веревку, но... веревка есть веревка.

Бим сидел до рассвета, продрогший, больной, измученный. Перед ним стояла миска с мясом — к нему он так и не прикоснулся.

Перед рассветом далеко завыл волк. Один провыл: больше к очередной перекличке в лесу не оказалось. То был самый хитрый, спасшийся тогда от облавы волк. Бим приподнял шерсть на холке, застучал зубами и слушал, слушал, слушал, хватал чутьем воздух, глубоко втягивая. Он приготовился к встрече, ничуть не подозревая, что в нем есть храбрость самозащиты, которую можно назвать героизмом отчаяния (ведь укусил же он Серого дядьку, чуть не сбив его с ног!). Но волк на этот раз не пришел. Ветра уже не было, так что издали зверь не мог зачуять Бима, а время заброда по его участку, видимо, еще

не наступило. Однако Бим в напряженном ожидании, незаметно для самого себя, уже натянул веревку, отчего ошейник стал душить до хрипоты. Тогда Бим попятился к дереву, прижался задом к стволу, перехватил коренными зубами веревку и... перегрыз. Как ножом отхватил!

Свершилось!

Бим свободен, хотя и одинок в дремучем лесу.

Так любая собака, в конце концов, и поступает, хотя у разных пород это происходит по-разному: цепные сторожевые — те перегрызают веревку немедленно, так как они любят только прочные цепи; моська хотя и не перегрызает, но, будучи привязанной на веревочку, начинает биться, вертеться, вопить и может даже удушиться; гончие долго думают, но перегрызают; интеллигентная собака, что работает по красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но веревку перегрызет только в минуты опасности или в отчаянии, когда станет ясно, что никто уже не придет на помощь. Вот так и Бим: пришел срок, и он сделал то, чему быть должно.

Бим отошел от дерева осторожно, оглядываясь, прислушиваясь к лесу. Неожиданно неподалеку застрекотала сорока. «Тут кто-то, кто-то, кто-то есть! Кто-то есть, кто-то, кто-то есть, кто-то есть!» И Бим немедленно, с первого же предупреждения сороки, остановился в чаще молодого дубняка, плотно окружившего старый толстенный дуб-вековик. Боли он уже почти не чувствовал, она ушла куда-то в глубину. Он прилег на листву, вытянув шею и прижав голову к земле. Сорока прокричала близко — Бим увидел ее на высоком дереве. Он, конечно, ушел бы, не теряя ни минуты, но сорока кричала об опасности с той стороны, куда надо было идти Биму. Ждал он в трепете, в то же время с решимостью, и еще с благодарностью к сороке за своевременное сообщение о враге. Спасибо тебе, сорока! Только хищные животные ругают эту птицу, замечательную вестунью, урожденную с телеграфом на хвосте, добровольную службу мирных жителей леса. Не будь сороки, население, бегающее и летающее, было бы окончательно лишено информации о жизни леса.

Волчица вышла на край поляны и остановилась. Передняя нога у нее кривая (значит, она когда-то была ранена человеком). Прихрамывая, она переступила еще несколько шагов, повернула голову точно к Биму и с разлету... бросилась в его сторону. Но промахнулась — помешала неправая нога. Бим ускользнул от нее в самый последний момент, прыгнув в сторону. Зверь, повернувшись и как бы подпрыгнув на трех ногах, кинулся вновь на Бима. Однако тот юлой откатился за дуб и почувствовал спиной отверстие, дупло. И тут же, в момент второго промаха волчицы, в ту же секунду, протиснулся в дупло, выставил зубы,

зарычал неистово и стал лаять так, как никогда в жизни не лаял,— как гончая на следу, как лайка у берлоги, без передыху. Голос Бима зазвенел по лесу одним-единственным словом, понятным каждому: «Беда-а! Беда-а!» А лес подхватил и помогал эхом: «Беда-а! Беда-а!!!»

Спасибо тебе, лес!

И понеслось от сороки к сороке, быстрее телеграфа, тревожное оповещение: «Кто-то кого-то ест, кто-то кого-то ест, кто-то кого-то, кто-то кого-то...» Лесник на кордоне определил, что и собачий неистовый лай, и редкостное беспокойство сорок — не к добру. Он взял ружье, зарядил картечью и пошел в глубину леса. Человек шел смело, потому что лес был почти что его домом, а обитатели лесные знали его в лицо. Да и он знал многих из них, знал в лицо и волчицу, но почему-то не убивал ее. «Не затесался ли кто из молодых охотников на законную собственную территорию волчицы, не испугался ли ее и не забрался ли на дерево, оставив собаку на растерзание?» — подумал он, торопливаясь. Лай раздавался издалека, в самом конце Волчьего яра, но вдруг оборвался. «Готова!» — решил он и пошел теперь уже тише, хотя и в том же направлении. Эх, а надо было бы спешить. Спешить бы!

Что же там произошло, у дуба векового?

Волчица была «тертая»: она отошла от дупла, чтобы Бим замолк, знала, что вместе с собачьим лаем всегда появляется человек с ружьем. Бим потому и примолк, что волчица уже не бросалась на него. Через некоторое время она передвинулась ближе и села, не спуская с Бима глаз. Так две собаки смотрели друг на друга око в око: собака дикая, далекий родич Бима и враг человека, и собака интеллигентная, которая не может жить без доброты человека; волк ненавидит всех людей, а Бим любил бы всех их, если бы они все же были добрыми к нему; собака — друг человека и собака — враг человека смотрели друг другу в глаза.

Волчица понимала, что в отверстие дупла ей не пролезть, но она подошла к нему, потянулась мордой. Бим попятился в глубину, оскалив зубы, но уже не лаял, он был в своей крепости недосягаем.

Сколько времени так продолжалось бы, неизвестно. Но вот волчица повела носом вокруг, резко повернулась от дупла и, пригнувшись, как перед опасностью, шаг за шагом стала продвигаться к полянке, к тому дубу, за который был привязан Бим. Шла она с каким-то ужасом, опустив хвост-полено.

В страсти охоты за Бимом она пропустила это место, потому что ночной дождь сильно смыл запахи, а теперь, как только немного обветрело, она их обнаружила: веревка на дереве, миска с мясом. О, она знала уже, что это означает: здесь был человек!

Человеком пахнет веревка, железом пахнет круглый предмет, а следы тоже е г о; мясо же — обман, предательство, капкан. Она чуть приостановилась, прыгнула в сторону и побежала, как от великой напасти. Так волк убегает от капкана, поставленного неумело — не замаскированного внешне и по запаху.

Убежала от Бима последняя в лесу, храбрая и гордая волчица.

...Единственное существо на земле, какого ненавидит волк, это — человек. Ходят по земле последние волки, и ты, человек, убьешь их, этих вольнолюбивых санитаров леса и поля, очищающих землю от нечисти, падали, болезней и регулирующих жизнь так, чтобы оставалось только здоровое потомство. Ходят последние волки... Ходят для того, чтобы уничтожать чесоточных лисиц, оберегая от заразы других, ходят для того, чтобы ослабевшие от эхинококка зайцы не распространяли болезнь в лесах и полях и не производили потомства хилого и порочного; ходят для того, чтобы в годы размножения мышей, несущих туляремию, уничтожать их в огромных количествах. Ходят последние волки по земле.

Когда они тоскливо и надрывно воют в ночи, твоя душа, человек, почему-то содрогается от этого откровенного и прямого оповещения на всю округу: «Я-а-а е-есть! Я есть!» И ведь ты знаешь, человек, что волчица не тронет маленького щенка-сосунка собаки, а примет его, как родное дитя; и не тронет маленького ребенка, а перетащит в логово и будет толкать его к сосцам. Сколько их, таких случаев, когда волк из человека-ребенка выкармливал человека-волка! Шакалы так не могут. Даже собаки не могут. А тронет ли волк овцу в своем родном районе, где он живет? Никогда. Но ты все равно боишься волка, человек. Так ненависть, затмевая разум (отличие от животных!), может иногда настолько овладеть существом, что полезное считается вредным, а вредное — полезным.

Но последние волки пока ходят по земле.

Один из них убежал от ненавистного и опасного запаха человека, но не от Бима. Мы не знаем, чем бы кончилась их встреча и сколько бы просидела волчица у дупла. Может быть, они и снюхались бы (ведь она была одинокой волчицей, а Бим — самец). Не будем говорить о том, чего не произошло, только напомним, что люди-то видывали собаку в стае волков не раз. Но Бима такая участь миновала.

Когда убежала волчица, возникла, сама собой, у Бима сильная боль в надорванной груди. Он стал задыхаться, а потому и выполз из дупла, да и упал тут же — будь что будет! И все-таки он не стал есть мясо даже и после того, как вновь отлежался и смог подняться. Оставалось одно: идти вперед, насколько хватит сил.

И Бим пошел. Долго и трудно взбирался он по крутому, огромному, в километр, подъему. Где-то на половине этого склона он наткнулся на след волчицы, перейти его не решился (она ведь отсюда и шла), поэтому свернул в густой непролазный терник и... увидел волка. Увидел прямо перед собой, мертвого. Это был тот, что ушел внутрь круга облавы, смертельно раненный, около которого все еще кружила волчица, время от времени оповещая округу своей страшной для человека тоской. Мертвый волк. Шерсть с него оползла клоками. Осталась лишь часть растаявшего и осевшего зверя. Только когти стали длинными, зловеще-чистыми и страшными. Бим увидел: даже у мертвого, истлевшего волка когти остаются. И они пугают.

Бим полукружьем поспешил, насколько было силы, обратно на ту же дорожку, обойдя столкнувший его след.

Наконец он поднялся наверх, остановился на том месте, где вчера был автомобиль, осмотрелся и пошел совершенно точно туда, куда надо,— домой. И снова силы покидали его, снова он отлеживался то в скирде, то в сосновой хвое, снова искал травы по пути и ел их.

По шоссе бежала тощая хромая собака. Вперед бежала, только вперед, медленно, тяжко, но вперед, к той двери, у которой есть доброта, около которой Биму хотелось лечь и ждать, ждать хозяина, ждать доверия и самой обыкновенной, простой человеческой ласки.

...А что же Толик? Как он там, после того как проснулся утром?

Он, еще не одевшись, в нижнем бельишке, побежал к Биму и вдруг закричал:

— Мама! Где Би-им?! Где!!!

Мама успокоила:

— Бим захотел попысать, папа выпустил его, а он не вернулся. Убежал. Папа его звал, звал, а он убежал.

— Папа! — заплакал Толик.— Неправда, неправда, неправда! — Он упал на кроватку, мальчик в нижнем бельишке, и кричал с укором, с мольбой, с надеждой на то, что это не так: — Неправда, неправда, неправда!

Теперь стал утешать Семен Петрович:

— Придет он, придет... А не придет, так сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдем — собака не иголка.

Толик перестал плакать и смотрел в одну точку. Потом он глянул на родителей, вытирая слезы, и сказал твердо:

— Все равно найду.

Он так уверенно произнес эти слова, что отец с матерью с опаской переглянулись, говоря друг другу глазами: «У мальчика собственное мнение».

С того дня Толик стал молчаливым дома и в школе, замкнутым, настороженным к близким.

Он искал Бима. Часто можно было видеть в городе, как чистенький мальчик, из счастливой культурной семьи, останавливал прохожего, выбрав его только по лицу, и спрашивал:

— Дяденька, вы не видели белую собаку с черным ухом?

Глава 14

ПУТЬ К РОДНОЙ ДВЕРИ. ТРИ УЛОВКИ

Когда Бим подходил к городу, ноги почти уже его не слушались. Ведь он опять же был голоден. Да и что можно было съесть около шоссе? Ничего. Разве что выброшенную корочку арбуза, но это — не питание, а одна видимость. Такой собаке надо мясо, хороший кулеш, борщ с хлебом (если остается от стола), одним словом, все, что ест обыкновенный человек. А Бим питался почти две недели впроголодь. При его больной груди, разбитой сапогом, такое голодание — медленная погибель. Если же к тому добавить, что в борьбе с волчицей он сильно зашиб раздавленную стрелкой заднюю лапу и костылял на трех ногах, то можно себе представить, какой вид был у Бима, когда он входил в свой родной город.

Но свет не без добрых людей. На самой окраине он остановился у малюсенького домика с одной дверью и одним окошечком. Вокруг домика лежали горы кирпича, камней, каменных плит, досок, бревен, железа и всякой всячины, а рядом, с другой стороны, стояла половина нового огромного дома, но без окон и дверей, без крыши. Ветер путался в глазницах окон, шипел по ярусам булыжника и кирпича, пел в штабелях досок и завывал в верхотуре строительного крана — и везде у него разный голос. В такой картине ничего удивительного для Бима не было (везде строили и строили без конца), а по совести говоря, он не раз обращался за время скитаний к строителям с просьбой: «Дайте, ребята, пожрать». Те понимали его язык — подкармливали. Однажды шутник из их компании в обеденный перерыв вылил в консервную банку ложку водки и предложил Биму:

— А ну, долбани-ка, песик, за здоровье тех, кто тут не ворует.

Бим обиделся и отвернулся.

— Точно! — воскликнул шутник.— Не за кого тебе пить, благоразумный. Это я знаю точнехонько.

Все присутствующие здорово смеялись и называли шутника-парня Шуриком. Зато тот же Шурик отхватил ножом кусок

колбасы — настоящей, магазинной, а не из помойки! — и положил перед Бимом:

— За правду тебе, Черное ухо. Возьми, мудрец.

И опять смеялись люди в замазанных комбинезонах. А Шурик добавил, видимо, самое смешное:

— А то, брат, за эту ночь опять доски усохли на одну треть.

И еще смеялись, хотя парень тот и не улыбнулся.

Бим понял речь Шурика по-своему: во-первых, водка собаке — плохо, а если ты ее не пьешь, то тебе дадут колбасы; во-вторых, все эти ребята, пахнущие кирпичами, досками и цементом,— хорошие. Биму так и показалось, что Шурик говорил все время именно об этом.

Вспомнив такое, руководствуясь знакомыми из прошлого запахами, то есть по праву памяти, Бим, обессилевший до последней степени, прилег у двери маленького того домика, у сторожки.

Было раннее утро. Кроме ветра, вокруг никого не было. Через некоторое время в сторожке кто-то кашлянул и заговорил сам с собой. Бим привстал и, опять же по тому же праву, поцарапался в дверь. Она открылась, конечно, как и всегда. На пороге появился человек с бородой, одно ухо шапки опущено вниз, другое торчит вверх, плащ туго натянут на кожух: личность, вполне внушающая доверие Биму.

— Э, да тут гость, никак? Эка тебя подвело, бездомник несчастный, право слово. Ну, заходи, что ль.

Бим вошел в сторожку и молча лег, почти упал у порога. Сторож отрезал кусок хлеба, бросил в ведерце, размочил водицей и подставил Биму. Тот с благодарностью съел, после чего положил голову на лапы и смотрел на дедушку.

И пошел у них разговор о жизни.

Скучно сторожу, где бы он ни сторожил, а тут — живое существо смотрит на него изумленным, человеческим, измученным, откровенно страдающим и потому даже поражающим взором.

— Плохая твоя жизнь, Черное ухо, видать сразу... Оно — что же,— спросил он первым делом,— либо твоя очередь на ордер еще не пришла? Либо — что?.. Я, брат, тоже вот: очередь приходит и уходит, Михей остается. Сколько их, домов-то, понастроили, а я все вот с этой будкой переезжаю с места на место. Ты вот убегешь, к примеру, и попробуй ты написать мне письмо: некуда. Без адреса пятый год: «СМУ-12, Михею». И вся тебе роспись. Не пакет, а одно унижение. Пить-есть — пожалуйста, под завязку; обуться-одеться — пожалуйста, хоть галсник навешивай и шляпу на лоб, а вот жить пока негде, понимаешь. Куда же денешься? Временные трудности... А зовут меня — Михей. Михей я,— тыкал он себя пальцем в грудь

и отпивал малость из горлышка бутылки (делал он это каждый раз, как только кончался заряд речи).

Бим твердо понял монолог Михея по-своему, по-собачьи, то есть по виду, по интонации, по доброте и простоте: хороший человек Михей. Впрочем, вовсе не важно понимать слова (оно даже и не нужно понимать собаке), а важно понять человека. Бим понял его и тут же задремал, пропуская мимо ушей дальнейшую беседу. Но все же из уважения к собеседнику он то закрывал, то открывал глаза, преодолевая сон.

А Михей продолжал тем же тоном:

— Ты вот уснул, и вся недолга́. А мне нельзя. Нагрянет контроль: «Где Михей? Нету. Уволить Михея. Обязательно». То-то вот и оно. Не окажись на посту или засни — сейчас бы тебе в нос: «Где Михей? Нету. Уволить Михея!» И вся недолга́.

Сквозь дремоту Бим только и разбирал слова: «Михей... Михей... Михей... И вся недолга́».

А Михей отпил еще пару глотков, вытер усы, посолил хлебца, понюхал и стал его есть, одновременно обращаясь к Биму:

— А я и так скажу, Черноушко, собаке-то даже лучше выложить душу: тут тебе никаких прений — она никому не скажет, а самому полегчает... Вот я, Михей,— охрана. С ружьем. Теперь вопрос: а если ворует не один? Что Михей сделает? Ничего он не сделает. И вся недолга́... Закон, говорят. Закон — хорошо: поймал — пять лет ему, с-сукину сыну! А-а! Да только его надо поймать, вот в чем корень. Как поймать? То-то и оно. Вот ты — собака. Насажаю я в кошелку зайцев, двадцать штук, и выпущу их сразу всех, а тебя заставлю ловить. Они прыснут в разные стороны — и вся недолга́. Ну, поймаешь ты одного. А другие? Убя-агу-уть! — Михей так заразительно рассмеялся, что Бим приподнял голову — впору хоть самому улыбнуться.

Но Биму было не до того.

Дверь открылась. Вошел человек, тоже сторож, и сказал:

— Смена. Ложись, Михей, спать.

Тот добрался до лежака и тут же немедленно уснул. А Смена сел за стол на место Михея, посидел чуть и заметил Бима.

— Это еще что тут за филин? — спросил он у Бима, видимо обратив внимание на его большие глаза.

Бим сел, как того требует вежливость, устало вильнул хвостом («Больной я, дескать. Хозяина ищу»). Смена ничего не понял, как и многие люди не понимают собак, а вместо ответа открыл дверь и подтолкнул Бима ногой:

— Сматывайся, образина.

Бим вышел с убеждением: Смена — человек паршивый. Но идти дальше он не мог: наевшись тюри у Михея, он почему-то еще больше обессилел, а сон буквально валил его с ног. Борясь

со сном, Бим забрел в новостроящийся дом, зарылся в ворошок стружек, от которых пахло сосной, и уснул крепко-крепко.

За день его никто не потревожил. Так он и пролежал до вечера. В сумерках обследовал нижний этаж, нашел на окне почти полбуханки хлеба, большую часть съел (досыта), меньшую вынес из дома и зарыл в мягкую землю около траншеи; все это он сделал основательно, как и полагается: хоть и не было силы, а собачье правило «хорони кусок про черный день» соблюдать надо. Теперь он почувствовал, что может продолжать путь. И пошел к своей родной двери.

К родной двери, к той самой, знакомой с первых дней жизни, к двери, за которой доверие, наивная святая правда, жалость, дружба и сочувствие были настолько естественны, до абсолютной простоты, что сами эти понятия определять не имело смысла. Да и зачем Биму все это осмысливать? Он, во-первых, не смог бы это сделать как представитель собачьих, а во-вторых, если бы он и попытался подняться до недосягаемой для него высоты разума Гомо, он погиб бы уже оттого, что его наивность люди почли бы дерзостью необыкновенной и даже преступной. В самом деле, Бим тогда кусал бы подлеца обязательно, труса — тоже, лжеца — не задумываясь, бюрократа он съедал бы по частям и т. д., и кусал бы сознательно, исполняя долг, а не так, как он укусил Серого, уже после того как тот жестоко избил по голове. Нет, та дверь, куда шел Бим, была частью его существа, она — его жизнь. И — все. Так, ни одна собака в мире не считает обыкновенную преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что не все они и не так уж часто обладают преданностью другу и верностью долгу настолько, чтобы это было корнем жизни, естественной основой самого существа, когда благородство души — само собой разумеющееся состояние.

Дверь, к которой шел Бим,— это дверь его друга, а следовательно, его, Бима, дверь. Он шел к двери доверия и жизни. Бим хотел бы достичь ее и либо дождаться друга, либо умереть: искать его в городе уже не было сил. Он мог только ждать. Только ждать.

Но что мы можем поделать, если и в эту ночь Бим так-таки и не дошел до своего дома?

Надо было прежде всего обойти район Серого, а для этого обязательно пройти мимо дома Толика. Так оно и получилось. Бим оказался у калитки маленького друга и не мог, просто не мог пройти ее, будто чужую. Он прилег у высокого кирпичного забора, свернувшись в полукалачик и вывернув голову в сторону; то ли раненая собака, то ли умирающая, то ли совсем мертвая — мог бы подумать любой прохожий.

Нет и нет, Бим не пойдет уже к двери этого дома. Он только отдохнет от боли и тоски у забора, а потом пойдет домой. А может быть... может быть, заявится сюда сам Толик... Разве мы имеем право обвинять Бима в отсутствии логики, если она ему недоступна? И он лежал в тоскливой собачьей позе безо всякой логики.

Был темный вечер.

Подъехал автомобиль. Он вырвал у темноты часть забора, потом пощупал весь забор и выпучил прямо на Бима два ослепительных глаза. Бим поднял голову и смотрел, почти сомкнув веки. Автомобиль поурчал, поурчал тихонько, и из него кто-то вышел. За запахом дыма нельзя было установить дух человека, шедшего к Биму, но когда тот оказался освещенным глазами автомобиля, Бим сел: к нему шел Семен Петрович. Он приблизился, убедился в том, что это действительно Бим, и сказал:

— Выбрался. Ну и ну!..

Вышел из автомобиля и второй человек (тот, что вез Бима перед грозой к волчице), посмотрел на собаку и по-доброму сказал:

— Умный псина. Этот не пропадет.

Семен Петрович пошел на Бима, расстегивая пояс.

— Бимка, Бимка... Ты хороший, Бимка... Ко мне, ко мне...

О не-ет! Бим не верил, Бим потерял доверие, и он не пойдет к этому человеку, хотя бы он и захотел взять его с добрыми намерениями. Может быть, Семен Петрович и думал возвратить Бима Толику, поняв состояние сына, да не тут-то было: Бим побежал. Именно не пошел, а побежал от Семена Петровича вдоль забора по освещенному пути. И откуда силы взялись?!

Семен Петрович — за ним. Второй человек — наперехват. Бим соскользнул со света в темноту, спустился ползком в траншею и здесь уже пошел пешком, еле переставляя лапы. Но направился Бим не в ту сторону, куда под светом бежал до траншеи, а в обратную.

И опять в минуту опасности Биму пришло откровение предков: путай след! Так поступают зайцы, лисицы, волки и другие звери — обычная уловка номер один при преследовании. Лисица и волк в подобных случаях обратно могут идти след в след так искусно, что только опытный охотник, да и то после, сообразит по коготкам, что его надули; уловка номер два — это петля (пошел влево, пришел вправо) или сметка (со своего обратного следа — прыжок в сторону); уловка номер три — отлежка: запутав след, отлеживаться в глухом месте и слушать (если прошли, лежать, если идут напрямик, то все начать сначала, путать). Все эти три уловки зверей хорошо знают настоящие охотники, но Семен Петрович никогда не был охотником, хотя

и держал ружье и даже выезжал на открытие сезона ежегодно.

В общем, так: Семен Петрович побежал в одну сторону, уже освещая свой путь фонариком, а Бим — в другую, да еще под прикрытием спасительной траншеи.

Но вот канава кончилась — и Бим уперся в торцевую стенку, сбоку которой висел ковш экскаватора. Оказалось, ему не вылезти из западни: спуститься-то он смог, а взобраться наверх нет силы: с боков — стенки, впереди — стенка. Был бы он здоров, на четырех ногах, тогда другое дело, а теперь он может только выйти — не выпрыгнуть, не выскочить, а только выйти.

Посидел, посидел наш Бим, посмотрел вверх на ковш, кое-как приподнялся на заднюю лапу, опираясь о стену передними, оглядел отвал земли и снова сел. Казалось, он думал, но он просто слушал: нет ли погони. Потом он так же приподнялся на противоположную стенку без отвала и заметил, что фонарик ерзал на одном месте, вихляясь из стороны в сторону, а затем и затух. Увидел он и то, как автомобиль поехал обратно и стал приближаться к нему, но стороной. Бим прижался в уголок канавы и слушал, вздрагивая. Автомобиль проехал мимо, где-то совсем рядом.

Поблизости все стало тихо. А дальше слышно: не очень сильно покрякивают коротко автомобили, скрежещет трамвай — все звуки знакомые, безвредные.

Темной осенней холодной ночью сидела в канаве собака. И никому на свете не помочь ей сейчас. А ей надо, очень надо идти к своей двери. Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. Куда там! И пошел он обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на нее, приподнялся на заднюю лапу — теперь передние достали до отвала. И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. Бим отдыхал и принимался вновь. Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. Так хотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного им холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю.

Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? Кто ж его знает... Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемленную капканом? Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. Можно ведь только

предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия.

Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

Ночь была холодная. Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий и ночью, даже во сне, Бим долго еще слушал и слушал. Продрогнув, он все-таки пошел.

По пути он забрел в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время,— настолько он стал слаб. Ложиться прямо на улице нельзя, погибнешь (он видел не раз раздавленных автомобилем собак). Да и холодно на асфальте. А там, в подъезде, он прижался к теплому радиатору и уснул.

В чужом подъезде, глубокой ночью спала чужая собака.

Бывает.

Не обижайте такую собаку.

Глава 15

У ПОСЛЕДНЕЙ ДВЕРИ. ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОГО ФУРГОНА

Проснулся Бим еще до рассвета. Не хотелось уходить от теплого, такого гостеприимного места, где никто не потревожил его сон. Ему показалось, что у него прибавилось сил,— попробовал встать на ноги, но сразу это не получилось. Тогда он сел. Это удалось, однако закружилась голова (так же, как тогда в поле после удара в грудь): стены покачнулись в одну сторону, перила лестницы задрожали, а пороги ее слились в сплошную горку и заколебались гармошкой, лампочка закачалась вместе с потолком. Бим сидел и ждал, что же с ним будет дальше, сидел теперь, опустив голову.

Кружение остановилось так же внезапно, как и началось. И Бим пополз на животе по порогам вниз. Дверь подъезда оказалась открытой, Бим выполз, полежал немного на освежающем холоде и все-таки поднялся на ноги. Находясь где-то на грани полной потери сознания и потому не чувствуя боли, он, повинуясь неведомой людям внутренней собачьей воле, пошел, качаясь, как чумной.

Вряд ли дошел бы он до своего дома, если бы не наткнулся на помойку, где копалась маленькая собачонка. Бим подошел и сел. Собачонка, шерстистая и неряшливая, обнюхала его, помахала хвостом.

«Ты куда?» — спросила таким образом Лохматка.

Бим сразу узнал Лохматку — с нею он познакомился в лугах в тот день, когда она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и грустно, одними глазами: «Плохо мне, подружка».

Собачка вернулась к помойке, как бы приглашая гостя, там повернула голову в сторону Бима и завиляла хвостом, что и означало: «Тут кое-что есть. Иди-ка».

И что же вы думаете? Того-сего, по кусочку, по корочке, по селедочной головке — Бим наелся все-таки. Силы помаленьку возвращались, а вскоре, облизавшись и поблагодарив Лохматку, пошел дальше, пошел намного прочнее.

Нет, помойка в трудную минуту жизни — великое дело! С этого часа Бим стал бы относиться с уважением к таким местам, если бы...

Трудно об этом рассказать.

Серым предрассветным утром, когда остатки вчерашнего смога осели к земле легкой прозрачно-синей дымкой, Бим наконец добрался до своего дома... Вот он! Вон и окно, из которого вместе с Иваном Иванычем, бывало, они смотрели на восходящее солнце. Не выйдет ли он к окну и сейчас? Бим сел с противоположной стороны улицы и смотрел, смотрел, смотрел теперь с радостью и надеждой. Ему стало хорошо. Пошел через улицу, хоть и не спеша, но уже подняв голову, будто улыбаясь, будто вот-вот встретит незабвенного друга. Это была минута ожидания счастья. Да и кто из живых существ не был более счастлив в минуты ожидания, чем в минуты самого счастья?

Так, на середине улицы, перед родным домом, уже недалеко от той самой двери, Бим был счастлив от возникшей вновь надежды.

Но вдруг он увидел страшное: из арки дома вышла Тетка! Бим сел, расширив глаза от ужаса и дрожа всем телом. Тетка бросила в него кирпичом. Бим спешно отошел обратно на противоположный тротуар.

Людей на улице в такую рань не было, даже дворники еще не выходили с метлами. Только одна Тетка да Бим смотрели друг на друга. Она явно решила — стоять и не пускать, она даже поставила ноги пошире, для прочности, и утвердилась изваянием в средине арки, упершись кулаками в бока; на Бима она смотрела надменно, презрительно, уничтожающе и гордо, с сознанием чувства собственного достоинства, превосходства и правоты. Бим же был беспомощен, но у него оставались вполне надежными только одни зубы, тоже страшные — если в предсмертной хватке. Он это знал, он этого не забыл, потому даже чуть пригнулся и приподнял верхнюю губу, обнажив передние зубы. Человек

и собака смотрели друг на друга неотрывно. Минуты казались Биму долгими.

...Пока человек и животное, не спуская взора, следили за малейшим движением друг друга, обратимся к самой Тетке, хотя отчасти мы ее уже знаем из предыдущих историй с Бимом. Тетка была совершенно свободная женщина: свободна от эксплуатации капиталиста, от какого-либо отдаленного понятия о долге перед социализмом, свободна от труда. Но она все-таки оставалась рабой желудка, не замечая ярма этого рабства. Кроме того, у нее все же были обязанности. Она поднималась, например, раньше всех жителей многолюдного дома, еще до рассвета. Своей первейшей обязанностью она считала нижеследующее: проследить, кто из чужих вышел на заре из того или другого подъезда; у кого горит свет в окне в то время, когда все спят крепким зоревым сном, кто поехал на рыбалку или на охоту и — с кем; кто первый, еще в темноте, пронесет что-то на помойку. Потом она посмотрит и определит, что произошло, судя по помойке: бутылки если — значит, от жены прятал; старое пальто негодное — значит, скупец хранил дома ненужную тряпку; тухлое мясо выброшено — значит, хозяйка растяпа, и так далее. Если же девушка придет домой перед рассветом, то это для Тетки было уже верхом торжества. Собак и их владельцев она ненавидела, потому наблюдение за ними составляло, пожалуй, одно из самых важных мероприятий Тетки, при этом она посылала им вслед непотребные слова, запас которых был у нее неистощим, что свидетельствовало о большой памяти и эрудиции.

Все это было существенно необходимо для ежедневной информации, когда она вместе с несколькими, тоже свободными, женщинами будет долго сидеть на заботливо выкрашенных скамейках и докладывать о том, кто есть кто; и тут уж никто не будет забыт и ничего не будет забыто. Талант! Подобный непечатный бюллетень она выпускала регулярно. И это она считала своей второй обязанностью перед обществом. Такая осведомленность касалась даже и международных событий (сама слыхала: война — вот-вот, крупы надо запасать, соли); слух шел дальше при участливом содействии подобных ей, но уже со ссылкой на «такого-то», а он — доцент, брехать не будет, сам «слухал».

При всем при том, как уже известно, Тетка называла себя не иначе как «советская женщина», гордилась этим в полной уверенности, что это так, что ее дремучая совесть есть не что иное, как образец для подражания. Будь у нее ребенок — какой бы вышел человечище!

Но два дня в неделю у нее были выходными: в воскресенье она что-то покупала на базаре у колхозников, а в понедельник

продавала то же самое. Поэтому, не имея кур, огорода, сетей для рыбной ловли, она продавала яйца, самих кур, помидоры, свежую рыбу и все прочее, необходимое для жизни человека. Благодаря такой, третьей обязанности (в выходные дни!) Тетка имела сберегательную книжку и жила безбедно, отчего никогда и нигде не работала. Существовала же она в квартире с удобствами, соответствующими ее высокой культуре (два шифоньера, три зеркала, картина с базара «Девушка и лебедь», большой глиняный орел и вечные цветы из стружек, холодильник, телевизор). Все у нее было, что надо, и ничего не было, чего не надо...

Итак, Тетка стояла в центре арки, и миновать ее Бим не мог. Уходить бы ему надо, уходить, но он не в силах уйти от родного дома. Он теперь будет ждать с оскаленными зубами, пока не уйдет враг, ждать, сколько бы времени на это ни потребовалось. Кто — кого!

Но вот в сероватой холодной мгле появился одинокий автофургон и неожиданно остановился между Теткой и Бимом. Фургон был темно-серый, обитый жестью, без окон. Из него вышли двое и направились к Тетке. Бим внимательно наблюдал, не сходя с места.

— Чья собака? — спросил усатый, указывая на Бима.

— Моя,— надменно ответила Тетка, не задумываясь.

— А чего не уберешь? — спросил второй, молодой парень.

— Попробуй убери. Видишь, конец веревки на шее — перегрызла. И кусает каждого. Сбесилась, сволочь. Обязательно сбесилась.

— Привяжи,— сказал усатый,— заберем ведь.

— Я сама писала заявление. И ходила, и просила — заберите. Что та-ам! Бюрократ на бюрократе! — Она уже кричала: — Душу вымотали бюрократы!

— Давай,— обратился усатый к безусому.

Тот взял из автомобиля малокалиберку, а усатый вытащил из держателя, сбоку фургона, длинный шест с обручем на конце и сеткой, будто сачок для ловли бабочек величиной с овцу. Первым подошел тот, что с ружьем, а за ним второй, изготовив сачок.

Бим увидел ружье. Бим завилял хвостом, говоря этим жестом: «Ружье! Ружье! Знаю ружье!»

— Ласкается,— сказал парень.— Никакой он не бешеный. Заходи.

Усатый вышел вперед. Бим почуял, что от него пахнет собакой.

«Ну, конечно же, вы — хорошие люди!» — говорил он всем видом.

Но вдруг внутри фургона тоскливо проскулила собака, безнадежно и горестно. Бим все понял: обман! Даже ружье — обман. Все — обман! Он шарахнулся было в сторону, но... поздно: обруч сачка накрыл его. Бим прыгнул вверх и оказался в сетке, теперь перекинутой им самим через край обруча...

Бим грыз веревки, скрежетал зубами, неистово хрипел и бился, бился судорожно, будто в припадке. Он быстро истратил на это последние силы и вскоре затих. Собаколовы просунули сачок в дверь автофургона и вытряхнули Бима на пол.

Дверь захлопнулась.

Усатый обратился к неожиданно повеселевшей Тетке:

— Чего осклабилась? Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино рыло, а собаку довела — жутко смотреть: на собаку не похожая.

(Он оказался наблюдательным: опущенные уголки больших губ, плоский нос и вытаращенные очи Тетки напоминали действительно «лягушкино рыло».)

— Меня, советскую женщину, ты, вонючий собашник, оскорбляешь, гад! — И пошла, и пошла, не стесняясь в выборе выражений, как и всегда. Слова, какие нельзя писать на бумаге, выскакивали из нее легко и свободно, как-то даже плавно и широко, ибо они, по всей видимости, были запрограммированы: нажми кнопку, и вот они, тут как тут.

— Ты не безобразь! — крикнул ей парень.— А то вот накрою подсаком да в железный ящик. Таких, как ты, надо бы, хоть на недельку в году, сажать в такой вот фургон.— Он и правда схватил шест с обручем и решительно зашагал к ней.

Тетка побежала писать жалобу за оскорбление. И написала ее на имя председателя горсовета, при этом обвиняла его ничуть не меньше, чем собаколова. Она ни за что не несла ответственности, ни за что не отвечала перед обществом, но зато со всех требовала ответственности. Последнее тоже было частью ее обязанностей, как и любого паразита общества.

...Солнце всходило в то утро большое и желтое, по-предзимнему холодное и невеселое. Оно отмахнулось от утренней дымки так неохотно и так вяло, что местами сизоватый туманчик так и остался над городом рваной кисеей: на одной улице светло, на другой — мутно и серо.

Темно-серый, обшитый жестью автофургон выехал за город и завернул во двор одиноко стоящего дома, обнесенного высоким забором. Над воротами вывеска: «Вход посторонним воспрещен — опасно для здоровья». То был карантин, куда привозили бешеных собак и сжигали дотла, сюда же попадали и отловленные бродячие псы, как возможные разносчики эпидемий,— этих не сжигали, а отправляли для науки или снимали шкуры; других животных с инфекционными болезнями тут же и лечили,

если они того заслуживали; лошади, например, давали лекарства до последнего часа жизни, а уничтожали ее только при одном-единственном условии — при заболевании сапом. Очень редкая теперь это болезнь, потому что лошадей осталось единицы, болеть сапом некому.

Те два человека, изловившие Бима, были простыми разнорабочими этого двора. И вовсе они не плохие люди. Больше того, они всегда подвергали себя опасности заразиться тяжелым недугом или быть укушенными бешеной собакой. Они же время от времени очищали город от бродячих псов или забирали собаку по личному заявлению владельца. Эту обязанность они считали неприятной и тяжелой, хотя за каждую отловленную собаку получали кроме основного заработка дополнительную плату.

Бим не слышал, как приехал железный фургон во двор, как вышли те двое из кабины и ушли куда-то: он был без сознания.

Очнулся наш Бим через два-три часа. Около него сидела та самая, давно знакомая, Лохматка, с какой он встретился на рассвете у помойки. Сейчас она лизала Биму нос и уши...

Удивительное существо собака! Вот у матери умирает один из щенков, а она лижет ему носик, лижет ушки, лижет, лижет без конца, долго-долго, массирует животик. Бывает, щенок возвращается к жизни. А массаж-то и вообще считается у собак непременным условием ухода за новорожденными щенятами. Дивно все это и удивительно.

Лохматка облизывала Бима тоже по неведомому для нас наитию природы. Видимо, она была искушенной в своих скитаниях, а возможно, не впервые попала и сюда. Неизвестно.

Тонкий-тонкий лучик солнца прорвался в щелочку двери и упал на Бима. Он приподнял голову. В железной тюрьме их было только двое: он и Лохматка. Превозмогая боль в груди, Бим попробовал изменить положение тела, но с первой попытки не получилось. Однако во второй раз он подвернул под себя все четыре лапы, освободив бок от холодного железа, на котором лежал. Лохматка, тоже продрогшая, пристроилась вплотную к нему и свернулась калачиком. Вдвоем стало чуть теплее.

Две собаки, лежа в железной тюрьме, ждали своей участи.

Бим все время смотрел и смотрел на дверь, на тонюсенький лучик солнца, единственный вестник из светлого. Но вот где-то неподалеку раздался резкий выстрел. Бим встрепенулся. О, как знаком ему этот звук! Он напомнил о хозяине, Иване Иваныче, это — охота, это — лес, это — воля, это — и призыв, если собака заблудилась или чрезмерно увлеклась следом птицы или зайца. Где взялись силы у Бима после выстрела, когда он встал и, качаясь, подошел к двери, приложил нос к щелке и втягивал воздух свободы? Но он уже стоял на ногах, казалось, он воскрес. И начал медленно ходить маятником по фургону из угла в угол.

Потом снова к двери, снова нюхал через щель и наконец установил по запахам: во дворе что-то тревожное. И вновь ходил, ходил, чиркая когтями по жести, разогреваясь и будто готовясь к чему-то, разминаясь.

Сколько так прошло времени, сказать трудно. Но Бим... начал царапаться в дверь.

Эта дверь никак не походила на другие, что знавал Бим: она обита жестью, местами уже с острыми рваными пятнами. Но это была дверь, теперь единственная дверь, через которую можно было взывать о помощи и сочувствии.

Наступила ночь. Холодная, морозная.

Лохматка завыла.

А Бим царапался. Он грыз зубами клоки жести и вновь царапался, уже лежа. Звал. Просил.

К утру в фургоне стало тихо: Лохматка не выла, Бим тоже притих, разве что изредка нет-нет да и скребнет лапой по железу. Изнемог ли он до полного бессилия или смирился, потеряв надежду и ожидая своей участи безропотно,— мы не знаем. Пока это оставалось тайной железного фургона.

Глава 16

ВСТРЕЧИ В ПОИСКЕ. СЛЕДЫ БИМА НА ЗЕМЛЕ. ЧЕТЫРЕ ВЫСТРЕЛА

В воскресный день в городе оказывается гораздо больше людей, чем в обычные дни: идут, едут, бегут, покупают, продают, набиваются в поезда, автобусы, троллейбусы, трамваи, как сельди в бочку, спешат из города как угорелые. В средине дня толчея несколько утихает, а вечером снова: одни возвращаются из сел и лесов в город, другие уезжают из города к себе, в села и леса.

Не удивительно поэтому, что в один из воскресных дней и Хрисан Андреевич приехал в город вместе с Алешей. Оба договорились, что Алеша попробует поискать Черноуха, пока отец распродаст на базаре продукты. Хрисан Андреевич и раньше брал с собой сына и отпускал погулять по городу без всякой опаски (номер трамвая знает, «свою» автобусную остановку знает, а чтобы набаловать чего — ни в жизнь). В таких случаях Алеша получал на руки три рубля и мог купить себе что угодно и поехать в любое место города — хоть в кино, хоть в цирк. На этот раз Хрисан Андреевич засунул сам в «нутряной карман» Алеши пятнадцать рублей и сказал:

— Случаем, попадется Черноух, а отдавать не будут — да-

вай десятку. Не отдают — давай двенадцать. Не отдают — ложи все пятнадцать. А если и тогда не желают, пиши себе адрес и — ко мне: сам поеду. Допоздна не ходи: к четырем часам к автобусу; день стал короткий — по-темному поедем. Да спрашивай про Черноуха культурно: «Вопрос можно, товарищ?» А уж потом докладывай: так, мол, и так — из деревни мы, пастухи, и без собаки нам невозможно, а пропала. Убег, мол, в город. Добрых людей много: ты спрашивай, знай свое.

...По городу шел степенный мальчик-крепыш и изредка обращался к встречным, к тем, кто, по его мнению, заслуживает доверия:

— Вопрос можно, товарищ? Мы, стало быть, пастухи...

Жирных встречал неимоверно много, особенно женщин, но пропускал таких (должно, не работают, оттого и толсты без предела). Но именно жирный-то товарищ, услышав вопрос мальчика, не к нему — к другому, остановился и посоветовал пойти на вокзал (там, дескать, за день вся молодежь пройдет через ворота — уж кто-нибудь да знает). Мальчишек же Алеша не пропускал ни одного.

В то же самое время и Толик вышел из дому на очередные поиски Бима. Он искал настойчиво уже три дня, но — после уроков, а сегодня решил начать с утра: воскресенье — в школу не идти.

Шел по городу чистенький мальчик из культурной семьи, шел, вглядываясь в лица, как бы изучая прохожих, и спрашивал по выбору:

— Дяденька, скажите, пожалуйста, не видели ли вы собаку с черным ухом?.. Белая, в желтом крапе?.. Нет, не видели! Жаль. Извините.

Толик уже однажды был у Степановны, несмотря на запрет родителей, уже отдал Люсе чешские карандаши, каких не бывает ни в одном магазине, и альбом для рисования, уже рассказал, что Бим был у него, ночевал, а потом пропал; узнал он от Степановны и то, что Иван Иваныч, которого он никогда в жизни не видел, прислал письмо — скоро приедет. Сегодня Толик к вечеру обязательно зайдет еще раз — нет ли каких новостей о Биме, к тому же Люся обещала ему подарить свою картину «Наш Бим».

На одной из улиц, поблизости от вокзала, к Толику подошел мальчик лет тринадцати, загорелый, прочный, в новом костюмчике, сшитом по-взрослому, и спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Такое обращение, как к большому, Толику понравилось, и он охотно ответил:

— Можно.— В свою очередь спросил: — А что ты хотел?

— Пастухи мы. А собака пропала — в город ушла. Случаем,

не видал? Белая, с желтыми крапинками, а ухо черное-черное... И нога...

— Как зовут собаку? — вскрикнул Толик.

— Черноух,— ответил Алеша.

— Бим,— сказал Толик.— Он!

Нетрудно понять, как мальчики объяснились: Толик установил, когда и где куплен Бим, когда он ушел из села; Алеша понял, что приходил к Толику именно Черноух, а не кто-либо другой. Все сходилось: Бим был где-то в городе. Оба они даже и не подумали о том, кому из них достанется Бим, если найдут. Главное, искать, скорее искать.

— Сперва станем-ка у вокзала,— предложил Алеша.— Человек мне посоветовал.

— Народу тут тьма, кто-то уж обязательно видел Бима,— согласился и Толик.

Наивность такого поиска была очевидна, но не Алеше и не Толику. Они просто почувствовали дух товарищества, объединились одним желанием, одной любовью к Биму, они верили — вот в чем и гвоздь их поведения. А воображение уже рисовало, что Бим и сам может попасться им на глаза.

— А потом зайдем к твоей Степановне,— уже на ходу решил Алеша.— Ее он не минует. Фактически он туда и идет, обязательно туда. Стало быть, ему иначе нельзя: дом.

— Зайдем,— согласился Толик.

Ему положительно нравился Алеша своей степенной речью и в то же время наивностью и простотой. Подобные знакомства остаются на всю жизнь. И хорошо тому мальчику, которому улица подарит доброго товарища, а не жулика.

Ребята уже расспросили не меньше сотни людей и все продолжали выбирать тех, кому следует задавать вопрос.

В то же утро в общую вокзальную толчею, опираясь на палочку, вышел из вагона скорого поезда седой человек в коричневом пальто. Пройдя вокзал, он приостановился и осмотрелся вокруг. Так человек, надолго разлучавшийся с родными местами и возвратившийся обратно, смотрит — все ли на месте, не изменилось ли что. В этот момент к нему и подошли два незнакомых мальчика. Один из них, явно сельский, спросил:

— Вопрос можно, товарищ?

Седой, чуть склонив голову на сторону и пряча улыбку, ответил:

— Конечно, можно, товарищ.

Второй, явно городской, продолжил вопрос:

— Скажите, пожалуйста, вы не видели собаку с черным ухом, белая, с кра...

Седой сжал плечо мальчика и с нескрываемым волнением воскликнул:

— Бим?!

— Да, Бим. Видели? Где?

Все трое сели на скамейку привокзального скверика. И все трое доверяли друг другу без каких-либо сомнений, хотя мальчики абсолютно не знали этого старого человека, не знали, что это и был Иван Иваныч, хозяин Бима, даже не сразу бы и догадались, если бы он сам не сказал о себе.

Пожалуй, и знакомые не вдруг узнали бы его. Он стал чуть сутулее, лицо худее, морщин прибавилось (операция близко от сердца — не курорт), но глаза остались такими же — внимательными, сосредоточенными, смотрящими как бы внутрь человека. Только по этим густо-карим глазам и можно было бы определить, что когда-то обладатель их был брюнетом. Теперь же он стал окончательно белым, как снег.

Толик рассказал все, что знал о Биме, даже и то, что он хромой и больной. Алеша толково и коротко поведал о жизни Черноуха в селе.

Ребятам все нравилось в Иване Иваныче: разговаривает он с ними как со взрослыми, иногда положив ладонь на плечо собеседника, нравилось и то, как он слушает не перебивая, и то, что он белый-белый, и имя, и отчество у него хорошее, а главное, он любит их, незнакомых мальчиков,— это уже яснее ясного. Иначе к чему же он сказал в заключение:

— Хорошие вы ребята. Будем друзьями, по-настоящему... А теперь — ко мне. Судя по всему, Бим уже пришел домой.

Дорогой он осторожно расспрашивал мальчиков и без труда установил, кто они, откуда, из каких семей, кто чем занимается, кому и что нравится.

— Овец пасешь — это хорошо, Алеша. И учишься в школе? Трудно небось?

— Овцу, ее накормить — уметь надо,— отвечал, как и отец, Алеша.— Дело трудное. Распустить отару фронтом, не топтать корм под ногами — это не раз плюнуть, намотаешься так, что ноги гудуть. И обратно же: вставай чуть свет. Хлопотно. С собакой хорошо — помогает лучше человека, если он ни шиша не понимает в этом деле. А без собаки нам никак невозможно. Пастухи мы. Куда ж денешься?

— А ты, Толик, чем занимаешься? — спросил Иван Иваныч.

— Я? — удивился Толик.— Я учусь в школе.

— Скотина у вас есть какая дома-то? — спросил Алеша у Толика.

— Скотины нет никакой,— ответил тот.— Морские свинки были — мама запретила... Пахнут.

— Ты приезжай ко мне — покажу: Милка у нас — золотая корова, под пузо лезь, и ногой не шевельнет. Шапку лижет

тоже... и ладони. Петух у нас — всем петухам петух, заводила называется, первым кричит на заре, а другие уж — за ним. Таких петухов — редкость... А вот собаки нету. Была — померла. Черноух был — убег.— Алеша вздохнул: — Жалко. Такой ласковый...

Иван Иваныч позвонил к Степановне. Она вышла вместе с Люсей и запричитала:

— Ой, Иван Иваныч! И как я теперь отвечать буду? Нету Бима. Вот был у Толика три дня назад, а домой не пришел.

— Не пришел,— задумчиво повторил Иван Иваныч. Но, ободряя мальчиков, добавил: — Найдем, обязательно найдем.

Степановна отдала ключи хозяину, и все пятеро вошли к нему. В комнате было все так же, как оставил Иван Иваныч: та же стена книг, удивившая теперь Алешу, тот же письменный стол, даже стало чище (Степановны хлопоты), но пусто-пусто — не было Бима. На его лежаке чистый лист писчей бумаги — письмо Ивана Иваныча; Степановна сохранила даже и это. Иван Иваныч стал спиной к гостям и смотрел в окно, потупившись. Степановне показалось, что он тихонько простонал.

— Полежал бы, Иван Иваныч, с дороги,— посоветовала она.

Тот прилег на постель, полежал при общем молчании, глядя в потолок, а Степановна пыталась заговорить ему боль:

— Выходит, благополучно операция-то? Раз уж сам приехал, то все будет хорошо.

— Все хорошо, Степановна, все хорошо. Спасибо вам, милая, за все. Дай-то бог, чтобы родные так относились друг к другу, как вы к чужим.

— Вона! Об чем завел! Глупости одни говоришь. Невелик труд — помочь соседу. Было бы только все по-доброму. (Степановна даже как-то стеснялась, когда ее хвалили.)

Через несколько минут Иван Иваныч встал, посмотрел на ребят и сказал:

— Такой план, ребятишки: вы ищите здесь, в нашем районе, спрашивайте смелее — Бим должен быть где-то недалеко. А я...— Он чуть подумал.— Я поеду в одно место... не пристал ли он к сторожевым собакам... где-нибудь.

При выходе Люся передала Толику картину «Наш Бим». Толик показал ее Алеше, а тот удивился:

— Сама?

— Сама,— ответила Люся.

— Ты художница?

— Не-ет,— рассмеялась Люся.— Я в пятый перешла.

На картинке Бим был очень похож: черное ухо, черная нога, желтенькие точки по белому и большие глаза; только одно ухо, пожалуй, подлиннее другого, но это вовсе не важно.

Итак, Алеша и Толик отправились вновь на поиски. Они так же выбирали по лицу прохожего (теперь уже советуясь основательно), так же задавали один и тот же вопрос и поясняли приметы Бима.

А Иван Иваныч, еще на постели, решил: скорее в карантинный участок! Предупредить собаколовов, рассказать приметы, дать денег, чтобы сообщили ему, если увидят. А может быть, Бим уже там. Ушел он от Толика в ночь на четверг... три дня. Скорее, скорее!

Он взял такси и вскоре был у ворот карантинного участка. Кроме сторожа, никого не оказалось (выходной). Но он на вопросы Ивана Иваныча охотно и многословно отвечал:

— В четверг и пятницу собак не ловили, а вчерашние есть — сидят в фургоне. Сколько их, нечистый их знает, не ведаю, но есть. Завтра придет врач и скажет: какую — в науку, какой — укол усыпительный и на шкуру, а бывает, зарывают со шкурой. На то и врачи. А как же! Бывает, и жгут начисто.

— А охотничьи попадают? — спросил Иван Иваныч.

— Редко. Этих не расходовают и в науку не отдают на растерзание, а сперва пождут хозяина или звонят в Союз охотников — так и так, мол, разберитесь. А как же! На то и врачи. Одна такая там есть, охотницкая,— Иван говорил, белая запаршивленная, бесхозная, говорит, сама хозяйка сдала. А как же! Может, у нее муж помер.

«Он или не он?» — думал Иван Иваныч и стал просить:

— Пропустите к фургону, пожалуйста. Ищу свою собаку, замечательную. Может быть, она сидит там. Пустите.

Сторож был неумолим:

— Замечательных не сажают. Сажают вредных, чтобы не заражали,— безапелляционно утвердил он и убежденно. И тут же лицо его изменилось: он вздернул подбородок и отмахнул рукой, как бы отстраняя просителя от ворот, по другую сторону которых тот стоял, удрученный и бессильный что-либо предпринять. Даже сторож не мог избежать соблазна насладиться властью, потому он и сказал строго: — Видишь? «Вход запрещен». Читай и понимай,— указал он на рамку под стеклом, где золотыми буквами было написано: «Вход воспрещен — опасно для здоровья».

Иван Иваныч уже потерял надежду проникнуть во двор, но все же сказал:

— Эх, ты! Человек, человек!.. Операция была. От войны осколок носил вот тут. Приехал, а Бим пропал.

— Как так? Более двадцати годов носил осколок? Вот тут? — Сторож неожиданно стал самим собой, таким, как был в начале встречи.— Ты смотри-ка! Расскажи кому — не поверит. То-то ты...— Он не договорил фразу и примирительно при-

гласил, открывая засов: — Заходи. Да только никому не говори.

Иван Иваныч отпустил такси, в надежде на то, что поведет Бима на поводке, и пошел к фургону. Шел он действительно с огромной надеждой: если Бим здесь, то он сейчас его увидит, приласкает, если же Бима нет, то, значит, он тоже жив, найдется.

— Бим, мой милый Бимка... Мальчик... Дурачок мой, Бимка,— шептал он, идя по двору.

И вот сторож распахнул дверь фургона.

Иван Иваныч отшатнулся и окаменел...

Бим лежал носом к двери. Губы и десны изодраны о рваные края жести. Ногти передних лап налились кровью...

Он царапался в последнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он просил! Свободы и доверия — больше ничего.

Лохматка, забившись в угол, завыла.

Иван Иваныч положил руку на голову Бима — верного, преданного, любящего друга.

Запорхал редкий снежок. Две снежинки упали на нос Бима и... не растаяли.

...А тем временем Алеша и Толик, еще теснее сдружившись, шли по городу. Спрашивали они, спрашивали да и попали на тот ветеринарный участок, куда Толик когда-то водил Бима. Там они узнали у дежурного, что никаких собак тут нет и что если собака пропала, то ее надо искать прежде всего в карантинном участке, потому что там собаколовы.

Наши два мальчика были вовсе не теми, что могут написать адрес «На деревню дедушке». Потому они через час, не больше, спешили от автобусной остановки по пустырю на карантинный двор.

Навстречу им вышел из ворот Иван Иваныч. Увидев ребят, он заторопился, а подойдя, спросил:

— И вы сюда?

— Направили нас,— сказал Алеша.

— Здесь нет Бима? — спросил Толик.

— ...

— Не было его тут? — переспросил Алеша.

— Нет, мальчики... Бима тут нет... и не было.— Иван Иваныч старался скрыть тяжесть на душе и боль сердца; это в его состоянии оказалось очень и очень трудно.

И тогда Толик, приподняв густые черные бровки и собрав гармошку на лбу, сказал:

— Иван Иваныч... не обманывайте нас... пожалуйста.

— Бима здесь нет, мальчики,— повторил Иван Иваныч уже более твердо и уверенно.— Искать его надо. Искать.

Снег порошил.

Тихий снег.

Белый снег.

Холодный снег, прикрывающий землю до следующего, ежегодно повторяющегося начала жизни, до весны.

Седой как снег человек шел по белому пустырю. Рядом с ним, взявшись за руки, два мальчика шли искать своего общего друга. И у них была надежда.

И ложь бывает святой, как правда. Так умирающий человек, улыбаясь, говорит любимым: «Мне совсем стало хорошо». Так мать поет безнадежно больному ребенку веселую песенку и улыбается.

А жизнь идет. Идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь.

*

Весь день мальчики продолжали искать Бима. А вечером, уже в сумерках, Толик проводил Алешу на трамвае до «нашей» автобусной остановки.

— А это — мой папаня,— познакомил Толика Алеша.

Хрисан Андреевич подал Толику руку:

— Понятно: друга, стало быть, нашел. Ты что же, к Алеше в гости? Милости просим.

За Толика ответил Алеша:

— Он потом приедет. И я приеду... К Ивану Иванычу. Мы будем еще искать.

— Ну ладно. Добро. Дома расскажешь все чин чином, а сейчас — во-он он! — идет наш автобус.

Перед посадкой Алеша отдал папане пятнадцать рублей.

— Все целы. Не потребовались.

— Тоже понятно,— с грустинкой сказал отец.

Толик помахал вслед отъезжающему автобусу. Было и грустно расставаться с новым другом, и радостно оттого, что он есть. Теперь Толик будет жить еще и ожиданием встреч с Алешей. А ведь это Бим оставил такой четкий след на земле.

Дома Толик сказал папе уверенно:

— Бим где-то в городе. Обязательно найдем. Мы найдем.

— Кто это мы?

— Алеша, Иван Иваныч и я... Найдем, вот посмотришь.

— Кто — Алеша? Кто — Иван Иваныч? — спросила мама.

— Алеша — мальчик из деревни, отец у него — дядя Хрисан, а Иван Иваныч — не знаю кто... добрый он... хозяин Бима.

— А зачем же тебе Бим, если нашелся хозяин? — спросил папа.

Толик не мог ответить, он не понимал вопроса ввиду крайней его неожиданности и сложности.

— Не знаю,— тихо произнес он.

А поздно вечером, когда Толик спал и видел во сне, как Алешина корова лизала его шапку, папа и мама спорили в дальней комнате.

— Безнадзорный растет у тебя сын,— строго говорил папа.

— А ты где? — отпарировала мама.

— Я на службе.

— А я еще хуже, чем на службе. Ты ушел из дому, и все. А мне... мне одна чистота всю душу съела.

— Кто бы где бы ни служил — у него есть обязанности, которые он должен выполнять честно. Я говорю о другом: кто же будет воспитывать Толика? Ты или я? Или оба? Тогда нам надо найти общий язык.

— Наверно, не ты и не я.

— Кто же? — нажимал папа.

— Вся надежда на школу,— ответила мама уже более мирно.

— И улица? — давил папа.

— Хотя бы и улица. Чего в том? Все дети на улице.

— А честность, я спрашиваю, честность кто будет воспитывать? — повысил теперь голос папа.

— На́ вот, читай. Впрочем, я сама. Слушай.— Мама читала, вырывая отдельные фразы из газеты: — «Организованность, неусыпный надзор, строгий учет, взыскательность — вот чем воспитывается в людях честность»... «Честного человека надо поднимать на щит»... Слышишь: на щит! Да ну вас к лешему! — Мама упала на кушетку лицом вниз.

Папа уже не хотел углублять спор, он любил маму, и она его любила, а мирился он всегда первым. Да и долгие разногласия у них почти не бывали. И на этот раз он примирительно сказал:

— Что ж, придется разобраться. Попробую я найти Бима. Попробую. Хозяин нашелся, сюда Толик уже не притащит собаку, а если мы с тобой найдем ее, то наш авторитет возрастет в глазах Толика.

Нет, не те слова сказал он, что вертелись на уме, не те. В тот вечер Семен Петрович уже не был спокойным и уверенным: сын подрастал и шел мимо отца, а он, родной отец, не заметил этого в текучке. Семен Петрович думал. Семен Петрович вспомнил, как видел однажды у пивной на берегу реки юношу, еще безусого: тот стоял у стены, покачиваясь и путаясь ногами, и кричал, и плакал с надрывом... Жутко стало от такого воспоминания. Семен Петрович с ужасом представил у пивной своего Толика лет через пять, и от этого сдавило в груди. Он подошел к жене, сел около нее и спросил тихо, примирительно и для нее неожиданно:

— А может быть, купим Толику хорошую собачку?.. Или

выпросим Бима у хозяина, а? Хорошо заплатим. Как думаешь ты?

— Ох, не знаю, Семен, не знаю. Давай купим, что ли.

Конечно, Семен Петрович не учел маленького обстоятельства, что дружба и доверие не покупаются и не продаются. Не знал он и того, что Бима уже не найти, если бы он и захотел. Но Бим, наш добрый Бим, оставил след и в душе папы Толика. Может быть, это был укор совести. От нее никогда и никому не уйти, если она не похожа на идеально прямую хворостину: такую можно согнуть в дугу и, отпустивши по желанию, выпрямить, как вам угодно. Но Бим тревожил Семена Петровича и ночью.

А в ту ночь Бим лежал все еще там же, в фургоне, обитом жестью. Завтра же папа Толика организует поиски Бима. Найдет ли он, постигнет ли тайну железного фургона, поймет ли всю силу и непобедимость стремлений Бима к свету и свободе, к дружбе и доверию?

Нет, этого не произошло по самой простой причине. Утром следующего дня, в понедельник, Иван Иваныч взял ружье в чехле и поехал на карантинный участок. Там встретился с теми двумя собаколовами, с горечью и болью узнал от них, что изловили они Бима около дома. Оба они возмущались той Теткой и ругали ее нещадно, обзывая всяческими словами. Тяжко было Ивану Иванычу оттого, что Бим пал жертвой предательства и наговора. Он не винил этих двух рабочих, исполняющих свою обязанность, хотя молодой парень, как видно, чувствовал себя виноватым, хотя бы уже потому, что поверил Тетке.

— Да если бы я знал...— Он не договорил и стукнул кулаком по капоту автофургона.— Вот и поверь такой гадюке.

Иван Иваныч попросил их отвезти Бима в лес и предложил за это пять рублей. Оба охотно согласились. Поехали втроем в кабине того же фургона.

На полянке, где перед каждой охотой Иван Иваныч садился на пенечек и слушал лес, на той полянке, где в тоскливом ожидании Бим терся мордой о палые листья, в нескольких метрах от того пенечка, зарыли Бима. А поверх засыпали легонько, тоненько, желтыми листьями, перемешанными со снежком.

Лес шумел ровно и негромко.

Иван Иваныч расчехлил ружье, вложил в него патроны и, как бы чуть подумав, выстрелил вверх.

Лес, из-за шума, глухо, без ропота, по-осеннему, отозвался печальным эхом. Вдали оно замерло коротким, оборвавшимся стоном.

И еще раз выстрелил хозяин. И еще ждал, когда простонет лес.

Оба его спутника недоуменно смотрели на Ивана Иваныча. Но он, не сходя с места, заложил еще два патрона и так же размеренно, с абсолютно равными промежутками, определяемыми по замиранию звука вдали, выстрелил еще дважды. Затем зачехлил ружье и пошел к пенечку.

Старший спросил:

— Это к чему же — четыре-то раза?

— Так полагается,— ответил Иван Иваныч.— Сколько лет было собаке, столько раз и стрелять. Биму было... четыре года. Любой охотник в такие минуты снимет шапку и постоит молча.

— Ты смотри-ка! — тихо удивился молодой парень.— Как при напасти... как в беде...— Он отошел к фургону, сел в кабину и закрыл за собой дверцу.

Иван Иваныч присел на свой пенечек.

Лес шумел, шуме-ел, шуме-ел, однотонно, почти по-зимнему, шумел холодно, голо и неуютно. Снега было — всего чуть-чуть. Давно уже пора бы ему, а запоздал надолго. Может быть, потому и шум леса стал теперь ворчливо-нудным, сонливым, казалось, настолько безнадежным, что вроде бы и зимы не будет, и весны не будет.

Но вдруг Иван Иваныч ощутил в себе, в той пустоте, что осталась после потери последнего друга, теплоту. Не сразу он догадался, что это такое. А это были два мальчика, их привел к нему, сам того не ведая, Бим. И они опять придут, придут не раз. Странным, очень странным показался Иван Иваныч двум простецким собаколовам, когда, садясь в кабину, он сказал как бы самому себе:

— Неправда. И весна обязательно будет. И будут подснежники... В России бывают и зимы, и весны. Вот она какая, наша Россия,— и зимы, и весны обязательно.

*

На обратном пути молодой парень неожиданно остановил автомобиль против небольшой деревни, неподалеку от шоссе, открыл дверь фургона и выпустил Лохматку.

— Не желаю. Не хочу! — воскликнул он.— Беги, собака, в деревню, спасайся,— там цела будешь.

— Что ты? Что ты?! Знают же — было две собаки,— крикнул из кабины старший.

— Одна покончилась, другая убежала — и весь сказ. Не хочу. Ничего не хочу. Не желаю. И весь сказ!

Лохматка отбежала от шоссе, села, в удивлении проводила

взглядом фургон, потом осмотрелась и побежала сама по себе, побежала в деревню, к людям. Смышленая собачка.

Еще в лесу Иван Иваныч узнал, что молодого парня зовут Иваном и старшего — тоже Иваном. Все трое — Иваны, редчайшее совпадение. Это их сблизило еще больше, и расставались они добрыми знакомыми. А и всего-то между ними было только одно: втроем зарыли собаку, которая не вынесла собачьей тюрьмы. Бывает, люди сходятся в больших делах и расходятся, а бывает, сходятся в малых делах, и надолго, на всю жизнь.

Когда Иван Иваныч вышел из кабины и подал обещанные пять рублей молодому Ивану, тот отстранил его руку и сказал те же самые слова:

— Не желаю. Не хочу. И весь сказ!

Стало окончательно ясно, что он считает себя тоже виноватым в гибели Бима; видимо, он испытывал укор мертвого. Что ж, укор мертвых — самый страшный укор, потому что от них не дождаться ни прощения, ни сожаления, ни жалости к сотворившему зло кающемуся грешнику.

Но молодой Иван слишком уж близко принял к сердцу свою маленькую ошибку. И это делает ему честь. Вот и еще один след на земле доброй, преданной и верной собаки. Кстати, старший Иван не испытывал особых душевных неудобств — он взял пятерку из рук Ивана Иваныча и положил ее в боковой карман — с благодарностью. Обвинять его абсолютно не в чем: он получил договорную плату за труд, а ловя Бима, всего лишь исполнял свою обязанность.

...В тот же день Семен Петрович организовал поиски. Во-первых, в газете появилось объявление: «Пропала собака — сеттер, белый с черным ухом, кличка Бим, выдающегося ума ученая собака. Местонахождение просим сообщить за хорошее вознаграждение по адресу...»

Большой город заговорил о Биме. Трещали телефонные звонки, шли сочувственные письма читателей, сновали в поисках гонцы.

Так Бим прославился дважды: один раз при жизни — как бешеный, второй раз после смерти — как «выдающегося ума собака». В последней славе Бима заслуга Семена Петровича была несомненна.

Но следов Бима так-таки и не нашли, ни в течение всей зимы, ни после. Да и кто мог знать? Молодой Иван рассчитался с карантинного двора и, по понятным причинам, не откликнулся на объявление; Ивана старшего предупредил Иван Иваныч — чтобы ни гугу! А больше ни один человек не ведал, что Бим лежит в лесу, в свежей промерзшей земле, запорошенной снегом, и что его уже никто никогда не увидит.

Зима в тот год была суровой, с двумя черными бурями. После них белый снег в полях стал черным-черным. Но на той, знакомой нам полянке в лесу он оставался чистым и белым. Ее защитил лес.

Глава 17

ЛЕС ВЗДОХНУЛ

(Вместо послесловия)

И вновь пришла весна.

Солнце выталкивало зиму вон. Она улепетывала, раскисшая, на полурастаявших и немощных ногах, а вслед за нею, помаленьку, но не отставая, прибавлялись и прибавлялись теплые дни, поджигали старуху пятнами, разрывали на грязно-белые клоки. Весна всегда безжалостна к умирающей зиме.

И вот ручьи уже успокоились, не торопятся, становятся все меньше и меньше, все тоньше и тоньше, а ночью почти совсем замирают. Весна пришла поздняя, ровная.

— Такая весна — к урожаю,— сказал Хрисан Андреевич на днях, когда ночевал с Алешей у Ивана Иваныча.

Скоро они выгонят овец на выпас, но Алеша теперь до самых каникул будет только «выпроваживать» с отцом стадо утром и «встречать» за селом вечером.

Алеша и один приезжал несколько раз. В такие дни они с Толиком неразлучны и вновь ищут Бима, милые мальчишки. Но однажды, когда все вместе пили чай у Ивана Иваныча, Хрисан Андреевич рассудил так:

— Раз уж в газетах пропечатали, да не объявился, то, стало быть, его кто-да-нибудь увез далеко. Россия велика, матушка,— пойди найди. Ежели бы он загиб, то обязательно кто-то заявил бы по объявлению: так, мол, и так — покончилась ваша собака, видал там-то и там-то. Главное дело — жив, вот в чем вопрос. Не каждый находит свою собаку. И тут, фактически, ничего не поделаешь.— Он понимающе переглянулся с Иваном Иванычем и добавил: — Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иваныч?

Тот согласился кивком головы.

С этого дня поиски прекратились. Осталась только память, и осталась она у мальчиков на всю жизнь до конца дней.

Может быть, через много-много лет они, наши мальчишки, расскажут своим детям про Бима. Ведь любой отец или дедушка, если у него был друг-собака, не преминет рассказать детям и внучатам о забавных или печальных историях, происшедших с нею. И тогда подростку захочется иметь свою собаку.

Уходя, Хрисан Андреевич положил за пазуху месячного щенка овчарки — подарок Ивана Иваныча. Алеша был в восторге.

...В комнате забавляется со старым ботинком новый щенок, тоже — Бим, породистый, типичного окраса английский сеттер. Этого Иван Иваныч приобрел «на двоих» — себе и Толику.

Но старого друга он уже никогда не забудет. Не забыть ему охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты и всепрощающей дружбы. Память о верном друге, о его печальной судьбе тревожила старого человека. Именно поэтому он и оказался на той самой полянке и сел на тот же пенечек. Осмотрелся. Он пришел послушать лес.

Был неимоверно тихий весенний день.

Небо густо забрызгало поляну подснежниками (капельки неба на земле!). Много раз в жизни Ивана Иваныча повторялось такое чудо. И вот оно пришло вновь, тихое, но могучее в своей истинной простоте и каждый раз удивительное в неповторимой новизне рождения жизни — весна.

Лес молчал, только-только пробуждаясь ото сна, окропленный небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками на блестящих и таких томительно-нежных язычках еще не развернувшихся листочков.

Ивану Иванычу показалось, что сидит он в величественном храме с голубым полом, голубым куполом, с колоннами из живых дубов. Это было похоже на сон.

Но вдруг... Что бы это значило? По лесу прокатился короткий шум — глубокий вздох. Было очень похоже на вздох облегчения от того, что после длительного ожидания жизнь деревьев пробуждается вновь, уже обозначившись язычками распустившихся почек. Иначе почему же ветви шевельнулись, и вслед за этим засвиркала синица, а дятел бодро застрочил барабанной музыкальной дробью, призывая подругу, оповещая лес о начале любви? Он ведь одним из первых, как и вальдшнеп, подает сигнал к торжественной симфонии весны: но только вальдшнеп зовет тихо, в сумерках, осторожно, зовет сверху: «Хор-хор! Хор-хор!» — то есть хорошо-хорошо! А дятел, найдя свое сухое дуплецо на заветном суку, неистово, смело, решительно возвещает на первозданном инструменте радости: «Кр-р-р-р-р-р-р-р-р-расота!»

Ясно: потому и вздохнул лес облегченно, что чудо началось и наступило время исполнения надежды.

И птицы откликнулись ему, могучему богатырю и спасителю. Иван Иваныч слышал это отчетливо. Ведь он и пришел сюда затем, чтобы послушать лес и его обитателей.

И он был бы счастлив, как и каждый год в такие часы, если бы на краю полянки не выделялось пятно — пустое, не запол-

ненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с палыми прошлогодними листьями.

Грустно смотреть на такое пятно весной, да еще в самом начале всеобщего ликования в природе.

Но зато снизу вверх добрыми, наивными, ласковыми и невинными глазенками смотрел на Ивана Иваныча новый Бим. Он уже успел покорить Толика, он так и начал жить — с доброты, маленький Бимка.

«Какова-то будет его судьба? — подумал Иван Иваныч.— Не надо, нет, не надо, чтобы у нового Бима, начинающего жизнь, повторилась судьба моего друга. Не хочу я этого. Не надо».

Иван Иваныч встал, выпрямился и почти вскрикнул:

— Не надо!

Лес коротким эхом повторил несколько раз: «Не надо... не надо... не надо...» И замолк.

А была весна.

И капли неба на земле.

И было тихо-тихо.

Так тихо, будто и нет нигде никакого зла.

Но... все-таки в лесу кто-то... выстрелил! Трижды выстрелил.

Кто? Зачем? В кого?

Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и добивал его двумя зарядами...

А может быть, кто-то из охотников зарыл собаку, и ей было три года...

«Нет, не спокойно и в этом голубом храме с колоннами из живых дубов» — так подумал Иван Иваныч, стоя с обнаженной белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже на весеннюю молитву.

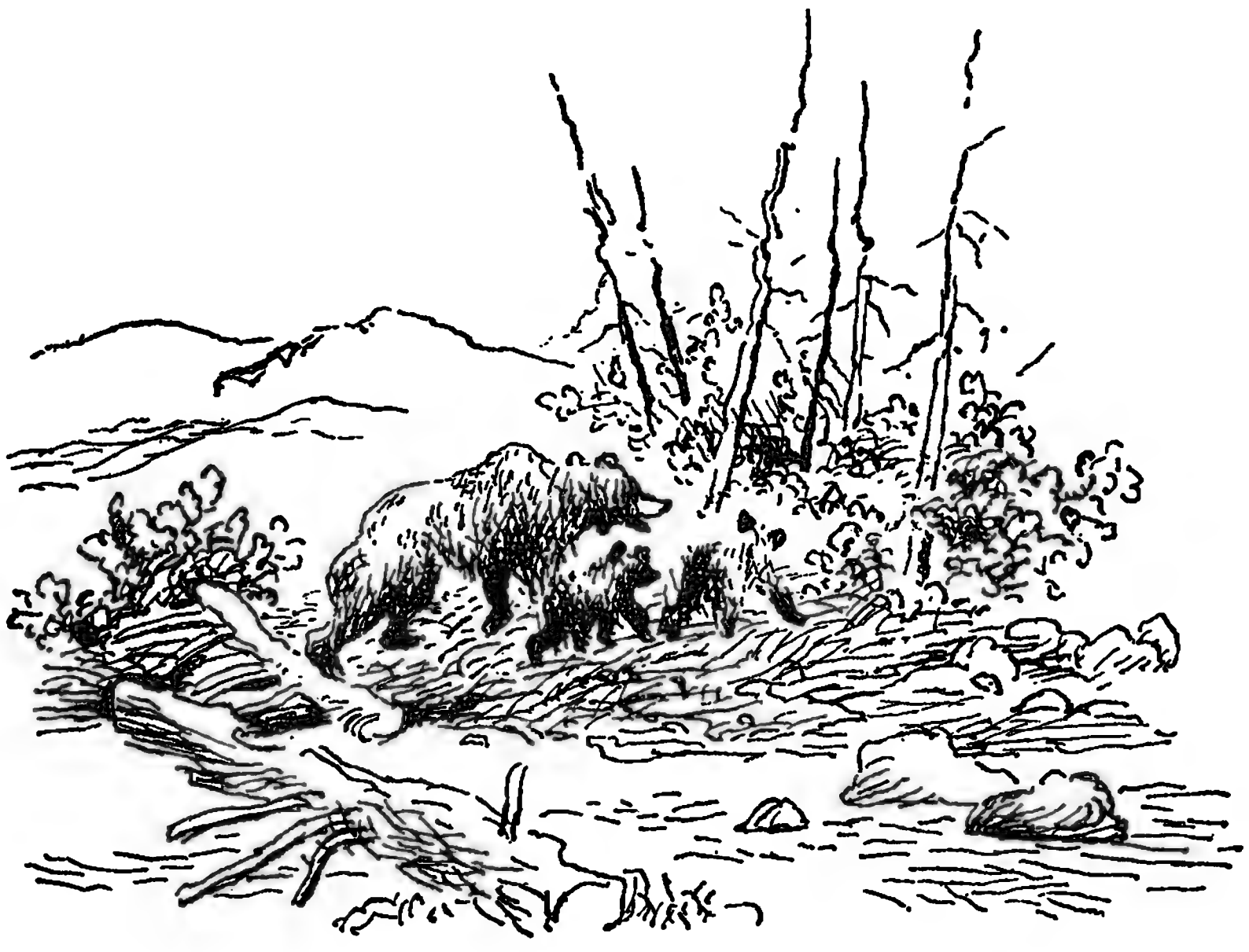
Лес молчал.

К стр. 408

Н. СЛАДКОВ

За пером синей птицы

Рассказ-воспоминание



17 Карим, Рыбаков, Сотник, Троепольский, Сладков, Успенский

Если не путешествовать —
откуда узнаешь о красоте земли?

СИНЯЯ ПТИЦА

О жизни этой птицы рассказывается не в сказках, а в научных статьях. И все-таки мне пришлось долго за нею гоняться, как за настоящей сказочной синей птицей — манящей и неуловимой.

Из статей я знал, что синяя птица живет в узких горных ущельях, у кипящих потоков и водопадов. Там на обрывах скал она и строит свое гнездо. Известны ее размеры — с галку. Цвет темно-синий с фиолетовым отблеском на спине, голове и груди. Хвост длинный, ярко-синий, крылья округлые, тоже синие. Песня — набор громких красивых свистов, крик — резкое и тягучее «дзжжжиии!».

Родина синих птиц — горы Индии, Бирмы и Гималаи. Оттуда она проникла и к нам — в горы Тянь-Шаня.

У нас всего лишь краешек обширной области ее обитания, совсем небольшой, размером, скажем, с половину Московской

области. Но и тут, в этом маленьком северном клинышке, синяя птица живет не везде: только по ущельям горных рек с берегами, поросшими лесом и заваленными камнями.

Синюю птицу иногда называют лиловым дроздом. В облике ее и в самом деле есть что-то дроздиное, а перо отливает лиловым. Птица эта сто́ит того, чтобы попытаться увидеть ее на воле — в сыром и гремящем ущелье, загроможденном глыбами скал и заросшем кустами. Увидеть птицу и землю, ее породившую.

Ученые много знают о жизни синих птиц: где живут, чем питаются, сколько несут яиц, как долго выкармливают птенцов. Известно, что весит синяя птица в среднем 180 граммов, клюв от ноздри у нее в среднем 19 миллиметров, даже установлено, что хвост у самцов на полтора сантиметра длиннее, чем у самок. В общем, все то, что можно узнать, измеряя и вскрывая убитых птиц. С тем, чтобы потом написать статью в научный журнал.

А что такое синяя птица для случайного путника? Займет ли она место в его душе? Какое дело ему, путнику, до сантиметров ее хвоста и граммов ее птичьей плоти? Кто измерял и взвешивал радость и волнение от встречи с ней?

Долгий поиск неизвестного мне существа был как подъем на вершину горы. Не только каждый день, но и каждый час был переполнен радостными открытиями. Поиск не для того, чтобы еще и еще уточнить какие-то мелочи, а чтобы коснуться смысла существа и земли.

Неизвестное тебе существо вместе с тобой живет на Земле. Природа создавала его так же долго, терпеливо и трудно, как и тебя. И оно — в своей ветви! — тоже вершина творения, единственное в своем роде. Неповторимое, как и ты.

О чем бы человек ни рассказывал, он, прежде всего, рассказывает о себе. И если это рассказ о природе, то это непременно и рассказ о его отношении к ней.

Человек и природа — естественное и неразрывное единство. Постоянно общение двух миров — человеческого и природы. Как бы ни отдалялись мы от природы, как бы ни старались от нее оторваться,— пуповина нас держит. Тысячи крепких нитей связывают нас: иные напряжены до предела, многие уже оборвались. Но оставшиеся, как резиновые жгуты, притягивают тем сильнее, чем больше мы их растягиваем.

Жизнь природы изменчива, как и наша жизнь. Она тоже полна событий и смысла. И достойна того, чтобы о ней, дикой, было рассказано по-человечески, рассказано благожелательно, правдиво и вдумчиво, благодарно и обстоятельно — как бы перелистывая дни и годы собственной жизни.

Земля — это гигантский клубок, сотканный из нитей жизни. Однажды кончик одной из ниточек оказался в моих руках; с тех

пор я разматываю и разматываю клубок. И нет для меня занятия более важного и более нужного. Десяти жизней не хватит, чтобы хоть чуточку размотать его,— но дело начато. Я стану и дальше разматывать, ни на что особенно не надеясь. Это мне очень надо, это меня увлекает — и, значит, это и есть мое главное дело. И если по ходу дела будет необходимо заглянуть во все ущелья всех горных хребтов — я попытаюсь сделать и это. Я пройду через леса, пустыни, чтобы увидеть все самому.

Я знаю, что надо спешить. Время прожорливо. Земля на глазах мельчает. Вымирает пространство и тишина, как когда-то вымерли мамонты. Вымирают дремучие леса, непроходимые болота, неприступные горы. Даже звериные тропы и водопои, даже птичьи колонии и базары. Все больше животных становятся редкими. Нетронутая природа становится воспоминанием. И уходят те, кто еще помнит ее такой.

От мамонтов остались шкуры и кости; воспоминаний о живых не осталось. Вот так же и другие существа могут не оставить памяти о себе — были и нет. Нужна, наверное, особая Красная книга — книга воспоминаний о встречах с дикими существами на не тронутой еще земле. Пока не поздно...

Мир птиц и зверей. Теперь уже все согласны, что нам не прожить без чистой воды, чистого воздуха, чистой земли. Все согласны, что бережно расходовать богатства природы разумнее, чем расточительно. Всем стало приятнее встречать в лесу зайцев, а не охотников: если исчезнут охотники — никто о них и не вспомнит, если вымрут зайцы — жалеть станут все.

Все согласны, чтобы в лесах и полях цвели дикие цветы, бегали дикие звери и пели дикие птицы. Не те дикие звери и птицы, которых содержат в специальных загонах, не те, что скапливаются у подкормки в охотничьих хозяйствах — считанные, меченые, полудомашние. Спасаемые охотниками от других, чтобы убивать самим. Полувольный лесной скот, который забивают не кувалдой, не током, как делают это на бойне, а из охотничьих ружей. И называют это почему-то охотой.

И даже не те, что нашли спасение в заказниках и в заповедниках. А те, что живут еще повсеместно, испытывая на собственной шкуре все неурядицы века.

Все согласны — пусть они радуют наши глаза и уши. Все эти зайцы, [illegible] лисицы. Соловьи, жаворонки и дрозды. Даже ящерицы, [illegible]ягушки и жабы!

Ну, а как быть с теми, которых мало кто знает, которых мало кто видел, а то и не слышал даже краешком уха? На что они нам, все эти редкости: белые и черные журавли, чешуйчатые крохали и чешуйчатые дятлы, розовые чайки и белые кречеты, серпоклювы и шилоклювки? Улары, черные аисты, франколи-

ны? Пустынные и степные коты, тростниковые и пустынные рыси?

Что нам в них? Они и так для нас вроде бы и не существуют. Вымрут — мы даже и не заметим. Даже охотники не пострадают: все равно их запрещено стрелять!

Так, может, не надо и волноваться? Пусть горы станут без горных орлов, а степи — без степных?

Что же мы потеряем, если исчезнут те, кого мы и так не видели и не знали? И потеряем ли?

Я охотник до мозга костей. Но охочусь я не за шкурами и не за мясом, а за удивительной жизнью птиц и зверей, за их красотой. И ружье мое — это я сам, и патроны мои заряжены не дробью и не картечью, а моим любопытством. Я прицеливаюсь собой и собою же стреляю.

Для этого я отправляюсь туда, где еще не ступала моя нога. Там таится моя добыча — нетронутая земля и порожденная ею жизнь. Жизнь, которую я тороплюсь увидеть, пока она не исчезла. И что-нибудь попытаться сделать, чтобы ее сохранить.

Я всегда помню, чем одаривала меня природа, за все за это я должен ей отплатить. И я свидетельствую: каждое исчезнувшее существо, знали мы его или даже не догадывались о его существовании, тяжелая и большая потеря.

Все рождено землей: деревья и травы, цветы и птицы. Земля объясняется с нами языком красок, запахов, звуков. Голоса бесчисленных жизней — больших и маленьких! — несутся со всех сторон. Громкие и едва уловимые, но всегда таинственные и зовущие. И каждый умолкнувший голос — невосполнимая утрата; хор жизни звучит все тише и тише.

Мы с нетерпением ждем сигналов из космоса от далеких цивилизаций. И как-то не прислушиваемся к сигналам, что непрерывно звучат у нас на Земле,— позывные из мира птиц и зверей. От наших собратьев если уж не по разуму, то хотя бы по чувствам.

Давно они ищут контактов с нами, давно и упорно шлют нам свои позывные, но мы еще не готовы их принять и расшифровать. А сигналы звучат: пробиваются сквозь помехи, летят наперекор стихиям — терпящие бедствия всё надеются! Надеются достучаться до нас.

Вслушайтесь: иные уже угасают, они уже чуть слышны. Чьи-то сигналы мы уловили,— таких помещаем в Красную книгу,— бросаем гибнущим спасательный круг. А что бы раньше было прислушаться, когда они еще громко звучали?

Пора, пора усилить затухающие призывы — пусть пробьются к каждому сердцу! Пусть каждый из нас выйдет на связь — и тогда непременно родится отклик. Замкнется цепь, заработает

обратная связь — они и мы, передатчики и приемники, терпящие бедствие и спасатели, призыв и ответ.

Вслушайтесь в голоса живого.

Заманчиво без оглядки мчаться в автомобиле, обогнуть за сутки Землю на самолете, переплыть наперегонки океан. А если на своих на двоих по океану лесов и пустынь? Нацепив на себя походный рюкзак, как парус. Навстречу зовущим нас голосам — еще громким и чуть уже различимым. Туда, где не ступала твоя нога и где не скользили еще твои глаза. Не спеша по живой земле. Чтобы без помех услышать ее позывные и попытаться их расшифровать.

* * *

Первую в жизни синюю птицу я встретил в ущелье Талгара в горах Заилийского Алатау. Незнакомая, крупная, бархатно-черная птица перелетала с одного окатанного валуна на другой. Только вблизи я разглядел, что цвет ее темно-синий.

Тогда же я отыскал и гнездо на каменной стене у воды; оно угадывалось в темной щели. Я втиснулся напротив гнезда между огромных каменных глыб и стал терпеливо ждать.

Тяжелый водяной гул глушил все. Я вижу, как срываются в воду камни, а всплесков не слышу. Я вижу, как, распевая, широко разевают клювики горные овсянка и чечевица, но песен их не слышу. Кричу сам для пробы — и не слышу себя! Все тонет в обвальном гуле воды, в котором соединились и вой горного ветра, и рев бури, и громыхание грома.

Но вдруг звук особый, острый как нож, легко и просто пронзил тяжелый грохот и гул! Ничто не смогло бы одолеть этого гула и грохота — ни рев, ни вой, ни крик! — а он одолел. Свист, похожий на визг. В неистовом грохотании он слышался так же ясно, как звонкая песенка зяблика слышится в тихое утро.

Это свистела она — синяя птица. Она сидела на мокром камне посредине кипящей реки. Как два зеленых крыла вздымаются и трепещут две упругие струи воды. Облачком висит водяная пыль, а в пыли изогнулась радуга. Перья птицы в блестках воды, как в жемчугах. Вот наклонилась, развернула веером хвост — и хвост вспыхнул синим огнем...

Спина моя затекла, холодно, бока сдавили углы камней, по ногам, втиснутым в щели, ползают противные черные слизни. Я оглох от грохота и вымок от брызг. Но я не свожу с птицы глаз: доведется ли еще когда увидеть ее...

Довелось. Вот уже двенадцать лет синие птицы гнездятся в этой нише, то надстраивая старое гнездо, то сплетая заново. Время от времени я навещаю их.

И в этот раз, двенадцать лет спустя, я снова сижу у гнезда. Так же неистово грохочет река, заглушая другие звуки. И так же, пронзая грохот, слышится где-то в стороне свист синей птицы. Все так же она осторожничает и не подлетает к гнезду. Все как всегда, словно и не было этих долгих двенадцати лет.

Но они были — эти двенадцать лет. Они и сейчас со мной. И я здесь, чтобы снова побыть с синей птицей наедине и унести с собой этот день. Всего один день! Но клубок времени разматывается назад недели, месяцы, годы. Горы, леса, пустыни. Пески и тростниковые джунгли. Диковинные звери и птицы. И вот уже передо мной тысяча и один день...

Синяя птица долго не подлетает к гнезду. Река шумит, а время течет.

Вот точно так же терпеливо я ждал когда-то встречи с черным аистом. И дни ожидания были также наполнены смыслом, волнением и нетерпением.

ГОРНЫЙ ЛЕС

Кавказ, хребет Салават, маленькое селение Бум. Оно пленило меня своим коротким названием — Бум! — и тем, что селения... не было! Был лес огромных, во много обхватов старых каштанов, были заросли высоченной — по плечи! — травы, а вот селения не было. Под каштанами густая и прохладная тень, к стволам их можно прислониться, как к спинке дивана, обитого зеленым моховым плюшем. В зарослях высокой травы, разлапистой и лопушистой, живут квакши — изумрудные маленькие лягушки с белым надутым зобом и золотыми глазами.

Так вот — селения не было. То есть оно, конечно, было, но увидеть дома в зеленой путанице каштанов и лягушачьей травы было почти невозможно. Тем более, что дома отстояли далеко друг от друга и соединялись всего лишь узенькими тропинками, петляющими в высокой траве. Когда я возвращался в селение с гор и окунался в эту путаницу зелени и тропинок, я тонул. И, как утопающий за соломинку, хватался за первого встречного, задавая ему вполне дурацкий вопрос:

— Скажите, пожалуйста, где я тут живу?

В свое время появление в затерянной деревеньке незнакомого человека привлекло внимание, и, на мое счастье, все знали, где я живу,— все, кроме меня!

Я послушно брел за добровольным проводником, раздвигая лягушачью траву, склоненную над тропинкой. Старичок в безрукавке, в курчавой папахе цвета позеленевшей меди шаркал впереди, постукивая тяжелой клюкой. У дома гном-проводник

останавливался, тыкал в его сторону палкой и, изумленно покачивая папахой, шаркал дальше, тут же скрываясь в траве. Но и сейчас еще я не до конца был уверен, что это именно мой дом,— дома тут все одинаковые. У всех красные черепичные крыши, у всех вдоль стены терраска. Первый раз в жизни в горах я обходился без проводника, а в селении без него обойтись не мог!

Соседних домов с моей терраски не видно. Я догадываюсь о них только по пению петухов да лаю собак. И мой дом тоже утонул в зелени; сухое стрекотанье цикад и журчание квакш глушат все звуки жилья. Щебечут ласточки, шныряя у косяков. Хозяйские куры разморенно сидят на корявых сучьях айвы, копошась в перьях. Трутся и сухо шелестят жесткие листья кукурузы. Лес млеет от жары и солнца.

И по вечерам за окном стрекочут цикады и квакши, мотыльки самых невообразимых форм и расцветок мечутся у лампы и на черном окне. А из глубины леса слышится: бум, бум, бум! Это горная река катит камни, и они глухо стучат о дно. За это, наверное, реку и назвали Бум, а уж потом, по реке, дали название и селению. Невидимое селение Бум на шумной реке Бум-чай.

В селении у реки и в горных лесах, окруживших их, мне предстояло прожить лето. Я прожил, и со мной не случилось ничего особо уж неожиданного или редкостного,— и все же эти горы, это селение и река надолго остались в памяти. Они прибавили той светлой силы, на которую опираешься в дни сумрачные и тусклые. И что бы потом ни случилось с тобой — ты всегда помнишь: был в твоей жизни счастливый лес, где все было хорошо.

Куда-то всегда едешь зачем-то. Что-то увидеть, узнать, найти. И это «что-то» потом определяет все твои помыслы, дела и маршруты. И ты уже не свободен, раз сделал выбор.

Нет, тебя не гнетет эта самому же себе навязанная несвобода, ведь у тебя ясная цель. И все же, уставясь в одно, невольно не замечаешь другого. Конечно, ты не глух и не слеп; уставясь, скажем, на лису, ты заметишь и встречного зайца. Но заяц этот по сравнению с лисой покажется тебе таким ничтожным и неинтересным, что ты и приглядываться к нему не станешь. А ведь заяц сам по себе может оказаться куда интереснее лисы! Но ты сделал выбор, ты кому-то отдал предпочтение: от одного этого все другое становится как бы сортом ниже. А оно, другое, не меньше достойно твоего внимания. А то и больше.

Выбрать — значит в чем-то себя ограничить? Или нет? Наверное, нет. Ведь мы выбираем с в о е. Каков ты — таков и твой выбор. Одному тоска без толпы, другому тоска в толпе, один не может без леса, другой без города. И это, наверное,

хорошо, когда ты без чего-то не можешь и что-то тебя сильно влечет.

Даже просто шагая по лесу, мы постоянно делаем выбор: налево или направо, вперед или назад? Это в родном городе все равно: в какую бы улицу ни свернул — заранее знаешь, что там увидишь. А в горах, даже знакомых, ни одна тропа, ни одно ущелье не схоже с другим. И тут выбор твой как лотерея — выиграл или проиграл. Свернул не туда — и потянулась совсем другая цепочка событий. И вот стоишь на каждой развилке, как рыцарь на распутье, решая свою судьбу. И сожалеешь, сворачивая направо, что не увидишь всего того, что ожидало тебя на левой тропе...

Боюсь отдать предпочтение кому-то — в ущерб всем другим. Мне необходимо бывать в горах, как маленькому ребятенку необходимо время от времени дотрагиваться до матери: тут ли она? Ничего ли не изменилось в ее отношении?

Таким ли остался ты сам? Все та же ли мера добра и зла? Не разошлись ли твои слова и дела? Не расхлябался ли компас души? С чем ты сверишь его еще, если не с выбранной тобою землей и не с вершинами ее гор?

В селении отцветают великаны каштаны. Разморенный и распаренный входишь в их темную тень, словно в прохладный погреб. Прислонишься к плюшевому стволу и слушаешь Время. Растительное успокоение переполняет тебя: вот-вот пустишь корни и прорастешь. Медленное очищение от всякой скверны. Шелест листьев и тишина как мягкая успокаивающая ладонь на плече.

Но мы, городские, неусидчивые, как кузнечики. Мы дергаемся, как секундные стрелки, обгоняя самих себя. Мы так торопимся, что все вокруг сливается в серую ленту,—как обочина дороги из окна скорого поезда. Все мелькает: предметы, события, люди. Ничто не рождает отклика, не оставляет следа.

Даю себе слово не торопиться; никому не отдавать предпочтения, идти туда, куда больше влечет.

Легко сказать! Предпочтение-то уже отдано, раз тебя куда-то влечет! А раз влечет, то придется и торопиться?

Первые выходы в горы. Земля, вставшая на дыбы! Как только на этих отвесных склонах ухитряется вырасти лес. Заманчивая глубина ущелий. Солнечные пятна желтых осыпей. Зеленые горные луга. Еще выше зазубрины серых скал. И везде своя, особая, жизнь, такая же удивительная и таинственная, как жизнь на далеких планетах.

Русло реки Бум сейчас пересохло и похоже на развороченную булыжную мостовую, с колдобинами, залитыми водой. На камни осела соль, и они блестят, словно оледенелые. Жиденькая тень

нависших кустов не прячет от пронизывающей жары: жара до озноба, до разноцветных пятен в глазах.

По сторонам зеленые стены склонов. Все притихло, и даже ветер не дышит. Застойный зной и сухой скрежет камней.

Большая колдобина на речной мостовой! Колдобина доверху нацедилась... горячей водой! Края и дно дикой ванны выложены плитняком, словно малахитовым кафелем. Из трещин дна струйками пробиваются пузырьки. Лезу в воду, вздымая лохмотья мути, пузырьки мурашками щекочут голое тело. А горячая-то вода, оказывается, лучше снимает усталость, чем ледяная. Так же как горячий чай лучше утоляет жажду.

Лесная баня с парилкой. По следам видно, что приходили париться кабаны, барсуки и косули. А пичужки и сейчас ждут, когда я уйду, чтобы выпить капельку минеральной воды. Когда на реке паводок и русло залито, к роднику, наверное, сплываются и рыбы глотнуть целебной водички.

Млеющая жара, блеск осохших камней, лесные курчавые склоны. А выше — скалы, а над скалами парит птичка ростом с ласточку. Это гриф — огромная птица гор, с размахом крыльев в три метра. Но на фоне горных громад даже гриф представляется ласточкой.

Щекочут под мышками пузырьки. Запах серы уже не кажется неприятным. И снова растительная расслабленность проникает и расползается по телу. Лес начинает гипнотизировать. Не беги, не торопись, остановись! На бегу невозможно думать. И зачем ты сюда пришел: себя показать или на нас посмотреть? Тогда наберись терпения.

Горожанин привык, что всё вокруг — зачем-то. Машины, дома, магазины. Телефоны, кино, рекламы. Во что бы он пальцем ни ткнул — всё «зачем-то» и «для чего-то». И ничего нет вокруг «просто так» и «самого по себе». Горожанин и в лесу начинает тыкать пальцем: дерево — дрова, зверь — воротник, птица — жаркое, а вся природа — кладовая или лечебница. И тут он пытается утвердить свой привычный удобно-съедобный мир. Понюхать цветок, поваляться на солнце, ягоды пощипать, посшибать грибы. Прошвырнуться с ружьем, удочкой помахать, сжевать рябчика или окуня и растянуться в тени. Взял, попользовался — и никаких обязанностей и забот. Но проходит время, и вспоминаешь уже не как ты «щипал и сшибал», а совсем другое, что было тогда вроде бы и ни к чему. Так солдат в окопах вспоминает не березовые дрова, а березы. А на чужбине вспоминают не рябчиков или карасей в сметане, а запахи оттаивающих дорог и простенькие песни овсянок...

И выходит, что самое главное совсем не то, что так бесспорно нам иногда представляется. Не потребы желудка, а память сердца.

Станет памятным и этот лес. Я ничего не собираюсь у него брать, но он все равно мне даст на дорогу, как это принято у друзей. Идешь в лес просто так, а вернешься с богатой добычей.

Лес исподволь наполняет тебя разными бесполезностями, невесомыми, несъедобными, но бесценными. Тем, во что нельзя ткнуть пальцем и положить в корзину. Тем, что мы не знаем, куда бы его приспособить. Но уже чувствуем их волнующую необходимость.

Бесценные бесполезности... Вязь зеленых ветвей, а в прогале висящие снеговые вершины. По снежному склону туры бегут, положив на холку рога. Тени и блики колышутся на тропе. У серого камня мелькает шоколадная ласочка: то замрет, то вильнет, то вдруг возникнет, то словно под землю провалится!

А шум древесных вершин? А гул реки из сумрачной глубины ущелья? А запахи трав и цветов? Полжизни готов отдать и не жалко. А за что?..

Как увязать эти вот бесполезности с заботами земледельцев, мелиораторов, лесорубов? Не очень-то они увязываются с нашими профессиями, но прекрасно увязываются просто с нами.

Заманчивые предгорья. Заросли непроходимых кустов и рощи высоких деревьев. Путаница каменистых речных проток, тихих заводей, отмелей галечных и песчаных. В настороженной их тишине прыжки даже маленького кузнечика по сухим листьям представляются топотом зайца. А затрещавшая рядом цикада — шумно взлетевшим фазаном.

Река Бум, выкатившись из ущелья, раздвинула лес и горы, широко разлилась по равнине, замусорив берега и отмели камнями, корягами и пучками желтого тростника. Но и тут для кого-то родной дом, и кто-то не может прожить без этой земли.

И уже невозможно бродить просто так, ты жаждешь встречи с обитателями этого дома без стен и без крыши. И все твои пять чувств — как пятизарядное ружье! — нацелены на эти встречи. Раз отправился в лес — значит, во что-то уже прицелился. И я знаю во что — в диковинного черного аиста.

Я очень надеюсь увидеть здесь эту редкую и скрытную птицу. Еще отправляясь сюда, я уже знал, что стану его искать. Все вокруг внове, все интересно, но среди всего главенствует черный аист. Черный! Мало кто слышал о нем, все знают, все видели аиста белого, а этот черный. Еще меньше тех, кто видел его на воле.

Увидеть его на воле мне особенно захотелось после того, как я увидел его в клетке: неопрятная, грязная птица, унылая и взъерошенная, с жутко выкрученным крылом, топталась у замызганного корытца с грязной водой и комками помета. Никто

на нее не глядел. Она не могла вызвать даже жалости — только брезгливость. И это одна из наших редчайших птиц, занесенных в Красную книгу...

Все во мне возмутилось. Кто же пожалеет, если эта птица — вот такая! — и в самом деле вымрет? Кто встанет на защиту ее — вот такой? А ведь такой ее сделала клетка.

Я обязан увидеть черных аистов на свободе, чтобы всем рассказать о них. Рассказать, что они совсем другие и что их нельзя потерять.

Клетка навела меня еще на одну редкую птицу — улара. Первый раз в жизни я видел улара в клетке: он умирал. Улар лежал в углу на земле, бледная пленка затягивала глаза, и клюв безвольно упирался в песок. Объяснили, что эти жители горных вершин не могут жить на равнине; грязный воздух равнин для них смертельный яд. С тех пор я невольно всматриваюсь в вершины гор, мысленно выбирая те, на которых могут еще водиться улары. Птицы чистых вершин.

Предгорья и горы, черные аисты и улары. И конечно же, все другие неисчислимые существа, для которых эта земля — родина. И которые для меня совершенно бесполезны и совершенно необходимы. Это все то, что со временем самым чудесным образом вдруг оборачивается бесценным и самым главным.

Черный аист. «Очень осторожная и молчаливая птица». «Близости человека избегает и придерживается самых глухих, малопосещаемых мест». Крупная птица, с размахом крыльев до двух метров. Повадкой и статью похож на аиста белого: большой красный клюв, длинные красные ноги. Также по многу лет возвращается к старому своему гнезду. Когда-то, как и белые, эти аисты тоже гнездились колониями до двадцати и более пар. Но теперь и одну пару редко удается найти.

Но я надеюсь не просто встретить, но и разглядеть вблизи тот удивительный цвет головы, шеи, спины, который — самую чуточку! — просматривался и в клетке. Ведь это только пишут, что он сверху черный. Все зависит от чистоты перьев и солнца: чернота его может полыхать и малахитовой зеленью, и аквамариновой синевой, и багрянцем рубина. Особый отблеск свободной жизни, который не увидишь ни на чучелах, ни на клеточных птицах. Аист шагает, нагибается, настораживается — и, как драгоценный камень, все время изменяется в цвете. Но разглядеть это можно только вблизи. И только в лесу.

8 июля

Ночь за окном: теплая, черная — бархатная. В комнатенке почти светло и почти уютно. Настольная лампа стоит на кружке своего же света. Пододвинуть бы сейчас к свету книгу и про все забыть. Но в черное окно то и дело стучат: мягко, вкрадчиво,

но настойчиво. А то вдруг сердито и торопливо. Обитатели ночи рвутся на свет.

Бабочки лопочут крыльями исступленно, словно за ними кто-то гонится и вот-вот схватит из темноты. С крылышек облачком искрится пыльца, и совиные глазки горят тревожным розовым светом. Иногда кто-то кидает в стекло камешки: это стукаются тяжелые и жесткие ночные жуки.

С вечера еще налетели в комнату мотыльки: сейчас они мельтешат у лампы. Гибельно очарование света для танцующих ночных эльфов. Отпугивай, отгоняй, а они снова будут рваться на свет и кидаться прямо в огонь. Как это все объяснить? Мотыльки, вспыхивая, сгорают прежде, чем успеваешь их отпугнуть; гаснет и мысль, так и не успев определиться. Утром я смахну со стола груду обгорелых телец, так ничего и не поняв, поражаясь бессмысленности смерти, разнообразию форм и красок этих обитателей ночи. Каждую ночь на земле в миллионах огней сгорают миллиарды крохотных шедевров неведомого, но великого художника.

У меня большие надежды на утро. Но когда ждешь — время нарочно останавливается. И тогда драгоценное время, время твоей жизни, вдруг становится в тягость, теряет для тебя и цену и смысл. Не нужна тебе эта вот неторопливая тягомотина. Ты готов прыгать по времени, как по камням через речной перекат, только бы поскорей!

То лопочут, то стучат о стекло посланцы ночного леса. Леса, в котором где-то дремлет сейчас черный аист. Стоя на одной ноге, уткнув длинный нос в перья плеча, как в меховой воротник.

9 июля

Утро, солнце, широкие разливы Бум-чая. Надежды и нетерпение, скопившиеся за ночь, рвутся теперь наружу. Снова сладостное чувство встречи с утренним лесом: никогда бы его не терять, только бы не терять...

Снова все ново и незнакомо, снова все, как в первый раз. И каждый шаг — как открытие. Идешь сквозь утренний зеленый мир, ликующий и изумленный.

Радость рождает силы: все становится просто, все легко. И наполнено смыслом каждое мгновение твоего бытия.

С наслаждением продираешься сквозь кусты — это ликует зверь, сидящий в тебе. Затаив дыхание, смотришь с обрыва вниз: это птица, скрытая в нас, волнуется перед взлетом. Мы любим греться на солнце, словно ящерицы, и плескаться в воде, как рыбы. Древние голоса наших предков звучат в нас и ныне, тешатся в нас их бессмертные гены. Мы всё вобрали в себя и мы сами — во всем.

Бурый зайчишка замелькал у кустов ежевики, но перед тем

как нырнуть в них — остановился. Встал столбиком, лапки крестом на пузечко, уши торчком. А уши-то грязные и немытые! И одно даже порвано: орел или лиса зайцу уши надрали за неосторожность.

Зашевелился у ноги желтопуз-глухарь — большая безногая ящерица. По виду толстый и неуклюжий, он неожиданно быстро втянулся в нору — еле успел схватить за хвост. И теперь чувствую, как он выкручивается и выворачивается, как упирается изгибами тела в стенки норы, как напрягается весь до дрожи. Пусть знает, как опасно оставлять хвост снаружи: а если б это не я, а лисица? А то спрятал голову, словно страус, и успокоился. Беда ему с таким длинным телом и с таким коротким умом...

Травяные солнечные поляны, колючие кусты ежевичника, рощи высоких деревьев, обрывчики берегов, полупересохшие русла. И постепенно проникаешься тем, что называют «ощущением места». Каждое место рождает свои ощущения. У каждого свои «наборы» запахов, звуков, красок и силуэтов. Свои волнения и радости, свое особое настроение. Но в каждом месте есть что-то самое главное: в одном месте это цвет, в другом — запах. Как главная памятная зарубка: вспомнил место — вспомнил и цвет, вспомнил запах — вспомнил и место.

Тут ощущение зноя. Печет так, что мурашки по телу. Камни в русле полиловели и светятся. А небо выцвело, высохло и шелушится. На пыли у ног извилистый след змеи. След довел до дерева и исчез. Над головой в переплетении жестких ветвей темнеет длинное тело. Опять желтопуз! Вот тебе и увалень — на дерево вполз. А зачем?

Дерево зашлось цикадами — кажется, каждый листик его стрекочет. Уж не за ними ли охотится желтопуз? Что он нашел в этих пустышках, похожих на скрипучие катышки целлофана?

Желтопуз не спеша переползает с сучка на сучок, выставляя тупой чешуйчатый нос то справа ствола, то слева. Лениво моргает и смотрит вниз удивительно доверчивыми и добродушными глазами. И по глазам видно, что это не змея, а ящерица и что ей наверху страшновато.

Влезть-то влез, а вот вниз, похоже, ему не сползти. Так и есть: сорвался и брякнулся о тропу. Нет у него змеиной гибкости и цепкости. Хорошо еще, что не в воду, а то сразу пошел бы на дно, пуская пузыри, как пустая тонущая бутылка...

Когда долго живешь один, обостряется внимание к мелочам. Невольно начинаешь «мелочиться». Но «мелочи» приучают к порядку. И дико тебе: как это другие так громко топают, разговаривают и замечают вокруг только то, что само им лезет в глаза. Они еще на сжились с лесом, они пока еще слышат только себя.

Сколько в траве кузнечиков! Они разлетаются с треском, словно искры костра. Сезонное блюдо всех ползающих, бегающих и летающих. Один только черный аист сотнями их глотает. Но «сезонное блюдо» не унывает: скачет и бойко топочет ножками. А что ему остается делать?

13 июля

Черный кот перебежал дорогу — вот это удача! Наслышан, что в здешних лесах живут особые дикие коты — черные. Наверное, меланисты. Встретить такую редкость,— конечно, удача.

Когда природа недодает зверю пигмента, зверь становится белым — альбиносом. А если передаст — зверь станет черным, меланистом. И альбиносы и меланисты большая редкость. На воле трудно им уцелеть, природа не любит отступлений от положенного стандарта.

Один знакомый охотник увидел как-то на тяге белого вальдшнепа. Послушали бы вы этого всегда сдержанного и молчаливого человека,— он захлебывался, как мальчишка! И все боялся, что ему не поверят или подумают, что он этим хвастает. А он очень хотел, чтобы и слушатели испытали то восхитительное потрясение, которое обрушилось на него при виде чудо-птицы. Своими глазами он увидел легенду и сказку: раньше байки о белых вальдшнепах были для него такими же смутными и расплывчатыми, как рассказы о леших и чудиках. И вот он — воочию!

Теперь охотник больше всего боялся, как бы какой-нибудь бахало не убил его сказку. Подолгу — без ружья! — стоял он на вальдшнепиных тягах, надеясь снова увидеть белую птицу. Но не увидел.

Но сказка уже вошла в его жизнь, и он не мог больше смотреть на лес только охотничьим взглядом добытчика. Что-то новое открылось ему в лесу, а скорее, в самом себе.

К сожалению, его не хватило еще на один шаг, он так и не смог понять, что и самый обычный буренький вальдшнеп такая же удивительная сказка леса. И что дико палить в нее из ружья.

В общем-то, жизнь альбиносов — это трагическая жизнь всех «белых ворон»; их преследуют даже свои же сородичи. Ты не как все, ты не похож на нас — стало быть, ты чужой. Или будь как мы, не выделяйся, или мы изгоним тебя.

Меланистам, наверное, легче — хотя бы уж потому, что им проще укрыться от глаз.

Осторожно иду за черным котом, не по следам — какие следы на траве! — а как бы по заданному им направлению. На тропе зверя невольно перевоплощаешься — словно сам становишься им. «Кошачье ощущение» подсказывает тебе, где сейчас

кошке приятней пройти. Сыплет мелкий дождь, и кошка не полезет мокрой травой или кустами, а выберет ходы чистые и открытые.

Так и есть! Посредине поляны темнеет комочек. Укрыться некуда, и я иду напрямик. Шагах в десяти ком взлетает и размашистыми прыжками стелется наискосок в кусты. Заяц! Промокший до шерстинки и потому потемневший. Черный кот навел меня на мокрого зайца, а сам незаметно ушел.

Но на обратном пути все же случилась удача. Наконец-то я увидел птицу, которую слышал тысячу раз, а увидеть никак не мог. Есть такие на редкость скрытные птицы: коростель, например, пастушок, выпь. Выпь, как бугай, ревет, ее и глухой услышит, а вот увидеть сумеет и не каждый глазастый. А коростель-дергач? Крякает, бывает, у самых ног, а попробуй-ка, разгляди! Так вот и эта птичка: слышу сто раз на дню, а не видел еще ни разу.

На этот раз она взлетела над дудником и... застрекотала кузнечиком! Словно одумавшись, птичка-сверчок камешком булькнула в заросли и умолкла. Поздно: невидимка выдала себя!

Погодя в непроглядных зарослях снова застрекотал кузнечик; никому бы в голову не пришло, что это поет птица. Но я уже знал, что это птица. И даже знал, какая она. И радовался своему маленькому открытию.

По лесу можно часами бродить бездумно и просто глазеть, но потом непременно окажется, что и бродил ты не зря и глазел не бездумно. Из леса всегда что-нибудь принесешь — даже если ни к чему там и не прикасался. Лес непременно тебя одарит.

Черный кот не испортил удачи! На отмели я увидел даже следы черного аиста — первое неоспоримое подтверждение, что он тут живет. Следы очень похожи на следы аиста белого, журавля или цапли. Но журавли и белые аисты тут не живут, им нужны болота, луга и поля, а у цапли более тонкие пальцы, лучше заметны когти и всегда отпечатывается длинный задний палец, чего у аиста не бывает. Поэтому след черного аиста много короче следа цапли, всего одиннадцать сантиметров, тогда как у цапли — семнадцать.

Вот тут он сидел. Вот тут он бродил. И привел меня к нему черный кот. Надо искать. Дело теперь за мной.

29 июля

Днем высоко в горах рычала гроза, а ночью заревели и зарычали в предгорье протоки Бум-чая. Еще вечером я переходил их всего по колено; сейчас бешеная вода, бурая от ила, песка и хлама, выплескивается на берега, катит камни, ворочает коряги и бревна, вздувается буграми над глыбами и грозно ревет.

Каково-то сейчас рыбам, попавшим в этот водяной ураган? Не мало их побьет за ночь и повыбрасывает на берега. А утром потянутся к берегам лисицы, коты, еноты. Прилетит черный коршун. А может, и черный аист...

У птиц и зверей, как и у охотников, тоже есть свои приемы и способы охоты. Коршуны по утрам облетают дороги, высматривая сбитых машинами птиц и зверюшек. Лисицы подолгу бегут вдоль линии проводов, собирая разбившихся о провода птиц. Коршуны, лисы, шакалы после резкого спада воды проверят берега рек, подбирая уснувшую рыбу. Санитарный надзор природы. Падальщики процветают: дороги и линии проводов стали таким же стихийным бедствием, как ураганы и паводки. И нет пока новых Мазаев, которые бы спасли не только от половодья, но от проводов и машин.

...А черный аист все не попадается на глаза! И неудача должна бы, казалось, испортить если уж не жизнь, то настроение, а она не портит. И так всегда: бывает, и дождь полощет, и ночь не спишь, и комары тебя жрут, а утро придет — и снова радость! В лесу даже у неудач особые свойства: они не гнетут. От солнца это, что ли? Какой бы ночь ни была, а на рассвете все равно гремит ликующий птичий хор. А видели вы утреннего сарыча, кувыркающегося над лесом? Или игривую горлинку, турманом вертящуюся на лету? Даже солидный орлан совсем не солидно делает перекувырок — только хвост белый мелькает!

Подумаешь, не увидел аиста! Увижу завтра. Пусть через год: чем дольше ненастье, тем краше солнце.

Но я увидел. Дряблый, как вареная рыба, вышел я к берегу предгорного озерка и, не раздеваясь, плюхнулся в воду. Вода мутная и парная. Торчат из нее бегемочьи пучеглазые головы буйволов, тоже спасающихся от жары. Значит, недалеко деревня и озерко, наверное, искусственное. Высунулись и окунулись черные головы водяных черепах. Вынырнула носатая голова баклана, блеснула косым и зеленым глазом и снова исчезла. А за ноги и за руки кто-то щекочет! Словно я их отсидел и отлежал — мурашки бегают. Облачко рыбок окружило меня, рыбки щиплют тело губами! Пробираются под рубаху и нестерпимо щекочут. Неужели такие голодные? Хорошо, что у них мягкие губы...

Вдали у берега большие птицы. Вот подняли головы и насторожились. Аисты. Черные аисты! Сразу три.

Близко аисты не пустили. Дружно взлетели, мелькая белым подбоем крыльев и брюхом, блестя красными носами и клювами. И скрылись в вершинах деревьев, словно бы растворились.

Так вот какие они. И вот где их надо искать.

Выползаю на отмель, где только что были аисты. Черный ил,

белые кляксы, сочащиеся следы. Следы ведут в воду: птицы стояли по брюхо в воде. А что, если...

Окунаю в воду красный пластмассовый козырек. Рыбешки сейчас же сплываются и тычутся в красное носом. Неужели и аисты подманивали их красным цветом своих ног и носов? Стоило им окунуть в воду клюв, и гамбузии, как галушки, сами прыгали в рот?

Неожиданная встреча, короткая встреча. Мало. Надо искать еще.

4 августа

В зарослях кто-то громко храпел. Сладко так, со «сверчком» в носу. Вдох — выдох, хрр — хррр! Спит себе человек и похрапывает.

Но никого нет! Осмотрел траву, раздвинул кусты — никого.

А это цикада! Свиристит с промежутком, равным вдоху и выдоху. Рядом с нею стою, а все мерещится, что человек храпит!

А вообще-то цикады притихли. И квакш давненько не слышно. Утихли и птицы. Настало время вечерних сверчков. И тихих шорохов.

Быстрый лопот над головой: пеночка в солнечном просвете неловко схватила бабочку за крыло, и та неистово бьется, и пыльца с крыльев облачком затянула просвет.

В кусту ежевики кто-то тяжело и шумно ворочается: кабан или барсук? «Зверем» оказалась большущая черепаха! Она втиснулась в куст, застряла в нем и теперь выбирается, шурша и качая ветки. Вытаскиваю ее, тяжеленную, как булыжник. Машет когтистыми лапами, вытягивая жилистую морщинистую шею. А рот-то до самых глаз вымазан ежевикой!

Ежевика поспела всюду, нагретые ежевичники пахнут вареньем. Все спешат пировать: звери, птицы, насекомые. А вот, оказывается, и черепахи! И черные дрозды визгливо ржут в кустах, как игривые жеребята. Скорее всего — от радости.

16 августа

Было время, когда я надеялся на арифметику. Если, к примеру, на пять километров пути встречал пяток зайцев, то был уверен, что встречу двадцать, если пройду двадцать километров. И бегал по зарослям, накручивая километры. Но чем я быстрее бегал, тем меньше встречал.

Теперь-то я понимаю, как глупо в лесу спешить. Все равно, что, поднимаясь на гору, топать без остановки — запомнишь лишь мельканье ботинок идущего впереди: и подъем преодолел, и на вершине был, а в глазах все одни сбитые задники твоего спутника.

Хочешь увидеть — остановись.

Объевшиеся скакуны-кузнечики так брякаются толстыми животами о сухую землю, что страх берет,— вот сейчас животы полопаются. Две большие бронзовки вгрызлись в сочный стебель. К ним сбегаются муравьи: сок пить и грызть сочную мякоть. Зеленые мягкие квакши прилепились к изнанке листьев дикого винограда. В узенькой проточке бьется голубая жилка воды — как лихорадочный пульс. Шлепнулась в воду пятнистая змейка и, чтобы не унесло, зацепилась хвостом, как крючком, за стебель и тоже бьется вместе с водой, как водороселька.

На тропе медвежья метка — вся из косточек алычи. Оскома у медведя сейчас от кислых плодов и ягод, не раскусить ему ослабевшими зубами крепких косточек.

Из мелочей, как из мозаики, складывается картина большого леса.

23 августа

Ночевал на сухой поляне у реки Кара-су, что у селения Казмалар. Вечером и на рассвете долго и хорошо урчали козодои. Перелетая через поляну, они гулко хлопали в темноте ладошками крыльев. Осень скоро, а они разыгрались!

Утро выдалось шумное. Стонала вдали желна, негромко и задумчиво пела зарянка, крякали сойки, пролетели, посвистывая, щурки, и зеленый дятел квакал совсем по-весеннему.

Целый день продирался с конем сквозь чащу, заваленную камнями, и по булыжной «мостовой» пересохшего русла Аглых-чая. В чаще спасаешь от колючек глаза, а на каменистом русле — ноги. Пекло, застойный зной и бесконечный цокот конских копыт.

...А аиста встретил вблизи от дома, на хоженых-перехоженых разливах Бум-чая. Черный, страшно важный, с красным огромным носом и на высоких красных ногах. Не хватало только очков и портфеля под мышку!

На мгновение мы оба окаменели. Я успел поймать его быстрый взгляд — как вспышку стекла на солнце. И разглядеть его знаменитые переливы: синь, и зелень, и блики багрянца.

Долю секунды все это играло перед глазами; но аист взлетел, прошумел словно ветер, и зелень вершин сомкнулась за ним. Я бросился следом, высматривая просвет. Да, это лесная птица! Ни белому аисту, ни журавлю никогда так ловко не пролететь сквозь сплетения ветвей.

Из леса торчала разлапистая сушина, похожая на олений рог. Аист сидел на ней. Серая сушина, черная ладная птица и вечереющее небо, густой голубизны. Я вспомнил того бедолагу в клетке: замызганного, с выкрученным крылом. Птицу, вызывающую брезгливость. И вот такая же, а ты замираешь от восхищения...

Я попытался подкрасться ближе, пошел в обход, но когда снова увидел сушину — чудо-птицы на ней уже не было.

24 августа

Сухая вершина, похожая на олений рог, оказалась примечательной. Вся трава под ней была забрызгана белыми птичьими кляксами.

Это могли быть и метки сарычей или орланов, но что-то подсказывало, что тут ночлег аиста. И вот сегодня, в первую лунную ночь, я решил это проверить.

С вечера я забрался на коряжистый тополь на берегу реки — чтобы не бродить по галечникам на глазах у аиста, если он и в самом деле ночует на примеченной мною коряге. Сижу верхом на развилке, прислонясь спиною к стволу, метрах в восьми над землей. Жду темноты.

Сверху все видно: серые галечники, песчаные и илистые отмели, валы зеленых кустов по берегам, темные гущи деревьев. А вдали освещенная закатным солнцем сушина, похожая на олений рог. На ней пока никого нет.

Медленно тонет в зеленые волны леса солнце, воздев, как руки, бледнеющие лучи. Огненная окаёмка сползает с кустов на вершины деревьев, тухнет и там, загораясь на облаках. Лес растворяется в сумерках и словно бы отодвигается. Но когда все становится мутным и серым и вот-вот станет совсем неразличимым, вдруг снова неясные, расплывчатые тени и пятна начинают словно бы уплотняться и приближаться. Догадываюсь, что всходит луна. Снова видны отмели и протоки, купы кустов и деревьев. Но окаёмка теперь на них не красная, а лазоревая. Ночной лунный лес.

С гор хлынул ветер, с далеких перекатов донесся плеск дробной воды, кусты и деревья заколыхались, рассыпая лунные искры. Стройный тополек на отмели заискрился, как бенгальский огонь! Листья сверкали и бились, словно фонтан воды.

Ветер накатывался и стихал. То лопот и плеск, сверканье огней, то тягучая тишина и мутное сиянье луны.

Галечники светлеют, словно засыпанные снегом. Река между ними черная, как смола. Перекаты дробятся тысячами огней, а в тихих заводях таинственно, сквозь черноту ветвей, просвечивают лунные тропки.

Все сверкает: рябь на перекатах, листья на кустах и деревьях, даже мокрые камни на берегу брызжут зеленым огнем. И поворот реки, как поток лунной лавы, втекает в черную пещеру леса, посверкивая сквозь заросли.

За горами моргают и дергаются зарницы, впечатывая в небо гребни хребтов. Потусторонний, нездешний свет, холодный и чуть тревожный.

Ночь черного аиста. И если уж заносить его в Красную книгу,— то вместе с этой ночью, с луной и горным ветром. И бесконечным усыпляющим стрекотаньем сверчков.

Сидеть неудобно, и ноги давно затекли. Сползаю с дерева, разминаю ноги. Бреду через перекат по колено в лунной зыби: брызги обжигают тело не то огнем, не то холодом. Слоистый на приплеске иловый берег. Четкие отпечатки следов: куличиные треугольнички, розетки енотов, крестики фазанов. Енотов сюда завезли из далекой Америки.

Вхожу в тень кустов. Словно в подвал спустился: темно и сыро. Иду на ощупь, раздвигая ветки, отводя от глаз колючки. То и дело приходится отгибать сучья вверх, подлезать под них и снова осторожно опускать на место. Сейчас главный твой враг — шорох: из-за шороха тебе ничего не слышно, а обитатели леса по шороху сразу же распознают тебя.

Нащупываю, отвожу, нагибаюсь, проскальзываю. Все ближе к сухому дереву, похожему на олений рог. Ждет ли меня там аист?

На сучьях и листьях колышутся светляки — яркие лунные крапины. Кусты редеют. Значит, не закружился: скоро поляна, а за ней и сушина. Вот она! Светлеет на фоне черного неба.

Ниже голых сучьев взъерошенное пятно, что-то вроде огромного птичьего гнезда: это живые ветви с листьями. Луч фонаря вонзается в гущу — вот он! Ослепительно белое брюхо, красный нос, высокие красные ноги. Нахохленный, как марабу.

Секундное замешательство, возня, взмах широченных крыльев, висящие из темноты багровые ноги — и тень возносится вверх.

Вот и все. На отросток оленьего рога наколота лазоревая луна. Лунные зайчики на листьях то замирают и настораживаются, то вдруг начинают суматошно скакать, как перепуганные кузнечики. Но снова стихает ветер, и все замирает. Ни звука. Только лунная изморось осыпает лес. Лес черного аиста.

13 сентября

Можно больше и не бродить по разливам Бум-чая: аист встречен, давно знакома каждая протока, поляна, роща. И нового уже ничего не ждешь — а оно тебя поджидает!

Странный стук: словно кто-то сидит на берегу и постукивает булыжником о булыжник. Иду на стук. Поляна. Никого нет. Впрочем... Впрочем, один булыжник катится за другим! Вот догнал и — стук!

Черепахи! Осенняя черепашья свадьба — как у птиц бывает осенний ток. Черепахи играют в пятнашки. Женихи и невесты, вытянув из-под панциря жилистую шею, бегают парами: жених за невестой. Догнав избранницу, кавалер прячет голову в пан-

цирь и с ходу бьет в панцирь невесты — тук! Остановись, не убегай. Жених сватается...

Со всех сторон, если приставить к уху ладонь, слышны черепашьи свадебные «барабаны».

Даже знакомый лес всегда таит неожиданности. И сколько бы ты ни ходил в него — всегда встретишь новое. Никогда раньше не слышал, чтоб черепахи стонали, широко разевая рот! Первый раз в жизни видел, как черепаха пила из речки воду. И вот осенний черепаший ток!

Мимо, молотя когтистыми лапами, на полной черепашьей скорости промчались еще двое влюбленных.

Выметнулся шустрый зайчишка и покатил, как колесо, пущенное мальчишкой, подскакивая на всех рытвинах и буграх. С кустов суматошно взлетела сойка, и клюв ее был красный и мокрый от ежевичного сока. Молодой зеленый дятел, ерзая на пеньке, засовывал в щели длиннющий язык — длиннее его самого! Снова запрыгал зайчишка: торчали два уха, подскакивал и вилял зад.

Заячья жизнь... Днем осторожные шаги охотника, зловещий шум ястребиных или орлиных крыльев, ночью жуткие крики сов, вкрадчивая побежка лисицы — ни днем ни ночью покоя нет. Потому, наверное, и спит с открытыми глазами. Живет — пикнуть не смеет и, только угодив в зубы, когти или под выстрел, кричит тоскливо и безнадежно...

Заходил утром сосед, просил порох и дробь.
Я не дал, пожалел зайца — пусть живет.

Аист встречен. И знаком уже лес, в котором он живет. Аист неотделим от этого леса, как лес неотделим от него. Исчезни эта птица — и лес в чем-то станет другим: бледнее, что ли, и уж, конечно, менее привлекательным. Исчезнет нечто создающее особое настроение, присущее только этому лесу. Словно читал увлекательную книгу, и вдруг, в самом интересном месте, не хватает страницы! Такая досада — что-то незавершенное, несостоявшееся.

Черный аист нужен всем: достаточно его раз увидеть, чтобы это понять.

Между выходами в предгорье и в горы жизнь моя протекает хоть и в невидимом селении, но под вполне надежной крышей и за надежными стенами. Вот летние картинки этой домашней жизни.

По вечерам хозяйские цыплята взлетают на раскоряченную айву, долго возятся, устраиваясь на ночлег: пищат, клюются, лопочут крыльями. И я уже знаю, что ночью дождя не будет. И, значит, будут стучать в ночное окно мягкими лбами браж-

ники, светя странными сетчатыми глазами. Однажды на свет прилетела даже пеночка и тюкала в стекло клювом, хватая комаров и мух.

Утром просыпаюсь от щебетания ласточек под окном. Щебечут наперебой, торопясь и перебивая друг друга,— наверное, рассказывают ночные сны. Я открываю дверь, и ласточки залетают в комнату, шаркают крылышками по темным углам, выгоняя притаившихся комаров и мух. А птенцы терпеливо ждут, уложив веером на краю гнезда клювики: снизу клювики похожи на пикового туза с желтеньким ободком.

Самка приносит завтрак, и пиковые тузы превращаются в разинутые кулечки. Как они выпрашивают: чуть не бьются в истерике! Самка не только кормит, но и поправляет внизу «матрасик», расталкивает птенцов. Если холодно — накрывает птенцов собой, как пуховым одеяльцем. Потом выносит «горшки»; они до смешного похожи на крошечные молочные пакетики. Самец же подлетает к гнезду стремглав, сует корм в ближний открытый «кулек» и быстренько улетает.

В гнезде есть слабый птенчик, здоровяки все время оттирают его от края и затаптывают под себя. Самец на это не обращает никакого внимания, а самочка время от времени расталкивает здоровяков и кормит заморыша. Несомненно, это многоопытная ласточка.

Однажды она уселась на край гнезда и стала зорко всматриваться в птенцов. Нацелившись глазом, она что-то быстро с них склевывала, а то вдруг втискивалась между ними, кого-то ловя внутри. Вылезала, встряхивала головкой, освобождаясь от прилипшего к клюву пуха или соломинки. Ласточка чистила гнездо от птичьих кусачих мух!

Случались и сцены ревности. Как-то появился неизвестный самец и стал подсаживаться на гнездо. Самка, занятая птенцами, не обращала на него внимания, зато самец-папа, вечно где-то пропадающий, на этот раз не отлетал от гнезда ни на взмах крыла: с яростным щебетанием он набрасывался на чужака. На шум, конечно, слетелись любопытствующие соседи: они проносились мимо, весело и озорно щебеча.

Из пяти птенцов в гнезде погибли двое: самый слабенький и самый сильный. Слабый выпал — или его выпихнули? — и ласточки не подлетали к нему, так как он молчал. А молчал он потому, что замерз и ослаб. Самый же сильный вылетел из гнезда раньше срока, он громко пищал, и его кормили. Но на ночь он в гнездо не вернулся, промерз в одиночку и смолк. И для родителей как бы перестал существовать. И погиб.

А золотая середина бодро верещит и пялит рты. Ждут положенного часа вылета. Вот оно — «вперед не суйся и сзади не отставай»!

Все, чему природа назначила «соваться вперед», снабжено как бы особой защитой, надежным запасом прочности. Ноги и лапы птиц и зверей вооружены копытами и когтями, головы — рогами и клювами. А вот те, кто суется вперед ранее определенного природой времени, лишены подобной защиты и за нарушение расплачиваются головой,— все, кто раньше срока покидает норы и гнезда, кто раньше времени просыпается от зимнего сна или возвращается с юга. Такие «вольности» природа не берет под свою защиту — действуйте только на собственный риск и страх.

На каштане у дома живет персидская белка. Ростом с нашу, но более грациозная, словно затянутая в тугую шелковистую шкурку золотисто-рыжего цвета. Хвост жидковатый, а ушки круглые, без кисточек. И грызет, конечно, не шишки — в предгорье ни одного хвойного дерева! — а грецкие и буковые орешки, косточки слив, алычи, фрукты и ягоды. «Гайно» она не делает: поселяется в дуплах или в углублениях у корней. Зверек, в общем, малоизвестный, как и многие другие, так же часто живущие рядом с нами. И если бы не улары, ради которых я тут, непременно бы занялся золотистой персидской белкой.

Об уларах тоже известно не много. Хотя главное знают все: где нет гор — там нет и уларов.

Но это, конечно, не значит, что если есть горы — то есть и улары! Больше того: все больше становится гор, из которых улары исчезли. То выбивают охотники, то вытесняют стада коз и овец. Улары становятся «островитянами», обитая лишь на отдельных вершинах выдающихся гор. И расстояние между такими обитаемыми островами все увеличивается и увеличивается. И на уларов уже начинают распространяться законы, по которым обитатели изолированных островов исчезают быстрее других. И процесс этот уже начался — уларовы «острова» все чаще становятся необитаемыми.

Пять видов уларов живут у нас: гималайский, алтайский, тибетский, кавказский, каспийский. Каждый вид на своих горах. Правда, улары гималайские и тибетские живут еще у нас на Памире и в горах Средней Азии. Все они малочисленны и удивительно осторожны. Самые красивые улары, на мой глаз,— кавказские. Встречи с ними я тут и ищу. Ищу уже с середины лета, одновременно с поиском черного аиста.

Искать уларов — это лазать по кручам. Не ходить, не бродить, а именно лазать. На четвереньках. А то и на животе.

30 июня

Подниматься в горы лучше всего по ущелью и лучше утром: утром с гор дует освежающий ветер. А спускаться лучше под вечер: теперь ветер дует с равнины и снова освежает лицо.

А освежать его просто необходимо: оно обожжено солнцем и разъедено потом.

Сегодня случилось невероятное: посреди бела дня вдруг настала ночь! В глазах потемнело, узенькое ущелье наполнилось сумраком. Ритмы природы, смена дней и ночей крепко еще сидят внутри нас, хоть мы постоянно сбиваем их искусственным освещением. И эта нежданная ночь отдалась внутри, как сбой дыхания или перебои сердца. Я прислонился к буку, пытаясь понять, что случилось.

Склон напротив, буки, камни, папоротники растворялись в сумерках. Не порхали бабочки, смолкли птицы. Ночь наступала так быстро, словно зашторивали окно. Растерянность, древний страх неизвестности овладевали мной.

Но погодя так же быстро начало рассветать. Вот снова все вокруг уже не серое, а зеленое; видны стволы, камни, папоротники. Зазвучали голоса птиц, запорхали бабочки. По виду раннее утро, а на часах полдень...

Уж потом в селении мне сказали, что это было затмение солнца. А мне даже в голову не пришло: солнце-то в узком ущелье не видно. Теперь я понимаю растерянность древних людей при затмениях: нарушался привычный ритм, и ужас овладевал человеком.

Ритмы правят жизнью. Однажды я привез из Иркутска розового снегиря урагуса: в Ленинграде он продолжал жить по своему иркутскому времени. Просыпался на пять часов раньше — посреди ночи! — а засыпал после полудня. Бедняга был не в своей тарелке. А время — это только один из ритмов жизни. Сажая дикое существо в клетку, мы разом и грубо нарушаем все его привычные ритмы — что называется, вышибаем его из накатанной колеи. Да что животное: человек, вынужденный изменить свой привычный ритм, долго не может прийти в себя; и чем сильнее смена ритма — тем дольше он мучается.

Первое время в горах особенно угнетают узкие и тесные ущелья; в них чувствуешь себя, как в пещере. Давят стены, взгляд упирается в тупики, весь ты какой-то сдавленный, стиснутый — даже трудно дышать. И уши забиты грохотаньем реки. Неуютно в горах жителю открытых равнин.

Но постепенно, со временем обвыкаешься; глаза твои перестают скользить по небу, ища простора, и начинают всматриваться в то, что рядом и под ногами. Происходит смена масштаба; горизонт, что всегда был где-то далеко, на самом краю земли, теперь у тебя перед носом! И это тоже смена привычного: всю жизнь смотрел в телескоп и вот уставился в микроскоп!

После полуденного «рассвета» идти дальше не захотелось.

Заворожили те самые мелочи, которые так выпукло выставил теперь этот сузившийся горизонт. Целые россыпи маленьких чудес. А мы-то все торопимся, бежим без оглядки, досадуя на бесконечные километры. Нет чтобы взглянуть под ноги: ведь по чуду бежим, через чуда перешагиваем.

Неторопливая ночь у костра. Над жарким пламенем мотаются зеленые ветви. Ярусы ветвей перед глазами: все выше, все перепутаннее, все расплывчатей. Иногда в просвет проклюнется звездочка и заискрит, как росинка. И снова спрячется за листок. Вдруг сорвется сверху ночная бабочка — и винтом, торопясь, головой в огонь!

Лежишь и смотришь. И долго будешь потом вспоминать, хоть ничего значительного и не произошло.

Ритмы гор. Старики лезгины любят подолгу сидеть на берегу реки. Дремлют, привалясь к стволу бука или ореха, слушают гул воды. И живут до 120 лет...

13 июля

В буковых лесах на склонах постоянно шуршат под ногами сухие листья, тут самый легкий на ногу сразу выдаст себя. А сейчас движется кто-то тяжелоногий. Кто-то грузный и неповоротливый то и дело скользит, оступается и сползает.

Непередаваемо это ощущение неминуемой встречи — нетерпение, тревога и любопытство! Кто там на круче?

А там — медведь. Сполз на четырех растопыренных лапах и замер у серого бука, похожий на глыбу, обросшую желто-бурым мхом. Мохнатая курносая морда. Уши, как одуванчики, с солнечным искристым ободком. Смотрим глаза в глаза.

Тысячу раз можно видеть медведя в клетке; никогда он не будет таким, как в лесу! Вроде бы все и то — и все совершенно другое. Как живое существо и его чучело. Чучело лишено жизни, а клеточный зверь — свободы. Словно два разных вида: медведь клеточный и медведь лесной. Один порождает почтение, любопытство, а другой — только жалость и недоумение. Про лесного сочиняют были и небылицы, а про клеточных лишь пишут жалобы в общество охраны природы. Холеный, уверенный в себе зверь и жалкий замызганный попрошайка. А мы-то собираемся редких зверей в клетках сберечь! Может, и сбережем, но это будут уже другие звери...

На воле даже видишь иначе. Грифы и сипы в горах, например, поражают своими... маленькими размерами. И знаешь, что они огромны — крылья размахом в три метра! — а видишь пичугу с ласточку, плывущую выше скал. Слишком велики горы; на фоне их все становится мелким. А гриф в лесу, рядом с маковками деревьев, просто пугающей величины: что-то вроде ископаемого птеродактиля или современного планера. Да так

ведь и есть: лапищи с наши руки, клюв — что утюг чугунный, а крылья накроют лошадь от морды и до хвоста.

Гриф не для леса, он просто не помещается в нем! И не для клетки, в которой он снова становится — также необъяснимо — мелким и жалким...

Большое счастье — идти и видеть. Никогда ты раньше не видел этих гор, а теперь — вот они! Их скрытая жизнь, их краски и звуки наполняют тебя. Вот и еще один уголок земли, ставший небезразличным тебе. Еще одна ниточка от тебя к земле.

Над вершинами Ладжар и Кечал-кая утром кружили сипы. Двадцать огромных птиц, как рой чудовищных насекомых, винтом поднимались вверх, а потом разлетались, плывя над склонами и ущельями. Их тени скользили мимо меня и, казалось, клонили травы. Похоже, что выводки сипов уже соединились в стаи: с этого времени и появляются у них особые «сторожевые» горки, на которых они ночуют и следят за полетом своих разведчиков.

Рыжий сарыч, прямо как хищный тетеревятник, упорно гнался за вяхирем: мышеед вдруг вздумал стать птицеедом. Птенцы, наверное, довели.

Среди зеленого леса бурый мирок — завал из бурых стволов. В сухих сучьях шныряет бурый крапивник, буроватенькая зарянка скачет по лохмотьям коры. Буренькая полевка шуршит под валежиной, удирая от бурой ласки. А если еще посидеть, то, наверное, увидишь и бурую ящерицу-веретенницу, и жука-оленя или бурого козодоя. Крошечный — весь на глазах! — мирок. А целой жизни не хватит, чтобы его до конца понять и разобраться во всех тонкостях его отношений!

Красная бабочка-крапивница вдруг погналась за красным хвостиком горихвостки. Добыча гонится за охотником! Бабочка-белянка догоняет белый хвостик каменки. А это ведь все равно, как если бы заяц бросился за лисой. Тем и кончилось: птички на лету развернулись и схватили бабочек. Что это — случай? Или способ птичьей охоты? Подслеповатые бабочки принимают цветные птичьи хвосты за своих сородичей и... попадают в птичий клюв! Да, наверное, тут ошибка. На что уж глазасты птицы, а тоже ведь ошибаются. Та же каменка погодя свечкой взлетела вверх и поймала на лету... белую пушинку! Растерянно опустилась на камень и брезгливо задергала клювиком, стряхивая ее.

Идешь и видишь.

С 19 июля по 23 сентября

Птицы, которых ищут на... четвереньках! Улары этого стоят. Кавказский улар живет в горах Кавказа между Каспийским

и Черным морями. И область его обитания рисуется на карте в виде вытянутой кляксы. На самом же деле это не сплошная черная клякса, а скорее созвездие точек: что-то вроде Млечного Пути. Звездочки и пустоты.

У каждой горы свои улары. И только жестокая непогода вынуждает их покидать обжитые места — и то недалеко и ненадолго. Улары связаны с родной землей почти так же крепко, как и растения. В этом их сила и... слабость: исчезнет гора — исчезнут улары. Да горе и не обязательно исчезать и рассыпаться: довольно, если начнется на ней выпас скота.

Летом улары «собирают цветы». Никто лучше их не знает, где и когда зацветают цветы. Охотники-горцы клянутся, что даже мясо их пахнет цветами! Каждое утро они слетают со скал, в которых ночуют, на горные луговины — клевать цветы. Пасутся, там же и отдыхают, а к вечеру помаленьку поднимаются к скалам, закусывая на ходу.

Самцы и самки у них похожи — не очень-то различишь. Но петушки вроде бы более длинноноги и на бегу кажутся выше самок.

Живут высоко в горах, у вечных снегов в мрачных скалах — за облаками! — большие серые птицы. Долгие звонкие свисты их звучат как голос самой горы. А сама гора как диковинный остров, парящий над морем облаков. Остров уларов.

Приближаюсь к уларьему острову снизу вверх, словно всплывая из глубины. Привычное состояние — течет пот. Мокрая рубашка облепила горячее тело. Пот щиплет глаза, словно едкое мыло. Поташнивает и стучит в висках. Опускаюсь на тропку шириною в ладонь, привaливаюсь к ледяному камню. Вот так бы сидеть и ни о чем не думать. Долго, долго. И ровно дышать. И не держаться за левый бок.

Прямо над головою обвислое брюхо тучи — серое и сырое. Кажется, ткни ледорубом — и польется вода. Встаю, протыкаю муть головой и влезаю в тучу. Темно и сыро. Не видно даже ближних камней; только узенькая тропинка, словно канат наверх. Лезу по каменному канату, больше всего боясь оступиться.

Высота 2650. В лунке у самой тропки гнездо горного конька. Коньков у нас пять видов: лесной, полевой, луговой, степной и вот этот, горный. Различить их на воле практически невозможно — очень уж схожи друг с другом. Их надежнее различать не по виду, а по месту встречи: лесной обитатель в лесу, степной в степи, а горный в горах.

В гнезде два птенца и яичко-болтун. Птенцы в длинном сером пуху — как в пушистеньких свитерах. И все равно им без мамы холодно: не успел отойти, как конек сел греть птенцов. Упорная и терпеливая птичка. Однажды я видел, как конька

на гнезде засыпал неожиданный снег. Конек жмурился, хохлился, но сидел! Из снега одна голова торчала. Хорошо, что летний снег недолговечен в горах: проглянуло солнце, и снег потек.

Холодная, непроглядная преисподняя. Глыбы камней, пучки жесткой травы, промозглый туман. А ведь только вчера на солнечном хребте Рустамбаз-Салават от зеленых склонов так сильно пахло, словно я над корытом с медом стоял или над разбитым медведем ульем! Но самое поразительное было то, что ни один цветок в отдельности медом совсем не пах,— а я их, кажется, все перенюхал — желтые, белые, голубые. А вот все вместе — весь гребень хребта и склон! — прямо истекали медом. Цветами пропахли даже руки, которыми я раздвигал траву.

Погода в горах изменчива: только что были мрак и ненастье и весь мир затопила промозглость и серость, но вот туча сдвинулась, уползла — и мир засиял. Синь и зелень — больно глазам. Белоснежные облака шевелятся под ногами. Свежий ветер и глухой шум воды. От нагретых склонов поднялись столбы теплого воздуха, и тяжелые сипы кружат в них, поднимаясь вверх по спирали.

В ложбинах, где снег растаял совсем недавно, пятна ярко-зеленой травы. За серыми камнями прячутся от ветра голубые букетики незабудок. Между ними бродит незнакомая птица, похожая на самку большой чечевицы, и деловито шелушит бутоны одуванчика. Рогатый жаворонок тревожно попискивает, держа в клюве, как сигарету, какую-то гусеничку. Каждая мелочь останавливает внимание; уж очень пустыми кажутся горы. Жизнь богата — внимание рассеивается, жизнь бедна — и внимание нацеливается. Не потому ли в наш век так обострилось внимание к живой природе...

Впереди уже виден уларий остров — вершина горы Аджага, высотой в 3060 метров. Вершина воздушным замком стоит на облаке. Крутые склоны в глыбах камней, а выше — серые грани скал. Самое уларье место. Когда-то довольно было найти такой «остров» — а уж уларов на нем непременно бы встретил. А сейчас?

Есть! Один вразвалку выбежал на каменистый гребень: по виду серая куропатка, только ростом с глухарку. Названный за величину горной индейкой. Главный туземец этого острова в облаках.

Оба прячемся за камнями. Улар, по-моему, меня не заметил. Так и есть — «купается»! Из-за камня поднялось облачко рыжей пыли — словно там раздавили большущий гриб-пыхтун. Это улар повозился в пыли, суча ногами и крыльями, а теперь встал и встряхнулся.

Кидаюсь броском вперед, надеясь застать улара врасплох. Куда там: слышу лишь удаляющееся шипение крыльев падающей в пропасть птицы. Про уларов даже не скажешь «взлетел»,— они чаще «падают». Бросаются с кручи вниз, сложив крылья и вытянув шею. И летят с шипением, как сорвавшиеся камни. И этот нырнул со скалы в облака — как в воду канул. Я заглянул в обрыв: тянуло холодом, в глубине шевелился туман, то открывая, то затопляя мрачные пики скал.

Облака и туман до неузнаваемости изменяют горы. И сейчас темные скалы то как бы всплывали из глубины, то снова тонули в ней. Несокрушимые, всегда неподвижные скалы шевелились, клонились, выгибались — жутко было видеть их странный танец.

Паденье улара было сигналом тревоги. Струями, позванивая, потек щебень — это всполошились и побежали невидимые из-за тумана горные козлы — туры. Как только они удерживаются на этих мрачных отвесных стенах, шевелящихся от тумана?! Долго слышался цокот падающих камней и звяканье плитняка — туры убегали все дальше и дальше.

Сижу у «ройки». Лунка взрыхленной рыжей земли, посредине след, похожий на след домашнего петуха, легкое серое перышко. Птичья «ванная»...

Поздно. Пора и мне устраивать свою «лежку». Надо, как улару, разгрести камни, взрыхлить затвердевшую землю — хотя бы каблуком! — и бросить спальник. Проживу ночь по-уларьи.

Плыву на уларьем острове по неспокойным волнам облаков. Витаю в облаках — полеживая на боку...

Путешествовать можно по-разному. Можно пройти пешком от моря до моря. Можно переплыть на плоту океан. А можно и так: сидя на горной вершине. Путешествуя не в пространстве — во времени. Моря и океаны облаков поплывут мимо тебя, и каждый день будет что-то случаться. Само Время, как океан, будет двигаться мимо. Заманчиво, сидя на вершине горы, плыть по морю времени и облаков...

Цель моя — самая корыстная: унести с собой этот уларий остров. Весь целиком! Хочешь пленить чайку — забирай с чайкой море, а со степным орлом — степь. Хочешь улара взять — бери всю уларью гору.

Унесу с собой улара и гору, не в кармане, конечно, и не в рюкзаке...

Зачем мне уларий мир? А кто его знает — зачем? Зачем-то он нужен, раз я забрался сюда.

Спальник мой на самом краю провала: чтобы все было видно на склоне и в глубине не вылезая наружу. Солнце еще над горами, но из провала уже тянет ночью. Туман поднимается

вверх, как мыльная пена в котле. И вот уже ближние скалы видны, как сквозь мутную воду.

В скалах то сыплется, то грохочет. Туры бродят, обрушивая камни? Или работает Время? Туман по временам редеет, и тогда в прорехи видна жуткая лиловая глубина, стены, уходящие вниз, пики, торчащие в глубине. И оттуда несутся свисты уларов — унылые и протяжные. Ни грохот камней, ни вязкий туман не могут заглушить — это какой-то всепроникающий свист. Надежная связь невидимок: затаившегося улара не увидишь и в двух шагах, свист же его услышишь за километр. Никого не видно, а гора свистит.

Ночь: темнота, тишина. Неясное движенье теней. Редкое цвирканье летучей мыши. Холод жесткой земли проникает внутрь. Нет конца тишине, окоченению и шевелящейся темноте.

Где-то на карнизах спят, нахохлясь, улары. Им все тут привычно, знакомо: каждый звук, каждая тень. Это их мир, их родной дом. И сколько живых существ на земле — столько и разных миров. И проникнуть в мир уларов или горных козлов — это все равно, что побывать в других измерениях. Нескончаемо много миров вокруг. И можно в них побывать. Стоит лишь захотеть.

Наконец-то небо над гребнями чуточку посветлело,— проступила серо-стальная холодная полоса. Но в седловине она уже начала раскаляться; где-то там за горами солнце.

Похоже, и улары с нетерпением ждали рассвета; чуть посветлело, а они уже завели утреннюю перекличку. Сообщают соседям, что — слава птичьему богу! — живы, дождались утра, встречают солнце. У-у-у-у-у-ы-ы—джёёё! У-у-у-у-ы-ы — джёёё! Все те же протяжные всепроникающие свисты, но сейчас они не такие унылые и печальные. Радость утра и нетерпеливое ожидание солнца слышатся в них. После ледяной и мрачной ночи мне понятно их нетерпение.

Тороплюсь присвоить и это утро уларов. Оно передо мной: холодная синь, как отблеск воронова крыла, золотисто-иволговая заря со снегирино-красным пожаром в самых глубоких впадинах за черным хребтом.

Самые нетерпеливые улары стали срываться с уступов и с криком помчались вниз на сумрачные еще луга.

Желтизна разливается вширь и ввысь. Различимы отроги, лощины, груды скал. Снеговые вершины уж пожелтели от солнца. Вот и оно — красное, с золотым ободком — переливается как жемчужина. Выкатилось из-за седловины и всех обрадовало.

Звонко мяукая, слетели со скал на осыпи черные птицы: красноносые клушицы и желтоносые альпийские галки. Они, как и туры, тоже постоянные обитатели уларьих островов. И уларово

К стр. 532

утро без них потеряло бы половину своей неповторимости.

Солнце уже над гребнем, а улары все нежатся на карнизах и пересвистываются. И снова я понимаю их, мне тоже хочется хорошенько прогреться на солнце после холодной ночи.

И я клюю носом, пригретый его лучами.

Время от времени улары перелетают через провал со скалы на скалу — наверное, проведывают соседей. На фоне скальных громад они кажутся не крупнее сизого голубя.

Начало уларьего дня. Покой, тишина, солнечная полупрозрачная дымка. Глухо шумит река в глубине, но под облаками ее не видно. Близко просвистел и завозился улар; из-под лап посыпались камешки, стронули щебень на круче, и он потек, позвякивая. Помелькала и пожужжала у лица настырная муха. Смерчик, сердито шипя, покрутился воронкой и скрылся за поворотом, теребя по пути засохшие стебли травы. Клушица села на камень: иссиня-черная, с кораллово-красным клювом и лапами — смотрит на меня раскаленным глазом. И клюв ее уже раскрыт от жары.

Будни уларьего воздушного замка. События одного уларьего утра и ночи. Впереди еще день и вечер. Да помножьте это на 365 дней года. И откроется уларья жизнь. Весна, когда улары токуют: пыжатся, задирают хвосты и опускают крылья, и особенно часто свистят. Лето: выводят и растят птенцов, «собирают цветы». Осень: сбиваются в стайки, кончили линьку, отъедаются перед зимой. И зима: бури, морозы, снега. Скудная закуска на «выдувах» и на «выгревах», на которых не держится снег. Неприютно, сурово, мрачно. Снег и камень.

И было бы мертво — если бы не улары! Знаешь, что они где-то тут, и ждешь их тягучего длинного свиста, похожего на крик нашего кроншнепа.

А мне пора. Знаю теперь, что в скалах на горе Аджага живут 20—25 уларов. Знаю их ночь, видел их день. Один, сидя на камне, петушится: вытягивает шейку, задиристо осматривается, вызывающе задирает хвост, выставляя напоказ пышное белое подхвостье. Другой летит через провал, мелькая белыми крыльями.

Гора, на которой живут улары.

Заманчиво побывать в каменноугольном лесу. Идти, раздвигая папоротники и хвощи. Слышать всплески водяных чудовищ, шелест крыльев гигантских стрекоз. Но — невозможно. Каменноугольный мир безвозвратно исчез. Вымер. Что-то обреченное есть и в уларьем мире. И я рад, что успел побывать в нем и увидеть его. Скалы, конечно, долго еще простоят, а вот улары...

Скалы окружены стоянками пастухов. Крики людей, лай собак. Овцы до земли выстригают уларьи склоны У пастухов

за спинами торчат ружья. И они уверены, что мясо уларов душисто, как цветок. Вымирание уже началось...

Предлагают одомашнить уларов. Возможно, что и удастся. Рядом с курицами и утками появятся в магазинах и замороженные улары. Но это не привлечет даже любителей уларьего мяса: оно не будет пахнуть цветами.

Уларьи фермы не заменят уларьих островов, висящих над облаками. Как не заменит журчанья ручья утробное бормотание крана.

Все горы перед глазами. Горные травяные луга. Ниже опушка леса — хилое буковое криволесье. Еще ниже курчавые и светлые лиственные леса. А глубоко и далеко, в дымке предгорья, голая степь. Чуть ли не все ландшафты земли — как на глобусе. И можно пройти их за день — от вечных снегов до жарких степей. Скатываюсь по склону вниз.

В лощине справа длинный язык лежалого снега — белая дорога вниз. Скатываюсь по ней стоя, бороздя ботинками бугристый снег, опираясь на рукоять ледоруба. Под снегом все громче плещет вода; и вот плеск уже гулкий, как в полупустом кувшине. Снеговая крыша над потоком истончается, и дальше съезжать по ней опасно. А вот и конец удобной белой дороге: из-под снега, как из трубы, хлещет ледяная вода. Темный зев снега дышит холодным паром.

Неприветливо и неуютно: снег, ледяная вода, голый щебень. Дно лощины усыпано им, как битыми черепками. Наползла туча, закапал дождь — и вдруг весь щебень зашевелился! Только что я крепко стоял на каменных плитках, и вот все под ногами шевелится, рябит, плывет — словно вода! Хватаюсь за выступ скалы — кружится голова.

Постепенно наваждение исчезает. Плитняк-то не шевелится! Это дробные капли дождя, оставляя на светлых плитках темные кляксы, вдруг превратили твердь в зыбь. Плитняк обернулся водяной рябью. Обман исчез: тонул на камнях, хватаясь за выступы!

Лицо задубело от ветра, но горное солнце такое злое, что и задубелая кожа вспухла и покраснела. У каждого ручья и снежника останавливаюсь и окунаю лицо в ладони, полные ледяной воды или снега.

После высокогорья в лес входишь настороженно: только что вокруг было широкое пространство безопасности и вдруг оно сжалось и сузилось — теперь каждый ближний ствол и куст таит неожиданность.

С первой же лесной поляны по-заячьи запрыгал медведь, мелькая в траве толстым задом. Посмотрим, что мишка делал. А ничего — в холодке лежал. Совсем еще теплая вмятина на траве. Медведь не любит себя утруждать: либо ест, либо спит.

Это в цирке он за подачку стоит на голове или гоняет на мотоцикле. А тут еда под ногами — открой рот и жуй.

Сажусь на медвежью постель и чувствую, что дальше идти невмочь. Разбито все, но особенно ломит колени — на крутых спусках им достается больше всего. Вытягиваюсь на медвежьей постели: спиной чувствую медвежье тепло, а носом — звериный душок. Частоколом вокруг толстые зеленые стебли дудок, ворсистые стебли крапивы; над головой широкие листья — как растопыренные ладони. Застойная жара, густой сироп из сырости и крапивы. Над лицом голубые просветы неба, там колышется свежий ветер, раскачиваются белые зонтики дудок — как белые облака. И сыплет из них белый снежок — крохотные лепестки. «Снежок» скапливается вдоль прожилок широких лопухов, виснет на ворсистых стеблях, засыпает меня и медвежью постель.

На белый зонтик вверху уселся малиново-красный чечевичник; раскачивается и свистит, топорща рубиновый хохолок: «Чего-то вижу! Чего-то вижу!» Басит в ухо шмель. Проныра крапивник высунул из-за стебля любопытный нос — от удивления приседает и дергает хвостиком. Совсем недавно он вот так же удивлялся медведю.

Рядом с постелью перевернутый лапой камень. Донышко у него еще мокрое. Пожеванный стебель зеленой дудки. Сдираю с уцелевшего конца жесткую кожуру — пахнет огурцом и укропом. Пробую на зуб: стебель хрусткий, сочный, чуть горчит и саднит язык.

От тепла и усталости клонит в сон. Постель готова, остается подсунуть рюкзак под голову и уснуть.

Проснулся в густых сумерках. Ночью куда пойдешь, останусь тут до утра. Привычная тишина, сквозь которую чуть доносится шум реки и крики сыча. От этих звуков ночь кажется еще пустынней и тише.

Через день я уже был в предгорье. Впереди мой дом, позади — уларьи горы. Сижу у ледяного ручья: может, это тот самый ручей, что выплескивается из-под снежного языка в лощине, где рябил под дождем плитняк и кружилась голова? Ручей несет из-за облаков горные новости. Мельтешат в нем белые лепестки — не с тех ли самых дудок, под которыми я ночевал? А когда придет в горы осень — поплывут сверху желтые листья буков.

Если ручей обмелеет, посветлеет, похолодеет — значит, на горных лугах зима. А вздуется, потемнеет от грязи, покатит камни — в горы пришла весна.

Все лето ручей несет лепестки цветов,— можно узнать, какие цветы в горах отцветают. Плывут лепестки черемух и яблонь, маков и ирисов, рябин, барбариса, боярышника. А потом ручей

объявит, что поспели и осыпаются в горах черешни, яблоки, груши. Живая, текучая фенология! То ели и сосны высыплют семена, то был буран — и полный ручей лесного хлама.

Когда я не смогу подниматься в горы, я сяду внизу у ручья, и он расскажет мне обо всем, что творится там, за белыми облаками.

5 августа

Чем ты дольше внизу — тем неудержимее тянет вверх! Не дают покоя не открытые еще острова уларов. Зачем они тебе, эти острова? Снова вопрос, на который нет ответа. Зачем мы пялимся на закат или восход? Зачем часами вслушиваемся в прибой? Зачем, наконец, плывем через океан на корыте? Сперва плывем, а потом уж подыскиваем этому какое-нибудь приемлемое объяснение.

Поднимаюсь в горы по широкому руслу Тиканлы-чая. Совсем недавно, после сильного ливня, тут буйствовала черная вода. Летом так всегда: побелеют вершины от нежданного снега — почернеет от ила в реках вода. И поползет по руслам густая каша из воды, грязи, камней и сучьев.

Сейчас вода схлынула, и между каменных глыб обнажился сырой лоснящийся ил, испещренный следами. Следы лесных мышей и лесных котов, трясогузок и куличков, куниц и ласок. А у шумящей скалы, в обход ее, натоптана медвежья тропа. Медведи спускаются с гор в предгорье на поспевающую алычу и ежевику. Очень соблазнительно посидеть на этой скале и покараулить медведя.

Сворачиваю в ущелье реки Сарал-чай. Следы недавнего паводка тут еще страшней. Дикое нагроможденье камней, сползшие с обрывов пласты и рулоны дерна. Покореженные, поваленные и ободранные деревья. Под обрывом водяной ураган продрался сквозь березовую рощу на островке — теперь все березы вкривь и вкось. Вот почему на узких речушках, таких спокойных на вид, не гнездятся кулики и зуйки! Даже оляпки и горные трясогузки редки тут.

По речушкам подниматься в горы можно лишь до поры до времени: рано или поздно пойдут непропуски, кручи, завалы, водопады — и придется выкарабкиваться на боковой склон. И ползешь по склону как жужелица, цепляясь руками за гнилые пучки травы, а ногами нащупывая крохотные уступы. Спасибо дождям: стекая по склону, вода за каждой кочкой выдолбила ступеньку.

Дотемна на гребень выбраться не успел, остановился на широком уступе, окруженном лесом, невысоко над рекой. Шум воды глушит все: вечерние песни птиц, шелест листьев, цокот скатывающихся камней. И от этого тревожно и неуютно, ты

словно оглох, а глухому ночью хуже всего. Днем глаз, а ночью ухо — самые надежные сторожа: они предупреждают на расстоянии. Чутья мы почти лишились, а осязание... Не очень-то успокаивает, что ты обнаружишь опасность... коснувшись ее рукой! Вцепившись пальцами в чью-то шерсть или скользкую чешую. Потому-то так и надеешься ночью на ухо — а его словно заткнул шум воды.

Представляется, что все эти лесные чудики, лешие, кикиморы, вся лесная нечисть появилась лишь потому, что ночью мы плохо видим. Движется нечто смутное, непонятное, слышен шорох шагов. Что-то чудится! А будь у нас нос собаки, и мы бы знали, кто рядом с нами,— нам бы уже не чудилось. И много удивительных сказок не родилось бы на свете. Чем несовершеннее органы чувств, тем больше выдумок. Слепому видится, глухому слышится.

Вверху еще светло, там еще только вечер. Лезу по склону, как муха на свет,— посидеть у вечерних скал. Успею належаться на своем шумовом уступе.

Выбиваю каблуками ступеньки, прислоняюсь к крутому склону, как к дереву. Напротив уступы скал. Снизу слышно шипенье реки, а выше, в кустах, возится шустрая ласка.

Сколько часов в горах и лесах проведено так вот, с глазу на глаз с ночью, рассветом или закатом! Да что часов — дней и недель. Часто ничего не случалось, но никогда глаза и уши не были без работы. И ничто не проходило бесследно. Словно губка, пропитывался окружением: цветом его, запахами, ритмом, смыслом. Как растение, впитываешь соки земли и, наверное, опыляешься, как цветок. И зреют в тебе семена родства с землей, плоды внимания к ней.

Сумерки загустели, и на уступы скалы вышла рысь. Не вышла, а вдруг явилась: только что уступ был пуст — и вот рысь! Мягкая большая кошка с высокими ушами и лапами. Смотрит вниз, где моя стоянка. Даже сумерки не могут скрыть четких пятен на ее боках; это не простая рысь, а парделевая. До недавнего времени густопятнистых рысей зоологи выделяли в особый подвид. Сейчас же считают, что это просто цветовая разновидность. Может, и так, но окраска рыси и в самом деле диковинная — рысь похожа на африканскую пятнистую геннету или индийскую леопардовую кошку.

Я не двигаюсь, я скрыт пучками травы, и ветра нет, но я уверен, что рысь меня все равно обнаружит: у хищников какое-то особое чутье на присутствие посторонних. Или они чувствуют чужой взгляд? Так и вышло: рысь повернула голову и уставилась на меня. Рысьи глаза словно просвечивают насквозь: они как две световых дырочки в сгустке темного тела. Кошка

вглядывалась в меня и вдруг исчезла — так же мгновенно и необъяснимо, как только что появилась.

Мало пришлось мне видеть рысей на воле. И всегда они не выходили, не выбегали, не выскакивали, а возникали. Ни звука шагов, ни шороха листьев. Нет никого, и вдруг — рысь! Словно вылепилась из теней и бликов. И снова на них распалась — как бесплотное привидение. И самое точное слово тут — привиделось. Показалось. Но в памяти остается пронзительный взгляд больших круглых глаз, как бы висящих в воздухе...

Рысь для меня всегда была загадочным зверем.. Узнать об ее жизни на воле практически невозможно. Есть только один верный способ — тропить зимой. День за днем идти по следам. Но в горах и это не всем по силам.

Встреча рыси — обнадеживающая примета: там, где хищники, непременно должно быть много зверей. Хищник — показатель благополучия и обилия. Он вершина живой пирамиды: раз есть «вершина», то должна быть и «пирамида». Пернатые и волосатые обитатели гор.

В темноте не спеша сползаю к ночлегу. На стоянке светятся четыре зеленых пятна, как четыре глаза! Но в глазах ни угрозы, ни страха; неживой, неподвижный свет. Подхожу и пинаю ногой, ожидая удара о гнилой пенек. Но что-то податливое отскакивает от ноги, катится, рассыпая зеленые искры. Чиркаю спичку — два старых черепа туров! Козлы, наверное, погибли в лавине, и черепа их лежат тут много лет: огромные закрученные рога проросли грибком и светятся.

Пока вожусь с костерком, черепа следят за мной зелеными бельмами, но чуть костер разгорелся — глаза потухли. Обступили костер серые буковые стволы, опахала зеленых ветвей заколыхались над ним. Выступили из темноты серые глыбы в косматых меховых папахах. Все это знакомое и привычное, ставшее почти домашним. Стиснутый свет костра — что-то вроде светлого шалаша, притулившегося у подножия горной ночи. А еще он похож на резиновый желтый шар, который то надувается, то сжимается, когда костер разгорается или притухает.

В полночь костер погас, и тут кто-то к нему подошел. Поднялся от реки по тропке, шагов за шумом воды мне было не слышно, но я проснулся, как от пинка в зад. Суматошно вскинулся, уставясь в темень,— над обрывом полоснул розовый зигзаг, и черная туша сверзилась за обрыв. Застучали, прыгая, камни.

И тишина. Никого. Темно, гул воды. Зеленое сияние турьих рогов. И тяжелые толчки крови.

Раздуваю костер. Снова я дома, за стенками света, в своем прозрачном световом шалаше. И уже спокойней, и ночь отступает — со всеми пугающими тенями и неясными звуками.

Утром на краю обрыва нашел медвежьи следы. Медведь брел по тропинке вверх, напевая под нос,— как это любят делать медведи: бурчат и гудят на ходу, как шмели. Выбрался на уступ и... чуть не въехал носом в костер!

Мы здорово напугали друг друга: я до утра подбрасывал в огонь поленья, а медведь, наверное, умахал от меня за три ущелья.

Утром поднимаюсь к «рысьей» горе. Вот место, где я вчера сидел. А на уступе-то серна! Ладная, ярко-рыжая, склонила шею и смотрит на меня сверху вниз. Черные рожки — два багорика. Разглядела и шарахнулась. Замерла, смотрит через плечо, Окончательно испугалась и понеслась, мелькая среди березок, кидаясь из стороны в сторону.

Обхожу скалы, лезу по склону выше — на гребне стоит вторая серна. Боком, во всей своей стройности, с солнечным ремешком вдоль спины. Звериная «пирамида» тут и в самом деле внушительная.

Гребень хребта совсем близок. Затягиваю ремень на бодрую ходовую дырку. На ремне путешественника три основные дырки: ходовая, предобеденная и послеобеденная. На все случаи походной жизни. Как указатель уровня бензина в моторе: бак полон, бак пуст. Заправился — и вперед. Вперед, только вперед, потому что все неизведанное — впереди.

Внизу сошлись два ущелья — Тиканлы-чай и Сарал-чай. Между ними горбом набычился хребтик Сарал. На конце его, над стыком рек, голова лесной вершины. Обычная лесная горка, таких вокруг десятки, и все-таки эта горка особенная. Гора — подъемник, горный лифт для парящих птиц! Она расположена так, что горные ветры, стекая по ущельям, сталкиваются под ней и восходящим потоком выплескиваются вверх! Всплеск, взброс, невидимый фонтан теплого воздуха бьет из-под горы в облака. Фонтана не видно, не слышно, птицы его находят на ощупь. Пернатые хищники любят парить. Разметав широкие крылья, плывут они и щупают ветер. Вот упругая теплая сила надавила снизу и понесла в облака. Теперь держись, не потеряй равновесия, не соскользни с невидимого столба-подпора — и без труда вознесешься в небо. А горы опустятся в глубину.

Птицы хорошо знают все подъемники гор. Утром, когда не прогрелись склоны и теплые вихри не потекли, они, тяжело загребая крыльями, тянутся к знакомым подъемникам; нащупав струю, облегченно распластываются на ней и, кружа, уходят ввысь. За полчаса, что я следил за горкой, над ней ввинтились в небо ягнятник, два белоголовых сипа, два стервятника, ворон и сарыч. Одни из них с вершины воздушного невидимого столба отваливали в глубь гор, другие скользили в даль туманной равнины. Разлетались по своим привычным местам.

Горные владения птиц. Где-то на склонах их гнезда, места ночлега. А вот лифт-подъемник. Там охотничьи угодья, тут места встреч. Налаженный распорядок жизни. Горы их дом, и они у себя. И только случайному пришельцу все видится непонятным, бессвязным и хаотичным. Даль, глубина, синие ярусы гор. Горный мир со своими законами и порядками. С особой и удивительной жизнью, пока еще мало понятной, только-только начинающей открываться.

Гребень хребта подо мной так узок, что на него можно сесть верхом. А рюкзак или шапку положить некуда: сразу покатятся вниз. Склоны почти отвесные, и не понять, как ухитряются на них стоять деревья. Камень тронешь — поскачет вниз как живой, выдирая траву и прошибая кусты. Все живое, казалось бы, должно скатываться с хребта, как с крутой и скользкой крыши. Но живое приспособилось, звери пробили тропы, на них копытца косуль, кабанов и серн. На грязи голые рубчатые пятки медведя. Уж ладно бы косули и серны, а то кабаны и медведи бродят по этой «крыше», как одичавшие коты!

Следы на тропинке свежие, четкие, словно в пластилине выдавленные. И паутины над тропой нет...

Иду по звериной тропке, чуть ниже гребня и слышу за гребнем приближающиеся шаги! Шаги зверя в лесной тишине — звук волнующий. Зверь идет, пока он еще тебе не виден, но вот-вот покажется — кто? Округлая мордашка косули с вор-систыми рожками и черными испуганными глазами? Или тяжелая башка медведя с мокрым широким носом, облепленным паутиной?

Шаг, еще. Приближается кто-то вкрадчиво, осторожно, не торопясь. Пошуршит сухим листом тихо. Остановился, прислушивается?

Встреча со зверем... Она всегда волнует. Почему совсем разные люди кидаются к окнам автобуса и электрички, если увидят лося? Мгновенно возникает что-то объединяющее. До того равнодушные, сонные, отчужденные, все вдруг бурно и радостно делятся впечатлениями, в полной уверенности, что их радость и восторг будут поняты, а чувства не будут осмеяны.

— Заяц! — И все кидаются к окнам. И все улыбаются. Какие струны начинают звучать?

Меня зверь не чует, иначе бы он не шумел. Зверь у себя дома, на знакомой тропе, он не торопится, он занят делом. А я стою неудобно, как на карнизе леплюсь, навалясь всей тяжестью на правую ногу. Нога начинает дрожать. А если ногу сменить, то нашумишь и выдашь себя.

Зверь близко, сразу за гребешком; копается в листьях, шуршит. Барсук? Кабан? Или медведица с медвежонком?

Нога от напряжения дергается, еще чуть, и сорвусь. Была не была! Отталкиваюсь руками от бука и выскакиваю на гребень.

Никого. Ни медведей, ни кабанов, ни барсука. В сухих листьях копается... дятел! Ворошит и расшвыривает их крепким носом, выхватывая длинным языком поживу. Испугался, взлетел, прилепился к стволу и осторожно выглядывает. Тебя обманули, ты обманулся, а приятно...

Что это за чудо — лес! Каков лес на самом деле, расскажут ученые; для нас же он всегда будет таким, каким он нам нравится. Переполненный встречами и неожиданностями.

Серая в крапинку змейка вильнула с тропы. Шумно захлопал в ветках дикий голубь вяхирь. Под наклонной плитой у гребня лежка серны, засыпанная черным горошком. В темных зарослях тиса старая стоянка оленей: погрызы, помет, утоптанная земля. Дом зверей.

Гребень горы перегородили скалы. Те самые, что виделись снизу уларьим островком, ради которых я и поднялся сюда: но скалы молчат. Ни звонко-тянучих свистов, ни звяканья щебня, плывущего из-под торопливых лапок. Каменная тишина. Умолкший орган.

Привалясь к шершавой глыбе, вожу биноклем по гребням и склонам. На каменной осыпи вроде кто-то движется. Но это всего лишь кеклики — каменные куропатки. Всего лишь... Не так давно и об уларах мы говорили: «Это не козлы, а всего лишь улары». И вот их нет.

14 августа

Помните медвежью тропу под скалой у реки Тиканлы-чая? Каждый раз, поднимаясь в горы, я сворачивал к ней и каждый раз находил свежий след. Медведи постоянно проходили по ней ночью, спускаясь с гор в сады. Чем ломиться напрямик сквозь заросли и карабкаться через промоины и овраги, легче пройти руслом обмелевшей реки, скрываясь в береговой тени, и не беда, что скала нависла над берегом и перегородила дорогу: вода под скалой осохла, и приятно ступать потрескавшимися подошвами по прохладному сырому илу.

Ночь я провисел над медвежьей тропой. Хотел просидеть, а пришлось висеть. Хотелось увидеть, как косматые жулики ходят по ночам яблоки воровать.

Медведи знают, что воровать опасно, и ходят под прикрытием темноты. Лучше всего их перехватить тут, на скале: и видно и безопасно. И вот к сотням ночей, проведенных под звездным небом, добавилась еще одна.

Медведи за свои грабежи расплачиваются головой. Но очень уж слаб медведь на сладенькое. Груши, яблоки, алыча, ежеви-

ка — за них и косматой головы не жаль! И этих, наверное, не раз пугали, а они все ходят, рискуя получить в зад заряд из рубленой проволоки, гвоздей и канцелярских кнопок. И пусть еще скажут спасибо, что в селении у черкесов нет сейчас ни одного охотника! А то бы получили и пулю.

Будь я жителем гор, я бы нарочно посадил сад в лесу или взмотыжил бы на склоне лоскуток под кукурузу — пусть приходят медведи. Лунной ночью я бы смотрел на них из окна. Разве не стоят мешка кислого «дичка́» дикий медведь и лунная ночь? Когда-нибудь мы станем приманивать к дому зверей, как уже приваживаем птиц. Но пока ничем не хотим делиться с ними, ни вершками, ни корешками.

В лесу никто не умеет жить только для себя. Пчела собирает мед и... опыляет миллионы цветов. Миллионы мышей кормятся семенами, созревшими на опыленных цветах, и сами — собой! — кормят хищных зверей и птиц. Дятлы выдалбливают тысячи дупел, в которых поселятся тысячи птиц. И медведь не только яблоки ест, но и... сады сажает! И не как-нибудь, а гнездовым способом: горстка семян на кучку навоза! Налопается яблок от пуза и погодя — за дело. В горах такие дикие сады так и называют — «медвежьи». И ходят в медвежий сад все кому не лень: барсуки, кабаны, дикобразы. И даже жители соседних селений; в их числе и те, кто в свой сад и скворца не пустит. Но медведь не такой скупердяй, чтобы сторожить свой сад день и ночь.

На сторожевую скалу поднимаюсь в сумерках, почти на ощупь, выцарапывая с уступов накопившуюся землю и камешки. Подниматься не трудно, но продержаться на таких зацепах всю ночь невозможно. Выручило кривое деревцо, торчащее из щели. Надавил рукой — не прогибается, навалился — держит. Ну и ладно: повисну на кривулине, ногами упрусь в уступ. Но долго еще пришлось возиться, приноравливаясь к неудобному положению: то сучья давили в ребра, то соскальзывали подошвы. Цокая, осыпались камешки — тут и мышь догадается, что наверху кто-то есть. Но вот устроился — полустою, полувишу. За спиной скала, перед глазами широкие галечники реки, за ними горбы уже темных гор. И небо над горами темное, и мигают первые звезды.

Река шумит как гигантский примус: сильно и ровно. Иногда шум ее вроде бы отдаляется и затихает, а то вдруг накатится, и тогда слышны даже всплески струй у камней и дробь перекатов. Меняется ветер. И это плохо, медведи могут меня почуять и обойти.

По главному руслу вода катит камни. Глуховатый подводный стук приближается, вот он рядом, вот затихает вниз по течению. А с верховья приближается новое постукивание: новый камень

по-новому прыгает и стучит под водой. Ночь тянется под это неспешное тиканье подводных камней, шипение и плеск воды. Луна чуть заметно плывет над хребтами, высвечивая на черных склонах светлые скалы.

Широкие галечники под луной, как огромные серые листья в черных прожилках воды. На перекатах толкутся беспокойные лунные зайчики.

Порхает у лица летучая мышь. Жук какой-то скребется о кору у самого уха. За спиной время от времени начинает вдруг осыпаться земля, кто-то и там копошится. Ночь живет своей скрытой жизнью.

Медвежья тропа внизу четко чернеет на лоснящемся мокром иле. Тут и мышь незамеченной не прошмыгнет. Но никого пока нет.

Медленное течение ночи. Замлели бока, спина и ноги. Тягучая дрема обволакивает глаза. Ночь усыпляет. У ночных животных какие-то особые, усыпляющие голоса: лягушки, сверчки, медведки так урчат, словно нарочно убаюкивают. Спать, спать, спать — уговаривают они. Закройте глаза, на что вам наши ночные события. Но закрывать нельзя. Только закрой, и можно мгновенно уснуть. Растираю лицо рукой, тихонько ворочаюсь, устраиваюсь поудобней. Всматриваюсь в тропу.

За рекой над черным гребнем висят странные серебристые пятна — как летающие тарелки. Некоторые из них спустились на склоны. С трудом догадываюсь, что это же спящие облака, подсвеченные луной!

А ночь снова усыпляет мерным шумом воды, глухим перестуком подводных камней, сонным сиянием галечников.

...Идут! На отмель выкатились два темных шара: большой и маленький. Маленький шар то догонит большой, то отстанет; словно ударится и отскочит. Оба закатились в тень скалы и почему-то не выкатываются — неужели почуяли?

Первым из тени выкатился маленький шар. А сразу за ним и большой. Теперь большой подгоняет маленького. Заиленное место кончилось, и слышно, как когти шаркают по камням. Шары катятся в сад.

Вот я и с добычей: медведица с медвежонком! Медвежьи «окороки» с приправой из лунной ночи, плеска сонной реки и стука подводных камней. И серебряных облаков, свернувшихся калачиками на черных склонах.

Теперь я знаю, как медведи «идут на дело». А дальше ясно: вскарабкаются, объедят яблоки, до которых дотянутся, а не дотянутся — обломают сучки. Сложат из них «медвежьи гнезда», вроде вороньих. Потом отяжелело сползут — и домой, в горы. Медвежьи сады сажать...

Что-то удерживает меня на окаменелой кривулине. Я боюсь

услышать выстрелы у селения. Толстые косматые шары, что прокатились внизу, уже не безразличны мне.

Жду настороженно и терпеливо. Вода в ближней протоке вдруг начинает странно вспыхивать и моргать — за горами заполыхали зарницы. Это к дождю. А я все вишу, то поддаваясь сонной одури, то просыпаясь. И перед глазами ночь, то тихая и лазоревая от луны, то тревожная и дерганная от зарниц.

Медведица не вернулась. Но и выстрелов я не услыхал. Она, наверное, все-таки что-то почуяла, когда задерживалась в тени скалы. И в горы вернулась другим путем.

На рассвете зашумел нудный дождь, все стало серым и скучным. С трудом я сполз со скалы, разминая одеревенелое тело, стараясь подавить противный озноб. Долго топтался и переминался на месте — ноги не слушались и подгибались. Болело все тело, и стучало в виски. Но утешало, что охотнику с ружьем было бы еще муторнее: перед ним лежала бы медвежья туша, в сосульках от слипшейся крови, с закатанными в шерсть репейниками, с торчащим из пасти прокушенным языком. А в кустах под дождем маялся бы и повизгивал медвежонок. И его надо было бы убивать, чтобы не околел зря от голода. И что делать с грудой мяса, и на что тебе облезлая летняя шкура. И вообще гори все огнем....

А до этого медведица каталась бы под скалой, скуля и воя, как сбитая машиной собака. А потом бы долго хрипела, уткнув морду в лапы, и внутри у нее что-то бы страшно булькало и клокотало. А испуганный медвежонок метался бы от кустов к медведице и икал от страха. И все это ради спасения грудки яблок...

Нет, я не зверовой охотник, я слишком хорошо знаю зверей, чтобы в них стрелять.

Лес молчит. Ночь молчит, и звери молчат. И нужен переводчик, который перевел бы их молчание на язык людей. Только человеческий голос сможет объяснить молчание природы. Мы должны говорить за тех, кто не умеет этого сделать сам.

С 24 августа по 6 сентября

Мы не видим времени, но видим приметы его течения. Лето весну сменяет, осень — лето. Растут деревья, разрушаются скалы. Чтобы понять, что и как вокруг изменяется, нужно остановить мгновение. И начать от него отсчет.

Картины природы — это тоже остановленные мгновения, тоже точки отсчета. Пройдут года, и можно будет сравнивать: что и как изменилось? Станет видно: КУДА движется время? И КАК все вокруг меняется?

Нужно время, припечатанное к бумаге. Было и стало. И вот уже можно что-то понять и что-то сделать.

Ручьи времени стекают с гор.

На вершинах уже осень, и горные ручьи принесли первые желтые листья. Надо спешить, если хочешь подняться в горы, скоро подступы к уларьим островам станут почти неприступны.

Удобнее начинать поход по обмелевшему руслу, по осохшим речным галечникам. Тропа на них часто теряется, но если пригнуться и заслониться от солнца, да еще подняться на береговой склон, то сразу различишь продолжение тропы в виде белесой извилистой ленты.

Чем глубже в горы, тем у́же река и теснее склоны. Вот и скалы перегораживают берега — как сторожевые замки. Вода подмывает их снизу, и скалы гудят, как органы. Стоишь под такой шумовой скалой и слушаешь гул. Он совсем не похож на глухой и обвальный грохот реки, скала разделяет ее слитный рев на составные звуки: то слышишь завывание ветра, то грохотание водопада или звон ручьев и плеск дождя. Шумовая скала рассказывает, из чего родилась река.

Выше скал река особо сужается, идешь теперь, как по тесному извилистому коридору, загроможденному глыбами, выбеленными бревнами и корягами. По сторонам оползают дробные осыпи, а небо голубеет где-то высоко-высоко, повторяя все повороты реки. Две реки — воздушная и водяная. Одна под ногами, другая над головой.

Между камней заклинились огромные рога погибших туров, завитые как раковина улитки. Издали они похожи на рубчатые шины автомобиля. Это даже и не рога, а только роговые чехлы с широким, как у духовой трубы, раструбом. Ветер завивается в них, и рога гудят, подобно шумящей скале.

Поднимешь, как кубок, а он переполнен шипением, плеском, шелестом и криками птиц. Вот так и ты начинаешь звучать, прикоснувшись к природе. С помощью нас она выражает себя,— а как иначе?

Коснуться тебя ветвями и листьями, открыться без слов, в надежде, что молчание будет понято. Идущему по земле неведома скука вагонного пассажира, он каждое мгновенье живет. Все оставляет след. Природа — колокол, а мы — его «язык».

Природа толкнула к скале художника, и он высек на ней козлов и оленей. С тех пор она вдохновляет нас. Могучее, неиссякаемое, вдохновляющее начало. Безотказный вечный двигатель.

Бросаю поющий кубок. Теперь он гудит иначе, широкий раструб уловил другие звуки. Прикладываю к уху ладонь — я тоже слышу горы.

Буковый лес. Тишина, молчаливые колонны серых стволов, пустынность. Осматриваешься, вслушиваешься — и никого. Но

все кажется, что кто-то есть. Мешают слушать опавшие листья; целые вороха их шуршат под ногами. А остановишься — бухает сердце.

В буковом лесу особая безжизненность и пустынность — им не веришь. Слишком уж напоказ: смотрите — нет никого! Так фокусник тычет в глаза пустой ящик, а потом вынимает из него ленты и голубей.

Буковый лес долго меня обманывал. Я уж было поверил в его пустынность. Но однажды удалось захватить лес врасплох.

Началось, как всегда: я вошел в лес, и лес затаил дыхание. Тишина, от которой становится не по себе. Упадет чешуйка коры, а ты вздрагиваешь. Шевельнется у ноги сухой лист — чуть не подскочишь! Беда, если не умеешь отличать мертвых шорохов от живых: тогда по лесу не то что идти — дышать невозможно. Все будут чудиться чьи-то шаги, шорохи крадущихся лап.

Между стволов огромные глыбы камней, обросшие таким густым и мохнатым мхом, что его можно пластом сдирать, как шкуру со зверя. И мохнатые эти глыбы все время шевелятся от колебания теней и бликов.

Зеленый полумрак, пятна солнца на плюшевых глыбах, серые колонны в окружении зеленых перьев папоротников. И ни единой живой души. И совершенно ясное ощущение, что тут кто-то есть...

Сажусь под бук, втираюсь в углубление между корней, приваливаюсь спиной к стволу. Теперь пусть другие шумят, а я послушаю их.

Лесу некуда торопиться, в нем все происходит медленно. А медленное мы не видим. Мы замечаем прыжки кузнечика, но не видим, как растет дерево. Для нас все неподвижно там, где на самом деле все в движении. Кто кого перетерпит: лес меня или я его?

Все уже до листика просмотрел — никого. И ухо ловит только мертвые шорохи. Как вдруг... Вот еще особенность леса — в нем все случается вдруг!

Выше по склону, за переплетением обвисших ветвей, вдруг проступило рыжее пятнышко. Рыжее пятнышко размером в ладонь, чуть сквозящее за зеленым, но я уже твердо знал, что это серна. Рядом с пятнышком — из ниоткуда! — возникло второе, такое же рыжее и такое же маленькое. Две рыжих серны вышли из-за кустов, неслышно — как по воздуху! — прошли по склону между деревьями и скрылись. Оказывается, и в лесу серны так же уверенны, как и у себя дома, в скалах.

Снова за кустами сквозит рыжий бок, но теперь я уверен, что это косуля, хотя снова ничего, кроме пятна, не вижу. Так и есть: тонкая козочка, переступая точеными ножками, идет по склону, перешагивая через валежины.

Как они ухитряются ходить неслышно? Комара отмахнешь, и кажется, весь лес всполошил. Пошевелиться боишься, даже дышать. А они шагают себе — и ни единого звука!

Прикладываю к уху ладонь: кто-то чуть слышно возится на отрожке. Ожидаю увидеть птицу с дрозда или зверушку с ласку, и вижу огромного ярко-рыжего зверя! Олень? Нет, снова серна — черные, крючочком, рога. Но почему она такая огромная? От солнца! Стояла в тени и казалась маленькой, словно ее и не было, а шагнула на солнце — и раздалась! Насквозь пропиталась, набухла солнцем — даже светится!

Серна идет, пересекая полосы света и тени,— и меняется на глазах: то она ярко-рыжая, то темно-бурая, то маленькая, то большая, то исчезает, а то появится! Видение, зверь-оборотень.

Серна движется перебежками — рванулась и замерла. Поочередно, то у одного, то у другого ствола бука вдруг вырастает головка с рожками или золотистый задок с темным хвостом.

Серна скрылась, а ниже меня через папоротниковую поляну неслышно проскакал серый и крупный зверь. Олень! Зачем-то срываюсь и кидаюсь наперерез. Олень растерялся, увидев вдруг человека рядом. Наставлены на меня раструбы плюшевых ушей, дергаются мокрые черные ноздри, стеклянно блестят глаза. Олень кидается вниз, лохмотья черной земли взметнулись из-под копыт, замотались перья папоротников.

Инстинкт погони. Зачем-то бегу по склону, не таясь, шумно дыша и шурша листьями. Это обилие зверей вывело меня из равновесия — в каждом из нас, наверное, таится хищник. И скорее всего это волк: вот бы уж кто кинулся рвать и метать! Так и шалеют волки, ворвавшись в стадо овец,— столько доступной добычи!

Сигнал тревоги. Сигналит серна, крик ее похож на приглушенный крик сойки, что-то вроде свистящего хрипа.

Серна на выступе гребешка, нависшие ветки скрывают тело, видны только ноги. Ноги затанцевали, серна запрыгала вверх, став вдруг чем-то похожей на зайца.

Рухнул настороженный звериный мир. Я вломился в него, всех распугал, разогнал — и вот один.

А что бы сидеть спокойно! И видеть то, что всегда так умело скрывал горный буковый лес. И чего никогда не увидишь, как бы осторожно ты по нему ни шел.

Что это было? Откуда столько зверей? Чем этот лесной уголок привлек их к себе? Уж не той ли особенной тишиной, в которой даже страшно вздохнуть? И где сухой лист под ногой грохочет, как лист кровельного железа?

Звери живут в тишине, они порождение тишины. Потому-то ей и не веришь — в ней непременно кто-то таится. Она — как

лесная тень: шагнул в нее — и исчез. Тишина и тень — желанный приют зверей.

После тенистого леса горные солнечные луга. Они поднялись как стены, и просто по ним не пройдешь. Поднимаешься, как по ступенькам, нащупывая уступы. А звери тут живут постоянно, на отвесных стенах у них набиты тропинки. Чтобы на них удержаться, надо иметь когти или копыта. И чтобы голова еще не кружилась. Не просто прожить жизнь, не ступив ни разу по ровному месту! Жизнь на отвесной стене.

За отрожком темнеет валун. Вдруг камень сдвинулся и пошел! Пасется запоздалый кабан. Пока я добрался до гребня, кабан, конечно, ушел, и я перевел дух на его «ступеньке». На кручах кабаны выкапывают «ступеньки» — уступы для отдыха, чтобы не скатиться во сне. И когда карабкаешься по склону, то часто на них отдыхаешь: сидя и даже лежа.

На самом краешке желтой осыпи серна — смотрит вниз. У меня на ее бы месте перехватило дыхание, было бы страшно открыть глаза, искал бы вцепиться во что-нибудь крепкое и надежное. Отползти подальше от края. Или... или броситься вниз! Да, да — пропасть манит! Жутко-сладкое ощущение: все кричит и противится, а глубина тянет и тянет. Потом говорят — «голова закружилась». Но я-то знаю — не устоял! Поддался гипнозу глубины, зову горных сирен.

А серны и козы любят смотреть с высоты. Высота не пугает их, как не пугает птиц. Впервые птица, наверное, взлетела в горах. Сорвалась однажды и... полетела! И проложила в воздухе первую голубую тропу.

Вот так — сорваться и полететь! Об этом в горах нашептывают все провалы — сорвись и лети...

7 сентября

На рассвете в скалах свистели улары. Увидев меня, они завозились на осыпи, из-под лапок потек, позванивая, мелкий щебень. Это их опознавательный знак. Я очень его люблю: раз звенят — значит, тут! Чуть выше серой глыбы в медалях золотых лишайников, за пучками высохших эдельвейсов — серые шейки-бутылочки и белые букеты подхвостий. Улары волнуются, жмутся к краю скалы — и вдруг посыпались вниз как камни! С шумом неслись над камнями склона, пружиня упругими крыльями.

Испытанная уларья уловка — сорваться вниз и перенестись через ущелье на противоположный склон. Для этого им нужны секунды, а тебе надо полдня потратить. И все равно никакого толку: пока опустишься, пока поднимешься — они перелетят назад. Как положено, на четвереньках, поднимаюсь на опустевший склон. Я надеюсь, что кто-нибудь да остался. Но скалы

тихи и пусты. Изредка, как тушканчик, проскачет сорвавшийся камень. Вспархивают крошечные вьюрки, черные, как угольки, в огненно-красных шапочках.

Снова знакомый звон и тихое цоканье щебня. Пониже и поперек осыпи бегут серебряные кувшины на золотых куриных ногах! Большие, тяжелые, неторопливые. Серые, как скалы их родной горы. С разводами на перьях — под камни, покрытые лишайниками, с белым горлом и белым подхвостьем — под пятна нестаявшего снега. На крепких ногах цвета золотистых тюльпанов. Дети суровых скал, укрытых глухим туманом.

Весь год улары стремятся подняться в горы как можно выше — удерживает их только снег. В июле — августе снег поднимается к самым вершинам. В это время улары живут у самой кромки вечных снегов. А весной, в апреле — мае, они живут много ниже, вылетая на первые проталины горных лугов. Но никогда они не спускаются ниже границы леса — даже зимой, когда снег в горах опускается до подножия.

И гнезда улары устраивают на больших высотах. Это неглубокая лунка под нависшей дерновиной или наклонной плитой, небрежно выстланная сухой травой. А то и вовсе нет выстилки, и тогда яйца лежат прямо на мелком щебне. И так за время насиживания исцарапываются, что и расцветки не разобрать. Яйца крупнее куриных, голубовато-зеленые, с бурыми кляксами и точками. Сидит улариха на них все 28 дней очень плотно и сильно худеет. А птенцы вылупляются на редкость крепкими и выносливыми. Это-то их и спасает; ведь вокруг гнезда, бывает, снег лежит, а по ночам прихватывает мороз.

Если уларку спугнуть с гнезда — она притворится больной: неуклюже полетит над самым склоном, бестолково хлопая крыльями, цепляясь хвостом и ногами за камни, словно теряя силы. Прием безотказный: каждый хищник в первую очередь кидается за больным и слабым, надеясь на легкую добычу. И прием-то такой смог выработаться только потому, что хищники всегда предпочитали преследовать ослабевших.

Через день-другой улариха уводит цыплят из гнезда и больше в него не возвращается. Теперь ее голос, похожий на грубое квохтанье глухарки, слышится на каменистых склонах. Уларята отвечают ей пискливо и тонко.

Растут уларята быстро и за три месяца становятся ростом с родителей. До осени семьи живут дружным выводком, а к зиме соединяются в стайки.

Улары растительноядны. Их обычная пища — листья, стебли, побеги, бутоны, цветы, почки и семена разных горных растений. Горцы уверяют, что улары никогда не пьют.

Опасны уларам орлы: беркуты и могильники. Конечно, далеко не каждое нападение орла заканчивается удачей. Но все же

орлы — главная для уларов опасность. И, наверное, потому улары совершенно не выносят появления кого бы то ни было сверху — сразу же в панике срываются вниз. Погоня орла за уларом — картина потрясающая: смертельная гонка двух больших и прекрасных птиц среди диких скал, заволоченных туманом. Свист сильных и ловких крыльев, рассекающих разреженный воздух гор. Одна из тех картин, которые долго сохраняются в памяти. Увидеть это — редкая удача. И это надо именно увидеть — словами ничего не объяснишь. Но увидеть такую гонку удается все реже и реже: орлы и улары стали так малочисленны, что попали в списки исчезающих птиц.

Опасны уларам, особенно уларихам на гнездах и молодым, волки, лисицы, барсуки, каменные куницы и горностаи. И конечно, охотники-браконьеры, стреляющие уларов из тихих малопулек. Гибель уларов от естественных хищников «запланирована» природой. Многие тысячи лет хищники поедают свои жертвы, а тех не стало меньше. Миллионы икринок мечут рыбы, чтобы насытить жадные пасти своих врагов и тем самым сохранить нескольких мальков для продолжения рыбьего рода. А вот современного охотника в этом «плане» нет, для него природа не создала излишков, и он берет не свое. Потому-то тот, с малопулькой, убив одного улара, нанесет им куда больше вреда, чем орел, поймавший пяток. Для орла этот пяток был «приготовлен», он взял свое, а браконьер украл из неприкосновенного запаса. Он съел ту птицу, которая по планам природы должна была бы вырастить новый выводок. Выстрел браконьера весь этот будущий выводок уничтожил. Поэтому так опасен он, этот тихий человек с бесшумной малопулькой.

В высокогорье много невзгод: бури, обвалы, снегопады, гололеды. Не все выдерживают до весны. Но уцелевшие улары встречают весну весело, лихими свистами, танцами, драками. Петухи-улары иногда так упорно дерутся, что ощипывают друг другу шеи и головы догола!

И это происходит здесь, на этом вот уларьем острове, и на других разбросанных по горам «островах». Нигде на земле не увидишь больше этих красивых птиц — кавказских уларов.

Улары в горах — что-то совершенно особенное. Ученые, конечно, все о них знают: что едят, когда линяют и даже какие блохи на них живут. Но дело совсем не в этом. Улары в горах поражают воображение. У тебя перехватывает дыхание, восторг потрясает душу. И мрачный мир холодных камней сразу же оживает и наливается солнцем. И это в тысячу раз важнее всех научных сведений о них и уж, конечно, ценнее пера и мяса.

Охота моя удачна, хоть рюкзак и пуст. Добыча моя во мне. Я легко унесу с собой все эти огромные скалы, пласты снега,

клубы тумана. Плеск ледяной воды, звон текучего щебня, сипа, плывущего в вышине. Все часы и минуты, что я провел в облаках. И чем дальше потом я стану отдаляться от этого уларьего мира, тем он будет становиться мне ближе и ближе.

Пора с облаков на землю. Смотрю на осенние желтые склоны с пирамидами серых скал. На глыбе, на самом гребне застыл силуэтом «кувшинчик». Счастливой зимовки, улар!

Ночь в диком яблоневом лесу. Под яблонями всклокочено кабанами, на сучьях темнеют «медвежьи гнезда» — зало́мы. Медведь он и есть медведь; груши и яблони обламывает так же безобразно, как прохожие обламывают весной черемуху.

Сейчас все медведи и кабаны на уборке лесного урожая. Медведям вершки, кабанам корешки. Пока медведь на яблоне яблоки срывает, кабаны под яблоней собирают падалицу. Медведь разрывается между землей и небом: и слезать неохота и оброненных яблок жалко. И вот тихая лесная ночь оглашается медвежьей бранью. И какой! Стоит просидеть ночку, чтобы услышать ночной скандал.

Взошла луна, но от луны в лесу не стало светлей: все какое-то пестрое, непонятное. Пустынно и одиноко прокричала сова.

Удивительно хорошо! Ночь и крики сов. Но — увы! — ни одного худого медвежьего слова. Хоть я и вслушивался с надеждой, даже приставлял к уху ладонь. Лунные амебы переползли с сучка на сучок, тени листьев шевелились на светлых стволах. И словно ведьмы на помеле темнели на яблонях медвежьи «гнезда».

Когда-то, возвращаясь из путешествий, я торопился рассказать об увиденном. Слушатели не понимали: что может быть привлекательного в диких лесах и горах? Тогда я начал догадываться, что я, наверное, ненормальный. Так дальтоник неожиданно узнает, что он не так видит краски, как все другие. Теперь я не навязываюсь со своими рассказами, я жду такого же ненормального, как и сам. Дорогой читатель: наверное, и ты немножко «того», раз книжку не отложил и дочитал до этого места. У каждого рассказчика свой слушатель. И я рассказываю для тех, у кого хватает терпения слушать. Но если терпение у тебя иссякает, лучше отложи книжку. В ней и дальше все будет то же: леса, пустыни и горы. Звери, птицы и змеи. Дни и ночи под чистым небом. Все тот же незнакомый нам мир природы.

Незнакомое почему-то всегда страшит. Уже по этому одному мы должны узнать природу — чтобы перестать ее хотя бы бояться.

Очень важно, что ты увидел: еще важнее, что ты почувствовал. Нужно везде побывать самому: другой и увидит не то,

и не так почувствует. Без самого себя тебе в дороге не обойтись.

Только сам привезешь свое из дальних земель и принесешь из ближнего леса. А потом окажется, что это сугубо твое нужно еще кому-то. Так и собираешь друзей — слушателей и читателей.

Все мы смотрим на природу углубленно и просветленно, как обычно глядим в огонь. Что за счастье видеть и понимать! Видеть и понимать...

Слушай себя в голосах природы. Сверяйся с ней: в ней все нули всех наших отсчетов. Все печки, от которых принято танцевать. Все созвездья, указывающие пути. Потому-то слова мудрецов никогда не противоречат безмозглой природе.

Я не встречал еще дурня, который отправился бы с рюкзаком в парк, а не в лес. Никто не карабкается на отвалы породы — пусть они выше Монблана и Джомолунгмы. Значит, есть что-то в первозданности, что привлекательней рукотворного.

К полночи смолкли совы. Черное переплетение ветвей и звезды. Чуть различимый тоскливый звук заполнил все небо. Голос осени? Голос Вселенной? Вселенная говорит с тобой языком осеннего ветра — и ты понимаешь ее. Лежишь в медвежьем саду и слушаешь голос Вселенной...

18 сентября

День отъезда. Лес и горы еще вокруг тебя, но словно бы отдалились, отстранились, замкнулись. Они угадали твое отчуждение. Суета сборов. Ты взял свое, ты доволен, ты спешишь, ты уже где-то далеко.

Пылит машина. Отроги еще обступают дорогу, перегораживают ее, словно пытаясь тебя удержать, но, передумав, вдруг широко расходятся, словно раскрывая руки.

Чем дальше от гор — тем они выше и выше. Из-за лиственных лесов поднимаются уже пожелтевшие горные луга, за ними скалы, вершины, снега. Громады гор раздвигаются и вширь: все те места, по которым ходил, теперь всего лишь пятнышко на неоглядной горной гряде. И пятно сужается, съеживается и превращается в точку.

...А все в глазах твоих горный лес, а в ушах — его гул.

Вот так же однажды уходил за горизонт желтый мир тростников, в ушах все звучал их жесткий шелест, а перед глазами колыхались и кланялись густые серебряные метелки — пушистые, словно пена.

Мне не придется побывать на других планетах, но я отчетливо представляю, как это произошло бы. Нечто подобное уже происходило со мной.

Ведь миры природы — леса, пустыни, степи, горы — это не выдумка, это не для красного словца, это и в самом деле особые миры, отличные от всех других, ни на какие другие не похожие — как миры далеких планет. И та же неизвестность, загадки и тайны, нетерпеливое ожидание нового, а потом пронзительная тоска расставания. Мир, который ты ощутил, который стал частью тебя, вдруг начинает отдаляться и уходить. Дальше, дальше, и вот он снова становится далекой манящей звездой. И ты начинаешь существовать как бы в двух измерениях: ты здесь, и ты всегда там.

ТРОСТНИКИ

У кочна капусты сорок одежек, если их все сорвать — останется кургузая кочерыжка. Если хирургу положено докапываться до жилок и косточек, то нам с вами это совсем ни к чему, потому что ощипанная птица — даже райская! — не лучше гадкого утенка. Жизнь на уровне молекул интересна разве что специалисту-ученому. Нас же привлекает и волнует не сцепление молекул, а живое красивое существо. Нам, живым, подавай живое. И целиком! Сразу весь кочан, со всеми его капустными листьями. Мы слушаем пение птиц, не потроша песню на звуковые волны. Радуемся многоцветью природы, а не ее спектрограммам. Голая истина часто настолько нагая, что хочется отвернуться или поскорее ее прикрыть.

И тростниковые джунгли: все можно свести к химизму почвы, процентам влажности и градусам температуры. А можно не термометр и гигрометр брать с собой, не пробирки и химикаты, а набор из своих пяти чувств: зрение, обоняние, осязание, слух и вкус!

Да не забыть сунуть за пазуху любознательность, а в карман — ожидание чуда. И пешком — по планете «Тростник».

ТРОСТНИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Под горою течет река, а по берегам ее широко, словно поля пожелтевшей пшеницы, растут тростники. Ветер раскачивает их волнами, как спелое поле пшеницы,— там и тут вскипает пена серебристых метелок. Полузатопленными камнями, обросшими водорослями, кажутся купы ив. Незнакомые крики и свисты доносятся из тростников. И веет от них Неведомым.

С неведомым я столкнулся уже на спуске к тростниковому морю. На склоне, из сухой каменистой лощинки, заросшей

колючими кустиками «держи-дерева», шумно выпорхнули две незнакомые птицы, похожие на куропаток. Но они были темные, рябенькие и очень уж жались к кустам, чего куропатки не делают. Так я впервые в жизни увидел чудеснейших закавказских птиц — турачей, или франколинов. Позже я их встречал тут часто, многое узнал об их скрытой жизни, но первая встреча запомнилась: незнакомый мир тростников показал мне первого своего жителя — первого незнакомца.

Ниже по склону, на освещенном солнцем уступе, блестела большая змея. Она тихо ползла, высоко подняв голову и как бы всматриваясь вперед. И столько было в этом осмысленности, нацеленности, расчета, что я поежился: змеям не положено вести себя так разумно. И хорошо, что я спустился к ней на уступ: вблизи я разглядел, что это была не змея, а желтопуз, безногая ящерица. Желтопуз оказался на редкость длинный и толстый, к тому же он только вылинял и весь сиял, как смазанный маслом. Он спокойно смотрел на меня и моргал. И дразнился раздвоенным языком. Уголки рта у него чуть приподняты и от этого кажется, что желтопуз улыбается. Ящерица, хоть и безногая, на ступеньку выше змеи, ей уже простительно смотреть осмысленно и моргать — даже и улыбаться! И мы стали вдвоем смотреть на море тростников, шевелящееся под нами: что нас там ждет?

Незнакомое, неизвестное настораживает. В новом месте ты всегда несколько скован и сверх обычного осторожен. Есть верный способ избавиться от неуверенности — поскорее со всем познакомиться. И это совсем не трудно, потому что незнакомое само влечет неудержимо. Не одно желание преодолеть страх заставляет нас познавать: есть что-то в этом и от детской любви к загадкам, которые так интересно всегда разгадать.

Тут все загадка. Все, что вижу, что слышу,— все в первый раз.

Живу на вышке, занавешенной по сторонам тростниковыми матами. Они надежно закрывают от солнца, почти укрывают от дождей и нисколько не закрывают от ветра. Со стороны избушка на своих жердяных ногах похожа на уснувшую огромную всклокоченную цаплю. Поднимаюсь я в нее по высокой приставной лестнице.

По ночам в избушке сквозь щели светится огонек; я читаю при свете лампы. Мелкая мошка, обжигаясь, сыплет и сыплет вокруг стекла, как мелкий снег. К полуночи вокруг лампы поднимается валик из подвяленной мошки.

Чуть свет меня будят птицы; шурша и порхая, они хватают с матов ночных бабочек, которые ночью прилетели на свет. А тебе уже не терпится, тебя знобит: от рассветного холода и зуда узнавания. Первые шаги по планете.

Новое пока очень скромное, но, как всякое новое, привораживает глаза. На сухой равнине у тростников странные муравейники, не привычные для глаз муравьиные пирамиды, а скорее коровьи лепешки с дырочкой посредине. И муравьи какие-то не такие — поджарые и стремительные. Заросли высохшего бурьяна усыпаны, как цветами, белыми... ракушками! Тысячи ракушек-завитушек выползли на сухие стебли, крепко приклеились к ним и впали в спячку. Широкая лощина белых костяных цветов. Идешь, а костяные «цветы» позвякивают как колокольчики. И дюжинами падают вниз, усыпая темную землю белыми «лепестками».

На такое обилие в лощину собираются фазаны и склевывают ракушки, как ягоды. Видел и желтопуза — может, того самого? Он высоко поднимал голову, ощупывал ближнюю ракушку языком, скусывал ее и, похрустывая, жевал. Желтопузик лузгал семечки...

На горных склонах все высохло, все по-осеннему пожелтело и побурело. И вдруг весенний сочный запах черемухи! А черемухи быть не должно, она не растет на юге: начинаешь поводить носом, пока не нацелишься на невзрачные беленькие, полувысохшие цветочки. И не верится, что такие крохотульки могут так сильно пахнуть.

В тесных лощинках, там, где просачиваются родники, купы густых зеленых кустов. Колючий шиповник, ежевичник, акация с огромными бурыми стручками, «держи-дерево» — и все опутано лозами дикого винограда. На кустах граната висят кожистые плоды, многие лопнули и в трещинах видны ягоды, похожие на красные блестящие леденцы. Тут застоявшийся огуречный запах байковых листьев инжира, пожухлой травы, густая тень и прохлада, когда вокруг пекло, сушь и резкий свет солнца.

На колючих кустах наблюдательные «вышки» диковинных красноголовых сорокопутов; шапочки у них сияют начищенной медью. Схватив на земле жука или кобылку, сорокопут садится на «вышку». И видно, что он не один день ведет наблюдение с нее: все ветки кустика в белых потеках.

Сразу у подошвы гор начинаются тростники. По кромке их, словно фляжки в чехлах, лежат серые болотные черепахи.

Тростники высоченные, выше махровых кустов тамарисков, выше даже корявых развесистых ив. Входишь в них, словно в воду, и сразу тонешь. Теперь только желтые суставчатые стебли-палочки постукивают по сторонам, жестко трутся узкие листья, да вверху, в пушистых седых метелках поет ветер. А ты не идешь, а плывешь брассом, разгребая стебли руками. Тесно, душно и пахнет прелью. Ноги путаются в узловатых корнях и хлюпают по воде.

Первый «омут» — большая яма с водой, оставшейся после

паводка. Совсем недавно в яме ворочались кабаны и взбаламутили воду в жижу. Обалдевшие от мути, рыбы плавают поверху, высовывая из жижи круглые толстогубые рты. Кабаны нарочно мутят воду, чтобы всплывала рыба и ее проще было хватать. Между такими ямами-омутами у них протоптаны тропы, и они ходят по ним на рыбную ловлю. По следам видно, что прилетают на ямы и цапли: вот отпечатки их длиннопалых ног, а вот и белые кляксы. Рыбе в ямах не уцелеть; впрочем и к лучшему, вода в ямах все равно со временем пересохнет.

Осторожный уж высунул из травы глазастую голову, нацелился ею, как копьем, напружинился, выметнулся вперед, схватил задыхающуюся рыбешку и утянулся в тростник. Боком, как огромный паук, прошел у воды краб — тоже высматривает добычу.

Тут еще век первобытных чудовищ, дебри каменноугольного леса. Среди мокрых рыбьих спин плавают, покачиваясь, черные болотные черепахи. На иле следы шакалов: эти хватают рыб, уткнувшихся носом в берег. И потянулась цепочка: кабаны воду мутят, ужи, шакалы, цапли в мутной воде ловят рыбку. Кабаны пробивают тропы в густых тростниках — коты, шакалы, фазаны по этим тропам ходят. Все тростники пронизаны тропами, всех обитателей тростников тропы соединили. И меня кабанья тропа ведет в глубь тростникового царства.

Можно пройти и по речным протокам; сейчас они почти пересохли. И этот путь таит неожиданности. Однажды на свисающей пряди ивовых веток увидел, как показалось сначала, застрявший пук ветоши. Такие пучки часто застревают на ветках береговых кустов после сильного половодья. И только вблизи разглядел, что это висячее птичье гнездо! Что-то вроде мешочка, сотканного из растительного пуха, как из ваты. Еще и с трубочкой-коридорчиком сбоку! Но самое удивительное, как могла птичка в таком гнезде высиживать яйца,— ветер так раскачивал ветви, и гнездо так моталось, что не только могло укачать наседку, но и сбить из яичек гоголь-моголь!

На одной из таких проток случилась памятная встреча. На протоку вывела меня кабанья тропа. Были сумерки, и наползала гроза. Я спешил к дому, то есть к своей вышке на жердяных ногах. Как ни спешил, а темнота обогнала. И вот на повороте, где над темной водой нависли пучки тростника и пряди ивы, засветились глаза. Я включил фонарик — глаза светились. Две зеленых звездочки из темноты. Очень хотелось узнать, чьи глаза, но стоило шевельнуться и глаза бы, конечно, исчезли. Началось противостояние: человек и зверь. Что ощущал он? Конечно, страх. Но и любопытство: иначе зачем ему так долго стоять? Меня всегда трогало такое звериное любопытство, мне казалось, что именно с него и может начаться наше взаимопо-

нимание. Как мы ответим на это? Схватимся за ружье или за камень? Или будем сдержанны, как и они?

Противостояние непривычно затягивалось, и первым не выдержал зверь: глаза исчезли и послышался... сильный всплеск! Я подбежал к омуту с нависшими кустами — никого уже не было. До сих пор не знаю, чьи светились глаза? Да и зверя ли? Рассказывают, что перед грозой на отмели выползают большие сомы и зачем-то хлещут себя хвостом по щекам. И, бывает, мычат. Может, это и в самом деле был сом? Или большая выдра? Впрочем, не все ли равно. Важно, что мы мирно стояли в темноте и долго смотрели друг на друга.

Может, и зверю встреча запомнилась? И где-то отложилось, что человек — не обязательно враг? Встречи, только встречи решают, будут ли звери в диком ужасе шарахаться от людей.

Мои глаза не светились. И это, наверное, удивило зверя. Интересно, почему мы потеряли такое красивое свойство — светящиеся глаза? Что мы такое утратили, отчего наши глаза потухли?

Сказочное зрелище — светящиеся глаза.

Когда-то я специально охотился по ночам за ними. Сияли в свете фонаря розовые опалы заячьих глаз, изумрудные ожерелья джейраньих, рубины глаз гекконов. Только с переливами драгоценных камней можно сравнивать этот свет, хотя, конечно, и драгоценным камням далеко до накала живых глаз.

Надолго теперь кабаньи тропы и речные протоки стали главными моими дорогами.

Над тростниками сентябрь, и птицы тянутся к югу. Я вижу, как птицы улетают от нас в соседнюю страну, пересекая границу. Такое ощущение, что из одного мешка их перетряхивают в другой! Все мы с детства знаем, что «птицы на зиму улетают в жаркие страны», но, когда воочию видишь, как туда, на чужую землю, мчат и мчат стаи и косяки, становится как-то не по себе. Только тут становится особенно ясно, что благополучие их зависит от людей всей земли. Мало одних наших забот и внимания: надо, чтобы провожающие и встречающие были одинаково заинтересованы в их судьбе.

Птицы улетают от нас. Огромная стая скворцов уселась на провода, и провода провисли под ними. Посидели, пощебетали, словно прощаясь, вспорхнули с шумом обрушившегося ливня и переливчатым темным облачком скрылись в дымке чужой земли. Стая ласточек — мокрых, взъерошенных после купания в луже! — тоже расселась на проводах. Сохнут на ветерке, щебечут, чистятся. Шумный взлет — и до следующего лета! Вернутся ли? Это будет зависеть от того, как к ним отнесутся там. А там — это тысячи километров пути. Это па-

утина сетей птицеловов, выстрелы охотников, отравленные поля и воды. Жаркие страны давно уже не птичий курорт...

Особенно тревожно провожать журавлей. Этим большим птицам все труднее становится находить в пути места отдыха и кормежки. Не потому ли так скорбны их голоса?

Мне пришлось пролететь дорогою журавлей, я видел землю такой, какой ее видят сверху они. И мне стало страшно: редко внизу было место, куда можно было бы снизиться без опаски. Города, селения, дороги и провода, вспаханная и обработанная земля — журавлям на земле места не остается.

А птицы летят и летят. Золотисто-лазоревые щурки в дождь садятся на провода рядком и жмутся друг к другу. Под деревцом, как под зонтом, укрылось с полдюжины хохлатых удодов и четыре пестрых сороки. Шныряют в кроне, пощелкивая клювиками, какие-то пеночки. Пролетели стрижи, похожие снизу на черные скобки, промчалась стайка суетливых береговушек, за ними стайка ласточек-воронков.

Стая черных коршунов, то кружа каруселью — все выше и выше! — то скользя по прямой, как с пологой горки, не спеша продвигается к югу. Пустельги зависают, трепыхаясь, над лощинками или, увязавшись за тяжелым орлом, начинают, играя, пикировать на него, норовя щелкнуть крылом или цапнуть когтями.

Птицы улетают от нас. Печальны их голоса: или это нам только кажется? Бывает ли в самом деле «печальное небо», «веселая роща», «радостный восход» или «унылый ветер»? Или это только наше изменчивое настроение?

Птицы летят и летят.

Так что же такое антропоморфизм? А это то, без чего не может обойтись ни один художник. И начинается он у него уже с отбора картин и фактов. И продолжается в объяснении событий. И без него художнику в природе не́чего делать, потому что он, художник, показывает не столько природу, сколько ее влияние на человека. Для него всегда будут печальны голоса улетающих птиц и веселы возвращающихся,— как всегда были, есть и будут печальны все расставания и радостны встречи. Рассказывая о березовой роще, мы рассказываем не о ней, а о том, чем эта роща нас тронула, удивила или обрадовала. Мы всегда и везде рассказываем о себе. И если на картине художника одни деревья,— за каждым деревом прячется он сам.

Изо всех сил мы очеловечиваем природу. Птицы и звери у нас разговаривают, цветы называем мать-и-мачехами и иван-да-марьями, васильки у нас «синие, как глаза», а зори алые, «как щека ребенка». Ветер у нас «тоскливый», майский гром «веселый».

И вдруг становится ясно: а ведь мы так пытаемся ее за-

щитить! Очеловечивая, делаем ее понятной и близкой. И вот уже на птиц и зверей начинают распространяться привычные нам правила человеческого общежития.

Замахнувшись на лошадь, человек нечаянно ударил себя — и сразу понял, что лошади тоже больно. Узнал на себе, очеловечил. Разоряя гнездо и слыша истошные крики птиц, человек назвал это знакомым словом «отчаяние» — и задумался. Проявляя самый дремучий антропоморфизм, человек сумел разобраться в природе и наладить с ней человеческие отношения. Родилось сочувствие, подобное сочувствию к людям. В говорящего зайца стало труднее стрелять, стало неловко бить палкой царевну-лягушку.

Камень перевернул сапогом, а под ним фаланга ростом с мышь. Больше всего фаланга похожа на паука. Подняла передние мохнатые лапы с тихим писком — так пищат хвоинки в жарком костре! — стала свирепо наскакивать на сапог, пытаясь ущипнуть его своим раздвоенным клювом. Ворсинки на членистом теле вспыхивают на солнце, и кажется, фаланга искрит, словно перенасыщенная электричеством. И знаешь, что неядовита и безобидна, а жутковато. На это она и рассчитывает: нечем тебе защищаться, так хоть страшным видом своим напугай. Слабому нужен страшный облик. Безобразность — защита. И напускная свирепость тоже.

Сажаю фалангу на руку: медленно ползет, щекоча кожу множеством мохнатых и цепких лап. Сколько сочинено напраслин про это неприглядное существо! И ядовита, и трупный яд на зубах, и разносит заразу. И сколько побито таких вот безобидных, но страшных.

По дну проточки бредет боком краб и, высунув из воды глаза-перископы, следит за мной. Что надо этому двуногому пришельцу из чужого мира в его родимом болоте?

Все чаще встречаю соседей по тростникам. Но самых желанных пока не вижу. После встречи на склоне не видел еще ни одного франколина. А встретить надо, птица редкая даже в тех немногих местах, где она еще уцелела! И надо увидеть на воле хауса — тростниковую рысь. Как всякая кошка, хаус скрытен и осторожен. Он меньше лесной рыси, но значительно крупнее кошки. И отличен от кошек тем, что не боится воды, прекрасно плавает и даже ныряет. Хаус распространен еще широко, но и он стал везде редок. Всем диким кошкам не повезло, чуть ли не все они занесены в Красную книгу. Хаус, правда, пока туда не попал, но и его надежные убежища — тростниковые крепи — уменьшаются год от года.

Ищу на кабаньих тропах. А это скорее не тропы, а тоннели, пробитые кабанами в непролазном сплетении жестких тростников и колючих кустов. И по ним приходится не ходить,

а продираться, согнувшись как в тесной зелено-желтой трубе.

Тихо, сумрачно, жарко. Со всех сторон цепляются сучки и лианы. Кабан, с его задубелой кожей и проволочной щетиной, легко проскальзывает в трубе, а тебя она ощипывает, как куренка.

Ничего не стоит столкнуться в тесной трубе с кабаном, будь у него такой же никчемный нос, как у нас. Но нос у кабана «дальнозоркий», и он им «просматривает» тоннели даже за поворотами. Я уверен в кабаньем носе, и мне ничего не грозит; кабаны уступают дорогу заранее и так, что я об этом даже не догадываюсь. И боюсь я в тоннелях не кабанов, а гюрз. Эти ленивые твари любят лежать неподвижно, особенно у выходов тоннелей, по кромке тростников и сухих склонов гор. Окраска у гюрз размытая, незаметная: не то что наступить, рукой о змею опереться можно! И тут она тебя «клюнет». Не все обязательно умирают, но и не все обязательно выживают...

Если бы не это постоянное опасение и настороженность, пробираться по кабаньим тропам было бы одно удовольствие. Идешь и видишь то, чего бы никогда не увидел, если просто ломился бы сквозь тростники. И не увидел бы и не услышал: от тебя самого шума было бы, как от смерча, что изредка проносится над тростниками, крутя и мотая стебли.

Кабанам же в их проходах и совсем хорошо. С боков и сверху свешиваются черные кисти дикого винограда, растрескавшиеся плоды граната, ягоды шиповника, мягкие «кувшинчики» инжира — у кабанов тут совсем не свиные вкусы!

Однажды один из ходов вывел меня к главному руслу, к черному омуту под скалой. Кабаны тут, наверное, пили, а я забросил снасть на сома. На крючок-багорик нацепил ощипанную ворону и привязал тонким проводом к кусту шиповника. А когда через день проверил — снасти не было. Сом утащил ворону и... выдернул куст из земли!

Потом я видел здесь убитых сомов — были и двухметрового роста! В пасть можно было голову затолкнуть...

Середина октября, середина осени, по календарю, а по виду — лето: сухо, тепло и солнечно. Только птицы летят и летят на юг. Одни из них — галки, голуби, воробьи, хохлатые жаворонки, трясогузки — останутся тут зимовать. Другие — ласточки, горлинки, белые цапельки, удоды, щурки, сизоворонки — полетят дальше. Опыт тысяч поколений, неисчислимые жертвы — и вот теперь птицы знают, кому оставаться, а кому дальше лететь. Поражает их твердое «знание» и умение быть на чужбине, как дома. Нынешние птицы, выросшие на севере, и на юге чувствуют себя так уверенно, будто там и родились!

К вечеру в глазах рябит от пролетающих в небе птиц, а уши

переполнены свистом ветра и шипением тростниковых метелок. И ночью слышатся перелетные голоса над моей голенастой вышкой. А снизу плещут метелки, как затихающая вода.

Так и запомнились тростниковые вечера: пролетные крики птиц, текучий шорох густых тростников и грозный гул мошки за стеной. Вот выйдешь, и окунешься в мошку, как в ядовитое облако, и задохнешься, как в едком дыму. И это осенью, в октябре...

Утро зябкое, хоть солнце и ослепительное. Тамариски в густой алмазной росе — у нас так роса разукрашивает можжевельники. Пушистые кусты, словно усыпанные толченым стеклом. Не куст, а сияющее облако. И от этого по-весеннему радостно, хоть ноги и расползаются на осенней глине и пахнет осенней привялой травой.

Все привлекает внимание.

...На высоченный пук эриантуса, похожего на гигантский сноп с метелками наверху, вздумал сесть фазан. Тонкие стебли согнулись под ним дугой, петух соскользнул с них, сорвался и, бешено молотя пестрыми крыльями, ухнул в середину снопа.

...В каменистой лощинке гурток перепуганных кекликов разбежался, разлетелся веером, а погодя стал скликаться: сорок пять, сорок пять, сорок пять! Не поленился, сосчитал — а их и в самом деле сорок пять!

...Солнце сегодня пригрело так, что из норы вылезла черепаха, уже закопавшаяся на зиму. И еще встретил двух — бодались! Били друг друга панцирями — как весной. Осенний черепаший ток.

...Гирлянды ракушек-завитушек, которыми, как цветами, были усыпаны заросли бурьяна, все осыпались. Фазанам теперь их клевать совсем просто, да и желтопузам не надо тянуть шеи вверх. Кстати, их что-то давно не видно...

...Какие-то огромные рыбины, похожие на усачей, стоят у берега, выставив спины наружу и уткнув морды в траву. Одну удалось даже погладить: упругая рыбья спина, не как у кошки, под ладонью не прогибается.

...А вот и кошка — та самая, тростниковая! Перешла проточку по колено в воде и скрылась в кабаньем лазу: была и нет.

...В кабаньем тоннеле на вчерашних моих следах следы медведя! Что-то новенькое: медведь в тростниках! Уж не за рыбой ли он явился? Медведь, по местному «айе», живет высоко в горах: кто ему там рассказал про рыбу внизу?

...Сторож с бахчи рассказывает, что видел ночью ежа — черного! А таких не бывает. Белые среди местных длинноухих ежей еще встречаются, а вот черных никто не видел! Бежал, говорит, и на иголках дыньку с бахчи тащил. Все почему-то

упорно хотят, чтобы ежи таскали на своих колючках дыньки, яблоки, груши, грибы и сливы! А ежи с таким же упорством отказываются это делать. Тогда им нарочно натыкают яблоки на колючки и фотографируют.

...На камне, насупясь, сидит головастый сыч. Рядом с камнем суетится кеклик: на чем свет он клянет сыча. Сыч даже глаза закрыл. Кеклик смолк и тут же рядом стал что-то клевать, разгребая по-куриному землю.

Путь красят встречи. От этого даже унылая земля дивно преображается. Так вот из невзрачной куколки вдруг выползает красавица бабочка, и тогда даже осенью появляется весеннее настроение.

Обыкновенная стрекоза. Или чудо? Полжизни под водой, полжизни в воздухе. Сразу рыба и птица. А бабочка! Четыре рождения, три превращения — готовая сказка про оборотней. Два года копошится под землей безобразный «червяк» — личинка майского жука. Обернувшись жуком, месяц летает в кронах деревьев. Две жизни в одной: подземная и надземная. Это все равно, что побыть кротом, а потом превратиться в синицу. Пожалуй, такого и в сказках не было.

Входя в тростники или в лес — все равно! — мы входим в сказку. Начинается самая необузданная фантастика, самая невероятная выдумка — правда.

Солнце уже поднялось, но все еще зябко, стынут руки и — пар изо рта. Золотой частокол тростников, а за ним кусты тамарисков, как искрящиеся кораллы. Сапоги осыпают морозную пыль с ленточек желтой осоки. И вдруг взрыв, рубиновая сверкающая ракета! Это петух-фазан, жар-птица тростниковых джунглей, истошно горланя, взлетел и понесся над пеной метелок; длинный хвост его трепещет от ветра. Это не просто встреча, это какое-то потрясение! Мгновение обжигающей красоты. Неуловимо оно, его не схватишь, не остановишь, не наколешь, как бабочку, на булавку. Это то богатство природы, еще не оцененное нами, но которое мы можем потерять, так и не поняв, что теряем.

А турачей все нет. Они не так ярки, как фазаны, они не выставляются напоказ,— это птицы тени. Как-то краем глаза заметил, как с тропинки шмыгнул турач. И притаился. Я не спеша подошел и стал вглядываться в путаницу травы, веток и тростников. Никого, только рябь в глазах. Но постепенно хаос теней и бликов как-то собрался, определился, слился во что-то целое и законченное — рядом сидел турач! Окраска его вобрала в себя все цвета, тона и оттенки земли, его породившей. Он весь был соткан из пожухлых травинок, листиков и сучков, но их не как попало в кучу сгребли, а тщательно подобрали. И в этом подборе было столько вкуса, тонкости и чувства меры,

что было жутко: откуда это у слепой и неразумной природы?

Во что превратится убитый фазан или турач, если охотник их не найдет? А если найдет? Убивать — это превращать красоту в навоз и пакостить землю.

Однажды я вытряхнул на грядку семена из фазаньего зоба — и семена проросли! Зазеленел фазаний букет. Тогда я вспомнил о наших березах, тоже иногда растущих тесным букетом: ведь это памятники убиенным рябчикам и тетеревам! Ястреб или куница растерзают зимой, а из зоба, набитого семенами,— хищники никогда его не трогают! — прорастают березки. И растут кущей.

Тишина. Слышно, как на укромном галечнике в тростниках фазан шаркает ногами по гравию, словно курица. Вот насторожился, побежал, цокая, шумно взлетел — и теперь уже черный хвостатый петух несется над черными против солнца метелками. И таким он хорош, живой он всегда хорош.

Конец октября. Огромная стая черных грачей, басовито каркая, поблескивая белыми носами, пасется за рекой на убранных полях кукурузы. Потом они полетят на реку пить, и отмель из серой станет черной.

Порхают изредка бабочки. Второй раз цветет ежевика, появились пролетные самцы-зяблики. На пахоте, голубея, бродят голуби-вяхири.

А с гор спускаются пастухи. На конях, мулах и ишаках навьючен скарб: одежда, постели, посуда, жерди шатров. Важно шагают надменные верблюды. Большие собаки с подрезанными ушами гонят отары курчавых овец; овцы стекают с горы бурлящими белыми ручьями. За овцами, шумно перелетая, спускаются с гор стаи скворцов и трясогузок. Овцы для них вроде передвижного автобуфета — над отарами всегда роятся мухи, слепни, мошки и комары. И сами овцы тоже закуска — за ними спускаются с гор волки. Двое пастухов волочили по склону за ноги телку. Рыжая, с мертво болтающейся головой, с остекленелыми и выпученными глазами. Волки только что разорвали ей брюхо, но пастухи отбили и теперь сами ее съедят. Осенняя передвижная цепочка: люди, овцы, мухи, птицы и волки. И за всем этим шествием зорко следят с высоты грифы: не перепадет ли что и им?

Дневная жизнь тростников чуточку приоткрылась. И пора было узнавать, чьи голоса звучат в ночных тростниках, какие в ночных крепях шорохи, чьи тени шевелятся в темноте? Ведь дневная жизнь — это всего половина жизни.

Давно у меня облюбован в тростниках уединенный лесной островок. Там и в полдень-то полумрак и тишина: заходишь в него, как в подвал. Приглушенно покрикивают черные сумеречные дрозды, похрипывают большие серые цапли. От взмахов

их широких крыльев мотаются зеленые ветки. На грязи раздвоенные следы больших кабаньих копыт, крестики от ног турачей и фазанов. И аккуратные пятерни камышовой рыси — хауса словно вдавили в ил большущую ягоду ежевичины или малины. Вот еще невидимка: следы встречаются везде, а самого кота видел раз, да и то мельком.

...Неожиданно громкие всплески голубиных крыльев над головой.

Буду слушать тростниковую ночь. Наваливаюсь на куст, пригибаю ветки, обламываю сучки, втираюсь внутрь. Светло, солнце только что село в лес. Но за путаницей черных ветвей уже проступила луна. Ровно шумит вода. Начинается то особо приятное время, когда ничего не происходит, но каждую секунду может произойти.

Темнеет. Все вокруг как бы отдаляется и затуманивается. Занавес закрывается — окончено дневное представление. Чуть позже занавес откроется снова, и начнется представление ночи. А пока антракт: солнечный свет уже погас, а лунный еще не зажегся.

На отмель спускается цапля, полусложив крылья и свесив длинные ноги. Плюхнулась на гальку, вытянулась, замерла — шея как палка. Тоже вслушивается и всматривается.

У самого уха заквакала лягушка-древесница. Ей сейчас же отозвалась другая. Недовольно бурча, пролетела чуть различимая белая цапля-чепура. Суматошно затрещал позади в кустах черный дрозд, всполошилась и застрекотала сорока: похоже, выходят на охоту обитатели ночи.

День погас, вокруг ночь. Поет сверчок, непрерывно и монотонно. Стрекотание его сливается с ровным шумом реки: это тот звуковой фон, та ночная музыка, которая будет теперь сопровождать все события ночи. И усыплять тех, кому ночь дана для сна.

Луна из желтой стала зеленой и отразилась в бугристой черной воде и мокрой гальке. Белая цапля пролетела назад: теперь ее крылья полыхали зелеными отсветами, а сама она виделась изумрудной. Далеко, на пределе слуха, провыл шакал. Неслышно, словно огромные летучие мыши, сели на отмель две кваквы — ночные цапли. Посидели, сгорбившись, и пошли, тихо поцокивая камешками, тяжело вздыхая и покряхтывая, как старушки.

Пушистые кусты тамариска на лунных отмелях стали похожи на клубы застывшего тумана. И отмель от луны словно снегом припорошило. Ночное представление продолжается.

На том берегу, у самой кромки воды, зашевелились вдруг кабаны. Откуда они появились, когда подошли,— не видел. Сразу как-то возникли, как умеют это делать все ночные звери.

Постояли, прислушиваясь, и стали резвиться, гремя камешками и тихонько повизгивая. А потом так же вдруг исчезли, как и появились.

Долгая музыкальная пауза — шум воды и стрекотание сверчков. Матово блестят валуны на берегу, чернеют редкие пучки тростника. А за ними суматоха черной и золотой воды.

И позади тростники. Я невольно прислушиваюсь: со спины может кто-нибудь подойти. Но пока тростники шумят привычно. Когда накатывается волна ветра, тростниковые палочки начинают тереться друг о друга, а жесткие листья бьются, как схваченная за крыло стрекоза. Если же ветер налетает порывами, то тростники стучат, как костяные карандаши. А нет ветра, слышишь, как тростники потрескивают — сохнут. И если кто-то начнет подкрадываться сзади — тростники зашуршат по-другому, совсем по-особому. Ухо хорошо различает эти разные звуки — живые и мертвые.

На берегу в просветах между тростниковых пучков что-то мелькает. Движется нечто, ни на что знакомое не похожее: то ли улитка ростом с собаку, то ли неуклюжий тюлень. Движется вперевалку, ковыляя, колыхаясь и выгибаясь, подобно гусенице-пяденице. Закрыло один просвет, вот показалось в другом. Выкатилось на чистый галечник и без задержки бульknуло в воду, выплеснув лунный бурун. Так это же выдра!

Как неуклюжа на берегу и как грациозна в воде: летит сейчас в глубине с быстротою рыбы, чуть не касаясь усами дна, и перед выпученными ее глазами разбегаются по галькам лунные зайчики.

Тянется ночь.

Под утро из воды на отмель вышла тростниковая рысь — с рыбой в зубах! Кошка смотрела на лес, а казалось — прямо в мои глаза. Почему-то всегда кажется, что зверь уставился прямо в тебя, хотя и твердо знаешь, что он тебя не видит сейчас и не чует. Рыбина в зубах рыси судорожно поводила хвостом. Вот он — долгожданный хаус! До сих пор он ухитрялся скрываться, потому что всегда слышал мои шаги и уходил с тропы. Не раз, наверное, он следил за мной из-за тростниковых стеблей, прижимаясь к земле, когда я был близко, и вытягивая шею, когда я отходил. И вот настал мой черед: теперь я слежу за ним, а он шагает мимо. Ради одной этой встречи стоило проторчать ночь в кустах. Памятная сценка под занавес: большая дикая кошка в воде и с рыбой в зубах!

Через день я перебрался вниз по реке: горы тут раздвинулись шире, шире стала река, и тростниковые крепи были почти неоглядны. О жизни в них у меня сохранились торопливые записи: на листках, на картонках — на чем придется. Трудно сейчас разобраться в них, а часто и невозможно. Число, два-три

не связанных друг с другом слова. Ну вот что такое, к примеру, «розовый пух»? И число «7 декабря». Что за розовый пух зимой? Попробуем перенестись в то далекое теперь седьмое декабря...

Высоченные тростники, стебли толстые, как бамбуковые. Пышные седые метелки клонятся и попискивают от ветра. Холодно! А в глубине тростников солнечное затишье, пахнет прелью, жужжат осенние мухи. Осоковые поляны побагровели от заморозков. По утрам на лугах стрельчатый ледок в прожилку, на траве сухой сыпучий иней. Стынут пальцы, пар от дыхания холодит ресницы. Небо холодное и высокое. В небе ветер мотает караваны гусей: они норовят все клином, а ветер сбивает в табун, выстроятся пеленгом, а ветер снова в кучу собьет. Гуси недовольно гогочут, обсуждая открывшуюся им новую землю. Здесь придется им зимовать. Встревоженно затихают, наверное, представляли ее более гостеприимной.

Вспомнил о розовом пухе! Вот так же, как гуси сейчас, налетела из-за тростниковых метелок стая незнакомых птиц. Словно туча огромных мотыльков, трепеща и мельтеша крыльями. Зарябило в глазах, грохнул выстрел охотника, и одна из птиц, свесив ноги и воздев в небо крылья, упала в тростник. Большая, с курицу, грудь белоснежная, спина оранжевая, струйчатая. Перо холодное, чистое, удивительно свежее — ветром пахнет. Я дунул в перо, и открылся под ним легкий пух — нежно-розовый! Обычно птичий пух белый — природа экономна на краски. Для «нижней рубашки» сойдет и такой: яркие краски нужны для верхней одежки. А тут вдруг яркая розовая сорочка!

Но уже на другой день пучок розового пуха, который я положил в блокнот, стал тускнеть и скоро из нежно-розового превратился в грязно-желтый. Розовым пух мог быть только при жизни. И вот цвет жизни ушел. Вот так же исчезает у срубленных берез розоватость бересты, тускнеют яркие рыбы, вынутые из воды Смерть никого не красит. А сказочные розовые фламинго начинают тускнеть сразу же, как только попадают в неволю. Бледнеют в неволе малиновые щуры, красногрудые снегири, багряноголовые чечевицы. Неволя тоже не красит, жизнь в неволе бесцветная.

Странная южная зима: снега нет, греет солнце, лезет травка, везде зеленые лопушки. И звуки весенние: в небе гогочут гуси, свистят крыльями утки, на полях горланят грачи, в тростниках вскрикивают фазаны. На серой отмели дремлет на одной ноге серая цапля. Чем-то она похожа на огородное пугало. Над тростниками летит цапля белая — не птица, а ангел в кисейных одеждах! Природа украсила ее такими элегантными и пышными белыми перьями, что чуть не сжила со света. Откуда ей, слепой, было знать, что у людей появится мода, то есть стремление

приукрашивать себя снаружи. Модницы сразу же оценили красоту, созданную природой, и захотели присвоить ее себе. Захотели улучшить себя с помощью птичьих перьев. И улучшали они себя так долго и так настойчиво, что белых цапель почти не осталось.

Мода для многих животных оказалась страшнее землетрясений, наводнений и извержений вулканов. Мода превратила в портфели крокодилов, а змей — в галстуки. Свирепые барсы и леопарды превратились в манто, морские черепахи — в заколки и гребни. Все, носящие шкуру, живут под угрозой ее потери — разве что ежам ничего не грозит. Впрочем, как знать,— приспособили же дикобразов для зубочисток!

Модно стало держать в клетках особо редких зверей и птиц. Модно слушать клеточных птиц, а не записи их голосов. Модно держать в аквариумах и террариумах ярких рыб, змей и ящериц. Из-за моды миллионы — миллионы! — красивых и редких животных переселяются из лесов и степей в города. Города всего мира заселены сейчас дикими куда больше, чем самые глухие дебри. Любители редкостей и красоты превратились в злейших врагов природы. Ведь только у некоторых из них животные размножаются в клетках, у большинства же они непрерывно гибнут, а поставщики везут все новых и новых. А сколько гибнет во время поимки? При перевозке? В ожидании покупателей? Эпидемия любви, которая страшнее любой чумы...

Вышла мода на голубей — и голуби заняли города. Модными стали белки — и белок поселили в скверах и парках. Но стоит перестать их кормить — хоть на время! — как голуби и белки погибнут. И к тысячам погибающих в клетках добавятся сотни погибающих во дворах и парках. Может, лучше не превращать диких в замызганных дворняжек и попрошаек? Может, лучше оставить их там, где они и без нас могут прожить?

Для чего мы все тянем в дом? Не интереснее ли на все лесное смотреть в лесу?

До чего хороши красные осоковые луговины! По краям их золотая стена тростников, а под ногами обмороженная до красноты осока. Идешь по колено в красной траве и ждешь взлета огненного фазана. Он вырывается всегда неожиданно, как всплеск этой красной поляны, бешено молотя ледяной воздух упругими крыльями, словно растопыренными ладошками. Пламенеют перья, косит испуганный круглый глаз, и длинный хвост вибрирует на ветру.

Вчера петух не спеша вышел из тростников на дорожку. Два охотника направили на него ружья, но медлили, истекая охотничьей предупредительностью, предоставляя выстрел соседу. Пока показушничали друг перед другом, фазан нырнул в траву, поссорив охотников насмерть.

Выходят на дорогу и турачи, но они пугливо жмутся к обочине и чуть что — шмыгают в тростники.

Дорога укатанная, следов не видно. Зато отмели все исчерканы запятыми когтей и многоточиями лапок. Отмели гофрированные, как листы бумаги в косую линейку. Зверино-птичья клинопись: восклицательные знаки зайцев, крестики фазанов и турачей, нолики ласок и горностаев, вопросительные знаки жаб. Кляксы уток и выдр, венчики хауса и шакала.

Простор на отмелях, не то что на дорогах, огороженных тростником. Летят над водой два баклана, торопливо шлепая крыльями чуть ли не по воде. Грузно поднялся громоздкий пеликан и потянул, загребая под себя встречный ветер. Голову уложил на спину и важно выпятил зоб.

А в небе гогот — приближаются гуси. Сквозь метелки и прутья видно, как накатывается торопливая вереница тяжелых птиц — с возбужденным гоготом, с ветряным шумом крыльев. Увидев меня, гуси смолкли, сбились в кучу и штопором, напряженно вытянув шеи и неистово загребая крыльями, взмыли вверх.

Сбоку наползает мрачная синяя туча, на фоне ее трепещут тысячи белых крыльев. Как стая белых бабочек летят россыпью стрепеты. Стрепет — трепет. В полете этих птиц и в самом деле что-то трепещущее.

Стрепеты летят на зимовку в Иран. Валом валят — к ухудшению погоды.

Погода и в самом деле ухудшилась. То дождь, то ветер. Днем серо и холодно, а ночью заморозки. В такие ночи на травяные поляны ложится дымчатый иней.

Стаи зимующих грачей и гусей по утрам летят пастись на убранные поля. Днем у гусей мертвый час, спят посреди реки на галечных отмелях. Издали они похожи на россыпь серых валунов: ноги поджаты, головы спрятаны в перья. Грачи на ночевку садятся на большие деревья, и тогда голые сучья их покрываются черными «листьями». Трясется, повиснув на крылышках, пустельга. Ка-гак, ка-гак! — перекликаются петухи-фазаны. Картины птичьей зимовки.

Живут как могут. Радуются солнцу, прячутся от дождя. Каждодневная непростая и нелегкая жизнь живых существ в почти нетронутых тростниках. Почти, потому что и сюда уже проникает охотник.

Тропа вывела к дому охотника — облупившаяся мазанка, крытая тростником и огороженная тростниковым забором. На нижнем суку развесистой и еще зеленой ивы сушится большая кабанья шкура. На распялках, прислоненных к стене, серые шкуры шакалов. Одна, только что снятая, брошена на тростниковую крышу вверх розовой и сырой мездрой. Жир и кусочки

мяса с мездры старательно склевывают воробьи. Охотнику лень скоблить кожу; это делают за него воробьи и сороки. В Австралии фермеры так же вот поступали с овечьими шкурами и вешали их на забор, и от жира их очищали попугаи кеа. Попугаи до того пристрастились к мясу, что стали нападать и на живых овец. Что-то похожее происходит и тут. Воробьи, конечно, ни на кого нападать не станут, но вот сорок, долбящих израненные спины у ишаков, я уже видел. Ишакам часто сбивают седлами спину. А потом привязывают на луговине, чтобы поджили болячки. Тут на них, на привязанных, и нападают сороки. Если хозяин вовремя не прогонит сорок, могут продолбить спину и убить ишака. Такое уже случалось. Сорок за это клянут и стреляют, хотя сами же и приучили их к хищничеству.

На колоде сохнет барсучья шкура. Рядом с домом у кладки через ручей подвешен за ноги дохлый заяц, а у лаза в кусты — кошка. Это приманка для шакалов; под нею охотник насторожил капканы.

— Что-то не лезут! — жалуется хозяин.— Ночью мороз и днем холодно — дух от падали не расползается.

Попавшего в капкан шакала он убивает палкой по голове. Потом подвешивает к суку за задние лапы и сдирает шкуру «чулком». Раз до половины стянул, а шакал взял и ожил! Открыл глаза и стал клацать зубами. Пришлось проткнуть ножом голый синий живот. Охотники народ находчивый...

Однажды шакал, зажатый капканом за ноги, выкрутил их жгутом. Охотник схватил его за загривок, а он, стервец, оскалился. Сунул ему ножик в пасть, а он и в нож зубами вцепился. Всю пасть себе раскромсал — во зверюга!

Это обыкновенный охотник, а не какой-нибудь живодер. Для него зверей убивать — все равно что дрова колоть. Мы же не жалеем чурку, когда она разлетается надвое под топором. Мы же не содрогаемся, когда обдираем лыко с живых ракит. Или бересту с берез.

Сочувствие не с неба падает — оно воспитывается. Вот тут-то и нужен тот самый охаянный антропоморфизм. Примерь к себе, постарайся понять другого. Пусть звери разговаривают по-человечески: с говорящего зайца неловко шкуру сдирать. К тому же зайцы и в самом деле разговаривают: пусть по-своему, пусть по-заячьи. И, наверное, нельзя видеть в них только прыгающие заячьи шапки или воротники.

На ржавой цепи у дома облезлая и хромая сука.

— Кабан секанул,— говорит охотник.— Лапа криво срослась, но кабанов все равно гоняет.

У суки скоро должны быть щенки. Они еще не родились, а судьба их решена.

— Всех утоплю! — говорит охотник.— Не кормить же такую ораву.

Первый день жизни щенков станет и их последним днем. А сука виляет всем телом, рада, что хозяин на нее посмотрел.

Я не очень люблю собак, именно за их рабскую преданность. В рабской преданности есть что-то отталкивающее и унизительное. Надо ли ради подачки так умильно в глаза заглядывать и старательно вилять хвостом? Преданность хороша обоюдная. Ни во что не ставить себя — это значит развращать других. «Собачья преданность» звучит двусмысленно. Собачья преданность порождает собачью жизнь...

Не за это ли волки так ненавидят собак? Ненависть непокоренных к добровольно отдавшимся в рабство. Тысячу лет воевали люди с волками, а покорить не смогли. Против волков было брошено все: капканы, двустволки, трехстволки, пятизарядки, даже вертолеты и самолеты! Волки объявлены вне закона, их бьют и травят зимой и летом, уносят из нор волчат. За убийство волков назначаются премии. Способы убийства совершенствуются: начинали с дубинки, дошли до яда. Волкам, чтобы выжить, надо было умнеть. И волк устоял.

Волка так долго проклинали и унижали, что стали в конце концов... уважать! Да, теперь уже никто не призывает к полному уничтожению волков. Волк красивый и гордый зверь. А что собака: свистнул — и прискакала...

Зачем охотнику куча щенят. Настанет сезон, и он наловит в округе сколько угодно бездомных дворняг. Натаскает их за неделю и станет травить кабанов. К концу охотничьего сезона кабаны перебьют почти всех — ну и пес с ними, с псами! До новой охоты они не нужны.

Охотник-добытчик без предрассудков и сантиментов. У него договор и план. Охота для него не увлекательная забава, а тяжелый труд, который надо, по возможности, облегчить. На приемном пункте считают шкурки и проверяют сорт; о чувствах там не расспрашивают. Им все равно, как ты добыл,— лишь бы добыл. И даже лучше, если палкой по голове — меньше на шкуре дырок.

Говорят, что злых духов нет,— неправда! Злые духи — это наше плохое настроение. Оно как ворожба, как злые чары,— все из рук валится. И дело не клеится, и жизнь не радует. И кажется, без толку аукаться, раз никто не ответит тебе. Ухожу от пристанища охотника в самую глубь тростников, ухожу избавляться от духов!

Вечер и тишина. За синими увалами далеких гор — золотисто-жиденькая заря. На желтой заре четкий силуэт черного голого тополя. На сучке головастый и куцый сычик — неподд-

вижный, словно нарост. Над головой сыча мигает первая звездочка.

Приглядись, на чем задерживается твое внимание?

На чем задерживается, то и твое. Это ты сам, рассыпанный по земле, это части тебя. Не важно, большие они или маленькие,— они твои. Бывает, стыдно признаться, какие мелочи привлекают внимание. А что поделаешь, от себя не уйдешь. Ты есть ты и в большом, и в малом.

Днем сегодня снова порхали бабочки — это в декабре-то! Раскорякой — как заводная игрушка! — шагала по солнышку черепаха. Я прошел по ее следу назад и наткнулся на кабаньи порои. Кабан, копаясь, выковырнул из земли зазимовавшую черепаху — и пошагала она искать себе более спокойное место.

Сумерки. Я провожаю день, сыч встречает ночь. Порхает летучая мышь. Умиротворенно гогочут гуси, свистит куличок. Все разгоняют духов.

Сыч вспорхнул и улетел на охоту. Пора и мне на мою охоту — неизвестно за кем.

3 декабря

С утра дождь со снегом: то ли поздняя осень, то ли ранняя весна. На дорогах месиво — на каждый сапог налипает по пуду глины. Жаворонки сидят на обочине притихшие и нахохленные, на спинах белеют сырые снежинки. Недовольный зяблик трепыхается, скользя по наклоненной тростинке. Воровато пролетел по низу серый сорокопут, мелькая черно-белыми крылышками. Взвился вверх, уселся на маковку дерева и забелел. Как лист бумаги, гонимый ветром, пронесся над темным бурьяном седой ширококрылый лунь. Белая цапелька, мокрая и взъерошенная, сгорбилась на коряге. Прошлепал по слякоти заяц: жалкий, в мокрых сосульках, какой-то непривычно темный.

А снег все падает и липнет на тростники, клонит метелки вниз. Тихие снежинки пухом оседают на огромную серую лужу, а из глубины лужи навстречу им словно бы взлетают другие. Ранние сумерки заволакивают неприятные мокрые тростники.

Под ногами хлюпь, турачи и фазаны забились в крепь, притихли и дремлют там, уткнув носы в теплые перья. Грузный кабан, недовольно сопя, ломится напрямик, стряхивая на себя снег и воду. Да мокрый шакал чмокает по тропинке, и вазелинная жижа выдавливается между пальцами.

Впереди над тростниками столб и что-то на столбе темнеет. Ворона? Сова? Нет, дикий кот! Не хаус, привычный к тростникам и воде, а лесной дикий кот, который, как коту и положено, ненавидит сырость и слякоть. Вскарабкался на ветерок — и с омерзением смотрит вниз на промозглую крепь. Близко меня подпустил, все надеялся, что не замечу или пройду

стороной. Но столб у самой дороги, и разминуться нельзя. Во всех движениях кота видно, до чего ж неохота ему спускаться в сырость — только что не плюется! Хорошо собаке, даже плохой хозяин в такую погоду ее не выпустит! А дикой кошке укрыться негде. Нет ничего более унизительного, чем мокрая кошка.

Кошки звери особенные.

Кошки не собаки, у тех душа нараспашку. Кошка понятна только тогда, когда ей что-нибудь от тебя надо. А получила — и до свидания! Приглядитесь к кошке, когда она просто лежит и смотрит на вас. Нет ничего загадочнее кошачьих глаз. Словно знает о тебе такое, о чем ты и сам не догадываешься. Знает, но помалкивает — до времени, до поры...

Над кошкой хозяина нет, кошка человеку не служит. А что мышей ловит — так это она для себя.

Сбоку от тропы светится огонек. Дом охотника: в темноте он похож на большую скирду тростника. Из оконца светит таким уютом, соблазн его так велик, что не задумываясь сворачиваю к «скирде». И вот уже сбрасываю на печь набрякшую телогрейку, в руках у меня горячая кружка с чаем. Хозяин режет огромным ножом хлеб и сало. Сухо, тепло, светло. Темные тростниковые крепи — промозглые, страшные, неприютные! — остались за дверью. Они теперь угрюмо смотрят на нас черными глазами окон. Да поскуливают за дверью бездомной собакой, когда мы умолкаем.

Кот с печки светит глазами, собака под столом постукивает хвостом — они одним ухом слушают нас, а другим — ночь.

Разговоры о тростниках. Охотник говорит, что котов на столбы загоняет не слякоть, а шакалы. А когда шакал и кот встречаются на узкой дорожке — шакал разворачивается и бьет кота... задом! Боится, как бы кот не выцарапал глаза!

Охотник уверяет, что шакалы не трогают зайчат, фазанят и турачат — не чуют. Рядом совсем пробежит и даже не остановится. И кабана сейчас в тростниках не увидишь. А вот снег тростники положит, начнут кабаны через завалы сигать — тогда их можно стрелять даже влет, как фазана и перепелку.

Опасны ли кабаны? Подбитый, бывает, бросается. Раз от подбитого кабана в канал сиганул в телогрейке и ватных штанах, а раз на столб забрался — не хуже того кота! Сейчас, в декабре, лучше ходить с оглядкой. У кабанов гон, секачи злые, драчливые, им везде соперники мерещатся — могут кинуться на шум шагов или шорох тростника. Сейчас они неосторожные, выследить их легко, но мясо плохое, с запахом. Сегодня одного видел — идет и хрюкает. Да так могуче, что тростник вздрагивает! Всей тушей, всей утробой хрюкает — у некоторых мужчин бывают такие сильные утробные голоса. Хорошо, что ветер

от кабана тянул, близко прошел, но не почуял Это вожак, с таким никто связываться не станет. А дерутся кабаны остервенело. К гону шкура у них делается особо крепкой, словно надевают латы, а то бы эти «рыцари» сами себя перерезали.

Раньше здесь было много волков. То и дело слышишь, как в крепях поросята визжат — волки их рвали. А старых трогать боялись: клыкастый кабан волка легко засечет А свиньи кидаются в гущу колючих кустов и счесывают волков с себя, как репейники.

Тигриных следов не видел. Болтают, что видели одного повыше Джульфы — пить будто бы приходил. А у нас не слышно. Рыси еще живут — нынче одну сам убил.

Спрашиваю о самой таинственной нашей кошке — мануле Живет она у нас на юге чуть ли не от западной границы и до восточной, но везде так редка или скрытна, что большинство охотников о ней даже не слыхали. Никто не находил еще ее логова, никто ничего толком не знает об ее жизни. А кошка примечательная: шерсть густая и длинная, как у домашней «ангорской» или «сибирской», хвост короткий, а «лицо» широкое и плоское, как у совы. Только дважды зоологи добыли манула в Закавказье — недалеко от этих мест. Но охотник такого кота не видел. Он знает хауса — большой, рыжий, знает полосатого лесного и пятнистого степного, а такого — никогда не встречал.

Кот с печки смотрит на нас загадочными глазами, собака, блаженствуя, барабанит хвостом. С какой бы готовностью она рассказала бы обо всем, что видела в тростниках! Кот бы не рассказал...

Снова о кабанах. Как-то свинья с поросятами переплывала реку. Переплыла, а берег обрывистый, поросятам не выскочить на него: тычутся, тычутся и никак! Тогда свинья уткнулась в обрыв рылом, зацепилась передними копытами — ее развернуло и прижало к берегу боком. Поросята гуськом заплыли в хвост, как утята за уткой, один за другим стали вскакивать на спину а со спины на берег! Да шустро, как кузнечики,— он и палку схватить не успел! А за ними выскочила и матка.

Зверья сейчас стало меньше: лисиц, барсуков, шакалов. Раньше на одного шакала трех-четырех котов ловил, а теперь и одного редко. На зиму прилетала уйма уток, лебедей, стрепетов, дроф — где все теперь?

По черному окну полосует дождь и снег. А нам тепло, едим квашеную капусту, котлеты из кабанятины, редьку и соленые помидоры. Толстогубый и белолобый теленочек, растопыря тонкие ноги и вихляя неустойчивым задом, тычется в руки и пялит мутноватые еще глаза — ему всего несколько часов от роду

Тела наши тут, в тепле и уюте, а души там, в промозглых глухих тростниках, жутких и заманчивых.

Разговоры, разговоры, разговоры...

4 декабря

Заморозок прихватил грязь. У окна бродит сизый голубь в «лаптях». На лапки налипла грязь и смерзлась. А он все бродит, а вязкая глина все липнет, и вот ему уже ни шагнуть, ни взлететь.

У тростников поймал обессиленного петушка-турача: тоже в «лаптях» и обморозил пальцы. На левой лапке средний палец распух и уже без когтя, на правой без когтя задний палец.

Весь день слепой, слякотный и холодный.

У глиняной размокшей стены неприкаянно стоит круторогий баран и дремлет. На изгибе рога, как на насесте, сорока сидит. А две другие — на спине. И видно, как им тут тепло и удобно. Сорока, что сидит на роге, время от времени чешет клювом у барана за ухом, словно что-то ему нашептывает. Ощипывает кожу у глаза — баран только блаженно щурится.

На столе у меня лампа и чайник, завернутый в стеганые ватные брюки — чтоб не остыл. В углу в ящике возятся турач и голубь — они у меня на излечении. Для тепла горит керосинка, и гарь ест глаза.

9 декабря

Солнце, теплынь, голубое небо! Море желтого тростника. А под ним везде уже лезет зеленая, прямо весенняя травка. И даже лягуха урчала!

Приглашен охотником на кабанов. На ходу приглядываюсь к нему. По сторонам он не смотрит — только под ноги. Глаза у него для следов. А для четырех сторон у него уши: они вовремя услышат и побежку зверя и взлет птицы. А все остальное ему не надо. Идет добытчик — расчетливый, сноровистый и умелый. Его дело — взять. И все, что к этому не относится,— для него просто не существует. Разве вот только это — и то чтобы в другой раз под ноги не попадалось. Он наклоняется и ловко хватает за хвост змею — золотистого полоза. Обманутый весенним теплом полоз выполз из своей норы погреться на солнце. Издали еще ощутил он брюхом наши шаги, даже наполовину окунулся в нору, но затих: может, пройдут, не увидят? Очень уж неохота лезть в холодную сырую нору.

Куда там: левой рукой охотник схватил его за хвост, оттянул и секанул ножом напополам. Одна половина в нору ушла, вторая извивается в стороне.

Ничего не проглядят эти глаза, никого не прослушают уши.

Даже на зимней шапке его, как у чуткой собаки, «уши» подняты и торчат.

Взлетела сова — у них перелет сейчас, и они днем прячутся в тростниках! — он только ухом повел — «несъедобный шум»! А взлетел турач, мелькая рябенькими крыльями,— мгновенный выстрел — и турач закувыркался в траву. И снова глаза в землю, а уши — по сторонам.

Он никогда не врет, как это положено охотникам. О чем ему врать? Что убил огромного кабана? Или закапканил большую выдру? А где тогда мясо и шкура, почему не сдал? Что видел какую-то неизвестную животину? Так за это на приемном пункте квитанцию не выписывают. Он лишен даже этой радости — приукрасить.

Со мной он более разговорчив, разговоры эти ни к чему его не обязывают. Рассказывает, как ранил здоровенного кабана — последним патроном. Кабан с визгом завертелся на месте. Он не испугался, что кабан кинется на него, безоружного; он испугался, что кабан сейчас сунется в крепь и уйдет. Он схватил кабана за задние ноги и приподнял. Истошно визжа, клацая бивнями, плюясь кровавой пеной, кабан вырывался и скакал на передних ногах. Начался неистовый танец — карусель. Так и каруселили они, взрывая землю, оба рыча от страха и бешенства, пока не прибежал сосед по загону и не добил кабана в упор.

В другой раз схватил раненую свинью сзади за уши, насел на нее, запрокинул свиное рыло и перехватил волосатое горло ножом. «Ватные штаны потом выжимал от крови».

Сегодня собаки четырежды выставили на нас кабанов: дважды на охотника и дважды на меня. Охотник одного убил, а второй, почуяв его, кинулся на собак. Он летел на них сквозь тростник как торпеда, врезался в свору, и крайняя левая подскочила вверх. Я порадовался, что собаке удалось спастись, но, оказалось, она не сама подскочила, а ее подбросил мордой кабан, распластав бивнями грудь и брюхо. Собака даже не взвизгнула. Мы подбежали, но помощь была уже не нужна. Даже достреливать не пришлось.

Не пришлось и удачно выстрелить, хоть кабан дважды был рядом. Первый кабан лез прямо на ружье. Ясно был слышен приближающийся хруст, видно было, как вдоль канавы все ближе и ближе вздрагивают метелки. Вот сейчас я его увижу!

А кабан вдруг словно уперся в стену и намертво встал. Я слышал, как он сопит, собаки, наседая, захлебывались позади, а он ни с места,— как глыба камня. Учуял! И хоть ничего не видел, но твердо знал, что перед ним за тонкой стеной тростника стоит человек. «Видел» носом сквозь непроглядную крепь.

Постоял, посопел, и — неслышно и незаметно! — ушел в сторону. На «цыпочках» — как умеют ходить в чаще настороженные кабаны.

Что за чудесное чувство — ожидать появления зверя! Весь ты как вбитый кол: внутри от напряжения все звенит. Над головой, скрипя крыльями, прошли гуси, а тебе и покоситься нельзя! Комар хищно впился в шею — не до него.

Завыли, растерянно заметались собаки, но скоро снова схватили — и тоже носом! — кабаний след и погнали дальше. Одна из этих собак через пять минут была уже мертвой...

Изумляет звериный нос! Ведь собаки и в самом деле схватывают носом след, как мы руками веревку, катят нос по следу, как ролик троллейбуса по проводам.

Мягкие и гибкие тела собак путаются в тростниках, собаки не могут прошибить их, как прошибают крепко сбитые кабаны. Поэтому, когда кабаны набрасываются на них, собакам не увернуться, и секачи пластают их от хвоста до морды, а свиньи грызут. Собакам опасны и небольшие раны, если их не достать языком и не зализать — на голове или шее. Такие раны гноятся и долго не заживают. Правда, их иногда зализывают другие собаки, близко знакомые пострадавшим. И тогда все заживает — как на собаке...

Во второй раз собаки выгнали двух подсвинков. Сообразуясь с лаем, я пробежал вперед и укрылся за пучком тростника над обрывчиком у луговины, за которым слышался собачий лай. Из кустов на луговину вприпрыжку выкатились подсвинки. Серорыжие, всклокоченные, мокрые и в грязи. В азарте я бью навскидку — пуля шлепается о гальку у носа переднего, вторая вскидывает фонтан воды у хвоста второго. Подсвинки шарахаются и скачут назад в лозняки. Острая досада жжет внутри; как будто было бы лучше, если бы один из подсвинков катался сейчас по отмели, истошно визжа.

Многих увлекает азарт охоты. В те времена, когда дичи было много, а охотников мало, охота и в самом деле сближала людей с природой. Сейчас же в большинстве мест охотиться стало просто преступно — дичи-то не осталось. А где ее специально разводят, сама охота теряет свой изначальный смысл: какое уж тут сближение с дикой природой, если вместо нее давно скотный двор с кормушками, водопоями, солонцами, с мечеными полудомашними зверями и птицами! Потому-то сейчас все больше людей откладывают ружья и только самые ограниченные и упорные «ба́халы» и «добытчики» продолжают еще грохотать.

То, о чем я сейчас рассказываю, было давно, тревога за судьбу наших птиц и зверей только еще начинала закрадываться, охота не была еще преступлением. Дичи было довольно — и дичь была не прирученная. Но и тогда уже появлялось отвра-

щение к убийству тех, встречи с которыми были так радостны и интересны.

За день я выходился по крепям — как только добрался до своего спальника — так и ухнул, словно в темную воду. А охотник — неутомимый, неукротимый, двужильный! — «сбегал» на закате в дальние тростники, где наши собаки сегодня не были, выслушал в темноте свинью, за которой, густо похрюкивая, увязались два хряка, и затаился. Я так и вижу настороженные стоячие уши его шапки-ушанки, которыми он поводит, вслушиваясь в темноту. Он твердо знал, что свиньи-кавалеры рано или поздно повздорят. Так и случилось. Кавалеры сцепились, и большой турнул меньшого. Меньший в диком страхе, забыв про ветер, покатил по тростникам и выскочил... прямо на выстрел!

13 декабря

Ночь. Машина бежит по укатанной до блеска земляной дороге. По сторонам сплошной тростник, словно дорога огорожена забором из плетеных циновок. Дорога волнистая, машина то взлетает на освещенный гребень, то ухает в темноту. В резком свете фар даже маленькие выбоины темнеют провалами, а маленькие комья земли кажутся глыбами. И эти ямы и глыбы то вытягиваются, то съеживаются и вдруг кидаются под колеса.

На дорогу выскочил светлый зверек, замер и стал расти, вытягиваться вверх! Чем ближе машина, тем зверь огромней! И только совсем вблизи стало ясно, что это не зверь растет, а тень его вытягивается на горку. Зайчишка превращается в жирафа!

Зайчишка не выдержал и покатил. Что он выделывал! Подскакивал, как на пружинах, взбрыкивал белым задом, кидался из стороны в сторону. Круть, верть, взбрык — только белый цветок мелькает!

Ночная дорога. На обочине лежат два драгоценных камня — два багровых рубина. И вдруг рубины взлетают, мгновение светятся на лету и гаснут. Так обычно горят глаза козодоев, которые любят по ночам присаживаться у дороги,— но какие могут быть козодои зимой?

Торопливый ежик катится колобком — только светлые пятки мелькают! А положено-то ему зимой спать! Тушканчик скачет, как кенгуру, прижав передние лапки к груди и размашисто, как рычагами, работая задними. Длинный хвост с кисточкой машет дирижерской палочкой. Прыг, скок и в траву — наше вам с кисточкой!

Снова драгоценные камни — зеленые изумруды. Два шакала, две диких собачки стоят и смотрят на фары. А за поворотом

что-то длинное, вытянутое, приплюснутое — словно щука! — метнулось через дорогу. Уж потом догадываюсь — лиса!

Обитателей ночи почему-то притягивают дороги. Человеку просто проникнуть по дороге в мир ночи и увидеть то, что скрыто от глаз. Но чаще едут не просто увидеть, а чтобы стрелять: ночные звери не научились еще бояться машин. Они доверчиво выходят на свет. И гибнут если не от выстрела, то под колесом. Постепенно звери приспосабливаются, уже шарахаются от резких всполохов фар. Прячутся даже от вертолетов: в куртины тростника, в густые купы, даже зарываются в снег! Но пока только самые сообразительные. Остальные гибнут. И могут погибнуть, так и не успев приспособиться. Не видно больше орлов на столбах вдоль дорог, черепах и змей. Ночные дороги становятся все пустынней и безжизненней.

Впереди какие-то глыбы! Гурт свиней! Визжат тормоза, визжат свиньи и... кидаются под машину. Суматоха, возня! Хорошо, что успели остановиться: слышно, как кабаны тычутся о колеса и друг о друга. Вырвались наконец и с топотом вломились в тростник.

Раннее утро на отмели у реки. Перед восходом над самым горизонтом висело длинное лиловое облако с огненным ободком. Разгорелась заря: красная, ветреная, тревожная. Потом всплыло нестерпимо красное солнце и все вокруг — землю и небо! — окрасило в красный цвет. И сразу гнусаво и громко закричали в тростниках фазаны.

Стою под обвисшей ивой с красными листьями. Над головой пронеслись утки с красными брюшками. На речной косе дремлют розовые цапли. Над тростниками перелетают сороки — черные с розовым. Через реку летит огромная стая черных грачей с красными от зари носами. Промельтешил гурток багряных стрепетов. И я записал об этом на порозовевшем листке блокнота.

Красная река текла в розовых берегах. Из воды прыгали черные рыбки, а их хватали черные против солнца чайки.

Потом все стало желтеть, тускнеть, и вот стало привычным, обыкновенным. Стоило проспать это утро, и я бы никогда не узнал, что вода может быть красной, а чайки — черными.

Начинался обыкновенный весенний день посреди необыкновенной зимы! Везде лезет зелень, лиловеют какие-то цветы! На берег выползли погреться две водяные черные черепахи. Хохлатый жаворонок бойко семенит на проплешине: вот-вот взлетит и по-вешнему запоет.

Стягиваю телогрейку и сажусь на нее. Из бурьяна выпорхнули две перепелки. Из тростника на песок вышли сразу три турача. До чего хорош петушок — атласно-черный в белый го-

рошек! На шейке рыжий галстучек-воротничок. Нырнули в траву, как в прорубь, две быстрых фазанки. Свистя пестрыми крыльями, взлетел из полынки одиночный стрепет. Взлет как тревожный вскрик: мелькание белого и прерывистый свист В крыле у него особое свистящее перышко — сигнальное. Для предупреждения соседей. Один взлетит, а другие сразу насторожатся.

В ветвях развесистой ивы притаился тетеревятник. Глаза у него желтые, стеклянные, какие-то бешеные.

Солнце слепит глаза и греет лицо. Жужжит отогревшаяся муха. Теплый ветер поскуливает в ушах. Весенний день, весенняя лень, весенняя расслабленность и истома.

15 декабря

Погода испортилась: ветер, серо, холодно. Тростниковое царство насупилось и помрачнело. Идешь по кабаньей тропе, и кажется, что ты утонул в тростниках — одиночество и затерянность. Только ветер и тростники.

Над головой, загребая ветер широкими крыльями, прошли две дрофы. Им тростники не нужны, им нужна открытая степь. Издали стадо дроф в степи похоже на стадо овец: пасутся тесным гуртом, опустив головы в траву. Крайние дрофы не ходят, а выступают — важные и надменные, как индюки. Если мимо идешь — дрофы не очень боятся. А остановишься — сразу насторожатся, вытянув сизые шеи. И начнут отходить, оглядываясь через плечо. Если начнешь преследовать — пригнутся и побегут, замелькают белые пятна на рыжих телах, словно белые флажки просигналят тревогу. Раскинут крылья и тяжело поднимутся в воздух.

Еще бы не тяжело — каждая птица в пуд! Мало осталось на земле дроф: большим птицам нужен большой простор. А простор вымирает, как вымирают белые журавли. И пока никто не спешит заносить его в Красную книгу природы.

Через тропу мелькнул лазоревый огонек — зимородок. Родящий зиму. Есть такая примета: появился зимородок — зиму принес. Как у нас грачи приносят весну.

Над тростниками клубятся купы деревьев. Зеленый островок в желтом море. Лесные птицы нашли этот лесной островок. Взлетела, лопоча, стайка лесных голубей-вяхирей. На черной земле белеют разбитые раковины улиток — это работа дроздов. Одного вижу — бархатисто-черный с желтым клювом. Шныряет по валежине крапивник — хвост торчком, носик шильцем. Он так же неутомим на земле, как стриж в воздухе. Кажется, задержи его на минутку, останови — и птичье сердчишко взорвется от напряжения.

Затаенно перелетает по низу рыжегрудая зарянка и, при-

крываясь веточками, поглядывает на меня черным круглым глазом. Зяблик чистит нос о сучок. Дрожа крылышками, пролетела над вершинами пустельга, распластавшись, проплыл черный коршун. Настырно застрекотали сороки.

Вот и в лесу побывал — хоть весь лес насквозь виден. И знаю теперь, что происходит в нем. Сколько вокруг таких радостей! А то вот дома торчишь, и все вокруг без тебя происходит. День за днем без тебя, опять и опять без тебя. И знаешь, что невозможно везде успеть, а все равно изводишься. Мог бы узнать, увидеть — а не увидел и не узнал.

Пришвин как-то сказал, что «охота ему дорога́ из-за того, что он работает на ней ногами и ни о чем не думает». А вот без ружья совершенно невозможно быть в лесу и не думать! Все вокруг — каждая мелочь! — тревожит мысль. И снова и снова повторяешь себе: какое счастье видеть и понимать! Видеть и понимать...

Смотришь, как дышишь. И красоту понимаешь как признак здоровья природы: все красиво вокруг — значит, все хорошо!

17 декабря

Ай да зимородок — принес-таки зиму! Утром заморозок, на траве иней, на лужах лед. Но днем снова пригрело, земля отволгла, ноги ползут. Из норы на солнышко вылез барсук, пожмурился подслеповато, поводил мокрым носом, почесался всласть и принялся раскапывать муравейник. С головой зарылся, один зад наружу. Этот зад я и увидел. Подкрался и пощекотал зад палкой. Барсук замер, насторожился, но погодя заработал снова. Я сильнее пощекотал. Барсук обмер, потом выпятился из норы, уставился на мои ноги, фыркнул и запрыгал в тростник.

Черт меня дернул рассказать о нем охотнику! Он его выследил, ранил в ногу, прижал сапогом к земле, сунул в мешок и принес домой. Несколько дней барсучиха спала за печкой, свернувшись калачиком. По ночам тыкалась в углы и громко кричала. В норе у нее остался барсучонок; она не знала еще, что охотник выкопал его и убил палкой. С каждым днем барсучиха становилась злобнее и беспокойнее и, конечно, охотнику надоела. Он выволок ее во двор и стал бить палкой — той же самой палкой. Барсучиха сворачивалась в клубок и прятала под лапы голову. Тогда охотник наступил сапогом на шею и проткнул ножом затылок. Но барсучиха вывернулась и вцепилась зубами в нож.

— Тут я рассердился,— рассказывал охотник.— Схватил ее за задние лапы и хряснул о косяк.

Конечно, не каждый охотник может вот так — и ножом, и палкой. Особенно охотник-любитель. Но ему и не надо: убий-

ство для него, впечатлительного, по возможности облегчено. Не можешь палкой или ножом — бей из ружья, издалека. И не спеши подходить к подранку — побереги свои слабые нервы. А если подранок что-то долго уж кувыркается — добей, снова издалека. И смени ружье, если оно «живит». Выбирай ружье с «резким боем»: убийство будет происходить без излишних волнений.

Впрочем, не все «любители» так чувствительны. Многие добивают зайцев о дерево, а уткам даже прокусывают затылки. Как хорьки. И говорят, что это всего лишь дело привычки.

Кто ловит зверей капканами, тот постоянно орудует палкой. Он привык к виду сломанных крыльев и выкрученных жгутами лап. И палка в его руках естественна, как принадлежность капкана. Впрочем, палка не позабыта и в «Советах охотнику». «Подоспевший охотник (желательно с сильным электрическим фонарем) может легко застрелить барсука, но может убить его и просто палкой (бить лучше по носу!)». Так что мой добытчик со своей палкой не нарушил даже приемов любителей; вот только не знал, что бить лучше по носу, и бил по голове. Почти охотник-спортсмен.

Скажут, какая барсуку разница — палкой его или ружьем? Для барсука, наверное, никакой. Для человека разница. Человеку положено быть человеком. Ни к чему ему, как хорьку, перекусывать затылки уток и бить палкой по головам. Незачем оленю-пантачу целить непременно в печень, как рекомендуют мудрые охотничьи инструкции. От такой раны олень будет умирать долго и трудно, но зато раненый упадет осторожно, не кувыркаясь через голову, и не попортит панты.

Еще косматы наши сердца, мы еще не убили зверя в себе — потому так легко убиваем зверей в лесу. Знать бы всем, как убивают при загоне лосей, как калечат с машин сайгаков, как бьют дубинами котиков. Однажды был снят кинофильм, но показать его не решились. А напрасно: вдруг бы это кого-нибудь бы и образумило.

И я был охотником, и я у природы только брал. И мне казалось, что бесплатно беру. Теперь я понял, какую дорогую цену я за все платил. Платил потерянной радостью общения с живыми, удивлением перед их необычной жизнью, удовольствием видеть зверей и птиц здоровыми, веселыми и красивыми. Разве могут сравниться с этим какие-то паршивые шкуры и мясо? Я рад, что вовремя спохватился и бросил ружье. И природа теперь дарит мне то, что в тысячу раз дороже пера и пуха. Я больше не оскверняю тишину леса грохотом выстрелов. И мне не надо размахивать палкой или ножом.

«А если звери и птицы неумеренно расплодятся? — ужаса-

ются притворно охотники.— Что тогда? Как вы обойдетесь без нас?»

За полвека моих наблюдений никто, никогда и нигде неумеренно не расплодился. Разве что сами охотники. Но если вдруг и случится такое чудо и от птиц и зверей где-то станет тесно, то существует санитарный отстрел. Как санитарная рубка. И ни при чем тут любительская охота! На бойнях тоже бьют скот, но это не называют охотой. Убой есть убой. Охота совсем другое.

Любительская охота изжила себя: не потому, что стала невыгодной, а потому, что стала позорной. Охотники разводят дичь, а потом ее убивают. Как на звероферме или на бойне. Они уже не охотники.

19 декабря

Ветрено и свежо. На столбах, торчащих из тростников, на которых в слякоть отсиживались коты, кто-то выстроил шалаши! И только вблизи разглядел, что это... бурые грифы! Огромные, хмурые, нахохленные. Сидят сутуло, свесив шалашиком мокрые крылья.

В горах грифы не кажутся такими огромными — тут же настоящие шалаши! С гор их прогнали снега. В новом и непривычном месте грифы чувствуют себя неуютно и неуверенно. Нет знакомых «подъемных вершин», нет гребней, вдоль которых легко и удобно скользить на прибое теплого ветра. Нет крутых каменистых осыпей, похожих сверху на чешуйчатый рыбий бок,— на них всегда кто-то ломает голову или ноги, и всегда есть пожива.

Грифы сушат намокшие крылья. Я обхожу их далеко стороной. Я знаю, как тяжело им сейчас взлетать. А если гриф упадет в тростник, то из него ему уже не выбраться. Грифу нужен простор для разбега, а еще лучше скала, с которой он прыгает в пропасть.

Многие птицы и звери стали настолько редкими, что встретить их — все равно что увидеть снежного человека.

Грифы пока не так еще редки, но видишь их чаще издалека. Поэтому так хочется разглядеть вблизи.

Трудно понять, как они еще ухитряются жить. Птица большая и прожорливая — где найти столько падали? Раньше павший скот выбрасывали за околицу — теперь свозят в скотомогильники и зарывают. Когда-то от болезней гибло много овец — теперь налажена ветеринарная служба. Тысячи кочевников жили в степях и горах, оставляя на стоянках отбросы. Сейчас везде благоустроенные фермы, к которым даже волки опасаются подходить. Да и какие у фермы отбросы — разве что пустые консервные банки...

У пастухов ружья — к стаду не подпускают. В поселках тоже

ружья — не показывайся и на окраине. Одна надежда на погибших архаров и теков,— а их и живых-то осталось чуть...

Падальщики — уборщики. А раз нечего убирать, то к чему и они? Все то же: к чему и зачем? А к чему лес или река? Не для того, наверное, только, чтобы снабжать дровами и волочить баржи? Если грифы только уборщики и санитары, то кто же тогда настоящие санитары и уборщики? А вот кто — люди. И живут они, наверное, не для того только, чтобы умирать. И это самое главное. И люди и птицы должны на земле жить. А лес расти, и реки течь; даже если ненужными станут дрова и все гидростанции.

Грифы в меру ума приспосабливаются. Видел стервятника, который глотал твердых, как камни, жуков-навозников. Белоголовый сип клевал зайца, задушенного петлей. Бурый гриф потрошил отравленных сусликов — этот околел и сам...

Грифы хмуро сидят на столбах — изгнанники гор, последние из могикан...

Столько дней хожу по кабаньим тропам, а кабанов не встречаю: они меня чуют раньше, чем я успеваю увидеть их. Чутье — это как бы глаза, видящие сквозь стену. Глаза, которые видят в кромешной тьме, за поворотом, сквозь землю.

У нас главное — зрение и слух, у кабанов — слух и нюх. Наш мир — это разнообразие красок, форм, звуков, их мир — разнообразие звуков и запахов. Не вижу — не чую, страшный вид — страшный запах. У кабанов не белая зима, не золотая осень, не зеленое лето, у них какие-то другие сезоны — за́паховые.

Мы протираем глаза — они продувают нос.

Мы зыркаем глазами — они шмыгают носом. Нам в темноте постоянно то видится, то кажется: у кабанов такого даже не может быть — нос их работает безошибочно днем и ночью. Обладай мы кабаньим нюхом, мы не рассказали бы о «чудиках» и «привидениях» — нам бы ничего никогда не мерещилось. Мы всегда бы точно знали, кто скрывается в темноте. И, возможно, картины писали бы не красками, а ду́хами. Духописная живопись. Семь основных цветов — семь цветов радуги. А сколько главных запахов? Какая запаховая «радуга» у свиней? И какая из радуг богаче — наша или свиная?

В отношении богатства все ясно. Дело не в том, много ли ты видишь и чуешь, а что из этого выбираешь. Мы смотрим на все, а видим то, что нам интересно и нужно. И кабан может чуять тысячи разных запахов, «радуга» носа его беспредельна, да только из всех этих тысяч волнует его какая-нибудь дюжина или две.

Смотрим и ведем отбор. Иначе бы захлебнулись и утонули. Каждый видит свое. И кабан свое чует — кабанье, необходимое. Остальное для него просто фон, не влияющий на поступки и поведение. Говорят, и пчела видит только цветы с нектаром, остальные не замечает.

Кабана волнуют «съедобные» запахи, запахи врагов, сородичей, целебных растений — всего того, что определяет его нехитрую жизнь. Наслаждаться просто запахом ему не дано. Во всем огромном мире у него свой, кабаний мирок. Там все необходимое и достаточное. А что за границами этого мира — ему не нужно. Оно не для него. Его просто нет. А нам нужно все — тем мы и отличаемся от животных. Мы раздвигаем назначенные нам природой границы, мы уже не можем только пить, есть и спать. Мы выползли из тесной ячейки, нам стало нужным и то, что раньше виделось только «фоном». Нам нужно все: если под ногами — то до центра Земли, если над головой — то до центра Вселенной. Мы ощутили красоту и беспредельность мира. И пусть беспредельность и красоту ни съесть, ни напялить на плечи — нам уже без них не обойтись.

Пронзительный восторг открытий! Если кончится удивление перед миром — что тогда будет двигать нами?

Кабаний «духописный» мир определяет свиное брюхо. И боязнь за собственные окорока. И не нужен ему ни свет светляка, ни свет звезды. Ни запахи несъедобных цветов, ни краски золотой осени.

И все-таки поразителен этот запаховый кабаний мир!

Мы прячемся за кустами, камнями, деревьями — кабаны прячутся за ветер. Глаза подводят нас в сумерках или тумане; кабаний нос подводит кабана при изменчивом ветре: встречный ветер — и он «видит» носом, как в ясный день, ветер попутный — и он бредет, как в тумане. Кабан, уткнувшийся носом в землю,— все равно что гурман, уставившийся в свою тарелку. Чтобы дальше увидеть, мы поднимаемся на цыпочки,— кабан, чтобы дальше учуять, задирает голову вверх. Чем выше зверь, тем он дальше чует. Слоны чуют до полутора километров — они ведь и хобот вверх еще поднимают.

Мы при встрече «осматриваемся», кабаны — «обнюхиваются». Мы можем ввести в заблуждение, изменив свой облик: нацепив на себя ветки или вывернув наизнанку тулуп, выряДиться медведем. И кабан может стать оборотнем: как собака, выкатается на падали, натрется о смолистое дерево или вымажется в илу. Спрячет свой запах, заменит его другим. Лесные кабаны любят спать на муравейниках: кто знает, может, они так для волков «превращаются» в муравейники?

Нас можно обмануть подделкой: деревянным раскрашенным

яблоком или картонным апельсином — кабан к ним и носа не повернет.

В мире запахов свои хитрости и законы. Если осьминог, обманывая акулу, выплескивает ей в глаза «чернила», которые, расплываясь, становятся похожими на него самого,— пока подслеповатая акула разглядит, где осьминог, а где его подражание, можно успеть спастись. Пахучие зверьки — хорьки, норки, горностаи, ласки — при нападении на них, скажем, лисы выбрызгивают мускус: пока лиса разнюхает, где зверек, а где только запах его,— тоже можно спастись.

А что за чуткость! Нам, глазастым, просто по рисунку следа определить, в какую сторону бежал зверь. А как это сделать носом? Собака поступает так: нюхает один за другим два или три отпечатка и по силе запаха — уменьшается или увеличивается? — узнает направление хода! Трудно даже представить, ведь для нас это все равно что на глаз определить, какой из трех отпечатков отпечатался на долю секунды раньше!

Для чуткого носа в лесу не бывает пусто. Там, где мы никого не видим, собака чувствует себя как на толкучке; для нее вокруг кипит жизнь. Правда, нам, горожанам, не стоит завидовать этому свойству, с таким носом нам в городе не прожить, нам пришлось бы постоянно его затыкать, как мы уже затыкаем уши...

Загадочный и таинственный мир. Умирающий зверь еще жив, а к нему уже спешат трупные мухи, звери-падальщики, жуки-могильщики. Почуяли запах смерти...

Мир животного узок. Каждый в своей ячейке, как личинки пчел в сотах. Благополучие каждого держится на нескольких определенных условиях — из всего бесконечного их разнообразия. Пусть погибнет весь мир — кроты даже и не заметят, если сохранится их подземелье с личинками и червяками.

Но если даже весь мир будет процветать, а в кротовых подземельях нарушится критический процент влажности — кротам конец.

Мир зверей уязвим. Стоит перегородить вот эту реку и отвести воду на полив полей — и сразу рухнет весь устоявшийся мир тростников. Потому что это не просто заросли тростников и не просто скопление диких животных, а именно мир, взаимообусловленный и взаимосвязанный, такой же неповторимый, как мир отдельной планеты. Планета «Тростник».

Посылая на другие планеты свои приборы, мы тщательно их обезвреживаем, чтобы ненароком не погубить чужую жизнь, не нанести ей вреда. Всегда ли так поступаем мы у себя на Земле?

Что бы сказали мы, если вдруг какая-то высшая цивилизация вздумала уничтожить жизнь на всех соседних планетах? Это бы

не имело оправданий, было бы непонятно и дико. А вот исчезновение «планет-ландшафтов» пока еще мало волнует нас Ту же планету «Тростник» может походя спалить любой пастух и даже просто прохожий. Захотел — и поджег.

Мир животного узок. Одни из них видят только движение. Замри все на миг — и мир для них опустеет. Лягушки и жабы подохнут с голоду, если червяки и насекомые не будут двигаться. Сдохнут среди обилия. Исчезни зерна, которые голуби могут проглотить целиком,— и околеют все голуби. Ни одному голубю не придет в голову «мысль» прижать кусок лапой и расклевать, как это делают сотни других птиц.

Считают, что лягушка может увидеть неподвижный мир, если прыгнет сама. Нет ничего, прыгнула — и все возникло! Фантастика: мир, возникающий на прыжке! Прыжок — и ты в другом измерении. Полезный урок домоседам: прыгнете — и вам откроется мир! Берите пример с лягушки. Хоть будете знать, что кроме четырех стен бывает и что-то другое.

Фантастический мир. Подземелье, подводье, мир горных вершин. Планета «Тростник», планета «Пески», планета «Болото». А на планете «Болото» поразительное существо — лягушка. Она видит только то, что на планете движется. Планета невидимок. Они то появляются, то исчезают. Села птица и. исчезла! Только что порхал мотылек — и нет! Цапли не было, и вдруг она рядом — из ничего! В воздухе змеиная голова — нацеленные глаза, стиснутые граненые губы. Она летит, она уже рядом — и нет ничего! А где была — шевелится раздвоенный червячок. Лягушка прыгает на него и... попадает в змеиную пасть. Планета привидений. Кошмарный сон.

Возможно, все происходит и не так, никто ведь не видел мир глазами лягушки. Но, судя по ее поведению, все так и есть. И если мы хотим понять «братьев наших меньших», как привыкли мы их называть, то надо научиться видеть мир их глазами. И их глазами увидеть себя. Это очень важно — увидеть себя глазами других.

Тропа ведет в тростники. Видишь вперед шагов на десять, как в тумане идешь. И тревожно шумят метелки.

20 декабря

Все время стараюсь найти турачей, красивых и редких птиц. И не покидает ощущение, что вижу их тут в последний раз. Конечно, когда-то спохватятся и постараются турачей сохранить. Запретят для начала охоту — но кто проверит запрет в этих крепях! Попробуют разводить в вольерах — но это будет уже курятник. Кормушки, решетки, теснота, толкотня. Такие турачи никому не нужны: разве что магазину да охотникам вместо мишеней. Когда чего-то становится много, это «что-то» сразу

теряет цену — даже деньги! Мы развели в городах голубей, а теперь не знаем, что с ними делать. Для начала сняли знаки, охраняющие голубей от автомобилей...

Инкубаторская птица годна лишь на мясо. Рвется цепочка — животное и среда. Гибнет самое главное: естественность, нерукотворность. Нет тайны, нет загадки. И все не так.

Охотник часто приносит турачей, и я спешу их рассмотреть и измерить. У петушков клюв ото лба 20—24, плюсна 55,8—61,8, хвост 93—103, крыло 163,4—178,5 миллиметра.

Курочки почти такие же: клюв 20,8—22,8, плюсна 55,0—57,6, хвост 94,0—104,4, крыло 160 — 178 миллиметров.

На ногах у петушков небольшие шпорцы, у курочек на их месте чуть оттопыренные чешуйки. Встречаются турачи сейчас по одному, парочками, тройками. Ловко прячутся в густых зарослях, летать не любят. Как и фазаны, любят выходить на дороги, кабаньи тропы. Зимой особо скрытны и малозаметны, голоса не подают. Страшен для них глубокий снег и мороз. После суровых зим, бывает, во многих местах исчезают совсем: гибнут от голода или слабнут и попадают в зубы лисиц и шакалов, в когти ястребов и котов. Наверное, их зимой можно было бы подкармливать, как кое-где подкармливают фазанов и куропаток, но пока это не принято. А вот бить палками ослабевших принято. Тысячи лет назад мы впервые взяли палку в руку и до сих пор ею размахиваем.

При встречах стараюсь запомнить каждую мелочь. Вдруг исчезнут? Пусть хоть в памяти сохранятся.

21 декабря

Сейчас хозяева тростника кабаны. А когда-то была и на них управа — тигры и волки. Сейчас тигров нет, а волков почти не осталось. Сейчас кабанам страшен лишь человек. Он один стоит всех волков и тигров. Когда-то появление волков и тигров говорило об обилии кабанов. Хищники ведь не могут жить там, где мало дичи. А вот охотники и там уживаются и доколачивают остатки. Появление в лесу охотников вовсе не означает, что развелось много дичи.

Пастухи выжигали тростник, охотники выбивали кабанов, а исчезли... тигры. Чтобы уничтожить степных орлов, не обязательно в них стрелять — достаточно вытравить сусликов. Протравливали зерно, а вытравили фазанов, перепелок, зайцев-русаков, куропаток. И тысячи мелких птиц.

Мы все хотим присвоить себе: леса, болота и воды. Но без воды не останется водоплавающих, без лесов и болот — лесных и болотных обитателей. Надо нам выделить хотя бы часть лесов, полей и болот в полное распоряжение птиц и зверей. Если бы могли обойтись без древесины! Если бы перестать травить

землю и воду химикатами. Если бы дым и гарь не отравляли воздух!

Если бы, если бы, если бы...

Охотимся на кабанов. «Дикая» охота на них тоже уже вымирает. Еще несколько лет, и о ней будут лишь вспоминать. И надо бы как-то запечатлеть ее — «как это было»?

Охота с собаками не по мне. Это избиение и кабанов и собак. Охотник собирает свору дворняжек и пускает ее со своей собакой, натасканной на свиней. А дальше идет отбор: непригодные к охоте либо сами сбегают, либо их вырубят секачи. Иной раз после дневной охоты половина собак остается в кустах. Зато уцелевшие становятся умелыми, хитрыми и осторожными.

На собачьей охоте всегда много крика, сумятицы, бестолковщины и дурной опасной стрельбы. Охотники бьют всех подряд: секачей, свиней, поросят. Очумелые звери выскакивают на поляны или дороги, ружья гремят, и слышно, как свинцовые кругляки шлепают в крепкие тела. Выстрел. Мокрый шлепок, кабан кувыркается через голову и, хрипя, бьется на земле.

Другое дело охота в засаде. Ни шума, ни суматохи. Все вокруг происходит так, как и всегда. И если даже кабан не придет — кабанья-то ночь придет непременно. И станет твоей добычей.

Какая все-таки удивительная тишина бывает в природе! Еще серебрятся на тростниках метелки, а внизу уже темень и пучки поблекшей травы кажутся темными кочками. Луна не спеша пересиливает угасающий свет зари — и все становится иным, ночным. Появляется удивительное ощущение таинственности,— оно никогда не появляется в местах обжитых. Природа прирученная, одомашненная в первую очередь теряет очарование таинственности и неожиданности. Как и прирученные животные: взгляд равнодушно скользит по всем этим буренкам, хавроньям, несушкам и квочкам.

Луна — новенькая, яркая, чистая. И на мохнатых метелках не то иней посверкивает, не то просвечивают первые звезды.

Уныло затянул запевала шакал, ему сейчас же подпели молодые: тонко, капризно, обиженно.

Вот и ночь. На смену уставшим глазам можно выставить на пост уши. Торопливо свистя крыльями, пронеслись в вышине невидимые утки. Тоскливо вскрикивая, опустился на отмель запоздалый куличок. А сейчас... Многое знаешь уже вперед: и что провоют шакалы, и пронесутся утки, и куличок покричит, но сколько бы ни сидел ночей — каждая будет заново! Все будет и так и совсем не так. Все случится по-новому — природа не повторяется. Тысячи шорохов за ночь — и каждый не похож на другой.

В тростниках сбоку тихий, но ясный шорох. И знаю — живой! Живой шорох всегда узнаешь, он как-то не в такт всему, что вокруг! И слышишь его не только ухом, а как бы всем телом. А если он сзади, то ощущаешь спиной.

Шорох стих, и на расплывчатой стене тростников проступило пятно. Кабан или тень? Вглядываться нельзя: только начни — и оживет любой пень и камень.

Сгусток темноты рассеялся, на его месте засквозило небо. Кто-то закрывал собою просвет! Кто-то там был!

Пуки тростника на земляном валу канавы расставлены как снопы. Между «снопами» трясутся звездочки. И вот просветы поочередно один за другим начали закрываться, а звездочки гаснуть. Большое тело двигалось вдоль канавы. Веду ружьем за тенью, обгоняю ее на один просвет и навожу ружье в звездочку. Как только звездочка гаснет — жму на спуск. Всплеск огня, ружье лягнуло в плечо. А когда утихает эхо выстрела — тяжелый дробный топот копыт по земле, словно скачет табун коней!

Потом тишина. И в тишине страшное мокрое хлюпанье умирающего кабана. И вечный вопрос на зверовой охоте: а что теперь делать с ним? На что мне туша мяса и свиная шкура?

Охота быстро превратилась для меня в цепочку разочарований. Ну когда еще все было в первый раз: первый раз на току, первый раз с гончими. С подсадной, на привале, по следу. Тут и азарт, и любопытство. А потом все повторялось и становилось скучным. Одно и то же — что может быть унылее? И каждый удачный выстрел — как капля! — долбил и рушил мое увлечение. Пока я однажды не понял, что весь смысл и красота охоты — до выстрела. Прекрасно выслеживание, волнует поиск, соревнование в хитрости, терпении, осторожности. А выстрел совсем не нужен, он лишает тебя всего этого, он — тупик. Без него ведь все бы продолжилось, началось бы самое интересное, самое увлекательное — общение с диким существом с глазу на глаз.

Жалею, что понял это я не сразу,— сколько потерь! Но рад, что все-таки понял.

23 декабря

На восходе, когда низкое солнце разлиновало дорогу и вызолотило осоку на обочине, вышел на колею фазан. И вспыхнул как граненый рубин! Ну что тут такого — на дорогу вышел фазан? Почему же торчу столбом и не свожу с него глаз? И как мне остановить это мгновение, чтобы оно навсегда осталось со мной? Такого не будет в благоустроенном будущем. Все там, наверное, будет, все будет рассчитано и предусмотрено, а вот этого — нет Потому что такое невозможно ни рассчитать,

ни предусмотреть. И мы уже многое растеряли — ни памяти, ни следа. И продолжаем терять.

Вымирающая красота земли. От нее не останется и костей. Ничего. Она не может даже стать ископаемым, это нечто исчезающее бесследно.

26 декабря

Мелкий, нудный, нескончаемый дождь. Все мокрое, грязное и осклизлое. Мокрые жалкие воробьи, мокрые понурые голуби. Нахохленные жаворонки и трясогузки. Мокрые вороны и вымокшие сороки.

Лепешки глины, густой, как тесто, липнут на сапоги. И каждая метелка выплескивает на голову пригоршню воды. Неуютная будет ночь в тростниках.

А вчера вечером дул резкий ветер, то один, то другой пучок тростника начинал клониться и дергаться, и казалось, что приближаются кабаны. То сзади, то сбоку от укрытия выли шакалы. Старая сука или кобель затягивали: у-у-у-у! И все настораживалось. А шакал тоном выше: у-у-у-у! И тут вечернюю песню подхватывали прибылые — вах, вах, вах! С подвизгиванием, с подвывом, жалуясь и грозя.

Миллионы людей не слыхали шакальих песен. И, конечно, не считают себя из-за этого обделенными. И все же не спешите отмахиваться — есть что-то в этой перекличке диких собак! Особое настроение ночи, ощущение места, особый настрой.

Я сто раз слышал их, и всегда с удовольствием. Можно, конечно, и обойтись без фазана-рубина, без свиста стрепетиных крыльев. Без многого можно обойтись. Но если так легко отбрасывать и отбрасывать, то можно ни с чем остаться. Не разумнее ли не отбрасывать, а прибавлять? Взять и вставить в свою жизнь вой шакалов и утреннего полыхающего фазана, крики улетающих журавлей. И всю эту тревожную и ветреную ночь в тростниках,— всю целиком.

Сегодня сижу на осоковой кочке у тростниковой кромки. Слева шумит в темноте река. Сверху сеет водяная пыль. А справа тяжелыми волнами качаются тростники.

Сырость холодит лицо и руки. Слушаю ночь.

Сейчас должны пролететь вечерние утки. И утки летят, слышно торопливое виханье жестких крыльев. Пора запевать шакалам — вот и запели: унылый вой, а потом торопливое тявканье. Ну, а теперь будем ждать живое потрескивание тростников или тихое клацанье гальки под копытами кабанов.

А вместо этого гром! И снова выстрел и всплеск огня! И человеческий крик. Кричит сосед-охотник. Бегу — вдруг кабан сбил его? Нет, все в порядке. На голой отмели темнеет человеческая фигура, а в стороне лежит что-то грузное. Убитый

царь тростников. Он такой огромный, что даже привычный охотник не выдержал и позвал посмотреть.

Царь еще тихо всхлипывает. До этого он бился на отмели, как огромная рыба. После выстрела кабан сел на зад. Сидел по-собачьи и клацал зубами. А потом полез на охотника — пришлось добить. Думаю о страшной силе рассвирепевшего кабана. Даже если не распорет клыками, то убьет с разгона ударом тела. Многопудовая туша, клубок тугих резиновых мышц, катится со скоростью борзой собаки и бьет тебя, как кувалдой!

Царь затих. Охотник пинает его ногой — брюхо колышется, словно желе. Оставляем царя на отмели. Пусть лежит. Расходимся по местам.

Мягкой тенью пролетела сова — вот кто умеет летать бесшумно! Помню, задремал у костра и вдруг чувствую, что кто-то дышит в лицо. Открываю глаза — сова! Зависла над головой, колышет крыльями и смотрит. Крылья напряженно машут, а звука нет — легонький, как дыхание, ветерок.

Долго ничего и никого. Только ночь! Это она рождает такое напряженное ожидание. А что нету живых шорохов, так это только пока. В любое мгновение они могут послышаться. И это вот «могут» не даст скучать, какой бы тихой, безжизненной и долгой ни была ночь. Лесные часы ожидания — особенные часы. Однажды я приманил рябчика. Он сел очень близко и затаился. Так я три часа — три часа! — простоял на одной ноге, с ружьем наготове, боясь пошевелиться и отпугнуть. И это были не пустые часы — раз я так долго помню о них.

Не происходило, не происходило — и произошло. Слева тихий треск пересохших стеблей, чуть слышное звяканье гальки и вдруг непонятный обвальный всплеск! То ли обрушился берег, то ли взлетел перепуганный гусиный табун.

Я только слышал, а сосед мой все видел. Из тростников выкатился гурт свиней, процокал копытами по отмели и с ходу обрушился в речку. «Как черные шапки по воде поплыли». Плыли и негромко пофыркивали.

Вспугнутый куличишка долго кричал и кружил в темноте, все не решаясь сесть на встревоженную землю. И только сел — как тут новые кабаны! Снова треск стеблей, цоканье — всплеск. И снова мечется в темноте кулик.

А кабаны из крепи лезут и лезут! Какой-то исход на другой берег реки — что им там надо? Охотник, пригнувшись, бросился наперехват, распластался у выброшенной коряги. Через минуту коряга плеснула огнем и на отмели забился кабан.

Кабанов забирали утром. Царя на телегу поднять не смогли, пришлось ставить доски и втягивать тушу веревкой — как бочку с мазутом. Второй был тоже хорош: метр шестьдесят от пятачка

до хвоста, высота в холке метр. На плечах и боках шрамы свадебных драк. Репейники закатались в щетину. Из-под оттопыренных волосатых губ тускло поблескивают клыки, кривые как ятаганы. Один я выбил на память — тридцать сантиметров по сгибу...

Куда они так упорно спешили? На свиданье к заречным свиньям? Или на богатые выпасы? Эти двое до них не дошли.

27 декабря

Тополькн, ивы и тамариски голые и унылые. Поблекли и вылиняли тростники — зимние дожди смыли с них яркую позолоту. Лишь в затишье еще зеленеют или краснеют листья ежевики, да зеленые хвощи — длиннющие, в два с половиною метра! — торчат как дикобразьи иглы.

Сухая трава шуршит под ногами, словно по смятой бумаге идешь. Фазаны и турачи знают это и прячутся посредине полян — никому к ним не подойти. Белая цапля садится дремать на отмель посреди стайки уток: цапля спит, а утки ее караулят. И я сажусь под иву так, что позади, за спиной у меня сороки: если кто со спины появится — сороки предупредят.

Вокруг зима без снега. Красная осоковая поляна. За ней полоса тростников. За тростниками — далеко, далеко! — синие волны гор.

Все больше людей с надеждой всматриваются в природу, словно ожидая от нее откровений. Или ответов на непростые вопросы. Словно ей, дикой, известно нечто такое, что когда-то знали и мы, а потом забыли. Что-то изначальное и очень важное и чего нам теперь очень недостает. Какою ценой мы оплатили свои удобства? Что потеряли и что получили взамен? Больше ли стало в жизни радостей? Что толку в мудрости, выраженной в словах, если в делах еще столько глупостей?

Неожиданно сзади затопотало! Я суматошно вскочил, повернулся — куда смотрят эти раззявы сороки! Но топотал заяц; им сороки пренебрегли; он еще больше моего испугался, летит над осокой как птица, мелькая своими выбеленными боками. Вот фазана вспугнул, тот закагакал, взлетел, повис над зайцем, молотя крыльями. Заяц наддал и налетел на турачей — те рассыпались в стороны, словно брызги! А тут и настоящие лужи пошли и зашлепал заяц по ним, как хлопунец-утенок.

Я выбрался из-под ивы. Меня-то сторожа-сороки сразу увидели и застрекотали на все тростники, предупреждая все живое.

28 декабря

Снова облава. Поддался общему возбуждению и суматохе. И снова неприятный осадок. Кончился азарт погони, преследования, бестолковая и лихорадочная пальба — свезли к дороге

девять зверей: кабаны, свиньи, подсвинки. Лежат туши, как на бойне.

Кабана не назовешь красивым зверем. И все же это не бесформенная хавронья, волочащая по земле сальное брюхо. В кабане дикая мощь, свирепость, а в соединении с зарослями он в общем смотрится совсем неплохо. Особенно ночью.

Буду их караулить ночью, ни к чему эта бестолковщина, облавы, крики, лай и визг собак, суматошное беганье по тростникам.

Спустился к реке вымыть руки, только нагнулся к воде, а с обрывчика, через голову запрыгали... поросята! Их недалеко подняли собаки, и, спасаясь, они попрыгали в воду. Плюх, плюх, плюх! — и быстро поплыли, выставя пятачки.

Снова сижу на кочке у ночной стены тростников. Я не очень надеюсь, что услышу или увижу что-то новое — столько уже высижено ночей! Но вдруг? Вдруг переплывет тигр с той стороны. Или забежит гиена; когда-то они жили тут. Или кот-манул. Пусть хоть тростниковая рысь — ни разу ночью не выходила. Хотя следы ее на песке вокруг каждое утро.

Суматошно свистя крыльями, пронесся чиренок. Солидно прошел в вышине запоздалый косяк гусей, гундосо погакивая. Один гусь отстал, догоняет, тревожно гогочет. Крыло у него как-то странно дребезжит и скрипит, наверное, не хватает перьев.

Привычно зашелся воем шакал, близко совсем, вроде даже глаза сверкнули. А вот и новенькое: шуршали, шуршали в тростниках крапивники да вдруг посреди ночи запели! Пропищал комар. Лягушка проквакала. А через два дня Новый год!

Мне повезло, что я в тростниках зимой. Летом тут властвует гнус: комары, мошки, москиты и слепни. И потому днем и ночью тут «гнусно».

Комар настырно завывает над ухом, прихлопнуть бы стервеца, а нельзя — выдашь себя. Открываю ладонь, комар, щекоча, усаживается на нее, и я быстро сжимаю кулак.

В тростниках потрескивает — ближе, ближе... Загустело пятно на кромке — или кажется? Нет, не кажется: пятно стронулось, тихий скрежет гальки под тяжелыми копытами. За большим пятном движется маленькое — свинья и поросенок. Остановились. Не то вздохи, не то сопение: принюхиваются. Снова чуть слышный стук камешков — пятна плывут над отмелью.

Вижу фигуры диких зверей, слышу ночь — что еще от охоты надо? Мне довольно просто видеть картину ночи и слышать тихое поцокивание звериных копыт. Зачем? А вот этого я не знаю. Зачем растет дерево? Для чего полыхают молнии? Так было, так есть, так будет.

11 января

На дворе солнце, теплынь, мягкая, прямо весенняя дымка! На галечной отмели посредине реки дремлет стая гусей. Все, как один, стоят на одной лапке, поджав вторую, спрятав голову в перья спины. Вокруг гусей вповалку спят утки — как булыжники. Полуденный птичий сон.

То и дело с полей подлетают к ним новые гусиные косяки, опускаются, кружа по спирали,— словно их затягивает водоворот. Весеннее небо, радостное гоготание, плеск живой воды. И везде лезет яркая зелень.

Зяблики-самчики сбились уже в гурты — не к отлету ли приготовились? На столбах дремлют большие светлые канюки; жмурятся, как коты на солнце. Кружат над степью, мельтеша крыльями, большие стаи стрепетов. На вспаханном поле — пашут уже! — шумная стая ворон, грачей и сорок. Торопливо бегают блестящие, словно намасленные, скворцы. Деловито бродят белоглазые галки в серых платочках, семенят голуби и хохлатые жаворонки.

Над тихими кабаньими тропами толкутся комарики. Зайцы стали встречаться парочками. Петухи-фазаны все чаще выкрикивают свое гундосое ка-гак, ка-гак! Шумно выпархивают из бурьянов рыженькие перепелки.

А на моей далекой родине дремучие еще снега и трескучие — со скрипом! — морозы. Середина зимы...

16 января

Теплынь! На реке — у того берега — рыбаки тянут сеть. Заходят в воду в рубахах и подштанниках. Помощники и любопытствующие топчутся босиком в жидком илу, выкрикивают советы. Подходит местный охотник: в войлочной шапочке, в сыромятных чувяках с закрученными носами, в драной куртке и шерстяных красных носках. Древнее его ружье похоже на пионерский горн — с раструбом на конце длинной трубы — ствола. Ствол в напаянных медных заплатах и прикручен к цевью проволокой. Под огромный ударник подложена тряпка — чтобы он случайно не разбил пистон. Заряжается ружье, конечно, со ствола — шомпольное. Вместо шомпола палка: при ходьбе охотник опирается на нее, как на трость.

Рассматриваю это охотничье чудо. Все оно дребезжит и клацает. Из-под цевья лезут... клопы!

— После каждого выстрела лезут! — сокрушается охотник.— Жарко, что ли...

Трудно сказать, для кого ружье опаснее: для охотника или для дичи? Стреляет он из него кабанов, но сам их не ест — он мусульманин! — а продает армянам. Хочу спросить, кого он

больше боится — диких кабанов или своего ружья? Но тут налетает огромная рассыпанная стая гусей: гогот, гул, шарканье крыльев! Охотник вскочил, со скрипом — двумя руками! — оттянул огромный боек и нацелился. Мы закрыли глаза, пригнулись, прикрыли руками головы. Ахнул ужасный выстрел! И градом посыпались сверху — нет, не гуси, а загогулинки гусиного помета! Град забарабанил по головам и земле.

Стая была такая огромная, что зеленого града хватило и рыбакам у реки и всем их болельщикам, даже вода забурлила вокруг! Начался крик и смех, все грозили охотнику кулаками. Он смущенно ушел, чадя едким дымом из всех щелей своего самопала.

Что за прелесть этот охотник! Куда ему убить кабана — это он не удержался, нахвастал. Разве что сидячего зайца, и то если в упор. А вот весь день месит грязь. Волнуется, обмирает. И в деревне над ним, конечно, смеются. А дома ругают. Но он терпит. Молча паяет ствол, прикручивает его заново проволокой. Стреляет в утку, рискуя жизнью... Редко что приносит домой. Но снова и снова идет в тростники — зачем?

Вот он идет. То и дело поворачивает голову. С мочажины взлетел бекас и, вихляя, замелькал над лужком. Тяжело поднялся орлан-белохвост и замахал вдоль реки. Важно пролетел над охотником пеликан, колыхая белыми крыльями. На мысках застыли белые цапельки. Щебечут на бурьяне щеглы. Черные бакланы покачиваются на волне. Плывут гуськом черно-белые крохали, пестрые, как сороки. Охотник крутит головой. Может, ради этого и отправился — идти и видеть? Но этого уж и совсем никто не поймет; и вот он берет ружье.

...А мой кабанятник по сторонам зря не станет глазеть. Ему не нужно того, чего не нужно заготсырью. Он носом в землю, а уши по сторонам.

20 января

Последний день в тростниковом царстве. Особое, непривычное состояние — все видишь в последний раз. И вот эту поляну, и эти снопы высоченных эриантусов, и эту дорогу. Или это вот дерево. Каждый раз, уходя в тростники, я проходил под ним. Оно давно уже примелькалось. Но сейчас я смотрю на него по-особому Будут другие деревья и поляны, куда пышней и развесистей, но этого не будет. Теперь каждый из нас станет жить сам по себе.

Что за наваждение — прощаюсь с деревом! Или с самим собой, который теперь навсегда останется тут? С днями, оставленными в тростниках?

Провожу ладонью по корявой коре. Я не увижу этого дерева. Но оно свое дело сделало.

Вот и скажите теперь — сколько стоит дерево? Какая цена его шума? А цена его тени? А памяти?..

Хоженая кабанья тропа. Привычное уже чувство одиночества и затерянности в нескончаемых тростниках. Гогот гусиных стай в вышине. Суматошный взлет перепуганного фазана: бьется на холодном ветру его роскошный длинный хвост.

Полыхающие багровым поляны. Кусты лозняка, как клубы седого дыма. И тростники, тростники, тростники...

На отмели за тростником что-то белеет. Пригибаюсь и крадусь к самой кромке — лебедь! Груда взбитой белой пены. Сидит и смотрится в воду. Меня не должно быть видно, а он увидел. Выпрямил изогнутую шею, распахнул крылья — словно вспыхнул! — и полетел. Неизвестно откуда появился второй, пристроился в хвост: оба теперь тянут как связные один за другим, в такт загребая крыльями.

Все мы видели лебедей. Но видели ли вы их на воле?.. Готов молиться любому богу — только бы уцелели! Не на прудах, не в зверинцах — это не то! — а в диких озерах среди тростниковых крепей. Только бы слышались их голоса — каждую весну и осень. Лебеди летят — видите ли? Лебеди кричат — слышите ли? И если видите, если слышите — то с вами все хорошо. И вокруг хорошо!

Я счастлив, что ни разу не выстрелил в лебедя. А мог бы и много раз! Пусть лучше исчезнут все охотники, но пусть никогда не исчезнут лебеди... Этого не должно случиться, этого нельзя допустить.

Березы можно еще превращать в веники и дрова, их много еще, но нельзя превращать лебедей в пуховые подушки или в узников загаженных клеток. Белизне их нет цены, и святотатство ее марать. Место лебедей на синей воде и в синем небе.

Спасибо всем. Лебедю, отмели с белой цаплей, красным уткам-огарям и черным бакланам. Спасибо тростникам и кабаньим ночам. Спасибо всем и за все.

Из красной осоки выбежала фазанка. По-куриному вихляя хвостом, бежит по колее турачиха. За ней, подпархивая, увязался турач-петух. Опускаясь, он трепещет крылышками как пестрая бабочка. В тростниках все, как всегда.

Вечером долго стоял, привалясь плечом к своему шершавому дереву. На всем, что хоть немного возвышалось из тростников, сидели птицы. Они тоже провожали солнце.

Раскаленное докрасна солнце медленно приближалось к сухим метелкам; становилось страшно, что вот сейчас они вспыхнут и задымят! Метелки и вправду сперва раскалились, но потом быстро остыли. Тростники заливала холодная ночь.

В последний раз шагаю к укрытию. Пока дошагал, поднялась луна, и все посветлело. На дальней отмели, звякая галькой,

прошел кабан. Пролетела запоздалая цапля, молчаливая и медлительная. Последняя ночь.

Повезло мне или не повезло?

И что значит «повезло»? Ухитрился переплыть океан, не замочив штанов? Вскарабкался на гору, не поцарапав колен? Продрался сквозь заросли и даже не запыхался? Когда все легко и просто? Но скажешь ли потом — «только бы не забыть»?

Только бы не забыть. Дней и ночей в тростниках и тишины, от которой в ушах шумит. Словно приложил к уху раковину, огромную, как это небо. И слышишь шум всей земли.

Мы от мира сего, и все в нем касается нас. Мы во всем, что вокруг, и все — в нас. Только бы не забыть...

Семь черных туш неслышно прошли по песку и скрылись в крепь. На сером песке остались вмятины, в них нацеживается вода. Чиркаю спичку, и рука вместе с огнем помещается в отпечатке копыта! Нет, тот, убитый, был еще не кабаний царь. Вот он, царь тростников, он уцелел. Он останется сторожить эти тростниковые крепи — их раб и владыка. С ним я оставлю и частицу себя.

Только бы не забыть...

Сколько раз я повторяю это? Повторял и тогда, когда жил на земле... без земли.

ПЕСКИ

В здравом уме и твердой памяти говорю: пустыня — интересная земля, прекрасная земля. Хоть земли там и нет.

Земля без земли, земля без воды, земля без травы. И если уж сравнивать земные ландшафты с далекими планетами, то пустыня для этого подходит больше всего. Все вокруг незнакомо и непривычно: под ногами не земля, а песок, в руслах рек не вода, а камни. Озера исчезают на лето, дожди высыхают, не долетев до земли. И снег не тает, а испаряется. Леса без прохлады, без тени, без листьев. Болота покрыты не мхом, а солью. Ветер не освежает, а сушит. И лучшей погодой в пустыне считают пасмурную. И солнце, великое солнце, которое всюду рождает жизнь, в пустыне убивает ее!

Адская жизнь на раскаленной сковороде. Но жизнь! И жизнь удивительная, какой нигде больше нет,— жизнь на песке.

Инопланетные существа. Ящерицы, ныряющие в песок, змеи, плавающие в песке. Птицы, живущие под землей, и звери, летающие по воздуху. Одни пьют... траву и воздух, другие совсем не пьют. Одни непрерывно едят, другие могут не есть по году.

В пустыне можно встретить обитателей тропиков: удава, гиену, гепарда, дикобраза и медоеда. Разве этого мало, чтобы поехать в пустыню? Пустыня поймала меня в капкан — спасибо за это ей!

С чего же все началось?

Началось с каракала — пустынной рыси. В детстве я увидел ее на рисунке Я смотрел на большую стройную кошку так же, как смотрел на изображения слонов и львов: все это было где-то далеко, недосягаемо, сказочно — за морями и за горами. Позже я увидел каракала в клетке и узнал, что этот прекрасный зверь, оказывается, обитает и у нас в стране, в пустынях нашего юга! Но прошло еще много лет, прежде чем я смог побывать на его родине. За эти годы пустынные рыси стали такими редкими, что даже зоологам стали казаться сказочными. И надо было поторопиться, чтобы их увидеть.

Вечно это рассудительное — «а зачем?».

Зачем тебе каракал? Интересный представитель кошачьих — говорят зоологи Пушнина! — говорят охотники. Редчайшее исчезающее животное! — волнуются натуралисты. Вот и пусть волнуются натуралисты, пушники и зоологи. А нам-то зачем каракал?

Вот это я и хотел понять. Нужен ли он всем тем, кто не собирается писать о нем научных статей и не станет сдирать с него шкуру?

И повел меня каракал в пески...

Пустыня покорила окончательно и навсегда — стоило только ее увидеть. Желтое и голубое! Бескрайнее голубое небо, нескончаемые желтые пески.

Я радовался непохожести этого мира на все, что до этого видел. Все вокруг было другое и все в первый раз!

Непохожесть тоже уже вымирает, как вымирает нетронутость. Одинаковость вытесняет разнообразие.

Мы осушаем болота и обводняем сухие пески. Срываем горы и засыпаем впадины. Прореживаем густое и заполняем пустое. Создаем очень удобную в обиходе и очень скучную в жизни одинаковость. И вот уже реклама обещает туристам: «Удобства, комфорт! Вы везде будете чувствовать себя, как дома». Но зачем ехать, если «везде, как дома»?

Человеку нужен весь мир. И именно потому, что он, мир, очень разный! А вот станет везде одинаковым — и можно сидеть на месте.

Апрель — я укладываю рюкзак. Больше всего я боюсь расспросов — как объяснишь, почему ты едешь в пески, где ни моря, ни фруктов, ни овощей? Где в одних очках и то уже

нестерпимо жарко? Слава аллаху, никому до меня дела нет. А свои домашние давно привыкли.

Пустыня манила своей непонятностью. Нет воды, а жизнь есть. В очках жарко, а ходят в ватных халатах и меховых шапках. Пекло, а пьют горячий чай! А гиены, гепарды и каракалы — чем не Индия или Африка?

Так я когда-то распалял себя и — молча! — оправдывался перед другими. И собирал рюкзак.

Я не боялся разочароваться в пустыне. Хотя бы уж потому, что меньше всего хотел увидеть то, о чем уже знал. Я жаждал увидеть еще никем не описанное, свое. Ведь кроме пустыни вообще есть еще и моя пустыня. На встречу с нею я и спешил.

Каждый рассказчик в рассказе своем сжимает время, отбирает самое интересное и значительное. Но жизнь в пустыне — это не чтение книги. Жизнь не книга, где на каждой странице захватывающие события. Будет много дней тягучих, пустых и скучных. И надо научиться терпеть и ждать.

А мне не терпелось увидеть Невиданное. Я знаю, что и там будут дни и ночи, то ясные, то пасмурные. Как всегда. Но не как везде! В пустыне по-особому будет всходить и садиться солнце, другие там будут дни и ночи, а шум саксаульников совсем не похож на шум березовой рощи или соснового бора.

Затаскиваю в купе свои набитые рюкзаки. Сосед сразу спрашивает:

— Куда?

— В пески.

— В пустыню? — И с удовольствием вспоминает: — Брата тоже раз посылали. Так он там первый год одну воду пил. И ничего не ел. Тетка, его хозяйка, не успевала чайники кипятить. Отощал — думали, помрет. Спасибо, тетка заставила пить молоко с перцем. И все равно чуть не помер.

— Значит, в пустыню? — переспрашивает погодя. И смотрит.

Начало апреля. Путь от Ленинграда до Ташкента — это путь из полузимы в полулето. Катишь по весне со всеми удобствами — глядя в окно. И лето сменяет зиму в пятьдесят раз быстрее обычного — словно пустили весеннюю киноленту на самую большую скорость. Ты сидишь, а весна мчится мимо.

В Москве зимний холод, снег на крышах, сосульки, покрытые льдом пруды. А утром за окном уже ранняя весна: волнистые вспаханные поля, снег белеет только в промоинах и обсадках. Обсадка вдоль дороги голая, серая, прозрачная. Редко мелькнет яркое оранжевое пятнышко — зимний дубок с необлетевшими листьями. Сырость и холодный туман. За Пензой у грачиных гнезд, похожих на ведьмины метлы, первые нахохленные грачи.

Мрачно сидят под дождем, нехотя копошатся в гнездах.

Речка Сызрань — желтые обрывы на берегах, серые илистые отмели. И малиново-красные кусты лозняка!

Волга. Она еще подо льдом, но лед уже рыхлый, серый, пятнистый. Тянутся по нему темные полосы зимних дорог. И всюду черные фигурки рыболовов-подледников — как стаи пингвинчиков. Солнечное марево над весенней рекой. На берегу рыбаки смолят и конопатят лодки. Сквозь желтую высохшую траву пробивается зелень.

Новое утро, и поезд катит уже по бескрайней желтой степи. В окна бьет яркое солнце — жмуришься от простора и света. За окном диковинная желтая весна!

Станция Изимбет. В канавах ажурные груды перекати-поля. Укатанные до блеска степные дороги. На обочине столбиками суслики.

Мугоджары. Желтые холмы и увалы. Сюда дотянулись отроги Урала, тут выше — потому в лощинах снова белеет снег.

Весна тут чуточку отпустила и обошла возвышенность, как вода обтекает береговой мыс.

Станция Берчогур. Пологие холмы, в лощинах заросли мелкого — последнего! — березняка. Первые цветы — белые и золотистые. А в небе и на столбах силуэты орлов: на столбах они похожи издали на грачиные гнезда, а в небе — на черные махровые полотенца. Преддверие незнакомой земли.

Неугомонный сосед выпытывает:

— Зачем в пески — там же ничего нет?

— А это смотря, что вам надо,— загадочно отвечаю я.

«Глупец или жулик?» — задумывается сосед.

Станция Соленая. Снова ровная желтая степь, но уже с залысинами — вестниками пустыни. Первые верблюды, неподвижные как монументы. Стрижены «лесенкой», а чтобы не мерзли, на них напялили телогрейки — ватные одеяла с двумя вырезами для горбов.

Первая весенняя трясогузка — старая знакомая! И незнакомые — черные! — жаворонки, похожие на скворцов. Один пел на лету, странно поводя крылышками вверх и вниз.

Станция Челкар. Все больше лысины на ровной, как футбольное поле, степи. Тусклое озерко с белой окаемкой из соли. Первые пылевые смерчики, похожие на белые раскидистые кусты — только «кусты» эти движутся, крутясь, по дорогам.

Большие Барсуки — первые настоящие пески! Бестолковое нагромождение песчаных бугров, поросших колючими кустиками и пучками желтого тростника. В низинках кривые низкие сосенки и кустики краснотала. Странная смесь пустыни и карликового северного леса.

— И чего тут хорошего? — задумчиво говорит сосед.

— А это смотря, что считать хорошим! — снова загадочно отвечаю я.

«Жулик, определенно жулик!» — решает сосед. И отодвигается.

Станция Копотай. Пески отодвинулись и ушли за горизонт. За окном ровная полупустыня. Ни кустика, ни деревца. К насыпи намело сугробы песка, и их утыкали пучками тростника, чтобы не засыпало рельсы. На обочине верблюд презрительно смотрит вдаль — туда, где белым столбом дымит костер. Нет, не дым — это крутится соляной смерчик! У страусиных ног верблюда белое болото с черными кочками, засыпанными солью.

— Н-да...— говорит сосед. Я молчу.

Станция Саксаульная. На станции Саксаульной давно нет саксаула, как не осталось тайги на станции Тайга или тигров в заповеднике «Тигровая балка». Впервые закрадывается тревога: чего бы, казалось, в пустыне-то брать? А взяли — под корень. И даже с корнем! Саксаул ведь не пилят, не рубят, а выдергивают трактором из песка — как морковку. И песок начинает течь...

Аральск. Солнце, жарко! На горизонте что-то блестит: море или мираж?

Казалинск. Первая ласточка! По ленинградскому календарю природы это уже половина мая, хотя по настенному только половина апреля. За два дня поезд увез на месяц вперед — в будущее!

Сумерки. Весь Казалинск, как изморозью, усыпан солью. Взойдет луна, и он заискрится. Сосед молчит. Я — тоже.

Ночь. Поезд ровно плывет по степи, покачиваясь под свисты ветра. Из черной глубины, где-то у самого горизонта, подмигивает огонек. Костер пастуха или фонарь в юрте? Мягко постукивают колеса.

Утро. Поезд стоит. Станция Туркестан. Зеленые лужайки, зеленые деревья. Даже на плоских глиняных крышах трава дыбом и краснеют маки. На крыше пасется белая коза. Приехали в лето.

За Туркестаном разливы воды. Поезд идет по высокой насыпи, как по мосту. Столбы стоят по пояс в воде. Лопоча, взлетают испуганные утки.

Скоро Арысь. Летняя зеленая степь, цветы, большие — пирамидками! — ферулы. Суслики по стойке «смирно» провожают грохочущие вагоны. Прямо как стрелочники — только флажка в лапках нет! Зато у одного во рту красный мак!

Скоро Ташкент. Сосед пересчитывает чемоданы.

— Через два дня я назад,— сообщает он.— Самолетом.

Цветут бело-розовые сады. На обрыв карабкается черепаха. Ребятишки размахивают букетами огненных тюльпанов. Воркуют

горлинки, по крышам перелетают, мелькая пестрыми крыльями, майны. Шумят на тополях листья. На третий день поезд из зимы прибыл в лето.

От Ташкента путь на запад. Кончился зеленый ташкентский оазис, и начались пески. Каракумы. До горизонта волны песчаных барханов. Кое-где на песчаных буграх охапки сухого серого хвороста — кусты саксаула.

Пески, пески. От них не отвести глаз, как от моря. Стою, прижавшись лбом к стеклу, пока все не утонет в ночи. Потом над черными волнами всплыла луна, огромная и багровая, как красное солнце незнакомой планеты.

Вот сойду и ступлю на землю этой планеты. И все, как в детстве, будет вокруг в первый раз. Жизнь на песке. Жизнь открытая, оголенная, нараспашку. Тут все оставляет след — даже кузнечик, даже муха! Обитатели песков сами расскажут мне о себе — письменно!

— Там же ничего нет! — вспоминаю соседа.

Вот и посмотрим.

Космонавт Нейл Армстронг впервые шагнул на Луну. За несколько лет до него я впервые шагнул в пустыню. Не знаю, кто из нас был более возбужден — он или я? Он видел Землю со стороны — прекрасное и единственное Хранилище Жизни! Я видел самую убогую, самую бедную ее частицу — но и она казалась прекрасной! И она была Хранилищем Жизни. Жизни, какой нигде больше нет.

Нет, пустыня не ошибка природы! Она необходима и закономерна, как лес, степь и горы. И у пустыни свой смысл и резон. Она показатель условий, сложившихся на Земле. Ноль на градуснике не виноват, что именно при нем замерзает вода! Сама пустыня не расползается вширь — только с нашей «помощью». Уничтожить ее нельзя. Где взять океан воды, чтобы ее оросить? Отнять у лесов, у полей и гор? А вдруг они тогда превратятся в пустыню! Тришкин кафтан не перекраивать надо, а научиться его носить.

В живом организме нужно все. Вынул сердце — поставь насос. Уничтожил волков — сам займись волчьим делом. Отравил пчел — сам опыляй цветы. Превратил пустыню в цветущий сад... А какою ценой? Вдруг подорвал здоровье Земли? И она заболеет неизлечимо?..

Первая ночь в пустыне. Песок шуршит по палатке. Да нет, не песок, а дождь! Темень и холодина. Выглядываю в оконце: черное небо, светлый песок, кляксы кустов саксаула.

В четыре часа за палаткой... пропел петух! Сразу за петухом,— давясь и надрываясь! — заохал ишак — «петух восточ-

ный». Просыпаюсь сразу с двумя петухами! И с верблюдом! В поселке глухо, как паровоз, прогудел верблюд. Потом летала какая-то птица и кричала младенцем — уу-аа! Уу-аа!

Пустыня будила по-своему, совсем не так, как будят лес и горы. Меня пугали жарой, а я промерз до костей, меня пугали засухой, а я промок.

Неожиданная пустыня!

Днем хлестали струи дождя, ветер мотал седые кусты саксаула, и мокрая рубаха липла к пупыристому телу. Полыхали молнии и скрежетал гром — словно рушились с неба глыбы.

По пухлой от пыли дороге расползались черные, как нефть, ручьи. В выбоинах набухали лужи с мусором и пузырями. До кустов саксаула нельзя дотронуться: тронешь — и обольет. Я бежал к своей палатке — единственному сухому месту на этой «иссушенной земле». И позади тянулись странные светлые и... сухие следы! Темный мокрый песок лип к подошвам, открывая песок сухой и светлый.

В палатке сбросил сырое, напялил все, что было сухим, и, позванивая зубами, забился в спальник. А дождь барабанил и барабанил.

Пустыня не подтверждала прочитанного и продолжала удивлять. Утром над палаткой стайкой пронеслись... кулички! За ними не торопясь пролетела важная... цапля! У груды камней очага семенила... серая трясогузка! А рядом с ней на тонких ножках раскачивался... зуек! И если дальше перечислить, то так и придется без конца ставить многоточия и восклицательные знаки! Околоводные птицы жили в безводных песках!

А варакушки! Скрытные обитательницы густых кустов и сырых низин уверенно и беззаботно скакали по песку среди жидких кустов джузгуна и саксаула, открыто хвастаясь своими синими шелковыми «слюнявчиками» на грудках. Стройные, обтянутые, быстрые, с лихо заломленным кверху хвостом. В наших зарослях разве что услышишь их вечернюю песню, а тут, пожалуйста, напоказ: синий «слюнявчик» с черной звездочкой, с рыжим кантом внизу!

Я выбрасываю им из палатки замлевших от холода мух и бабочек, и они хватают их чуть ли не на лету.

Перелетные птицы движутся через пустыню на север. Пустыня для них не безбрежное желтое море, которое надо перелететь за один прием. В пути можно подкрепиться и отдохнуть. Даже поплескаться в весеннем озерке с водой. В пустыне, как и в море, есть свои «острова».

Пустыня удивляла каждый день. Кончились дожди, холода, туманы, высохли и посветлели пески, и пустыня развернула пергаменты с бесконечными таинственными письменами. Если снег — книга белая, то пески — книга желтая. И у книги этой

ни конца, ни начала, и пишется она каждый день и каждую ночь,— вот уже тысячу тысяч лет. Склоны барханов разлинованы ветром в косую линейку — пишите, кто хочет! И пишут: звери, птицы, ящерицы, жуки. Пишут ногами, хвостами, носами и животами. О себе, о доме, что было, что есть. О врагах, о друзьях, о приключениях и событиях. И всегда только правду — одну голую правду Дневники обитателей песков, их подлинные автографы.

Каждый день ветер стирает написанное — но каждую ночь все пишется заново. История с продолжениями, бесконечные как и сама жизнь.

Огромны исписанные страницы: по ним мало глазами водить — их надо измерять ногами. И если рассказ песчаного таракана можно прочесть за десяток шагов, то рассказ ушастого ежика растягивается на километры.

Глаза разбегаются: нечитанные истории, невиданные растения и животные! Таракан... песчаный, ежик... ушастый! А растение заразиха, как огромный кукурузный початок, воткнутый в песок! И одолевает тебя страсть узнавания и разгадывания, и ты снова в детстве. Завидуйте детям, все разгадавшие!

К загадкам неравнодушны даже звери. Я видел в горах стадо серн; сбившись в кучу, теснясь, принюхиваясь и вытягивая шеи, они осторожно подходили к камню с красной тряпицей, забытой туристами. Серны видели Непонятное. Лисица зимой то и дело сворачивает то к пласту дерна на бугорке, то к потерянной рукавице, то к головням костра,— «что там такое?» Это не просто поиск наживы, это и исследование, узнавание. Я знаю охотника, который ловит лисиц не на мясо, а на любопытство. Идет по полям на лыжах, время от времени сворачивает в кусты, продирается внутрь и ставит капкан. Редкая лисица, идя по лыжне, могла удержаться и не свернуть в кусты — «зачем туда лазал охотник»? Охотник забросил все другие приемы — 150 лисиц за один сезон поплатились головой за свое любопытство.

А толстые глупые кеклики! Охотник делает щит, украшая его разноцветными тряпками. Прикрываясь им, он подбирается к куропаткам. И вместо того чтобы скорее спасаться, кеклики сами бегут навстречу, вытягивают шейки и поднимаются на цыпочки! А как же, ведь перед ними загадка!

Загадки тревожат воображение. Будь моя воля, я бы в учебниках ребятам не отгадки давал, а загадывал бы им загадки.

Как загадывают их мне пески.

Раннее утро. Я в теплой рубахе, а познабливает. Гряды песчаных барханов лежат подобно китам-полосатикам огромными брюхами вверх. Песок так упруг, что даже следа не остается. Во впадинах между барханов кочки сухой травы, похожей на взъерошенных дикобразов, стройные тонкие деревца песчаных

акаций. Тут и там глиняные бугры с пучком саксаула на маковке. И какая-то инопланетная тишина окружает тебя.

В узких ущельях влекут повороты — что там, за ними? А тут увлекают барханы — что дальше? Поднимаешься по крутому склону, идешь, как по крыше, по уплотненному ветром горбу, снова сбегаешь на каблуках в межбарханье.

Все дальше и дальше — хватило бы только воды во фляге, не кончилась бы в аппарате пленка.

Начинались славные дни, когда не хватает времени, когда некогда пить и есть и злишься на ночь, что она отрывает от дела.

16 апреля

А в пустыне-то есть леса!

Однажды я ушел в самую глубь песков, поднялся к вечеру на огромный песчаный вал и внизу, в широкой впадине, увидел. лес! Тускло-зеленоватое дно равнины, на нем сизые клубы полудеревьев-полукустов. Лес черного саксаула — лес пустыни. Зеленое пятнышко в океане желтых песков.

В тени саксаула, прозрачной, как крыло стрекозы, я поставил палатку. И стал жить.

Во всяких лесах бывал: сосновых, еловых, березовых. Но впервые попал в лес пустыни — саксауловый. Странный лес! Деревья похожи на раскидистые кусты, стволы у них мутно-серые, изборожденные и крепкие, как старые кости. Иные кручены-перекручены, чуть не в узлы завязаны — словно удавы, умершие в корчах и мгновенно окаменевшие. Другие поднялись как пугала-ведьмы с костлявыми растопыренными руками и седыми космами на ветру.

Все непривычно для глаза. Лес не зеленый, а серо-оливковый. Тень под деревьями зыбкая, прозрачная — тень не тень. Да и откуда быть тени, если на деревьях... нет листьев! Вместо листьев какие-то тощие хвощинки-веточки. Лес без шороха листьев...

Под каждым деревом светлое глинистое пятно. Как кружок сыра — все оно в дырках-норках. В норках живут подземные крысы-песчанки.

Между деревьями жиденькая песчаная осо́чка. На кончике каждого зеленого стебелька висят плодики — три поджаристых воздушных пончика. Когда на них наступаешь, они щелкают как хлопушки. Среди осо́чки краснеют маки. Тут и там зацветает ревень, разложив на песке огромные — с лист газеты! — зеленые листья.

Все непривычно для уха. Шумят саксаулы по-своему — словно сипит кто-то сквозь сжатые губы. И ветер не охлаждает, а обдает жаром, как из открытой печки. С треском перелетают

поверху саранчуки — большие, как птички. С лета цепляются за хвощинки и долго возятся, раскачивая ветки. А понизу шныряют пичужки, похожие на мышей. Они шуршат по опаду, мелькая черными хвостиками, поставленными торчком.

А вот и знакомый голос — синица поет. Синица-то синица, да не давно знакомая — желтогрудая, а пустынная — серая. И стук знакомый — дятел. Дятел-то дятел, да тоже не наш, а пустынный белокрылый. И заяц поскакал не русак, не беляк, а заяц-песчаник.

Незнакомые деревья, неизвестные птицы, невиданные зверьки. Неслыханные звуки, непривычные запахи. Странно шумит на ветру странный лес. Лес, в котором не укрыться от солнца, где осенью осыпаются... ветки, а зимой, бывает, вырастают грибы! А весной он весь — как пшеном! — сверху донизу усыпан крохотными желтенькими цветами. Лес без прохлады, без тени, без листьев. Таинственный и молчаливый.

18 апреля

Первая ночь на новом месте — звездная и холодная. Мерзну даже в спальном мешке. И немножко тревожит дыра в палатке: в нее может забежать или заползти кто угодно. Под утро так и случилось — кто-то бойкий скакал по ногам. А когда я дрыгнул ногой, этот «кто-то» выскочил в дырку и стал скрестись в полотнище.

Песчаный человек! — вспомнил я. Ростом он с флягу, бегает на двух ногах, обут в сыромятные чувяки. Дикий человечек песков. Никто в него, конечно, не верит — но маленькие следы двуногого существа часто попадаются на барханах. Именно бега, а не прыжков зверька или птицы.

...Один мохноногий тушканчик, оказывается, умеет не только прыгать на двух ногах, как кенгуру, но и бегать, как человек! Его-то двуногий след и породил легенду о маленьком человечке песков. Вот он сейчас и отплясывал на моих ногах!

Заткнул дыру рюкзаком — но сон не шел. В темноте рядом с палаткой застрекотала малая мухоловка — милая птичка, видом и цветом похожая на зарянку, только меньше ее. Потом заворковала горлинка, за ней бодро «кикнул» дятел и трескуче пробарабанил на саксауле. В шесть пятьдесят поднялось солнце и глухо затутукал удод. Пора.

Песок после ночи влажный и плотный. На кусте сидит пустынный сорокопут-жулан и подозрительно смотрит на меня черным глазом. Ага, в рогульке у него заклинена убитая пеночка. Только я отвернулся, как он по-воровски юркнул в куст и пеночку утащил.

Под кустом шуршат и возятся крохотные скотоцерки: цвета глины, незаметные, а хвостики черные и торчком — сразу в

глаза бросаются. И, наверное, не без умысла. Именно в таких местах под кустами, в путанице ветвей и мусора, любят прятаться змеи. Мельтешат перед ней стоячие броские хвостики, и змея, завороженная их доступностью, бьет не в птичку, а в хвост. Хвост спасает жизнь птичке — как хвост ящерицы. А самих скотоцерок — совсем так же! — обманывает маленькая пустынная черная бабочка. Когда она, дергаясь, порхает над самым песком, кажется, что летят две одинаковых бабочки — ведь под нею порхает ее черная тень. Кого хватать? Птичка бестолково кидается, а бабочка улетает.

Выхожу из леса в пески. Цветущие кустики астрагалов уже роняют лиловые лепестки, и они лежат под ними как лиловая тень. От цветов течет по песку тонкий запах роз — ароматная «тропинка» к лепесткам и нектару. По этим тропинкам летят и ползут насекомыши. Жук-чернотелка выпячивается из песка лакированным задом вперед — как автомобильчик из гаража. С вечера она зарылась в песок и вот теперь выкапывается, каким-то неведомым образом угадав под песком, что уже наступило утро.

Жук — ка́спика, полосатый, как зебра, тоже приплелся по пахучей тропинке и старательно жует опавшие лепестки. Тронешь пальцем — подожмет лапки и обомлеет. А зачем? И большие жуки-чернотелки при встрече вдруг замирают и утыкаются «лбом» в песок — бьют земной поклон. Я не знаю, зачем, хотя смысл в этом какой-то есть. Да и что я вообще еще знаю? Спасибо, хоть не путаю саксаул с аксакалом...

В понижениях между барханами грудками лежат странные жуки-чернотелки — белые! И только мертвые. Целые кладбища белых чернотелок. И ни одной живой — никогда и нигде!

Жуки-чернотелки на ходу больше всего похожи на заводные игрушки — бредут «механически», по-неживому перебирая ногами. Словно завели жука на всю жизнь ключиком и пустили. И он идет. Идет и идет, пока завод не кончится. А кончится — остановится на ходу, где придется. Часто встречаю таких чернотелок, умерших на ходу. Так и стоят на песке, как чугунные памятники самим себе.

Но чугунными — темными! — они стоят недолго: пронзительное солнце пустыни высушивает и обесцвечивает. Чернотелки становятся белотелками. Ветер сдувает их, сухих и легких, вниз, в ложбинки-кладбища. Кладбища белотелок.

Шагнул на бугор песка, заметались, заскользили по нему непонятные легкие тени: туда-сюда — и нет никого! Нетронутая песчаная рябь. Лишь в одном месте словно бы перышком тронули. Подсовываю ладонь и просеиваю песок сквозь пальцы — ящерка! Маленькая, головастенькая, совершенно неразличимая — как слипшийся комочек песка. И только на спине

красный бубновый туз. «Тузик». Метнулась с ладони, шлепнулась на песок и... исчезла. Так плашмя и утонула в песке!

Каждый вечер «тонут» в песок обитатели дневных барханов: круглоголовки, чернотелки, песчанки, удавчики. И «выныривают», «всплывают» ночные: гекконы, скорпионы, тушканчики, песчаные тараканы и тарантулы. Пески живут днем и ночью.

Из песка вылез клещ. Помедлил и направился прямо ко мне. Шагаю вправо — и он вправо, влево — и клещ влево. Отступаю — гонится сзади, и неотступно, как гончая собака за зайцем!

Зароешь в песок — выкопается, отбросишь — вернется. Словно ты магнит, а он иголка. По ветру, хоть против ветра — клещ будет ползти к тебе. Скройся за куст — найдет. А ведь нет у клеща ни носа, ни глаз...

Ночью хищный жук-скарит, бегая по барханам, чует зарывшихся чернотелок и выкапывает их, как лиса мышей. А если чернотелка пытается убежать — гонится и на бегу откусывает ноги. И кто-то из них при этом скрипит — от ужаса или от ярости.

Опаляет солнцем и сверху, и снизу. Пески, как и наст, отражают солнце. И ветер надраивает тебя наждаком.

А тихим вечером у палатки пел и пел соловей. Соловьи сейчас, как и малые мухоловки, летят на север. С песнями!

20 апреля

Интересно! Интересно — значит, надо. Вот и иду.

Пончики осочки потрескивают под каблуками. На кустах сидят странные пичуги — угольно-черные! Негромко покрикивают: чип, чип! Под кустами стоят столбиками песчанки и тоже покрикивают: биб-биб! Кажется, что зверьки и птички переговариваются; они недовольны моим появлением. Терпите — должен же я познакомиться с вами! Что я знаю о черных птицах? Одно название — черные чеканы. И то, что они пролетные, на гнездование не останутся. Какое мне дело до них? А интересно! А о песчанках совсем ничего не знаю.

Стелю на песок сухую траву и усаживаюсь у норок песчанок — зверьков с птичьими голосами. Погодя высовываются черноглазые усатые мордочки. Усы, ушки, плечи, по пояс — и вот уже сидят у нор, как цирковые собачки. Розовые пальчики сцеплены у пушистой грудки, длинные хвосты как акварельные кисточки. Песочного цвета, на песке кормятся, под песком живут — зверьки-песчанки.

Сегодня забрел далеко и вдруг стало страшно: а что, если не найду дорогу к палатке? Нет надежных примет — нескончаемые волны песка. Глазу не за что зацепиться, все вокруг одинаковое. Помню, как-то в степи я спросил у чабана: как

он находит дорогу к своей стоянке? Старик опешил: зачем искать, надо просто на стоянку идти! Пришло время — поворачивай и иди!

— Куда поворачивай? — настаивал я.

— Я же сказал — к стоянке!

— А где она, ее же тебе не видно?

— Ну и что? — поражался старик.— Где была, там и есть!! Стоянка же не верблюд,— втолковывал он,— с места на место не ходит! Где ты ее оставил, там ее и найдешь!

Для кочевника не задача вернуться в то место, из которого вышел — как бы он ни кружил по степи. Он не следит за дорогой, он просто знает, в какой стороне стоит его юрта. Мне это казалось чудом. Но, забегая вперед, скажу: со временем и я в песках научился ходить, не думая о дороге; я «чувствовал» свою палатку... спиной. Ухожу, а где она,— чувствую. И спина ни разу не подвела.

21 апреля

Рядом с палаткой след игрушечного броневика! Две рубчатых параллельных полоски. Прошла черепаха — броневик песков. Ну что ж, почитаем дневник черепахи. Ведь кроме того, что она медлительная как... черепаха, мы мало знаем о ней. Ну слыхали еще, что может долго не пить и не есть, что можно встать на нее ногами и ей будто бы ничего не сделается. А вот если на спину перевернуть — то так и будет лежать, пока не околеет. И все. Так что стоит почитать новости черепашьей жизни, написанные собственноножно.

Веду глазами по черепашьей строке, привыкаю к черепашьему почерку.

Когда читаешь книгу, то попутно разглядываешь и рисунки. Вот и сейчас: читаю след и разглядываю «рисунки» по сторонам. На песке кружевные вензеля песчаного таракана. Таракан похож на маленькую черепашку, но под песком он ползает так же легко, как и по песку. И тогда оставляет подпесочный след в виде вздутого валика, который часто путают с подпесочным следом удавчика. На песке след таракана похож на тонкую кружевную ленточку. Но этому таракану хищный жук-скарит или ящерица оторвали половину ножек с одной стороны, и вот правая сторона стала обгонять левую — и пошел таракан выписывать вензеля, рассказывая о своем несчастье! А еще таракан рассказал фантастическую историю: оказывается, воздухом можно не только дышать — воздух можно... пить! Под кустиком астрагала скопилась сухая растительная труха. По ночам она впитывает влагу из воздуха, а таракан ее ест. Так с помощью трухи таракан добывает из воздуха воду и живет там, где воды нет. А на вид безголовый...

Слева от черепашьего следа вверх животом мертвая круглоголовка — тот самый «тузик» с красным пятнышком на спине. Кто-то ее убил и пытался затащить трупик в норку. На месте преступления остались отпечатки пальцев... ног. Вооружаюсь лупой и опознаю преступника — песчаный тарантул! Убить убил, а вот в логово свое затащить не смог. Сидит, наверное, сейчас в глубине и смотрит вверх во все восемь глаз.

Черепаший след пересекает след скаптейры — золотистой в черную сеточку ящурки. Эта пишет сразу всеми четырьмя лапками, носом, животом и хвостом. Пишет о том, что ищет личинок. Вот ткнулась носом в песок, что-то учуяла и начала копать. По плечи зарылась, до задних ног, а личинку все-таки сцапала. Сквозь землю чует!

След черепахи тянется с бархана и на бархан. Черепаха ищет низинку с травой. И мне бы пора тень искать: солнце уже так печет, что становится жутковато. Но где укрыться, если вокруг никакого укрытия? Приглядываюсь к обитателям песков — должен же быть у них какой-то опыт! Как песчанке, правда, в нору мне не залезть и в песке, как «тузику», не утонуть. Не укрыться и в тень травы, как это делает черная бабочка.

По самому пеклу мчится муравей-фаэтончик. Вытянутое брюшко торчком вверх: от этого муравей как бы втрое меньше и, значит, втрое меньше нагревается солнцем. Но этот прием я давно перенял: стоя я тоже меньше, чем лежа.

Стрекоза уселась на саксаул, повозилась и нацелилась тонким хвостом прямо в солнце — превратилась из широкой буквы «Т» в чуть заметную точку.

Все уменьшают себя, чтобы меньше нагреться и сэкономить влагу! Может, и мне лучше встать на голову и нацелиться ногами в солнце!

Собаки ложатся в тень верблюда. Орел парит в прохладной вышине да еще норовит попасть в тень единственного на небе облачка. Все экономят воду внутри себя — потому что снаружи ее нет.

И мне остается терпеть и экономить воду во фляге. Теплую, горько-солоноватую, противную — но драгоценную. Из крохотного родничка, что я обнаружил недалеко от палатки.

Тянется след черепахи. Рядом печатаются мои следы.

Серая большая агама с обрюзглой мордой вползла на засохший куст и уставилась прямо в солнце. Туркмены называют ее «проклинающая солнце». Солнце, великое солнце, дающее всюду жизнь, в пустыне превратилось в убийцу! И проклинать его тут — не кощунство.

Агама волнуется: клином отвисла чешуйчатая синяя борода, посинели бока. Не выдержала, шлепнулась на песок и понеслась. И вдруг взорвалась!

Под нею взлетел песок, как вода всплескивает от камня. Агама вдруг вздулась и бесформенным комком закатилась за кочку. Агаму душил удав! Песчаный удавчик: песочного цвета, с глазами на самой макушке. Он лежал у кочки, выставив из песка только глаза. Его никому не видно, а он видел все. Лежали на песке два глаза, смотрели и ждали: не бежит ли кто, не приближается ли пичужка, приняв глаза за блестящие зернышки?

Удавчик оплел агаму петлями тела, как удавками. Резиновый рот его наползает на агамью пасть: агаме нечем дышать и нельзя защититься зубами. И только длинный хвост ее конвульсивно дергается, подметая песок.

Глазу невозможно разглядеть бросок удава: вот он просто лежит, а вот уже оплел свою жертву. Это стремительней, чем бросок лассо. Это меньше мгновения. Когда-нибудь это чудо снимут на ленту «рапидом» и все увидят, как ленивый и апатичный удавчик может мгновенно кидаться и затягиваться петлей.

Удав заглатывает агаму, распялив пасть, наползает на нее, как чулок на ногу. Вот и агамий хвостик ушел в него, как в нору. Вздутый комок продвигается до желудка. Остановился. Удавчик облизывается раздвоенным язычком, осматривается и, уткнув нос в песок, уходит в него широким извивом. Драгоценные капли влаги из воздуха через труху попали в жуков, с жуками попали в агаму, а с нею влились в удава. И это еще не конец путешествию капель воды: потому-то удавчик так торопится скрыться в спокойную глубину песков.

Судя по черепашьему следу, не такая уж она и медлительная! Столько уже позади барханов, а она шагает себе и шагает. Правда, тут поскользнулась и скатилась со склона колесом. Да еще и на спину перевернулась. И ничего! Повозилась, поерзала, махая растопыренными когтистыми лапами, изогнула шею, уткнулась лбом в песок, напряглась и... перевернулась на костяное брюхо! Вот тебе и «медлительная», вот тебе и «неповоротливая»!

Снова тянется след. Черепаха, оказывается, отчаянная путешественница: не напрасно брюшные щитки ее блестят, как подошвы ботинок путешественника.

Черепаха упорно ищет обетованную землю, травяной черепаший рай — в голых песках ей нечего делать. Снова скатилась с бархана — на этот раз на брюхе, как на салазках. Так и вижу, как подскакивала на песчаной ряби — как санки на снеговых застругах! Ничего, пусть разомнется: всю зиму спала без просыпа. Человек из шестидесяти лет двадцать лет спит — тоже не мало, треть своей жизни. А черепаха из шестидесяти спит пятьдесят пять. Хоть и долго живет, да мало что — кроме снов! — видит.

И все же за эти пять лет черепаха видит такое, чего нам и не снилось. Кто из нас ползал на животе? Кто зарывался в песок?

Черепаха ведет к развалинам, к груде рыжих поломанных кирпичей. Заброшенное кладбище. Кладбище в пустыне — самое живое место: там ниши, там норы, там тень и, значит, убежища!

Так и есть: в нишах глиняного вала прячутся черепахи. Видны в глубине их граненые панцири. Огромные, как кокосовые орехи, и маленькие, как орехи грецкие. Прячутся от жгучего солнца и терпеливо ждут вечерней прохлады.

Из норки песчанки высыпали птички! Выводок каменок-плясуний, удивительных «подземных» птичек. Увидя меня, птенцы, как мыши, один за другим юркнули снова в нору. А старые каменки в стороне приседают и подскакивают — пляшут вприсядку.

В таких местах любят гнездиться сычи и удоды. Прячутся змеи и ящерицы. В похожем месте однажды я чуть не споткнулся о кобру. Кобра встала на хвост и зафыркала. Это была мудрая старая кобра, а старые кобры не станут кусать по-дурному — они постараются отпугнуть. Кобра встает на хвост — во всей красе показывает себя. Потом начинает фыркать. Иногда — особо дурную овцу или туриста! — может сильно ударить носом, чтобы не лез.

Кобра, стоящая на хвосте, похожа на нераспустившийся бутон какого-то диковинного цветка. «Цветок» содрогается от ярости и брызжет злостью. Цветок фыркает и свистит. Всеми силами кобра показывает — не подходи! Кобре жалко тратить яд — ведь ты для нее не добыча. Для кобры яд так же дорог, как для врачей: а для них он на вес золота. Кобра пытается яд сохранить.

При убожестве змеиных мозгов такое старание надо ценить. И не вводить кобру в непредвиденные расходы...

Я так и сделал: обошел ее стороной и сфотографировал издалека. Может, другие при встрече с коброй чувствуют себя героями. Я же нет. Никто лучше кобры не умеет напоминать, что ты лишь всего-навсего простой смертный...

Ветер посвистывает в развалинах надгробий. Затерянно и уныло. Ветер пересыпает песок с ладони на ладонь. До горизонта — и дальше! — ни тени, ни зелени, ни воды! Земля солнечного огня. И никакой жизни тут быть не должно. А она есть! Полдня читаю исповедь черепахи — а сколько картин из жизни песков! Перевернул черепок, а из-под него жук-скарит. Бросился прямо под ноги! Не укусить он хочет, а спрятаться от солнца в мою тень.

На большом кладбище — кладбище маленькое, черепашье. Груда сухих панцирей — как пустые консервные банки. Большие

и маленькие. Я разгребаю ногой, и они глухо постукивают. Понятно, почему все развалины в белых птичьих кляксах: хищники высматривают с высоты черепах и приносят сюда — на разделку. И вот за годы скопилась «посуда».

Из одного панциря выползла мохнатая фаланга. Из-под другого, вызывающе задрав членистый хвост с шипом, выбежал скорпион. И черепашье кладбище полно жизни. Выполз жук-миномет и сразу сделал стойку на голове — нацелился. Первое серьезное предупреждение: тронешь — пальну ядовитым паром!

Скарабей катит шар бегом и... стоя на голове! Щелкаю его по панцирю — он сразу же встает на задние лапки, а передние задирает вверх: сдаюсь!

След моей черепахи уводит дальше. Черепаха упорно карабкалась на барханы, то и дело оскользаясь, а то и сползая вниз. И мои ноги ползут и тонут. Хватаюсь за пук селина, но он не выдерживает, и я выдираю его с корнями. Под корнями сырой песок, а из песка смотрит на меня геккончик — глазастый, как лягушка, и пятнистый, как леопард. Поразительное порожденье сухой пустыни! Ему бы — мягкому, нежному! — в сыром болоте жить, а не в жестких прокаленных песках.

Геккон стоит на кривых тонких ножках, таращит на меня глаза и... виляет хвостом, как обрадованная собачка! На глаза ему налипли песчинки, и он стирает их... языком! Протирает глаз, как донышко блюдца. Сперва один, потом другой. Глаза сияют, словно шлифованные влажные гальки.

Охотится сцинковый геккон только ночью. А на день закапывается в песок — до самого влажного слоя. Тем и спасает свою нежную кожицу и свою жизнь.

В песках всегда есть этот влажный слой: в зависимости от погоды он то поднимается вверх, то опускается в глубину. И вместе с ним то выше, то ниже проводят день все те, кому не по силам дневное пекло и сушь пустыни. В полдень пески пусты — но под ними в глубине скрыт слой жизни, влажный слой, спасающий от жары. Не будь его, и пустыня в самом деле была бы мертвой. А так под поверхностью мертвых песков слой живых существ — как планктон в океане.

Но не спасет тебя и этот всех спасающий слой; в песок с головой не зароешься, как геккон.

На гребне бархана стоит на пяточках — пальцы жжет! — ушастая круглоголовка. Цветом похожа на песчаную — тоже что-то вроде комочка песка! — только комочек этот тяжелее раз в десять. Песочный хвост ее с черным — словно обугленным! — кончиком то сворачивается, то разворачивается — как «тещин язык». И вдруг мгновенно мирная ящерица обернулась в разъяренного дракона! Пригнулась, как для прыжка, хвост завила собачьим кренделем и красную пасть разинула до ушей! Да что

до ушей — пасть с ушами! По углам развернулись красные складки — как два красных веера!

И этакое страшилище кидается в ноги, подобно рассвирепевшей дворняжке. Увеличь ее в сотню раз — и перед тобой воскресшее ископаемое чудовище, какое увидишь разве что в кошмарном сне.

Я переступаю с ноги на ногу, а круглоголовка пляшет свой воинственный танец. Когда нет у тебя острых когтей и больших клыков, а каждый тебя норовит обидеть — бери на испуг! Нападай первым, да разинь рот пошире, да разверни веером красные «уши». Вот схвачу, укушу, проглочу! Может, и испугаются...

А если нет — убегай. Или затрясись и утони в песок.

Круглоголовка так и сделала: прижалась к песку, задрожала и утонула. Быстрый и верный способ спасения: метнись под бархан, а еще лучше в куст, и утони там в песок. С глаз долой и из сердца вон.

Путь преградила длинная и крутая гряда. Никому бы не поверил, что черепаха может вскарабкаться на такую — но вот ее след! Лезу на четвереньках, поднимаюсь на гребень, встаю. Вот он — черепаший рай! Под грядой большая низина — зеленая от травы. Краснеют маки, желтеют странные ромашки — одни желтые пуговки без белых лепестков. Но перед раем ад — узкое, но длинное глиняное болото. Оно скоро высохнет и превратится в такыр, гладкий и крепкий, как асфальт. Но черепаха не стала ждать: слишком заманчивые запахи плыли с другой стороны.

Смело вползла черепаха в густой кисель и увязла. Она ворочалась, выдиралась, но вязкая жижа от этого только больше и больше налипала на панцирь и лапы. И засыхала на них коростой.

Я опоздал: солнце вмуровало черепаху в густую глину, высушило ее и убило, не оставив ни единой царапины!

Вот она — неподвижная, как булыжник. Темная точка в конце длинного повествования, написанного самой о себе.

Старая черепаха. На панцире вмятины и борозды: орел бросал с высоты на камни, лисица пробовала на зубок. Никто не смог одолеть — одолело солнце.

Старая черепаха — все щитки в морщинках. Каждая морщина — год жизни, сколько морщин — столько и лет. Как кольца на пне дерева.

Считать мне их некогда — манит зеленый черепаший рай. После голых сухих барханов тут и в самом деле рай: хоть и жиденькая, а тень, хоть и реденькая, а травка. Рыжие пончики осо́чки, маки, лиловые кустики астрагалов, белые эремурусы. Багряные кисти ревеня с расстеленными на песке листьями-ло-

пухами. Эта вот благодать и грезилась черепахе в ее длинных зимних снах.

И не ей одной! Вижу сразу нескольких черепах — эти попали в рай. Но ведут они себя не по-райски: дерутся! Или в пятнашки играют? Гоняются одна за другой — бегом! Догонит и стук щитком! Чур-чура — ты пятна!

А некоторые... бодаются! Как два драчливых барана, кидаются лоб в лоб и — бряк! Но не лбами, а щитками; головы они на мгновение прячут. Другие кружатся каруселью, норовя одна другую цапнуть за лапу или за хвост своим попугайским клювом. Подсовывают друг под друга головы, норовя перевернуть противника на лопатки.

После драк и игр обкусывают листики и травинки, жадно жуют, подталкивая травинки в рот бугорчатой и когтистой лапой.

...А мы привыкли считать черепах чуть ли не мертвыми булыжниками! Не пьют, не едят, в воде не тонут и в огне не горят. И пригодны они разве что на гребешки да на пепельницы.

Жизнь черепах не балует. И в раю у них много забот. Трудно им уцелеть. Потому-то каждый год жизни оставляет на щитке морщину-борозду. Морщины лет — одна глубже другой...

22 апреля

Для нас жизнь животного — как бы длинный пунктир. Черточки — это наши встречи, всегда случайные, всего лишь отдельные моменты их скрытой жизни. А просветы — это их жизнь без нас. Чтобы соединить пунктир в непрерывную линию, нам приходится что-то домысливать, о чем-то догадываться. Другое дело след на песке — это уже непрерывная запись. Единая линия жизни. Но и ее невозможно прочесть день за днем.

Преследовать зверя трудно. Не просто читать и его следы. Есть еще способ — исчезнуть, стать невидимкой. Укрыться в засаде.

Я снова в черепашьем раю. Сижу в кисейной тени саксаула. Сегодня пусть ходят другие — я буду сидеть. Другие — это жители рая. На километры кругом ни души — только струйчатые барханы. И зеленое пятнышко черепашьего рая.

Первой прошла большая длинноногая жужелица — черная в белых горохах. Быстрая, хищная, нацеленная; пробежит и замрет — словно высматривает и вынюхивает. Самая крупная жужелица, жужелица Манергейма. Она может одолеть даже ящерицу.

Словно соринки, гонимые ветром, мечутся по песку муравьи-фаэтончики, задрав брюхо вверх. Пролетные вертишейки садятся на песок и, ловко выстреливая языком, бьют муравьев как острогой.

Проскакал тонкопалый суслик, похожий на рыжего зайчика. Или на белку. Два-три прыжка и столбиком — осматривается. Вся жизнь у него с оглядкой: прыг, прыг — и столбиком, и глазами по сторонам. А то допрыгаешься...

Вдруг припустил со всех ног: у норы пробороздил с разгона, нырнул в дыру, дрыгая задними лапками.

Прилетела красноголовая чечевица и спросила: «Чего ты видел?» Вдруг проурчал козодой и смущенно умолк: урчать ему положено ночью.

Голое глиняное пятно изрыто норками, и края у норок заглаженные. Обитатели их мне известны — песчанки. Но когда я к ним подходил, в одну из норок втянулось что-то длинное, серо-желтое, в поперечных полосках. Не змея: змей с поперечными кольцами в пустыне нет.

Из норы высунулась усатая мордочка. Исчезла и тотчас высунулась из другой. Самая нетерпеливая песчанка — или разведчица! — присматривается ко мне. Вот выскочила целиком, уселась на пятки, подергивается, готовая в любой момент провалиться сквозь землю.

Не шевелюсь. За первой выскочила вторая, третья — из всех норок. Подземные крысы шныряют вокруг. У них, оказывается, горячая пора — сенокос. Старые большие песчанки далеко упрыгивают от нор, стригут траву, заталкивают ее лапками в рот поудобней и с травяным снопиком скачут назад. Суета сенокоса: мелькают в зеленой осочке светлые зверьки, стригут, тащат в зубах пучки, снопики и букеты. У одной в зубах красный мак, у другой — ромашка. Траву раскладывают у нор сушиться. Веточки густой полыни затаскивают под землю, в гнездо, чтобы выгнать блох.

Высунулись из нор и молодые: они меньше, с толстыми носами и глупыми глазами. Они еще боятся отбегать от нор. Усаживаются на пятки, берут в ручки сохнущие травинки и усердно их зубрят. Самые смелые скачут старикам навстречу и вытаскивают травинки прямо у тех изо рта. В разгаре сенокос: старики косят и носят — молодые опробуют.

Ко мне они пригляделись и больше не обращают никакого внимания. Только когда уж слишком громко щелкает аппарат, самые ближние вздрагивают и подскакивают.

Пригляделся к песчанкам и я и все чаще кошу глаз на большую нору в сторонке, в которую втянулось то, полосатое.

Ага, что-то светлеет в темном овале! Толком не разглядеть, но чувствую — не песчанка. Большой чешуйчатый нос высовы-

вается чуть заметно, тягуче-медленно — по сантиметру в минуту.

Вот нос, вот желтый внимательный глаз, толстая чешуйчатая шея. Варан — крокодил песков! Это его первый выход после зимней спячки. Подходя, я спугнул его, не дал погреть замлевшее в спячке тело — и вот он лезет снова.

Самая крупная наша ящерица — в полтора метра. Извести ее не успели только лишь потому, что появились дешевые заменители кожи. А до этого кожи варанов бойко кроились на ремешки и кошельки.

Варан не торопится. У меня же давно замлела спина и песок нестерпимо поджаривает. Варан высовывается из норы со скоростью растущего растения. И все время не сводит с меня настороженного золотого глаза. То помашет длинным раздвоенным языком — не поймешь, принюхивается или пробует струйки ветра на вкус? То широко раскроет кожистое ухо — прислушивается. Пахнет весной, привычно шумит саксаульник — вот только кто-то сидит...

Наконец выполз, сладко зевнул во всю щучью пасть и блаженно распластался на горячем песке похудевшим за зиму животом.

Лежит и блаженствует. А я поджариваюсь! Все довольны вокруг: суслик в осочке мелькает, поет синица серая, пыжится хохлатый жаворонок, дремлет варан — один я как грешник на сковородке!

Стройная черная оса волоком подтянула к вараньему носу большую гусеницу, бросила ее и забегала, ища свою норку. Варан чуть сунулся вперед и гусеницу проглотил. Оса растерянно покружила и улетела за новой. Приволокла вторую, такую же толстую, а он и вторую съел. Наверное, он и осу бы съел, но та вовремя улетела.

Скоро и соседям моим стало невмоготу. Смолк жаворонок и лег за пучок травы. Песчанки и суслик спрятались в норки. Варан отполз в тень куста эфедры. А у меня ни тени и ни норы...

Но ты видел сенокос подземных крыс и весенний выход варана! Огромная красивая ящерица смотрела на тебя внимательно золотым глазом. Ты видел, как оса угощала варана. Заметил его плоское отощавшее за зиму брюхо, вялые задние лапы,— они еще не отогрелись на солнце. Длинный красный язык выпархивал из сомкнутых губ длинной струйкой огня. И понял ты, что такой вот живой варан драгоценнее всякого кошелька — даже напиханного деньгами!

Вечером натянул веревку, повесил белый вкладыш от спальника, навел луч фонаря и стал ждать, кто завернет ко мне на огонек.

Саксаулы протянули к свету густые ветви. У экрана кружится мелюзга, и по вкладышу мечутся тени. Но вот с гудением

стали вываливаться из темноты грузные жуки-скарабеи. С лета тыкаются в экран, и экран вздрагивает, как от ветра. Тяжело падают на песок, ворочаются, ползают какими-то заколдованными кругами, роют норы, закапываются.

Приковыляли чернотелки, уткнулись в песок лбами и замерли в низком поклоне. Прилетели хрущи, вцепились в экран, повисли и замерли. Пришагал из темноты большущий жук-блябс: сделал стойку на голове, нацелив «хвост» в звезды.

Дикие мои соседи спешат на огонек. Прилетели шустрые ночные бабочки, забегали по экрану вверх и вниз. Пухлые крылышки трепещут, и сыплется с них, посверкивая, пыльца. Прилетели сверчки — черные, усатые и глазастые. Носятся возбужденно по экрану наездники — тощие, длинные! — и барабанят по нему усиками, как барабанными палочками. Прилетел бешеный бражник, стал тыкаться в экран мягким лбом — словно бодается.

Уныло ноет комар, ядовито звенят москиты. Мохнатые бабочки-совки растерянно кружат по вкладышу, зябко подергивая крылышками. Села нежно-зеленая златоглазка: такая нежная, что насквозь просвечивает, такая златоглазка — как два огонька сияют!

С шумом продрался сквозь ветви разбуженный саранчу́к. Прилетел, вихляясь на расхлябанных крылышках, муравьиный лев, похожий на маленькую стрекозу.

Живая воронка из насекомышей завивается над огнем. Сверху в нее вниз головой ныряют верткие летучие мыши — только крылышки мельтешат. Серый геккон на серой ветке хватает мух. А внизу на песке хватают бабочек пучеглазые жабы.

А из черноты летят, ползут, скачут все новые жуки, бабочки, мухи и комары.

Свисают над огнем серебристые, словно заиндевелые, ветки. И мечутся в странном танце, танце огня, обитатели леса пустыни, мои соседи.

23 апреля

Сегодня проспал и чуть не сварился в палатке. Выскочил босиком и запрыгал — песок раскаленней железа! Пустыня показывает коготки. А ведь только еще весна — что же здесь будет летом?

Идешь, а голова наливается тяжестью, во рту горько и вязко, сердце толкает в ребра, с трудом качая загустевшую кровь. Сейчас бы облиться водой и встать на сквозняк, расставив руки. Но вода и сквозняк и во сне не снятся.

Днем в палатке как в мартеновской печи. Поэтому рядом с ней я натянул тент, под него положил надувной матрац — мягко, тень и вроде даже шевелится воздух. Сидишь нагишом, стараясь

не шевелиться, и все равно весь течешь. По силам одно занятие — пить чай. Чай кипячу на костерке из саксаульих веток — они горят синим пламенем, как облитые бензином.

Ни думать, ни двигаться невозможно. Отупение и обалдение. Ощущение мокрой тряпки, сохнущей на припеке.

В полдень на верблюде подъехал пастух: долго смотрел на меня с высоты — живой я или нет? Я дрыгнул ногой и пополз к чайнику. Потом мы пили чай. Я все тек, как неотжатая тряпка, а он меня запугивал. Знаю ли я, что скорпионы заползают ночью в постель? Я кивал и, отогнув угол матраца, показывал ему сразу дюжину скорпионов. Они наползли туда ночью, в дневное пекло ни один из них не отважится из-под матраца и клешню высунуть! А вечером я их разгоняю.

Знаю ли я, что живет в песках ок-илян — стрела-змея, которая прыгает и протыкает верблюда? Я развязываю полотняный мешочек, и из него выскакивает — как чертик на пружинке! — глазастая змеиная голова. Стрела-змея — безвреднейшая из всех ядовитых змей. Чтобы укусила ядовитым зубом — надо ей палец засунуть в глотку; там, в глубине у нее ядовитые зубы. Да и ядовиты они только для маленьких ящериц.

Пастух хотел запугать меня, а похоже, запуган сам. Но вида не подает. А знаю ли я, что живет в песках змея-спираль? Чего не знаю, того не знаю. Наконец-то пастух меня поучает, как и положено аборигену. Так знай — есть змея-спираль! Совьется и винтом по песку! Как змеевик. Ну змеевик-то ты должен знать — кто змеевик не знает? Песок днем горячий, чтобы брюхо не припеклось, скручивается змея в змеевик и катится боком! Хитрая.

У меня нету сил спорить с ним. Я только слушаю и киваю. Я и сам бы сейчас свернулся в спираль и укатился бы куда-нибудь в речку.

Пастух разохотился: есть еще — летает по воздуху! Летит, извивается и блестит. Летучий змей. Веришь?

Я киваю и подаю ему кружку с чаем. Сейчас я верю во все.

Чабан взгромоздился на своего верблюда и затерялся в раскаленных песках, как мираж. На прощанье подмигнул:

— Испытание на выживаемость, да? — Он читал, что сейчас в моде такие вот испытания — во льдах, в песках, на воде.

К вечеру, как всегда, спала одуряющая жара. Но от всего — от песков, от кустов! — еще пышет жаром. Но это уже истекающий в небо жар: земля отдает то, что накопилось в избытке. Земля остывает и переводит дух.

Постепенно все становится серым. Только небо на закате блекло-желтое, и на его бледности четко и резко рисуются жесткие суставчатые ветки и скрученные жгутами стволы.

Странный шум, похожий на шум накатывающейся волны, нарастает в глубине саксаульного леса. Это ветер. Нахлынул, зашумел, обдал теплом, зашевелил жесткие ветки. А погодя потянуло прохладой и свежестью — и легче стало дышать, и можно было даже встать и двигаться.

Засвистел рыжехвостый тугайный соловей — неторопливо и чуть грустно, как свистит у нас в сумерках певчий дрозд. Над тентом затикал геккончик. Он давно живет рядом со мной, но появляется и «поет» только по вечерам. Представляется, что он выползает с палочкой в лапке и, как дирижер по пюпитру, постукивает по сучкам: внимание, начинается ночь! Тик-так!

Ночью над пустыней всплывает луна, и пески — до самого горизонта! — становятся голубыми. Все словно погружается в прохладную тень подводья. Заросли саксаула становятся кущами водорослей, а волны барханов — морским дном.

Легко и прохладно после струящейся дневной жары Иду, оглядываясь на светлое пятнышко палатки, утонувшей в дымных лунных кустах.

Тишина. И голубые пески. Нездешний, удивительный мир. Мир далекой планеты.

Далеко — чуть слышит ухо! — неясные стоны. А рядом, в расплывчатом темном кусту, таинственное бульканье-тиканье. Шорох своих же шагов. И черные скобки следов печатаются на песке.

Лениво тянется лунная ночь. Ни движенья, ни звука, ничто не настораживает, ничто не тревожит. И все-таки чего-то ждешь! И что-то влечет тебя дальше и дальше в голубые барханы. Слишком все призрачно и необычно, чтобы не ждать и не идти.

С бархана на бархан — как с волны на волну. С голубого гребня в темный провал. Из провала снова на светлый гребень. Все дальше, все глубже в сияющее неоновое пространство.

Приставишь к уху ладонь — и в ухо тебе тишина. Голубой сон спящей пустыни.

Даже знание не может погубить эту фантастическую красоту. Я знаю, что тикают на кустах гекконы. А постанывает вдалеке сыч. Урчит козодой: вчера я осветил одного фонарем, и глаза его загорелись рубинами. Знаешь все и всему поражаешься.

Что-то блестит как вода. Жму ногой — твердо. Это такыр, до звона засохшее «озеро» глины.

Поет на такыре сверчок — как далекий колокольчик звенит. Раскорякой бежит чернотелка, катя сбоку свою круглую тень.

Давно не видно палатки — и пусть. Не хочется возвращаться к привычным вещам. Смотрю и смотрю на голубую землю: сухую, бесплодную, мертвую и... прекрасную.

Задумчиво тикает лупоглазый геккончик: чешуйчатое горло его дрожит, а в черных огромных зрачках сияет луна и голубые пески.

Не часто наяву попадаешь в сказку, не часто явь такая же удивительная, как и сон. Время остановилось, все пронизано лунным светом. Сияние поседевших песков, пятна кустиков саксаула. И прохлада. Спасительная прохлада — долгожданная, легкая, возвращающая жизнь.

Воровски — как крабишка! - пробежал ногатый тарантул. По-утиному, вперевалку, проползла толстая чернотелка. А потом, словно птица, пронеслась над песками тень, мелькая неясным белым пятнышком. Тушканчик! А белое пятнышко — кисточка на хвосте.

Где-то тут и черный паук каракурт, которым пугал пастух. В самом деле ядовитый паук от укуса его гибнут овцы, кони, коровы. Людей он чаще кусает ночью: спящий может нечаянно придавить паука. Тогда надо прижечь укус спичкой — яд обезвреживается огнем. Каракурт опасный паук, и рассказы о нем не выдумка. Это не скорпион, укус которого не сильнее пчелиного, и не фаланга, которая и вовсе безвредна. Гигант верблюд гибнет от укуса паучка ростом с горошину.

Пугал пастух и многоножкой ростом с овцу. Он видел ее следы — извилистая полоса шириной с чабанью шапку, истыканная тысячью ножек. Может, бежал дикобраз, волоча по песку растопыренные колючки?

Сколько везде таких выдумок! И надо бы их собрать, как собирают вымирающие слова и обряды. Красная книга баек, выдумок, ошибочных представлений. Они уходят бесследно, а жаль. Целая эпоха познания природы, общения с ней. От сказок и баек до наших нынешних представлений. Что было — что стало, что потеряли и что нашли...

Места обитания многих зверей сейчас сократились в десятки и сотни раз. Часто от них остаются одни названия. «Кулан-булак», «Кулан-тепе» — Куланий родник, Куланий холм. Памятники вымершему тут кулану. О куланах не помнят и старики, а родники и холмы — помнят Только по названиям гор и урочищ можно восстановить теперь их прежнее распространение. Названия как отзвук былого. Так в ущельях гор видишь выцарапанных на скалах оленей или архаров, которых давно уже нет. А от скольких уже ни следа, ни названия, ни рисунка.

В байках охотников и пастухов сохраняется нечто такое, что непременно трогает сердце и волнует воображение.

Гигантская многоножка, летающая змея, змея-спираль...

Поживем — увидим.

Странными путями приходится иногда узнавать о редких животных. Как-то нашел в лесу хвостик летучей белки, остав-

ленный ястребом или совой. Но саму летягу удалось встретить лишь через пятнадцать лет! В выстилке старых гнезд находил перья птиц, которых никогда в этих местах не видел. В погадке сыча нашел череп карликового тушканчика, а самого его так до сих пор и не встретил.

В промоинах и ущельях находят рога архаров, которые давно уже там не живут. В каменистых черных пустынях десятками лет сохраняются даже лежки джейранов — «ископаемые» лежки! На почерневшей от солнца щебенке видишь светлый овал. Здесь когда-то лежал джейран; устраиваясь на отдых, он копытил землю, переворачивая загоревшие камешки светлым донышком вверх. По степени потемнения донышка можно примерно прикинуть, сколько десятилетий назад он тут лежал. Встречаются лежки, которым более полувека.

Черное небо и голубые пески. На засохшем кусте тикает тихо геккон. Где-то у горизонта урчит козодой. И эти чуть слышные звуки только усиливают плывущую тишину.

Пора в палатку. С высокой песчаной гряды весь мой саксаульник внизу кажется клубами курчавого дыма. В который раз упоминаю про дым, а лучшего сравнения не найти. Клубы застывшего дыма, посеребренного светом луны. А вот и белая точка моей палатки,— как белая искорка.

Тишина и сиянье луны. И свист рыжехвостого соловья, неторопливый и чуть печальный.

24 апреля

Вышел в пески в семь утра. Свежо, резкие длинные тени. Пески просыпаются по заведенному порядку.

В семь двадцать выползли первые большие чернотелки. В семь сорок появился первый жук-каспика — белый в черную полоску. В семь пятьдесят заметно пригрело и запорхала черная бабочка. Восемь двадцать — на лицо липнут первые мухи, пролетела первая репейница. Восемь тридцать — выползла греться первая скаптейра, сетчатая ящурка. Восемь сорок — промчался по песку первый «тузик». В девять часов закружил первый коршун — значит, над нагретым песком уже поднимаются токи нагретого воздуха: мне их не видно, но коршун нащупал их крыльями. В девять пятнадцать первый охотничий след скаптейры — прогрелась и отправилась на охоту. Все точно по расписанию.

К девяти часам во рту копится вязкая горечь, губы становятся чешуйчатыми и начинает царапать в горле. Тянет горячим ветром, и гребни барханов начинают дымиться — песок заметает следы. А какие были следы на восходе: четкие, ясные — как чеканка! Каждое утро видишь эти шедевры чистописания — и каждое утро ветер безжалостно их стирает.

Солнце, поднимаясь, испаряет меж барханов ночную прохладу и тень. С утра опускаешься в эти впадины, как в прохладную тихую воду. Даже матовый налет сырости на серебристых листьях акаций. А днем спускаешься в межбарханье словно в ванну с горячей водой — дух захватывает и обжигает ноздри. И на теле выступают пупырышки — как в парилке на верхней полке. И цедишь сквозь зубы уже не воздух, а обжигающий кипяток. Дунь на голую руку — и опалишь, как паяльной лампой.

От раскаленных склонов пышет огнем. И только над самой головой лоскуток голубого неба — такого свежего и голубого, что так бы вот взял и облился им! Так всегда: с вершины барханов небо кажется тусклым, сухим, добела раскаленным, а спустишься в межбарханье — и небо становится свежим, влажным, насыщенно-голубым. Испепеляющий зной вокруг, а там, в лазоревой глубине...

...А там, в лазоревой глубине, летит, сверкая и извиваясь, летучий змей. Не чудится, не кажется — летит, поблескивая, змея. Почти бесцветная, длинная, извивается. Помелькала и скрылась за гребнем, косматым от веющего песка.

Но такого не может быть, тут что-то не так, нет на земле летающих змей! Спешу по бархану вверх, подыскивая хоть какое-нибудь приемлемое объяснение. Помутилось в глазах? Но почему тогда я сейчас все ясно вижу — до песчинки, до стебелька! Я очевидец, а кто мне поверит? Я и сам не верю себе. Но я же видел! Вот только сейчас...

На гребне засвистывает поземка. Песок сечет по ногам. Никаких следов.

Я закрываю глаза и все вижу снова. Летит и блестит, как лента легкого целлофана.

Орел выронил полоза из когтей? Но полоз падал бы вниз, а не летел по ветру? Да и орел не такой растяпа, он бы непременно спустился к добыче, и я бы увидел его.

Никого. Жмусь в тени тощей песчаной акации, а когда тень уходит — передвигаюсь за ней. Ветер мотает обвислые ветви, я то на солнце, то в тени — то обдает светом и жаром, то укроет тенью и свежестью.

Как тут живут! Я могу вернуться к палатке, облиться водой из родничка, сесть под тент на ветерок. И остывать, остывать, остывать. А потом пить чай, размачивая ссохшееся нутро. А как они?

Перевеянный прокаленный песок. Горячий, иссушающий ветер. Ни капли воды. Ни пятнышка тени. День за днем, день за днем. За одну живучесть их надо бы сохранить. И всем показывать — поразитесь! Поразитесь силе жизни и совершенству природы.

Одно из «совершенств природы» — саранчук вцепился в листья акации и жует. Ветер мотает его вместе с ветками, но он крепко держится. Сразу и ест, и пьет. Акацией, как насосом, качает воду из глубины. И какой — метров десять — пятнадцать! И так уже брюхо набил, что блестящие пояски на животе разошлись и в просветах дышит тонкая кожица — вот-вот обручи-пояса не выдержат и брюхо лопнет! Обжора затих, обвис обессиленно и уснул.

Щеку щекочет муха, надеясь на капельку пота. Но пота нет, щека засохла и шелушится. Дунул на муху краем рта — и щеку обжег.

Шипя и завиваясь волчком, бредут смерчики. Вдруг отрываются от песка и ввинчиваются в небо. Долго потом сыплется сверху труха и сухие травинки. Лицо и шея горят. Веки смежаешь в узкую щелочку, но пронзительный свет все равно проникает в мозг. И лучше глаза закрывать — иначе кружится голова.

Медленно тянется день. На акации у ствола старое птичье гнездо, чашечка его полна песка. Песок медленно течет из щелей: песочные часы пустыни высыпают минуты...

Для обитателей этой иссохшей земли я должен бы быть заманчив, как ручей, как переполненная лужа, как бочка с водой, наконец! Как я ни высох сверху — внутри я все равно на три четверти из воды. И должен распространять восхитительные флюиды влаги, свежести и прохлады. И ко мне — словно на водопой! — должны бежать, лететь и ползти обитатели этих безводных песков. Я для них как живая приманка.

Но вокруг никого. Обитатели пустыни обходятся без меня и без воды. И в этом неописуемом пекле один только я ношу с собой воду! Я, сам состоящий из нее на три четверти. В песках я что-то вроде ходячей фляги. Пузырь с водой, катящийся по барханам. Бочка с водой, которая все время хочет пить... Страдающая от жажды вода!

К вечеру ветер стих.

Осматриваю склоны и впадины — вдруг что-то подскажет разгадку? И ничего: все стерло ветром, все замело песком.

Загадали пески загадку. Дело теперь за мной.

Ночью к палатке пришел гекончик. Смирно стоял в сторонке, смотрел на огонь и вилял загнутым хвостом. Зачем-то время от времени открывал розовый, как у котенка, ротик, словно зевал, и протирал языком огромные глаза. Налюбовавшись, ушел в темноту, все так же по-собачьи виляя хвостиком.

25 апреля

Вышел чуть свет и до восхода ушел далеко. События утра повторялись: в том же порядке, что и вчера, появлялись жуки

и выползали ящерицы. И снова к девяти часам стало жарко. Разогретая сетчатая ящурка, испугавшись, метнулась к кустам, налетела на бугорок, прыгнула с него, как с трамплина. Пролетела по воздуху чуть не метр, в шесть раз длиннее своего тела. Если большой варан мог бы прыгать с такой же резвостью — он пролетел бы по воздуху десять метров — ни зайчатам, ни сусликам не было бы спасения! Но природа, дав преимущество в росте, непременно ограничит в резвости. Природа никому не дает безраздельного преимущества. У каждого своя ахиллесова пята. Первый нынче вараний след. Первые дни после спячки вараны отогреваются и почти не отходят от зимовочных нор. Потом проверяют ближние норы песчанок, сея переполох и страх. И вот уже пустились в странствия по пескам в поисках добычи и приключений. В норах сейчас много неопытных малышей, к тому же там всегда прячутся ящерицы, жуки и гекконы.

Вараний след похож на след огромной раскоряченной жабы. Цепочка из пучков царапин. Ширина дорожки двадцать сантиметров — варан прошел средненький, в метр с небольшим. У пучка травы застрял лоскуток чешуйчатой кожицы; значит, варан линяет. У того, что был у норы, кожа на пояснице и задних лапах тоже висела лохмотьями.

Если варана догнать, он остановится, повернется к тебе узким рылом и начнет пугать — шипеть как проткнутая шина. Бока его работают, как мехи, как насос,— вот бы приспособить резиновый матрац надувать! Разевает зубатую пасть, машет длинным раздвоенным языком, хвостом хлещет. И похоже, может ощутимо хлестнуть; и уж наверняка сшибет при охоте ящерицу или песчанку.

Я не собираюсь догонять варана, но узнать, зачем он вышел в пески, надо. Что он ищет после выхода из норы?

Странный вараний след пересек след еще более странный: словно кто-то чертил палочкой на песке буквы «К». Длина буковок шесть сантиметров, расстояние между ними — тринадцать. Такой диковинный след может быть только у сов, а судя по размерам его,— наследил сыч. Для чего шагал этот домовый сыч по таким бездомным пескам?

Два-три таких «почему» — и можно шагать целый день.

Домовый сыч любит гнездиться в постройках. Туркмены зовут сыча «богачом» — он один занимает большое кочевье. И еда ему, богачу, сама в рот идет. У места сычиной дневки скапливаются погадки — комочки с непереваренной шерстью и косточками грызунов. На них слетаются мухи и приползают жуки, на мух и жуков собираются зверьки и птицы — богачу остается их только хватать.

Сычиный след подошел к норе и... скрылся в ней. Неуже-

ли сыч залезет к песчанкам в нору? Птица охотится под землей!

Вараний след тянется от бугра к бугру, скрывается в переплетениях обнаженных корней, виляет в понижениях меж барханов. Вот-вот увижу впереди тело ящера, вразвалку идущего по песку.

След перевалил через непонятный бугорок; словно под песком спрятано куриное яйцо. Смахнул песок, а под ним... гриб! Еще бугорок, с горошину. Сдуваю песок — зеленая закорючка ростка. А если сгрести ладонью песок пошире, увидишь тут и там тощенькие зеленые ворсинки — какая-то травка пытается прорасти. Но поздно: она сразу же высохнет, как только высунется из песка. И грибы будут торчать из песка... сушеные.

В стороне странное пятно на песке: вроде протерлась дырочка на холсте, а ее заштопали. Или пришлепнули песок печатью с иероглифами. След так и называют — «печать тарантула». Песчаный тарантул забрался в норку, и «запечатал» за собой вход. Ветер скоро печать загладит, и никто не узнает, что тут, под песком, тарантул спит.

Растрепанный высохший «початок» заразихи, вокруг следы маленького зайчика — или нет? Конечно, нет; очень уж тонкие и длинные пальцы у этого «зайца». Тонкопалый суслик орудовал. Сперва растрепал заразиху, а потом на склоне лунки копал, а в лунках не чешуйки тюльпаньих луковок, как обычно, а... надкрылья майских жуков!

Катит шар скарабей. Вот выбрал место, роет нору, выгребает головой песок, как бульдозером. Торопится. И все равно не успел зарыться: налетела ушастая круглоголовка и слопала скарабея!

Еще картинка: на склоне нос к носу чернотелка и сетчатая ящурка. Чернотелка склонилась в традиционном поклоне, ящурка распласталась — обе не двигаются. Что это? Ящурку озадачила неподвижность жертвы? Или стойка ее напоминает боевую стойку ядовитого бомбардира-блябса? Я ушел, а они так и остались гипнотизировать друг друга.

А варан мой ни с того ни с сего вдруг припустился бежать! Так и вижу, как из-под его кривых жабьих лап брызжет песок. Промчался тридцать шагов, оставляя между отпечатками лап извилистые борозды от хвоста. И снова пополз лениво и не спеша, ведя кончиком морды над самым песком — словно принюхиваясь. До чего зримо пишут о себе обитатели песков: смотришь на след, а видишь живое существо, со всеми его ужимками и повадками.

Посреди следа комок влажного песка с несколькими надкрылышками жуков. Ясно, что не помет,— а что? Уж не варанья ли это «пробка» — вроде медвежьей «пробки»? По выходе из

берлоги медведь оставляет на следах особую «пробку». Только после этого у медведя появляется аппетит, до этого он ничего не ест. Может, и у варана в спячке кишечник тоже «пробкой» закрыт? И вот варан раскупорился...

След варана пересек встречный вараний след: вараны начали широко ходить. И скоро, наверное, начнутся вараньи свадьбы. Мало кто видел их, и никто еще не сфотографировал. И мне не придется. с каждым днем ходить все труднее, а приближается пекло и вовсе непереносимое. Полчища комаров стерегут у нас тайны леса, на страже тайн пустыни стоит жара. Минутами становится жутко — а вдруг упадешь? Тяжелая волна жара ударит в голову, все поплывет в глазах. Что тогда?

Фляга уже пуста. На уши давит, как при посадке самолета, в горле спазмы. Словно паришь в невесомости, а барханы как бы отдаляются и двоятся.

Бреду назад, подставляясь на гребнях даже самому легкому шевелению ветра, ловлю его всем телом, больше всего боясь непонятного жуткого раздвоения барханов, тяжелых толчков в виски.

И вдруг вижу четкий след «спирали»!

Бесконечная цепочка параллельных косых черточек. Диковинный след переваливает через гребень, спускается по пологому склону. Это несомненно след «змеи-спирали», о которой говорил чабан. Но идти по нему я уже не могу. Голова переполнена вязким зноем; я несу ее на плечах, как горянки носят на головах тяжелые кувшины с водой — осторожно и ровно, тяжесть расплавленного свинца.

След спирали... Ни одно живое существо не может оставить такого странного следа, если... если оно и в самом деле не скручено, подобно змеевику! Щелкаю аппаратом, хотя совсем не уверен, что пленка в нем не расплавилась. На всякий случай рисую след в блокноте. Никто из живых существ не может оставить такой вот след! Никто! А след — вот он — у ног...

Вползаю под тент и лью на голову воду. Странно, почему вода не шипит и не пузырится? Но что за блаженство! Тень, влага и хотя бы подобие прохлады! Нет, не блаженство — это спасение. Немощное тело наше может нормально существовать в узкой щелке от 36 до 37 градусов. Всякая другая температура для него — болезнь. Здоровье в пределах градуса!

За тентом сияние белых песков и белого неба. Все раскаленное добела. Туда сейчас руку страшно выставить — все равно что сунуть ее в кипяток.

До вечера лежу врастяжку, закрыв глаза, раскачиваясь на волнах в такт толчкам загустевшей крови. Полузабытье, полусон. Состояние черепахи, впадающей в летнюю спячку.

В сумерках зашумел саксаул, и потянуло ветром. И сразу под тентом тонко заныл комар и запорхали... поденки! Нежнейшие, почти прозрачные насекомые, всегда роями толкущиеся у воды,— откуда они тут, почему не испепелились за день?

Потом зачирикал геккончик и усыпляюще долго трещал козодой. Обалдение дня проходило. Можно было вставать. Я осветил геккончика фонарем: серая кроха с выпученными глазами. Чирикая, он задирает хвост и рывками ползет по ветке: то ли кого-то зовет, то ли кого-то пугает. Как спасается этот кусочек слизи, почему давно не обуглился и не рассыпался в порошок? Жизнь поразительная, неправдоподобная,— жизнь в огне.

26 апреля

Жизнь поразительная!

Когда песок начинает жечь пальцы, ушастая круглоголовка встает на пяточки, задрав пальцы вверх. Когда воздух даже на гребне бархана становится неподвижным — круглоголовка начинает обмахиваться хвостом.

Сегодня поймал путорака — пегую землеройку песков. Симпатичная крохотная зверюшка: остроносая, с большими серебряными усами, с розовыми голыми ушками. Шкурка серая с белым брюшком и овальным белым пятнышком на спине. Зверюшка замечательна тем, что должна непрерывно есть. Стоит не поесть с полчаса — и симпатичная обжора сдохнет. Какое-то непрерывное жующее и переваривающее устройство! Деловито слопав одну чернотелку, путорак принимается за другую, да так жадно, будто не ел неделю, хотя каждая чернотелка в половину его самого. Говорят, что он даже не спит; боится уснуть и околеть с голоду! Ест непрерывно — днем и ночью.

Наверное, преувеличивают. Должен же он тратить время и на охоту. А как же зимой? Зимой жуки и ящерицы прячутся, где путораку их столько найти?

...А путорак доел третью чернотелку и поводит носиком-хоботком — нет ли рядом четвертой?

Сегодня в пески не пошел. Сидел в саксаульнике у нор песчанок. И повезло: из крайней норы вылез... сыч!

Высунулась круглая голова с влажными золотыми глазами. Потом вылез весь — но что за вид! Обшарпанный, ощипанный; перья на спине и крыльях потерты, белые стерженьки торчат, как иглы у дикобраза.

Ковыляя, сыч отошел от норы, пригнулся, подскочил и взлетел. То ли у него гнездо в норе, то ли он запоздал там с ночной охотой. По виду ясно, что лазать в норы для него не диковина. К тому же, как иначе поймаешь ночью дневную песчанку, если к ней в дом не вломишься!

Из срединной норы поселения не спеша выбралась старая толстая песчанка. Встала столбиком, огляделась и почесала под мышкой. Растерла кулачками толстые щетинистые щеки. На миг задремала, разморенная солнцем. Но тут же вздрогнула, проснулась и... увидала меня! Куда подевались старость и лень! Песчанка задергалась и... заплясала! Лапками отбивала чечетку — тра-та-та! А потом взвизгнула и провалилась в нору, выбив облачко пыли. И под землей зазвучала тревога: тра-та-та! Тра-та-та! То тут, то там! На миг из норок выглядывали взъерошенные головки зверьков и снова прятались. Взлетала пыль, словно зверьки с силой захлопывали за собой дверь. Всполошила всех старая крыса!

Можно часами сидеть у звериных нор или у птичьих гнезд. Это то самое, о чем говорят: лучше один раз увидеть! Время, рождающее понимание. И сочувствие ко всему живому.

Что же делать с летучей змеей и змеей-спиралью? Должно же что-то за этим быть! Я не интригую читателя, я и в самом деле ничего не знаю и ни о чем не догадываюсь. Я просто не знаю, как быть.

В пустыне многое озадачивает.

Сегодня, идя к этим норкам, на песчаной залысине я увидел след... маленького велосипедиста! Ровная рубчатая полоса пересекала песок. Когда я зимой показывал этот снимок, все не задумываясь отвечали, что это след велосипедных шин.

— Угадали! — говорил я.— Это катался на велосипеде человечек песков. А на самом деле это был след большого египетского таракана...

Над снимком следа спирали гадали долго и безуспешно: невозможно было вообразить, кто — и как! — мог оставить такие следы. С летучей змеей было проще: ее следов не было и она могла показаться.

— Но все-таки? — спрашивал я.

— Да мало ли что... Но ты же сам знаешь, что летучих змей нет.

Я знаю. Нет. Но я же видел ее — своими глазами!..

Рядом на ветку вползла агама и скосила на меня желтый глаз. Глаза агам, как и глаза хамелеонов, могут поворачиваться в разные стороны: не шевеля головой, она может все вокруг видеть. Обладай я талантом агамы, я бы ясно сейчас увидел, как позади из реденькой щетинки песчаной осочки поднялась змеиная голова на длинной шее. Но я лишь краешком глаза и мельком заметил не́что, что принял за торчащую сухую ветку. Мгновением позже я повернулся, но «сухого сучка» уже не было. Рассказываю я вот к чему. Видели, как степные птицы, жаворонки или каменки, вдруг ни с того ни с сего опускались в траву и... попадали в пасть змее! Что это — знаменитый

«магический» взгляд, гипноз? Или птички блеск чешуи принимают за блеск желанной воды? Или что-то еще?

Может быть, и «еще»! Однажды ловец змей рассказывал, как охотился на птиц полоз. Хитрость змеи была в том, что он... никак не охотился: не подкрадывался, не преследовал, не заползал в гнездо. Он просто поднял над полынкой шею и не шевелился — обернулся тем самым «сухим сучком», который только что торчал у меня за спиной!

Степные птицы любят садиться на возвышения: камни, пласты дерна, засохшие стебли — сверху ведь лучше видно. И ловец убеждал, что полозы это знают. И нарочно «оборачиваются» сухим сучком. Заметив удобную присаду, птичка снижается, присаживается — и попадает в зубы. Что-то вроде охоты на подсадную...

Непременно проверю и «сучок» и «блестящую лужу». Так ли? Или это тоже одна из расхожих баек.

День прошел незаметно. Хоть и пекло, но совсем не так, как в открытых песках. Хоть и кисейная, а все-таки тень. И к палатке я шел не разваренный и не засохший. Шел и не знал, что приближаюсь к разгадке.

На склоне из-за пучка селина вильнула серая змейка и, свернувшись спиралью, закатилась за кустик ферулы!

Из ферулок скрыться некуда — чистый вокруг песок. Она должна быть там, я сейчас увижу ее — змею-спираль!

Постоял, успокаиваясь, и стал сползать на боку, упираясь в песок каблуками и локтем. Кустики рядом, я вглядываюсь, осторожно наклоняясь то вправо, то влево. Вот она! Полуразинутая пасть и из нее свисает ящерица. Круглые перламутровые глаза. Так это же давно мне знакомая стрела-змея!

Это она метнулась, схватила ящерицу, свернулась спиралью и скатилась по склону в траву. И вот от ящерицы уже один хвост торчит.

Вот и след. Но он совсем не похож на след-спираль, он совсем не такой, что я фотографировал и рисовал. Какая-то чертовщина: змея катилась спиралью, а след на спираль не похож! И он короткий — шаг-полтора. А тот тянулся через весь бархан. И полоски были косые, словно бы спираль не просто катилась, а как бы ввинчивалась вперед. Отгадка снова превращалась в загадку.

Стрелка могла на мгновение стать спиралью — когда хватала ящерицу и с нею скатывалась под уклон. Но и тогда ее след был другим. А чей же тот, что в косую линейку с бархана и на бархан?..

1 м а я

Вернусь ли я когда-нибудь снова в пески? Зачем мне это испытание на выживаемость за свой счет?

Но я возвращался — и не один раз. И готов туда ехать снова. Все неприятности скоро позабывались, а вот необыкновенность песков, их непохожесть на все привычное, чудо жизни в огне на расстоянии поражали еще больше и еще больше влекли. Сколько раз за зиму возвращался я мысленно в этот вот высохший саксаульник, сколько раз сожалел, что все там сейчас происходит без меня!

Странное и беспокойное ощущение: ты здесь, а все, ставшее тебе таким знакомым и близким, где-то там...

Там каждый вечер выползает на ветку геккон и, дергая хвостиком, тихим тиканьем объявляет ночь. И луна отражается искрой в его стеклянных выпученных глазах. Каждое утро там поет рыжехвостый соловей, печально и славно, как певчий дрозд. И где-то там летающая змея и змея-спираль. И саксаулы сипят на ветру сквозь сжатые губы.

Всплывают другие пустыни — с другими лицами и другими тайнами. Лихорадит от нетерпения, и руки тянутся к рюкзаку. Моя планета ждет меня.

Фантасты выдумали планеты из чистого золота и серебра, с драгоценными камнями вместо булыжников. Поселить бы их самих на этих бессмысленных планетах, лишенных жизни! Выдуманы планеты с молочными реками и кисельными берегами, с лесами, в которых вызревают окорока и торты. И непонятно, почему космонавтов там снабжают анализаторами, а не касторкой.

Но почему-то ни один фантаст до сих пор не придумал планеты, достоинством которой была бы ее разноликость и красота. Красота, тайна и разнообразие фантастических живых существ — от чего перехватывает дыхание! Как у нас на Земле...

У пустыни своя красота. Чем дольше живешь в ней, тем ощутимей она выступает. Туркмену доказывать это не надо: он сам часть ее, он ею пропитан, в нем ее зов. Ему легко петь о том, что видят глаза, потому что все вокруг него — песня.

...А вокруг меня сейчас пекло! Первое мая, первый день последнего весеннего месяца. Но это в календаре, а на земле — разгар лета. Отцвели цветы и пожухли травы. Саксаульники загустели, ветер в них шумит басистей и глуше.

Теперь вхожу в пески часов в шесть, а к двенадцати возвращаюсь — дальше невмоготу. После четырех снова можно выбраться из-под тента и ходить до темноты. А еще лучше — ночью.

Все больше поражает слаженность жизни в песках, подогнанность всего и вся. Вот исключи хоть самую малость, и сра-

зу что-то заскрипит и застучит в этом отлаженном механизме. Благополучие этой земли складывается из того, все ли на ней есть что положено. Полным списком! Потому что каждая птица и зверь, каждая ящерица выполняет совершенно необходимое дело. И если вдруг что-то исчезло — или только начало исчезать! — надо трубить тревогу. А если не спохватиться, промедлить, все начнет исчезать одно за другим. Только полный список: от высохшего гриба до черного саксаула, от комара до каракала!

А следов каракала нет...

Сегодня встретил пустынного воробья! Ладная и красивая птичка, пожалуй, самая симпатичная из всех наших десяти видов воробьев. Поменьше воробья обыкновенного, нежно-серая с черным горлышком и масочкой на глазах. Ловко, скорей по-синичьи, чем по-воробьиному, лазал он в обвисших ветвях песчаной акации, раскачиваясь на ветру. Стараюсь разглядеть его как можно лучше, ведь нигде в мире такой птицы больше нет. Да и у нас она живет только тут. А «тут» — это всего лишь пятнышко, прилепившееся с запада к реке Амударье. Но и в этом пятне воробей встречается не везде, а только там, где вздымаются гряды барханов, поросших белым саксаулом и песчаной акацией. И с чудесными кустами эремоспартона, похожего на тонкую японскую вышивку.

На акации было гнездо пустынного воробья. Оно похоже на пук сухой травы и устроено под старым гнездом пустынного во́рона. И не без умысла: гнездо ворона служит зонтом от солнца. Яички спрятаны внутри этого травяного пучка. Стенки у гнезда очень плотные и очень толстые; такое гнездо впору бы строить нашим клестам, которые выводят птенцов зимой. Но я вспоминаю ватные халаты туркменов, их большие бараньи папахи — все так и должно быть: толстые стенки спасают пичуг от жары. Попробуйте-ка тут под солнцем раздеться: это не только ничуть не поможет, это смертельно опасно. Учитесь у воробья.

Вход в гнездо с северной стороны — тоже не без ума. Но самый главный птичий расчет в том, что яички в этом гнезде не надо насиживать! Они сами себя насиживают. Гнездо-инкубатор. Не всегда, правда, это у хитрого воробья получается, но в поздних кладках бывает часто. Тогда в жару воробей залетает в гнездо только затем, чтобы яички перевернуть. А воробьят ему высиживает солнце!

Четкая ровная синусоида — след удавчика. Размашистые извилины со сдвигами на изгибах — изящный и легкий след стрелы-змеи. А вот след, который нигде не увидишь,— след кукушки! Пролетная кукушка топталась у ферулы, склевывая гусениц. Наследила кукушка, которая для нас неотделима от лесных вершин!

Самый короткий след — отпечаток двух птичьих лапок. Козодой присел на песок и тут же взлетел. Следы, как запечатленные мгновения жизни. Я тут был! И подпись. И по одному отпечатку можно представить целый кусок жизни скрытого дикого существа.

...А вот каракальего следа все нет и нет, хотя глаз ищет его постоянно.

Сегодня ночью ходил к далеким солончакам. Луны не было, и казалось, идешь по дну черного океана, и не звезды над головой, а светящиеся медузы. И тишина, какая бывает, наверное, только на океанском дне.

Вдруг крик впереди — негромкий, но жутковатый! Голос протяжный и какой-то «пустынный»: «Тар-лии! Тар-лии!» Вроде при-дии, при-дии! И я иду.

Под ногами похрустывает щебенка, шуршат сухие стебли. А голос зовет и зовет. Не приближаясь, не удаляясь, заманивая дальше и дальше.

Теперь-то я знаю — это кричала авдотка. Пустынный кулик с золотыми глазами сыча. Весь день она лежит неподвижно, сливаясь с песком и сухой травой, а придет ночь — авдотка начинает бегать, летать и кричать. И унылый голос ее тревожит пустынную ночь.

Небо в россыпи ярких звезд. Включаю фонарь — звезды и на земле! У ног целое созвездие из восьми зеленых искр — глаза паука-тарантула. Не пожалела природа на него глаз! А вот знакомые рубиновые звезды сцинкового геккона. Он стоит и виляет хвостиком. Похож на игрушечную резиновую собачку, что со свистулькой — нажми и пискнет!

За кустиком, на границе света, сияют два розовых глаза — за кустом насторожился заяц-песчаник. Вот глаза покатились, подпрыгивая.

Падающей звездой прочертил темноту лазоревый глаз джейрана.

Выключаю фонарь, и сразу гаснут земные звезды, а звезды над головой становятся ярче. Снова щебень поскрипывает под ногой, авдотка зовет и зовет, а я иду да иду...

Орнитологи про авдотку знают все: что ест, сколько несет яиц и когда линяет. Местным же жителям авдотка известна как птица таинственная. Она пугает ночными жутковатыми криками и подозрительным поведением: любит по ночам бегать у трупов овец, коней и верблюдов. Орнитологи, конечно, объяснили бы, что авдотку интересуют не трупы, а жуки, которые к ним собираются, что ничего в этом загадочного и таинственного нет и что суеверия неуместны. Но пастухи все равно бы им не поверили. И я не верю — хотя все так и есть... Но не нужна нам авдотка-жукоед, подавай нам загадочную ночную птицу. Такой

мы видим ее, и нам не нужно другой. Пусть в ночном небе слышится заманчивый печальный голос. Пусть пастухи рассказывают, как загадочные птицы пляшут танец смерти вокруг павших коней. Они ведь и в самом деле пляшут.

Охотники ловят авдоток так: вкапывают в песок тазик с водой, а вокруг заборчиком втыкают... спички. В спичечном заборе оставляют проход, в котором ставят капкан или подвешивают петлю. Уверяют, что авдотка ночью бегает только по чистому песку, не наступая на стебельки или веточки. Она ни за что не перешагнет через спички, а непременно войдет в проход и попадется, осчастливив охотника кусочком сухого мяса.

Видел авдотку и днем. Когда бежит, ее и издали видно, а ляжет — и с глаз долой. Словно рассыплется на сухие стебельки, веточки и песчинки. Лежат тогда на земле только два ясных камешка, как два янтаря — круглые, золотистые и блестящие. За такие глаза называют авдотку «глазуном». А за то, что день лежнем лежит,— «лежень». И надо бы как-то еще назвать за ночные унылые крики. Но как?

2 мая

Птичье гнездо... свалило дерево? Своими глазами вижу: гнездо повалило дерево! Много лет гнездились на коряжистом саксауле орлы. Каждую весну они надстраивали гнездо — гнездо раздавалось вширь и ввысь. А дерево все старело, не выдержало тяжести и рухнуло.

В гнезде два орленка: сперва они, похоже, выкатились из гнезда, но потом снова в него вскарабкались. Внизу, конечно, опасно — и лиса, и барханный кот! — но родители у орлят орлы, а с ними шутить опасно.

Сегодня день странных встреч. Долго не могу понять, что меня настораживает? Что-то не то происходило вокруг и не так. Да ведь я вижу то, чего не должно быть! Варан, удирая, почему-то не в нору спрятался, как всегда это делает, а убежал, пыля, на бархан. Песчанки тревожно пищали у нор и так их много, словно вся колония высыпала на меня смотреть. А на меня почти не обращают внимания, вертятся по сторонам, тревожно свистя. Больше обычного вижу змей, хотя уже здорово припекает и пора бы им в норы прятаться.

Разгадка явилась снизу. Только что под ногами была твердь земная, и вдруг словно на шаткий мостик шагнул. Земля дрогнула, колыхнулась, мотнулись кусты саксаула, с барханов обрушились лавины песка. Землетрясение!

Ничего страшного не случилось: земля подергалась и успокоилась. А вот все норки — засыпало! Этого-то и боялись норники, боялись быть засыпанными. Потому-то загодя и покинули норы. Но как узнали они, что будет землетрясение?

Когда бежит по степи большое стадо сайгаков, из нор выскакивают суслики и песчанки, выползают змеи и ящерицы — чтобы на них посмотреть. Подземным жителям любопытно увидеть диковинных зверей — рога в кольцах, морда тыквой! А сайгаки их всех затаптывают. Но все проще: от сотен копыт сотрясается земля, норники загодя ощущают дрожь и спешат покинуть норы, боясь землетрясения.

В каждой пастушьей байке всегда что-то есть. Не просто взяли и придумали, что варан-де высасывает молоко у коз. Видели — и не раз! — как подползали вараны к лежащим козам. А зачем к козе подползать, если не за молоком? Пастух привык, что от его стада всем что-то надо: волку — мяса, галкам — шерсти, скворцам — мух. Вот и варан ползет — конечно, за молоком! Вот и козодоя козодоем назвали, а он молока в рот не берет. А что над стадом порхает да рот у него до ушей, так это он жуков и бабочек ловит. Пастухи много видят. И все объясняют по-своему.

Рассказывают о змее-гюрзе, которая, высовывая из дупла язык, принимает глупых птиц на «червячка». Птицы летят одна за другой, а она их кусает и убивает. А потом выползает ночью и глотает отравленную добычу.

Уверяют, что орел-змееяд развешивает под гнездом ядовитых змей, чтобы никто в гнездо не забрался. И в самом деле под гнездами змееядов находили висящих змей. Дотошные знатоки разоблачат суеверия пастухов и будут этим гордиться. А нам всем от этого станет почему-то скучнее. И саксаульники чуточку потускнеют.

Как быть с «байкой» о летучей змее и змее-спирали? Ведь след зарисован и сфотографирован!

И я его снова нашел! Вот он, у моих ног — точь-в-точь такой же, как и тогда. Косые черточки одна за другой...

Теперь я иду по следу — с бархана на бархан! След, покружив по пескам, привел меня... к моему саксаульнику! И потерялся рядом с палаткой. Загадка была у меня под боком!

Ночь я провел в саксаульнике, скликая змей.

Давно был задуман некий эксперимент. Если на манок можно приманить рябчика, селезня, даже оленя и лося, то почему бы не приманивать змей на их «голоса», записанные на магнитофонную ленту? Существуют же специальные службы, которые с помощью записанных голосов отпугивают с аэродромов и от посевов птиц. Отпугивают криком тревоги. А если включить не тревогу, а зов призыва — то можно и приманить.

Я записал шипение разных змей, надеясь, что это звук их призыва, а не тревоги.

И вот я в ночном саксаульнике «пою» на разные змеиные голоса. Магнитофон стоит на чистинке у песчанкиных нор,

окруженных кустами, я с фонарем сижу в сторонке, привалясь спиною к коряжистому стволу.

Солнце еще не зашло, но уже светит косо, приятно грея, высвечивая на стволах морщины и растягивая по песку четкие тени. Подремывает на закатном солнышке серый сорокопут. Шуршит, копаясь в сухой траве, тугайный соловей, резво скачет, склонив бочком голову и всматриваясь под ноги черным блестящим глазом; крылышки у него полуопущены, длинный рыжий хвост с белыми крапинками по ободку лихо задран вверх. Где-то далеко кукует кукушка — все никак не привыкну в пустыне к ее лесному позыву.

Порхает бабочка — беленькая с оранжевыми солнышками на крыльях, похожая на нашу зорьку, только солнышки у пустынницы очерчены снизу черным. Потом я узнал, что это одна из редчайших наших бабочек и коллекционеры разыскивают ее годами. И хорошо, что не знал, а то бы, наверное, соблазнился редкостью и погнался. А так мы расстались мирно: я проводил ее взглядом, зорьки всегда вызывали у меня какое-то особое приятное чувство.

Бледно-желтая — «сухая» — заря пустыни. Путаница сухих, словно бы запыленных ветвей. Густеют сумерки. Чирикает первый гекончик. Пробежал хищный скарит, выставив челюсти, словно раскрытые клещи. Будь этот жук ростом с собаку — не было бы на земле хищника более свирепого и беспощадного. Он убивает и сытый. Убивает до тех пор, пока рядом с ним что-либо движется. Попав в ямку-ловушку вместе с другими, он всех убьет — даже фаланг, скорпионов и ящериц!

Соловей смолк, пролетел, пошлепывая в ладошки крыльев, козодой. Совсем уж темно — пора включать змеиные песни. И магнитофон мой тихонечко зашипел, а я стал ждать, что выйдет из моей затеи.

Клубятся в темноте кусты саксаулов. На небе проклевываются звездочки. Тишина, слышно, как в ветках над головой возится кроха-гекончик.

Время от времени я включаю фонарь и направляю его в сторону магнитофона. Но там пока никого.

Вдруг ясный шорох у песчанкиных нор. Быстро веду лучом и вижу, как из крайней норы — что и в прошлый раз! — выскочила глазастая птица и, оттолкнувшись длинными мохнатыми ногами, распахнув широкие мягкие крылышки, бесшумно взлетела вверх. Тот же обшарпанный сыч! У него и в самом деле гнездо под землей! Земляная сова...

А у магнитофона никого. Пустая, похоже, затея: ведь змеи слышат не ухом, а брюхом. Для них стук шагов куда доходчивей любой музыки. Но зачем же они тогда шипят? Других пугают шипением, а сами его не слышат?..

Из саксаульника всплыла луна, и кусты засеребрились инеем. Картина уже привычная и все же одна из тех, которые потом долго помнишь. От кустов протянулись лунные тени, а на стволы легли лунные пятна.

Наверное, я не раз засыпал, уткнув лицо в колени. Когда просыпался и осматривался, все было то же: серебристые клубы кустов на пожелтевших полянах и черно-синее небо в большущих звездах. И тягучая тишина.

Я вставал, перекручивал пленку и снова дремал, дыша в колени.

В последний раз проснулся уже под утро. Небо посерело, потянуло ветром. Поблекшие кусты саксаула шевелились. Завозились у гнезда толстенькие пустынные вьюрки. Заворковала горлинка.

Вот и всё — на мои призывы никто не приполз. Сворачиваю провода и шагаю к палатке, похрустывая пончиками осочки. К похрустыванию шагов вдруг прибавляется непонятный хруст с кустов слева. Сворачиваю к коряжистому упавшему стволу — теперь уже слышится не тихий хруст, а громкий треск. Он похож на что-то очень знакомое.

Ну конечно-же — шкварчит яичница на горячей сковородке! Или же шипят капли масла на раскаленной плите. Песчаный человечек готовит завтрак.

У куста свернулась скобкой коричневая змея с черно-белым узором. Она возбужденно ерзает на одном месте и... шкварчит! Из центра свернутого в крендель тела торчит тупоносая голова; два золотых глаза с черным зрачком уставились прямо в лицо, у граненых губ огоньком порхает красно-лаковый язычок. Это знаменитая эфа: я много слышал о ней. Знаменита тем, что в каждом ее ядовитом зубе спрятано по смертельной дозе яда. И тем еще, что на голове отметина — силуэт белой летящей птицы. Иногда узор этот больше похож на крест — за это ловцы называют ее «крестовкой». Многозначительное название...

Первое, что пришло в голову,— какой прекрасный узор для ковра! Я видел ковры с точно такой расцветкой: коричневый фон, белые пятнышки и зигзаги, и черные расплывчатые овалы. Узоры, как и байки, тоже всегда с чем-то связаны, чем-то порождены. Вглядитесь в сплетение кружев — в них узоры цветов, ветвей и трав. Восточные узорные минареты — да это же заразихи, торчащие из песка! А ковры, как поля маков и тюльпанов. Или... как кожа змеи.

У эфы еще особенность: стрекочет она не горлом, а... боками! На боках особые вытянутые чешуйки, при ерзаньи изгибов тела чешуйки задевают друг за друга и «шкварчат». Вот как ногтем ведешь по гребенке. Завтрак с песчаным человечком не состоялся.

Когда я выкинул эфу сучком на чистый песок, чтобы лучше ее разглядеть, она вдруг вывернулась странной петлей и... поползла боком! Не головой вперед, как ползают все нормальные змеи, не хвостом, как умеют ползать некоторые из них, например слепозмейки, а боком! Середина тела выгибалась петлей, петля выбрасывалась вперед, а голова и хвост к ней подтягивались. Змея ползла боком, словно краб. А на песке за ней оставался... след спирали! Тот самый загадочный и необъяснимый след. Вот как все объяснилось.

Я сейчас не могу понять, почему след этой змеи отпечатывался именно таким, но он отпечатывался: косые полоски одна за другой! Кто мог бы представить, что змея может ползать... вперед боком? Куда проще было представить змею, свернувшуюся в спираль, и представили, и напустили дыму. Но в этом «дыму» все же тлел огонек...

Змея, ходящая боком. Она не менее поразительна, чем змея-спираль. Вот она: все дальше и дальше уходит в пески, петлей изгибая узорное тело. Уходит боком...

Я записал стрекотание странной змеи; правда, с таким же успехом я мог бы записать и шкварчение сала. Жалею, что у меня не было этой записи раньше — вдруг на стрекотание кто-нибудь бы приполз? Пусть даже и не змея — все равно. На рябчиковый манок тоже, бывает, прилетает не рябчик, а ястреб. Но я когда-нибудь это проверю. И непременно!

4 мая

Даже в тени саксаульника все начинает сохнуть. Осыпаются маки; опавшие лепестки особо яркие среди жухлой зелени. Завяли синие ирисы, осыпались лиловые астра́галы и желтые эфе́дры. На ревене уже кисти красных семян. Зацвели темно-лиловыми цветами седые акации: теперь их широкие, колыхающиеся на ветру «подолы» оторочены нарядной лиловой каймой.

Чаще стали встречаться эфы; но в голые пески они выползать не любят; поэтому-то странные их следы и сейчас встречаются редко. По утрам они греются у заброшенных норок песчанок, свернувшись своим знаменитым кренделем. Можно пройти рядом, даже перешагнуть через нее — не пошевелится. Этим и опасны «ждущие» змеи — они не выдают себя. Те же, кто разыскивает добычу активно, вовремя уползают от человека, на них нечаянно наступить нельзя.

Постоянно встречаю в песках серых стройных стрелок, а в саксаульнике — коричневых разноцветных полозов — очень похожих на эф.

В гнезде пустынного ворона черные воронята обессиленно сложили головы на край гнезда и разинули от жары малино-

во-красные рты. Реже стали встречаться черные чекканы и черные каменки. Угольно-черные птички эти очень заметны среди тусклых кустов; видимо, им почему-то выгодно быть заметными, ради этого они еще и садятся на самые видные сучки.

В кусте кандыма на склоне бархана гнездо саксаульной сойки. В гнезде яички, похожие на яички дрозда-рябинника. Некоторые гнезда соек построены в виде шалашика, с крышей,— как у нашей сороки. Да и цветом саксаульная сойка на сороку похожа — черная с белым. Может, они для того крышу делают, чтобы их сверху на гнезде было не видно? Неудачно ее назвали: она совсем не сойка и вовсе не саксаульная! С сойками ничего общего не имеет и в больших саксаульниках никогда не живет. Гнездится она в песках, с редкими кустами кандыма, акации или белого саксаула. Но в повадке у нее что-то есть соечье: увидев человека или зверя, непременно поднимет крик. Взлетит на высокий куст и заведет свое частое чир-чир-чир-чир! За этот крик ее называют «чир-чире». По виду маленькая сорока, по крику сойка, а бегает, как куропатка или кулик.

Шаг у нее размашистый, широкий — и за это ее называют еще «иноходцем».

У цветущих «початков» заразихи натоптано сойками — они прибегают к ним, как в закусочную: у «початков» всегда роятся разные насекомые.

Разгадан и след «гигантской многоножки»! Когда пастух рассказывал о нем, я уже стал кое о чем догадываться. Так и вышло: широкий след с отпечатками тысяч ножек оставлял... сухой куст перекати-поля! Ветер катил по песку ажурное колесо, и за ним тянулась полоса, истыканная черточками, полосками и зигзагами — в самом деле очень похожая на след многоножки или огромного песчаного таракана. Разгадка не очень обрадовала, она как бы давно напрашивалась, и оставалось только произнести ее вслух. Я и принял ее как само собой разумеющееся, несколько удивляясь, почему пастух об этом сам не догадался. Только позже, через несколько лет, я понял, что пастух имел в виду совсем другое. Конечно же, он много раз видел бегущие перекати-поле и следы, которые они оставляли. Но тот след, о котором он говорил, хоть и был похожим, но другим. Оставили его тысячи переселяющихся фаланг. Оказывается, фаланги — очень редко, видели это всего раз или два! — по неизвестной причине вдруг собираются массами и, выстроившись в колонну, переселяются на новое место. Колонна фаланг — фаланга! — течет по пескам, оставляя загадочный след. Не за это ли фаланг и назвали фалангами?

Шествия фаланг я не видел, но зрелище это, несомненно, фантастическое: тысячи мохнатых «пауков» плотной колонной

текут по песку, гонимые непонятными импульсами и направляемые еще более непонятным инстинктом.

Когда я спустился во впадину, в которую укатился кустик перекати-поля, то там, где он застрял, увидел на песке широкие лунки, вмятины чьих-то лап. Я еще не нагнулся, чтобы получше их разглядеть, как почувствовал — это следы каракала! Долгожданного каракала! Он существует, он где-то рядом!

Но сейчас же пуститься вдогон уже не было сил. Завтра, как можно раньше!

Вечером выстирал всю одежду, чтобы не было запаха пота и дыма. Пока вертелся с рубашкой, высматривая, куда бы ее повесить, рубашка высохла у меня в руках! Жара и сушь становятся нестерпимей. Но след каракала найден!

5 мая

Проснулся еще до света. В посветлевшем треугольнике входа палатки серое мутное небо, черные густые кусты. В пять пятнадцать прокуковала кукушка. Пробасил на лету жук. В пять двадцать пять застрекотали у палатки скотоцерки. В семь пятнадцать из-за бугра показалось солнце — пора!

Хохлатый удод, деловито кивая, озабоченно бродит по полянке, суя нос во все щели. Вдруг размашисто — как дятел! — начинает долбить землю, сует в нее клюв, что-то хватает, подбрасывает вверх, ловко ловит и с трудом глотает, поводя шеей.

Компания ремезов с писком, как наши синички, возится в ветвях саксаула.

С трудом вылезаю на песчаный вал, отделяющий саксаульник от барханных песков. Над песками, покрикивая, пролетели щурки — стайка ярких бумажных стрелок. В конце разлапистого следа ушастой круглоголовки лежит сама хозяйка, спит, еще не проснулась — укрыта песочным одеялом до головы.

Вот и вчерашние вмятины. Следы кара-кулака — черного уха, как называют каракала туркмены. Редчайшая кошка песков. Рысь пустыни.

Ветра ночью не было, и следы хорошо сохранились. И все же они не очень четкие; наверное, потому, что у каракала на подошвах растут жесткие волосы, что-то вроде волосяной щетки, которые помогают ему ходить по горячим сыпучим пескам, предохраняя подушечки от ожогов. Теперь смотреть в оба: каждая «запись» этой исчезающей кошки драгоценна — каждая «буква», каждая «запятая».

И надо помнить, что ты-то днем по следу идешь, а след этот оставлен ночью. Все, о чем он расскажет, происходило в ночной темноте.

Каракала скрывала ночь, и все же он старался так идти,

чтобы прикрывали его бугры или кусты кандыма. Как всякой кошке, ему важно было напасть внезапно — долгое преследование ему не под силу. Подобраться к жертве как можно ближе, а потом в два-три прыжка накрыть ее лапами и придушить.

След каракала сошелся со строчкою скорпиона.

У места встречи след скорпиона вдруг резко изменился: между царапин от лапок исчезла полоска от хвоста. Понятно: скорпион испугался и задрал вверх свое боевое оружие! Но это ему не помогло: каракал придавил лапой скорпиона и... слопал! Съел он и двух чернотелок — тоже было видно по следу.

Через километр каракал лег — на песке отпечаталось брюхо. Потом прыжок, толока, капельки крови. Написано кратко и четко, как в военном рапорте: услышал прыжки тушканчика, притаился, тушканчик приблизился на прыжок — и в конце своего жизненного повествования оставил красную точку...

След каракала тянется дальше — что для него жучишки и тушканчик размером с мышь!

Зверь сворачивал к норкам песчанок, огибал бугры с раскидистыми кустами белого саксаула, переваливал через гребни барханов, но добычи не было.

След пересек след «тузика», а дальше — скаптейры. Но их каракал уже не видел, он прошел тут раньше, чем эти дневные ящерицы выползли на промысел.

Утром на след каракала присела саксаульная сойка — конечно, из любопытства. Она и меня провожает из любопытства, перелетая с куста на куст и непрерывно крича свое чир-чир-чир! Потом ныряет с куста вниз и, пригнувшись, мчится по песку, прикрываясь кустиками и пучками селина, иногда странно и резко посвистывая — прямо как наш пастушок болотный!

На следах каракала следы пустынного ворона: бродил косолапо вразвалку, приглядывался, тыкал в песок носищем. Неужели по следу понял, что это рысь прошла! Если так, то он найдет каракала, надеясь на остатки его добычи. Даже если каракал и спрячет свои недоедки, как это делают рыси, ворон отыщет их. И мне теперь полезно приглядываться к этим черным носатым пройдохам — они могут помочь отыскать каракала или хотя бы его кладовую.

Снова на следах каракала лежка. Потом отпечатки коротких шагов, как бы заглаженных щеткой — каракал крался пригнувшись, почти волоча по песку брюхо. Снова лежка. И огромный — в четыре метра! — прыжок. И неудача. За пучком селина лежка зайца: прямо с лежки зайца покатил по песку, вперед ушей выбрасывая длинные задние ноги. С полсотни метров следы каракала дробили заячьи отпечатки, но момент внезапности был утерян, а заяц все набирал ход. Каракал отстал, остановился и свернул в сторону.

Давно уже припекает, поднимался ветер. Теперь я чуть не бежал по следу, не вглядываясь в мелочи,— хочется догадаться о главном: куда он ведет?

След еще покружил по пескам и привел меня... к моему же саксаульнику! Конечно же — ведь в нем родник. И может, единственный на все окружающие пески. И я, выходит, все это время жил рядом с каракалом и даже об этом не подозревал! А каракал почему-то не выходил в пески и не оставлял там следов.

С высоты песчаного вала виден весь саксаульник. Во-он и палатка моя белеет. Возвращаясь, я всегда останавливаюсь на этом гребне, чтобы посмотреть на этот если и не зеленый, то все же оазис среди желтых голых песков.

Сейчас саксаульник затянуло пыльной песчаной дымкой — ветер усиливается. В песках больше делать нечего. Пора к роднику, к палатке — в свой оливково-серый рай, шипящий от ветра, мутный от пыли, с тенью как от крылышка стрекозы...

Окончательно след каракала потерялся в саксаульнике у нор песчанок: тут он топтался, принюхиваясь к норкам. Но ни рыть, ни караулить не стал, а вспрыгнул на поваленный ствол, прошел по нему и соскочил в осочку, где следов уже не было видно.

Я побродил кругами, вглядываясь в рыхлую дерновину. Неожиданно выпугнул перепелку — как эта плохая летунья отчаивается пересекать пустыню! Пронеслась парочка горлинок. Пасутся две черепахи, старательно жуя высыхающие травинки.

Я сажусь на поваленный ствол. Кругом такой уже знакомый лес — если можно называть лесом эти развесистые, редко растущие корявые деревца. Когда я тут поселился, лес был совсем голым, серебряно-сизым, под каждым деревцом лежала густая опядь веточек, сияющая на солнце как иней. Сейчас деревца загустели, стали оливковыми, полянки между ними выгорели, пожелтели, но в тени еще краснеют последние маки, белеют маленькие ромашки и зеленеет осочка.

Шипит саксаульник, свистит тугайный соловей. Из нор песчанок вылетают фонтанчики пыли — песчанки прочищают проходы.

В тени на пеньке дремлет кукушка в полосатой тельняшке. Щебеча, промчалась компания розовых скворцов. И где-то в этом лесу лежит сейчас каракал — пустынная рысь...

...Когда я подходил к палатке, в стороне, у родничка, посветило ярко-рыжее пятно и исчезло. Если бы оно не исчезло, я принял бы его, наверное, за высохший лист-лопух ревеня. Но оно исчезло, и я понял, что у воды только что был каракал! Кинулся вслед, выбегая из-за кустов на чистинки, чтобы дальше

увидеть,— куда там! Рыси умеют быть незаметными. И у родника никаких следов; там такая земля, что и следов ботинок не остается. И все-таки это был каракал, и я его видел!

Все эти дни, что я жил в саксаульнике, каракал, наверное, ходил к роднику — каждую ночь он был со мною рядом. Он лакал воду в каких-нибудь тридцати шагах, а представлялся мне звездой, далекой и недостижимой. Я искал его за горизонтом, а чтобы догадаться покараулить у родника!

А теперь поздно: зверь понял, что выдал себя, что им интересуются. Подходя к роднику, он будет теперь вдесятеро осторожней, а перехитрить настороженную рысь безнадежно. И она скорее подохнет от жажды, чем подойдет к роднику, у которого затаился охотник.

Занимая родники, человек обрекает зверей на гибель.

В летнее пекло тянутся к воде джейраны, сайгаки, каракалы, лисицы, волки. А у родника стоянка: люди, собаки, овцы. И сразу пустеют огромные пространства пустыни или степи: никто зверей не стрелял, никто не ставил капканов — а они исчезли. Так вот исчезли куланы. Так чуть не исчезли сайгаки. И постепенно исчезают джейраны. А птицы! Все меньше саджи и бульдуруков, журавлей-красавок, дроф-красоток. Родник для многих обитателей пустыни — жизнь. Отнимая его, мы отнимаем у птиц и зверей жизнь.

Жизнь немыслима без воды. И если иные обитатели пустыни добывают ее не из родников и ручьев, а из воздуха, травы или из тела жертвы, то это не значит, что они обходятся без нее. А скольким она необходима в своем первозданном виде: текучая, мокрая и холодная! Пусть даже теплая, мутная, стоячая, даже горько-солоноватая — но вода!

А мы ее отнимаем. Пастухи с собаками сидят прямо на родниках и колодцах — хоть бы чуточку в стороне! Охотники прячутся у воды, твердо зная, что зверь придет — рано или поздно. Все меньше незанятых родников — все пустынней пустыни и безжизненней степи. А ведь магазины и те закрывают на переучет! Не пора ли закрыть на переучет пустыню? Все проверить, все подсчитать, какие остатки, где излишки, нет ли злоупотреблений? Вдруг окажется выгодней не забирать роднички, а отдавать? Отдавать, чтобы не губить вольные стада джейранов, сайгаков и стаи птиц.

Природа предусмотрительна. Заботясь о сохранении Жизни, она рассредоточила и спрятала ее в тысяче тысяч тайников и хранилищ на земле и в воде. Огонь жизни рассыпан на искорки — искра тлеет в каждом живом существе! В жуке и верблюде, в каракале и ящерице, в человеке и комаре. Каждая искра жизни — это составная огня: чем больше искр — тем ярче и жарче огонь.

Но искры гаснут. Одна за другой. И огонь тускнеет. Мы уже поняли это, спохватились и пытаемся жизнь сохранить. Но пока мы еще очень медлительны и неумелы. Надеемся, что все образуется само по себе. Мы все еще не поняли до конца, что вся жизнь земли теперь зависит только от нас. Только от нас...

Доведенные жаждой до бешенства, волки лезут к воде напролом сквозь отару, душа по пути овец и собак,— только бы лишь пробиться к воде! Каракалы, барханные и степные коты спускаются по обкладке в глубокие колодцы и, срываясь, гибнут в них. Журавли-красавки приводят к корыту с водой птенцов, а собаки их душат. Все ли знают, что такое жажда в жару?..

Кто скажет за не умеющих говорить? Кто вступится за их право на жизнь? Жизнь, сохраняющую искру великого Огня Жизни? Только мы, хранящие в себе искру того же огня.

Лежа под тентом, я переживал радость встречи с диковинным существом — рысью пустыни. Пусть радость недолговечна — пришла и ушла. Но остается память, и она поддержит тебя — радость не проходит бесследно. Вся моя жизнь тут — цепочка таких вот радостей. И я благодарен всем, кто мне их принес. Пустыня открылась вдруг по-особому. Нет, это не бросовая земля, не земля, побитая камнями цивилизации. Она часть всей Земли, в ней скрыт тот же великий смысл, что в лесах, степях и горах. Но у нее своя шкала ценностей, и оценивать надо ее иначе. С ней можно — и надо! — ужиться. И пустыня хранит искры жизни. Жизни, порожденной песками. Какой нигде больше нет. Ни на Земле, ни во Вселенной.

Конечно, все можно преобразить. И вот вся земля — цветущий сад. Великое изобилие. Великое однообразие и одинаковость. Куда спасаться от них?..

15 мая

Брожу по саксаульнику и пескам, все надеясь на новую встречу. Но каракалы потому и уцелели, что умеют скрываться. Невидимки песков. И, как всяких невидимок, выдают их только следы.

Но не было и следов. Каракал, напугавшись, либо не выходил из кустов в пески, либо переселился в какой-нибудь другой саксаульник. И теперь походы мои — это просто прощание с саксаульниками и песками. На все смотрю в последний раз. Есть другие пустыни, более покладистые или более грозные, населеннее или безжизненней, возможно более интересные,— но не такие. А эта пустыня уже моя. Она не что-то общее и безликое — и в этом все дело! Я протянул ей руку и заглянул в

глаза — теперь мы лично знакомы. И мне ее не забыть — что бы со мной ни случилось.

Не забуду и золотистого пятнышка у родника — вспыхнуло и потухло! Видение золотистой кошки — мгновенное, как солнечный блик. Исчезающее с лица земли существо...

Мимо палатки летит озабоченный ворон. На него вдруг набросился тювик: птицы сцепились и всклокоченным комом упали вниз. Тювик скоро взлетел к своему гнезду, а ворон сел на сушину и обиженно заорал: «Дур-р-р-ак! Ду-р-р-рак!»

Эх ты, ворон, так и не показал мне осторожного каракала!

Вечером с прощальным визитом прикатил к палатке еж. Почти белый, только чуть желтоватый на лбу, с большими настороженными ушами. Я посадил его до утра в кастрюльку. Он сейчас же стал недовольно брякать крышкой. Тогда я угостил его майскими жуками и чернотелками — еж затих и захрумкал.

Утром я сфотографировал, как он выбирается из кастрюльки. Вывалился и покатил колобком по бархану.

Пора и мне.

Ухожу, оставив пятно костра, и неразгаданную загадку летучей змеи, и крошечный родничок, дающий жизнь тысячам живых существ. Корявые саксаулы. Теперь я понимаю, почему они так жарко горят: ведь они, заслоняя других, вобрали в себя весь губительный жар солнца!

«Прощайтесь, уходя».

Последняя запись. Ее еще нет. Она появится в дневнике только через четыре года. Но появится!

25 апреля

Спустился в знакомую впадину между барханов — как на дно желтой чаши. Застойная одуряющая жара. И тишина. А вверху над гребнями веет ветер, там хоть можно дышать.

Вдруг вверх взвыло и зашипело, из-за желтого гребня выползла крутящаяся воронка, завивая сухую траву, пыль и мусор. Совсем как тогда — четыре года назад!

И в неистовой круговерти блестит что-то длинное и извилистое — как в прошлый раз!

Смерчик прополз по гребню, вдруг сник, обмяк и рассыпался. С вышины полетели травинки и пыль, а летающая змея, извиваясь, легла прямо к моим ногам. За секунду до этого я уже понял, что это... старый змеиный выползок! Змея, линяя, стягивает кожу с себя целиком. Смерчик где-то подхватил выползок и превратил его в блестящую летающую змею. Смерч породил легенду — он же ее и развеял. Отгадка лежала у ног на песке — как длинная лента измятого целлофана.

...К ночи я вышел к поселку.

Начиналась путаница дорог и тропинок, канав и арыков. Ямы, кучи земли, столбы и гудящие провода. Начиналась земля, на которой росли яблоки и арбузы, но которая не рождала сказок. Сказки остались в песках позади.

Позади сказочная земля, где змеи ходят боком, где маленькие песчаные человечки катаются на велосипедах. Там живут подземные птицы и птицы-иноходцы. Ящерицы, у которых рот с ушами, и удавы, плавающие в песке. Звери и птицы, редкие и красивые, как драгоценные камни.

Светили фонари станции. Тоскливо брехали собаки, лязгали буфера́, пахло пылью и нагретым мазутом шпал.

Всего за три дня перенесся я из зимы в лето. Теперь за один переход вернулся из прошлого в настоящее, с очевидностью осознав, что жил в уходящем.

Колеса стучат на стыках. За окном темень, черные волны барханов, как волны ночного моря. Ни проблеска, ни огонька.

РАДУЖНАЯ ЗЕМЛЯ

Я жил у моря и ждал погоды. Жил в раковине, как рак-отшельник. В приморских городах на базарах продают шкатулки, оклеенные маленькими ракушками. Вот в такой шкатулке я и жил. Домик мой был почти точной копией сувенирной шкатулки. Слеплен он из подножного материала, а подножный материал тут на берегу не песок, не галька, а мелкий ракушечник. Его смешали с цементом и оштукатурили клетушку размером с курятник, сколоченную из лучин и реек. Кому-то когда-то и для чего-то она была нужна, но вот уже много лет стояла пустой и заброшенной. Я ее починил, вымел, вымыл, расстелил на нарах спальник, расставил на полки банки, приткнул к окну стол из фанерного ящика, а на стол поставил фонарь. И стал ждать погоды. Потому что только при хорошей погоде к берегу мог причалить маленький катер и забрать меня.

Дом мой всем хорош, только уж очень свистит. Особенно по ночам. Днем я почти не бываю в нем, а если когда и бывал, то отвлекался делами. А вот ночью он свое берет. И без того за окном воет ветер, волны бухают в берег так, что огонь в фонаре вздрагивает, а тут еще домик свистит, ноет, стенает и гудит во все свои тонкие стены! В стены вмурованы тысячи ракушек, в каждой завихряется ветер, о каждую хлещут песчинки — и дом звучит как орган. Невозможно ни читать, ни писать, зато лежать и слушать его — одно удовольствие. По

ночам под его завывания я парю в высоких сферах, уносясь за моря и горы и за широкие реки...

А днем ухожу в степь или брожу вдоль прибоя, бездумно следя, как волны накатываются и откатываются. Движение воды завораживает, на волны можно смотреть без конца.

В степи метет желтая метель, а на берегу у ног течет и завихряется поземка из белых ракушек. Ракушки летят по воздуху, стучат по лицу, метель особая, ракушечная, и воет она по-своему, по-ракушечному.

На закате и на восходе дом мой перламутрово светится, и смотреть на него издали очень приятно. Бери его, как огромную раковину, и прикладывай к уху. И слушай голос моря.

Я до сих пор слышу в раковине голос моря; говорят, что это хороший признак. А вот в пустой консервной банке ничего не слышу, хотя, как мне растолковали, все равно, что приложить к уху,— шум все равно услышишь. Нет, не слышу я шума в консервной банке, даже если она из-под скумбрии или морского окуня.

Дни идут. Погоды нет. Домик гудит.

21 декабря

Апшеронский полуостров, берег Каспийского моря, зима. А по виду почти весна. Как запоздавшей весной сбиваются на редкие еще проталины птицы, так и эта степь представляется мне сейчас гигантской проталиной, на которую с далеких заснеженных земель слетаются птицы.

По блеклой степи ползут космы песка, засвистывает желтая метель, течет сухая поземка, заметая дороги и тропы, наметая сугробы песка и пыли у домов, у плетней, за столбами. Песок сечет лицо и руки. Как резвые зайцы скачут наперегонки по степи кустики перекати-поля. Грудами скапливаются они в канавах, застревают в оградах из колючей проволоки и висят, словно взъерошенные птицы в сети.

Мутное солнце за космами песка — как в дыму. А в небе — птицы!

Утки, гуси, казарки. Косяками, цепочками, вереницами. Клиньями, стаями, толпами. Гогот, кряканье, гул. И нет им конца!

Птицы торопятся на зимовочную «проталину». Ветер то раскидывает птиц, то сбивает в тесную кучу — и тогда слышно, как шаркают крылья о крылья! Птицы возбужденно галдят, они ушли от зимы — под ними весна!

Весна, конечно, жиденькая и временная: лужи воды, зеленые травинки. Мальчишка шлепает босиком, погоняя ослика. Суетливые стайки скворцов. Компании жаворонков — хохлатых и полевых. Трясется, зависнув, пустельга, а ветер все время

ее сметает, но она, скользнув над землей, снова взмывает и опять мельтешит крылышками.

Слышно неземные голоса журавлей. Огромный клин их летит в вышине торжественно и величаво.

А у ноги жабенок: продрогший, в зеленых пятнах, с сонными глазами.

Какая ни весна, а весна! А если глаза закрыть — то и подавно: весеннее оживление, весенние крики летящих на проталину птиц.

25 декабря

Птицы шумно радуются открытой земле и живой воде. Но спуск на землю не для всех проходит удачно. Болотный пастушок разбился о провода. До чего же красив этот житель густых непроглядных болотных зарослей! Горло и грудка дымчато-сизые, спинка в черных миндалинах, а серые бока в черную шашечку.

Много птиц бьется о провода! Утки, стрепеты, куропатки, дрофы, журавли. Все, кто низко летит над землей, все, кто неосмотрительно взлетает с земли. Гуси, лысухи, коростели. Соловьи, мухоловки, зарянки...

Бьются все. Одни чаще, другие реже. А сколько птиц убивает током! Чаще других гибнут от тока орлы. А их и так уже считают по пальцам. Печальное свойство человеческих сооружений — нести гибель живому. Поставим маяк — о его горящие стекла разбиваются тысячи птиц. А провода, трубы, дороги. Каналы с обрывистыми берегами, плотины, перегородившие реки? Их все больше и больше, жизни все меньше и меньше.

Местные лисы хорошо знают, что такое для птиц провода. Каждое утро вижу, как трусят они вдоль линии столбов, то и дело наклоняясь и что-то жуя...

29 декабря

Сегодня море кипело особо — всю ночь! Ветер срывал с валов пену, словно дым, она стелилась над морем. Волны ухали в берег, домик вздрагивал и испуганно завывал.

Утром долго не мог открыть дверь — занесло песком. Когда открыл, то чуть ли не у порога собрал груду большущих зеленых раков — волнами накидало! А на уху море подкинуло мне судачка и дюжину толстолобых бычков.

Тихо переговариваясь — ка! ка! — прошли над домом одиннадцать лебедей. На дерновой кочке сидел нахохленный сычворобей и моргал глазами, переступая с лапы на лапу. Этот-то житель леса как сюда в степь попал? Даже спрятаться негде.

1 января

Новый год!

Пахарь пашет на лошадях. Отдыхая, покуривает на меже, нежась под мягким солнцем. В сырых бороздах шныряют жаворонки.

Желтая степь резко кончается у густо-зеленой равнины Каспия. Сквозь песок всюду лезет трава. В бурьяне прячутся пролетные болотные совы. Странно и непривычно шагать по новогодней степи без единой снежинки и видеть весенних птиц.

За пологими холмами я набрел на странные лужи и озерки, которые почему-то не рябил ветер, а на воде не было птиц. Только вблизи я понял, что это огромные лужи нефти!

За воду их принимали и усталые птицы. Они садились на манящую лужу и не могли взлететь. Крылья окунались в вязкую жижу, птица бессильно распласталась, и нефть заливала ее. Вон их сколько — черных бугорков на «воде». Как воздушные пузыри. А те, которые все-таки сумели добраться до берега, даже выползли на него,— их облепил песок: лежат рядом, как черные коконы каких-то огромных шелкопрядов.

Самые упорные и меньше измазанные отползли в сторону: но чем дальше они ползли, тем больше налипал песок. Они лежат вытянувшись, словно и после смерти в ужасе рвутся подальше от страшной липучей смерти.

Утки, кулики, лысухи. Некоторые птицы разорваны, сквозь черный кокон виднеется красное мясо. Лисицы, наверное, пытались поживиться, но отступались, набив пасть мазутными перьями.

Страшные лужи, одинаково заманчиво сияющие при солнце и при луне. Вся равнина застелена этими черными листами липкой бумаги,— но не от мух, а от птиц. И всюду черные птичьи мумии — как обугленные головни...

Такую смерть природа не могла предусмотреть. С появлением нефтяных луж, машинных дорог, электрических линий и маяков птицы не стали нести больше яиц, чтобы восполнить новые потери. И теперь гибнут те, кто по планам природы должен бы оставлять потомство и множить жизнь.

В этом их трагедия: медленная эволюция не подготовила живые существа к быстрым и всеобъемлющим изменениям, к стремительному развитию цивилизации. У природы есть чем откупиться от лисиц, волков, ястребов и орлов, у нее отложено на бури, морозы, гололеды, на все капризы погоды! Припасено на болезни и на тяготы перелетов. Каждая пара птиц выводит столько птенцов, чтобы хватило заткнуть все ненасытные пасти, восполнить потери от всех невзгод, не истощая основное стадо. То стадо, которое может прокормить земля. Но на наши вы-

думки у природы излишков нет. Мы лишаем птиц — и не только птиц! — жизненного пространства, превращая степи в возделанные поля, леса в парки, осушая болота, обводняя сухие пустоши, вырубая кусты, выжигая тростниковые заросли. Для нас это привычное дело, а для них — бедствие. Мы возводим сооружения, несущие смерть: дороги, вышки, маяки, провода. Вездесущи охотники с двустволками, с трехстволками, с пятизарядными автоматами. Сети, химикаты, капканы. А птицы, как и когда-то, выводят все то же число птенцов. И платят дань уже не из излишков, а из последних остатков. И из последних сил...

Кричат и кричат в небе пролетные косяки.

Удивительна эта жизнь, перелетающая на крыльях!

Что-то в этом торжественное и волнующее — таинство переселения. Миллионы жизней в едином порыве, повинуясь таинственным импульсам, вдруг поднимаются в небо и мчатся на юг. Катится над землей живая волна, и небо кричит прощальными голосами.

Шумное, пестрое облако жизни кочует по нашей Земле. То оно тут, у нас,— и земля переполнена жизнью и голосами. То оно где-то там, за морями и за горами,— и леса наши пусты, и мы ругаем себя, что не наслушались досыта, не насмотрелись впрок на птиц, мы скучаем и ждем. Приходит весна, и волна шумной жизни снова затопляет наши леса и поля.

Волны птиц — как прилив и отлив: то накатятся, то отхлынут. Мы привыкли, что каждую весну сама собой накатывается волна. И мы с нетерпением ждем ее. А вдруг однажды прилива не будет — что тогда? Вдруг кочующее облако жизни размечется, рассосется и испарится? Все ли мы делаем, чтобы этого не случилось? А вдруг мы что-то не поняли, не успели, не захотели? Чистое ли над птицами небо? Приветлива ли под ними земля?

Каждую весну и осень тысячи километров пути. Из-за Полярного круга до раскаленного экватора. А то и дальше.

По-щенячьи скулит домик. Тяжелые валы глухо грохочут в берег — грозно стучит сердце моря.

Какой видится птицам земля с высоты полета? Да такой, как и нам снизу — всех цветов радуги. Красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. И над этими радужными землями летят птицы — дети радуги.

Природа любит разнообразие и многоцветье. Водопады дождей и света, просеясь сквозь радугу, как через призму, окрасили землю во все радужные цвета и оттенки. Мы живем на разноцветной земле. Видел я КРАСНУЮ землю.

Вдруг покраснели дали! Вчера еще все было тускло-зеленым, а сегодня у подножия далеких гор красная полоса — непонятная и неожиданная. Словно кто-то красным карандашом подтушевал

снизу синие горы. Что это — отблеск зари? Или россыпи красных камней? Или далекий степной пожар?

Топочут копыта коня, все ближе, все ярче, все шире загадочная красная полоса. Так вот это что — разливы маков!

Маки, живые маки! Их видимо-невидимо. Они обступили со всех сторон, они затопили как наводнение! Маки трепещут и взблескивают на ветру пламенем невиданного пожара. От маков рябит в глазах и кружится голова.

По сторонам вздымаются красные от маков увалы — как волны багряного моря. На гребнях вскипает огненная пена пронизанных солнцем багряных лепестков.

Земля горит от цветов — полыхает красная степь. Седые степные луни скользят над красными маками, и белые их крылья отсвечивают розоватым. Красные жуки жуют красные лепестки. А в черных глазах коней мечутся огненные зигзаги.

Порозовели даже белые облака, даже дали подернулись розовой дымкой. Цветы без конца и края. Неистовое буйство красного цвета, кипучая лава цветов!

А ОРАНЖЕВАЯ земля?

— Не может быть! — сказал я сам себе, когда увидел эти оранжевые останцы.— Такого не может быть!

А они были. Закатное солнце четко высвечивало углы и выступы яркого оранжевого чуда — стройные башни и пирамиды, ряды колонн, стены, провалы, глыбы. Глаза разбегались от причудливости форм, щурились от яркости красок. Зачарованная земля, оранжевое видение, смесь красоты и фантазии. Декорации к восточной сказке. А на самом деле нагромождение цветных глин, обработанных солнцем, дождями и ветром.

От нагретых глыб пышет жаром. Пухлая пыль глушит шаги. Как все это запомнить, запечатлеть? Два шага шагнул — и совсем другие вокруг столбы и колонны, новые выступы и провалы. Чуть ниже склонилось солнце — и снова все сразу преобразилось: светятся новые грани, темнеют другие ниши. И цвет другой — где чуть багровее, где желтее.

На рассвете оранжевые останцы размыты прохладной утренней синевой. В полдень, когда небо от жары становится белым, раскаляются и останцы и укрываются жаркой дымкой. А к вечеру они набухают и пропитываются сочными красками багрово-оранжевого заката.

Тысячу лет создавала природа это чудо из золотистой глины. И вот оно перед тобой.

Есть ЖЕЛТЫЕ горы.

На самом краю степи лежат две плоские лиловые горы — как две спящие черепахи. А между ними гора — как желтая пирамида. Два ветра, сшибаясь у лиловых гор, навеяли эту желтую песчаную гору.

Солнце пекло, как сквозь увеличительное стекло.

Подниматься на вершину лучше всего по ее ребру. Рыжие космы песчаной поземки текли и ползли по склонам, гладя их, полируя, шлифуя, полощась рыжими космами над острым гребнем. Горячий ветер свистел в ушах, да глаза засыпало песком.

И вдруг послышался голос горы! Ведь это была не простая гора, это гора поющих песков! Время от времени внутри ее зарождается гул, и песок под ногами начинает дрожать. Гул нарастает, поднимается, вырывается из утробы горы и расплывается над головой — глухой, тревожный и непонятный. Гора поет.

Много легенд сложено про желтую гору песка. Я стою на ее вершине. Сейчас гора помалкивает. Только ветер шумит и солнце печет. И неоглядные дали вокруг.

Чаще видишь землю ЗЕЛЕНОЙ. Утро зябкое и пронзительно-чистое. Горная лощина пропитана зеленью и росой. И цедишь холодный воздух, как воду со льдом,— зубы немеют.

Яркие утренние лучи пронзили хвою и листья: окаёмки темных елок искрят бенгальским огнем, а лиственные вершины, взбухшие от солнца, лениво шевелятся как золотистые облака. Сочно, ярко и зелено. Зелень всех возможных и невозможных оттенков: от густого сине-зеленого до прозрачного зелено-лазоревого. Зелень вверху и зелень внизу. Бредешь по траве, как по зеленой воде, голубыми и желтыми брызгами разлетаются лютики и незабудки.

Все затопила зелень! Утонули в ней серые валуны, разрисованные оранжевыми лишайниками, бурые коряжистые валежники. Даже белый кипящий ручей испятнан зелеными тенями. А тень высоченной елки, как стрелка гигантских часов, медленно движется по полянке, изумрудной от восходящего солнца.

А бывает все вокруг ГОЛУБОЕ. Степь, обрыв, а за обрывом — вода! Голубая вода, то ли уходящая за горизонт, то ли вздыбленная прямо в небо. Стена голубой воды до самого белого неба!

Даль лоснится голубизной, голубые волны у желтых берегов взбивают белую пену. Над голубыми волнами белыми хлопьями носятся чайки. Рыжие утки-атайки дремлют у белой пены. У черных камней бегают черно-белые кулики с кораллово-красными носами.

Неторопливое время большой воды. Можно часами бездумно бродить, глядя на бесконечную голубизну. А потом окажется, что бродил не зря и что никогда еще голова не работала так свежо.

Большая голубая вода. Взвизги и шипение волн. Пузыри на мокром песке. И голубая стена воды, то ли уходящая в небо, то ли за горизонт.

А СИНИЕ горы? Ярус за ярусом, все выше, все дальше, все невесомей! Манящая даль далеких синих хребтов.

Идешь, идешь, а синие горы не приближаются, и сил уже нет идти, а они все такие же недосягаемые и далекие.

Но вот наконец подножие: горы закрыли небо и нависли над головой. Вблизи они очень разные: зеленые, бурые, рыжие. И что ни гора — то целый мир. Необъятный, как вся Земля,— от вечных снегов до жаркой пустыни. И все времена года сразу перед глазами — от лета и до зимы.

С вершины горы можно до звезд дотянуться, можно пройти под радугу, как под арку. И вокруг будут тоже горы: хребет за хребтом, все выше и все выше, все размытей и голубей. Когда края нет синим горам.

ФИОЛЕТОВОЕ ущелье. Давным-давно треснула и разверзлась земля, открыв взору фиолетово-красный каньон. Глубоко внизу вьется по дну каньона пересохшее русло ручья — словно старая дорога, посыпанная песком и гравием.

Идешь по этой «дороге» и кажется, что завела она в древний разрушенный город, что это развалины крепостей и храмов громоздятся по сторонам.

Жара и мертвая тишина. Раскаленные до лиловости стены, извилистая полоска белого неба над головой. Глаза скользят по лиловым башням с бойницами, по церквам и мечетям с покосившимися куполами, по обрушенным аркам, мостам и крепостным валам. И чудятся приглушенные голоса, и видятся неясные тени, и все время хочется обернуться.

Но пусто и тихо вокруг. До самых краев нацедилась в каньон жара, и лиловые арки и башни шевелятся. Лиловый зачарованный город расплывается как мираж.

Земля многоцветна, все пронизано светом и цветом, всюду праздник для глаз. Нет слов и красок, ей равнозначных. Красоту земли не пришпилишь, как бабочку, на булавку. Ее можно лишь сохранить «живьем», как мы пытаемся сохранить редких птиц и зверей. КРАСНАЯ КНИГА земной красоты. Такой мы должны сохранить Землю, только на такой Земле стоит жить.

Красота земли, нетронутая природа — пока еще не в полной мере оцененное нами богатство. С каждым годом дороже будет тишина лесов и полей, красота гор и степей. В прошлое уходит нетронутая природа, и мы уже начали понимать, что теряем.

Первозданность не выразишь ни словами, ни красками; тут пошлы все стихи и грубы песни. Это нечто, ощутимое только при соприкосновении. Вдохновляющее начало.

Птичьей ночи конца не видно! И ветер гудит, и валы бьют с плеча, домик свистит и пугливо вздрагивает. Но и сквозь этот вселенский гул доносятся походные крики птиц, спешащих на юг.

Непроста эта птичья спешка — с севера накатывается вал ненастья! Так уже случалось не раз. Вот так же однажды...

Резкий проникающий свист выдернул из далекого прошлого! Где я? Ах да — у гнезда синей птицы. А я уж и позабыл о ней, путешествуя по горам и пустыням. Долго же она осторожничала и не подлетала. Вот она — на присадочном камне посредине потока.

Солнце вот-вот окунется за гребень, и ущелье потухнет, словно в нем выключат свет. Пока же склоны, кусты, река, мокрый камень посреди водяных бурунов и синяя птица на нем освещены ярким светом — боковым, резким, четким, как резьба по металлу. Как и в тот раз — двенадцать лет назад! — она снова долго осторожничала и приглядывалась к укрытию. Как и тогда, прежде чем взлететь в гнездо, она присаживалась на камень. Покормив птенцов, снова опускалась на него и, бросив в воду белый птенцовый «пакетик», ополаскивает черный клюв. А ведь скорее всего это уже не та птица, что была когда-то, которую я нашел тут впервые, а ее дочка, а то и внучка.

Два зеленых водяных крыла все так же бьются у камня, и все так же в водяной пыли то разгорается, то притухает радуга. И синяя птица снова вся в жемчуге брызг. Вот пригнулась и развернула веером хвост — и хвост полыхнул синим огнем. Как тогда.

Ущелье потухло — солнце скрылось за гребень. Кончился день у гнезда. А с ним и тысяча других дней.

Э. УСПЕНСКИЙ

Крокодил Гена и его друзья

Повесть-сказка

ВСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО И НЕ ЧИТАТЬ

Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка. А может быть, даже две или пять.

У меня, например, когда я был маленьким, было три любимых игрушки: громадный резиновый крокодил по имени Гена, маленькая пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным названием — Чебурашка.

Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой: заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру? Глаза у него были большие и желтые, как у филина, голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат.

Мои родители утверждали, что Чебурашка — это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах.

Сначала я очень боялся этого неизвестного науке Чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате. Но посте-

пенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю.

С тех пор прошло очень много времени, но я все равно помню своих маленьких друзей и вот написал о них целую книгу.

Разумеется, в книге они будут живые, а не игрушечные.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена. Это они сказали слону, что он слон, жирафу — что он жираф, а зайцу — что он заяц.

Но слон, если бы подумал, мог бы догадаться, что он слон. Ведь у него же очень простое имя! А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Поди догадайся, что ты не ги-потам, не по-потам, а имено гип-по-по-там.

Так вот и наш зверек; он никогда не задумывался над тем, как его зовут, а просто жил себе да жил в далеком тропическом лесу.

Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом.

Гулял он себе, гулял и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать.

Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики.

После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие.

Ящики долго плавали по морям и океанам и в конце концов оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-претолстый Чебурашка.

Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты и посадили на стол. Но Чебурашка не мог сидеть на столе: он слишком много времени провел в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял и да и чебурахнулся со стола на стул.

Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол.

— Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина.— Совсем не может сидеть на месте!

Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка.

— Но как же мне с тобой поступить? — спросил директор.— Не продавать же тебя вместо апельсинов?

— Не знаю,— ответил Чебурашка.— Как хотите, так и поступайте.

Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк.

Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен. А во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда же его поместить: то ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам.

Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали уцененные товары.

— Ну что же,— сказал директор номер два,— мне нравится этот зверь. Он похож на бракованную игрушку! Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне?

— Пойду,— ответил Чебурашка.— А что мне надо делать?

— Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно?

— Понятно,— сказал зверек.— А где я буду жить?

— Жить?.. Да хотя бы вот здесь! — Директор показал Чебурашке старую телефонную будку, стоявшую у входа в магазин.— Это и будет твой дом!

Так вот и остался Чебурашка работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе. Но зато под рукой у Чебурашки всегда находился телефон-автомат, и он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из собственного дома.

Правда, пока ему некому было звонить, но это его нисколько не огорчало.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В том городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке... крокодилом.

Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм,

шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью:

АФРИКАНСКИЙ КРОКОДИЛ ГЕНА.
ВОЗРАСТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ.
КОРМИТЬ И ГЛАДИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ.

Когда кончался рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики.

Однажды, когда он проиграл сам себе сорок партий подряд, ему стало очень и очень грустно.

«А почему я все время один? — подумал он.— Мне надо обязательно завести себе друзей».

И, взяв карандаш, он написал такое объявление:

Молодой кракодил пятидесяти лет

хочет зависти себе друзей.

Спредложениями обращаться по адресу:

Большая Пирожная улица, дом 15, корпус Ы.

Звонить три с половиной раза.

В тот же вечер он развесил объявления по городу и стал ждать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день поздно вечером к нему в дверь кто-то позвонил. На пороге стояла маленькая, очень серьезная девочка.

— В вашем объявлении,— сказала она,— целых три ошибки.

— Не может быть! — воскликнул Гена: он думал, что их по крайней мере восемнадцать.— Какие же?

— Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», а во-вторых, какой же вы молодой, если вам пятьдесят лет?

— А крокодилы живут триста лет, поэтому я еще очень молод,— возразил Гена.

— Все равно — надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре.

— А меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке. Крокодилом.

— А что мы будем сейчас делать?

— Ничего. Давайте просто побеседуем.

Но в это время в дверь снова позвонили.

— Кто там? — спросил крокодил.

— Это я, Чебурашка! — И в комнате появился какой-то неизвестный зверь. Он был коричневый, с большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом.

— Кто вы такой? — обратилась к нему Галя.

— Не знаю,— ответил гость.

— Совсем-совсем не знаете? — спросила девочка.

— Совсем-совсем...

— А вы, случайно, не медвежонок?

— Не знаю,— сказал Чебурашка.— Может быть, я медвежонок.

— Нет,— вмешался крокодил,— он даже ни капельки не медвежонок. У медведей глаза маленькие, а у него вон какие здоровые!

— Так, может быть, он щенок! — задумалась Галя.

— Может быть,— согласился гость.— А щенки лазают по деревьям?

— Нет, не лазают,— ответил Гена.— Они больше лают.

— Как?

— Вот так: ав-ав! — пролаял крокодил.

— Нет, я так не умею,— огорчился Чебурашка.— Значит, я не щенок!

— А я знаю, кто вы такой,— снова сказала Галя.— Вы, наверное, леопард.

— Наверное,— согласился Чебурашка. Ему было все равно.— Наверное, я леопард!

Леопардов никто не видел, поэтому все отошли подальше. На всякий случай.

— Давайте посмотрим в словаре,— предложила Галя.— Там все слова объясняются, на любую букву.

(Если вы, ребята, не знаете, что такое словарь, я вам расскажу. Это специальная книжка. В ней собраны все слова, какие есть на свете, и рассказывается, что каждое слово значит.)

— Давайте посмотрим в словаре,— согласился Чебурашка.— А на какую букву будем смотреть?

— На букву «РР-РР-РРЫ»,— сказала Галя,— потому что леопарды РР-РР-РРЫЧАТ.

— И на букву «К»,— добавил Гена,— потому что леопарды К...УСАЮТСЯ.

Конечно, Галя и Гена были оба неправы, потому что леопарда надо было смотреть не на букву «РР-РР-РРЫ» и не на букву «К», а на букву «Л».

Ведь он же ЛЕОПАРД, а не РР-РР-РРЫОПАРД и тем более не К...ОПАРД.

— Но я не рычу и не кусаюсь,— сказал Чебурашка,— значит, я не леопард!..

После этого он снова обратился к крокодилу:

— Скажите, а если вы так и не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить?

— Почему? — ответил Гена.— Все зависит от вас. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами. Правильно? — спросил он у девочки.

— Конечно! — согласилась Галя.— Будем очень рады!

— Ура! — закричал Чебурашка.— Ура! — и подпрыгнул чуть ли не до самого потолка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— А что мы будем сейчас делать? — спросил Чебурашка, после того как все перезнакомились.

— Давайте играть в крестики-нолики,— сказал Гена.

— Нет,— сказала Галя,— давайте лучше организуем кружок «Умелые руки».

— Но у меня нет рук! — возразил Чебурашка.

— И у меня,— поддержал его крокодил.— У меня только ноги.

— Может быть, нам организовать кружок «Умелые ноги»? — предложил Чебурашка.

— Или «Умелый хвост»? — добавил крокодил.

— Но у меня, к сожалению, нет хвоста,— сказала Галя.

И все замолчали.

В это время Чебурашка посмотрел на маленький будильник, стоявший на столе.

— А вы знаете, уже поздно. Нам пора расходиться.— Ему совсем не хотелось, чтобы новые друзья сочли его навязчивым.

— Да,— согласился крокодил.— Нам действительно пора расходиться!

На самом деле ему некуда было расходиться, но зато он очень хотел спать.

В эту ночь Гена, как всегда, спал спокойно.

Что касается Чебурашки — он спал плохо. Ему все не верилось, что у него появились такие друзья.

Чебурашка долго ворочался в постели, часто вскакивал и в задумчивости шагал из угла в угол по своей маленькой телефонной будке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Теперь Гена, Галя и Чебурашка почти каждый вечер проводили вместе. После работы они собирались у крокодила дома, мирно беседовали, пили кофе и играли в крестики-нолики. И все-таки Чебурашке не верилось, что у него наконец появились настоящие друзья.

«Интересно,— подумал он однажды,— а если бы я сам пригласил крокодила в гости, пришел бы он ко мне или нет? Конечно, пришел бы,— успокаивал себя Чебурашка.— Ведь мы с ним друзья! А если нет?»

Чтобы долго не раздумывать, Чебурашка снял телефонную трубку и позвонил крокодилу.

— Алло, Гена, привет! — начал он.— Ты чего делаешь?

— Ничего,— ответил крокодил.

— Знаешь что? Приходи ко мне в гости.

— В гости? — удивился Гена.— Зачем?

— Кофе пить,— сказал Чебурашка. Это было первое, что пришло ему в голову.

— Ну что же,— сказал крокодил,— я с удовольствием приду.

«Ура!» — чуть было не закричал Чебурашка. Но потом подумал, что ничего тут особенного нет. Один товарищ приходит в гости к другому. И надо не кричать «ура», а в первую очередь позаботиться о том, как его лучше встретить.

Поэтому он сказал крокодилу:

— Только ты захвати с собой, пожалуйста, чашки, а то у меня нету ну никакой посуды!

— Что ж, захвачу.— И Гена стал собираться.

Но Чебурашка позвонил опять:

— Ты знаешь, оказывается, у меня и кофейника нет. Возьми, пожалуйста, свой. Я у тебя видел на кухне.

— Хорошо. Возьму.

— И еще одна маленькая просьба. Забеги по дороге в магазин, а то у меня кофе кончился.

Вскоре Чебурашка позвонил еще раз и попросил, чтобы Гена принес маленькое ведерко.

— Маленькое ведерко? А для чего?

— Понимаешь, ты пойдешь мимо колонки и наберешь воды, чтобы мне уже не выходить из дому.

— Ну что ж,— согласился Гена,— я принесу все, что ты просил.

Вскоре он появился у Чебурашки нагруженный, как носильщик на вокзале.

— Я очень рад, что ты пришел,— встретил его хозяин.— Только я, оказывается, совсем не умею варить кофе. Просто

никогда не пробовал. Может, ты возьмешься приготовить его?

Гена взялся за работу. Он собрал дрова, развел маленький костерчик около будки и поставил кофейник на огонь. Через полчаса кофе вскипел. Чебурашка был очень доволен.

— Как? Хорошо я тебя угостил? — спрашивал он у крокодила, провожая его домой.

— Кофе получился превосходный,— отвечал Гена.— Только я попрошу тебя об одном одолжении. Если ты еще раз захочешь угостить меня, не стесняйся, приходи ко мне домой. И говори, чем ты меня хочешь угостить: чаем, кофе или просто обедом. У меня дома все есть. И мне это будет гораздо удобнее. Договорились?

— Договорились,— сказал Чебурашка. Он, конечно, огорчился немного потому, что Гена сделал ему замечание. И все равно был очень доволен. Ведь сегодня сам крокодил приходил к нему в гости!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

На следующий вечер Чебурашка первым пришел к крокодилу. Гена в это время читал. Он очень любил читать точные и серьезные книги: справочники, учебники или расписания движения поездов.

— Послушай,— спросил Чебурашка,— а где же Галя?

— Она обещала сегодня зайти,— ответил Гена.— Но ее почему-то нет.

— Давай навестим ее,— сказал Чебурашка,— ведь друзья должны навещать друг друга.

— Давай,— согласился крокодил.

Галю они застали дома. Она лежала в кровати и плакала.

— Я заболела,— сообщила она друзьям.— У меня температура. Поэтому сегодня в детском театре сорвется спектакль. Ребята придут, а спектакля не будет.

— Спектакль будет! — гордо произнес крокодил.— Я заменю тебя. (Когда-то в юности он занимался в театральном кружке.)

— Правда? Это было бы здорово! Сегодня идет «Красная Шапочка», и я играю внучку. Ты помнишь эту сказку?

— Конечно, помню!

— Ну вот и прекрасно! Если ты хорошо сыграешь, никто не заметит подмены. Талант делает чудеса!

И она вручила крокодилу свой красненький беретик.

Когда ребята пришли в театр, они увидели очень странный спектакль. На сцене появился Гена в красной шапочке. Он шел и напевал:

По улицам ходила
Большая крокодила...

Навстречу ему вышел серый волк.

— Здравствуй, Красная Шапочка,— произнес он заученным голосом и остолбенел.

— Здравствуйте,— ответил крокодил.

— Куда это ты направляешься?

— Да так просто. Гуляю.

— Может быть, ты идешь к своей бабушке?

— Да, конечно,— спохватился крокодил.— Я иду к ней.

— А где живет твоя бабушка?

— Бабушка? В Африке, на берегу Нила.

— А я был уверен, что твоя бабушка живет вон там на опушке.

— Совершенно верно! Там у меня тоже живет бабушка. Двоюродная. Я как раз собирался зайти к ней по дороге.

— Ну что же,— сказал волк и убежал.

Дальше он, как положено, прибежал к домику, съел бабушку Красной Шапочки и лег вместо нее в кровать.

Гена в это время сидел за сценой и перечитывал забытую сказку. Наконец он тоже появился около домика.

— Здравствуйте,— постучал он в дверь.— Кто здесь будет моя бабушка?

— Здравствуйте,— ответил волк.— Я ваша бабушка.

— А почему у тебя такие большие уши, бабушка? — спросил крокодил, на этот раз правильно.

— Чтобы лучше тебя слышать.

— А почему ты такая лохматая, бабушка? — Гена снова забыл свои слова.

— Да все некогда побриться, внученька, забегалась я...— разозлился волк и спрыгнул с кровати.— А сейчас я тебя съем!

— Ну, это мы еще посмотрим! — сказал крокодил и бросился на серого волка. Он настолько увлекся событиями, что совсем забыл, где находится и что ему положено делать.

Серый волк в страхе убежал. Дети были в восторге. Они никогда не видели такой интересной «Красной Шапочки». Они долго хлопали и просили повторить все сначала. Но крокодил почему-то отказался. И почему-то долго уговаривал Чебурашку не рассказывать Гале, как прошел спектакль.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Галя долго болела гриппом, и врачи запретили приходить к ней, чтобы друзья не заразились. Поэтому Гена и Чебурашка остались вдвоем.

Как-то вечером после работы Чебурашка решил зайти в зоопарк, чтобы навестить крокодила.

Он шел по улице и вдруг увидел грязную собачку, которая сидела на мостовой и тихонько скулила.

— Чего ты ревешь? — спросил Чебурашка.

— Я не реву,— ответила собачка.— Я плачу.

— А чего ты плачешь?

Но собачка ничего не говорила и плакала все жалостливее.

Чебурашка сел рядом с ней на приступочку, подождал, пока она окончательно выплачется, а потом приказал:

— Ну выкладывай, что с тобой случилось?

— Меня выгнали из дому.

— Кто тебя выгнал?

— Хозяйка! — Собачка опять начала всхлипывать.

— За что? — спросил Чебурашка.

— За просто так. За не знаю что.

— А как тебя зовут?

— Тобик.— И собачка, немного успокоившись, рассказала Чебурашке свою короткую и печальную историю.

Вот она:

КОРОТКАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ СОБАЧКИ ТОБИКА

Тобик был крошечной собачкой, совсем-совсем малюсеньким щенком, когда его принесли в дом к будущей хозяйке.

«Ах, какая прелесть! — говорила хозяйка, показывая его гостям.— Не правда ли, он очень мил?»

И все гости находили, что он очень мил и что он прелесть.

Все играли со щенком и угощали его конфетами.

Время шло, и щенок рос. Он уже не был таким симпатичным и неуклюжим, как раньше. Теперь хозяйка, показывая его гостям, не говорила: «Ах, какая прелесть!» — а, наоборот, говорила: «Моя собака ужасно некрасива! Но не могу ж я ее выгнать из дому? Ведь у меня такое доброе сердце! Оно в пять минут разобьется от горя!»

Но однажды кто-то принес в дом нового щенка. Он был такой же симпатичный и неуклюжий, как Тобик раньше.

Тогда хозяйка недолго думая выставила Тобика за дверь. Не могла же она держать двух животных сразу. И ее сердце в пять минут не разбилось от жалости. Не разбилось оно и в шесть

минут и даже в девяносто восемь. Наверное, оно вообще никогда не разобьется.

«Что же мне делать с этой собачкой?» — подумал Чебурашка.

Можно было, конечно, взять ее с собой. Но Чебурашка не знал, как на это посмотрят его друзья. А вдруг они не любят собак? Можно было оставить собачку на улице. Но ее было очень жалко. А вдруг она простудится и заболеет?

— Знаешь что? — сказал Чебурашка наконец.— Вот тебе ключ. Иди пока посиди в моем домике, обсохни, согрейся. А потом мы что-нибудь придумаем.

После этого он зашагал дальше к зоопарку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

У самого входа в зоопарк он неожиданно встретил Галю.

— Ура! — закричал Чебурашка.— Значит, ты уже выздоровела?

— Выздоровела,— ответила Галя.— Мне уже разрешили выходить из дому.

— А ты немного похудела,— сказал Чебурашка.

— Да,— согласилась девочка.— А это очень заметно?

— Нет! — воскликнул Чебурашка.— Почти незаметно. Ты совсем немножко похудела. Так немножко, так немножко, что даже немного поправилась!

Галя сразу повеселела, и они вместе вошли в зоопарк.

Гена, как всегда, лежал на солнышке и читал книгу.

— Посмотри-ка,— сказала Галя Чебурашке,— а я и не думала, что он такой толстый!

— Да,— согласился Чебурашка.— Он просто ужасно толстый! Он похож на сосиску с лапками!.. Здравствуй, Гена! — крикнул Чебурашка крокодилу.

— Я не Гена,— обиженно сказал крокодил, похожий на сосиску с лапками.— Я Валера. Я работаю во вторую смену. А ваш Гена пошел одеваться. Сейчас он придет.

Толстый крокодил сердито отвернулся.

Как раз в это время подошел Гена в своем нарядном пальто и красивой шляпе.

— Здравствуйте,— улыбаясь, сказал он.— Пошли ко мне в гости!

— Пошли! — согласились Галя и Чебурашка. Им очень нравилось бывать у крокодила.

У Гены друзья пили кофе, беседовали и играли в разные настольные игры.

Чебурашка каждую минуту порывался рассказать про свою собачку, но удобный случай все не представлялся.

Но вот в дверь кто-то позвонил.

— Войдите,— сказал Гена.

В комнату вошел большой-пребольшой лев в пенсне и в шляпе.

— Лев Чандр,— представился он.

Приятели поклонились льву и отошли подальше.

— Скажите, пожалуйста,— спросил гость,— здесь живет крокодил, которому нужны друзья?

— Здесь,— ответил Гена.— Он живет здесь. Только ему уже не нужны друзья. Они у него есть.

— Очень жаль! — вздохнул лев и направился к выходу.— До свидания.

— Подождите,— остановил его Чебурашка.— А какой друг вам нужен?

— Не знаю,— ответил лев.— Просто друг, и все.

— Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь,— сказал Чебурашка.— Посидите у нас несколько минут, а я пока сбегаю домой. Ладно?

Через некоторое время Чебурашка вернулся; он вел на поводке просохшего Тобика.

— Вот кого я имел в виду,— сказал он.— Мне кажется, вы подойдете друг другу!

— Но ведь это очень маленькая собачка,— возразил лев,— а я вон какой большой!

— Не беда,— сказал Чебурашка,— значит, вы будете ее защищать!

— И правда,— согласился Чандр.— А что вы умеете делать? — спросил он у Тобика.

— Ничего,— ответил Тобик.

— По-моему, это тоже не страшно,— сказала льву Галя.— Вы можете научить его всему, чему хотите!

— Пожалуй, они правы,— решил Чандр.— Ну что ж,— сказал он Тобику,— я буду рад подружиться с вами. А вы?

— И я! — завилял хвостом Тобик.— Я постараюсь быть очень хорошим товарищем!

Новые знакомые поблагодарили всех, кто был в комнате, и распрощались.

— Молодец! — похвалила Галя Чебурашку, когда они ушли.— Ты поступил как надо!

— Пустяки! — застеснялся Чебурашка.— Не стоит об этом говорить!

— А вы знаете,— вдруг сказала Галя,— сколько в нашем городе таких вот одиноких Чандров и Тобиков?

— Сколько? — спросил Чебурашка.

— Много,— ответила девочка.— У них совсем нет друзей. К ним никто не приходит на день рождения. И никто их не пожалеет, когда им бывает грустно!

Гена слушал все это печальный-препечальный. Из его глаз медленно выкатилась огромная прозрачная слеза. Глядя на него, Чебурашка тоже попытался заплакать. Но из его глаз выкатилась только малюсенькая-малюсенькая слезиночка. Такая, что ее было даже стыдно показывать.

— Так что же мы должны делать? — вскричал крокодил.— Я хочу помочь им!

— И я хочу помочь! — поддержал его Чебурашка.— Что мне, жалко, что ли? Только как?

— Очень просто,— сказала Галя.— Надо их всех передружить между собой.

— А как их передружить? — спросил Чебурашка.

— Не знаю,— ответила Галя.

— А я уже придумал! — заявил Гена.— Надо взять и написать объявления, чтобы они приходили к нам. А когда они будут приходить, мы их будем знакомить между собой!

Эта мысль всем понравилась, и друзья порешили сделать так. Они развесят по городу объявления. Каждому, кто будет приходить к ним, они постараются найти товарища. А дом, в котором живет крокодил, решено было превратить в Дом дружбы.

— Итак,— сказал Гена,— с завтрашнего дня за работу!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На другой вечер работа закипела. Гена сидел за столом и как главный специалист по объявлениям писал:

ОТКРЫВАЕТСЯ ДОМ ДРУЖБЫ.
КАЖДЫЙ, КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ДРУГА,
ПУСТЬ ПРИХОДИТ К НАМ.

Чебурашка брал эти объявления и выбегал на улицу. Он наклеивал их везде, где можно и где нельзя. На стенах домов, на заборах и даже на проходивших мимо лошадях.

Галя в это время прибирала в доме. Закончив уборку, она поставила посредине комнаты стул и прикрепила к нему табличку:

ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

После этого друзья уселись на диване немножко отдохнуть.

Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу.

Галя вскрикнула и влезла с ногами на диван. Гена сорвался с места, забежал в шкаф и захлопнул за собой дверцу. Один только Чебурашка спокойно сидел на диване. Он никогда не видел крыс и поэтому не знал, что их полагается бояться.

— Лариска! На место! — скомандовала старушка.

И крыса быстро забралась в маленькую сумочку, висевшую на руке у хозяйки. Из сумочки высовывалась теперь только хитрая мордочка с длинными усами и черными бусинками глаз.

Постепенно все успокоились. Галя снова села на диван, а Гена вылез из шкафа. На нем был новый галстук, и Гена делал вид, что только за галстуком лазил в шкаф.

Тем временем старушка уселась на стул с табличкой «Для посетителей» и спросила:

— Кто из вас будет крокодил?

— Я,— ответил Гена, поправляя галстук.

— Это хорошо,— сказала старушка и задумалась.

— Что хорошо? — спросил Гена.

— Хорошо, что вы зеленый и плоский.

— А почему это хорошо, что я зеленый и плоский?

— Потому, что если вы ляжете на газоне, то вас не будет видно.

— А зачем я должен лежать на газоне? — снова спросил крокодил.

— Об этом вы узнаете потом.

— А кто вы такая,— наконец вмешалась Галя,— и чем вы занимаетесь?

— Меня зовут Шапокляк,— ответила старуха.— Я собираю злы.

— Не злы, а злые дела,— поправила ее Галя.— Но только зачем?

— Как — зачем? Я хочу прославиться.

— Так не лучше ли делать добрые дела? — вмешался крокодил Гена.

— Нет,— ответила старуха,— добрыми делами не прославишься. Я делаю пять зол в день. Мне нужны помощники.

— А что вы делаете?

— Много чего,— сказала старуха.— Стреляю из рогатки по голубям. Обливаю прохожих из окна водой. И всегда-всегда перехожу улицу в неположенном месте.

— Все это хорошо! — воскликнул крокодил.— Но почему я должен лежать на газоне?

— Очень просто,— объяснила Шапокляк.— Вы ложитесь на

газон, и, так как вы зеленый, вас никто не видит. Мы привязываем на веревочку кошелек и бросаем его на мостовую. Когда прохожий нагибается за ним, вы выдергиваете кошелек из-под носа! Здорово я придумала?

— Нет,— обиженно сказал Гена.— Мне это совсем не нравится! К тому же на газоне можно простудиться.

— Боюсь, что нам с вами не по пути,— обратилась к посетительнице Галя.— Мы, наоборот, хотим делать добрые дела. Мы даже собираемся устроить Дом дружбы!

— Что! — закричала старуха.— Дом дружбы! Ну тогда я объявляю вам войну! Привет!

— Постойте,— задержал ее крокодил.— Вам все равно, кому объявлять войну?

— Пожалуй, все равно.

— Тогда объявите ее не нам, а кому-нибудь другому. Мы слишком заняты.

— Могу и кому-нибудь другому,— сказала старуха.— Мне не жалко! Лариска, вперед! — скомандовала она крысе.

И они обе скрылись за дверью.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На следующий вечер посетителей в Доме дружбы принимала Галя, а Гена и Чебурашка сидели в сторонке и играли в лото.

В дверь резко позвонили, и на пороге появился мальчишка. Он был бы совсем обыкновенным, этот мальчишка, если бы он не был необыкновенно растрепанным и чумазым.

— Здесь дают друзей? — спросил он, не поздоровавшись.

— Не дают, а подбирают,— поправила Галя.

— Это все равно. Главное, здесь или не здесь?

— Здесь, здесь,— успокоила его девочка.

— А какого друга тебе надо? — вмешался крокодил.

— Мне надо, мне надо...— сказал мальчишка, и его глаза заблестели.— Мне надо... двоечника!

— Какого двоечника?

— Круглого.

— А зачем тебе круглый двоечник?

— Как — зачем? Вот мне мама скажет: «Опять у тебя шесть двоек в табеле!» — а я отвечу: «Подумаешь, шесть! А вот у одного моего приятеля целых восемь!» Понятно?

— Понятно,— сказал крокодил.— И хорошо бы он был еще драчун?!

— Зачем же? — спросил мальчишка.

— Как — зачем? Ты придешь домой, а мама скажет: «Опять

у тебя шишка на лбу!» — а ты ответишь: «Подумаешь, шишка! Вот у одного моего товарища целых четыре шишки!»

— Правильно! — весело закричал мальчишка, с уважением посмотрев на крокодила.— И еще надо бы, чтобы он хорошо стрелял из рогатки. Мне скажут: «Опять ты разбил чужое окно?» — а я скажу: «Подумаешь, окно! Вот мой товарищ два окна разбил!» Верно я говорю?

— Верно,— поддержал его Гена.

— Потом еще нужно, чтобы он был хорошо воспитан.

— Зачем? — спросила Галя.

— Как — зачем? Мне мама не разрешает дружить с плохими ребятами.

— Ну что ж,— сказала Галя,— если я правильно вас поняла, вам нужен хорошо воспитанный двоечник и безобразник.

— Вот именно,— подтвердил мальчик.

— Тогда вам придется подойти завтра. Попробуем для вас что-нибудь подобрать.

После этого чумазый посетитель с достоинством удалился. Разумеется, не попрощавшись.

— Как же нам поступить? — спросила Галя.— Мне кажется, мы должны подобрать ему не безобразника, а, наоборот, хорошего мальчика. Чтобы его исправить.

— Нет,— возразил Гена.— Мы должны подобрать ему то, что он просит. Иначе это будет обман. А я не так воспитан.

— Совершенно верно,— сказал Чебурашка.— Надо подобрать ему то, что он хочет. Чтобы ребенок не плакал!

— Хорошо,— согласилась Галя.— А кто из вас возьмется за это дело?

— Я возьмусь! — заявил Чебурашка. Он всегда старался браться за трудные дела.

— И я возьмусь! — сказал крокодил. Ему просто очень хотелось помочь Чебурашке.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Наши герои не торопясь шли по улице. Им было очень приятно идти и разговаривать.

Но вдруг раздалось: б-б-бум! — и что-то пребольно стукнуло крокодила по голове.

— Это не ты? — спросил Гена у Чебурашки.

— Что — не ты?

— Это не ты меня ударил?

— Нет,— ответил Чебурашка.— Я никого не ударял!

В это время снова послышалось: б-б-бум! — и что-то пребольно стукнуло самого Чебурашку.

— Вот видишь,— сказал он.— И меня стукнули!

Что бы это могло быть? Чебурашка стал оглядываться.

И вдруг на столбике у забора он заметил очень знакомую серую крысу.

— Смотри-ка,— сказал он крокодилу,— это крыса старухи Шапокляк. Теперь я знаю, кто в нас кидается!

Чебурашка оказался прав. Это была действительно старуха Шапокляк.

Она гуляла по улице вместе со своей ручной Лариской и совершенно случайно встретилась с Геной и Чебурашкой. У друзей был такой довольный вид, что ей сразу же захотелось им чем-нибудь насолить. Поэтому, подхватив свою крысу под мышку, старуха обогнала их и устроилась в засаде у забора.

Когда приятели подошли, она вытащила из кармана бумажный мячик на резиночке и стала стукать им друзей по голове. Мячик вылетал из-за забора, попадал в Гену или Чебурашку и улетал обратно.

А крыса Лариска сидела в это время наверху и направляла огонь.

Но как только мячик вылетел снова, Гена быстро повернулся и схватил его зубами. Затем они вместе с Чебурашкой медленно стали переходить на другую сторону улицы.

Резинка натягивалась все сильнее и сильнее. И когда Шапокляк высунулась из своего укрытия посмотреть, куда девался ее мячик, Чебурашка скомандовал: «Огонь!» — а Гена разжал зубы.

Мячик со свистом перелетел улицу и угодил точно в свою хозяйку. Старуху с забора как ветром сдуло.

Наконец она высунулась снова, настроенная в десять раз более воинственно, чем раньше.

«Безобразники! Бандиты! Головотяпы несчастные!» — вот что хотела сказать она от всего сердца. Но не смогла, потому что рот у нее был забит бумажным мячиком.

Разгневанная Шапокляк попыталась выплюнуть мячик, но он почему-то не выплевывался.

Что же ей оставалось делать?

Пришлось бежать в поликлинику к известному доктору Иванову.

— Шубу, шубу, шу,— сказала она ему.

— Шубу, шубу что? — переспросил доктор.

— Шубу, шубу шу!

— Нет,— ответил он.— Шуб я не шью.

— Да не шубу, шубу, шу,— снова зашамкала старуха,— а мясик!

— Вы, наверное, иностранка! — догадался доктор.

— Да! Да! — радостно закивала головой Шапокляк.

Ей было очень приятно, что ее приняли за иностранку.

— А я иностранцев не обслуживаю,— заявил Иванов и выставил Шапокляк за дверь.

Так до самого вечера она только мычала и не говорила ни слова. За это время у нее во рту накопилось столько ругательных слов, что, когда мячик наконец размок и она выплюнула последние опилки, у нее изо рта высыпалось вот что:

— Безобразникихулиганыявампокажугдеракизимуют крокодилынесчастныезеленыечтобвампустобыло!!

И это было еще не все, так как часть ругательных слов она проглотила вместе с резинкой.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Гена и Чебурашка бегали по разным школам и спрашивали у сторожей, нет ли у них на примете круглых двоечников и драчунов. Сторожа были люди степенные. Они больше любили говорить про отличников и про воспитанных мальчиков, чем про двоечников и безобразников. Общая картина, нарисованная ими, была такова: все мальчики, приходившие в школы, учились замечательно, были вежливыми, всегда здоровались, каждый день мыли руки, а некоторые даже шею.

Встречались, конечно, и безобразники. Но что это были за безобразники! Одно разбитое окно в неделю и всего лишь две двойки в табеле.

Наконец крокодилу повезло. Он узнал, что в одной школе учится просто превосходный мальчик. Во-первых, полный оболтус, во-вторых, страшный драчун, а в-третьих, шесть двоек в месяц! Это было как раз то, что надо. Гена записал его имя и адрес на отдельной бумажке. После этого он, довольный, пошел домой.

Чебурашке повезло меньше.

Он тоже нашел такого мальчика, какого нужно. Не мальчик, а клад. Второгодник. Задира. Прогульщик. Из отличной семьи и восемь двоек в месяц. Но этот мальчик наотрез отказался водиться с тем, у кого будет меньше десяти двоек. А уж такого отыскать нечего было и думать. Поэтому Чебурашка расстроенный пошел домой и сразу же лег спать.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На другой день чумазый малыш, для которого подбирали двоечников, появился снова.

— Ну что, нашли? — спросил он у Гали, как всегда забыв поздороваться.

— Нашли,— ответила Галя.— Кажется, подходящий парень!

— Во-первых, он настоящий прогульщик,— сказал крокодил.

— Это хорошо!

— Во-вторых, страшный драчун.

— Прекрасно!

— В-третьих, шесть двоек в неделю, и к тому же ужасный грязнуля.

— Двоек маловато,— подвел итог посетитель.— А в остальном подходяще. Где он учится?

— В пятой школе,— ответил Гена.

— В пятой? — с удивлением протянул малыш.— А как же его зовут!

— Зовут его Дима,— сказал крокодил, посмотрев в бумажку.— Полный оболтус! То, что надо!

— «То, что надо! То, что надо»! — расстроился малыш.— Совсем не то, что надо. Это же я сам!

Настроение у него сразу испортилось.

— А вы ничего не нашли? — спросил он Чебурашку.

— Нашел,— ответил тот,— с восемью двойками. Только он не хочет с тобой дружить, раз у тебя шесть. Ему десятидвоечника подавай! Если бы ты десять получил, вы бы поладили.

— Нет,— сказал малыш.— Десять — это уж слишком. Легче получить четыре.— Он медленно направился к выходу.

— Заглядывай,— вслед ему крикнул крокодил,— может быть, что-нибудь подберем!

— Ладно! — сказал мальчишка и скрылся за дверью.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Прошел час. Потом еще полчаса. Никаких посетителей не было. Но вдруг окно раскрылось, и в комнату просунулась какая-то странная голова с короткими рожками и длинными подвижными ушами.

— Привет! — сказала голова.— Кажется, я не ошиблась!

— Привет! — ответили наши друзья.

Они сразу поняли, кто к ним пожаловал. Такая длинная шея могла принадлежать только одному зверю — жирафе.

— Меня зовут Анюта,— сказала гостья.— Мне хотелось бы завести друзей!

Она понюхала цветы, стоявшие на окне, и продолжала:

— Вас всех, наверное, очень интересует вопрос: а почему у такой милой и симпатичной жирафы, как я, совсем нет товарищей? Не так ли?

Гене, Гале и Чебурашке пришлось согласиться, что это действительно так.

— Тогда я вам объясню. Все дело в том, что я очень высокая. Чтобы со мной беседовать, надо обязательно задирать голову вверх.— Жирафа потянулась и внимательно посмотрела на себя в зеркало.— А когда вы идете по улице, задрав голову вверх, вы непременно провалитесь в какую-нибудь яму или канаву!.. Так все мои знакомые и порастерялись по разным улицам, и я не знаю, где их теперь искать! Не правда ли, печальная история?

Гене, Гале и Чебурашке снова пришлось согласиться, что эта история очень печальная.

Жирафа говорила долго. За себя и за всех остальных. Но, несмотря на то что она говорила очень долго, она не сказала ничего толкового. Эта особенность чрезвычайно редкая в наше время. Во всяком случае среди жираф.

Наконец после долгих разговоров Гене все-таки удалось спровадить гостью. И когда она ушла, все с облегчением вздохнули.

— Ну что ж,— сказала Галя,— пора и по домам.

Надо же хоть немного отдохнуть.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Но крокодилу отдохнуть так и не удалось. Как только он улегся спать, в дверь тихонечко постучали.

Гена открыл, и на пороге появилась маленькая обезьянка в сиреневой шапочке и в красном спортивном костюме.

— Здравствуйте,— сказал ей крокодил.— Проходите.

Обезьянка молча прошла и уселась на стул для посетителей.

— Вам, наверное, нужны друзья? — обратился к ней Гена.— Не так ли?

«Так, так»,— закивала гостья, не раскрывая рта. Казалось, что весь рот у нее был забит кашей или теннисными мячиками. Она не произнесла ни слова и только в знак согласия изредка кивала головой.

Гена на секунду задумался, а потом спросил напрямик:

— Вы, наверное, не умеете разговаривать?

Как бы теперь обезьянка ни ответила, вышло бы одно и то же. Если бы она, например, кивнула головой: «Да», то получилось бы: «Да, я не умею разговаривать». А если бы она отрицательно покачала головой: «Нет», то все равно вышло бы так: «Нет, я не умею разговаривать».

Поэтому пришлось ей открыть рот и выложить из него все то, что мешало ей говорить: гаечки, винтики, коробочки из-под гуталина, ключики, пуговицы, ластики и прочие нужные и интересные предметы.

— Я умею разговаривать,— наконец заявила она и стала снова укладывать вещи за щеку.

— Одну минуточку,— остановил ее крокодил,— скажите уж заодно: как вас зовут и где вы работаете?

— Мария Францевна,— назвалась обезьянка.— Я выступаю в цирке с ученым дрессировщиком.

После этого она быстро запихнула все свои ценности обратно. Видно, ее очень беспокоило, что они лежат на чужом, совершенно незнакомом столе.

— Ну, а какой друг вам нужен? — продолжал расспросы Гена.

Обезьянка немного подумала и опять потянулась, чтобы вытащить все то, что мешало ей говорить.

— Подождите,— остановил ее Гена.— Вам, наверное, нужен товарищ, с которым совсем бы не пришлось разговаривать? Правильно?

«Правильно,— кивнула головой посетительница со странным именем — Мария Францевна.— Правильно, правильно, правильно!»

— Ну что ж,— закончил крокодил,— тогда зайдите к нам через недельку.

После того как обезьянка ушла, Гена вышел вслед за ней и написал у входа на бумажке:

ДОМ ДРУЖБЫ ЗАКРЫТ НА УЖИН.

Потом он подумал немного и добавил:

И ДО УТРА.

Однако Гену ждали новые неожиданности. Когда обезьянка укладывала за щеку все свои ценные предметы, она случайно запихнула туда же маленький крокодиловский будильник. Поэтому утром крокодил Гена здорово проспал на работу и имел из-за этого крупный разговор с директором.

А у обезьянки, когда она ушла от крокодила, все время что-то тикало в ушах. И это ее сильно беспокоило. А рано-рано

утром, в шесть часов, у нее так громко зазвенело в голове, что бедная обезьянка прямо с постели бегом помчалась в кабинет доктора Иванова.

Доктор Иванов внимательно прослушал ее через слуховую трубку, а потом заявил:

— Одно из двух: или у вас нервный тик, или неизвестная науке болезнь! В обоих случаях хорошо помогает касторка. (Он был очень старомодным, этот доктор, и не признавал никаких новых лекарств.) Скажите,— снова спросил он у обезьянки,— у вас, наверное, это не в первый раз?

Как бы обезьянка ни закивала в ответ: «Да» или «нет», все равно получилось бы, что не в первый. Поэтому ей ничего не оставалось делать, как выложить из-за щек все свои сокровища. Тут-то доктору все стало ясно.

— В следующий раз,— сказал он,— если в вас начнется музыка, проверьте сначала, может быть, вы запихнули за щеку радиоприемник или же главные городские часы.

На этом они расстались.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Через несколько дней, вечером, Гена устроил маленькое совещание.

— Может, это не совсем тактично, то, что я хочу сказать,— начал он,— но все-таки я скажу. Мне очень нравится то, что мы с вами делаем. Это мы просто здорово придумали! Но с тех пор как мы все это здорово придумали, я потерял всякий покой! Даже ночью, когда все нормальные крокодилы спят, я должен вставать и принимать посетителей. Так продолжаться не может! Надо обязательно найти выход.

— А мне кажется, что я уже нашел,— сказал Чебурашка.— Только я боюсь, что это вам не понравится!

— Что же?

— Нам нужно построить новый дом. Вот и все!

— Верно,— обрадовался Гена.— А старый мы закроем!

— Пока закроем,— поправила его Галя.— А потом снова откроем в новом доме!

— Итак, с чего же мы начнем? — спросил Гена.

— Прежде всего нам нужно выбрать участок,— ответила Галя.— А потом нам надо решить, из чего мы будем строить.

— С участком дело просто,— сказал крокодил.— Позади моего дома есть детский сад, а рядом с ним небольшая площадка. Там и будем строить.

— А из чего?
— Конечно, из кирпичей!
— А где же их взять?
— Не знаю.
— И я не знаю,— сказала Галя.
— И я тоже не знаю,— сказал Чебурашка.
— Послушайте,— вдруг предложила Галя,— давайте позвоним в справочное бюро!
— Давайте,— согласился крокодил и тут же снял телефонную трубку.— Алло, справочное! — сказал он.— Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Мы хотим построить маленький домик.
— Минуточку! — ответило справочное.— Дайте подумать.— А потом сказало: — Вопросом кирпичей в нашем городе занимается Иван Иванович. Так что идите к нему.
— А где он живет? — спросил Гена.
— Он не живет,— ответило справочное,— он работает. В большом здании на площади. До свидания.
— Ну что ж,— сказал Гена,— пошли к Иван Ивановичу! — И он вытащил из шкафа свой самый нарядный костюм.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Иван Иванович сидел в большом светлом кабинете за письменным столом и работал.
Из большой кучи бумаг на столе он брал одну, писал на ней: «Разрешить. Иван Иванович» — и откладывал в левую сторону.
Затем он брал следующую бумажку, писал на ней: «Не разрешить. Иван Иванович» — и откладывал в правую сторону.
И так дальше:
«Разрешить. Иван Иванович».
«Не разрешить. Иван Иванович».
— Здравствуйте,— вежливо поздоровались наши друзья, входя в комнату.
— Здравствуйте,— ответил Иван Иванович, не отрываясь от работы.
Гена снял свою новую шляпу и положил ее на угол стола. Тут же Иван Иванович написал на ней: «Разрешить. Иван Иванович», потому что перед этим он написал на какой-то бумажке: «Не разрешить. Иван Иванович».
— Вы знаете, нам нужны кирпичи!..— начала разговор Галя.
— Сколько? — поинтересовался Иван Иванович, продолжая писать.

— Много,— торопливо вставил Чебурашка.— Очень много.

— Нет,— ответил Иван Иванович,— много я дать не могу. Могу дать только половину.

— А почему?

— У меня такое правило,— объяснил начальник,— все делать наполовину.

— А почему у вас такое правило? — спросил Чебурашка.

— Очень просто,— сказал Иван Иванович.— Если я все буду делать до конца и всем все разрешать, то про меня скажут, что я слишком добрый и каждый у меня делает что хочет. А если я ничего не буду делать и никому ничего не разрешать, то про меня скажут, что я бездельник и всем только мешаю. А так про меня никто ничего плохого не скажет. Понятно?

— Понятно,— согласились посетители.

— Так сколько кирпичей вам нужно?

— Мы хотели построить два маленьких домика,— схитрил крокодил.

— Ну что ж,— сказал Иван Иванович,— я вам дам кирпичи на один маленький домик. Это будет как раз тысяча штук. Идет?

— Идет.— кивнула головой Галя.— Только нам еще нужна машина, чтобы привезти кирпичи.

— Ну нет,— протянул Иван Иванович,— машину я вам дать не могу. Я могу дать только полмашины.

— Но ведь половинка машины не сможет ехать! — возразил Чебурашка.

— Действительно,— согласился начальник,— не сможет. Ну тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только на половину дороги.

— Это будет как раз около детского садика,— снова схитрил Гена.

— Значит, договорились,— сказал Иван Иванович.

И он опять занялся своей важной работой — достал из кучки бумажку, написал на ней: «Разрешить. Иван Иванович» — и потянулся за следующей.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На другой день к детскому саду подъехала большая грузовая машина, и двое рабочих сгрузили тысячу штук кирпичей.

— Нам нужно обязательно обнести наш участок забором,— сказала Галя,— чтобы никто нам не мешал строить.

— Правильно,— согласился Гена.— С этого и начнем!

Они раздобыли несколько десятков дощечек, вкопали по уг-

лам участка столбы и поставили невысокий деревянный забор. После этого работа началась.

Чебурашка и Галя подносили глину, а крокодил надел брезентовый фартук и стал каменщиком.

Одно только смущало Гену.

— Понимаешь,— говорил он Чебурашке,— увидят меня мои знакомые и скажут: «Вот тебе раз, крокодил Гена, а занимается такой несерьезной работой!» Неудобно получится!

— А ты надень маску,— предложил Чебурашка.— Тебя никто и не узнает!

— Верно,— стукнул себя по лбу крокодил.— Как это я сам не додумался!

С тех пор он приходил на стройку домика только в маске. И в маске крокодила никто не узнавал. Только однажды крокодил Валера, Генин сменщик, проходя мимо забора, закричал:

— Ого-го, что я вижу! Крокодил Гена работает на стройке!.. Ну как дела?

— Дела хорошо,— ответил Гена незнакомым голосом.— Только я не Гена — это раз. А во-вторых, я вообще не крокодил!

Этим он сразу поставил Валеру на место.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Как-то вечером крокодил Гена первым пришел на стройку. И вдруг он увидел, что вдоль всего забора тянется такая надпись:

ОСТОРОЖНО: ЗЛАЯ СОБАКА!

«Вот тебе раз! — подумал Гена.— Кто же ее привел? Может, Чебурашка? У него много всяких странных знакомых!»

Крокодил сел на приступочку, чтобы дождаться появления Чебурашки.

Через полчаса, напевая песенку, пришагал Чебурашка.

— Ты не знаешь,— обратился к нему крокодил,— откуда здесь взялась злая собака?

Чебурашка вытаращил глаза.

— Не знаю,— сказал он.— Вчера ее не было. Может, ее Галя привела?

Но когда пришла Галя, выяснилось, что и она не приводила никакой злой собаки.

— Значит, собака сама пришла,— сделал предположение Чебурашка.

— Сама? — удивился крокодил.— А кто же написал надпись?

— Сама и написала. Чтобы ее не беспокоили по пустякам!

— Как бы то ни было,— решила девочка,— надо ее оттуда выманить! Давайте привяжем кусочек колбасы на веревочку и бросим на участок. А когда собака схватится за него зубами, мы ее оттуда вытащим через калитку.

Так они и сделали. Взяли кусок колбасы из Чебурашкиного ужина, привязали к бечевке и бросили через забор.

Но никто за веревку не дергал.

— А может, она не любит колбасу? — сказал Чебурашка.— Может, она любит рыбные консервы? Или, например, бутерброды с сыром?

— Если бы не новые штаны,— взорвался Гена,— я бы ей показал!

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из-за забора вдруг не выскочила кошка. Она держала в зубах ту самую колбасу на веревочке.

Кошка посмотрела на друзей и быстро-быстро убежала. Так быстро, что Чебурашка не успел даже потянуть за шпагатик и выдернуть свой ужин.

— Что же это такое? — разочарованно сказал он.— Пишут одно, а на самом деле другое! — Он зашел за калитку.— Никакой собаки нет!

— И не было! — догадалась Галя.— Просто кто-то решил нам помешать! Вот и все!

— А я знаю кто! — закричал Гена.— Это старуха Шапокляк! Больше некому! Из-за нее мы целый вечер не работали! А завтра она еще что-нибудь придумает. Вот увидите!

— Завтра она ничего не придумает! — твердо заявил Чебурашка. Он стер первую надпись и написал на заборе:

ОСТОРОЖНО: ЗЛОЙ ЧЕБУРАШКА!

Затем он выбрал длинный и крепкий шест и прислонил его к калитке изнутри. Если бы кто-нибудь теперь приоткрыл калитку и сунул туда свой любопытный нос, шест непременно бы щелкнул его по голове.

После этого Галя, Гена и Чебурашка спокойно разошлись по своим делам.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Каждый раз поздно вечером старуха Шапокляк выходила из дома для ночного разбоя. Она подрисовывала усы на афишах и плакатах, вытряхивала из урн мусор и изредка стреляла из пугача, чтобы напугать ночных прохожих.

И в этот вечер она тоже вышла из дома и направилась в город вместе со своей ручной крысой Лариской.

Первым делом она решила пойти на стройку нового дома, чтобы навести там очередной беспорядок.

Когда старуха подошла к забору, она увидела на нем такую надпись:

ОСТОРОЖНО: ЗЛОЙ ЧЕБУРАШКА!

«Интересно,— подумала старуха,— кто же это такой, злой Чебурашка? Надо посмотреть!»

Ей захотелось приоткрыть калитку и заглянуть внутрь. Но как только она это сделала, палка, приставленная изнутри, сразу же свалилась и пребольно щелкнула ее по носу.

— Безобразники! — закричала старуха.— Сорванцы! Я вам теперь задам! Вот увидите! — И, сунув свою ручную крысу под мышку, она побежала в сторону зоопарка.

В голове у старухи Шапокляк уже созрел грозный план мести. Она знала, что в зоопарке живет очень злой и глупый носорог по имени Птенчик. Старуха по воскресеньям кормила его бубликами, стараясь приручить к себе. Носорог съел целых пять бубликов, и Шапокляк считала, что он совершенно ручной. Она хотела приказать ему, чтобы он прибежал на стройку, наказал этого «злого Чебурашку» и переломал там все, что мог.

Ворота зоопарка были закрыты. Недолго думая старуха перемахнула через забор и направилась к клетке с носорогом.

Носорог, конечно, спал. Во сне он, конечно, храпел. А храпел он так сильно, что совершенно непонятно было, как это он ухитряется спать при таком шуме.

— Эй ты, вставай! — сказала ему старуха.— Дело есть!

Но Птенчик ничего не слышал.

Тогда она стала толкать его в бок через прутья решетки кулаком. Это тоже не дало никакого результата.

Пришлось старухе отыскать длинную палку и палкой колотить носорога по спине.

Наконец Птенчик проснулся. Он был ужасно зол оттого, что его разбудили. И конечно, он уже не помнил ни о каких съеденных бубликах.

А Шапокляк открыла дверцу и с криком: «Вперед! Скорей!» — побежала к выходу из зоопарка.

Носорог бросился за ней и совсем не потому, что ему хотелось «скорей» и «вперед». Просто ему очень хотелось боднуть эту вредную старушенцию.

Перед самыми воротами Шапокляк остановилась.

— Стоп! — сказала она.— Надо открыть ворота.

Однако носорог не остановился. Прямо с ходу он подбежал к старухе и наподдал ей так, что она в мгновение ока перелетела через забор.

— Бандит! Безобразник! — закричала старуха, потирая ушибленные места.— Сейчас я тебе покажу!

Но показать ей ничего не удалось: носорог проломил ворота и снова устремился за ней в погоню.

— Оболтус несчастный! — кричала Шапокляк на ходу.— Сейчас побегу в милицию, там тебе зададут! Там тебя проучат!

Но в милицию ей бежать было нельзя: там, скорее всего, проучили бы именно ее, а не носорога.

Неизвестно, что было бы дальше, если на дороге вдруг не оказалось высокое дерево. В одно мгновение старуха забралась на самую его вершину.

— Порядок,— сказала она, поудобнее устраиваясь на ветках.— Сюда ему не влезть! Ку-ку!

Носорог потоптался, потоптался внизу, а потом улегся спать, отыскав в стороне подходящую канаву.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

А в это время Чебурашка, просидев весь вечер у крокодила, решил наконец отправиться домой. По дороге он надумал зайти на стройку нового дома, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. По теперешним временам это было нелишним.

Чебурашка медленно шел по темной улице. Все в городе давно спали, и вокруг не было ни души. Но вдруг прямо над Чебурашкой, на высоком дереве, послышался какой-то шорох.

— Кто там? — спросил он.

— Это я,— ответил ему тоненький голосок.— Старуха Шапокляк.

И Чебурашка действительно разглядел в ветвях свою старую знакомую.

— А что вы там делаете?

— Вишу,— отвечала старуха.— Уже два часа.

— Понятно,— сказал Чебурашка и отправился дальше.

Его нисколько не удивил ответ старухи. От нее можно было ожидать чего угодно. И если она два часа висит на дереве, то она знает, что делает. Однако в последнюю минуту Чебурашка вернулся.

— Интересно, а сколько времени вы забирались туда? Наверное, не меньше часа?

— Как же,— сказала старуха,— я не такая копуша. Я забралась сюда за десять секунд!

— За десять секунд? Так быстро? А почему?

— Потому что за мной гнался носорог. Вот почему!

— Вот это да! — протянул Чебурашка.— А кто же его выпустил из зоопарка? И зачем?

Но больше старуха ничего не хотела объяснять.

— Много будешь знать, скоро состаришься! — только и сказала она.

Чебурашка призадумался. Он много раз слыхал про этого злого и глупого носорога и прекрасно понимал: надо что-то делать. Иначе скоро не только Шапокляк, но и все остальные жители города окажутся на деревьях, словно елочные украшения.

— Побегу-ка я его искать! — решил наш герой.

Через несколько секунд он наткнулся на носорога. Тот взревел и бросился за храбрецом. Они мчались по улице с бешеной скоростью. Наконец Чебурашка свернул за угол, а носорог пролетел дальше.

Теперь уже Чебурашка бежал за носорогом, стараясь не отставать. При удобном случае он собирался позвонить в зоопарк и позвать на помощь служителей.

«Интересно, как меня наградят за его задержание?» — размышлял Чебурашка на ходу.

Он знал, что имеются три медали: «За спасение утопающих», «За храбрость» и «За труд». «За спасение утопающих» сюда явно не подходило.

«Наверное, дадут «За храбрость»,— думал он, преследуя Птенчика.

«Нет, пожалуй, «За храбрость» не дадут»,— мелькало у него в голове, когда ему снова приходилось удирать от разгневанного носорога.

А когда он пробежал по городу целых пятнадцать километров, то окончательно убедился, что будет награжден медалью «За труд».

Но вот Чебурашка увидел одинокий маленький домик, стоящий в стороне. Он сразу направился к нему. Носорог не отставал. Они обежали вокруг домика пять или шесть раз.

Теперь стало совсем непонятно: кто же за кем гонится? То ли носорог за Чебурашкой, то ли Чебурашка за носорогом, то ли каждый из них бегает сам по себе!

Чтобы разобраться в этой путанице, Чебурашка отскочил в сторону. И пока носорог один носился по кругу, Чебурашка спокойно сидел на лавочке и размышлял.

Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль.

— Эй, приятель! — закричал он носорогу.— Давай-ка за мной! — И сам помчался к длинной, постепенно сужающейся улочке.

Птенчик бросился за ним.

Улочка становилась все у́же и у́же. Наконец она сузилась настолько, что носорог дальше бежать не мог. Он застрял между домами, как пробка в бутылке!

Утром за ним пришли служители из зоопарка. Они долго благодарили Чебурашку и даже пообещали подарить ему живого слоненка, когда у них окажется лишненький!

А старуху Шапокляк в этот день снимала с дерева целая пожарная команда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Теперь строительству уже никто не мешал.

Но дело все равно продвигалось очень медленно.

— Если мы и дальше будем строить втроем,— сказал однажды Гена,— то мы построим наш дом не раньше чем через год! Нам обязательно нужны помощники!

— Верно! — поддержал его Чебурашка.— И я даже знаю, где их можно взять.

— Где же?

— Сейчас скажу. Для кого мы строим наш дом?

— Для тех, кто хочет подружиться!

— Вот пусть они и помогают нам! Правильно?

— Правильно! — закричали Галя и крокодил.— Это ты здорово придумал! Надо их обязательно позвать!

И на стройке стали появляться помощники. Пришла жирафа Анюта, обезьянка Мария Францевна и, разумеется, двоечник Дима. Кроме того, к строителям присоединилась очень скромная и воспитанная девочка Маруся, круглая отличница.

У нее тоже не было друзей, потому что она была слишком уж тихой и незаметной. Никто даже и не заметил, как она появилась у домика и стала помогать. О ее существовании узнали только на четвертый или на пятый день.

Работали строители до позднего вечера. А когда становилось темно, жирафа брала в зубы фонарь и освещала строительную площадку. Только не надо было говорить ей за это «спасибо», потому что она обязательно бы сказала «пожалуйста» и фонарь тут же упал бы на вашу голову.

Как-то вечером на огонек зашел высокий рыжий гражданин с блокнотом в руках.

— Здравствуйте! — сказал он.— Я из газеты. Объясните, пожалуйста, что вы здесь делаете?

— Мы строим дом,— ответил Гена.

— Какой дом? Для чего? — начал спрашивать корреспондент.— Меня интересуют цифры.

— Домик у нас будет маленький,— объяснил ему крокодил.— Пять шагов в ширину и пять шагов в длину.

— Сколько этажей?

— Этаж один.

— Запишем,— сказал корреспондент и что-то начеркал в своем блокноте. (Жирафа в это время светила ему фонарем.) — Дальше!

— У нас будет четыре окошка и одна дверь,— продолжал Гена.— Домик будет невысокий, всего два метра. Каждый, кто хочет, будет приходить сюда к нам и будет подбирать себе друга. Вот здесь, около окошка, мы поставим столик для работы. А вот здесь, у двери,— диван для посетителей.

— А кто работает на стройке?

— Все мы,— показал Гена.— Я, Чебурашка, жирафа, двоечник Дима и другие.

— Ну что ж, все ясно! — сказал корреспондент.— Только цифры у вас какие-то неинтересные. Придется кое-что подправить.— И он направился к выходу.— До свиданья! Читайте завтрашние газеты!

В завтрашних газетах наши друзья с удивлением прочитали такую заметку:

Новости

В нашем городе строится замечательный дом —
Дом дружбы. Высота его — десять этажей,
Ширина — пятьдесят шагов. Длина — тоже.
На стройке работают десять крокодилов,
десять жираф, десять обезьян
и
десять круглых отличников.
Дом дружбы будет построен к сроку.

— Да,— сказали десять крокодилов, после того как прочитали заметку,— надо же так подправить!

— Врунишка он! — попросту заявили десять круглых отличников, шмыгая носом.— Мы с такими встречались!

И все строители единогласно решили не подпускать больше длинного гражданина к своему домику. Даже на десять пушечных выстрелов!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Дом рос не по дням, а по часам. Сначала он был крокодилу по колено. Затем по шейку. А потом и совсем закрыл его с ручками. Все были очень довольны. Только Чебурашка с каждым днем становился все печальнее и печальнее.

— Что с тобой? — спросил его однажды крокодил.— У тебя неприятности?

— Да,— ответил Чебурашка,— у меня неприятности. Наш магазин собираются закрывать. Никто не покупает уцененных товаров!

— Чего же ты раньше молчал? — снова спросил Гена.

— Я не хотел беспокоить вас по пустякам. У вас же и своих забот хватает!

— Ничего себе пустяки! — вскричал крокодил.— Ну ладно, мы тебе как-нибудь поможем.

— Придумал! — закричал он через пять минут.— Во сколько открывается твой магазин?

— В одиннадцать.

— Ну хорошо! Все будет в порядке!

На следующий день крокодил первым делом отпросился с работы. Вместо него в зоопарке дежурил его сменщик Валера.

А сам Гена и все остальные друзья, кто был свободен в это утро, за два часа до открытия собрались у входа в Чебурашкин магазин.

Гена, Галя, Дима, длинноногая жирафа и сам Чебурашка топтались около дверей, заглядывали в окна и в нетерпении восклицали:

— Когда же его откроют! Когда же его откроют?

Подошел директор магазина и продавцы.

Они тоже стали заглядывать в окна своего магазина и восклицать:

— Когда же его откроют! Когда же его наконец откроют?

Проходила мимо старуха Шапокляк со своей дрессированной Лариской. Подумала, подумала и встала в очередь.

Подошел маленький старичок с большой сумкой и спросил у нее, что же будут продавать. Шапокляк ничего не говорила и только многозначительно пожимала плечами.

«Наверное, что-нибудь интересное»,— решил старичок и тоже стал заглядывать в окна.

Короче, к открытию магазина очередь достигла катастрофических размеров.

В одиннадцать двери открылись, и люди бросились в магазин.

Они покупали все, что попадалось под руку. Обидно было простоять два часа в очереди и ничего не купить. Только керосиновые лампы никому не были нужны. У всех было электричество.

Тогда директор магазина достал краски и написал:

ЕСТЬ КЕРОСИНОВЫЕ ЛАМПЫ!!
ПРОДАЖА ВО ДВОРЕ.
ОТПУСК ПО ДВЕ ШТУКИ
В ОДНИ РУКИ!

Тотчас же все покупатели устремились во двор и стали расхватывать лампы. Те, кто купил их, были очень довольны собой, а те, кому ламп не хватило, сильно огорчались и ругали магазинное начальство.

Что касается старухи Шапокляк, то она приобрела целых две пары — на себя и на свою Лариску. Так они, эти лампы, и хранятся у нее до сих пор. Как говорится, на черный день.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Однажды в воскресенье Гена обратился ко всем строителям.

— Стены домика почти готовы,— сказал он.— И надо решить: из чего же делать крышу?

— Как — из чего! — воскликнула жирафа.— Но ведь это же очень просто! — Она наклонилась, поправила кирпич, неправильно лежавший на стене, и продолжала: — Крышу обычно делают из того, что не пропускает воду! Впрочем, крышу можно и вообще не делать!

— Спасибо,— поблагодарил Анюту крокодил.— Нам стало все значительно яснее! А что скажет наша уважаемая обезьянка?

Мария Францевна призадумалась на минутку, потом вытащила из кармана чистый носовой платок, выложила в него все свои сокровища и сказала:

— Ничего.

После этого она тщательно уложила все свои драгоценности обратно в рот. Между прочим, за последнее время щеки у обезьянки заметно потолстели. Потому что новые знакомые стали отдавать ей на хранение разные мелкие предметы.

Если вы, например, случайно нашли на улице ключик от чемодана, а самого чемодана пока еще не нашли, вы спокойно могли бы отдать свой ключик обезьянке. К тому времени, когда вам наконец попадется чемодан, ключик будет у нее в целости и сохранности.

— Ну что же,— продолжал тем временем Гена,— неужели никто ничего не посоветует?

— А можно мне сказать? — попросила тихая девочка Маруся.— Мне кажется, я придумала. Вот у нас вокруг домика стоит забор. А он нам теперь не нужен! Из него можно сделать крышу!

— Ура! — закричали строители.— Она правильно придумала!

— Согласен,— сказал Гена.— Но тогда мне нужны гвозди.— Он прикинул в уме.— Примерно сорок штук гвоздей! А где их взять?

Все посмотрели на Чебурашку.

— Надо — значит, надо! — скромно сказал он.— Я достану гвозди!

Он немного подумал и побежал на окраину города. Туда, где располагался главный городской строительный склад.

У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках и курил папиросы «Беломор».

Чебурашка решил начать разговор издалека.

— Солнышко светит, травка зеленеет! — сказал он.— А нам вот так нужны гвозди! Не дадите немножко?

— Это не травка зеленеет,— ответил кладовщик.— Это краску пролили. А гвоздей нет. Каждый ящик на учете.

— Зато птички поют,— продолжал Чебурашка.— Заслушаешься! А может, найдете лишние? Нам же немного надо!

— Если бы это птички пели...— вздохнул кладовщик.— То ж ворота скрипят. И искать не буду! Ничего лишнего нету!

— Очень жаль,— сказал Чебурашка,— что это не птички скрипят! А мы строим Дом дружбы!

— Дом дружбы? — заинтересовался кладовщик.— Ну, тогда другое дело! Тогда я дам тебе гвозди. Уж так и быть, бери! Только я тебе дам гнутые гвозди. Идет?

— Идет! — обрадовался Чебурашка.— Большое спасибо. Только дайте мне уж заодно и гнутый молоток!

— Гнутый молоток? — удивился кладовщик.— А зачем?

— Как — зачем? Забивать гнутые гвозди!

Тут даже видавший виды кладовщик в валенках не удержался и захохотал.

— Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямых гвоздей. А гнутые выпрямлю сам! Держи.

И обрадованный Чебурашка побежал на стройку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

И вот уже домик почти готов. Остается совсем немного. Надо только покрасить его изнутри и снаружи. И тут у друзей возникли разногласия.

Крокодил Гена сам был зеленым, и он считал, что домик должен быть зеленого цвета. Потому что этот цвет самый приятный для глаз. Коричневая обезьянка Мария Францевна считала, что самый приятный для глаз — коричневый цвет. А долговязая Анюта все время твердила, что самый лучший — жирафовый цвет. И если сделать дом таким, то все жирафы города будут очень благодарны строителям.

Наконец Чебурашка предложил каждому выбрать себе одну стенку и покрасить ее так, как хочется.

Домик вышел на славу. Все стены у него получились разные: одна — зеленая, другая — коричневая, третья — желтая с черными пятнами. А четвертая стена отливала всеми цветами радуги. Ее красил двоечник Дима. У него не было любимой краски, поэтому он макал кисточку во все ведра по очереди.

— Ты знаешь,— сказала Галя Чебурашке,— мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика.

— Но я боюсь, у меня ничего не получится,— ответил Чебурашка.— Я никогда не говорил речей!

— Ничего, получится,— успокоила его Галя.— Надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одно небольшое стихотворение, а ты ходи и все время повторяй. Если ты повторишь его без запинки, значит, ты сможешь сказать любую речь.

И она сказала ему одну небольшую скороговорочку, которую запомнила с детства:

Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
Мышки сушки кушать стали —
Зубы сразу же сломали.

— Это очень легкое стихотворение,— решил Чебурашка.— Я его сразу повторю.

И он продекламировал:

Мыска шусек нашусила,
Мыска мысек пригласила.
Мыски суски кусать штали —
Зубы сразу зе шломали.

«Нет,— подумал он,— что-то я неправильно говорю. Почему «мыски» и почему «кусать»? Ведь правильно говорить «мышки» и «кушать». Ну-ка попробуем сначала!»

Мышка сушек насушила,—

правильно начал он.

Мышка мысек пригласила,—

тоже почти правильно. Но дальше получилось вот что:

Мышки шуски кусать штали —
Жубы шражу же шломали.

Сто зе это такое полусяется? — рассердился Чебурашка.— Я и двух шлов швязать не могу! Жначит, надо как можно больше жаниматься!

И он жанимался и жанимался всю ночь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Праздник получился на славу. Все строители явились на него очень радостные и нарядные.

Крокодил Гена надел самый лучший костюм и самую лучшую соломенную шляпу. Галя была в своей любимой красной шапочке. А жирафа Анюта и обезьянка Мария Францевна выглядели, словно они пришли сюда прямо из химчистки.

Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо.

— Уважаемые граждане,— первой начала Галя.

— Уважаемые гражданки,— продолжил крокодил.

— И уважаемые гражданятки,— последним произнес Чебурашка, чтобы тоже что-нибудь сказать.

— Сейчас вам Чебурашка скажет речь! — закончила Галя.

— Говори,— подтолкнул Чебурашку крокодил.— Ты готов?

— Конесьно,— ответил тот.— Всю нось жанимался!

И Чебурашка сказал речь. Вот она, речь Чебурашки:

— Ну, что я могу шказать? Все мы осень рады! Штроили мы, штроили и наконец поштроили! Да ждравствуют мы! Ура!

— Ура! — закричали строители.

— Ну сто? — спросил Чебурашка.— Ждорово у меня полусилось?

— Ждорово! — похвалил его Гена.— Молодсяга!

После этого крокодил торжественно перегрыз ленточку, привязанную над порогом, и Чебурашка под общие аплодисменты открыл входную дверь.

Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич! У Чебурашки в голове все перемешалось. Он уже не понимал, где небо, где земля, где домик и где сам он — Чебурашка.

Но, несмотря на это, Чебурашка сразу понял, кто положил кирпич на дверь.

— Ну погоди же! — сказал он.— Ну погоди, несчастная Шапокляк! Я с тобой еще поквитаюсь!

А несчастная Шапокляк стояла в это время на балконе своего дома и смотрела в подзорную трубу, как у Чебурашки на голове вырастала здоровенная шишка.

Она давала заглядывать в трубу также и своей дрессированной Лариске. Обе были счастливы, как никогда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

— А теперь нам пора за работу,— сказала Галя.— Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, кто первый?

Но тут наступила пауза. Как ни странно, первого не было.

— Кто же первый? — переспросил Гена.— Неужели никого нет?

Все молчали. Тогда Галя обратилась к длинноногой жирафе:

— Скажите, а разве вам не нужны друзья?

— Не нужны,— ответила Анюта.— Уже не нужны. У меня есть друг.

— Кто же это? — спросил Чебурашка.

— Как — кто? Конечно, обезьянка! Мы с ней давно подружились!

— А как же вы с ней гуляете? — снова задал вопрос Чебурашка.— Ведь она может провалиться в яму!

— Нет, не может,— сказала жирафа. Она наклонилась, откусила кусочек соломенной шляпы крокодила и продолжала: — Когда мы гуляем, она сидит у меня на шее, как воротник. И нам очень удобно разговаривать.

— Вот это да! — изумился Чебурашка.— Я бы до этого никогда не додумался!

— Ну, а ты, Дима? — спросила Галя.— Разве ты завел себе друга?

— Завел,— ответил Дима.— Еще как завел!

— Кто же это, если не секрет? Покажи нам.

— Вот кто.— Дима показал пальцем на Марусю.

— Но ведь у нее совсем нет двоек! — удивился крокодил Гена.

— Это, конечно, плохо,— согласился мальчишка.— Но двойки — это не главное. Если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится! Зато у нее можно списать и она помогает мне делать уроки! Вот!

— Ну что ж,— объявила Галя,— дружите на здоровье! Мы будем только рады. Правильно я говорю?

— Правильно,— согласились Гена и Чебурашка.— Только кого мы будем передруживать, если все уже передружились без нас?

Вопрос был справедливый. Больше желающих подружиться не оказалось.

— Что же это получается? — грустно сказал Чебурашка.— Строили, строили, и все напрасно.

— И совсем не напрасно,— возразила Галя.— Во-первых, мы подружили жирафу и обезьянку. Правильно?

— Правильно! — закричали все.

— Во-вторых, мы подружили Диму и Марусю. Правильно?

— Правильно! — закричали все.

— А в-третьих, у нас теперь есть новый домик и мы можем его кому-нибудь подарить. Например, Чебурашке, ведь он живет в телефонной будке. Правильно?

— Правильно! — в третий раз закричали все.

— Нет, не правильно,— вдруг сказал Чебурашка.— Этот дом надо отдать не мне, а всем нам вместе. Мы устроим здесь клуб и будем приходить сюда по вечерам, чтобы играть и видеться друг с другом!

— А как же ты? — спросил крокодил.— Ты так и будешь жить в телефонной будке?

— Ничего,— ответил Чебурашка.— Я как-нибудь перебьюсь. Но вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто здорово! Днем бы я играл с

ребятами, а ночью я бы спал в этом саду и заодно сторожил бы его. Только никто меня не возьмет в детский сад, ведь я же неизвестно кто.

— Как это так, неизвестно кто?! — вскричал крокодил.— Очень даже известно! Хотел бы я быть таким неизвестно кто!

— Мы все за тебя попросим,— сказали Чебурашке звери.— Тебя любой детский сад возьмет на работу и еще благодарить будет!

— Ну что же,— сказал Чебурашка,— тогда я очень счастлив!

Так наши герои и сделали. В домике устроили клуб, а Чебурашку отдали в детский сад игрушкой. Все были очень довольны.

Поэтому я решил взять в руки карандаш и написать одно короткое слово:

КОНЕЦ

Но как только я взял в руки карандаш и написал слово «конец», ко мне прибежал Чебурашка.

— Как так конец? — воскликнул он.— Нельзя писать «конец»! Я еще не рассчитался с этой зловредной Шапокляк! Сначала мы с ней поквитаемся, а потом уже можно будет писать: «Конец».

— Ну что же, квитайтесь,— сказал я.— Интересно, как это у вас получится?

— Очень просто,— ответил Чебурашка.— Вот увидите!

Все оказалось действительно очень просто.

На другое же утро Гена, Галя и Чебурашка все вместе заявились во двор старухи Шапокляк. В руках они держали большие разноцветные красивые воздушные шары.

Шапокляк сидела в это время на лавочке и обдумывала планы очередных каверзных дел.

— Подарить вам шарик? — обратился к старухе Чебурашка.

— Задаром?

— Конечно, задаром!

— Давай,— сказала старуха и схватила все Чебурашкины ярко раскрашенные шары.— В руки берется, назад не отдается! — тут же заявила она.

— А еще надо? — спросила Галя.

— Давай!

Теперь у нее в руках было уже две связки шаров, и они буквально отрывали старуху от земли.

— А еще дать? — вступил в разговор Гена, протягивая свои шарики.

— Конечно! — И Генины шары тоже оказались в руках у жадной Шапокляк.

Вот уже не две, а три связки шаров поднимали старуху вверх. Медленно-медленно она оторвалась от земли и поплыла к облакам.

— Но я не хочу на небо! — кричала старуха.

Однако было уже поздно. Ветер подхватил ее и уносил дальше и дальше.

— Разбойники! — кричала она.— Я еще вернусь! Я еще покажу вам! Вам всем житья не будет!

— Может, и вправду она вернется? — спросила Галя у Чебурашки.— Тогда нам действительно житья не будет.

— Не беспокойся,— сказал Чебурашка.— Ветер унесет ее далеко-далеко, и без помощи людей ей ни за что не вернуться. А если она останется такой же вредной и злой, как сейчас, ей никто помогать не станет. Значит, она просто не сможет добраться до нашего города. Ну что, хорошо мы ее проучили?

— Хорошо,— сказал крокодил.

— Хорошо,— согласилась Галя.

После этого мне ничего не оставалось сделать, как взять в руки карандаш и написать два коротеньких слова:

КОНЕЦ ПОВЕСТИ.

Комментарии

МУСТАЙ КАРИМ

(род. 1919)

РАДОСТЬ НАШЕГО ДОМА

Повесть впервые опубликована в 1952 году в Детгизе (авторизованный перевод с башкирского В. Осеевой).

Творческую историю повести М. Карим рассказал в письме к писателю С. Баруздину (1970): «Радость нашего дома» (повесть) написана в 1952 году. Она возникла из двух воспоминаний. Первое. На фронте один солдат-башкирец после боя ночью из нейтральной полосы вынес раненую женщину с двумя девочками. Они бежали от немцев к нам, а немцы открыли по ним огонь — это было еще в сумерках. Потом тот же солдат отвез их в госпиталь. Женщина умерла. А солдат написал домой жене, чтобы она приезжала туда-то за старшей девочкой (в Днепропетровск). Я больше ничего не знаю ни о девочке, ни о солдате. Но судьба их меня занимала долго. Написал повесть. Но обстоятельства встречи солдата с девочкой изменил. Это одно. Второе. В 1946 году я лечился в санатории Шафраново. Там на базарчике я познакомился с мальчиком семи лет из соседнего аула, который изумительно рассказывал о себе, о своих родных, о живых и умерших. (Он кормился на базаре.) Манера разговора, его голос, жесты запали мне в память. Его я и сделал рассказчиком в повести «Радость нашего дома». Если в повести есть некоторая доля умиротворенности и слащавости, то все от голоса того мальчика. ...Мальчик и та далекая девочка соединились в моем взбудораженном воображении и заставили написать эту повесть. Меня многие упрекали, по-моему, ты тоже, за то, что повесть голубовата. А знаешь, пусть так. Ибо дети никогда не жалуются на трудности. ...В «Радости нашего дома» я смотрю на мир глазами детей, стараюсь постичь его воображением детей. ...В «Радости» я сознательно «приукрашивал» жизнь и взрослых, их взаимоотношения, чтобы сказать, что при всех ужасах войны мечта о добре и гармонии, человечность и сострадание остаются первоосновой нравственного бытия людей» (М. Карим. Собрание сочинений в трех томах, т. 3. М.: Художественная литература, 1983).

Впечатление от книги точно выразил Г. Гулиа, одним из первых рецензировавший повесть: «Книжка вызывает в читателе чувство радости. Это повесть о дружбе наших народов, и дружба эта показана просто и правдиво» («Литературная газета», 1952, 11 декабря). Сходные оценки содержатся в отзывах Е. Городецкой («Книги, воспитывающие чувство интернационализма».— «Семья и школа», 1953, № 4), Г. Бассалыго («Октябрь», 1952, № 12), О. Г. Чувило («Начальная школа», 1952, № 10). Привлекательность повести, по верному замечанию Н. Ильиной (автора предисловия к изданию: М. Карим. Радость нашего дома. Таганок. М.: Детская литература, 1983), как и творчества Карима в целом, в том, что она «раскрывает побеждающую силу добра».

На русском языке книга неоднократно переиздавалась общим тиражом около 1 миллиона экземпляров.

Мустай Карим — Герой Социалистического Труда (1979). За поэтический сборник «Годам вослед» ему присуждена Государственная премия СССР (1972).

А. Н. РЫБАКОВ

(род. 1911)

КОРТИК

Повесть впервые опубликована в 1948 году (М.—Л.: Детгиз). Вошла в трилогию: «Кортик», «Бронзовая птица» («Юность», 1956, № 11, 12), «Выстрел» («Юность», 1975, № 9).

А. Рыбаков, который с 8-й гвардейской армией дошел до Берлина, еще в Германии начал работать над повестью «Кортик», ставшей его писательским дебютом. Демобилизовавшись, вернулся в Москву, снял комнату и дал себе зарок не выходить, не закончив повесть. В апреле 1947 года повесть была завершена. В интервью журналу «В мире книг» («Рабочий день. (Беседа с Анатолием Рыбаковым)». 1978, № 5) писатель рассказал о том, какие реальные события отразились в книге: «Пишу о том, что знаю... В доме моего дедушки жил комиссар Крылов, из военных моряков. Под именем матроса Полевого я описал его в «Кортике», придав ему черты моего дяди Миши, М. А. Рыбакова, красного командира, погибшего в конце гражданской войны. Дедушкин характер в нем не только повторился, но, попав в горнило великих событий, раскрылся широко и размашисто... Летом 1919 года мы переехали в Москву. Ехали почти месяц, воинскими эшелонами, через охваченную гражданской войной Россию. Переезд я описал в первой части «Кортика». Крылов (в повести Полевой) подарил мне кортик. Может быть, и не подарил, до сих пор не знаю: может быть, придумал, может быть — нет, но мне очень хотелось его иметь. Воспоминание об этом чувстве вернуло меня в тот возраст, я стал жить тем временем... Действительность соединилась с вымыслом, соединенное вместе то и другое — правда».

Повесть стала одной из любимейших детских книг. В 1948 году вышло второе издание книги, в 1950-м «Кортик» был издан трижды. Затем «Кортик» почти ежегодно переиздавался в центральных, областных и республиканских издательствах. По рекомендации руководителя детского издательства К. Ф. Пискунова «Кортик» и «Бронзовая птица» включены в первое же издание «Библиотеки приключений» (М.: Детгиз, 1958), т. 13. Впоследствии повесть вошла в «Золотую библиотеку» (М.: Детская литература, 1966).

Несмотря на огромный читательский успех, прессы у этой книги не было. Единственная рецензия, с пророческим названием «Школьники полюбят эту книгу», появившаяся вскоре по выходе повести в свет, была опубликована в «Комсомольской правде» (1948, 30 декабря). Рецензент Ф. Вигдорова верно определила основные достоинства «Кортика»: «Есть в этой книге живой, окрашенный юмором диалог, есть интересное, быстрое и напряженное действие, хорошие, благородные мысли, которые затронут сердце юного читателя». Критика вернулась к обсуждению повести спустя несколько лет в связи с другими детскими приключенческими произведениями писателя. Так, в 1961 году А. Берзер в статье «Тайна кортика и победа Кроша» («Октябрь», № 1) отмечает: «Привлекательность «Кортика» в том и состоит, что приключенческая канва сюжета очень гармонично переплетается с реалистической фактурой повести в целом... В «Кортике» фантазия чувствуется постоянно, но это не произвол авторского замысла... фантазия прежде всего реальная черта мальчишеского облика героя». Г. Дробот писательскую установку Рыбакова видит в том, чтобы рассказать «сегодняшнему школьнику о детских годах их отцов... Миша Поляков и Генка Петров — «герои революции и времен нэпа». Этим определены и их нравственный облик, и круг их интересов... Мир для этих ребят точно делится на добро и зло: добро — рево-

люция и Советская власть, организация первых пионерских отрядов, перевоспитание беспризорников, зло — буржуи и все, связанное с ними... Социальные процессы, происходившие в двадцатые годы, обострение классовой борьбы, естественно, определяют психологию детей, способ их действия, смысл их приключений. ...Интересная и поучительная жизнь открывается перед юным читателем, воспитывает его убедительностью фактов, правдивостью характеров, напряженностью событий» (Привлекательный образ.— «Литературная Россия», 1969, 12 декабря). Серьезному, углубленному анализу «Кортика» посвящена одна из глав книги Е. Стариковой «Анатолий Рыбаков. Очерк творчества» (М.: Детская литература, 1977).

Повесть «Кортик» издавалась общим тиражом около 4 миллионов экземпляров. Переведена на многие языки народов СССР, издавалась за рубежом — на болгарском, венгерском, немецком, польском, румынском, чешском, китайском, норвежском, арабском, монгольском, английском, французском, финском и др.

В 1954 году В. Венгеровым и М. Швейцером по сценарию А. Рыбакова снят приключенческий фильм «Кортик». Полностью трилогия экранизирована в 1975 году — телевизионные фильмы «Кортик», «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства» («Выстрел»). По повести «Кортик» Б. И. Юрцевым составлена одноименная инсценировка, в 3-х действиях с прологом (издана Детгизом в 1953 году).

А. Н. Рыбаков — лауреат Государственной премии СССР 1951 года (присвоена за роман «Водители»), Государственной премии РСФСР за сценарий фильма «Минута молчания» (1973). Удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе на лучшее произведение для детей и юношества за повесть «Неизвестный солдат» (1971).

Ю. В. СОТНИК

(род. 1914)

«АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА. *Рассказы*

НЕВИДАННАЯ ПТИЦА. «ФЕОДАЛ» ДИМКА. ДРЕССИРОВЩИКИ. ИССЛЕДОВАТЕЛИ. «ЧЕЛОВЕК БЕЗ НЕРВОВ». «АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА. БЕЛАЯ КРЫСА. КАК Я БЫЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ. «НА ТЕБЯ ВСЯ НАДЕЖДА...» МАСКА.

В 1932 году в детском выпуске газеты «Безбожник» был опубликован первый рассказ Ю. Сотника «Васька Клоп». Однако для критики «настоящий» Ю. Сотник начался «с рассказа о незадачливом конструкторе подводной лодки» («Архимед» Вовки Грушина») (С. Сивоконь. Вождь племени исследователей.— «Детская литература», 1984, № 5). Впервые рассказ был помещен в 1939 году в журнале «Пионер», № 12, а затем неоднократно включался в состав сборников писателя.

Остальные публикуемые в настоящем издании рассказы Ю. Сотника впервые напечатаны: «Невиданная птица» — в одноименном сборнике (М.— Л.: Детгиз, 1950); «Феодал» Димка» — в журнале «Юность» (1955, № 1); «Дрессировщики» — в одноименном сборнике (М.: Детгиз, 1955); «Исследователи» — в журнале «Пионер» (1940, № 4—6); «Человек без нервов» — в сборнике «Невиданная птица» (М.—Л.: Детгиз, 1950); «Белая крыса» — в сборнике «Архимед» Вовки

Грушина» (М.— Л.: Детгиз, 1947); «Как я был самостоятельным» — в одноименном сборнике (М.: Детгиз, 1958); «На тебя вся надежда...» — в «Учительской газете» (1970, 24, 27, 29 января); «Маска» — в сборнике «Как меня спасали» (М.: Детская литература, 1972). Рассказы Ю. Сотника выдержали многочисленные переиздания в 50—80-х годах. Сборник «Невиданная птица» в 1964 году выходил в серии «Золотая библиотека».

Рассказы Ю. Сотника сразу же были заинтересованно встречены критикой. О своем первом знакомстве с творчеством писателя увлекательно рассказал Л. Кассиль: «Помню, как еще в 1940 году мне позвонил друг, писатель... и радостно спросил:

— Читали в «Пионере» Сотника?

Я не читал.

Друг мой обрадовался еще больше, так как ему, видно, хотелось самому «открыть» для меня нового, еще неизвестного мне автора.

— Прелестный рассказ! «Исследователи» называется... Там, понимаете, учитель пошел исследовать ходы в стене, найденные ребятами, а один из этих ходов вел, понимаете... Нет, я лучше вам сейчас прочту! Погодите, сейчас возьму журнал.

Я было попытался объяснить моему другу, что с неграмотностью своей я покончил уже давно и теперь обычно читаю совершенно самостоятельно, своими глазами, но приятель мой закричал в трубку, что я, возможно, прочту сам не с тем выражением, какое совершенно необходимо для этого замечательного рассказа, он уж сам возьмет на себя труд познакомить меня с замечательным писателем.

И надо сказать, я не пожалел о тех двадцати минутах, которые затем простоял у телефона, прижимая трубку то к одному, то к другому уху и хохоча во все горло...» (Л. К а с с и л ь. Рассказывает Ю. Сотник.— В кн.: Ю. В. С о т н и к. Рассказы. М.: Детская литература, 1958).

Уникальность писательского дара Ю. Сотника Лев Кассиль видел в том, что автор «умеет вызывать такой искренний хохот, такое радостное веселье», достигая этого «своей вдумчивой простотой, отличным знанием всяких ребячьих дел, веселой выдумкой, которая очень понятна ребятам, так как сама похожа на их всевозможные выдумки и затеи» (там же).

В рассказах Ю. Сотника в известной мере отразились его детские впечатления. «Раньше, чем герои его рассказа, он пытался снимать со своего лица гипсовую маску; лазал по вентиляционным трубам в школе (и при этом чуть не погиб); по свидетельству дружившего с ним писателя М. Бременера, попробовал однажды в лодке пять баллов на Черном море» (С. С и в о к о н ь. Вождь племени исследователей). Герои Сотника обуреваемы страстью к познанию мира (С. С и в о к о н ь. Новинки детской литературы.— «Литература в школе», 1975, № 1), «каждый из юных персонажей его книг наделен неистощимой изобретательностью, беспокойным стремлением совершить чудо, удивлять людей своей необычной, подчас парадоксальной выдумкой» (В л. Р а з у м н е в и ч. Смех исцеляющий.— «Учительская газета», 1984, 9 июня). По мнению В. Шевелева («Литература в школе», 1958, № 4), «умение рисовать очень правдивые ребячьи характеры в сочетании с хорошим и умным юмором» — основное достоинство творческой манеры писателя. Многие критики с одобрением отмечали способность Сотника воспитывать, избегая назойливой назидательности и прямолинейного дидактизма. «С помощью юмора и иронии он достигает успеха там, где терпит поражение иной приверженец «серьезного разговора» (В. Г и л е н к о. Писатель с нашей улицы.— «Детская литература», 1967, № 5). В целом «произ-

ведения Ю. Сотника — прекрасная нравственно-художественная школа для читателя-подростка» (С. Сивоконь. Новинки детской литературы).

По рассказу Ю. Сотника «Как я был самостоятельным» режиссером В. Н. Журавлевым в 1962 году снята одноименная кинокомедия.

Рассказы Ю. Сотника переведены на многие языки народов СССР, издавались и за рубежом — на немецком, польском, румынском, чешском, китайском, бенгальском и других языках.

Общий тираж рассказов Ю. Сотника составляет свыше 4 миллионов экземпляров.

Г. Н. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

(род. 1905)

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

Повесть впервые опубликована в журнале «Наш современник» (1971, № 1, 2); переиздана в журнале «Наука и жизнь» (1972, № 1, 2, 3), затем в серии «Роман-газета» (1973, № 2). Неоднократно публиковалась отдельными изданиями и в сборниках.

Повесть посвящена памяти А. Т. Твардовского, который принимал живое участие в литературной судьбе Троепольского, читал повесть в рукописи и одобрил ее.

По словам Троепольского, «повесть о Биме — это трагический роман собачьей жизни. ...Если бы Бим был человеком, можно было бы сказать, что на его долю выпала пестрая, авантюрная и трудная жизнь... но, конечно, более всего меня, как писателя, интересовали люди, их реакция. Ведь пока они спешат по улицам города, их едва можно отличить в толпе друг от друга. Но как только на их пути возникает Бим, их как бы можно проверить отношением к доверчивой и умной собаке... В этой повести обобщен мой разнообразный жизненный опыт. Она наиболее полно на сегодняшний день выразила мое писательское существо, мои мысли о людях» (Г. Троепольский. Верю в совершенствование человека.— «Московский комсомолец», 1981, 22 февраля). Повесть, в которой Троепольский «обратился к совести, к чувствам доброты, справедливости, сострадания», в которой он «как бы испытывает нас на высокое звание Человека» (П. Татауров. Слово, обращенное к людям...— «Учительская газета», 1981, 11 июля), получила невероятно большой читательский отклик. «Признаться, я не ожидал такого успеха...— сказал писатель в интервью журналу «В мире книг» (1981, № 4).— Десять лет назад, когда со страниц журнала «Наш современник» впервые сошел добрый, умный, преданный пес по кличке Бим, чтобы заставить людей взглянуть на мир его глазами, я получил тысячи писем. Теперь число их составляет десятки тысяч, присланных из разных стран. Писали и пишут дети и взрослые. Я стал свидетелем безмерного массового сопереживания герою книги».

Троепольский далек от антропоморфизма, его герой «не персонификация, а самая настоящая собака, как чеховская Каштанка... Троепольский работает в лучших традициях отечественной литературы и до дешевой аллегории не опускается» (А. Кондратович.— «Октябрь», 1980, № 11). «Конечно, лишь при долгом общении, почти родстве с собакой можно так понимать немой язык собачьих мин, стоек и поз» — так объясняет удивительное проникновение во

внутренний, духовный мир животного В. Лакшин (Поэзия добра.—«Литературная Россия», 1980, 28 ноября). Но основное значение повести, подчеркивает критик, в содержащемся в ней нравственном потенциале; обаятельный собачий образ «напоминает, что природа служит высшим, чистейшим критерием правды» (там же). Повесть отвечает целевой установке, определенной для себя Троепольским. Предназначение современной литературы он видит «в нравственном совершенствовании личности. Ведь от того, каков будет человек, зависит будущее: общество станет таким, какими будут наши дети» (Г. Троепольский. С читателем-другом.— «Советская культура», 1984, 2 мая).

Повести, которая удостоена Государственной премии СССР (1975), «уготована судьба — войти в золотой фонд литературы для детей. Гарантии тому — активный гуманизм повести, ясность писательской позиции, недвусмысленность в характеристиках персонажей, юмор, освещающий все произведение, тугая пружина — увлекательность сюжета» (Л. Д. Саенко, С. Н. Ялмар. Бим, его друзья и недруги.— «Звезда», 1971, № 8).

По повести режиссером С. И. Ростоцким поставлен одноименный художественный фильм (1977).

«Сегодня «Белого Бима» хорошо знают в мире. По контрактам, заключенным с ВААП, повесть Г. Троепольского издана в 17 странах, в том числе в США, Англии, ФРГ, Японии, Турции, Финляндии, Греции» (К. Межлумян.— «В мире книг», 1982, № 4). В Италии повести присуждена литературная премия в области детской литературы «Банкареллино» (1981).

На русском языке повесть издавалась общим тиражом около 2,5 миллиона экземпляров.

Н. И. СЛАДКОВ

(род. 1920)

ЗА ПЕРОМ СИНЕЙ ПТИЦЫ

Книга впервые вышла в 1980 году в издательстве «Детская литература» (Л.).

В основе рассказов, вошедших в книгу («Синяя птица», «Горный лес», «Тростники», «Пески», «Радужная земля»), как и в других рассказах Сладкова,— личные наблюдения писателя-путешественника и натуралиста. В 1954 году в связи с выходом в свет первой книги писателя «Серебряный хвост» (М.— Л.: Детгиз, 1953) М. Пришвин писал: «Главное, что отличает автора этих рассказов о природе, это прежде всего свой глаз, открывающий новое что-то в природе и как бы небывалое» («Огонек», 1954, № 3). Ученик Бианки, Сладков «передает в своих произведениях то высокое понимание прекрасного, говорит о той романтике, которая органически входит в жизнь человека, наполняет его смутным беспокойством, тягой к неизвестному, волнующим ожиданием встречи с чудом» (И. Трофимкин. Маленькие тайны большого мира.— «Нева», 1964, № 12).

Своеобразие художественной манеры писателя, по наблюдению Е. Калмановского (Природа и время.— «Звезда», 1963, № 6), в том, что он «не уподобляет зверей людям и людей зверям. Он нигде никого не подразумевает, ни на что не намекает. Но взгляд на природу теснейшим образом совмещается с нравственным миром того, кто смотрит. ...Оттого в жизни зайцев, лис, медведей,

вальдшнепов да чижей находятся свои правые и виноватые, свои герои и свои обыватели, своя солидарность и тупая жестокость, свое счастье и свое горе».

Верность избранному жанру и найденному ракурсу писатель сохраняет и в новой работе. Однако, как отмечает В. Кондратьев, «Сладков не только вдохновенный певец и мечтатель, но еще и страстный публицист. Книги, адресованные старшеклассникам и взрослым — «За пером синей птицы», «Свист диких крыльев»,— положили начало самостоятельной тенденции в творчестве писателя: обнажая сложнейшие философские грани общения человека с природой, он мучительно ищет гармонии с ней... Со страниц его произведений звучит призыв «Не убий!». ...Книги эти — самый лучший способ убедить юного читателя: входи в лес как в величественный храм природы. Только тогда откроет он свои сокровенные тайны. Сделает лучше, чище, добрей и позовет в путь» (Соловьиная песня.— «Учительская газета», 1984, 14 июня). «Охранными грамотами всего живого на нашей прекрасной земле» называл книги Н. Сладкова М. Дудин («Охранные грамоты».— В кн.: Н. Сладков. За пером синей птицы, с. 2).

Н. Сладков удостоен Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1976).

Э. Н. УСПЕНСКИЙ

(род. 1937)

КРОКОДИЛ ГЕНА И ЕГО ДРУЗЬЯ

Повесть-сказка Э. Успенского впервые опубликована в 1966 году издательством «Детская литература».

Для писателя-сказочника Э. Успенского понятия «детская литература» и «литература для детей» не тождественны. «Детская литература шире, чем литература для детей. Это значит — праздник, когда все ярче, выпуклее, контрастнее, чем обычно»,— заметил он в интервью газете «Московский комсомолец» (1980, 6 января). «Точный язык, ясный сюжет, фантастические, с большими допусками обстоятельства» — таковы, по мнению писателя, непременные «атрибуты» детской книжки (там же). Эта установка автора воплотилась во всех его сказках: «Любая из его сказок развертывается перед маленькими читателями как длинная, веселая игра, дающая увлекательный простор фантазии и изобретательности героев...» (И. Васюченко. Игра взаправду.— «Детская литература», 1984, № 2).

О том, как зарождался образ одного из самых популярных детских героев — Чебурашки, писатель неоднократно рассказывал в интервью. «Меня часто спрашивают, как он появился на свет. Ну, во-первых, один мой друг называл так свою племянницу. Во-вторых, я однажды увидел игрушку, собранную из разных деталей, получилось очень забавно, и это навело меня на мысль об этом неизвестном доселе смешном и добром зверьке. Я думаю, что Чебурашка возник по молчаливому заказу маленьких читателей именно тогда, когда в нем приспела нужда. Раньше детям нужны были защитники-великаны: Илья Муромец или дядя Степа. А теперь они больше уверены в своих силах и сами хотят защищать и покровительствовать слабым, а Чебурашка немного им в этом помогает...» («Труд», 1979, 14 апреля).

У писателя существует еще одна версия о происхождении Чебурашки. В интервью газете «Вечерняя Москва», опубликованном 10 октября 1984 года, Успенский скажет: «У Чебурашки не было прототипа среди окружающих нас жизненных реалий. История его появления состоит как бы из двух этапов. Однажды мне предложили написать текст к документальному фильму про Одесский порт. Я смотрел отснятые киноматериалы, и вдруг мое внимание привлек следующий эпизод: на экране показывают какой-то склад, куда привезли тропические фрукты, и на одной из банановых связок испуганно притаился маленький хамелеончик. Сцена эта запомнилась, а окончательно образ будущего товарища Крокодила Гены сложился, когда я увидел на улице маленькую девочку в шубе, купленной ей явно на вырост. Бедняга выглядела довольно забавно и из-за своей не в меру длинной одежды двигалась неуклюже и все время шлепалась на землю.

— Ну вот, опять чебурахнулась,— сказал кто-то из стоявших рядом со мной. После этого нужно было только прибавить немного фантазии».

Столкновение добра и зла в сказке неизбежно. Для Э. Успенского, как справедливо считает И. Васюченко, «доброта — это прежде всего понимание, а носители зла — те, кто не понимает, не признает непререкаемого для сказочника права других быть самим собой» (И. В а с ю ч е н к о. Игра взаправду). «Как сказочник, я борюсь со злом — в сказках и в жизни,— так определяет свою писательскую позицию Э. Успенский.— Сказка — это своеобразный тренинг. Она приучает к тому, что есть опасность. По сказкам дети узнают, что в мире бывает зло» («Московский комсомолец», 1980, 6 января).

В соавторстве с Р. Качановым Э. Успенским написаны пьесы «Чебурашка и его друзья» (1970) и «Отпуск крокодила Гены» (1974). По сказкам Успенского созданы мультфильмы «Крокодил Гена» и «Чебурашка» (автор сценария — Э. Успенский; режиссер-мультипликатор — Р. Качанов; художник-постановщик — Л. Шварцман), получившие высокую оценку критики (см.: А с е н и н С. Каждый знает Чебурашку.—«Правда», 1973, 10 сентября; Е ф и м о в Б. Кто такой Чебурашка? — «Советская культура», 1979, 7 сентября).

В Швеции издается детский журнал «Йена и Друттен» («Гена и Чебурашка»).

Повесть-сказка переиздана в 1970 году; позднее она вошла в книгу Э. Успенского «Крокодил Гена и другие сказки» (М.: Детская литература, 1977; 1984). Общий тираж книги — 500 тысяч экземпляров.

Книга «Крокодил Гена и его друзья» переведена на языки народов СССР и на ряд иностранных — венгерский, испанский, чешский, монгольский, немецкий, финский, японский и др.

Е. Войналович,
М. Кармазинская

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Павлова. ЗЕРКАЛО ДЕТСТВА 3

МУСТАЙ КАРИМ

РАДОСТЬ НАШЕГО ДОМА. *Повесть* 21

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

КОРТИК. *Повесть* 83

ЮРИЙ СОТНИК

«АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА. *Рассказы*

НЕВИДАННАЯ ПТИЦА 241
«ФЕОДАЛ» ДИМКА 255
ДРЕССИРОВЩИКИ 261
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 276
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ НЕРВОВ» 286
«АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА 295
БЕЛАЯ КРЫСА 307
КАК Я БЫЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 317
«НА ТЕБЯ ВСЯ НАДЕЖДА...» 330
МАСКА 353

ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. *Повесть* 363

Н. СЛАДКОВ

ЗА ПЕРОМ СИНЕЙ ПТИЦЫ. *Рассказ-воспоминание* 513

Э. УСПЕНСКИЙ

КРОКОДИЛ ГЕНА И ЕГО ДРУЗЬЯ. *Повесть-сказка* 667

Комментарии 709

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 30, книга 2)

Мустай Карим

РАДОСТЬ НАШЕГО ДОМА. *Повесть*

*

Анатолий Наумович Рыбаков

КОРТИК. *Повесть*

*

Юрий Вячеславович Сотник

«АРХИМЕД» ВОВКИ ГРУШИНА. *Рассказы*

*

Гавриил Николаевич Троепольский

БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. *Повесть*

*

Николай Иванович Сладков

ЗА ПЕРОМ СИНЕЙ ПТИЦЫ. *Рассказ-воспоминание*

*

Эдуард Николаевич Успенский

КРОКОДИЛ ГЕНА И ЕГО ДРУЗЬЯ. *Повесть-сказка*

Ответственный редактор *В. М. Писаревская*

Художественный редактор *Е. М. Ларская*

Технические редакторы *Л. В. Гришина* и *В. К. Егорова*

Корректоры
Е. В. Куликова и *Г. В. Романова*

ИБ № 9235

Сдано в набор 13.10.85. Подписано к печати 19.02.86. А10054. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 46,13. Усл. кр.-отт. 50,38. Уч.-изд. л. 46.95 +9 вкл.=47,59. Тираж 407 000 экз. (2-й завод 200 001—407 000 экз.). Заказ № 1971. Цена 2 р. 40 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Мустай Карим

К23 Радость нашего дома. Рыбаков А. Н. Кортик. Сотник Ю. В. «Архимед» Вовки Грушина. Троепольский Г. Н. Белый Бим Черное ухо. Сладков Н. И. За пером синей птицы. Успенский Э. Н. Крокодил Гена и его друзья: Повести и рассказы / Вступ. ст. Н. Павловой; Ил. Е. Чернятина.— М.: Дет. лит., 1986.— 718 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 30, кн. 2).

В пер.: 2 р. 40 к.

К $\frac{4803010102—255}{M101(03)86}$ Подп. изд. Р2

Scan Kreyder - 17.05.2017
STERLITAMAK

2р. 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»